

Genre  
nonf\_biography  
Author Info

**Михаил Андреевич Лев**

## **Длинные тени**

Творчество известного еврейского советского писателя Михаила Лева связано с событиями Великой Отечественной войны, борьбой с фашизмом. В романе «Длинные тени» рассказывается о героизме обреченных узников лагеря смерти Собибор, о послевоенной судьбе тех, кто остался в живых, об их усилиях по розыску нацистских палачей.

## **Длинные тени**

**Руководителю легендарного восстания в фашистском лагере смерти Собибор Александру Печерскому и его соратникам — посвящается**

### **ДВА ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ ПЕЧЕРСКОМУ**

#### **Вместо предисловия**

В последних числах апреля 1978 года Александр Печерский получил одно за другим два письма. Писал их Берек, бывший узник лагеря смерти Собибор. В Амстердаме, где он последние годы живет, занимаясь частной врачебной практикой, его зовут Бернардом Шлезингером.

«Дорогой друг Александр! Давно тебе не писал» — так начиналось первое письмо.

Здесь следует заметить, что, хотя Берек на целых двадцать лет моложе Печерского и ему шел только пятнадцатый год, когда Сашко (так звали Печерского в лагере) дал сигнал к восстанию, тем не менее он обращается к Печерскому на «ты». Так обращаются друг к другу и поныне все оставшиеся в живых собиборовцы.

«Ты себе не представляешь, Сашко, — писал Берек, — как много хотелось бы тебе рассказать. Но я сообщу лишь о самом главном: мы, кажется, напали на след Густава Вагнера. Хочется верить, что на этот раз палач из Собибора не ускользнет из наших рук. Еще в 1970 году, во время процесса Франца Штангля в Дюссельдорфе, я писал тебе, что каждый раз, когда встречал в зале суда жену этого изверга — Терезу Штангль, меня не покидало чувство, что где-то ее видел. Но где именно и когда — никак не мог вспомнить. Мне мерещилось, что это было в раннем детстве. Но каким образом я мог ее видеть? Когда я в своем польском местечке делал первые шаги, она в своей Австрии была уже зрелой девицей. В Собиборе я ее тоже не мог встретить, так как к тому времени Штангль уже был комендантом Треблинки. И все же я был уверен, что чутье меня не обманывает, и рассказал об этом Вонделу. Тебе известно это имя? С Агие Вонделом я познакомился во время судебного процесса. Он показал мне написанную им книгу о возрождении нацизма в Западной Германии. В ней говорится и о суде над палачами Собибора в Хагене. Как ты понимаешь, к такому человеку я не мог отнестись

ключ от дома, в котором скрывается один из самых лютых злодеев Собибора — Вагнер, в руках у Терезы Штангль. Буквально.

В Амстердам после суда мы с Вонделом возвращались вместе и с тех пор часто встречаемся. Он стал моим пациентом, так как, к сожалению, страдает пороком сердца. Но, вопреки представлению о такого рода больных, он человек весьма подвижный. Много разъезжает. Думаю, не пропустил ни одного значительного судебного процесса над нацистами. В Амстердаме у Вондела большое книготорговое дело. Это не мешает ему время от времени выступать в печати с важными материалами, разоблачающими неонацистов. У Вондела можно найти различные сведения о многих военных преступниках, как осужденных, так и тех, кому пока удалось избежать кары.

После суда Тереза Штангль перестала меня интересовать, но Вондел мне о ней напомнил.

Позавчера он позвонил и сказал, что нам нужно срочно увидеться. Минут через двадцать Вондел уже сидел у меня в кабинете и без предисловий приступил к делу.

— Бернард, — сказал он, — я, кажется, догадываюсь, где вы могли видеть Терезу Штангль.

Видимо, телепатия не выдумка: едва Агие произнес первые слова, я мгновенно вспомнил то, что безуспешно пытался вспомнить в течение восьми лет.

— Вы, — продолжал Вондел, — видели ее в Собиборе.

— Не ее, — поправил я своего собеседника, — а ее фотографию. И не только фотографию, но и портрет.

— Да, да! Портрет, — обрадовался Вондел, — рассказывайте, рассказывайте.

— Однако откуда вам известно...

— Вас удивляет, что я знаю о портрете? Сейчас объясню. Мой друг, книготорговец из Сан-Паулу, Леон Гросс увидел в доме Терезы Штангль ее портрет, и она с гордостью сообщила, что он принадлежит кисти известного голландского художника Макса ван Дама. Вот меня и осенило: жену Штангля вы не могли видеть, а портрет ее могли. Вы понимаете, что из этого следует?

Конечно, Сашко, я отлично понял, о чем Вондел вел речь. Мне также стало ясно, по какой причине он заинтересовался Терезой Штангль еще тогда, в Дюссельдорфе, и я со всеми подробностями рассказал ему все, что ты, естественно, знаешь уже давно: как я в последние дни жизни ван Дама был рядом с ним и как однажды Вагнер принес ему фотографию женщины.

— Вагнер, — загорелся Вондел, — а я все жду, когда вы произнесете это имя.

Итак...

Извини, Сашко, но письмо я должен прервать. Сегодня воскресенье, и я думал, что меня оставят в покое. Но врач не волен располагать собою. Не знаю, удастся ли мне еще сегодня или, в крайнем случае, завтра снова сесть за письменный стол, поэтому Фейгеле пока отправит тебе то, что я успел написать. Тебе от нее сердечный привет.

«Нарочно, что ли, остановился он на полуслове? — с некоторой досадой подумал Печерский. — Ему бы писателем быть, а не врачом». В то же время Александр был благодарен Береку, что тот не задержал письмо и сказал о главном. Кто-то в Бразилии напал на след Вагнера. Подумать только, целых тридцать пять лет его ищут и не могут найти. Испарился. Он, и Штангль, и Бауэр, и Болендер, и Френцель, и Вольф, и... Как только закончилась война, все они куда-то сгнули, забились в свои мышиные норы, и как будто на свете не было ни их, ни Собибора, ни сотен тысяч людей, загнанных в газовые камеры и превращенных в дым.

Первым, в 1949 году, нашли обергазмейстера Бауэра. Пятнадцать лет прошло, пока поймали Болендера — шефа «гиммельштрассе» — «небесной дороги», которая вела в газовые камеры. Штангля искали двадцать два года. Из всех палачей Собибора он был самый страшный. В списках главных нацистских преступников, которым удалось избежать наказания, его имя стояло третьим. Первым числился Борман — заместитель Гитлера по нацистской партии, вторым — Менгеле, врач, «прославившийся» своими изуверскими опытами над людьми, третьим — Франц Пауль Штангль. Выходец из Австрии, Штангль еще до аншлюса тайно вступил в СС и стал сотрудничать с гестапо. Он был активным участником зловещей акции «эвтаназия», так называемой «легкой» смерти. Сперва на «легкую» смерть были обречены душевнобольные в рейхе, позже — «неполноценные» в концентрационных лагерях. Эта акция была школой, где шлифовались навыки профессиональных палачей, готовились кадры для массовых убийств.

20 января 1942 года на конференции в Ванзее Гитлер утвердил директиву об «окончательном решении еврейского вопроса». Штангль стал одним из руководителей этой строго секретной «операции Рейнгард», названной так по имени основного докладчика в Ванзее — фашистского гауляйтера в Праге Рейнгарда Гейдриха.

Когда кончилась война, Штангль все же угодил в тюрьму, но ему предоставили возможность бежать, а за надежным укрытием дело не стало. Без малого двадцать лет работал он в Сан-Паулу в филиале западногерманской фирмы «Фольксваген» и получал 1200 американских долларов в месяц. Даже фамилию оставил прежнюю, лишь слегка изменил свое имя — вместо Пауля стал называться Польди. Так бы он, возможно, и продолжал свое безмятежное существование, если бы не нашелся один бывший гестаповец, который выдал его за обещанную награду в семь тысяч долларов. Вагнер же, заместитель Штангля в Собиборе и Треблинке, словно в воду канул. Он оказался более ловким, чем его шеф. Но раз уж Берек упомянул его имя, значит, след найден. Остается ждать дальнейших вестей.

Ждать пришлось недолго. На другой день в Ростов-на-Дону от Берека пришло второе письмо, лаконичное, как телеграмма.

«Дорогой Александр!

При первой возможности напишу тебе из Бразилии. Завтра туда вылетаем.

Из Бразилии Берек не написал. Первые сведения оттуда, привлёкшие внимание Печерского, как и все, что имело отношение к Собибору, дошли до него со страниц печати.

Газеты сообщают, что в Бразилии арестован бывший оберштурмфюрер СС Г. Ф. Вагнер. В годы второй мировой войны он занимал посты заместителя коменданта двух «лагерей смерти» — Треблинки и Собибора, созданных нацистами на территории оккупированной Польши.

Нацистский преступник Густав Вагнер, арестованный бразильской полицией в г. Сан-Паулу, во время очной ставки с одним из бывших узников признался, что был заместителем начальника концлагерей Треблинка и Собибор...

...Страны Южной Америки продолжают служить надежным убежищем немецким нацистам. Как отмечает газета «Эстаду ди Сан-Паулу», около 5 тысяч бывших эсэсовцев и охранников концлагерей скрываются от правосудия на этом континенте. Достаточно сказать, что бывший шеф Вагнера, Штангль, был арестован в Сан-Паулу лишь в 1967 году.

Каким образом напали на след Вагнера?

Кто из бывших узников его опознал?

Печерский знает: Берек, как всегда, останется в тени, а до суда, должно быть, еще далеко.

Снова суд после приговора?..

## Часть первая СОБИБОР

### Глава первая

#### БЕРЕК И РИНА

#### МАТЕРИНСКАЯ РУКА

Отчий дом!.. В каких только краях не побывал Берек Шлезингер за те тридцать с лишним лет, как он покинул родное гнездо, но другого такого уголка он нигде на свете не встречал. Навсегда остался в его памяти заветный домик в маленьком польском местечке, которого уже нет и в помине. Там его мать месила тесто в деже, раскатывала скалкой тонкие листы и делала домашнюю лапшу, пекла пирожки с творогом, гречневые лепешки, во дворе варила на треноге варенье. Там, в крохотной спальне, на проржавевшей железной кровати, вечно ходившей ходуном и издававшей жалобный скрип, он закутывался в старое рваное одеяло и спал сном праведника.

До чего хорошо ему было носиться по узким улочкам мимо низких домишек, тесно жавшихся друг к другу, с гиканьем врывать на базарную площадь, уставленную ларьками и столами, катить обруч вниз к реке, где девушки стирали белье, выколачивая его вальками. А как любил он вместе с ватагой босоногих мальчишек играть в лапту, в прятки, выдувать переливающиеся всеми цветами радуги мыльные пузыри, пускать маленьким зеркалом весело пляшущие солнечные зайчики... Радостный, добрый мир детства...

Война сразу все опрокинула, разрушила. До советской границы было не так уж далеко, но отец Берека, Нохем-маляр, не успел увезти свою семью, а может, ему и не верилось, что немцы способны на зверства, — что ни говори, культурная нация...

Топор обрушился не сразу. Сначала еще надеялись, что удастся выжить. Хотя с первых же минут посыпались приказы — один страшнее другого.

Приказ, обязывающий всех евреев, начиная с первого декабря 1939 года, постоянно носить на левой стороне груди и на спине желтую шестиконечную звезду величиной не менее десяти сантиметров; приказ, запрещающий евреям менять местожительство, ходить по тротуарам, пользоваться каким-либо видом транспорта, в том числе повозками и санями, посещать кинотеатры, библиотеки, лечебные учреждения, учебные заведения, резать скот и птицу по религиозному обряду, заниматься врачебной практикой и адвокатурой, работать нотариусами, агентами, посредниками; приказ об образовании юденрата[1]; приказ о выделении на постоянную работу в каменоломню лиц в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет...

Приказы грозили наказаниями, строгими карами. Чем дальше, тем больше ужесточались, от них веяло смертью. Но смертельная опасность подстерегала каждого независимо от того, нарушил он приказ или нет.

Старший брат Берека, Мотл, считался в семье добытчиком, работал подручным у часовых дел мастера и, как говорила мать, приносил в дом «живую копейку». Была у него невеста — точь-в-точь добрая фея из волшебной сказки. Но любовь и война трудно уживаются. Вздумал как-то Мотл со своей невестой прогуляться в субботу в полдень. Пошли они в лес. Немецкого гарнизона в местечке

тогда еще не было. Откуда ни возьмись, принесла нелегкая мотоциклетный патруль. И в двух стоявших бок о бок домах поселился траур.

Так вышло, что жертвой первой в городе злодейской «акции» стала семья тихого Нохема-маляра, красившего двери и окна, полы и крыши и надеявшегося с божьей помощью уцелеть.

Затем «акции» участились, и всякий раз после них на улицах и в домах оставалось все больше трупов. И когда поползли слухи, что не сегодня завтра евреев со всей округи сгонят в гетто в один из ближайших больших городов — в Люблин или Хелм, — отец Берека, как, впрочем, все в местечке, понял, что на карту поставлена жизнь и одному богу известно, удастся ли кому-нибудь спастись.

В тот вечер, когда отец принес страшную весть о гетто, на нем лица не было. Он неуверенно, боком протиснулся в дверь и остановился на пороге. В его глазах застыло отчаяние, он еле выдавил из себя: — Беда, Песя! Наша жизнь висит на волоске.

Мать Берека, Песя, знала, что беда не приходит одна. Она заломила руки и дрожащим голосом спросила мужа, что еще случилось. Но отец не мог произнести ни слова. Он лишь сжал в ладонях свою широкую лохматую бороду, его опущенная голова раскачивалась, как маятник.

— Что же ты молчишь? — допытывалась мать. Но когда отец сообщил ей горькую весть, она, вопреки ожиданию, не запричитала, а только тихо проговорила: — Горе мне! А ты думал, что удастся уцелеть. Теперь нам пришел конец. Ой, Нохем, беда-то какая! Надо попытаться спасти хоть Берека. В деревню, в лес. Надо... — И залилась слезами.

Ночью Берек ощутил на своей щеке нежное прикосновение материнской руки. Он прижался к ней, не размыкая век, но вдруг вспомнил обо всем. Мать тихонько будила его:

— Вставай, сыночек, пора! Пусть все твои горести падут на меня... — Она еще раз погладила его, на этот раз по лбу. — Вставай и уходи. О господи! Иди...

Отец, дедушка и бабушка скорбно стояли в сторонке и молча кивали: «Да, да, иди!» Две младшие сестренки Берека лежали на топчане, обнявшись. Спали они или нет — этого ему уже никто никогда не расскажет.

«Надо идти, надо!» — сказал себе Берек и стал одеваться.

Он был уже в дверях и, как полагается, перед уходом поцеловал мезузе[2], когда еще раз услышал материнское «Горе мне», а отец прошептал как заклинание:

— Иди, и пусть все будет хорошо...

Глубокой ночью Берек впервые в жизни покинул свой городок. В вышине, меж облаками, куда-то плыла луна, похожая на большую голову с кривым ртом, и он зашагал ей вслед. Пока она вела его знакомой дорогой к реке. За лето река досыта напилась дождевой воды, ей стало тесно в своем ложе, и кое-где она вышла из берегов. Берек смотрел, как луна купается в тихой воде, и вдруг, когда отражение луны коснулось водорослей, подумал, что она, как и его отец, совсем седая. Быть может, тоже поседела раньше времени. Кто знает. Должно быть, и луна Гитлеру не по душе. Наверное, так. Ведь освещает же она дорогу ему, маленькому скитальцу с двумя узелками, перекинутыми через плечо. Как же она на это осмелилась?

Где-то невдалеке прогремел выстрел, взорвав ночную тишину. Взлетела ракета. Огненный всплеск, на мгновение отразившись в воде, взвился в небо, к луне, и рассыпался блестками. От испуга Берек бросился на песок, а луна знай себе плывет своей дорогой, будто хочет подразнить лопнувший с досады и рассыпавшийся вдребезги огненный снаряд. Береку хотелось крикнуть:

«Эй ты, злая птица, падаешь? Падай, падай да гасни скорей!»

Берек, возможно, еще долго пролежал бы так на берегу реки, от которой тянуло влажным теплом, если бы до него не донесся всплеск весел. Река — она-то может позволить себе неторопливо нести свои воды, а вот ему надо поскорее уходить подальше от людей, от дома, от опасности, таящейся на каждом шагу.

Будь это днем, он бы наверняка часа за два добрался по проселочной дороге до большого леса, чтобы там, по совету отца, укрыться на первое время. Но сейчас ночь, и надо быть очень осторожным, да и луна вдруг почему-то скрылась. В нее ведь не стреляют, чего же ей ни с того ни с сего вздумалось спрятаться? Может, тучи взяли ее в плен? Откуда принесло их столько? И все такие большие, черные...

Когда Берек рисует облака — а рисовать он готов целыми днями, — они у него на бумаге выходят до того прозрачными, светлыми и легкими, что, кажется, стоит подуть малейшему ветерку — и они тут же развеются по небу во все стороны. Кстати, не забыла ли мама вложить в узелок цветные карандаши? Надо было самому это сделать. Хотя где и когда ему теперь придется рисовать? Вот портрет Рины, который он нарисовал незадолго до прихода немцев, его-то надо было прихватить с собой. Она у него получилась удачно, как живая.

Рина — его двоюродная сестра, но не в этом дело. И не потому он охотно изображает ее на бумаге. Прежде всего, она его сверстница. Но и это не так уж важно. Рина для него... Кто она для него — об этом Берек даже самому себе не смеет признаться. Рисовать ее он может и по памяти, даже ночью при погашенной лампе, когда звезды не заглядывают в окошко. Она всегда у него перед глазами — тоненькая, стройная. А уж хороша — краше ее во всем городе не сыскать. Длинные ресницы прикрывают глаза, словно занавески. Яркие губки сложены бантиком, будто она собирается свистнуть (и это ей ничего не стоит сделать). А вот показать на рисунке ее доброту ему еще ни разу не удавалось. Это, должно быть, потому, что доброта ее прячется в крохотных ямочках на щеках. Редко, но бывает, что ямочки делаются еле заметными, а то и вовсе исчезают. В таких случаях Берек знает: лучше ей уступить, не перечить. Но к чему об этом вспоминать? Виноват в таких случаях всегда только он, а не Рина. Последняя размолвка произошла у них совсем недавно. Рина пришла к его маме занять ложечку соли. Все на ней сверкало и пело. Волосы блестят, в косы вплетены белые ленточки. И угораздило же Берека потянуть одну из них! Ему и в голову не пришло, что лента развяжется и длинная коса тотчас же расплетется. Неудивительно, что Рина обиделась и доброта ее улетучилась. Правда, в тот же день они помирились. Долго дуться Рина не любит. Как только в ямочках снова поселяется доброта (конечно, никто, кроме него, этого не видит), так и ссоре конец. Знает ли Рина, что сейчас он один-одинешенек уходит в лесную глушь? Вот бы испугалась, если бы ей кто-нибудь сказал об этом! Его и самого одолевает страх. Хорошо еще, что мысли уносят его далеко — к луне, к тучам, к реке. А может, это тоже от страха? Никто не подслушивает, и стесняться некого: наверняка от страха. Почему же он думает о Рине? Но о ком еще? Ведь другой такой, как Рина, на свете нет...

Как же он мог уйти и не взять ее с собой? Мама сказала, что Рину с ним не пустят. У ее отца есть на примете какое-то место, где ей можно будет укрыться. И все-таки — как можно было уйти, не сказав ей: «До свидания»? Со всеми родными он расцеловался. Прощаясь с Риной, он бы и ее поцеловал. А чего тут особенного? Прежде бы он побоялся. Как-то раз она подбежала к нему в открытом

цветастом сарафанчике. Солнце припекало, но Рина, поймав его взгляд, двумя большими листьями подсолнуха прикрыла свои голые плечи. До чего же ему хотелось тогда скинуть эти листья, схватить ее за руки и... Но к чему вспоминать об этом? Порядочный парень о таких вещах и думать не смеет. Рину угонят в гетто, а он будет разгуливать на свободе. Красиво, нечего сказать! Мотл заслонил собой свою невесту, люди это видели. А он, Берек, его брат... Не лучше ли возвратиться?

Он готов уступить не покидающему его ни на минуту чувству страха, твердящему: «Вернись, возьми с собой Рину!» Конечно, папа, мама, дедушка и бабушка сказали бы «нет». Мама, безусловно, права: кто согласится отпустить Рину с ним, таким «защитником»? Да, Мотл заслонил собой свою невесту, но разве спас он ее от гибели? На прощание (что и говорить, горькое было прощание!) отец благословил его и пожелал удачи. Если отцовское пожелание сбудется и ему, Береку, повезет, он непременно вернется домой и этим же путем выведет их всех из местечка. «Не бойтесь, — скажет он им, — я с вами. Дорогу я знаю...»

Отчего же у Берека зуб на зуб не попадает? Должно быть, оттого, что идет он бог весть куда в эту темную ночь один, без отца, без матери, без Рины. Будь она рядом, он бы поборол свою слабость. Уже светает. Скорее, скорее в лес!

Разросшийся куст показался ему в темноте диковинным зверем, и он кинулся в сторону, притаился под деревом. Покуда Берек шел, ему было тепло, даже жарко, — теперь же под куртку забрался промозглый холод и не дает остановиться, гонит все глубже в лес. Но ведь это и нужно!

Лес еще не сбросил с себя ночную дрему. Высокие сосны стоят мрачной стеной, плотно сомкнув зеленые вершины. И кто знает, может быть, этой белой березе, что стоит рядом с раскидистым дубом, снится в это время сладкий сон? Нет, видно, не такой уж сладкий, — она вся дрожит, ей зябко, или тоже кого-то боится?

Хожены тропки сейчас не для Берека. Тяжело навьюченный, он пробирается меж деревьев, спотыкаясь о скрытые в густой траве мшистые кочки. Он не делает передышки там, где остались следы костра, а ищет укромное место. Идет он в нужном направлении — на восток. Так велел отец. Навстречу ему пробиваются первые солнечные лучи. Как-то однажды Мотл сказал Береку: «Если бы ты не поленился и поднялся с зарей, ты увидел бы чудо: восход солнца». Ох, брат родной, тебе уж не увидеть, в какую рань я сегодня поднялся!

Вот и солнце появилось. Пока оно греет Берека не как мать, а как мачеха, но под теплом его лучей уже ожили кроны деревьев. Росинки на траве и листьях сверкают как бусинки, хоть нанизывай их на нитку.

Солнце поднимается все выше, и лес преображается, как по мановению волшебной палочки. Но с Береком чуда не произошло. Пока его занимает одно: где бы подыскать надежное укрытие?

## **В ЛЕСУ**

Днем Берек забрался в густые заросли и уместился там, как птица в гнезде. Глаза слипались, но сразу уснуть он побоялся. Кто знает, не таится ли опасность рядом. Надо немного обождать, осмотреться. Он принялся развязывать узелки. Что же дала ему мама? В узелке поменьше лежит костюм. Сшили его еще к прошлой пасхе, и он успел из него вырасти. Здесь же нижняя и верхняя рубашки, свитер с заплатами на локтях, льняное полотенце, пара штопанных шерстяных чулок (отец надевал их в траурную седмицу по убитому сыну), теплый шарф, длинная тонкая веревка, — бог весть, для чего она ему понадобится, — и сандалии, которые купили ему за неделю до прихода немцев. На самом

дне узелка лежит еще что-то завернутое в тряпицу. Так он и знал! Иголка, воткнутая в катушку черных ниток, несколько пуговиц, кусок хозяйственного мыла, пузырек с йодом и баночка мази, если, не дай бог, насекомые заведутся.

В другом, более увесистом узле полтора каравая ржаного хлеба, мешочек черных сухарей, десятков пять картофелин, несколько морковок, два крутых яйца, большая бутылка воды, заткнутая пробкой, и завернутые отдельно два коробка спичек. Здесь же перочинный ножик, а он думал, что давно уже потерял его. Еще на дне несколько кусков сахара, ложка и кулечек соли.

Мама, мама! Дай ей бог здоровья! У Рины тоже хорошая мама, но все же не такая, как у него. Отец мог сколько угодно кричать на него, даже побить — все равно Берек ни за что один в лес не пошел бы, а вот мама без труда уговорила. Стоит ей произнести: «Пусть все твои горести падут на меня», и Берек готов сделать все, что она скажет. Что теперь будет с ними — с мамой, с папой, с сестренками? А с Риной? Может, все же лучше вернуться?..

Как долго он спал? Куда подевалась усталость? В первое мгновение Берек почувствовал во всем теле такую легкость, что хоть тут же поднимайся и отправляйся в путь. Солнце клонилось к закату.

Теперь лучи его удлинились и освещали уже не кроны, а стволы деревьев.

Ночь в лесу наступает снизу, с земли, а возможно даже, что из глубины, от корней. Небо еще светилось, а лес весь потемнел. Куда же ему путь держать? Домой дорога заказана: мама заклинала его не возвращаться.

Берек размышляет, а темнота все сгущается. Будь он даже на хоженной тропинке, и ее не смог бы теперь разглядеть. Нет, сегодня он свое лесное убежище не покинет. Но завтра...

Ему стало зябко, но развести костер он не решился. Даже светлячка на гниющем пне он готов был растоптать, погасить. Как голодные волки, подстерегающие свою жертву, чтобы наброситься на нее и растерзать, рыскали по ночному небу немецкие самолеты. Гудение их моторов слышалось отовсюду, разносилось по лесу. Берек натянул на себя свитер, укрылся курткой и лежал в настороженной полудреме.

Еще пять дней и ночей пробыл Берек в лесу. Из двух узелков остался один. Тот, что был с едой, опустел. Последние шестнадцать картофелин он поделил на четыре части — не по числу, конечно, ведь там были и большие и маленькие, а приблизительно по весу — и закопал их в землю, чтобы не мозолили глаза, не дразнили аппетит. Этой еды, по его расчету, должно было хватить на четверо суток. А еще в лесу попадаются съедобные ягоды, надо только суметь их найти.

Берек скитался по лесу. Сперва он боялся отходить далеко от своего убежища, но потом стал удаляться и на значительное расстояние. Присматривался к растениям, ко всякой живности.

Завидовал букашкам, которых по расцветке не отличишь от всего окружающего. Если бы и он мог так затаиться, замаскироваться!

Пока голод и холод не слишком донимали его. Лето было на исходе, но ночи еще стояли теплые. Хуже было то, что вода в бутылке кончилась. Он думал, что пропадет от жажды, но ему неожиданно повезло. На четвертый день он наткнулся на старое поваленное дерево. На дне глубокой ямы, где остались корни, в небольшой лужице удалось набрать полную бутылку воды.

Близился вечер. В первый раз Берек забрался так далеко от своего убежища. Он понимал, что днем раньше, днем позже, но встречи с людьми ему не миновать. И он стал искать дорогу в ближайшее село — еще лучше, если бы попался хутор. Приказ о запрете укрывать евреев и военнопленных он

сам читал и все же надеялся (на это рассчитывали и папа с мамой), что кто-нибудь да сжалятся над ним. Как бы он был благодарен такому человеку! Работал бы, не щадя сил. Днем, например, пас коров, ночью — стерег лошадей. С животными спокойнее, он бы ухаживал за ними, заботился о них. Была бы только крыша над головой да чем голод утолить.

Вдруг Берек замечает, что лес начинает редеть и между деревьями все ширятся просветы. Он замедляет шаг, напрягает зрение и вытягивает шею, как зверь или птица. Даже дышать громко боится. Остановится у дерева, прислушается и только после этого осторожно перебегает к другому. Снова постоит, прислушается — и к следующему. Так он далеко не уйдет, но что поделаешь, риск слишком велик. Вот уже видно поле. Если он не ошибается, там покачиваются кукурузные початки в зеленой одежде, подсолнухи. Несколько спелых головок оказались бы весьма кстати. Надо запомнить это место и дорогу к нему. На сегодня хватит. Солнце уже садится. Пора возвращаться. В другой раз он рискнет пойти подальше.

Чем ближе убежище, тем спокойнее у Берека на душе. За эти несколько дней он так привык к своему «тайнику», что тот стал для него чуть ли не родным домом...

Сегодня утром, проснувшись, Берек долго лежал на боку, не шевелясь. Не так уж много дней прошло, как он здесь скрывается, но до чего бесконечно тянется время! Несколько раз прошмыгнул взад-вперед пушистый лесной мышонок. Остановился, встал на задние лапки, вытянув хвостик, повертел головкой и уставился на человека бусинками глаз. Взгляд мышонка Берек истолковал так: «Вот если бы кошка была такая!» Хотя откуда лесному мышонку знать о домашней кошке? Что и говорить, кошке живется совсем недурно. Если ребяташки порой гоняются за ней, то лишь затем, чтобы привязать к ее хвосту бумажку или выкрасить усы. А то и попросту поиграть с ней. Если же на нее кричат или даже наказывают, то лишь за то, что она ленится ловить мышей или что-нибудь утащит. Но очень скоро меняют гнев на милость и, ставя на пол полное блюдце молока, умильно приговаривают: «Кис-кис-кис, попей немного молока, кис-кис-кис, не уходи, скоро будем разделявать рыбу, и тебе кое-что перепадет»...

Совсем крохотный зверек мышонок, а до чего шустрый! В лесу ему живется куда лучше, чем Береку. Не успел Берек глазом моргнуть, как того не стало. Вот если бы и он, Берек, мог проделать такой фокус!.. Но ведь для этого надо превратиться в лесного мышонка. Если в кого-нибудь превращаться, так лучше в волка. Тогда ему ничего не стоило бы этих извергов фашистов разорвать на части.

— Вот так! — Берек яростно рассекает воздух тонким прутиком. — Вот так! Чтобы от вас следа не осталось! А-а! Не нравится вам? Сами-то вы в тысячу раз хуже волков. Волк задирает овцу, потому что хочет есть, но скорее околеет с голоду, чем тронет волчонка. Жизнью поплатится, а спасет его. А вам ничего не стоит растерзать человека, старого или малого, ни за что ни про что, — так вот вам! — и он неистово хлещет прутом...

Но зачем это ему превращаться в волка? Куда лучше, если бы произошло чудо и ему повстречался человек-невидимка, тот самый, что запросто расхаживает среди людей, никем не замеченный. Кто-нибудь нечаянно заденет его или наступит на ногу — при этом ничего не почувствует ни тот, ни другой. Вот это человек! Берек и Рина сидели рядом в кино и глаз не могли оторвать от экрана, на котором человек-невидимка вытворял чудеса. Он мог целый месяц, а то и больше, обходиться без еды, без питья, без сна. Главное для него — истребить все зло на земле.

Хороша сказка, да не про нас сложена. Попробуй поищи такого человека, которому все нипочем,

которого никто не видит и не слышит. Сказка, и только. Береку она не подходит. Вот если бы можно было перейти линию фронта и вступить в Красную Армию, тогда бы он рассчитался со злодеями-убийцами. Мотл об этом все время мечтал. Мотл мертв, а он, Берек, жив. И он дойдет. Только кто ему покажет дорогу?

Второго узелка ему ох как не хватает. Но не беда. Он обломает подсолнухи, вылушит семечки, наполнит бутылку водой. Соль и спички у него еще остались. Он еще вернется вместе с русскими солдатами и освободит всех, кого загнали в гетто. Командира он пригласит сюда, в свою «пещеру», и с улыбкой (отчего бы ему тогда не улыбаться!) скажет: «Вот где я скрывался»...

Берек глянул на свое убежище и изумленно ахнул. Ничего похожего на то, что он оставил несколько часов тому назад. И вообще это уже больше не убежище. «Крыша», которую он так старательно соорудил из веток и обложил мхом, кем-то раскидана, постель из сухих листьев открыта всем ветрам. Увидев это, Берек опрометью бросился в глубь леса. Нет у него больше прибежища, за которое он цеплялся, как утопающий за соломинку. Раздумывать было некогда. Ноги сами несли его. Не ждать же, пока тот, кто сюда приходил, схватит его за шиворот. Веткой сорвало с него картуз, до крови оцарапало щеку, но Берек мчался, не оглядываясь, ему казалось, что за ним гонятся, настигают и он даже слышит крики: «Держи его!..» Остановился он оттого, что в голове, как молния, пронеслась мысль: «А как же картошка и бутылка с водой?» Даже из пожара он должен был их вынести. А может, вообще он испугался зря? Сколько раз на рассвете приходилось ему слышать переключку петухов, мычание коров, лай собак. Ведь за полем с подсолнухами сразу начиналось село. Разве не может собака забрести в ближний лес? А уж забраться в такую «пещеру», как у Берека, для нее пустяк.

А может, в гостях у него побывал лесной зверь, скажем, еж или заяц, других зверей он здесь пока не замечал, а то и большая птица? Да нет. Филин свое черное дело творит по ночам. Днем он старается притаиться. Сороки же, что прилетают сюда на прокорм целыми семьями, сами вздрагивают от малейшего шороха. А у ежа или зайца не хватит сил на такие проделки. Что-то тут не так.

Береку не хочется верить, что его убежище обнаружил человек. А что, если вместе с собакой приходил ее хозяин? Придет ли он сюда еще раз? Не вздумает ли напасть на Берека, когда он уснет? Как же быть? Ночь он проведет там, где сейчас остановился. На рассвете, когда каждый звук слышен за версту, тоже с места не сдвинется. Потом будет наблюдать за своей «пещерой» и, если никто больше не придет, тогда только заберет свои припасы и двинется куда глаза глядят.

Так он и сделал. Картофелины оказались там же, где он их зарыл. А бутылку он оставил на виду — и она исчезла. Вот тебе и еж! Значит, здесь был человек! Кто же он? Добрый или злой? Хороший человек не отнял бы у него последние капли воды. Плохой — пожалуй, тоже: ведь этим он только предупредил бы: «Беги отсюда! И чем скорее, тем лучше для тебя». Нет, наверно, здесь был кто-то, кому безразлична участь другого человека. Мало того что выпил чью-то воду, еще и бутылку с собой прихватил. А то, что кто-то может умереть от жажды, его не касается: это ведь кто-то, а не он...

Еще целых два дня слонялся Берек среди деревьев. Оставшуюся картошку он испек, и, как ни старался растянуть подольше, это ему не удалось. Мучила жажда. Капли росы, которые он торопливо, пока солнце не высушило, слизывал с травы, с листьев, горла не достигали. Пересохший, сложенный трубочкой язык, видно, сам впитывал эти капли. Надо было уходить. Но прежде он должен был хоть раз напиться и поесть досыта...

## ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Подсолнухам еще нечем было поделиться с Береком. Из-под желтых лепестков пока выглядывали одни лишь белые пустотелые мешочки; сока в них не было и в помине. Семечки появятся еще не скоро. Правда, подсолнухи служили ему надежным укрытием. А под навесом густой пыльной тучи, поднятой возвращавшимся с пастбища стадом коров, казалось, его никто не разглядит.

На горке у кладбища одна из телок перехитрила пастуха: отстала, будто хочет почесать рогами бок, и под прикрытием того же облака пыли кинулась вправо, к кладбищенской ограде. Видно, дня ей было мало, чтобы насытиться на пастбище, и она губами, с которых стекала зеленая пена, принялась жадно хватать траву у забора. Телке грозил удар кнута. А Береку, если пастух его заметит? Прошли считанные минуты, пока пастух обнаружил пропажу, и Берек еле успел спрятаться среди могил.

Пастух, крестьянин в летах, лютовал вовсю, удары бича, будто выстрелы, рассекали воздух. Старик сыпал отборной, смачной бранью. Странно, но зла во всем этом Берек не ощущал. Возможно, оттого, что просто обрадовался человеческому голосу. Вот уже семь дней, целую неделю, он ни словечка не слышал и не произнес. Трудно объяснить, как это вышло, но Берек поднял голову и негромко сказал: «Дзень добры, дзядку». А «дзядку» этот, который, судя по его возрасту, мог бы и не расслышать приветствия, преотлично его услышал. Секунду-другую он стоял, изумленно уставившись на Берека, затем вдруг хлестнул своим длинным кнутовищем так резко и звонко, что, казалось, мертвые в гробах проснутся, и, не по годам стремительно повернувшись, снова рассек кнутом воздух и пошел прочь. До слуха Берека донеслись проклятия, на этот раз куда хлеще прежнего.

Вот тебе и первая встреча с человеком из деревни. Отец рисовал ее совсем иначе, а дедушка еще при этом поддакивал. Ошиблись. Да еще как! С тех пор как Берек остался в одиночестве, он впервые с досадой подумал об отце и деде. Но вскоре опомнился. В чем, собственно, он может их упрекнуть? Отсылая его из дома, они же должны были на что-то надеяться — на чудо, провидение, на то, что ему повстречается хороший человек... Они ведь пытались спасти его, уберечь от рук палачей. Теперь Берек знает: смерть может и здесь настичь его в любую минуту. Вот этот самый старик, что сыплет проклятиями, он ведь определенно скажет солтысу[3], что какой-то подозрительный человек скрывается на кладбище. Нет, Берек скорее согласится умереть от голода и жажды, чем еще раз приблизиться к человеку... Отныне с его глупыми мечтами, со всеми этими выдумками покончено! Хорошо еще, если за ним не придут сегодня же... Тогда он этой ночью совершит набег на какой-нибудь огород и наестся до отвала. Заберется в погреб и напьется молока. Мама непременно сказала бы: «Нельзя, мой мальчик, грех!» Я и сам знаю, что нельзя, что грешно, но что же, мамочка, остается мне делать? Больше уж, видно, мне грешить не придется, так пусть ангел смерти немного подождет. Ведь и умирающему дают лекарства до самой последней минуты, хотя и знают, что помочь ему невозможно. Разве не так, мама? Знаю, что ты мне ответишь: «До чего же, родной, горька твоя правда!»

Надвигалась ночь. Собаки в деревне, должно быть, почуяли, что где-то неподалеку скрывается чужой человек, и подняли оглушительный лай. Попробуй заберись в какой-нибудь огород или погреб...

Собаке на помощь поспешит ее хозяин: ты же вздумал его ограбить — и он вправе сделать с тобой, что ему заблагорассудится...

— Хлопче, покаж се, гдзе естес? — услышал Берек совсем близко голос пастуха. — Гдзе естес, глупче?

Берек хотел было бежать без оглядки, — пусть старик попробует догнать его. Но в голосе этого человека слышалась такая доброжелательность, это «глупче» так напоминало Береку привычку матери говорить ему: «Дурачок, ты же у меня умница», что он не двинулся с места и лишь притаился молча. А пастух заговорил сам с собой:

— Ну конечно, напугал я его еще больше, и он убежал. Что ж, оставить ему котелок? Так поди знай, вернется ли он сюда... А котелок ненароком попадет на глаза кому-нибудь и наведет на след.

Унести все домой — от Ядвиги спасу не будет, — старик сочно выругался и сплюнул.

— Дядьку, вы здесь одни? — робко спросил Берек.

— Один, децко мое. А как же иначе? Вдвоем такое дело не делают. Хотя что, собственно, я такое делаю? Ничего. У старых людей какие дела? Иду я своей дорогой, вот и остановился передохнуть.

— А котелок?

— Да что котелок? Крикнешь «Отдай!» — так я его тебе и отдам, только хорошо, если бы ты его потом вернул. У Ядвиги болит нога, иначе нипочем бы из дому не вышел — находился за день.

— Да как же, дедушка, я могу кричать на вас?

— Как? Сколько ваших уже погубили, а ты все еще спрашиваешь «как?», — глубоко вздохнул старик. — Ты, глупче, еще успеешь вдоволь накричаться. Только очень маленькие и очень старые выпускают дух молча. Матко боска, прости меня, грешного... Это во имя тебя Ядвига послала меня сюда, сжался же и не допусти, чтобы швабы меня истязали, как Юзефа. Юзеф ведь никому вреда не причинил, за что же ему такая участь?.. Сжался и защити нас от всякой напасти, матко боска...

— Дедушка, если у вас есть немного воды, дайте мне напиться. Я уже больше не в силах терпеть, дедушка...

— Что же ты, глупче, молчишь? С маткой боской я могу так проговорить до утра. Воды у меня нет, а вот кринку свежего молока возьми, но не прихватывайся, тебе нельзя. Хлеб, сыр и кашу я тебе дам с собой в дорогу...

— Мне некуда идти, дедушка.

— Разве я этого не знаю? Ты когда из местечка?

— Давно уже, дедушка, семь дней, как я в лесу. Не могу больше.

— Что не можешь, тоже знаю. Где ты был в лесу? В охотничьем домике?

— Нет, я не знаю, где это.

— Откуда тебе знать? Туда попасть не так просто. Когда-то лес там был очень густой, почти непроходимый. Это заброшенный охотничий домик. Недавно я был рядом, и мне показалось, что кто-то в нем есть. Должно быть, такой же бедолага, как и ты. Не бойся. Ведь только я об этом знаю. В охотничьем домике когда-то повесилась дочь помещика, и он запретил людям там появляться. А я Мацей — пастух, мне можно.

— Сказку о дочери помещика я тоже слышал.

— Слышал?.. Ешь, не спеши. Не давься. Я был ненамного старше тебя, когда своими руками перерезал веревку, на которой паненка висела, и снял петлю с ее шеи, а ты говоришь — сказка...

Тебя как зовут?

— Берек.

— Берек? Хорошее имя. Тут недалеко от нас, под Коцком, есть такой холм, «Горка Берека» называется. Слышал когда-нибудь? Там похоронен еврей-полковник. О нем песенка сложена: «Zginął

Вerek pod Koskiem»[4]. Чей ты? Сын Нохема-маляра? Что-то я твоего отца не знаю. А вот Янкеля Эмермана, шорника, того я хорошо знал. Все у нас в деревне заказывали у него упряжь: шлеи, вожжи, уздечки. С медными бляшками, белыми завязками и даже колокольчиками — что попросишь, то и сделает. Нет больше Янкеля...

— Его угнали в гетто?

— Какое еще гетто? Убили его. На той неделе. Да, на прошлой неделе. Какой день у нас сегодня? Четверг, а это было в субботу. По приказу солтыса наше село должно было послать в город десять подвод. Сосед мой своими глазами видел, как убили Янкеля, его жену и детей. Выволокли из погреба и на базаре застрелили.

— А Рину, Рину, его младшую дочь?..

— Должно быть, тоже. Сосед говорит, очень многих убили. Несколько стариков закрылись в синагоге и молились, так их там сожгли заживо. Ты ешь понемногу, ешь...

— А что стало с моим отцом, не слышали?

— Нет. Я ж тебе сказал, что твоего отца я что-то не припомню. Торбочка есть у тебя? Молодец! Дай я свою опорожню. А теперь, Берек, если хочешь прожить лишний день, иди, чего стоишь?

— Куда, дедушка Мацей, мне идти?

— А на это, я думаю, никто тебе ответа не даст. Об охотничьем домике я рассказал тебе просто так. Пойдешь ли ты туда — этого я знать не должен. Могу тебя проводить. В такой поздний час бандиты пьянствуют. Им не до нас. Заодно покажу тебе свое кукурузное поле. Это моя Ядвига мне велела. Початки еще совсем зеленые, но немного молочного сока в них уже есть. Если воспользуешься, я не обеднею. Да и все равно разрешения у меня ты просить не станешь. Пошли, Берек.

— Дедушка, а если держать путь на восток...

— На восток или на запад — это уж теперь без разницы. Далеко не уйдешь. Их тут всюду полно. Говорят даже, что чем дальше на восток, тем труднее теперь скрываться. В лесу еще можно. Другого места я не знаю. Пошли!

— Дедушка...

— Что «дедушка»? Иди за мной. Юзеф меня тоже звал дедушкой, хотя и он мне внуком не приходился. Три недели у него в доме скрывался его товарищ, они вместе в армии служили. Так нашелся такой Гжегож Нарушевич, который уже давно снюхался с гитлеровцами, состоял в Польской фашистской лиге, или как ее еще там называют, и их обоих выдал, и Юзефа, и его друга. Позавчера мы Юзефа похоронили. Возле его могилы я и застал тебя. Могу ли я после этого взять тебя с собой или послать к кому-нибудь другому? Старуха моя, Ядвига, будет за тебя богу молиться. Вечно она за кого-нибудь молится. Но я что-то не припомню, чтобы это кому-то помогло. Один бог знает, суждено ли нам с ней умереть своей смертью. Теперь от старости не умирают.

— Дедушка, как вы думаете, кто мог забраться в охотничий домик? Этот человек может меня выдать?

— Кто — этого я не знаю. Но тем, которые выдают, скрываться незачем. Для них все дороги открыты. Давай я лучше тебе скажу, где этот домик стоит. Туда идти порядочно. Слушай в оба уха и постарайся запомнить. Сперва увидишь высохшее болото...

## КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ...

Берек снова углубился в лес. Когда совсем обессилел, лег на землю, свернулся клубком и уснул. К

утру он до того окоченел, что, если б можно было развести костер, с головой забрался бы в огонь, глотал бы его.

Проще и быстрее, чем думал, добрался он до почти высохшего болота и оказался перед холмом, заросшим ольхой и лозняком. Отсюда хорошо был виден домик с остроконечной крышей, о котором ему говорил пастух. Издали он напоминал скирду сена. За весь день никто оттуда не выходил и туда не входил. Береку даже стало жаль, что там никого нет. Пока он решал, подойти ли ему поближе, начал накрапывать дождик, и все вокруг нахмурилось. Внезапно поднялся ветер, ветки сердито закачались у Берека над головой, как будто он в чем-то виноват. Возможно, так оно и есть. Он виноват, что не дает себя погубить. Чем он лучше тех, кого уже уничтожили?

Берек изо всей силы рванул дверь избушки и, не прикрыв ее, застыл у порога. Маленькое оконце было забито, но сквозь щели проникал слабый свет, и можно было разглядеть трухлявые бревна. Пахло гнилью и плесенью. Посреди домика торчала вросшая в землю колода. Когда-то она, видимо, служила столом. Вдоль стен валялись сгнившие доски. Это, наверно, были скамьи или лежаки, только давно рассыпавшиеся. И все же здесь можно было на время укрыться.

Ветер неистовствовал, срывая с петель открытую настежь дверь. У порога образовалась изрядная лужа. Берек прикрыв дверь и запер ее на ржавый засов. Сквозь полудрему, в промежутках между раскатами грома, ему померещились слабые стоны, стук в дверь, голос, напоминающий плач обессилевшего ребенка. Сквозь сон он подумал: не иначе ветер с ума сходит.

Но ему не померещилось. На рассвете, когда он осторожно приоткрыл дверь, он отпрянул от неожиданности.

— Рина! — вырвался у него душераздирающий крик, и, не веря своим глазам, он пробормотал: — Ри-ну-ля!.. Ри-ну-ля!..

Берек внес ее в домик и стал тормошить, умолял произнести хоть слово. Но Рина лежала, склонив голову набок, не подавая признаков жизни. Прошла, казалось, вечность, пока она открыла глаза, глянула на него, но не узнала и снова сомкнула веки. Потом у нее начался озноб, она стала давиться неудержимой икотой.

Больше двух суток Рина отчаянно боролась со смертью. Берек не отходил от нее ни на минуту. Едва шевеля спекшимися губами, она бормотала: «Пить, пить». У него еще оставалось немного молока, но не так-то просто было ее напоить, не пролив ни капли драгоценной влаги. Он прижимал ладони к ее лицу и ощущал пылающий жар. Исхудала она до того, что разорванное в клочья платье висело на ней как на вешалке. Искусанные комарами ноги распухли, покрылись волдырями.

Когда Рина наконец начала его узнавать, радости Берека не было границ. Она хватала куски вареного сыра, засохшей каши, глотала все, не разжевывая. Берек смотрел на нее, и ему не верилось, что это Рина.

От Риной Береку узнал, что его дедушке мучиться на этом свете больше не придется: он был в синагоге, когда ее подожгли.

Рина также слышала, что многих расстреляли на базаре. Кого именно — она не знает. (Иногда лучше, когда не знаешь.) Об этом ей рассказал ветеринар Войцеховский, пообещавший ее отцу спрятать девочку у себя. Тайник он вырыл на огороде, тщательно сровнял его с землей и укрыв. Вначале он убеждал Рину, чтобы она не тревожилась, — ее здесь не обнаружат. Но в ночь, когда в городе началась резня, он ее разбудил и велел поскорее уходить в лес, так как погромщики

перерывают все вверх дном и нигде от них нет спасения. Он рассказал ей, как добраться до охотничьего домика, и дал с собой буханку хлеба и кусок мяса. Этого, думала Рина, хватит на несколько дней, но она даже не успела и прикоснуться к еде. Она заблудилась и вышла на тропинку, ведущую из леса в местечко. На опушке леса ее заметили и стали стрелять. Пришлось бросить еду и бежать без оглядки. Она угодила в какие-то колючие заросли, все тело изодрала.

Охотничий домик Рина все же разыскала. Она бы наверняка умерла от голода и Берек нашел бы ее здесь уже мертвой, если бы не обнаружила у входа кусочек сыра и немного каши, такой же, какую она ест сейчас. Все это было завернуто в листья сырой капусты. Теперь она понимает, что это он, Берек, ей подбросил, но почему же тогда он оставил ее одну? Еда все равно не спасла бы ее, возможно даже, наоборот, погубила. Как только она немного поела, ей страшно захотелось пить. Тогда она решила вернуться к ветеринару и умолять его дать ей напиток, а там — будь что будет — просить, чтобы позволил ей умереть в укрытии на его огороде. Она уже было направилась туда, но по дороге подумала, что поступает нехорошо. Из-за нее ведь может погибнуть Войцеховский со всей семьей. Вправе ли она поступать так? Тем временем Рина снова заплуталась и тут-то в непролазной чащобе, в какой-то чуть ли не лисьей норе обнаружила бутылку, наполненную водой. Нечего смотреть на нее такими удивленными глазами, все это, может быть, и неправдоподобно, но если он ей не верит, она может показать ему эту бутылку.

В тот день, когда здесь появился Берек, Рина снова отправилась к той самой лисьей норе в надежде, что ей повезет и на этот раз, — может, удастся отыскать что-либо съестное. Но она ничего не нашла, а когда собралась в обратную дорогу, начался сильный дождь.

Ей бы остаться там на ночь, но ее тянуло в охотничий домик. Она к нему уже немного привыкла. Какие силы в такой крошечной тьме вели ее и как она снова смогла сюда добраться — этого она не знает. Когда же оказалось, что дверь заперта изнутри, то почувствовала, что сил больше нет. Пальцы свело судорогой, ее бросило в дрожь. Она поняла — здесь и умрет. Ну, а что было дальше — об этом он знает лучше нее. Можно себе представить, как она выглядела... И пусть он с ней не спорит. Хоть зеркала здесь нет, она и так догадывается, какой у нее вид.

— Ой, Ринуля, да что ты? Ты прекрасна, как принцесса.

— Что ты языком мелешь? Ты понимаешь, что говоришь? Ты хитрец и лгун. Сию же минуту отодвинься от меня подальше.

— Даже если вздумаешь меня ударить, я с места не сдвинусь. Тебя и поцеловать не грех.

— Молчи лучше, молчи! — она заткнула уши руками. — Видали, какой бесстыдник — ни бога, ни совести. Еще раз такое скажешь, и я убегу отсюда, слышишь, убегу!

— Я, конечно, отодвинусь, но почему же вчера, когда меня узнала, ты провела моим пальцем по своим губам и поцеловала?

— Я этого не помню. Но раз ты так говоришь, наверное, так и было. Знаю, что ты не лгун. Должно быть, мне показалось, что я уже умираю.

— Давай, принцесса моя, о смерти не говорить.

— Так или иначе мы у нее в руках, но все же прошу тебя не называть меня больше принцессой, а то, гляди, и я тебя награжу прозвищем.

— Каким?

— Это ты потом узнаешь.

— Скажи.

— Не хочу.

— Ну, Ринуля, прошу тебя.

— Если я принцесса, тогда ты...

— Принц, так?

— Так.

— Да не смейся. Разве принцы такие бывают? Во-первых, если хочешь знать, принц должен быть одет как принц...

— Тише! Ты ничего не слышал?

— Нет. Ветер немного утих, но все щекочет деревья, им, беднягам, невмоготу, и они качаются от смеха...

— Тебе хочется развеселить меня?.. Ой, послушай...

— Это смеются птицы на деревьях. Хочешь, пойду посмотрю?

— Не ходи. Не надо. Боюсь оставаться одна.

— А когда была совсем одна, не боялась?

— Последние дни я, кажется, забыла о страхе. Я думала только о том, что мне хочется пить...

— Вот я и пойду. Авось после дождя удастся из какой-нибудь ямки зачерпнуть пригоршню воды. Попробую из коры сделать что-нибудь вроде ковшика. На худой конец, недалеко отсюда болото. Вода там, правда, зеленая, покрыта плесенью. Но что поделаешь? Только бы никто на нас не наткнулся.

— А тот, кто оставил мне сыр... Он ведь обо мне уже знает. Или это все-таки был ты?

— Нет, Ринуля, не я. Но я знаю этого человека и тебе о нем расскажу. Его нечего бояться.

— Если бы я его увидела, то попросила бы у него иголку с ниткой. У меня такой вид, будто я от собак отбивалась, даже неловко с места подняться.

— Ладно уж, об этом особенно не тужи. Сейчас я тебе кое-что покажу. Закрой скорее глаза, ну закрой, что тебе стоит. Вот так. Одну минутку. Теперь можешь открывать. Ох и наряжу я тебя! Из этого костюма я давно вырос. Тебе же он в самый раз. Под курточку ты наденешь мою байковую рубашку. Разверни эту тряпицу. Здесь иголка и катушка ниток. Чего ж ты, глупенькая, плачешь? Минуло еще две недели. В то тревожное, полное смертельного страха время трудно было счесть, сколько дней в неделе: тридцать, шестьдесят? Нет, должно быть, куда больше. Берек и Рина сами не заметили, как повзрослели. Иногда, случалось, затеют ссору, слово за слово, гляди, кто-то лишнее сказал. И сидит Рина, сгорбившись, как сидела в свое время бабушка Берека, когда вязала носки. Но бабушка между делом сказочку расскажет, забавные сны припомнит, а Рина молчит. Стоит ей услышать малейший шорох, как она вздрагивает, и никакие увещевания Берека не в силах вывести ее из угнетенного состояния.

Лишь однажды Береку удалось добиться, правда ненадолго, чтобы Рина стала прежней, — кончилось же это ссорой. Они играли в «лакомые блюда». Дразнили сами себя и лишь распаляли голод. Слабым голосом, так как одно упоминание о еде причиняло ей боль, Рина вспоминала множество аппетитных кушаний, которые ее мама готовила по праздникам. О многих из этих яств Берек знал только понаслышке, никогда их не пробовал. Куда больше задела бы его голодное воображение такая немудреная, но привычная еда, как «кусочек черного хлеба», «ржаная краюшка», «черствая корочка».

Рина:

— Как тебе нравятся белостокские лепешки, которые пекла моя мама?

Берек:

— Должно быть, вкуснотища! Наверное, это даже лучше, чем лепешка с луком.

— Вот еще, сравнил.

— Белостокской лепешки мне пробовать не приходилось, а вот с луком — их моя бабушка пекла каждую пятницу.

— Что ты мелешь? Ты понимаешь, что говоришь? В прошлом году мама задумала отметить мой день рождения и устроила небольшой праздник. Все мы тогда уже изрядно голодали, но мама каким-то чудом сберегла немного муки, испекла белостокскую лепешку, разделила ее на небольшие кусочки и раздала всем детям. Наш младшенький, Пинечка, в один миг проглотил свою долю и еще просит, а давать ему больше нечего; тогда он собрал в горсть все крошки, отправил их в рот и, разведя руки, заладил: мо, ми, мо — дайте мне еще. Мама чуть не заплакала. А знаешь, Берек, сегодня, если не ошибаюсь, день моего рождения. Ты как думаешь, мама и ребята отметят его?

— Может быть... Если только они вместе.

— Вот еще придумал. Почему бы им быть не вместе? Может, в гетто не так страшно?

— Кто его знает...

— «Может быть», «Кто его знает», — передразнила его Рина. — Какой ты странный, Берек. Если «Кто его знает», тогда зачем нам было сюда забираться? Хочешь — пойдем вместе домой, не хочешь — проводи меня до опушки к ближайшей деревне. Оттуда я уж сама доберусь до местечка. Что молчишь?

— Ринуля, дорогая, нам некуда идти. Стоит высунуться из леса, как фашисты нас схватят и убьют.

— Почему? Детей никто не трогает.

— Почему — я сказать не могу. Как-то Мотл читал мне сказку про детей, которых вскармливают желчью и сердцем голодного волка, чтобы они выросли кровожадными и беспощадными. Может, эти убийцы и вырастают из таких детей.

— Так ведь это же сказка.

— Сказка... А мы тем временем двадцать четыре часа в сутки смотрим смерти в глаза. Почему?... Ой, Рина, мы ведь условились о смерти не вспоминать. Давай не будем больше. Лучше я спою тебе песенку, меня Мотл научил. Вот послушай:

...Один сказал:

— Я волк. Признаюсь,  
что я овечками питаюсь.

— А я Адольф, — другой в ответ, —  
и ем детишек на обед. —

Опешил серый — и во тьму  
удрал... не знаю, почему[5].

— Как же нам быть, Берек?

— Поживем — увидим...

## ГОРЕСТЕЙ — ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ

Лес, по-осеннему притихший, еще не вполне осознал, что наступила пора увядания, зато Берека и

Рину уже охватило предчувствие перемен. Деревья еще были зачарованы собственным блеском и великолепием. Не беда, если один-другой листочек поблекнет и отлетит или бронзовой шишке вдруг захочется стукнуться лбом о землю. Даже когда однажды на рассвете неожиданно повеяло холодом и травинки, украшенные сетью серебристо-белых кружев, пробудились ото сна, и тогда лес все это принял за шутку. Казалось, будто травы смотрят на листья с незлобивым упреком: «Что ж, коли вы такие шустрые и захватили все золото, придется нам довольствоваться серебром».

Так продолжалось до восхода солнца. Мягким прикосновением оно скинуло с трав прихотливо сотканный убор. Все заискрилось и засверкало. Но это было вчера. А сегодня солнцу уже незачем обольщаться, его надежды тщетны: прошел уже час-другой, как лучи согревают стылую землю, а морозец не отступает. Единоборство длится до полудня. В низких и затененных местах мороз не сдается, а на пригорках солнце пока его одолевает.

Дальновиднее всех оказались лесные жители: птицы, белочки и даже муравьи. Многие, те, кого природа наделила крыльями, не долго думая покидают лес. Куда лететь и надолго ли — им не надо подсказывать. Кто не может летать, также обходится своим умом: меняет жилье, перекрашивает одежду. Даже самые крохотные создания считают, что они не глупее лисы и порой не уступят в силе медведю. Да-да, коль им не под силу остановить наступление холодов, они постараются перехитрить их: впадут ли в спячку или как-нибудь иначе перетерпят долгую зиму.

Для всех в лесу есть выход. А для Рины и Берека? Им-то как быть? Ничего они придумать не могут, и не у кого совета спросить. И без того тесный и опасный мир стал для них еще теснее и опаснее.

Если бы вокруг домика росли только сосны да ели, постоянно стоял бы сумрак и можно было надежнее укрыться. Но здесь много лиственных деревьев, и после каждого порыва ветра, поднятой им вихревой пляски, они все больше оголяются и обнажают убежище Берека и Рины. Осыпающаяся листва покрывает землю, вместо того чтобы укрыть возвышающиеся над ней стены. А что их ждет, если сюда нагрянут даже не немцы и полицаи, а просто охотники? Обоим кажется, что и здесь, в некогда густом лесу, можно разглядеть дальние дали не хуже, чем в голой степи. Как только начинает светать, они покидают домик. Они никогда раньше так не боялись темноты, как теперь — наступления дня. Днем надо быть начеку. Взгляд напряжен, слух обострен.

Уже несколько раз, когда их не было на месте, какой-то «добрый ангел» оставлял им то ковригу хлеба, то кусок свинины и немного соли. Берек говорит, что это дело рук деда Мацея. Рина Береку не верит. Ей кажется, что здесь не обошлось без чуда. «Если тот, кто, по словам Берека, им помогает, обыкновенный пастух, то, — рассуждает она, — его ведь за это могут сурово наказать, даже расстрелять. Чего же ради пойдет чужой человек на такой риск? Даже если он предстанет перед ней в виде обыкновенного старичка, для нее он — чудо, переодетый ангел». Рина всем сердцем верит, что добрый ангел, пусть он, как Берек утверждает, зовется дедом Мацеем, спасет их. Почему же тогда он этого не сделал до сих пор? Может быть, потому, что, как говорил ей дед, светать начинает после наступления полной темноты.

Как-то вечером, когда они возвратились на ночлег, им бросилось в глаза, что дверь распахнута настежь и прижата к стене колом. Никаких чужих следов внутри не было. И все же Берек сказал, что это кто-то предупреждает их о надвигающейся опасности и им отсюда надо уходить. Как ни сопротивлялась Рина, но на неделю им пришлось исчезнуть. Первые два дня до их слуха доносилась отдаленная стрельба, глухие взрывы, лай собак. После этого наступила тишина. Слоняться по лесу,

не имея крыши над головой, было невыносимо. Сначала к домику осторожно подобрался Берек. Дверь была прикрыта. Внутри он обнаружил кулек сухарей, несколько вареных початков кукурузы и три коробка спичек. Лучшего гостинца и более утешительного сигнала и ожидать было нечего, и Берек побежал звать Рину.

Миновал еще месяц, и их снова таким же способом предупредили об опасности. На этот раз Рина наотрез отказалась оставить обжитое место. Ни за что. Никуда она не пойдет. Провести такую длинную холодную ночь под открытым небом ей неважно. И настояла на своем. Убегать им пришлось, уже когда ночь была на исходе и они чуть не угодили в лапы немцам. Гитлеровцы кого-то разыскивали, а может быть, за кем-то гнались и сутки пробыли в охотничьем домике.

Когда Берек и Рина приблизились к своему жилью, они увидели почти у порога кучку золы от догоравшего костра. Внутри домика и вокруг него были разбросаны пустые бутылки, остатки еды. Судя по всему, недалеко отсюда кормили лошадей, только не армейских — они были без подков. Виднелись следы крови. Берек подумал, что одна из лошадей, наверно, была ранена. И в самом деле — среди кустов лежал конь с высунутым языком и вылезающими из орбит глазами. Раза два он пытался приподнять голову. Рина опустилась на колени, нарвала пучок пожелтевшей травы и ласково заговорила с ним:

— Кось, кось, кось, поешь немного.

Вероятно, никто до сих пор так с конем не разговаривал, не ласкал его. Раздувая ноздри, он тихо заржал в ответ. Но ничто уже не могло его спасти.

Если бы не конина, они умерли бы с голоду. Это была царская еда. Изголодавшиеся, как весенние волки, они в первые дни наедались до колик в животе. В лесу, подальше от доли-ка, Берек отодрал большой кусок березовой коры. Он свернул ее трубой и внутри развесил нарезанные длинные полосы мяса. Под трубой, в глубокой ямке, он разложил костер так, чтобы слабый огонь давал побольше дыма. За три ночи (днем они боялись, как бы дым не заметили) получилось порядочно копченого, даже чуть присоленного мяса. Опасаться, что оно быстро испортится, не приходилось.

Рина похвалила Берека:

— Видно, когда бог делил ум, ты под кровать не прятался. Голова у тебя работает, все ты знаешь, все ты умеешь.

На что Берек заметил:

— Если бы я, как ты говоришь, на самом деле все знал и умел, мы бы здесь так долго не сидели.

Рина с этим согласилась. Она повторила то, что ей не раз приходилось слышать от старших:

— Ум и счастье — что дырявый мешок. Горестей — больших и малых — у нас хоть отбавляй, и оставлять нас они не собираются. Видно, такова наша злая участь.

Горько — хуже некуда... Осталось недолго ждать, когда ляжет снег. Тогда собственные следы их и выдадут. Холод пронизывает до костей. Мороз слепит глаза алмазными блестками. Чтобы хоть немного согреться, приходится все время двигаться, а силы на исходе. Исхудали они так, что стали легкими как перышки, но даже слабый хруст веток под ногами кажется им оглушительным. Нужно было немедленно что-то предпринять. И Берек решил пойти один к знакомому полю у села, где жил дед Мацей.

## Глава вторая

### У ДЕДА МАЦЕЯ

## БАБУСЯ СВОЕГО ДОБЬЕТСЯ

Стадо паслось на сухой, низко скошенной стерне. Трудно было понять, что съедобного находили коровы на таком поле. Кукурузу и подсолнухи почти всюду успели убрать, и незаметно подкрасться к тому месту, где дед Мацей пасет скот, оказалось не так просто. Берек долго лежит неподвижно, почти одревеневший, среди беспорядочно поваленных стеблей и ждет, когда стадо подойдет поближе. Деда Мацея он узнал еще издалека, но возле него вертится какой-то парнишка лет тринадцати.

Травы на поле — кот заплакал, и какая-то шустрая коровенка пустилась сюда, к кукурузному полю, а за ней — пастушонок. Ему казалось, что завернуть скотину — дело пустячное, но не тут-то было. Береку волей-неволей пришлось вскочить с места. Не успел он пробежать и нескольких шагов назад, к опушке леса, как мальчик окликнул его:

— Не бойся, не убегай! Я скажу деду, и он сюда подойдет. Что, не веришь мне? Я знаю, кто ты. Ты Берек, а меня зовут Тадек. Рина еще жива?

— Рина? — Берек остановился. — Рина? — переспросил он недоуменно, как будто это имя он слышит впервые; нет, он не даст себя провести! Но тут же подумал, что зря испугался, и ответил: — Если за время, что я шел сюда, с Риной ничего не случилось, она жива. Но как только выпадет снег, нам обоим крышка.

— Возьми поешь, — потянулся Тадек к своей заплечной торбе и достал оттуда ломоть хлеба, — согрейся, а молока я сейчас надою. Баба Ядвига тоже говорит, что, как только ляжет снег, вам придется худо. Если бы не ты, Рина давно бы жила у нас. А так дедушка против. Понял?

— Еще как понял! — У Берека на шее задрожала жилка. — Что я могу поделать, если она не хочет оставлять меня одного?

— Бабуся своего добьется. Деду придется уступить. Ты не думай, он хороший! Но он боится моего дяди.

— Твой дядя — это ж его сын?

— Ты думаешь, что деду Мацею я прихожусь внуком? Я ему чужой. Был чужим. Мы жили в деревне под Белостоком. Отец и мать учительствовали. Нацисты повесили их. Пришлось мне уйти сюда к дяде, маминому брату. Его зовут Гжегож Нарушевич. Но он тоже нацист. Он велел деду Мацею взять меня в подпаски и получает за меня плату. Он здешний солтыс — распоряжается несколькими деревнями в округе.

— Тогда Рине нельзя быть в деревне.

— Почему? Бабуся говорит, что как раз наоборот. Покуда я у них живу, ни один полицей не станет искать кого-нибудь в этом доме.

— И часто твой дядя к вам приходит?

— Редко, но бывает. Как-то он принес мне подарок. Часы. А когда убрался, мне пришлось оправдываться перед бабой Ядвигой за то, что я не мог заставить себя сказать ему спасибо. Своих детей у Нарушевича нет, и он думает, когда кончится война, взять меня к себе. Ну что ты все пятишься? Я его знать не хочу. Он говорит, что свою сестру, мою маму, не раз предупреждал, что она плохо кончит. Она его не послушала и за это получила по заслугам. Никто, говорит он, кроме нее самой, в этом не повинен, а отца моего давно надо было поставить к стенке. Он надеется, что когда я подрасту, то сам все пойму.

— Тадек, что ты мне сказки рассказываешь? О таких вещах чужим не говорят.

— Ты меня не учи. Мне что, тебя еще бояться?

— Меня? Никогда.

— Чего ж ты ерунду порешь?

— Сам не знаю... Говорю, что думаю.

— А ты не думай, что мне лучше, чем тебе. Если бы я мог, задушил бы этого гитлеровца своими руками или отравил. Вместе с отцом и матерью повесили еще троих. Только брату отца удалось бежать. Всех их выдал Нарушевич. Как-то пришел он ко мне пьяный и все похвалялся, какие у него большие заслуги перед немцами.

Издали послышался ворчливый голос.

— Слышишь? Это дед меня зовет. Я с тобой заговорился. Сейчас скажу ему про тебя. Что бы он тебе ни говорил, но послезавтра, как только солнце зайдет, надо тебе и Рине быть здесь, на опушке леса. Все будет так, как хочет баба Ядвига. А она свое уже сказала.

— Тогда, может, лучше будет, если я сейчас с дедом Мацеєм не буду встречаться?

— Не знаю. Хочешь, я сегодня потолкую с бабусей и приду к вам?

— Ты нас не найдешь.

— Ты так думаешь? А кто приносил вам еду, кто дважды предупреждал вас, что жандармы собираются прочесывать лес? В лес я хожу запросто. На селе знают, что я вырезаю дудочки из бузины и липы, деревянные ложки, плету лапти из лыка.

— А дед знал, куда ты идешь?

— А как же! Вначале он мне сам показал дорогу к вам.

— Тогда скажи ему, что я здесь, и пусть поступает как знает. Я буду ждать.

Дед Мацей пришел. Башлык у него был надвинут низко на лоб. Не сказав ни слова, он протянул Береку ломоть хлеба, котелок молока и, старчески сутулясь, смотрел, с какой поспешностью и жадностью тот ест и пьет. Потом рукавом кацавейки вытер набрякшие морщинистые мешки под глазами и, как бы оправдываясь, сказал:

— Куда ни повернешься, ветер все дует не в спину, а в лицо. Так вот, если вы до сих пор еще живы, значит, на то божья воля. Против бога поступать нельзя. Тадеку я запретил ходить к вам.

Послезавтра, если живы будем, я буду вас ждать. Возьми несколько вареных картошек и кусочек сыра. Смотри, чтобы в домике следа вашего не осталось и духу не было. Лес-то с глазами и ушами. Это ты теперь уже и сам понимаешь. Сейчас поднимется ветер. Не стой, иди!

— Дедушка Мацей, откуда вы узнали, что Рина со мной?

— Откуда? Лес мне рассказал.

...Пришел за ними не Тадек, а дед Мацей. В деревню он их привел, когда у всех двери были уже на запоре, а на улице не видно было ни души. Шли они крадучись, стараясь ступать неслышно. Не успели Рина и Берек переступить порог, как их обдало запахом горячего борща и домашнего тепла. Баба Ядвига встретила их ласково. А дед Мацей, как будто до него только теперь дошло, на что он решился, не знал, куда себя девать. То пытался взгромоздиться на большой сундук, то направлялся к комоду, который когда-то соорудил из двух шкафчиков — один поверх другого, по дороге наткнулся на щипцы для углей и чуть было не упал.

Баба Ядвига указала деду на стул, а так как он все продолжал метаться по избе, то получил нагоняй.

Правда, ее брань скорее походила на добродушное ворчание.

Они сели к столу. Мерцала коптилка. Тадек отхлебнул несколько ложек и пододвинул Береку почти полную тарелку борща. Баба Ядвига провела двумя пальцами по углам рта и сказала:

— Если сыт, вылей обратно в горшок. Им нельзя много есть.

Потом пили чай. Рине и Береку казалось, что все это происходит во сне. Им налили настоящий чай и дали по крупинке сахарина. Их охватила сладкая истома. Мысли рассеялись, точно паутина от дуновения ветра. Но дед Мацей напомнил, что пора забираться в тайник.

Убежище им соорудили на чердаке. Первым ступил на лестницу Тадек. Пробирался он тихо, как кошка. В сене, заполнившем почти весь чердак, в пыльном полумраке у дымохода, заранее сделали потайное углубление, где можно было лежать скорчившись, но нельзя было сидеть. Постель была застлана рядом и покрыта суконным одеялом и рваным тулупом. У изголовья лежали подушечка и ватная фуфайка. После долгих скитаний по лесу эта постель казалась им царским ложем.

Однако проснулись они еще до того, как стало светать. Холод пронизывал до костей. Чердачное оконце к утру затянуло морозной синевой. Ветер свистел, завывал в трубе.

Первое время еще было терпимо, но с каждым днем мороз набирал силу. Такой холодной зимы давно уже не было. Не то что ходить по чердаку — порой даже вылезать из своей норы они не решались. К тому же сено таяло на глазах. Лошади и корове нужен был корм.

В начале января ударил мороз, да такой сильный, что им грозила опасность превратиться в ледышки. Как ни страшно было оставаться на ночь в доме, баба Ядвига вечером велела им спуститься с чердака. Они вошли в дом и сразу кинулись к горячей печке.

Окна были снаружи закрыты ставнями, а изнутри занавешены. Дед Мацей устроился на своем сундуке. Баба Ядвига возилась с горшками. Тадек за столом при свете керосиновой лампы что-то вырезал из дерева. Берек подсел к нему, и они стали мастерить вместе. С тех пор так и повелось: все длинные зимние вечера и ночи они мастерили, а на рассвете Рина и Берек забирались под соломенную стреху.

## В ДОЛГИЕ ЗИМНИЕ НОЧИ

Кому могло прийти в голову, что из поделок получится что-то стоящее и найдутся охотники за них платить, и даже вполне прилично. Первым до этого додумался дед Мацей. Несколько вечеров подряд он внимательно присматривался, как мальчики работают, а на третий или четвертый, едва они взяли в руки ножики, подошел к столу и стал тыкать указательным пальцем.

— Все, что вы делаете, пустое. Кому теперь нужны игрушки? Надо чем-то путным заняться.

Табакерки будем делать, шкатулки. Когда-то я сам любил вырезать, и где-то еще заваялся инструмент, разные там пилочки, ножовки, долота. Припрятано у меня и сухое красное дерево, медная проволока и даже перламутровые пуговицы найдутся. Теперь ни за какие деньги не достать. Их вправляют в дерево. Я, бывало, делал неплохие табакерки, с рисунком. Можно чередовать слой светлого дерева, слой темного, вот вам уже готовый рисунок. Товар, ручаюсь, пойдет нарасхват.

Хотя от этого мы вряд ли разбогатеем.

— «Разбогатеем, не разбогатеем»!.. — передразнила его старуха. — Нам бы как-нибудь жизнь сберечь, а от богатства нас бог оградил. Чего только не придумает этот человек. Надо же, что себе втемяшил!

До Мацея ее слова не доходили. Он высек из кресала огонек и, раскуривая, гнул свое:

— Хорошо обычно платит тот, кто покупает ларец для хранения драгоценностей. А раз он платит, то ему хочется, чтобы такая штукавина была только у него одного. Пчелам и тем подавай разные ульи. Мы тоже могли бы делать подобные вещицы, если бы кто-нибудь из вас умел рисовать.

Тадек загорелся этой идеей. О всяких там свистульках и башмачках, которые он раньше вырезал из коры, он и думать забыл. Новая работа не на шутку увлекла его. Разрисовывал коробочки, и, по мнению деда Мацея, неплохо, — Берек. Все, кроме бабы Ядвиги, с усердием взялись за новую работу.

Долгие зимние ночи проводили они в полутьме и работали до изнеможения, а при свете дня спали. Чтобы сбыть товар, нужно было ездить в город. Для этого помимо аусвайса — удостоверения личности, выданного немцами, требовалась еще справка от солтыса, что продавец уплатил все налоги и ему разрешается продавать, скажем, глиняные горшки, макитры или другие предметы собственного изготовления.

Каждый знал — налоги могут быть полностью уплачены, но, если не дать в лапу солтысу, можно ходить за ним сколько угодно и нужной бумаги не получить. Обращаться к нему ни у кого охоты не было, но делать это приходилось почти каждому.

Дед Мацей потом рассказывал, как он пришел к солтысу за бумагой. Показал он ему только половину из того, что собирался везти в город, при этом самое дешевое. Восседавший с важным видом Нарушевич не ожидал увидеть в руках Мацея такого рода товар. В глазах под кустистыми бровями вспыхнул огонек. Он принялся внимательно рассматривать поделки, задумался и вдруг засыпал деда вопросами:

— Кого ограбил?

— Никого.

— Кто это тебе дал?

— Никто.

— Чья работа?

— Как «чья»? Моя.

— Врешь. Откуда тебе знать такие рисунки? Это ж тебе не шпаклевка, которую ничего не стоит состряпать из мела, жидкого клея и олифы. Это ведь художественное изделие...

— Спросите у старого ксендза, и он вам расскажет, какие вещицы я когда-то мастерил.

— Больше ни к кому меня посылать не собираешься? Ксендз, если мне понадобится, сюда придет. В последний раз спрашиваю — чья это работа?

— Моя и... Тадека.

— Та-дека?

— Я его обучаю ремеслу.

— Пустые бредни! Тоже учитель нашелся! Тадек, говоришь! Это не для его мозгов, не по его годам.

— Что до головы и до рук, то бог его не обидел, а годов у меня столько, что нам на двоих хватит.

— Если у Тадека такая голова и такие руки, то почему ты мне вначале сказал, что это только твоя работа?

— Сказать, что мы работаем вдвоем, я смогу только через год, если, бог даст, доживем.

— Вот это, пожалуй, ты правду сказал. Раз уж Тадек попал в руки к такому, с позволения сказать, учителю, как ты, ничего удивительного нет. Теперь ты молчишь, сказать тебе нечего?

— Сказал бы, да побаиваюсь.

— Вот как! В таком случае придется тебе язык развязать. Говори, только без загадок.

— Ко мне вы его привели в подпаски, его жалование получаете вы. Учителем я не нанимался, о чем же тут говорить? Со стамеской и ножовкой я как-нибудь сам управлюсь, нарисовать картинку на коробочке тоже сумею. Покупатели найдутся, ведь других резчиков, думаю, в наших краях больше нет. Так что, как хотите, обойдусь и без Тадека.

— Так, так, свой длинный язык ты все-таки развязал. Но смотри, как бы его не укоротили. Чего глаза вылупил? Сколько собираешься выручить за эти четыре табакерки и за шкатулку?

— Само собой, как можно дороже, но ведь здесь восемь табакерок и шкатулка тоже не одна.

— Оказывается, ты и считать умеешь. Заруби себе на носу: отныне и впредь будешь все делить пополам, а чтобы до тебя скорее дошло, скажу проще: будешь оставлять на свою долю со всей выручки не больше половины. Нечего руку к уху прикладывать. Слух у тебя пока еще не совсем пропал. Не согласен — можешь отказаться. Но тогда тебе придется взять патент, а это обойдется намного дороже. И еще, чтоб ты знал: кое-что из твоей доли причитается Тадеку, так что пока четвертую часть, нет, одну треть своего заработка также будешь отдавать мне. Предупреждаю, если вздумаешь меня обмануть, тебе уж больше ни одной табакерки не продать. Продавать их я могу и без твоей помощи. Если дело окажется выгодным, то коровы и телята обойдутся без тебя и без Тадека. Найдутся другие пастухи. И смотри, чтоб мой Тадек через полгода знал в этом ремесле толк не хуже тебя. А теперь, — вытащил он из кармана золотые часы, — получай бумагу, и больше тебе здесь делать нечего. Постой. Как возвратишься из города, сначала ко мне заедешь, а уж потом домой. Лишь по дороге в город деда Мацея по-настоящему охватил страх. Шутка сказать, с кем он затеял спор! А что, если этому бандиту пришло бы в голову хорошенько перетряхнуть сани? Начнет с саней, а потом и весь дом перевернет вверх дном, от подвала до чердака. От одной этой мысли у деда Мацея на лбу выступили капли пота, а пожелтевшие от табака пальцы задрожали. Ну, он-то, допустим, попал впросак, но как это Ядвига могла допустить, чтобы он связался с этими безделушками и с солтысом? Хотя, с другой стороны, чему тут удивляться? Сама она уготовила петлю на шею себе и ему, сама же ее и затянула. Тайком делиться, пусть даже последним куском хлеба, с несчастными детьми — он не против. Это — куда ни шло. Но так рисковать собственной жизнью... И как долго это еще будет продолжаться?

Так или иначе, если даже чудом они переживут зиму, дальше держать Берека и Рину у себя он не сможет. Смертный приговор им давно подписан и скреплен печатью, а раз так, людоеды рано или поздно их найдут и пытками добьются признания — кто помог им так долго скрываться. Петля, которая затянется на его шее, маячила перед глазами Мацея, и у него сжималось сердце. А он еще связался с какими-то табакерками и шкатулками. Тьфу, пропади они пропадом! Мало ему несчастий, так черт его надоумил самому себе изготовить ловушку. Озолоти его — в город он больше не поедет. Угнетенный мрачными мыслями, с тяжелым сердцем добрался дед Мацей до моста, ведущего в город. Жандарм с бляхой на груди прощупал его взглядом. Лошадь по привычке подалась было влево, на базар, но дед Мацей произнес вслух несколько крепких слов и тут же повернул ее направо, к каменному дому, в котором жил пан Кульчицкий. Еще много лет тому назад пан Кульчицкий охотно покупал изделия Мацея и всегда платил честно, без обмана.

Это, пожалуй, был первый случай, когда, продавая свой товар, деду Мацею не пришлось

торговаться. И как было торговаться, если покупатель предложил цену впятеро больше той, на которую дед рассчитывал. При заключении сделки каждая из сторон обговорила свои условия. Дед Мацей: если кто спросит, пан Кульчицкий скажет, что купил лишь четыре табакерки и одну шкатулку. За это количество он должен рассчитаться тут же, а за остальной товар — в другой раз. Пан Кульчицкий: дед Мацей свой товар никому другому не будет ни продавать, ни предлагать. Если солтыс сам займется продажей, Кульчицкий будет вести коммерцию и с ним. Устный договор был здесь же скреплен. На столе появилась бутылка водки, закуска, и дед Мацей с паном Кульчицким попрощались как старые, добрые друзья. Но ни водка, ни выручка, ни приобретенные на базаре покупки не грели деда Мацея. На сердце у него по-прежнему лежал тяжелый камень.

Надо было раз и навсегда прекратить поездки в город, но соблазн был велик, и дед Мацей еще дважды отправлялся к Кульчицкому со своим товаром. Правда, ни одной коробочки он от солтыса не рискнул утаить. Вернее, не скрывал, сколько изделий везет в город, но вез-то он не все, опасаясь подозрений: вряд ли двое могли сделать столько коробок, табакерок и ларцов. Часть пришлось спрятать, придерживая до лучших времен.

### РИСУНОК ПОДВЕЛ...

Как-то в полдень в деревню нагрянул солтыс в сопровождении нескольких полицаев. Такое случалось и до этого, но все же...

Берек и Рина знали, и об этом не надо было их предупреждать, что до тех пор, покуда Тадек не позовет, они должны лежать тихо, как мыши, без единого звука. Дядя пришел навестить своего племянника. Он чинно переступил порог, баба Ядвига сразу кинулась за скатертью, но гость махнул рукой: нет, не надо. Больше того, он сам поставил на стол что-то завернутое в платок и велел деду: — Разверни! — И тут же: — Открой!

У шкатулки, которую дед Мацей открыл, имелись две крышки, и Тадеку казалось, что из-под каждой крышки вот-вот выскочит немецкий солдат и схватит за горло его, бабу и деда. Сделана была вещица превосходно. И заслуга в основном — Берека. Он долго с ней возился, особенно когда наносил рисунок. Чего же хочет от них «любимый» дядя?

— Чья работа?

— Наша, — ответила за всех Ядвига.

— Ты им тоже помогаешь?

— Да, языком молоть, — попыталась она шуткой немного рассеять напряжение. — Мужчины садятся за работу, а я им еду готовлю. Так что, можно сказать, делаем вместе.

— «Можно сказать, можно сказать»... Вы у меня сейчас все скажете, и не вздумайте выкручиваться. Вот ты, Тадек, подойди поближе и отвечай. Кто эту шкатулку сделал?

— Дед Мацей и я.

— Эта песенка мне давно знакома. Вы все ее быстро выучили, смотрите, как бы еще быстрее не пришлось мне выбить ее из ваших голов. Что в этой шкатулке сделал ты и что сделал старик?

— Стенки сделал дед Мацей. Я ему помогал. У меня получается еще не очень хорошо. Проволоку он сам приделал. Он говорит, что я могу обжечься.

— Почему это обжечься?

— Проволоку надо накаливать и выгнуть так, чтобы она для себя выжгла в дереве желобок

определенного рисунка. Это надо уметь.

— А какой такой желобок нужен вам?

— Когда как. Это зависит от узора. В этом вся красота заключается. Вот мы и стараемся.

Солтыс вскочил с места, замахнулся и заорал:

— Смотри мне прямо в глаза и отвечай, не то кости переломаю: кто это «мы»?

— Я и дед.

Солтыс на какое-то мгновение застыл со вскинутой рукой, будто никак не мог вспомнить, для чего он ее занес. Опустить ее на голову Тадека ему что-то помешало. Старик как бы отодвинулся на задний план, а на переднем оказался Тадек. Он отвечает. Он говорит. Этот маленький негодяй знает, где собака зарыта, он думает его, своего дядю, перехитрить и принять удар на себя. Недаром говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Ничего, сейчас, племянничек... Розог ему не миновать. Он их вполне заслужил. Но пока попробуем по-хорошему. Пан Нарушевич проглотил слюну и уже спокойно продолжал:

— Я хочу услышать, кто из вас что делает. Кто изготавливает шкатулку и кто делает на ней рисунок. Но ты уж, будь добр, не путай.

— Я не путаю. Подбирать слои дерева по колеру, выложить узор — из проволоки или перламутра — это моя работа. Дед Мацей видит уже плохо... Он говорит, что моя голова забита черт-те чем, но за «черт-те что» платят подороже. Нарушевич на минуту закрыл глаза и раза два тряхнул головой, будто сильно устал, у него замелькало перед глазами. Нет, теперь он убежден: Тадек знает, что его, солтыса, сюда привело.

— Тадек, я хочу знать, кто рисовал узоры на крышках, ты или эта старая галоша, что стоит одной ногой в могиле?

И тут на Тадека что-то нашло. Он чуть было не закричал на Нарушевича. Видимо, никак не мог понять, чего от него хотят, чего этот бандит добивается своими вопросами, но почувствовал, что, если бояться, может быть еще хуже. Отчетливо выговаривая слова, Тадек произнес:

— Вы понимаете, что вам говорят? Я ведь вам объяснил: вырезать, полировать, лакировать и даже клеить — всему этому я еще долго должен учиться у деда, а вот рисунки — это мое дело.

— Я буду указывать пальцем, а ты отвечай: «да» или «нет». Темная полоса, светлая полоса, снова темная — это и есть рисунок?

— Да.

— Вот эти завитушки из проволоки — рисунок?

— Да.

— Верхнюю крышку ты разрисовал?

— Да.

— А вторую — тоже ты?

— Да.

— А проволоку в желобке тоже ты приладил?

— Нет.

— Кто же делал рисунки?

— Я, я, а дед Мацей прилаживал проволоку.

— Как же ты рисовал?

— Мелом. Рисовал я мелом. Не верите? Вот в углу лежит мел, а вот коробок, и я при вас мелом нарисую то же самое. Это же так просто.

— Хорошо. Верю тебе. А откуда ты берешь рисунки?

— Как откуда? Из головы. Что тут мудреного?

Нарушевич окинул Тадека пронизывающим взглядом сверху донизу.

— Сперва я твою голову размозжу и посмотрю, как там насчет рисунков, — ими там и не пахло. Но даже если я их и обнаружу, все равно не поверю. Так что перестань прикидываться, будто ты ничего не знаешь, и скажи мне, кто эти рисунки придумал?

— Я.

— Покуда ты у меня в руках, советую тебе еще раз хорошенько подумать. Со мною играть в жмурки нечего. Ты сейчас сам поймешь, что можешь только сделать себе хуже. Этим делом занимается гестапо, а там мне объяснили, что эти рисунки стары как мир. В гимназии ты учился и лучше моего знаешь про всяких там римлян, греков, египтян и, как их еще там звать, финикийцев. Это их штучки. Ты как думаешь?

— Может быть.

— Кровь в твоих жилах не ахти какая чистая. Отец твой наполовину литовец, а литовцы заслуживают презрения уже за то, что они жидам даже погромов не смогли устроить. Ты, к сожалению, больше на него похож, чем на свою мать. Но ты ведь не грек, не финикиец, откуда же тебе знать их финтифлюшки?

— Не знаю. Может, это мне запомнилось оттого, что я такое видел где-то на картинке или в учебнике. Вы ведь знаете, книг у нас дома было много.

— Неужели ты думаешь, что я пойду давать показания, чтобы тебя выручить? Если ты только вздумаешь упомянуть мое имя, тебе еще хуже будет. Только с глазу на глаз можем мы говорить о таких вещах. Твоя мать была полькой, а отец — наполовину литовец. Евреями ведь не были ни она, ни он, так?

— Я вас не понимаю.

— Ты очень хорошо понимаешь, но все еще надеешься, что тебе удастся меня обмануть. Из-за финикийцев меня в гестапо не стали бы вызывать, и я бы к тебе сюда не приехал. Кто нарисовал на второй крышке вот этот еврейский подсвечник с семью трубками? Кто, я у тебя спрашиваю? Молчишь? Захотел, как твой отец, быть героем, а как только я тебя прижал к стене — в штаны наклал. Посмотри в зеркало и увидишь, что твое лицо тебя выдало. Теперь ты уже знаешь, что попался. У тебя один выход — скажи, кто эту пакость тебе подсунул. Послушаешься меня — попробую тебе помочь. Гарантии не даю, но, может быть, отделаешься розгами и тебя отправят на работу в какой-нибудь местный лагерь или в Германию. А вот этой старой перечнице, — указал Нарушевич на деда Мацея, — ему никто уже не поможет, даже если он и не виноват. Коль на него пало подозрение, ему одна дорога — в яму. К тому же он стар настолько, что от него и пользы ни на грош. Никто не станет тратить время, чтобы доказывать его вину. Пока я с тобой разговариваю по-хорошему, потому что, кроме меня, у тебя никого нет. Твоему дяде, брату отца, бунтовщику Станиславу Кневскому, если он еще жив, так или иначе виселицы не миновать. Днем раньше, днем позже, но он попадет к нам в руки. После войны, если только ты к тому времени останешься жив и возьмешься за ум, я заберу тебя к себе. Должно быть, за чужие грехи, может, за грехи моей сестры,

бог не дал мне другого наследника, кроме тебя, чтобы было кому оставить мое добро. Все! Это я в первый и последний раз разговариваю так с тобой. Возьми в руки чистый лист бумаги, перо и напиши то, что от тебя требуется. На дверь нечего оглядываться, там в сенях стоит полицай с винтовкой, а она стреляет. Теперь пора перекинуться словечком со старыми хрычами. С вами я так долго возиться не намерен, — повернулся он к Мацею и Ядвиге, которые стояли, прислонившись к стене, не смея произнести ни слова.

— Дядя, еще одну минутку вы можете меня послушать? Можете? Я, конечно, испугался. Раз, как вы говорите, такой рисунок вышел, то вы уже ничем мне не поможете, но вы все-таки должны знать, что никто в этом не виноват. Никто, и я тоже. Пустите меня, и я покажу вам, откуда срисовал этот подсвечник.

— Куда тебя пустить?

— На еврейское кладбище.

— Потом захочешь, чтобы кого-нибудь из гроба вынули.

— Нет. На десятках плит вы увидите там такие рисунки.

— А тебе-то что до этого?

— Как — что? Разве мало мы носились по еврейскому кладбищу, играли там? Как хоронят греков, мне видеть не приходилось, а евреев... С сыном ксендза мы не раз прятались за деревьями и наблюдали, как они хоронят своих покойников. Теперь я понимаю, что это я запомнил рисунки на тамошних плитах. Если вы мне и теперь не верите, то поезжайте туда сами и посмотрите.

— Сдалось мне твое кладбище. Кому надо, тот уж как-нибудь дознается, откуда взялись твои жидовские художества. А если ты снова вздумаешь такую мерзость рисовать...

— Что я, сумасшедший?

Нарушевич задумался. Примирение таит в себе большую опасность. Это все равно что сидеть на бочке с порохом — того и гляди, взорвется. Приняв решение, он откинул щеколду, с силой ударил ногой в дверь и стремительно выскочил во двор. Вернулся быстро и привел с собой трех откормленных полицаяв.

## ЭКЗЕКУЦИЯ

Солтыс не торопился сообщить, зачем привел в дом стражей порядка. Один из полицаяв, перетянутый портупеей, угостил солтыса орехами, и тот, стоя посреди комнаты, самодовольно давил их в ладонях один о другой. Покончив с последним орехом, он огласил свой приговор, подсластив его шуточкой:

— С волчонка полагается две шкуры драть, — указал он на Тадека, — а посему всыпать ему тридцать ударов.

Солтыс обернулся к полицаям и ткнул пальцем в одного из них:

— Ты у нас из благородных. Твои удары он скоро забудет, а от твоих, — ткнул он в сторону другого, — ножки протянет, а его, возможно, понадобится доставить в город живым, так что вы оба будете его держать. А ты, — приказал он третьему полицаяу, — с ним считаешься. А ну, старые быдла, — закричал он на Мацея и Ядвигу, — живее поставьте лавку посреди комнаты, а ты, гаденыш, ложись лицом вниз. Вот так!

После первого же удара у Тадека на спине проступила кровь. Душераздирающий крик бабы Ядвиги услышали Берек и Рина в своем тайнике. Оба они готовы были ради нее пожертвовать собой, но

приходилось лежать замерев, не подавая признаков жизни. Они поняли — в доме происходит что-то страшное. Но что именно? Затаив дыхание они прислушивались, и вдруг до них донесся отчаянный вопль Тадека. От его крика, казалось, рухнут стены. Истязают Тадека, их друга, которого они любят, как родного брата. Они не знают, за что его мучают, но не сомневаются, что это из-за них. А что с дедом Мацеєм?

Дед Мацей стоял, стиснув зубы, окаменев. Но когда после десятого удара Тадек рванулся было из рук палачей и солтыс приказал вести счет сначала, старик не выдержал. Он бросился в угол к иконе и упал на колени рядом с Ядвигой. Его губы шептали:

— Матко боска, за что нам такое наказание? Матко боска, за что?

Матка боска, как всегда, не отзывалась. Но если сейчас не произойдет чуда, он вот так, стоя на коленях, отдаст богу душу. Оно, видно, к тому идет. Почему же он не принял вину на себя? Почему не сказал, что рисунок делал он? Тогда бы Тадека не тронули.

Солтыс с силой ударил Мацея сапогом, так что тот головой едва не пробил пол.

— Сию же минуту чтобы все коробочки и шкатулки, весь инструмент были на столе.

Вот оно, чудо, которого так ждал старик. Он встал, а руки и ноги, которые уже отказывались служить, снова понемногу ожили. Дед Мацей расслышал распоряжения солтысы:

— Дальше колодца чтоб ни шагу. Тадека можешь облить холодной водой, все равно скоро он в себя не придет. Если этим кончится и он останется жив, то наверняка сегодняшний урок запомнит на всю жизнь и, возможно, еще человеком вырастет. Ты слышишь, глухая тетеря, что я тебе говорю? Пусть хоть станет настоящим поляком, а не паршивым быдлом, как ты. Чего глазами хлопаешь, как сова? Польша тебе не тонущее судно... Мы всем богаты. Одна беда: засорен наш народ, но мы с корнем вырвем чертополох. Пусть нас на время станет числом поменьше, но фюрер убедится, на что мы, настоящие поляки, способны. Ты, старик, пока еще можешь мне пригодиться. Только помни, чтобы по-прежнему ни одна душа не узнала, что Тадек мой племянник, и холопа из него не вздумай делать, не то я живо из тебя дух вышибу.

Уходя, солтыс хлопнул дверью с такой силой, что казалось, она разлетится в щепы. Правда, дом намного моложе деда, дверь добротная и по сравнению с ним обладает большим достоинством: не слышит и не видит. После всего, что здесь вытворял этот душегуб, уж лучше уподобиться бесчувственному чурбану.

Так подумал дед Мацей, и еще одна мысль пришла ему в голову: «Сколько же гонора и самомнения в этом жестоком, безжалостном негодяе! Он, видите ли, настоящий поляк, а я «паршивое быдло», «чертополох», который надо вырвать с корнем. Был бы я лет на двадцать моложе, на куски бы рвал вот таких нарушевичей. Он хочет, чтобы я не наставлял Тадека на наш холопский путь. Неужто ему невдомек, что на одной земле им не жить? Но что это я стою как пришибленный? Надо же спасти Тадека. И что с Ядвигой?»

Ядвига неподвижно сидела на полу. Дед Мацей стал тормошить ее, и ему почудилось, что она смотрит на него как на чужого. Но смотрела она невидящим взглядом. Рот у нее перекосялся. Что еще за наваждение? А может быть, он с горя опьянел и его собственные глаза сыграли с ним злую шутку?

Более полувека прожили они вместе, и никогда она не жаловалась ни на какие боли. Сам-то он часто прихварывал. Сколько раз ей приходилось возить его в город к фельдшеру, ставить банки, пиявки.

Горячим песком изгоняла лому из поясницы. Какие только хворобы не липли к нему! Во время той войны чуть не умер от сыпного тифа, несколько лет тому назад заразился бруцеллезом, но чтобы какая-нибудь напасть пристала к Ядвиге, да так, что она сама на себя непохожа, — такое у него не укладывалось в голове.

Сейчас он подаст ей воды, она выпьет, и все пройдет. Она постелет Тадеку, и вдвоем они осторожно перенесут его на лавку и попытаются привести в чувство. Надо его обмыть и перевязать раны. Кто же, кроме нее, это сделает?

Он подносит Ядвиге медную кружку, но губы ее не пропускают ни капли воды. Быть может, из ложки ей пить будет удобнее? Но вода снова выливается изо рта. Голову Ядвиги он кое-как еще в состоянии приподнять, но взять ее на руки — это ему уже не под силу. И он мечется от Ядвиги к Тадеку — оба они без сознания. По дороге натывается на табуретку, со злостью отбрасывает ее в сторону и, как малое дитя, плачет навзрыд.

## ОБОИХ В ГРОБ ВОГНАЛ

Рина и Берек отчетливо слышали, как хлопнули двери, но не знали, вошел ли кто-нибудь в дом или вышел из него и кто именно. Они слышали крик Ядвиги, стоны Тадека. Теперь что-то грохнуло об пол. Что там происходит? Не знаешь, что и думать, — голова раскалывается. На улице, должно быть, уже темно, но никто их не зовет. Значит, появляться в доме нельзя. Так было условлено. А что, если звать их уже некому? Нет, похоже, будто дед Мацей плачет, — этому трудно поверить.

Они не знали, сколько времени прошло. Был уже поздний вечер, когда дед Мацей в темноте вскарабкался на чердак — всегда это делал Тадек, — подошел к куче сена и окликнул их.

Им следовало бы в ту же ночь бежать из этого дома, из села, но страх за себя в этот горький час отступил...

При свете керосиновой лампы лицо у бабы Ядвиги выглядело пепельно-серым, застывшим, как у покойника. Рине кое-как удалось заставить больную проглотить несколько ложечек чая с брусникой, и, когда Рина стала легонько гладить ее по голове, она ощутила на себе оживший на мгновение теплый взгляд бабы Ядвиги.

Тадек лежал с повязкой на лбу, на висках — ломтики сырой картошки. Его мучил жар. Тело его было до того исполосовано, что не только малейшее движение, но и громко сказанное слово причиняло ему боль. Все же они стянули с него разодранную в клочья одежду. Рина промыла раны теплой кипяченой водой, достала из буфета сохранившийся у бабы Ядвиги пузырек с остатками йода и залила следы побоев. Тадек скрипел зубами и стонал. Раза два он в беспамятстве звал маму, но вскоре немного успокоился. Когда Берек подошел к нему, он отчетливо выговорил:

— Я убью его! — и глаза у него загорелись. Берек стал успокаивать друга, а тот все повторял: — Убью!

Прошло два дня. Рина испекла хлеб. Такие круглые караваи, как у бабы Ядвиги, сверху густо румяные, а снизу слегка припудренные мукой, у нее не получились, но все равно было очень вкусно. Потом она натерла картофель и стала разбирать мешочки с целебными травами, висевшие на стене. Дед Мацей давно уже улегся на своем лежаке. Спал он тревожно. Берек не отходил от Тадека, следя, чтобы одеяло меньше касалось тела. Одного лишь не смог добиться Берек от своего друга — чтобы тот лежал молча. Несмотря на всю свою слабость, Тадек не хотел, а может, и не мог молчать. Он все рассказывал, чего от него добивался его дядя. Берек не мог простить себе: ведь это он нарисовал на

шкатулке подсвечник. Хорошо еще, что только на одной.

— Вы поглядите, — подбежала Рина к ребятам, — куда бы я ни повернулась, баба Ядвига все время смотрит в мою сторону.

Действительно. Она и сейчас смотрела в сторону Рины. Ее губы, до этого крепко стиснутые, будто их вытянули в ниточку, зашевелились. Она, должно быть, что-то говорила, но ничего нельзя было понять. Вся правая сторона у бабы Ядвиги отнялась. Но лицо ее, даже застывшее, по-прежнему светилось добротой. В глазах ее стояли слезы. Видно было, что она понимает, как переживают за нее Берек и Рина, как хотят ей помочь. Тадеку тоже хотелось поднять голову и посмотреть, что с бабой Ядвигой, но это у него пока не получалось.

Прошли две недели. Тадек стал понемногу поправляться. Состояние же бабы Ядвиги почти не менялось. И как раз в тот день, когда, казалось, ей стало немного лучше — глаза прояснились и она начала даже чуть-чуть шевелить правой рукой, — вдруг, вечером, пытаясь что-то сказать, она потеряла сознание, в горле заклокотало, и они испугались, что настали ее последние минуты. За ночь улучшения не наступило.

На рассвете дед запряг лошадь и отправился к солтысу за разрешением ехать в город за фельдшером. Нарушевича дед в этот ранний час застал с опухшим лицом, красным, раздутым носом, но, как ни странно, в хорошем настроении. Он ни словом не обмолвился о своем последнем визите к пастуху, зато несколько раз справлялся о Тадеке и даже посоветовал как можно скорее подыскать служанку, которая могла бы вместо старухи вести хозяйство, готовить, печь, стирать.

— Хорошо бы, — сказал он, — чтобы эта девушка или пожилая женщина была нездешней, тогда можно будет сказать, что Тадек ей приходится братом или внуком. А еще лучше, если она со двора носа не высунет.

Фельдшер приехал, но ни порошков, ни таблеток больной не прописал. Он пробыл недолго, положил в карман свои роговые очки и собрался в обратную дорогу.

— Здесь мне делать нечего, — процедил он и зашелся в надсадном кашле. — В таком состоянии помочь больной уже нельзя. Она еще может промучиться день или два, но уже сейчас ничего не чувствует. Она и жива и мертва — это инсульт, кровоизлияние...

После отъезда лекаря дед Мацей несколько часов был сам не свой. Он как бы застыл, не знал, за что взяться. Потом вдруг, будто его прорвало, заговорил:

— И чего тут гундосил этот надутый индюк. Вовсе с ума спятил! Для него она уже при жизни мертвая. Скажи на милость, будто он ее знает лучше меня. Только я один да еще матко боска знаем все ее повадки. Ядвига не оставит меня одного. Без нее — кто я и что? Ни на что не годный, больной и разбитый старик...

Назавтра, еще до того, как наступил бледно-серый рассвет, баба Ядвига, не приходя в себя, скончалась.

Похоронили ее рядом с Юзефом. Это как бы напоминало: их обоих в гроб вогнал один и тот же злодей.

## **В ОПАСНЫЙ ПУТЬ**

Берек и Рина понимали, что им следовало покинуть дом сразу же после ухода солтыса с полицаями. Но нельзя было оставить деда Мацея с двумя больными на руках. Подумали было, не выдать ли Рину за ту самую «служанку», которую пан Нарушевич советовал подыскать на стороне. Польский язык

она знает хорошо, волосы ничего не стоит перекрасить, чтобы они стали льняными, подложный документ для нее мог бы достать родственник деда Мацея, живущий в городе. Смущало одно: как бы незатейливо Рина ни одевалась, как бы она ни старалась не бросаться людям в глаза, трудно было не заметить ее молодость и красоту. Дед Мацей колебался.

Опасался он не только за себя. После того как похоронили Ядвигу, он меньше всего думал о себе. Он боялся, как бы не случилось ничего худого с Тадеком и Риной. Страшно было даже подумать, что произойдет, если солтыс дознается, кто такая Рина на самом деле. В том, что Берек должен как можно скорее уйти из этого дома и искать для себя другое пристанище, сомнения не было.

Наконец дед Мацей решил оставить Рину у себя. Он только добавил:

— Буду просить матку боску, чтобы она заступилась за девушку, а вы просите об этом и своего иудейского бога, потому что против такого супостата, как Гитлер, все боги должны быть заодно.

Когда до ухода Берека оставался один день, Рина передумала. В одно мгновение все перевернулось.

Как Берек ни умолял ее не упрямиться, она твердила одно:

— Только вдвоем! Что бы ни случилось — с тобой вместе!

Что мог Берек поделать? А тут еще дед Мацей, ездивший в город к своему родственнику, привез ворох новостей.

— Ума не приложу. Во всех окрестных местечках ни одного еврея не осталось, а в Хелме, Владеве и даже в Люблине, говорят, их сейчас еще больше, чем было. Сказывают, что они где-то там вместе с военнопленными строят для немцев секретный завод, который будет выпускать какое-то страшное оружие. Вроде бы один подгулявший немец хвастал: как только это оружие будет готово, Гитлер за считанные дни покончит с русскими. Рабочих на строительство требуется уйма. Вот и гонят туда евреев не только из Польши, но и из Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, Франции, Чехословакии. Инженеров, врачей, бухгалтеров, ювелиров, кузнецов, даже музыкантов. Неважно, у кого какая профессия.

Завод строят под землей, но как глубоко его ни зарывай, а дым куда-то девать надо, вот и соорудили трубы-колодцы, которые день и ночь извергают дым. Должно быть, часть завода уже пущена в ход. По удушливому чаду, что стелется на несколько верст вокруг, можно предположить: готовят там какой-то газ. К чему стрелять, когда проще удушить?! Во время прошлой войны это уже пробовали. Пока, говорят, этот газ испытывают на животных. Туда гонят эшелон за эшелонами гусей и кроликов. Все это рассказал деду Мацею один верный человек, которого он застал в доме своего родственника. Гость этот сам из тамошних мест. Живет он с семьей на хуторе, и дед Мацей полагает, что у него можно будет пробыть несколько дней. Поскольку в окрестностях Люблина еще есть евреи, туда, считают родственник деда Мацея и его гость, Береку и следует держать путь. А для Риной родственник в ближайшие дни подготовит все нужные документы.

Вот тогда Рина и заявила, что никакие, фальшивые документы ей не нужны. То, что суждено Береку, суждено и ей.

Назавтра Берек и Рина снова отправились в опасный путь. Когда они прощались с Тадеком, он им сказал по секрету: как только выздоровеет, тоже уйдет отсюда. Подожжет дядин дом, а сам убежит. Где-то неподалеку в лесах должен быть другой его дядя, Станислав Кневский, он партизанит. Из дому вышли в полночь. Часть пути их провожал дед Мацей. Шел он, тяжело опираясь на палку. Шапка нахлобучена на уши. Старый пастух знал потайные тропки, недоступные постороннему глазу.

Расставшись с ним, они и дальше пускались в дорогу только по ночам. Берек и Рина немного сбились с пути, но все же на шестые сутки добрались до хутора, где жил знакомый деда Мацея. Хозяин пустил их в дом, но по всему видно было, что он рад будет поскорее избавиться от непрошенных гостей. Да и могло ли быть иначе, если в нескольких километрах от хутора пролежала дорога на Люблин и по ней взад-вперед непрерывно сновали немецкие машины.

Берек и Рина решили посоветоваться с дядей Людвиком (так велел называть себя хозяин хутора), куда им держать путь. Берек был за то, чтобы идти в сторону Буга, Рина предлагала переждать где-нибудь в здешних краях.

— Вот если бы удалось встретить партизан... — рискнул обронить Берек.

Людвик только головой кивнул.

— Да, да, партизан... — Он вовсе не был таким словоохотливым, каким рисовался им по рассказам деда Мацея.

Береку показалось, что Людвик кое-что знает про партизан, но пока об этом говорить не хочет. Хозяин накормил их картошкой и отвел в сарай. Они повалились на сухое сено, которым сарай был набит до самых стропил. Проспали почти сутки. Когда Берек проснулся, было уже светло. И хотя Рина лежала с закрытыми глазами, нетрудно было догадаться, что и она уже не спит. Она лежала притихшая, еле дыша, но губы ее шевелились, как будто шептали молитву, а на лице было такое отчаяние, что у него защемило в груди. Рина напоминала умирающую старуху, которая знает, что ей пришел конец, и нет у нее ни сил, ни желания противиться этому. Она как бы говорила: «Все! Не могу больше! Сколько месяцев, изо дня в день по двадцать четыре часа в сутки смотреть смерти в глаза, больше не могу!»

Что-то надо было ей сказать, но что? Рина сама пришла ему на помощь. Она прикрыла рукой его губы, чтобы он не вздумал прервать ее. Пальцы ее дрожали. Берек не противился и слушал:

— Берек. К Бугу ты пойдешь один, а я вернусь к деду Мацею. Я была не права. Из-за меня и ты погибнешь. Кроме тебя, у меня нет больше никого на свете. Если, не дай бог, с тобой что-нибудь из-за меня случится, и мне не жить. Без тебя мне жизнь ни к чему. Можешь ничего не отвечать. Идем, я тебя немного провожу.

Она шла с ним час, другой. Они уже не раз прощались и все не могли расстаться. Рина просила:

— Еще немножечко, Берек. Не беспокойся. Я уже ученая. Этой же дорогой вернусь назад. Когда стемнеет, потихоньку заберусь в сарай.

Так, вдвоем, они вышли на широкую лесную дорогу. Вдалеке они увидели какой-то большой темный предмет. Испугавшись, они бросились в сторону. Кругом стояла тишина. Никаких признаков людей.

Берек сказал:

— Давай все-таки посмотрим, что это может быть.

Крадучись обочиной, они приблизились к загадочному предмету. Оказалось, что это подбитая грузовая машина. Может, здесь была заложена мина — или это связка гранат сделала свое дело? Одно было ясно: тот, кому принадлежала эта простреленная немецкая каска с рогами-отростками и покореженная фляга, явно взорвал себя не сам. Значит, на том месте, где сейчас стоят Берек и Рина, были партизаны. Когда? Кто им об этом скажет? Деревья, птицы или травинки, которые лишь еле-еле проклюнулись?

От одной мысли, что здесь кто-то расправился с немцами, у них исчез страх. Значит, где-то здесь

поблизости находятся люди, которые охотятся за врагом. Значит, с Бугом покончено! Сейчас начало весны. С каждым днем все теплее. Пусть неделю, месяц придется Береку блуждать, но партизан он разыщет. Убедит их в том, что и он может бороться. Рина будет готовить пищу, чинить одежду, перевязывать раны. Она все будет делать. Разве не так?

Они проголодались. Берек развязал узелок и вынул несколько вареных картофелин. Место было сырое, пришлось отойти немного от дороги и присесть на бугорке. Берек велел Рине подождать его здесь, а сам ушел поискать какой-нибудь ручеек, чтобы набрать воды.

И на этот раз ему повезло. Забрался он далеко, но воду для питья обнаружил. Возможно, это уже после ему показалось, что, когда он набирал воду, до него донесся приглушенный протяжный крик. Но тогда он не обратил на это внимания.

Рины на месте не оказалось. Вокруг виднелось множество следов велосипедных шин, кованых сапог, но, сколько Берек ни всматривался, он не смог обнаружить следов Рины.

Если Рина успела убежать в лес, то на траве могло и не остаться ее следов: травинки, примятые ее ногами, вскоре вновь поднялись. Если ее волокли к дороге, туда, где остановились велосипедисты, это не укрылось бы от его глаз. Но ведь могли просто оторвать ее от земли и понести. Может быть, она вздремнула и ее застали врасплох?

Всего было пять велосипедистов. С того места, где произошло несчастье, два велосипедиста вели свои машины, а сами шли рядом с ними справа и слева. У одного из велосипедистов колеса глубже врезались в землю. Может быть, их еще удастся догнать? Что будет, если он их догонит, об этом Берек не думал. Как далеко он пробежал — этого он тоже не знал. Дорога привела его к большому тракту. Он услышал гудение удаляющегося автомобиля. Ему даже не удалось увидеть спин велосипедистов.

Все говорило о том, что Рина в руках у немцев, и все же...

Поздней ночью Берек пробрался в сарай. Рины там не было, и он постучал хозяину в окно. Людвик выслушал его и молча стал собираться в дорогу. На плечи Берека он взвалил туго набитый узел да и сам прихватил увесистую котомку. Когда они вышли за порог, Берек спросил:

— Дядя Людвик, куда мы идем?

— «Куда, куда?»... — раздраженно отозвался Людвик. — Предупредить меня об опасности у тебя хватило ума, а то, что оба мы оказались под угрозой, — это до тебя не доходит. Мне даже хуже, чем тебе. Я еще должен поставить на ноги своих малышей.

На это Берек мог сказать лишь одно:

— Рина никогда никого не выдаст.

— Не говори. Постарше ее и поопытнее у нацистов не выдерживают.

— Нет, нет. Это вы так рассуждаете, потому что не знаете ее. Что сказать в крайнем случае, коль придется, она знает. Об этом мы давно договорились.

Людвик только рукой махнул: ясно, что слова Берека для него равным счетом ничего не значат.

Они ушли в ночь, в лес, без дороги, без тропки, — Береку казалось, что они кружат на одном месте, идут то в гору, то с горы. Шлепают по болоту. Он слышал, как журчит ручей, и снова в гору и с горы, по болоту, через речушку. Но всему приходит конец. Остановились они у старого дуплистого дуба, под густым сплетением его раскидистых ветвей.

Дупло в стволе покрылось зеленой плесенью, похожей на плюш. Берек подумал, что в таком дереве

вполне можно соорудить надежный тайник. Но убежище, куда вел его Людвик, оказалось немного дальше, там, где лес был гуще. Это была замаскированная яма наподобие кувшина: с узкой горловиной, расширяющейся книзу. В ней можно было сидеть, опираясь о стену и почти свободно вытянув ноги.

Вместе они пробыли там недолго. Дальше Людвик ушел один. Берека он предупредил, что вернется не раньше, чем через сутки. Попытается разузнать о Рине все, что сможет. Это и для него очень важно.

Перед уходом Людвик тщательно укрыл берлогу, так что солнечный луч проникал лишь через единственную щелочку. Через эту же щель до слуха Берека порой доносилось щебетание птиц. Сырость пронизывала все тело Берека. Ноги ооченели. И все же он предавался мечтам. Не случись этого несчастья с Риной, они оба могли бы здесь спастись. Ведь весна уже наступила... Глупо, но он надеялся, что Людвик вернется и приведет с собой Рину. А вдруг ей вчера удалось бежать от немцев? В таком случае она непременно попытается снова пробраться на хутор. Дорогу туда она с закрытыми глазами найдет. Там Людвик и встретит ее. Береку хотелось обмануть самого себя, ему мерещилось, что они снова вместе, лежат плечом к плечу, согревая друг друга. Двое суток пробыл Берек один в яме. К еде он почти не прикасался. Вернувшись, Людвик рассказал:

— Рина жива. Схватили ее наемники из эсэсовского учебного лагеря, расположенного в селении Травники. Чем они там занимаются, никто толком не знает. Территория ограждена высокой стеной, и полякам туда доступа нет. Известно, однако, что из наемников там создана «небесная команда», как они ее именуют, которая проводит акции по уничтожению людей. Они получают особое дополнительное жалованье, так называемую «плату за истребление евреев», улучшенное питание и часть награбленного добра. Каждые три месяца в Травники прибывает новая партия наемников, а тех, кто уже «набил руку», отправляют туда, где требуются вышколенные палачи. Эти убийцы и схватили Рину и отвезли ее в Люблин.

В гетто ее не загнали. В самом центре города, недалеко от собора, стоят три барака, ее поместили в один из них. Говорят, что в бараках располагается какой-то эсэсовский учебный лагерь, там же живут охранники гетто. В гетто теперь идет облава на девушек. Но ловят только красивых.

Пойманных доставляют в этот лагерь.

Что все это значит — никто не может объяснить, как невозможно объяснить, почему молодых, еще работоспособных мужчин из люблинского гетто везут в лес на расстрел, а на строительство стадиона и рытье траншей для телефонных кабелей сюда доставляют партиями по сто и двести изможденных людей из Майданека.

Все это Людвик узнал от одного автомеханика, работающего у немцев. Человек этот зря болтать не станет. Девушек из барака запрещено даже пальцем трогать. Кормят их хорошо. Вымыли и приодели.

Тому, кто поймает вне гетто и доставит немцам красивую еврейскую девушку, выдают пачку сигарет и сто граммов шнапса. Поймавшим Рину, а она по счету оказалась двухсотой, выдали в награду по пачке сигарет и бутылке водки. Каждому из пяти наемников — полной мерой. Акция подходит к концу, и в ближайшие дни этих девушек отвезут в Собибор.

Людвик вернется на хутор. Он считает, что Берек должен оставаться здесь. Людвик постарается ему помочь, чем только сможет. Собибор, наверно, и есть то место, где строят завод для производства

секретного оружия. Это недалеко отсюда, между Владавой и Хелмом. Механик сказал еще, что девушек из местечек, расположенных вокруг Собибора, доставили в Люблин, а теперь их снова повезут в Собибор. Зачем? Эту тайну никто не в силах разгадать; возможно, и сами эсэсовцы ее не знают.

Весь этот разговор они вели не в пещере. Людвик предупредил Берека: разговаривать там куда опаснее, чем снаружи, так как изнутри не видно, есть ли кто поблизости. Понял это и Берек. Он уже достаточно был научен. Жизнь в лесу на протяжении многих месяцев, опасность, постоянно висящая над ним, настолько обострили его слух, что он, как зверь, улавливал малейший шорох.

Вначале Берек решил было пойти в Люблин, но одумался: в лучшем случае его прогонят или же он сам угодит в гетто. Рины там нет. Когда Берек спросил у Людвика, не мог бы знакомый механик помочь ему попасть к партизанам, тот даже не удостоил его ответом.

Однажды Рина ему сказала: «Что бы ни случилось — только с тобой вместе». И добавила: «Без тебя мне не жить». Рину он должен найти во что бы то ни стало. Кроме него, нет у нее больше никого на свете. Как только Людвик даст ему знать, что девушек отвезли в Собибор, туда отправится и он. Лишь бы суметь добраться, а там уж он найдет способ передать Рине: мы снова вместе. На жизнь, если этому суждено сбыться, и на смерть — всегда вместе.

Теперь, когда Берек уже знает, что представлял собой Собибор, он и родной матери не поверил бы, что мог найтись человек, который по своей воле добрался до лагеря и незаметно в него проник. Недалеко от железнодорожной станции к Береку пристала собака. Он ее гонит, собака отбегает в сторону, останавливается, смотрит ему вслед и опять пускается за ним. Он отдал бы псу последний кусок, лишь бы тот от него отвязался, отстал. Но у самого за душой ничего нет. Вскоре Береку стало не до собаки: оглянувшись, он увидел на той же тропке двух эсэсовцев. И, хотя он знал, что рано или поздно на них наткнется, его охватил смертельный страх. Вот теперь он ступил на самый край минного поля. Как быть? Что-то случилось с ногами. Бежать они, возможно, могли бы, а идти, как прежде, — нет. Гитлеровцы почти нагнали его, но собака, оскалившись и вздыбив шерсть на загривке, их не подпускает. На ломаном польском ему приказывают:

— Убери эту паршивую тварь!

Берек сделал бы то, что ему велят, но разве собака его послушается? Не может же он сказать, что собака чужая и случайно к нему пристала. Впрочем, какое это имеет значение? Все равно скоро всему конец. Один из эсэсовцев, очевидно офицер, выхватил из кобуры револьвер. Но не успел он прицелиться, как собака подбежала вплотную к Береку. Гитлеровец заорал:

— Ни с места! Ты кто такой? Откуда взялся и куда идешь?

Ответить Береку нечего, и он молчит. Неожиданно на выручку приходит другой эсэсовец:

— Господин обервахмейстер, парень этот пасет коров у железной дороги, а собаку я знаю уже давно.

— Если вы старые знакомые, Фридрих, что же она все норовит тебя цапнуть? — недоумевает обервахмейстер.

— Кто вам это сказал? На знакомых она не бросается. Их она чует за версту. Как все собаки, этот пес не любит чужаков. Если бы вы, господин Лахман, шли один, он бы еще и не так на вас набросился!

Обервахмейстер Лахман приказывает Береку с собакой идти вперед и предупреждает, чтобы шел только до станции, дальше ни шагу, в противном случае пристрелят и его и собаку. Пес, видимо, знал все это уже давно. Недалеко от станции он остановился. С Берекон он попрощался, виляя

длинным хвостом, а глаза его как бы предупреждали: «Дальше не ходи, не ходи!»

Эсэсовцы направились в здание небольшого вокзала. Берек посмотрел вокруг. На одном из железнодорожных путей стояло около двух десятков товарных вагонов, на другом — шесть-семь. Туда какой-то рябоватый охранник гнал ватагу еврейских мальчишек, примерно такого же возраста, как и Берек. У одних в руках ведра, у других метлы, щетки. Охранник орет:

— Плохо убрано! Плохо вымыто! На полу остались пятна. Чтобы через пятнадцать минут все было чисто!

Охранник стоит возле первого вагона и размахивает плеткой, а Берек направляется к последнему. Кто-то уже до него забрался туда. Влезает и он. Двое пареньков моют тряпкой пол. Берек становится между ними и говорит им на родном языке:

— Ребята, так у вас ничего не получится.

Они смотрят на него с удивлением и в один голос спрашивают:

— Почему?

— Потому что надо работать не только руками, но и шевелить мозгами. Вы же видите, это пятно — след засохшей крови, его надо скрести ножом или лопатой.

Ни ножа, ни лопаты у них нет. Один из ребят предложил:

— Можно щепкой. — И к Береку: — Выпрыгни-ка из вагона и поищи щепку.

— Почему я?

— Потому что ты новенький. Иди, тебе говорят, — и толкает его в открытую дверь.

Что ему остается делать? Берек не то что идти, а даже взглянуть боится в ту сторону, где стоит охранник. К счастью, под ногами оказался кусок ржавой жести. Он хватает его и бежит обратно к вагону, но охранник заметил его.

— Кто разрешил? Зачем? — указывает он на кусок жести.

Мальчик, который вытолкнул Берека из вагона, высовывает голову из двери и объясняет вахману:

— Так мы быстрее счистим пятна. Они въелись в доски.

Ответ вроде удовлетворяет охранника, но он все-таки заковыристо выругался и добавил:

— Посмотрю, как вы это сделаете.

Откуда только у Берека силы взялись? Мгновение — и жестянка превратилась в скребок. Следы крови он стер, но перестарался: соскреб с досок верхний слой. Вместо темно-красного пятна появилось светло-серое. Серое — не красное, но все равно нехорошо. Не успел охранник его обругать, как Берек принялся тереть пятно ржавчиной, покрывающей поверхность жести. Трет и размазывает. Охранник спрашивает у Берека:

— Ты кто, жестянщик, маляр?

— Нет. Маляром был мой отец, а я учился у гравера, — вспомнил Берек школу деда Мацея.

Гитлеровец не понимает. Берек пытается ему объяснить:

— Табакерки, шкатулки для драгоценностей.

— О, о! — свистнул охранник. — Почему же ты сразу об этом не сказал?

Вместе со всеми ведут в лагерь и Берека. Парень, что велел ему выпрыгнуть из вагона за щепкой, толкает его локтем:

— Слушай, ты! Когда и откуда ты взялся? Что-то я тебя среди новичков не замечал. Ребят для станционной команды отбирает лично помощник коменданта Вагнер. Правда, на днях какому-то

эсэсовцу понадобился чистильщик сапог, и он осчастливил одного парнишку. Всю семью прямым сообщением отправил в «рай», а его оставил. Шустрый малый! И фамилия у него чудная — Блатт, а зовут Томас. А такие, как ты, нужны им для других работ. Если только не врешь, что ты гравер, еще немного поживешь на свете. Будешь помогать им набивать карманы. Сейчас охранник скажет кому следует, какая находка ему подвернулась.

Так и произошло.

Возле бараков охранник отвел Берека в сторону и велел не сходить с места до его возвращения. Долго ждать не пришлось. Вскоре он вернулся с офицером. Тот вел собаку на поводке. Собака будто с цепи сорвалась. Она вдруг с такой силой стала рваться назад, что тонкий ремешок на шее натянулся и чуть не задушил ее. От боли собака еще сильнее бесилась. Офицер, а это, как потом выяснилось, был начальник третьего отделения лагеря, или просто третьего лагеря в Собиборе, обершарфюрер СС Курт Болендер, прикрикнул на пса:

— Менш! Ни с места!

И собака по кличке «Человек» застыла.

С таким, как этот эсэсовец, лучше не встречаться. Берек почувствовал, как тот еще издали смерил его оценивающим взглядом. Пальцем офицер сделал знак, чтобы Берек следовал за ним.

Ударом ноги Болендер распахнул дверь барака и направился в отдельную каморку.

В кресле у стены, будто бы отгородясь не только от мира, но и от жизни, сгорбившись, сидел старый человек со впалыми щеками и торчащими лопатками. Не пошевелившись, он равнодушным взором посмотрел из-под опущенных век на вошедших. Эсэсовец остановился у порога, а собака вытянулась во всю длину у его ног. Она смотрит на хозяина и чувствует каждое его движение. В глазах обоих, кажется, зловеще горят зеленые и красные огоньки.

Болендер заявил:

— Это ваш новый подмастерье! Если он вам не подойдет, заявите капо, и он освободит вас от него. Мы найдем другого.

Эсэсовец постоял еще минуту, затем закрыл за собой дверь, и они остались вдвоем — Берек и незнакомый человек.

## Глава третья

### СОБИБОР

#### КУРИЭЛ

Берек стоял так долго, что потерял чувство времени. Он не знал, самому ли обратиться к этому благообразному старику или подождать, пока тот заговорит первым. Что с ним происходит, в какие тяжелые думы он погружен? Что-то притягательное было во всем его облике.

Человек глубоко вздохнул и повел головой, будто ему тесен воротник. Что же он сейчас скажет? Кто он? Ювелир? Часовых дел мастер? Наверно, до прихода Берека он возился с часиками. Куда же они подевались? Он, должно быть, вынул механизм, осмотрел его и швырнул в угол, а корпус положил в картонный ящик, прикрепленный к стене. А где его пинцет? Спрятал в своей косматой бороде?

Скорее всего, и пинцета у него нет, да он ему и не нужен. Пальцы у него тонкие и гибкие, а ноготь на мизинце такой длины, что вполне заменит пинцет. Вот до чего можно додуматься! Никто часов в угол не бросал, никакого картонного ящика на стене нет. Придет же в голову подобное — пинцет в косматой бороде! Видно, у самого Берека в голове все перемешалось. И неудивительно. Такой день

пережить! И как долго ему еще здесь стоять? Скоро вечер.

Берека с детства приучали: к людям, в особенности к старшим, относись с почтением, с каждым прежде всего поздоровайся. А как быть с этим человеком, на каком языке его приветствовать, если он рта не раскрывает? Берек снимает с головы картуз — высокий, с широкими краями и погнутом козырьком. И, чтобы обратить на себя внимание, громко кашляет — раз, другой.

А человек по-прежнему сидит себе, будто он один в комнате. Хоть бы для виду шелохнулся, так нет же! Может быть, уши у него заложены ватой? Тогда остается одно — гаркнуть: «Шолом алейхем!» («Здравствуйте!») — или подойти и наступить на его длинные, как у журавля, ноги в черных шерстяных носках. А может, у него руки и ноги отнялись?

Нечего сказать, хороший компаньон для Берека. И что он за барин такой: позволяет себе при немце не только не вставать с места, но даже головы не поворачивает. А немец делает вид, что ничего не заметил. Тадека солтыс, хоть и родной дядя, бил смертным боем, а тут, извольте видеть, еврей не желает разговаривать с ээсовским офицером, и ему сходит с рук. Невероятно! По-видимому, это необыкновенный человек. Такой может помочь разыскать Рину, но может и помешать. Когда еще все это прояснится, а ноги Берека уже онемели, отказываются ему служить.

Спать на земле Береку не привыкать, и он тут же, не сходя с места, опустил на пол и вместо подушки подложил под голову кулак. Если бы можно было с такой же легкостью унять голод. Под ложечкой сосет невыносимо. Хоть бы чем-нибудь обмануть желудок. Нет, видно, досыта ему уже никогда не наестся. Об этом он и Рина знают давно. Правда, у бабы Ядвиги они не голодали, но ее больше нет в живых. Не случись несчастья, не попади Рина в руки к немцам, он бы, он...

Сон сморил его, будто опьянил. А мозг не дремлет — как в калейдоскопе, одно событие сменяет другое. Но даже и этот беспокойный сон был тут же прерван. Молчаливый человек растормошил Берека и жестом показал ему на узкие нары. Измученный Берек, едва добравшись до нар, снова впал в забытье.

Его опять кто-то разбудил, но это было уже на следующее утро. Приподнявшись, Берек не поверил своим глазам: перед ним было неслыханное богатство — полгоршочка суррогатного кофе и два ломтика синеватого ячменного хлеба. От нахлынувшего на него невыносимого чувства голода закружилась голова, а в ушах зазвенело, как будто рядом жужжал пчелиный рой. И снова этот упрямый молчальник одними глазами показал ему: «Ешь!» Из разговоров, что вели между собой ребята из станционной команды, Берек уже знал, какой здесь лагерный рацион: утром черный «кофе», днем — несколько ложек жидкой баланды и в конце дня — двести граммов хлеба и снова немного «кофе». Значит, человек этот поделился с ним последним. Какой же мерой измерить человеческую доброту?

Во время еды между ними как бы установился негласный уговор: «Смотри, молчи и слушай». И все же знакомство состоялось. Они назвали друг другу свои имена. Еврейский язык близок к немецкому, а хозяин каморки к тому же знает немного польский, и Берек набрался храбрости и заговорил первым:

— Господин Куриэл, разрешите, пожалуйста, выйти, мне нужно здесь разыскать одного человека.

Куриэл скосил взгляд в его сторону. Это должно было означать: «Я не ослышался? А если не ослышался, то, возможно, не так понял?»

Берек продолжал:

— Я должен разыскать одного человека. Он не знает, что со мной и где я, так вот, я должен...

— Выходить отсюда без разрешения нам обоим запрещено. В какой из рабочих команд состоит человек, которого ты разыскиваешь?

— Не знаю. Это девушка. Ее зовут Рина. Мы были вместе в лесу. Ее бы не схватили, но получилось так, что я оставил ее одну и она, должно быть, уснула. Ее увезли в Люблин, а оттуда сюда.

— Значит, вы до этого не были ни в гетто, ни в лагере?

— Нет. До наступления сильных холодов мы укрывались в лесу. Потом над нами сжалился один пастух, дед Мацей. Зимой мы прожили у него, но дальше там нельзя было оставаться.

— Он рисковал жизнью...

— И он, и баба Ядвига, и Тадек. Тадека из-за меня избили до полусмерти, добивались, чтобы он сказал, кто это рисует еврейские символы на шкатулках и табакерках, которые мы делали, но он меня не выдал.

— Рисунки ты мне потом покажешь. Скажи мне, как же ты очутился в лагере? Кто-то тебя выдал?

— Никто меня не выдавал. Одному из друзей деда Мацея удалось разузнать, что Рину доставили в Люблин, а оттуда ее и еще двести девушек привезли в Собибор. Вот я и направился по ее следу. Берек рассказывает, как ему удалось пробраться в лагерь, и по тому, как слушает и смотрит на него Куриэл, трудно понять — верит он ему или нет. Но как раз об этих девушках из Люблина он знает. Ему о них рассказывал голландский художник Макс ван Дам. Позавчера им обоим показали несколько картин, чтобы установить их ценность. Ван Дам улучил минутку, чтобы рассказать ему о двухстах красавицах, которых удушили на глазах у Гиммлера.

— Скажи мне, как выглядела твоя сестра? Ты можешь ее обрисовать в нескольких словах?

— Рина не сестра мне. Она красивая, очень красивая. Помогите мне найти ее, и вы сами увидите. Словами описать ее я не могу. Я хотел пробраться к баракам, где живут девушки. Вы мне верите?

— Верю. Но помочь не могу. Здесь всего один женский барак, но там ты ее не найдешь.

— Где бы она ни была, я ее разыщу. Вы мне только объясните, как пройти в этот женский барак. А может, кто-нибудь из женщин сюда придет?

— Приходить сюда могут только два эсэсовских офицера и капо, что приносит нам еду. И больше никто. Это приказание самого Гиммлера.

— Сам Гиммлер?.. Господин Куриэл, откуда Гиммлер знает о вас? Вы ведь...

— Как тебе объяснить? — наконец разговорился Куриэл. — Я считался хорошим специалистом. Разбираюсь в драгоценных камнях, особенно в алмазах. Всю жизнь занимался этим делом. В Бельгии, в Голландии.

— Если о вас знает сам Гиммлер, значит, вы можете мне помочь, вы должны мне помочь. Прошу вас, помогите мне разыскать Рину!

— Скажи мне, о «гиммельштрассе» — «небесной дороге» ты слышал?

— Нет. Это что — улица такая?

— Да. Улица, но двигаться по ней можно только в одном направлении. Назад возврата нет. Берек в недоумении посмотрел на Куриэла:

— Не понимаю.

— К сожалению, ты это скоро поймешь. Про Рину больше не спрашивай. Я попытаюсь узнать, слышал ли здесь кто-нибудь это имя. Нам должны сейчас принести драгоценные украшения. Твое

дело — протереть камни прежде, чем я приступлю к их осмотру. Вот эту зубную щетку окунешь в стакан с раствором мыльной воды и очень осторожно — ты ведь имеешь дело с драгоценными камнями — протрешь украшения. В стакан мыльной воды добавляют две чайные ложечки нашатырного спирта. Запомни, это тебе пригодится. Нам могут принести жемчуг, но его «освежать» таким образом нельзя. В процессе работы я покажу тебе, как с ним надо обращаться.

— А шлифовать камни вы меня тоже научите?

— Пока говорить об этом рано. Открой ящик стола. В нем лежит пара продолговатых сережек. Нашел? Возьми их. А теперь слегка протри. Нет, нет, не этой щеточкой, а другой. Ты, очевидно, решил, что это настоящие бриллианты. Вполне возможно, что хозяйка этих сережек и сама не знала правды. Ей было достаточно того, что они блестят. Не будь у павлина такого пышного оперения, кто стал бы на него засматриваться...

Берек скор на выводы:

— Так что, можно выбросить их на свалку?

— Нет, зачем? Но цену таким вещам знать надо. На изделиях из дорогих металлов имеется опознавательный знак — проба. Присмотрись, а если надо — слегка почисть металл, и ты ее увидишь. Установить истинную стоимость драгоценного камня может и опытный глаз мастера. Вот для этого я им и нужен.

Береку хотелось узнать многое, но в это время приоткрылась дверь каморки и вошел унтершарфюрер Иоганн Нойман — один из двух офицеров, которым позволено было общаться с Куриэлом. Он поставил на стол кожаный чемоданчик и замшевый ридикюль.

— Как дела, господин Куриэл? — снисходительно осведомился он и уселся на табуретку у стола. — Я принес вам голландский чемодан с украшениями, а вот в этом французском ридикюле — черный жемчуг и золотой браслет с тремя камнями. Я бы вас попросил прежде всего посмотреть, настоящие ли это камни.

Куриэл мельком взглянул на украшения и, как бы говоря с самим собой, заметил:

— Тем, кто везет с собой эти камни, следовало бы знать, что их тут же отберут, и лучше выменять их на хлеб.

Нойман уже поднялся, чтобы уйти, но слова старого мастера расслышал. Будь на месте Куриэла кто-нибудь другой, не миновать бы ему пули. Но Нойман лишь произнес:

— Господин Куриэл, пусть у вас голова не болит за этих евреев. Им украшения уже ни к чему. Драгоценности будут пронумерованы, зарегистрированы и отосланы в Берлин. Все это достояние третьего рейха.

— Господин Нойман, — поднял голову Куриэл, — будущее покажет, вправе ли третий рейх распоряжаться чужим добром, миллионами жизней.

Берек стоял ни жив ни мертв. Уличная дворняга куда больше защищена от собаколова, чем человек в Собиборе, а Куриэл позволяет себе таким тоном разговаривать с эсэсовцами. Не доведет его язык до добра.

Как-то днем к Куриэлу заглянул Болендер. Учтиво поздоровавшись, он спросил, не может ли мастер на время обойтись без своего помощника.

— Что значит «на время»? — пожелал уточнить Куриэл.

— Две недели, а то и меньше.

— Вы, однако, должны мне сказать, где и чем он это время будет заниматься.

— Он будет у художника Макса ван Дама.

— Вы не ответили на мой второй вопрос. — И, так как Болендер молчал, он добавил: — На этот счет есть приказание коменданта лагеря. Обо всем, что касается подмастерья, мне обязаны сообщать.

— Господин Куриэл, я не должен и не обязан. Но скажу вам: на аппельплаце было во всеуслышание объявлено, что за попытку к бегству из лагеря семьдесят два голландца, среди них и ван Дам, осуждены на смерть. Приговор приведен в исполнение. Оставлен в живых один ван Дам. Начальник лагеря счел необходимым дать ему закончить начатые работы.

— И Макс ван Дам на это пошел?

— Мы не просим, а приказываем.

— Тогда зачем вы спрашиваете меня?

— Вы, господин Куриэл, сами знаете почему.

Берек подумал: отослать его в помощь художнику эсэсовец не приказал, а просил, тогда почему же Куриэл не скажет, что он без него не может обойтись? Неужели ювелир решил от него избавиться? Но внутренний голос говорит: нет, это не так.

У Куриэла промелькнула мысль: в лагере имеются сотни ребят и среди них нетрудно найти кого-нибудь в помощь художнику. Видимо, после того как он, Куриэл, однажды рассказал ван Даму о своем подмастерье, тот захотел увидеть его и нарочно послал за ним.

— Иди, — сказал Куриэл Береку и подал ему принесенный кусок хлеба, который он оторвал от своей обеденной порции. А Болендеру заявил: — А вас предупреждаю: если через две недели подмастерье не возвратится, вам будет трудно со мной сладить.

Разъяренному эсэсовцу стоило большого труда не броситься на Куриэла, но он взял себя в руки, так как знал, что это ему может дорого обойтись. Вынужденная сдержанность хозяина передалась и его собаке по кличке Менш. На этот раз она осталась на месте.

## **КУРИЭЛ РАССКАЗЫВАЕТ**

Обрадовался ли Куриэл, когда через две недели Берек вернулся? Безусловно. Свою радость он, однако, внешне ничем не проявил и, как обычно, больше молчал.

Вечером что-то случилось с освещением, неприкрытая лампочка на дощатом потолке не зажглась. Из шкафчика, где лежал ветхий талес[6] и филактерии[7] в потертом футляре, Куриэл достал свечу и зажег ее. Лежа на нарах, Куриэл и Берек смотрели на дрожащий огонек, слушали, как потрескивает фитиль, и думали об одном и том же: о ван Даме, для которого все земные страдания были уже позади.

Вскоре послышалось неровное дыхание Куриэла. Видимо, он уснул. К чему тогда этот восковой чад? Берек дунул на свечку. За решетчатым оконцем стояла кромешная тьма. Тихо, ни звука, словно, кроме него и Куриэла, в лагере никого больше в живых не осталось. Гнетущая, кладбищенская тишина. Берек произнес шепотом:

— Святое место.

Куриэл, как будто кто-то удесятерил силу звука и донес до него эхо сказанного, очнувшись, спросил:

— Святое место? Где это?

— Здесь.

— Не понимаю.

— У евреев место, где хоронят покойников, принято называть святым местом.

— Может, ты и прав. Кладбище — место святое. Даже тогда, когда его оскверняют мофы.

— Мофы? Что это такое?

— Так в Голландии и Бельгии прозвали немецких оккупантов.

— Господин Куриэл, я давно уже хотел вам сказать, будьте поосторожнее. Вы иногда позволяете себе вслух отзываться о немцах так, что меня оторопь берет. Ван Дам...

— Ван Дам... В нем они больше не нуждались, а без меня пока не могут обойтись. Гиммлеру хочется иметь побольше алмазов и бриллиантов. Обершарфюрер Штангль, который ему их преподносит, хочет того же. Болендер также до них охоч, к тому же он опасается, как бы я его не выдал: далеко не все, что он получает от меня, отсылается в Берлин.

— Штангль ведь теперь уже не у нас, а в Треблинке.

— Ну и что? Драгоценные камни привозят ко мне и из Треблинки, из Бельжеца, Освенцима, а случается, даже не из лагерей и не из оккупированных мест.

— А как вы об этом узнаете?

— Сами камни мне об этом рассказывают.

— Каким образом?

— Каким образом? В нескольких словах это не объяснить. Тут придется, пожалуй, рассказать тебе о всей моей жизни.

— Они что, хотят завладеть всеми драгоценными камнями, какие только есть на свете?

— Примерно на такой же вопрос Гиммлер мне ответил: «Сможем — сделаем».

— Вы разговаривали с самим Гиммлером и остались в живых? Это, должно быть, когда Гиммлер не был еще Гиммлером?

— Нет, Берек, это было в прошлом году. Двадцать четвертого августа 1942 года я по своим делам приехал в Базель. Неделей позже ко мне явились два переодетых офицера из гестапо, под дулами пистолетов вывели из дома, где я остановился, и переправили через Рейн...

Берека так и подмывало вскочить с места. Он то приподнимался, опираясь на локоть, то садился, обхватив колени обеими руками. Подумать только, какие злоключения выпали на долю этого человека!..

— Похитили и увезли в Германию?

— Да. Так оно и было. В гестапо мне сулили золотые горы, лишь бы я им назвал имена и адреса тех, у кого, по моим данным, имеются драгоценные камни.

— Что же вы им на это ответили?

— Я отказался.

— Вот это да! А они?

— Они? — Куриэл показал Береку на свой рот. — Они выбили мне верхние зубы.

— На это они мастера. Так же избивали и Тадека. А что было после?

— После меня доставили к Гиммлеру. Это было первого или второго сентября.

— И там вас снова били?

— Там меня не били даже тогда, когда на все их посулы я отвечал «нет». Больше того, мне подали настоящий черный кофе, и если бы я только пожелал...

— Даже так! — изумился Берек и вдруг сказал: — А вы, господин Куриэл, не сказки мне

рассказываете?

— Знаешь, Берек, меня в твои годы обмануть ничего не стоило, а тебя, если бы я и захотел, то не смог бы. Вас, детей, превратили здесь в стариков. Хотелось бы надеяться на лучшее, но не вижу никакого просвета.

— Может быть, господь бог смилостивится над нами?

— В бога я не верую. Религия учит послушанию и покорности. Это не по мне.

— Почему же тогда у вас в шкафчике лежат талес и филактерии?

— В этой камерке до меня жил один знаменитый ювелир. Он покончил с собой. Все это осталось после него.

— Вы его знали?

— Мало сказать — знал. Он был моим большим другом.

— Так чего же от вас хотел Гиммлер?

— Когда? Тогда, в Германии, или здесь, в Собиборе?

— В Собиборе вы с ним тоже встречались?

— Да. Когда Гиммлер сюда приезжал, Болендер приходил за мной. Ты бы видел, как он тогда передо мною лебезил, готов был по-собачьи лизать мне руки. Просил, чтобы я надел приличный костюм, но я отказался и только снял с ног деревянные колодки. Они без задников, и приходится волочить их по земле.

— С чего это Болендер прикинулся таким добреньким?

— Потому что он понимал: достаточно одного моего слова, чтобы он стал на голову короче.

Гиммлер находился в специальном вагоне, в котором прибыл сюда. Снаружи это был обыкновенный товарный вагон, внутри — дворец. Болендеру было велено подождать на платформе. Меня обыскали и впустили в вагон. Помимо рейхсфюрера там находились еще три офицера. Из них я знал одного — Штангля. Он указал мне на стул, а сам стал позади меня.

Гиммлер прикинулся, будто меня не замечает, и продолжал разговаривать с одним из офицеров.

Оказалось, это был Эйхман.

— Все картины отослать в Линц и Кенигсберг. Относительно тех, что подлежат регистрации, обращайтесь к художнику Вилли Шпрингеру в Берлине.

Офицер поспешно извлек из кармана записную книжку и карандаш, чтобы записать адрес художника.

С Вилли Шпрингером я был когда-то знаком. Мне рассказывали, что он вступил в нацистскую партию и преуспевает. Не исключено, что его имя было названо с умыслом. Так, по крайней мере, мне тогда показалось. После этого Гиммлер повернулся ко мне. Он начал с того, что велел мне посмотреть на себя в зеркало.

«Как долго еще, — сказал он, — вы намерены подавлять в себе все человеческие желания, истязать свое тело и отказываться от всех земных радостей? Это же дико. Не думайте, что вам, упрямому фантазеру, задумавшему играть в благородство, кто-то поставит памятник. Принято считать, что богатство любой страны составляет главным образом запас благородных металлов и драгоценностей. Богатство Германии — это фюрер и его идеи. Тем не менее национальные интересы диктуют необходимость накапливать как можно больше благородных металлов. Третий рейх нуждается в колоссальных средствах для того, чтобы содержать свою могучую армию и обеспечивать ее всем

необходимым. Так извольте считаться с реальной обстановкой, и вы получите свободу рук, свободу действий и даже некоторые полномочия в своем деле. В противном случае мы вам напоминаем: война есть война... От вас зависит, чтобы мы пришли к согласию. Так что, заключаем с вами мир или же вы предпочитаете такое надежное место, как Собибор, где, как вы сумели убедиться, все лучшим образом приспособлено не для жизни, а наоборот?...»

— И сам Гиммлер так запросто с вами разговаривал?

— В его словах, в его манере держаться, думаю, было больше позы. Для обогащения рейха я Гиммлеру не нужен. Это, скорее всего, входит в обязанности рейхслейтера Розенберга. Но Гиммлер ненасытен, он жаждет награть для себя как можно больше, и оттого, что я не в Берлине, а в Собиборе, он многое теряет. Из дальнейшего разговора с ним я понял, что по меньшей мере два из шести крупнейших алмазов, прошедших через мои руки, до него не дошли. Один из них (я тебе еще расскажу, какой это алмаз) определенно присвоил Болендер, а другой, по всей вероятности, у Штангля.

— Что же вам помешало тогда указать на них пальцем? На свете было бы двумя убийцами меньше. Разве я не прав?

— Прав. Но чем меньше хищников будут касаться этих драгоценных камней, тем легче будет потом их найти. О Гиммлере говорить не приходится. Но и о Штангле и о Болендере уже знают на воле. Настала бы только пора...

— Так и вы, значит, верите, что всем им не миновать расплаты? А я отказался бы от самого крупного алмаза, лишь бы иметь возможность задушить хоть одного фашиста. Господин Куриэл, как вы думаете, в мире знают обо всем, что у нас здесь происходит?

— Думаю, что нет. Но о драгоценных камнях и редких ювелирных изделиях, которые прошли через мои руки, — об этом знают.

— Неужели важнее было сообщить о камнях, чем о том, что делают здесь с людьми? Должно быть, алмазы и бриллианты вам больше по душе.

— Неправда, Берек. Я люблю людей, но и драгоценные камни я тоже люблю, хотя у меня самого их никогда не было.

— Понимаю. Я замечал, что на алмаз вы смотрите, как на живое существо.

— Я и не отрицаю. Отчасти из-за этого я и нахожусь здесь. С тем человеком, которого я подкупил, чтобы сообщить на волю о драгоценностях, я больше ничего передать не мог. Он немногим лучше Болендера и Ноймана. Он уезжал в отпуск, чтобы там кутить и пьянствовать, для этого ему нужны были деньги. Ничего другого с ним передать нельзя было.

— Чем же кончился ваш разговор с Гиммлером? Не могли же вы ему ответить, что вам по душе Собибор. Что он еще вам говорил?

— Разное.

— Вы на меня обиделись? Я ведь не знал...

— Я на тебя, Берек, ничуть не обиделся. Вполне возможно, что в такое время думать об алмазах и не следует. Если мое слово может кому-нибудь из них причинить вред, я не вправе молчать. Штангля уличить мне вряд ли удастся, но о Болендере, как только я схвачу его за руку, не премину намекнуть Нойману. Этого, полагаю, будет достаточно, чтобы тот получил по заслугам. Я сказал «разное» и при этом подумал, стоит ли тебе рассказывать о том, что Гиммлер решил, как он выразился, сорвать с

меня маску, показать мне, что он не хуже меня знает мою настоящую биографию.

— Что это значит? Вы носите маску?

— Гиммлер знает, что говорит. Он знает, что я не еврей и моя настоящая фамилия вовсе не Куриэл... Берек от неожиданности соскочил с нар.

— Кто же вы на самом деле?

— Успокойся, мой мальчик, я — немец, но был женат на еврейке. У нас был сын. Жену и сына нацисты замучили. Рассказывать тебе об этом подробнее я сейчас не могу, да и незачем.

Берек стоял возле Куриэла и дрожал как в лихорадке. Куриэл этого не видел, но почувствовал, взял его за руку и усадил рядом с собой.

— А что было дальше? — спросил Берек.

— В память о погибших жене и сыне я решил взять девичью фамилию жены — Куриэл, моя же — Шлезингер, Фридрих Шлезингер.

— Какая разница — Куриэл или Шлезингер?

— Фамилия Шлезингер встречается не только у евреев, а я хочу уйти из этого мира, разделив участь евреев. Что же ты молчишь?

— Молчу... Мне страшно. Хочется плакать...

— Так не годится. А я думал, ты сильнее меня.

— Что же мне делать, если слезы льются сами собой?

— Больше ты ни о чем меня не хочешь спросить?

— Для чего вы все это сделали?

— Я ведь тебе сказал. История длинная, и сейчас не время рассказывать. Ночь уже кончается.

Отложим на другой раз. Могу сказать тебе только одно: я ничем не лучше тех, кого гонят по «небесной дороге».

— Вы должны сделать все, чтобы вырваться отсюда и рассказать людям о том, что здесь творится.

— Это уже не в моих силах. Пока жив Гиммлер, он меня из виду не выпустит. Спи. Скоро рассвет.

**ОДНОЙ ВЕРЕВОЧКОЙ ПОВЯЗАНЫ...**

Говорят, в радости год что день. Об этом Береку судить трудно, но что в мучениях и горестях каждый день длиннее года — в этом он нисколько не сомневается. Так или иначе, весна миновала — и настало лето.

По распоряжению Ноймана Куриэлу стали приносить двойную порцию хлеба и супа, но голод не обманешь. Для двух узников из маленькой каморки смерть от недоедания становилась такой же реальностью, как и ужасная гибель в газовых камерах. Куриэл, который ни разу не жаловался на утомление или слабость, таял на глазах. Все заметнее стали отеки на лице, а тут еще разболелся желудок, и он лежал на нарах бледный как полотно.

И все из-за того, что Берек дал себя уговорить, будто пожилым людям требуется совсем немного пищи. Чтобы Береку досталось побольше хлеба и баланды, Куриэл все убавлял свою порцию и при этом убеждал его:

— Пожилой человек, вроде меня, может недоедать, долго жить за счет собственных запасов.

Теперь Берек казнил себя за то, что принял на веру слова Куриэла и по существу отнимал у него последний кусок. Из уважения к старшему он наливал всегда суп из котелка сначала Куриэлу, хотя знал, что сверху одна вода. Рассказывал же как-то капо Шлок, который приносит им еду, что в лагере

при раздаче пищи никто не хочет идти первым и приходится людей гнать к котлу палками. Видя, как тщательно Берек вылизывает стенки котелка, так, что его можно было не мыть, Куриэл только посмеивался. А с хлебом как получалось? Двойную порцию давали только Куриэлу, а доставалась она Береку. Стыд и позор! Надо было сдерживать себя. Несмотря ни на что, отдавать Куриэлу все, что ему полагалось. Или хотя бы делить поровну. Кругом виноват!

Куриэл лежал, полузакрыв глаза, со страдальческой гримасой на лице. Он настолько ослаб, что, казалось, в нем погасло всякое желание сопротивляться болезни. Но вот его пересохшие, потрескавшиеся губы зашевелились. Послышалось какое-то незнакомое слово. Что он сказал? Не бредит ли он? Больше двух дней болеть здесь никому не позволяют. Правда, это Куриэл! Но станут ли убийцы считаться с этим? Если бы можно было достать какое-нибудь лекарство!

— Вы что-то сказали или мне показалось?

— Я сказал: мы илоты. Рабы, которых уничтожают. Только нам еще хуже, чем илотам.

— Господин Куриэл, мне трудно понять, что вы говорите. Лучше скажите, чем я могу вам помочь?

— Ничем ты мне помочь не можешь. Разве только дать глоток воды. Во рту пересохло.

Куриэлу становилось все хуже, и Берек себе места не находил. Рубаха на больном промокла. Он прижал ладони к пылающему лицу и вскоре впал в беспамятство. Заболеть легко, а вот выкарабкаться Из болезни без посторонней помощи трудно. Но с кем посоветоваться, к кому обратиться за помощью? Надо на что-то решиться, что-то предпринять, чтобы спасти Куриэла, даже если для этого придется рисковать собственной жизнью. Но что? Берек еще не знал, что он должен сделать, а ноги уже сами несли его. В первом лагере размещались мастерские: сапожная, портняжная, слесарная и мебельная. Пойти к тем, кто там работает, но чем они могут ему помочь? Что-то никого не видно. Наверно, прибыл очередной транспорт. В таких случаях всех узников из рабочих команд, занятых во дворе, загоняют в бараки, а все эсэсовцы «обслуживают» прибывшую партию людей. К Болендеру теперь не подступиться.

Из первого лагеря есть проход во второй. Только заходить туда разрешено лишь тем, кто сортирует и упаковывает одежду прибывших. Туда и обратно их сопровождает охрана. Там же находится конюшня. В то время как колонна обреченных людей, извиваясь змейкой, тянется через третий лагерь — по «небесной дороге», Нойман имеет обыкновение развлекаться со своим любимым конем. Туда и направился Берек.

Он остановился у какого-то помещения и прислонился к стене. Берек на мгновение забыл, что, собственно, его сюда привело. Не лишился ли он рассудка? Ведь он сделал последние шаги к краю бездны, навстречу собственной гибели. То, что он увидел, потрясло его.

Дневной свет меркнет. По широкой дороге, ведущей к газовым камерам, бредут тени. Идут, не ведая куда. У большинства из тех, кто совершает это последнее в своей жизни шествие, уже отобрали все, что у них было, и теперь они идут жалкие, оборванные, в лохмотьях, на ногах опорки. Вот пожилой человек в ермолке, с длинной седой бородой и пейсами. На нем еще не потерявший блеска шелковый сюртук, подпоясанный веревкой, к которой привязан закопченный до черноты котелок. Рядом с ним бредет совсем молодой парень. На нем будто приросшая к сутулым плечам линиялая рубаха.

Третий — в дырявом пиджаке, в спадающем на глаза картузе. За ним молодая женщина несет на руках ребенка. Платье на ней застегнуто до самого подбородка.

Идут... И никто не узнает, где истлеют их кости. Пыль клубится под шаркающими ногами, идут...

Берек взглянул направо, в сторону предлагерных построек. Там стоят три длинных барака. Один — посередине, поперек, а два других — вплотную к нему, по бокам. В среднем, кажется, сдают вещи. В боковых их сортируют. Там множество людей. Тот, кто сегодня принимает колонну, Вагнер или Френцель, как видно, в хорошем настроении. Он разрешает людям, дожидаящимся своей очереди, сдать одежду, в последний раз в жизни присесть на землю. Так и страже удобнее. На небольшом пригорке людей — как семечек в тыкве. Кто сидит, кто лежит, но все как бы застыли, погруженные в тяжкие думы.

Откуда-то издалека доносится свисток паровоза. В сторону Собибора, Треблинки, Бельжеца тянутся эшелоны обреченных на уничтожение.

Берек смотрел на пока еще живых людей, и его охватывал ужас. Та же участь ждет и его: через день, через месяц и он окажется среди них.

Вдруг один из охранников увидел Берека и от удивления, казалось, остолбенел. Самому сунуть голову в пасть льва! А может быть, парню показалось, что стена заслонила его от белого света? Немец тут же вскинул бы винтовку и выстрелил. Наемник же, если он не на посту, расхаживает по лагерю лишь с плеткой. Хотя плеть в руке тоже не пустяк, но из нее не выстрелишь. Что же, сейчас он и попотчует ею этого дурня. Хорошо бы только, чтобы кто-нибудь из начальства видел, как старательно и ловко он его отделает. Отдубасит и загонит в колонну...

От неожиданности, от страшной боли Берек после первого же удара закричал таким истошным голосом, будто перед ним разверзлась преисподняя. Но здесь никого этим не удивишь. Он заслонил лицо руками. Удары обрушивались один за другим. По другую сторону барака стоял тот самый рябоватый охранник, который в первый день прихода Берека в лагерь привел его к Болендеру. Это его территория, и он волен здесь распоряжаться. Чего же ради уступать свою власть кому-то другому? Он плечом слегка отодвинул в сторону своего дружка и приказал Береку:

— Ну-ка, убери руки с лица! В жмурки играть с тобой я не собираюсь. Хенде хох! Вытри кровь! Вот так. Теперь я наконец вижу, кто ты есть. Как ты смел покинуть свое рабочее место, своего шефа? Или тебе жизнь надоела? Так мы можем тебе помочь. — И снова гаркнул: — Хенде хох! Молчать! Возможно, в эту минуту Берек забыл, что с такими подонками лучше не вступать в разговоры, а может быть, естественное стремление спастись придало ему смелости, и он сказал:

— Чем дольше вы заставите меня молчать, тем хуже будет для вас.

Охранники удивленно переглянулись. Что-то несуразное плетет этот ублюдок. За все время, что они здесь служат, такого не бывало. Ну уж нет! Раз он позволяет себе угрожать им, они его в колонну не загонят. Тут же на месте «отделают» и на тачку — в костер. Однако интересно, что же он хотел сказать им перед смертью?

— Говори! Потом мы с тебя шкуру спустим, а пока — говори!

— Я должен срочно видеть господина Болендера.

— Обершарфюрера Курта Болендера? — и охранник, первым избивший Берека до крови, снова замахнулся на него плеткой.

— Постой, — схватил его за руку рябой, так как знал, что сам Болендер отвел этого парня к Куриэлу. Потом, повернувшись к Береку, он спросил: — А если обершарфюрер занят или его сейчас здесь нет?

— Если он занят, то на время оставит свое дело, а если его нет, то я должен как можно скорее

увидеть господина Ноймана. Что же вы стоите будто оглохли? Они же потом с вас шкуру спустят. Рябой поспешно направился в сторону третьего лагеря, другой охранник, опешив, смотрел ему вслед. Вот так чудеса. Кто кому приказывает? Если только Нойман или Болендер явятся сюда, то в ответе будет он один. В эсэсовской школе в Травниках им не раз говорили: с лагерниками ни в какие разговоры не вступать. Их надо бить, убивать и ни о чем не спрашивать, ничего им не отвечать. Кто же его втянул в эту историю? Вот незадача! Докажи потом, что ни о чем он с этим безумцем не говорил, только бил его, а если и произнес какое-то слово, то лишь ругательство, что не запрещается. Немцы могут ему не поверить, но он постарается их убедить...

Обеими руками охранник схватил Берека за куртку, рванул на себя и с силой стукнул спиной о стену. Это пока для начала. Здесь стена гладкая, так дело не пойдет, он потащил свою жертву на угол, где торчали концы сруба и в один из них не до конца был забит большой гвоздь. Снова рванул на себя этого доходягу, и вдруг раздался окрик:

— Aufhören! Weg![8]

Это издали кричал унтершарфюрер Нойман. Охранник понял, что гнев эсэсовца обращен против него. Этого еврейчика ему ведь незачем прогонять.

Нойман Берека узнал и все же принялся его разглядывать:

— Ты, проклятый юде, мог бы еще некоторое время пожить на свете, но раз уж ты сам сюда явился...

— У меня другого выхода не было. Я должен был...

— Aufhören! Для тебя сделаем исключение. Тебя не будут бить, даже раздевать не станут, без всякой очереди попадешь в баню. Пошли!

— Я пришел, чтобы предупредить: вам грозит опасность.

— Что?.. — замахнулся было Нойман плеткой, но не стал ее опускать.

— Господину Куриэлу плохо!

— Самоубийство?

— Нет. Он опасно болен. Отравился, должно быть, супом или хлебом.

— Доннерветтер![9] Тебе, однако, все равно капут!

— Пока жив Куриэл, буду жить и я. Таков приказ Гиммлера.

Нойман остолбенел.

— Ты нагло врешь! Как ты смеешь произносить имя рейхсфюрера СС?

— Я не вру. Вы можете в этом убедиться. Это было сказано в присутствии коменданта лагеря Треблинки.

— И там шла речь о тебе, о таком ничтожестве?

— Не обо мне, а о помощнике для господина Куриэла.

— Так мы ему подберем другого помощника.

— Господин Куриэл заявил, что, если у него снова отберут помощника, он к работе не притронется.

Рейсхфюрер распорядился его просьбу удовлетворить.

— Так ли это — мы еще выясним. Тебе Куриэл об этом сказал? Что еще он тебе говорил?

— На это мне трудно ответить. Он много рассказывал о себе.

— Куриэл — его настоящая фамилия?

— Нет.

— Придуманная?

— Почти.

— Что значит почти? А как его настоящая фамилия, знаешь?

— Фридрих Шлезингер.

— Кроме меня, ты еще кому-нибудь об этом говорил?

— Никому.

— Если ты только проговоришься, я вот этими руками вырву твой язык. Надеюсь, в этом ты не сомневаешься?

— Нет. Не сомневаюсь.

— В журнал учета заносятся все драгоценности?

— Не знаю.

— Говори. Твоему Куриэлу это не повредит. Он в драгоценностях не нуждается.

— Я понимаю. Но я такого журнала не видел.

— Что ж, он тебе не доверяет? А говоришь, он к тебе хорошо относится.

— Больше чем хорошо — как родной отец.

— Разве он не немец?

— Куриэл говорит, что он истинный немец.

— Ну, ну! — пригрозил ему Нойман кулаком. — Иди к Куриэлу, только не оглядывайся. Я приду вслед за тобой.

Берек уже перешагнул было границу между вторым и первым лагерем, как до него донесся крик Болендера:

— Господин унтершарфюрер! — И снова: — Господин унтершарфюрер Нойман! Этого парня — к газмейстеру Бауэру!

К Бауэру! Что теперь будет? Значит, конец. Бежать? Но куда? Здесь, в Собиборе, нет такого места, где можно было бы укрыться. Да и как побежишь, если подкашиваются ноги. Хорошо еще, что остановился он за стеной сапожной мастерской и ни Болендер, ни Нойман его не видят.

— Только не к Бауэру. Это запрещено!

Это говорит Нойман! Так отвечать Болендеру рискнет не каждый.

— Господин унтершарфюрер, я приказываю, немедленно исполняйте!

Конечно, Болендер на своем настаит. Кто здесь с ним может тягаться.

— Это исключено, — стоит на своем Нойман.

— Унтершарфюрер Иоганн Нойман, не забывайте, что за Куриэла отвечаю я. Так распорядился группенфюрер СС, генерал полиции Одилио Глобочник. В последний раз приказываю вам.

— Господин обершарфюрер Курт Болендер! Ворона взлетает высоко, а садится на падаль. Мои полномочия исходят от более высокопоставленного лица. Чтобы подтвердить ваше приказание, требуется по меньшей мере распоряжение оберштурмфюрера СС Франца Штангля. А теперь, если вы не хотите, чтобы я пристрелил вашего пса, держите его покрепче на поводке. Когда вы науськиваете его: «Менш, хватай собаку!» — не я один замечал, что он у вас не очень разбирается — ариец перед ним или недочеловек.

Болендера от таких слов чуть было не хватил удар. Своего огромного и свирепого пса он потянул на себя с такой силой, что тот заскулил. По тону Болендера сейчас трудно было предположить, что

именно он выше рангом.

— Господин унтершарфюрер, — сказал он, — разрешите вам заметить, что мальчишка был свидетелем того, как вели колонну от железнодорожной платформы по «небесной дороге», и своими глазами видел все.

— Ну и что? А вам не кажется, что и в рабочих командах догадываются о своей участи?

— Но этому парню, возможно, стало известно такое...

— Дальше проволочного ограждения ему не уйти. Пламя костра проглотит все. Но в это же пламя может угодить и кое-кто из команды лагеря, если попытается использовать Куриэла в корыстных целях.

— Господин Нойман, доступ к Куриэлу имею не только я, но также и вы.

— Обо мне не тревожьтесь.

— А капо Шлок, который приносит им еду?

— Он болтать не станет. Встречу с Бауэром он желает оттянуть как можно дальше. Куриэл болен, и, если он умрет, не поздоровится нам обоим.

— Так, может, сообщить гарнизонному врачу?

— Кто, господин обершарфюрер, дал вам такое право? Если среди прибывших в эшелоне есть врач, распорядитесь, чтобы его задержали. Как только Куриэл перестанет в нем нуждаться, мы его отошлем. Начальнику кухни я прикажу выделить для Куриэла обеденную порцию из котла, в котором готовят еду для охраны. Вы с этим согласны?

— Разумеется, партайгеноссе[10].

— Вот и хорошо. Запомните, что на этот раз я помог вам избежать неприятностей.

Куриэл чувствовал себя немного лучше, но был очень встревожен. Увидев Берека, он, преодолевая слабость, начал его расспрашивать:

— Ты куда исчез? И весь в крови. Тебя что, били? К чему эта игра со смертью? Еще успеешь...

— Вам было очень плохо. Надо было что-то предпринять, вот я и пошел разыскивать Ноймана.

— И ты его разыскал?

— Да. Во втором лагере. Как раз в это время прибыл эшелон.

— Боже мой! Они ведь могли тебя вместе со всеми загнать в третий лагерь...

— Могли и хотели. Мне пришлось сказать Нойману, что Гиммлер обещал не лишать вас помощника.

— Берек, дорогой, на этот раз тебе повезло, только прошу тебя, не вздумай больше так рисковать, обещаю мне.

— Что обещать? Нас ждет одна дорога. Мы с вами одной веревочкой повязаны.

— Это так, но я уже стар, а ты молод. Мне, откровенно говоря, такая жизнь уже надоела. Но раз уж так вышло, что твоя жизнь зависит от моей, я буду гнать от себя смерть. Постой, ты куда опять собрался?

— Никуда. За дверью лежит тряпка, я хочу вытереть пол.

— Ты уж извини, меня рвало, а сойти с нар не было сил.

— Лишь бы вам легче стало. Врача вам найдут, и раз в день вместо баланды будете получать настоящий обед.

— Откуда ты все это знаешь?

— Вот увидите.

Как всегда без стука вошли Нойман и Болендер. Шедший позади них капо Шлок принес солдатский котелок с вязкой рисовой кашей, поставил его на шкафчик и, угодливо кланяясь, исчез как тень.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Нойман.

И так как Куриэл, по обыкновению, молчал, Берек набрался храбрости и ответил вместо него:

— Сильно ослаб, но, кажется, немного лучше.

— А температура?

— Озноб не прекратился.

Болендер нетерпеливо вмешался в разговор:

— Тебя спрашивают, какая температура у больного, или ты такого слова никогда не слышал?

— Слышал и мерил. Но это было тогда, когда у нас был термометр.

Нойману ответ Берека, кажется, пришелся по душе. Когда они уходили, он все-таки пропустил обершарфюрера впереди себя. Тот буркнул на ходу, что при первой возможности Куриэла навестит врач.

## ДОКТОР АБРАБАНЕЛ

К ночи у Куриэла снова усилились боли. Он все время просил пить, а Берек не знал, можно ли ему так часто давать воду. Луна уже заглядывала в зарешеченное окошко, когда пришел Шлок и привел с собой видного мужчину. Он был так красив, что хоть портрет с него пиши. Берек понимал, что внешность — не главное в человеке, и все же облик вошедшего невольно вызывал почтение. Капо представил его:

— Доктор Абрабанел. Из Голландии. Унтершарфюрер Нойман предоставил нам право решить, останется ли господин Абрабанел у больного до утра или я сегодня же, не позже чем через час, уведу его. Думаю, вы со мной согласитесь, господа, порядок превыше всего. Ну, так как? Задержитесь у больного? Для такого уважаемого гостя я уж постараюсь и разыщу соломенный матрац.

Они остались втроем. Доктор раскрыл свой саквояж и извлек оттуда белоснежный халат. Там же лежали его инструменты и в отдельной коробочке разные лекарства.

— Du sprichst deutsch? (Ты говоришь по-немецки?) — спросил он Берека.

— Ein bißchen. (Немного.)

Берек полил врачу из ковшика на руки. Полотенца не оказалось, но были чистые тряпицы, которыми пользовались во время работы. Доктор вытер руки и подвинул свою табуретку к Куриэлу.

— Так на что, больной, жалуемся? — он делал свое дело, продолжая говорить. — Думаю, что вы чем-то отравились. Сейчас мы вам хорошенько промоем желудок. Ты чего такой грустный? — повернулся он к Береку. — Твой дедушка поправится.

Берек уступил свое место на нарах доктору, а сам лег на пол. Свет погасили, но Куриэлу спать не хотелось. Он как будто ожил. Затаив дыхание Берек прислушивался к разговору Куриэла и доктора.

— Еще в детстве я слышал фамилию Абрабанел.

— Фамилия Куриэл мне тоже знакома. Не могу только припомнить, где и когда я ее слышал.

— Господин Абрабанел, как давно вы из Голландии?

— Три дня тому назад я выехал из Вестерборка, это на северо-востоке страны.

— Что вы говорите? Даже не верится!

— Вы будете еще больше удивлены, если я покажу вам свой билет.

— Какой билет?

— Обыкновенный билет, такой же, какой приобретают в железнодорожной кассе. На плотном белом картоне. Первый класс. На нем дата — первое июня.

— И конечная станция вашего путешествия на нем указана — Собибор?

— О, вы до сих пор еще не представляете себе, на что способны нацисты. Не знаю, то ли во избежание осложнений, то ли издеваясь над нами, но тысячам несчастных из Вестерборкского лагеря объявляют, их повезут — куда б вы думали? — в Иерусалим, остальным говорят, что на время войны отсылают всех в нейтральную страну, а уже потом, в пути, объявляют, что по непредвиденным обстоятельствам поезд меняет свой маршрут и железнодорожная администрация требует, чтобы пассажиры прошли дезинфекцию. Ценные вещи велят сдавать в камеры хранения, по предъявлении квитанции их можно будет в целости и сохранности получить обратно. Выдают почтовые открытки от Красного Креста, чтобы сообщить друзьям и знакомым, что находятся в пути. Не разрешается только указывать местонахождение.

— С вашим билетом первого класса вы, значит, попали в товарный вагон?

— Нет. Сперва — в пассажирский, а уж потом сформировали состав из товарных вагонов и в них затолкали свыше трех тысяч человек.

— Откуда вам известно количество людей?

— По моей профессии и должности мне многое известно. Я знаю, что через неделю из Вестерборка будет отправлен еще один транспорт. Этим занимается комендант лагеря в Вестерборке оберштурмфюрер Альберт Гемеккер. Это нацист высшей пробы.

— Как давно вывозят сюда евреев из Голландии?

— Первый транспорт из Вестерборка был отправлен второго марта этого года. В тот же месяц было отправлено еще пять транспортов. В апреле — четыре, в мае — четыре. Транспорт, в котором я прибыл, по счету четырнадцатый. Был сформирован специальный транспорт со стариками и инвалидами, а вслед за ним — с малышами из детского дома со всем обслуживающим персоналом — врачами, медицинскими сестрами, воспитателями. По данным, которыми я располагаю, из Вестерборка вывезли свыше двадцати двух тысяч человек. Из Гааги поступил приказ как можно скорее очистить территорию пересыльного лагеря Вестерборк. В том, что цифры, которые я вам здесь назвал, точны, можете, господин Куриэл, не сомневаться.

Как мог уснуть Берек после этого? Правда, об эшелоне с детьми он слышал и раньше, о чем ему рассказал Макс ван Дам. Среди обслуживающего персонала была одна голландка, врач, но она отказалась покинуть детей, до последней минуты не отходила от них, с ними и погибла.

Куриэл продолжал расспрашивать:

— Доктор Абрабанел, скажите, а как обстояло дело до марта? Вначале, когда мофы пришли в Голландию, я что-то не замечал, чтобы они предпринимали серьезные антисемитские акции.

— Это не совсем так. Тогда они еще вынуждены были считаться с мнением народа.

Преобладающему большинству голландцев бредовая нацистская идея о «чистоте крови» чужда. Она вызывает у них отвращение. И когда нацисты убили четыреста еврейских юношей, докеры объявили забастовку, а вскоре к ним присоединился весь Амстердам. В сентябре сорок первого евреям в Голландии запретили посещать театры, кино, концерты. Против этого протестовала голландская интеллигенция, вот-вот должна была снова вспыхнуть забастовка портовиков. Тогда мофы, как вы их называете, передали еврейской общине в Амстердаме большое каменное здание под театр. Актеры в

нем были только евреи, и пускали в него одних лишь евреев. Не все тогда понимали, насколько опасно отделение евреев от окружающего населения и к какой беде это может привести.

В июле сорок второго года в Амстердаме был обнародован приказ, обязывающий всех евреев пройти специальную регистрацию, но послушались его немногие. Началась дикая охота за людьми. Их выслеживали, за ними гонялись днем и ночью, на улицах и в домах. Всех, кто зарегистрировался и кого удалось изловить, загнали — куда бы вы думали? В театр. Так помещение театра превратилось в пересыльную тюрьму. День и ночь горело электричество. От яркого света прожекторов невозможно было укрыться. Малейшие щели, сквозь которые мог проникнуть дневной свет, законопатили. Стулья составили штабелями вдоль стен зрительного зала, а на навощенный паркетный пол постлали соломенные матрацы. Сотни людей лежали, вплотную прижатые друг к другу. Буфетный зал был превращен в лазарет. На галерке совершались экзекуции над теми, кто провинился перед оккупантами.

За три дня помещение до отказа набили людьми, после этого всех отправили в Вестерборк. Через этот театр-тюрьму прошло не менее пятидесяти тысяч человек.

— Господин Абрабанел, а вам известно, куда вы прибыли?

— Капо указал мне на надпись у входа, и я прочел: «Собибор. Зондеркоманда войск СС», и рядом: «Труд делает свободным!» Еще он мне сказал, что от каждого прежде всего требуется послушание и дисциплина.

— Больше он вам ничего не говорил, ни о чем не спрашивал?

— Спросил, нет ли у меня порнографических открыток. Говорил все больше о себе. В Гамбурге он был крупье и сожалеет, что в свое время, на свободе, позволял себе мало удовольствий. Он знает: от жизни надо брать как можно больше. Все на свете он знает, кроме одного — как в этих условиях выжить.

— Что такое крупье? — спросил Берек.

Куриэл объяснил и добавил:

— Ты, Берек, спи. День для тебя и без того был нелегким. — И снова к Абрабанелу: — Вы, однако, быстро раскусили Шлока. Но он еще хуже, чем можно предположить. Скажите, а что вы думаете о месте, где мы с вами теперь находимся? Не считаете ли, что железнодорожный билет вам еще пригодится?

— Нет, господин Куриэл, не думаю, а спрашивать ни у кого не хочу. Как врач я позволял себе не всегда говорить своим пациентам правду. Когда капо сказал, что не знает, как выжить, он, быть может, сам не догадывался, что проговорился. А я не считаю для себя возможным прийти к своим товарищам по несчастью, многие из которых уже сами догадываются, что их ждет, и сказать им: дьявол куда страшнее, чем кажется. Я этого не сделаю!

— Господин Абрабанел, если я заявлю, что еще нуждаюсь в вашей помощи, тогда не исключено...

— Исключено. Вы один, а там много больных, и я не вправе оставить их без помощи.

— Доведись мне до войны читать о чем-нибудь подобном, ни за что не поверил бы. Будь вы капитаном тонущего корабля, тогда другое дело, но чтобы врач...

— Если бы произошло чудо и ваш внук оказался на свободе, я бы ему сказал: вот уже скоро шесть столетий, как Абрабанелы лечат людей. Молодой человек, следуй по нашему нелегкому пути, и ты никогда об этом не пожалеешь.

Как долго еще длился разговор, Берек не слышал, потому что все-таки уснул. Проснулся он, когда на дворе уже стоял день. Абрабанел, собравшись уходить, скинул свой белый халат. Из бокового кармана он извлек большой конверт:

— Господин Куриэл, меня пока не обыскивали. Да здесь, собственно, ничего запретного нет. Это фотографии, которые мне хотелось бы сохранить. Быть может, оставить вам некоторые из них? Это комендант лагеря в Вестерборке — оберштурмфюрер Гемеккер. Я понимаю, на таких нацистов вы достаточно нагляделись, но его патологическая страсть мучить свои жертвы не знает границ. Ему доставляет величайшее удовольствие видеть чужие страдания. Посмотрите на него: с виду благообразен, статен, элегантен. Кто может о таком человеке подумать дурно? Дети и их учителя, которых вы видите на другом снимке, выстроились между двумя бараками в Вестерборке. Детей сейчас отведут на железнодорожную станцию. Вид у них измученный, им бы плакать, а они улыбаются, некоторые даже смеются. Им обещали золотые горы, они верят учителям. Откуда им знать, что учителя, желая их успокоить, скрывают правду. Дети остаются детьми. Сюда они прибыли через три дня после того, как выехали из Вестерборка.

Пассажирский поезд, который вы видите на третьем снимке, состоит из комфортабельных вагонов. Места в нем получили видные специалисты: инженеры, архитекторы, музыканты, художники. К интеллектуалам у нацистов двойная ненависть, но для вида этикет соблюдается. Каждый голландец может легко убедиться, что порядок есть порядок. У состава стоят вооруженные немецкие часовые. Попробуй без билета проникнуть в вагон — не пропустят. Наконец, мне хотелось бы оставить вам снимок здания театра, превращенного в тюрьму, а также мой проездной билет первого класса до Иерусалима.

Пришел Шлок, чтобы увести Абрабанела, и заодно принес черный «кофе». Куриэл попросил врача подождать и предложил ему выпить немного теплого кофе. Но Шлок рассвирепел. Он поднял палку, которую обычно носил при себе каждый капо как символ власти. Куриэл возмутился:

— Не забываетесь, капо, не то я вам напомню: Нойман запретил вам переступить этот порог с палкой в руках, и еще — без моего разрешения вы не вправе входить сюда.

— Я сюда зашел по долгу службы.

— Капо Шлок! Оставьте нас и ждите за дверью, пока я вас не позову. Вот так! А вам, доктор, спасибо, большое спасибо.

— За что вы меня благодарите?

— За то, что вы показали мне, что настоящий человек всегда и везде человек. Жаль, что мы прежде не были знакомы. А теперь я даже не знаю, что вам сказать на прощание.

— А я, господин Куриэл, думаю, знаю? Давайте пожелаем друг другу, чтобы свершилось чудо: Берек уцелел и смог бы предъявить за нас счет...

Доктор открыл дверь и позвал:

— Капо, я готов.

Когда шаги затихли, Берек, встав на цыпочки, посмотрел в окошко. Куриэл заметил, что он вздрогнул, и спросил:

— Что ты там увидел?

— Как только они свернули в сторону, капо замахнулся на доктора палкой. Но он его не ударил, не волнуйтесь, господин Куриэл. Что ему от него надо?

— Шлоку ничего не стоит избить любого ни за что ни про что. Ничтожный человек.

— Ничтожный? Страшный! Чтобы продлить свою жизнь хоть на час, он готов погубить десятки других.

— Все, что он делает, получает одобрение немцев. Ты, должно быть, заметил: Абрабанелу я не сказал, что я немец. Макс ван Дам это знал, ему я мог сказать, как отношусь к своему народу. Я считаю его опасно больным, и болезнь такова, что мне стыдно называть себя немцем.

— Я знаю, что ван Дам вам на это ответил: так можно говорить о нацистах, а не о немцах.

— Да, примерно так он мне и сказал. Но ты-то откуда это знаешь?

— Когда я был у него, мы говорили и об этом. Он у меня спросил: «Чем еврей Шлок лучше Вагнера, Гомерского, Ноймана? — И добавил: — Всех их на одном суку надо вешать».

## В ЖЕНСКОМ БАРАКЕ

День — что год, но время не стоит на месте, и лето уже отступает. Нет-нет да повеет холодом.

Вечером Берек тайком пробрался в женский барак. Первой его заметила Фейгеле-недотрога и сразу же всех оповестила:

— Вы только поглядите, кто к нам пришел! Берек — один, без соглядатая. Что же стряслось с капо Шлоком? Говорят, по дороге сюда в него угодили два камня: один, брошенный немцами, сломал ему шею, а другой — еврейский «подарочек» — окончательно пришиб его. Ай-яй-яй! Что ж теперь будет? Ладно, не переживайте. Если бы Шлок живой был нам так же опасен, как мертвый! Верно я говорю? Берек говорит, что верно.

Берек приходит сюда не впервые. Он уже знает, что Фейгеле имеет обыкновение задавать вопросы и сама же на них отвечает. Работает она во втором лагере, сортирует и упаковывает женскую одежду. Выносить оттуда что-либо запрещено под страхом смерти. Тем не менее он каждый раз застаёт ее в другом одеянии. Сегодня Фейгеле особенно принарядилась. Платье на ней пестрое, всех цветов радуги, и грешно было бы сказать, что оно ей не к лицу. Гладко причесанные волосы отливают медным блеском. Глаза — большие, лучистые, и не подумаешь, что изо дня в день им приходится заглядывать в бездну: даже в этом мраке они умудряются находить крохотный лучик света. Она любит слушать занимательные истории. Тогда мечты уносят ее на волю. Еще большее удовольствие доставляет ей пение.

Возможно ли, чтобы в таком гиблом месте хотелось петь? На первый взгляд кажется, что это невозможно, но иногда человеку хочется петь и на краю пропасти.

— Скажи мне, Берек, — спрашивает Фейгеле, — такую невесту, как я, ты хотел бы иметь? Чего молчишь? Я же вижу, что нравлюсь тебе, но, сказать по правде, я уже старая дева. Тебе нет и пятнадцати, а мне, если доживу, через месяц будет семнадцать. Ой, как быстро состарилась я... А ведь мы с тобой еще могли бы расти и радоваться! Я болтаю, а ты, бедный мой женишок, хочешь есть. Ведь пришел ты сюда, чтобы разжиться коркой хлеба. Мне твои повадки знакомы. Ам-ам — важнее лапсердака. А я в пеньюаре нашла целое «состояние»: чепчик с коржиками и дольку чеснока. Этот чепчик был похож на черлычку. Знаешь, что это такое? Глиняный горшок для сладкой субботней бабки — для кугеля, — и все это было завернуто в детский фартучек. Вот тебе коржик, получишь море удовольствия. А если ты меня хорошенько попросишь, я на закуску спою тебе песенку.

Петь Фейгеле не стала, так как ей сначала надо было опрыскать и подмести пол.

Сто пятьдесят женщин и девушек размещались в большом прямоугольном бараке. Нары вдоль стен были устланы тонким слоем трухлявой соломы, покрытой рядом. Вместо подушки у каждого изголовья завернутый в тряпку уцелевший жалкий скарб. Похоже, здесь недавно была дезинфекция: тряпье еще влажное и от него несет острым, неприятным запахом. Занимать нары внизу дозволено только молодым. Тем, кому за тридцать, положено лезть наверх. Кому это не под силу, того убирают из рабочей команды, состоящей только из «годных». В тюрьме обычно есть окна — пусть маленькие, зарешеченные. В бараке нет ни одного окошка, и приходится все время держать дверь открытой, иначе нечем дышать, будто выкачали весь воздух.

Люка, подруга Фейгеле, сидит, отрешенная от окружающей ее людской суеты. Она подзывает Берека и жестом указывает ему на место рядом. У нее красивое тонкое лицо, высокий лоб, к тому же она умна и обаятельна. Ей пошел двадцатый год. Одно лишь не нравится Береку — она курит. Во время сортировки одежды принято прежде всего очищать карманы, и нередко в них находят сигареты, папиросы, махорку. Девушки, занятые на этих работах, обычно приносят все это «добро» в барак, и Люка, а с нею еще несколько девушек все время дымят.

На верхних нарах лежит Люкина мама — измученная, изнуренная женщина с потухшим взором. Она, вероятно, не так стара, как кажется. Соседка что-то ей рассказывает, до Берека доносятся только обрывки разговора:

— Домой мой «пан отделенный» пришел в поношенном солдатском мундире с орлом на конфедератке... Святым духом, говорю я ему, не проживешь... Что уж тут мечтать о пшенице, когда мера картофеля стоит бешеных денег. Из-за голода свет божий не мил... Когда на сердце камень, и жизнь не в жизнь. Шутка сказать: видеть весь этот кошмар, каждый день присутствовать на собственных затянувшихся похоронах... Говорю вам, чему быть, того не миновать. Такой удел, такое «счастье» нам выпало, а у вас еще в мыслях, как достойнее умереть! Ну, ну!..

Люка вскочила с места, задрала голову и закричала:

— Сколько раз я вас просила, не каркайте, как ворона. И так хорошо, а тут вы еще сыплете соль на раны. Фейгеле, брось веник и спой нам. Слышишь, о чем я тебя прошу? Спой что-нибудь.

Веник Фейгеле-недотрога, как ее здесь прозвали, не бросает. Она расхаживает взад и вперед по бараку и протяжно поет:

Годы детства! Дорогой раздольной  
Вы умчались, забыть вас нельзя.  
Лишь представлю вас, и невольно  
Мне становится грустно и больно...

Ой, как быстро состарился я!

У Берека сжалось сердце. Люка, которая до прибытия в лагерь не слышала еврейской речи, и та сидит сама не своя. Фейгеле ей говорит:

— Ну, Люка, раз у тебя глаза на мокром месте, я больше петь не буду, — и тут же спохватывается, что с подружкой лучше не связываться. — Ладно, могу и продолжать. А ты, Берек, отвернись, а то мне неловко. Сейчас, только горло промочу.

Не могу до сих пор наглядеться  
На избушку, где жил я и рос.  
Там осталось беспечное детство

С колыбелькой моей по соседству,

Там все то, что волнует до слез.

Ой, девушки, песенка хороша, но к чему нам здесь, в Собиборе, этот волшебный сон? Люка, возвращайся на свое место, на нары, и оставь меня в покое. Ну ладно, так уж и быть, допою. Чем еще я могу тебе угодить?

Годы детства — цветы молодые,

Годы детства — мой утренний сад,

Заменили вас годы седые...

Вы промчались как дни золотые,

Никогда не вернетесь назад![11]

Ой, девушки! Вот бы фашистам нашу боль и наши муки... Как бы это было кстати! Люке кто-то сказал, что теперь уж их песенка спета. Дай-то бог! Но как нам дожить до этого часа? Тому, кто мне ответит на этот вопрос, я отдаю свой котелок баланды.

В противоположном конце барака всегда сумеречно, даже когда двери раскрыты настежь, и Береку трудно различить выражение глубоких, задумчивых глаз Люки. Она сидит, подогнув под себя ноги. Черные волосы разделены посередине пробором. Лицо спокойно, губы сомкнуты, но Береку кажется, что она сама с собой разговаривает.

Должно быть, и Берека эта песня с ее пронзительной тоской взволновала, напомнила ему детство, местечко, где он сделал свои первые шаги. Берек видит перед собой маленькие домики, покрытые дранкой и соломой. Ласточки выют гнезда под стрехами. Ветряная мельница машет большими крыльями. Круглые караваи ржаного хлеба и, само собой, мама, светящаяся добротой. А может быть, эта песня кому-то помогла хоть на минутку забыться, сбросить с себя груз несчастий и пробудить в себе утраченную молодость!.. Только что было тихо, и вот уже снова отовсюду слышится говор, шум.

Фейгеле подошла к нарам, на которых сидят Люка и Берек. До чего же она стройная, гибкая, как тростинка. Когда Капо Шлок смотрит на Фейгеле, он облизывается, как собака у плетня скотобойни. При этом он потирает руки от удовольствия. Шлок возомнил себя начальником, будто он вылеплен из другого теста и его не ждет та же участь. Эсэсовский холуй, во всем подражающий своим хозяевам. Но даже этот мерзавец отступает, когда Фейгеле, шипя, произносит свое привычное: «Не трогай меня!»

— Послушай, тебе говорят, лучше не трогай меня! Председатель юденрата у нас в городе был парень-хват, похлестче тебя. Как-то он попытался распусть руки, так я из его физиономии сделала котлету. С тех пор ко мне и прилепилось прозвище «недотрога». Тогда мы с ним были с глазу на глаз, а теперь нас сто пятьдесят. Запомни это, пане Шлок.

Давайте на время оставим Шлока и присмотримся повнимательнее к Фейгеле. Не быть ей в живых, если бы не случай. Фейгеле была в числе двухсот красавиц, доставленных из Люблина в Собибор за день до прибытия Гимmlера. Когда Рина попала в руки эсэсовцам, Фейгеле, у которой вскочил на глаз ячмень, отослали назад в гетто, и ее место заняла Рина. Чем, собственно, бедная Фейгеле виновата перед Риной? Ничем. Буквально ничем, и все же...

Фейгеле, правда, сама об этом рассказывала с горькой усмешкой, и в ее устах все выглядело так, будто она проиграла пари, не выдержала испытания. Она также признала, что доставленная вместо

нее девушка была редкой красоты.

Никого, кроме эсэсовцев, нельзя винить в участии Рины. Берек все это понимает, но его и тянет к Фейгеле, и в то же время что-то останавливает. Тянет потому, что она последней видела Рину и даже разговаривала с ней. Он ее и жалеет. Ведь ей одной — такой красивой, умной, живой — довелось стоять у самого края пропасти. Оттого он широко раскрытыми глазами смотрит на Фейгеле и видит ее как бы в туманной дымке.

Что же его так гнетет? Может быть, то, что даже здесь, стараясь забыть обо всем, Фейгеле хочет хоть ненадолго принарядиться, надеть украшения и нетерпеливо ждет от Берека безделушек? Нет, не то. У своей мамы Фейгеле не довелось видеть украшений. Но Берек знает: у девушек, в том числе у Фейгеле, есть в натуре что-то такое, отчего даже на пороге смерти им хочется выглядеть привлекательно. Как-то Куриэл разрешил ему передать Фейгеле нитку дешевых, но красивых бус. В глазах у нее заиграл огонек, как у ребенка, получившего желанную куклу. Как она радовалась! Выбежала на улицу полюбоваться бусами, искрящимися при дневном свете. Показала их Люке. Похвасталась. А когда Люка не проявила восторга, Фейгеле надулась и заметила: «Для меня красиво не то, что красиво, а то, что мне нравится». Повесила на шею бусы, повела плечами, как цыганка, и обронила: «Ожерелье на шее и камень на сердце».

Что же все-таки мучает Берека? Даже самому себе нелегко признаться, что иногда у него мелькает мысль: на ее месте могла бы теперь быть Рина.

Эти мысли надо гнать от себя. И думать так нехорошо. Он видит лишь одно: Фейгеле не такая, как все. Даже в этом аду она находит радость в песне. Фейгеле подсаживается к Люке и начинает ластиться к ней. Обе они дрожат. То ли от холода, то ли от страха, кто знает?

— Вдруг ни с того ни с сего принялась петь, — говорит Фейгеле, — людям на смех. И хоть бы кто похлопал. Так нет, повесили носы. Ладно, я не в обиде. К тому же и певица я аховая...

— Что ты говоришь? В тебе есть что-то такое... — вырвалось у Берека неожиданно для него самого.

— Здравсьте! Он, видите ли, знает, что у меня есть. Знал бы ты, Берек, как я богата. Хочешь, покажу тебе торбу с чужим барахлом. Там лифчики, чепец, парик, вуаль, белое подвенечное платье и залатанная кофточка, чтобы прикрыть свою беду. Там же найдешь и письма, дневники и даже завещания. Я вытряхнула их из чьих-то карманов. Люди канули в вечность, а написанные ими строки сохранились. Подумать только, всех этих людей привезли из разных стран, из разных лагерей и гетто, и сами они разные, а посмотришь, то ли голод, то ли страдания так всех уравнивают, — пишут они одно и то же. И все на что-то еще надеются. На что? — спросила бы я у них. Но ответ мне на это могут дать только карманы их одежды. Иногда письма ни к кому не обращены, а иногда в них указаны имя и фамилия адресата.

Жизнь на ниточке висит, а пишут любовные письма. Когда я читаю: «Любимая, родная моя», мне хочется крикнуть — вы ведь так далеки друг от друга, как восток от запада, к чему эти письма?

Романы заводят. Вы бы видели, как ищут путь к сердцу друг друга, как клянутся в вечной преданности и любви...

Не все, что говорит Фейгеле, доходит до Люки, с языком она еще не совсем в ладах, но о многом, чего не понимает, догадывается. Ее такие слова задевают.

— Чему ты удивляешься? Когда ты кого-нибудь полюбишь, и сама такой станешь.

— Люка, дорогая, да разве я смогу изведать вкус любви? Так же, как мертвые могут пуститься в

пляс. Вот спроси его, моего женишка, Берека, что он предпочтет — поцелуй или кусок хлеба? И хотя молоко матери на его губах уже давно обсохло, он знаешь что ответит? Пожевать бы... Это уж точно. Он голоден, и с этим ничего не поделаешь. А если поцелуй? Где и как мне назначить ему randevu? Можем, конечно, гулять с ним всю ночь по «небесной дороге», читать друг другу стихи из «Песни песней»[12], а наутро явиться к обергазмейстеру Эриху Бауэру и склониться перед ним в учтивом поклоне: «Доброе утро, герр Бауэр, мы уже здесь, а вы, будьте так добры, подберите для нас подходящую смерть, и чтобы Болендер или Френцель, упаси бог, после этого не забыли сжечь нас на костре». Нам уж никогда не любить...

— Послушай, Фейгеле, я как-то тебе рассказывала, что место, на котором мы теперь сидим, раньше занимала молодая женщина-литовка. Мы ее звали Мирой Вайсман и были уверены, что она еврейка. Оказалось, что на самом деле ее звали Милдой Пачкаускайте. Когда мы жили в Германии, а затем в Голландии, куда бежали, я по-еврейски не говорила, а Милда свободно владела языком. Была она швеей и полюбила молодого парня — портного. Звали его Эфроим. Его, еврея, загнали в гетто, и она туда же вслед за ним. Эфроима привезли сюда, в Собибор, и она с ним. Обоих зачислили в рабочую команду, но неделю спустя Эфроима отправили в третий лагерь. Сквозь щель в заборе Милда как-то увидела Эфроима и ухитрилась пробраться к нему. Эсэсовцы избивали их нагайками, но разлучить их смогла только смерть. Все это я сама видела. Чему же удивляться, что люди клянутся в вечной любви?

Когда Берек стал приходить в женский барак, он заметил, что отношения здесь особые. Из-за пустяка обитательницы барака могут поссориться чуть ли не до драки, но чаще помогают друг другу чем только могут.

Люкина мама свешивает голову с верхних нар и обращается к Фейгеле:

— Помнишь, еще весной, когда прибыл транспорт из Варшавы, ты нам читала какую-то хронику, написанную на клочках обоев. Почему бы тебе не рассказать об этом Береку? От кого еще он может узнать такое?

— Я все помню наизусть. Написано это в Варшаве, а попало к нам сюда, в Собибор. Там сказано: «Из всей полумиллионной еврейской общины в Варшаве нас осталось не более тридцати пяти тысяч. Массовое истребление началось 22 июля 1942 года. В Треблинку и другие лагеря уничтожения отправлены сотни тысяч людей. В гетто появились листовки: «Вы не должны безропотно идти на смерть! Защищайтесь! Возьмите в руки топор, кусок железа, нож, забаррикадируйте свой дом. В борьбе надежда на спасение! Боритесь!» Восстание началось 19 апреля 1943 года. В гетто ворвалась жандармерия. Мы их встретили градом пуль. Против нас бросили танки, артиллерию. Особенно яростный бой завязался 8 мая у бункера на Миле, 18, где находился штаб вооруженного восстания. Погиб руководитель еврейской боевой организации Мордхе Анилевич. Бои длились до конца мая[13].

То, что Берек услышал, поразило его. Такое не придумаешь. Наверное, так оно и было. Недаром Берека тянет в женский барак. Здесь можно узнать не только о событиях в лагере, но и о том, что случилось за его пределами. Плохо только, что приходить сюда Береку разрешено лишь в сопровождении Шлока, а при нем разве подобное расскажут? Это еще не все новости. Восстание, оказывается, было также недалеко отсюда — в Треблинке. Повстанцев, оставшихся в живых, доставили сюда, в Собибор. Они привезли с собой письма, которые попали потом к Фейгеле.

Берек не пропускает ни единого слова. Конечно, коль уж суждено умереть, то лучше с оружием в руках, а не от удушливого газа. Ему хочется еще о многом спросить.

На пороге появился капо Бжецкий, а при нем лучше разговоров не вести. Носит он френч. Лицо перекошено, как от зубной боли. На все вокруг смотрит одним глазом, да и то мутным, точно у подвыпившего. И хотя глаз один (второй ему еще до войны выбили), видит он далеко. Иначе немцы не стали бы наделять его такими правами. Поэтому лучше будет, если Бжецкий Берека здесь не обнаружит. Фейгеле заслоняет его и будто невзначай говорит:

— Ой, мамочка, папочка, как хорошо, что вы не знаете, какой счастливый билет вытянула ваша единственная дочь!

## «НЕБЕСНАЯ ДОРОГА»

Береку не терпелось поскорее рассказать Куриэлу о том, что он только что услышал в женском бараке, и он поспешил к себе в каморку. Он вбежал запыхавшийся и возбужденный. Куриэл сидел за столом, шея замотана темным шерстяным шарфом. Он на мгновение взглянул в сторону Берека и, убедившись, что никакая опасность тому не грозит, никто за ним не гонится, снова погрузился в работу, забыв обо всем на свете. На этот раз он выглядел довольно сносно, так что нельзя было сказать, что это человек больной, обессиленный и дни его сочтены.

На белой материи, натянутой на рамку, лежало несколько алмазных зернышек различной формы и оттенков. Самое крупное из них было меньше булавочной головки. Со свойственной ему неторопливостью Куриэл все еще острым и пронизательным взглядом пристально всматривался в каждый из алмазов и в мыслях, должно быть, уже видел их отшлифованными, сверкающими. Берек понимал, насколько сложна работа, которой занят Куриэл, что она требует большого опыта и мастерства. У Куриэла всего этого в избытке. Но как может он с таким жадным интересом всматриваться и выискивать то, что скрыто в алмазах, и порой не замечать того, что происходит рядом?

Берек принялся за свое обычное дело. Он еще не уверен, из золота ли эти украшения, но мечты у него золотые.

Весть об апрельском восстании в Варшавском гетто, а затем в Трешлинке подействовала на него как глоток живой воды, которая возвращает силы умирающему. Только теперь до него дошел смысл слов, сказанных ван Дамом: «В лагере что-то назревает». Художник имел при этом в виду, что здесь, как и всюду, где свирепствуют гитлеровцы, зарождается и крепнет сопротивление. Берек не представлял себе, как в таких условиях можно бороться. Он все время мечтал лишь об одном — дожить до того часа, когда придет Красная Армия. Теперь же загорелся еще один луч надежды, и ему хочется верить...

Если рассказать об этом Куриэлу, он ответит, что спасение невозможно, все это лишь самообман, и мечта развеется. Берек и сам понимает, что можно и не дожидаться счастливой минуты, но до тех пор, пока кровь стучит в висках, ему хочется сохранять надежду.

— Берек, сними картуз или поправь его. Почему-то козырек сзади. Что с тобой происходит?

— Не картуз, а голова у меня идет кругом.

— Это и видно. Достаточно взглянуть на тебя, — слегка улыбнулся Куриэл.

— Вы это заметили? Господин Куриэл, мне так много надо вам рассказать.

Фартук понемногу начал сползать у Куриэла с колен, и сидел он уже не сгорбившись. Судя по тому,

с каким вниманием слушал он рассказ Берека, как беззвучно шевелились его губы, на этот раз он не склонен был видеть все в мрачном свете. Когда Берек умолк, Куриэл с необычайной для него запальчивостью сказал:

— Я не стану утверждать, что стоит только начать и бог придет на помощь. Даже если восстание было предпринято без надежды на успех, все равно это великое дело, и слышать такое отрадно. Возможно, из-за событий в Треблинке у нас взялись за расширение Северного лагеря. Они хотят построить девять барачков. Сколько, говоришь, эсэсовцев уничтожили повстанцы в Треблинке? В хронике указано свыше двадцати? И произошло это третьего августа? Удастся ли кому-нибудь из беглецов остаться в живых, не знаю, но ясно одно — в лагере им так или иначе пришлось бы копать ямы самим себе...

— Как вы думаете, Болендеру, после того как вы намекнули Нойману о его проделках с бриллиантами, несдобровать?

— Нойман говорит, что Болендеру теперь каюк. Но я думаю, кроме Гимmlера, покончить с ним никто не может. У меня о нем справлялся чиновник министерства финансов и главный инспектор эсэсовских лагерей Кристиан Вирт. Из разговора с ним я понял, что Болендеру охотно помогли бы избежать наказания. Эсэсовским офицерам в Собиборе не объявляли, что Болендер осужден за махинации с драгоценными камнями. Им сказали, что он давал ложные показания на одном судебном процессе и потому угодил в лагерь под Данцигом, а оттуда его со штрафным батальоном отправят на фронт. Но не это важно. Такого изверга и черт не возьмет. Его как первоклассного специалиста по истреблению людей, скорее всего, захотят сохранить. Как же без него обойдутся? Ты бы видел, с каким высокомерием Болендер встретил меня в первый раз. Представил его мне тогда Штангль и при этом сказал: «Это обершарфюрер СС Курт Болендер. Хороший человек, только злая собака никого к нему не подпускает».

— Вы уже тогда были узником?

— Не знаю, как тебе объяснить. То, что ты мне сегодня рассказал, сделало меня разговорчивым, так что наберись терпения и слушай. Доставил меня в Собибор полицейвахмейстер. Ему пришлось задержаться на три дня, но и он не вправе был входить в лагерь. В течение этих трех дней со мной обращались довольно учтиво. Штангль пригласил меня на обед. Допытывался, нравится ли мне висящий над его письменным столом женский портрет, а он и на самом деле был очень хорош. Там, за столом, могло показаться, что никакой войны на свете нет. О том, что судьба моя окончательно решена, я понял после обеда, когда Штангль распорядился, чтобы Болендер показал мне «небесную дорогу». Внутреннее чутье подсказывало мне: «Не ходи». Штангль, должно быть, заметил мои колебания и сказал: «Золото и драгоценности полагается оставлять здесь». Тут же меня обыскали и нашли две ампулы цианистого калия. Я их носил при себе уже давно, так как в любую минуту ждал смерти. Когда я увидел газовые камеры, мне тоже сперва показалось, что это парные бани. Одна из них была открыта, и я туда заглянул: как в любой бане, на полу лежали деревянные решетки, стояли жестяные тазы для мытья. В стены вделаны медные краны. Мне и в голову не приходило, что по железным трубам течет смертоносный газ, а через раздвигающийся пол тела задушенных сбрасывают вниз на платформу. Болендер подвел меня к огромной яме, заваленной трупами. Трудно поверить, что даже самая изощренная человеческая фантазия способна до этого додуматься. Если бы только я мог тогда покончить с собой! Все поплыло у меня перед глазами, и я упал. Обершарфюрер

помог мне встать на ноги и разрешил отойти в сторону. Там лежали бетонные плиты и на них куски рельсов. На один из них я и присел.

«Здесь вы будете нам мешать работать, — сказал Болендер и велел принести мне стул. — Прошу садиться!» Это было сказано вежливо и в то же время повелительно. Я сел. Но когда я захотел отвернуться от еще более страшного зрелища, последовал окрик: «Смотреть туда!» — пальцем Болендер ткнул в сторону.

На рельсах поперек были уложены большие поленья, а на них параллельно рельсам человеческие тела и снова дрова, а на них тела и снова... и снова... Штабель рос на моих глазах. Мне казалось, что гора трупов скоро упрется в небо. На тачках доставили несколько бочек горючего и ведрами стали обливать эту гору. Затем бросили горящий факел, и костер запылал. Уж лучше бы эта огненная гора поглотила меня. Но я лишь потерял сознание. Двое заключенных из рабочей команды привели меня в чувство и снова усадили на стул.

Болендер потребовал, чтобы я назавтра присутствовал при умерщвлении тех, кто накануне готовил и разжигал костер, но это было уже не в его власти. Утром я предстал перед Францем Штанглем.

Штангль, раскрыв передо мной коробку гаванских сигар, счел необходимым сообщить, что, если не принимать в расчет сотрудников СС, я единственный, кому довелось посетить «небесную дорогу» и вернуться оттуда живым.

У Штангля, надо полагать, было больше оснований кичиться, чем у Болендера, но он вел себя не так высокомерно.

«Как прошла ваша прогулка? — осведомился Штангль. — Не правда ли, вы поражены? У меня это быстро прошло, — он провел ладонью по гладко выбритому черепу. Выражение его глаз все время менялось. Он закурил сигару, внимательно следя за уходящими вверх кольцами дыма. — Болендер носится со своей «небесной дорогой», как курица с яйцом, да почему бы и нет! Вам, конечно, приходилось бывать во многих странах и городах, — где вы видели такое? Должен сказать, что только из доверия мы показали вам «небесную дорогу» и банный комплекс. Обо всем этом вам придется забыть. Здесь даже птицы на деревьях знают, что им следует вести себя тихо. Самое главное вы видели, а теперь делайте вывод. Напрасно нервничаете. Ничего страшного тут нет. Дважды не умирают. К тому же мое учреждение обслуживает преимущественно евреев; если уж их угораздило родиться, надо помочь им скорее оставить этот бранный мир. И так слишком долго задержались они на свете. Вот нам и пришлось изобрести универсальное средство. Собибор — не гетто, а специальный образцовый лагерь. Мы сейчас в состоянии пропускать десятки тысяч единиц в месяц».

Штангль рассказывал все это, как бы желая, с одной стороны, похвастаться, а с другой — меня просветить. Обращаясь со мной, как с важным гостем, он, как и в первый день, предложил мне пообедать с ним. А когда я отказался, он тут же вместе с Болендером стал обсуждать, куда бы меня поместить. Вроде бы в шутку Штангль сказал: «Мир так необъятен, а вот девать вас некуда. Но не беспокойтесь. Мест для непокорных в этом краю предостаточно, вы же останетесь там, куда попали».

Завели разговор о том, чтобы поселить меня в доме бывшего лесника на территории второго лагеря, в помещении склада, где хранятся особо ценные вещи, или же в одном из коттеджей, где живут Бауэр и Гомерский. И тут неожиданно выяснилось, что последнее слово за унтершарфюрером СС

Иоганном Нойманом, которого адъютант Штангля пропустил в кабинет коменданта лагеря якобы подписать какую-то бумажку.

«Прошу прощения, господин оберштурмфюрер, — обратился Нойман к Штанглю, — желательно, чтобы с господином Куриэлом никто, кроме нас, в контакт не входил, чтобы никто ничего о нем не знал. Осужденные в этом отношении не опасны. Я знаю одно подходящее местечко — каморку ювелира».

«Правильно», — с готовностью согласился Штангль, будто главный из них не он, а унтершарфюрер. Откуда Нойману стало известно мое имя, не знаю, как, должно быть, не знали этого ни Штангль, ни Болендер. Привел меня сюда, в эту каморку, Болендер. Оставшись один, я подумал: жаль, что не владею стенографией. Надо было непременно все записать. Бумага и карандаш у меня были, я сел за стол и на свежую голову почти дословно записал все, что пришлось в тот день увидеть и услышать от Штангля и Болендера.

Вначале со мной поселили капо Шлока. Он, как охотничья собака, следил за каждым моим шагом, хотя возможно, что такого приказа ни от кого и не получал. Десятки раз твердил он мне одно и то же: «Жить надо сегодняшним днем, и каждый должен спастись как может. Для этого все средства хороши». В первый же день он рассказал мне, с чего началась его «карьера». В специальных котлах он обрабатывал женские волосы. После этого сушил их и сортировал, готовя к отправке на мебельные фабрики для набивки матрацев и на один из заводов, изготавливающих изоляционные маты для подводных лодок... По ночам он во сне кричал: «Ва-банк!»

Сперва мне показалось, что это довольно смелый человек, но стоило одному из узников огрызнуться и дать ему затрещину, как он стал бояться выходить из каморки. Кончилось тем, что обершарфюрер Френцель как следует всыпал ему плеткой и пригрозил отослать к Болендеру. Шлок испытывает двойной страх: он дрожит перед эсэсовцами и не в меньшей мере боится узников. Жить рядом с ним, слышать и видеть его днем и ночью стало невыносимо. И я заявил Нойману, что мне нужен помощник. Тут же последовал ответ: «В ближайшие дни ваша просьба будет удовлетворена».

После короткой паузы Куриэл продолжал:

— Новости ты, Берек, принес хорошие. Но до того часа, когда земля будет гореть у эсэсовцев под ногами, еще далеко. Чем лучше положение Красной Армии на фронте, тем яростнее беснуются нацисты. Это верный барометр. До конца года будет покончено со всеми гетто в генерал-губернаторстве[14]. Их уничтожат.

Затаив дыхание слушал Берек Куриэла, и его мозг сверлила одна мысль:

— Господин Куриэл, хочу спросить у вас вот о чем. Среди узников вы здесь один-единственный немец. К тому же один из немногих, кто живет здесь такое продолжительное время. Ведь и Штангль говорил, что вы единственный, кто видел «небесную дорогу» и возвратился оттуда живым. У вас, наверное, много друзей в разных странах, и они вас ценят, верят вам. Почему же вы перестали вести свои записи? Может быть, выдастся случай — и их можно будет передать на волю. Дошли же некоторые письма до Фейгеле.

Куриэл повел плечами:

— Ну, допустим, я буду писать. Но в чьи руки попадут мои записи? Ведь те письма, что попали в руки Фейгеле, никуда дальше проволочной ограды не ушли. Да и написаны они по-еврейски или по-польски...

— Если нужно, я могу ваши слова записать по-еврейски. Попробую, но мне кажется, лучше, если бы это было по-немецки. Ведь известно, что наши вещи не сжигают. Их сортируют, вытряхивают все из карманов. А этим делом занимаются не Нойман и не Френцель. Чем же мы рискуем? Быть может, случится чудо — и ваши записи попадут в руки такого человека, который потом их обнаружит. Должны же люди обо всем этом узнать...

— Кое-что я записываю. У тебя, Берек, светлая голова, запомни же, что я тебе скажу. Да, люди должны об этом знать. Мне хочется объяснить тебе еще одну вещь, постарайся понять меня. В Собиборе из всех узников я один немец, но в других лагерях... Ты вырос среди евреев и знаешь, что первые исключительные законы были обращены против евреев. Нацисты стали внушать миру, что есть на свете народ, который недостойн жить на земле, — это евреи. Ты попал в лагерь, в котором уничтожают евреев, но тысячи лагерей и тюрем выросли как грибы повсюду на территории, охватывающей три четверти Европы, включая Германию. Все оккупированные страны стали ареной диких, бесчеловечных преследований. Нацизм, Берек, это не только стремление очистить мир от евреев или от какого-либо другого народа. Нацизм — это стремление уничтожить все человеческое в человеке.

Берек сидел, ошеломленный услышанным, и молчал. Куриэл встал и начал медленно ходить по комнате. Затем он остановился и устало сказал:

— Ты еще очень молод, Берек. В твои годы тебе бы не о таких вещах думать, но что поделаешь — время такое... Да и кому еще я могу об этом сказать. Для меня ты здесь единственный близкий человек. У нас с тобой больше чем общая судьба.

Опустив голову, Берек молчал. Не впервые ему приходится сжимать в кулак собственное сердце. Да и что мог он сказать?

## Глава четвертая

### ВОССТАНИЕ

### МИНСКИЙ ЭШЕЛОН

Три дня подряд в Минском рабочем лагере никого на работу не гнали. Это встревожило узников. От фашистов всего можно ожидать. На четвертый день, 18 сентября, с утра, всех построили во дворе, и сам комендант Вакс объявил:

— Вам посчастливилось. Рейхсфюрер счел возможным даровать вам жизни. Как высококвалифицированных специалистов вас направляют на работу в Германию. Подан специальный эшелон, — при этом Вакс криво улыбнулся, во рту блеснул золотой зуб. Он упивался собственным красноречием. — С вами поедут ваши семьи. Можете взять с собой все свои вещи.

Шлойме Лейтман, стоявший между Печерским и Цибульским, вполголоса заметил:

— Все врет... Змея подколодная. Но нам как быть?

Лейтман почти на голову ниже своих соседей. Он видит, а его не видно. И он может позволить себе сказать вслух то, что другой поостережется.

Улучив момент, когда Вакс смотрел в сторону, Борис Цибульский, не поворачивая головы, прошептал:

— Понятия не имею. Он-то врет, но хуже, чем сейчас, и быть не может. Хотя...

Сказано это было таким тоном, будто речь шла о погоде.

Многие ли поверили Ваксу? Во всяком случае, хотелось верить.

Подъехало несколько тяжелых грузовиков, крытых брезентом. Больших узлов и корзин ни у кого уже не было, и погрузка заняла считанные минуты: усадили в машины женщин и детей и отправили их на вокзал. Мужчин построили в колонну по четыре человека. Печерский, Лейтман, Цибульский и Шубаев шли в одном ряду. Эсэсовцы с овчарками на поводках погнали по городу колонну грязных, оборванных людей.

Изголодавшимся, изнуренным узникам казалось, что дороге не будет конца. Сколько их уже здесь прошло! Мудрено ли, что к ним давно привыкли. Даже собака у плетня и та их не замечает. Но вдруг из-за забора послышался пронзительный крик:

— Вас гонят на смерть! Слышите? На смерть!

...От этих слов у людей перехватило дыхание.

Жители города, сами голодные, бросали в колонну кто вареную картофелину, кто свеклу, морковку, кочанчик капусты.

В поле, в стороне от вокзала, их остановили. Солнце проглядывает сквозь облака. Плывут нити бабьего лета. Почва здесь покрыта густой травой. Даже не верится, что истерзанная земля еще в силах давать жизнь растениям. Горько пахнет полынью. Тихо шелестит листва на одиноком, широко раскинувшемся среди поля дереве. Поодаль пасется коза. Полное молока розовое вымя покачивается из стороны в сторону. Печерский подумал: как будто в мире ничего не произошло.

Свисток паровоза... Подогнали эшелон из товарных вагонов. В каждый из них, рассчитанный на перевозку восьми лошадей, загнали по полтора человека, так что стоять пришлось чуть ли не вплотную друг к другу. Печерский старается не разлучаться со своими друзьями. Охранник прутом провел по железной решетке крохотного вагонного оконца, проверяя по звуку, не подпилена ли она. Со скрипом и скрежетом за узниками закрывается широкая дверь. Снаружи опускается засов. Теперь все надежно заперты.

Поезд идет так медленно, будто его тянет не паровоз, а волю. Вот уже пошли вторые сутки, а им не дали ни крошки хлеба, ни капли воды.

Рядом с Печерским стояла молодая женщина с ребенком на руках. Малышку он еще несколько дней назад приметил на улице Широкой. Кто-то ему сказал, что зовут ее «Этеле из гетто», ее отец — военврач, а мать — студентка Минского политехнического института. Милая девочка с золотыми кудряшками и голубыми, как у матери, глазами.

— Сколько тебе лет? — спросил у девчушки Печерский.

— Три, — еле слышно прошептала она.

— Иди ко мне. Мама устала держать тебя на руках.

Девочка протянула к Печерскому худенькие ручонки, обхватила его за шею и вскоре задремала.

Мать все порывалась взять ребенка, но Печерский движением головы давал ей понять, что не устал, пусть девочка еще немного поспит.

Девочка пригрелась у него на груди, и ему кажется, что он ощущает тепло своей дочурки Элочки.

Всплыли воспоминания счастливых дней невозвратного прошлого. Как неожиданно и круто все оборвалось! И нет конца затянувшейся неволе. Счастью пути заказаны, а горести и несчастья не перестают обрушиваться на его голову.

До Элочки теперь дальше, чем до луны. Осталась она с матерью в Ростове. Успели ли они эвакуироваться? В чьих руках сейчас Ростов? Ничего, ровным счетом ничего он не знает. Но где-то

же идут бои! Покачивая на руках Этеле, Печерский думал про себя, что надо во что бы то ни стало вырваться отсюда, бежать. В рабочем лагере осуществить побег ему не удалось, значит, надо попытаться снова. Как бы ни был велик риск, это единственный шанс остаться в живых.

Девочка проснулась и потянулась к матери.

— Я здесь, — успокоила ребенка мать, проведя рукой по ее волосам.

— Мамуля, мне жарко. Домой хочу.

В ответ послышался только вздох.

— А где твой дом? — спросил Печерский.

— В гетто. Там у нас свои нары и много-много тряпок.

Слова эти отозвались в нем живой болью, будто разошелся шов на ране. Печерский дал девочке холодную вареную картофелину и поднес к ее губам флягу с водой, которую хранил под рубахой.

Девочка переходила из рук в руки.

— Пинкевич, — легонько толкнул своего соседа Цибульский, — подержите ребенка.

— Я сам едва на ногах стою, — услышал он в ответ.

— Все мы едва стоим на ногах. Но от вас ничего другого услышать я и не ожидал. Вас мы еще в подвале раскусили.

Намек Цибульского понял не только Пинкевич. Вот что тогда произошло.

...В сыром и темном подвале было так тесно, что лишь на пятый или шестой день, когда большая часть узников погибла, с трудом можно было найти место, чтобы прилечь, и то ненадолго.

Каждый раз, когда открывали дверь, чтобы вынести мертвецов, охранник спрашивал:

— Скоро наконец вы все передохнете?

— Не скоро, — дерзко откликнулся один и тот же голос.

Отчаянная смелость вырвалась наружу, а страх человек затаил глубоко в себе.

Через день, в одно и то же время, им приносили порцию жидкой баланды и небольшую пайку хлеба, и обреченные узнавали, что теперь день, а не ночь и что миновало еще двое суток.

Однажды старший охранник сердито пробурчал:

— Ух, как вы нам все осточертели! Да вот все еще нет приказа покончить с вами. Так, может, хватит тянуть резину? Передушили бы друг друга — и баста!

И тот же голос, что отвечал «не скоро», отозвался из темноты:

— Не дождетесь!

Этого человека никто не избирал старшим. Большинство узников даже не знали его имени. Только Борису Цибульскому и Шлойме Лейтману он сказал, что его зовут Александр Печерский. В лагере для военнопленных, где они были до этого, его звали Сашко.

Нет, старшим он не был, но слушались его все.

Как только пленных загнали в подвал, кто-то отчетливо произнес:

— Мы еще должны быть благодарны немцам за то, что нас сразу не пристрелили...

Вот тогда-то впервые раздался властный голос Сашка:

— Послушай, ты! Тебя, кажется, Пинкевичем звать, заткнись, не то я сам займусь тобой.

Как-то раз Печерский предложил:

— Если мы будем так сидеть и дожидаться смерти, немудрено и свихнуться. Пусть лучше каждый расскажет что-нибудь, лишь бы время убить.

В подвале стало шумно. Охранник принялся стучать прикладом в дверь.

— Не шумите, — успокаивал людей Сашко. — Хочешь не хочешь, а надо взять себя в руки. Пусть надежда на то, чтобы выжить, невелика, но голову вешать не надо. Пора выходить из шокового состояния. Ну как, нет охотников? Тогда начну я...

О чем же рассказать людям? Было их здесь тридцать военнопленных. Сюда, в этот темный подвал — «Минский карцер», как они сами его именовали, или «юденкеллер» — «погреб для евреев», как его окрестили немцы, — всех их бросили на погибель. В августе сорок второго года из лагерей для советских военнопленных стали все чаще отбирать большие партии людей на принудительные работы в Германию. Перед отправкой всех снова тщательно обыскивали, осматривали, опасаясь, как бы ненароком в «фатерланд» не попал какой-нибудь случайно уцелевший еврей. Так выловили и этих тридцать человек, а до них — сотни, которых уже нет в живых.

Рассказ Александра Печерского был коротким.

Ему исполнилось семнадцать лет, когда он поступил работать в Ростовские железнодорожные мастерские; одновременно он заканчивал музыкальную школу. Его учитель предсказывал, что со временем этот рослый, стройный парень может стать незаурядным пианистом. Работу в мастерских Сашко не бросил, хотя в то время ему казалось, что в жизни нет ничего важнее музыки — гармонии и ритма. Тогда он и представить себе не мог, что бывают такие звуки, как завывание мин. О них он узнал на второй день войны. На петлицах гимнастерки Александра поблескивали лейтенантские кубики. Служил он в артиллерийском полку.

Бои, бои... Вырвавшись из одного окружения, полк попадал в другое.

Начало октября 1941 года. Под Вязьмой лейтенанту Печерскому с группой солдат было приказано вынести из окружения тяжело раненного комиссара полка. Комиссар вскоре скончался у них на руках, а сами они попали в плен.

За Печерским настал черед рассказывать Вайспапиру, Шубаеву, Розенфельду...

Германской империи нужны были не только могилы, но и рабы. Случалось, что рабы требовались безотлагательно. В тот день в них нуждался комендант Минского рабочего лагеря Вакс. Он снял телефонную трубку и попросил телефонистку соединить его с охраной «юденкеллера».

— Алло, говорит Вакс. Сколько евреев у вас осталось? Алло, ты что, пьян? Недавно докладывал, что их у тебя тридцать, после этого — что можешь из них сделать двадцать пять, теперь же говоришь, что к вечеру с ними будет покончено... Хватит! К концу дня чтобы эти двадцать пять были у меня в комендатуре.

Начальник охраны еще долго не выпускал из рук телефонную трубку. Вскоре, однако, ухмылка расплылась по его одутловатому лицу. О чем тут раздумывать? По дороге пятерых отправит на тот свет, и останутся двадцать пять. Стоявшему на крыльце охраннику он приказал:

— Евреев из карцера вывести, каждому дать по пайке хлеба и порцию баланды. Чего стоишь как истукан, приказ слышал? Выполняй!

Охранник распахнул настежь дверь и приказал очистить подвал. Еще раз гаркнул, но никто не двинулся с места. Все были уверены, что охранник пустит в ход оружие, но он вынул из кармана свисток и пронзительно засвистел. Прибежавшие полицаи стали хватать и выволакивать наружу пленных, в первую очередь тех, кто оказался ближе к дверям.

— Пошли, — предложил Сашко. — Спротивляться бесполезно.

Двадцать две каменные ступеньки... Двадцать два шага. Здесь не болото, не топь, а ноги будто налиты свинцом, и каждый шаг стоит неимоверного труда.

Во дворе Печерский прислонился к стене и долго стоял с закрытыми глазами. Первое, что он увидел, — перистые облака, плывущие в небесной вышине. Такие легкие, прозрачные...

— Хлеба! — крикнул кто-то и пустился бежать.

Грянул выстрел.

Когда узников построили, их было двадцать девять.

Ноги подкашиваются, но люди идут. Идут, как на собственных похоронах. Александр искоса взглянул на своих соседей в ряду. Обычно, на воле, видишь разные лица, а здесь одно от другого не отличишь — все лица серые, все взгляды безжизненные.

Из карцера пленных вывели утром, но на улицу Широкую они попали только вечером. В пути пристрелили еще четверых.

...С юга возвращались птицы. Даже под опилками растаял снег. Солнце высушило мутные лужицы. На ветках проклюнулись первые почки. Вокруг так много солнца и света. Только на лагерниках по-прежнему рваные вшивые ватники.

В Минском рабочем лагере было около девятисот заключенных. Квалифицированные сапожники, портные, плотники, столяры — их отобрали из числа узников Минского гетто. Здесь же была большая группа белорусов, русских и украинцев, бывших у гестапо на подозрении.

Печерский, Лейтман, Цибульский и Шубаев готовились к побегу. Розенфельда и Вайспапира зачислили в одну из рабочих команд и на несколько месяцев отправили строить в пригородном лесу новый лагерь. Они валили деревья. На месте густой рощи вскоре остались одни обгорелые пни.

Долгому, нестерпимо трудному лету, казалось, не будет конца. И вот сотни узников рабочего лагеря снова оказались в пути. Какие испытания ждут их на этот раз?..

## МЕЖДУ ВЛАДАВОЙ И ХЕЛМОМ

...Взвизгивали тормоза. Стучали на стыках колеса. Теперь иные мысли сверлили голову: куда и зачем их везут?

Пришлось пойти на риск — Лейтман добрался до зарешеченного вагонного оконца и выглянул наружу. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы определить, где они находятся.

— Люблин, — сообщает он.

— Ты в этом уверен? — допытывается Шубаев.

— Так же, как в том, что твое прозвище Кали-Мали. Десятки раз купался я в здешней реке Бешице.

Мне здесь знаком каждый фонарный столб.

— А отсюда куда нас повезут?

— Вряд ли тебе это сообщат. Должно быть, туда, куда немцы задумали.

Говорят, лучше спрашивать человека сведущего, чем умного. Шлойме Лейтман и умен, и сведущ, но на этот раз вышло не так, как он предполагал. Из Люблина эшелон отправился не по намеченному маршруту. Менее чем через месяц Гиммлер заинтересуется, как это произошло, и вот что выяснится.

Железнодорожная магистраль была забита поездами, следующими один за другим на фронт, и минский эшелон свыше десяти часов простоял без движения в Люблине. Наконец помощник коменданта станции Ганс Эйкс набрался храбрости и попытался связаться с группенфюрером СС и генералом полиции Одилио Глобочником, чтобы получить указания, как поступить с узниками. В

распоряжении Глобочника, которому Гиммлер покровительствовал, часто обращаясь к нему фамильярно «милый Глобус», все лагеря и тюрьмы вокруг Люблина.

С Глобочником поговорить Эйксу не удалось. Трубку снял адъютант, но не пожелал даже выслушать его: можно подумать, что речь идет о салон-вагоне или экспрессе! День и ночь из оккупированных областей тянутся эшелоны с рабами. И если по поводу каждого из них станут тревожить его превосходительство... Голос адъютанта был полон негодования.

— Неужели у вас не хватает ума, чтобы самому решить такой пустяковый вопрос? Если эшелон вам мешает, его надо убрать.

Это звучало как приказ.

Офицер рейхсвера Ганс Эйкс мог и не знать о том, что лагерь уничтожения Собибор строго засекречен. Но именно этот лагерь находился на единственном направлении, свободном от поездов, и Эйкс отдал соответствующее распоряжение.

Так получилось, что эшелон из Минска 22 сентября 1943 года прибыл на полустанок Собибор. Поезд отвели на запасной путь.

В дверь вагона постучали, и кто-то спросил по-немецки:

— Кто вы по специальности?

— Мы были столярами и плотниками. Но теперь умираем от жажды и голода, мы здесь задыхаемся, — ответил за всех Лейтман.

— С семьями?

— Большинство без семей.

Снаружи кто-то пытается выбить засов, но, как назло, железка не поддается. На помощь готовы были прийти все узники, лишь бы скорее ступить на землю, увидеть небо над головой.

Наконец двери распахнулись. Люди высыпали из вагона, но держаться на ногах уже не могли.

Печерский, как и все узники, бросился на землю и приник к ней. Охранники могут стоять спокойно, опираясь на свои винтовки, — никто не попытается бежать. Печерский набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул его, затем вдохнул еще и еще раз. Лесной воздух так опьянял, что даже не хватило сил поднять руку и убрать со лба слипшиеся от пота волосы.

Им дали напиться. Но еду, сказали, они получают лишь завтра. Еще до наступления темноты их загнали обратно в вагоны и заперли.

На рассвете вагонные колеса дернулись. Уже в который раз буфера лязгают друг о друга. Шубаев полагает, что это состав маневрирует, сортируют вагоны, а там — кто его знает? Может быть, предстоит двигаться куда-то дальше. Еще в Минске они слышали, что в этом краю немало лагерей. А где их теперь нет?

И вот раздался свисток паровоза. Лес вокруг воспринял это как приветствие и отозвался протяжным эхом. Но никуда дальше их не повезли. Перед ними широко раскрылись ворота лагеря Собибор. Задним ходом паровоз подал шесть вагонов из состава на предлагерную территорию. Охранник отцепил их, и ворота снова закрылись. Остальные вагоны остались снаружи. За один раз лагерь принимает не более шести-семи вагонов.

Снова люди стоят на земле. Яркий свет слепит глаза. Воздух мягко ласкает лицо, но откуда-то несет паленым, да так, что подступает рвота.

Из помещения против ворот вышла группа немецких офицеров. На лицах презрительная гримаса.

Один из них, с багровым, кровью налитым затылком, отдал какое-то распоряжение охраннику, и тот бегом бросился его выполнять. Вскоре он вернулся с группой молодых ребят и доложил:

— Господин обершарфюрер, станционная команда прибыла!

По снаряжению команды — ведрам, метлам, щеткам — нетрудно было догадаться, чем эти парнишки занимаются. На вид им не больше четырнадцати-пятнадцати лет, и одеты все с иголки: темные курточки с яркими отворотами, брючки с желтыми кантами, на головах желтые польские конфедератки, на руках белые перчатки. И главное, на лицах — никаких признаков голода. Все, как на подбор, красивые, будто отбирали их по одному из тысячи.

Лейтман шепнул Печерскому:

— Нравится тебе этот маскарад? Пожалуй, не будь у них такой смертной тоски в глазах, можно было бы подумать, что мы угодили в рай.

Печерскому нечего было на это ответить.

... Тот же обершарфюрер, что распорядился привести станционную команду (Цибульский тут же прозвал его обер-дьяволом), подошел к вновь прибывшим и приказал всем несемейным плотникам и столярам построиться в шеренгу. Набралось человек восемьдесят, в их числе Печерский, Лейтман, Цибульский, Шубаев, Розенфельд, Вайспапир. Первым по росту стал Борис Цибульский. Рядом с ним — Александр Печерский.

Команда столяров и плотников поступила в распоряжение начальника первого лагеря обершарфюрера Карла Френцеля. Щегольски одетый, самодовольный, с сытым, холеным лицом, прохаживается он перед строем, как на параде. Каждый раз при виде колонны людей, которых ему предстоит гнать по «небесной дороге», Френцель испытывает волнующий трепет. Он с наслаждением предвкушает, как все эти людишки-муравьи будут сейчас растоптаны, раздавлены. Каждым движением он демонстрирует свое могущество. Он один властен здесь над всеми. Френцель взглянул на Печерского, на его стоптанные сапоги, на когда-то темно-синие, а теперь до неузнаваемости вылинявшие грязные брюки галифе, на гимнастерку, уцелевшую лишь потому, что сшита она из добротного армейского коверкота, и Печерскому почудилось, будто его обдали кипятком.

Взгляд Френцеля полон ненависти и презрения. Сотни тысяч людей он уже загнал в газовые камеры, освободив их от никчемной жизни, но военнопленные, к тому же советские, до сих пор ему в руки не попадались. Может быть, приказать старшему надзирателю Гомерскому, чтобы он их вместе со всеми с ходу погнал к газмейстеру Бауэру. Плотники и столяры найдутся другие, правда, вот таких, как эти двое, что стоят первыми в ряду, избивать будет одно удовольствие. Френцель ухмыляется: уж он с ними «поиграет». На это как-нибудь выкроит время. Внезапно у него иссякает терпение. Как собака, сорвавшаяся с цепи, он стремительно поворачивается и остервенело со всего размаха обрушивает на Цибульского удар плетью. Второй удар сейчас получит его сосед. Но тот, кого он первым «угостил», даже не шелохнулся, значит, надо повторить. Френцель уверен в том, что досконально изучил повадки рабов. Известно ему и то, что даже из камня можно ударом высечь искру, а этот длинный худющий «музульман» стоит как ни в чем не бывало — хоть бы попытался стереть кровь с лица, поднять фуражку, сбитую с головы. Что ж, видно, не дурак, знает, что это запрещено, и не хочет нарываться на, новые удары. Лучше потерять, фуражку, чем голову. Но эти уловки здесь не помогут. Лоскут материи, из которой сделана фуражка, возможно, кому-нибудь и

пригодится, а вот голова...

Командовать настоящими военными Френцелю не приходилось. Пора попробовать. Он приказывает капо Бжецкому:

— В Северный лагерь! И чтоб с песней! Пусть поют русскую песню!

Без слов, одними глазами, Цибульский спрашивает у Печерского: споем?

Впервые с того времени, как Печерский попал в плен, он почувствовал себя так, как бывало в критическую минуту на фронте, когда надо незамедлительно принять решение. Лишь на миг его лицо выразило недоумение, но тут же он утвердительно кивнул.

Хрипловатым голосом Цибульский запел:

— «Вставай, страна огромная...»

Опрокинься земля или заговори она человеческим голосом, это не произвело бы такого ошеломляющего впечатления, как внезапно раздавшиеся звуки русской советской песни.

Берек, сидевший в своей каморке, от неожиданности вздрогнул.

— Господин Куриэл, вы слышите? Я сбегая посмотрю, что там.

— Не ходи! — остановил его Куриэл, хотя у самого на лице засветилась искорка надежды и его сутулая спина чуть-чуть распрямилась.

В Северном лагере, куда привели столяров и плотников, рабочая команда таскала бревна и складывала их в штабеля. Розенфельд обратился к одному из узников, затем к другому, но никто не отозвался на его приветствие, не ответил на его вопросы.

К вновь прибывшим подошел человек с опухшим лицом и жестом дал понять, чтобы они повернулись спиной к эшелону. Как ни допытывались у него пленные, куда их привезли, он не произнес ни слова. Кто-то в сердцах выругался, другой заметил, что вступать в разговоры с этими людьми бесполезно, третий высказал предположение, не вырезали ли у них ненароком языки. Тем временем человек повернулся и ушел.

Вдруг стало мучительно трудно дышать. В небо взвился густой черный дым и начал растекаться далеко вширь. Вспыхнуло пламя, и послышался оглушительный галдеж: гоготали сотни гусей.

Когда всех загнали в бараки, к пленным опять подошел человек с опухшим лицом. Настороженно озираясь, он спросил:

— Откуда вы?

— Из Минска, — ответил Лейтман. — Но скажите, ради бога, почему здесь все молчат?

— Таков приказ.

— Почему?

— По той же причине, по которой вам было велено повернуться спиной к эшелону, чтобы вы не видели, как ведут обреченных по «небесной дороге». Почему... Потому что еще не всех из вашего эшелона сожгли. Вас пока оставили, чтобы закончить постройку Северного лагеря.

На мгновение воцарилась мертвая тишина. Печерский прислонился к стене. Значит, и Этеле с ее мамой, и все, все, свыше двух тысяч человек... Так вот откуда так тошнотворно несет паленым!

От Боруха — так звали этого узника — они узнали следующее: Собибор — небольшая станция, затерявшаяся в лесах между Владавой и Хелмом. Даже тогда, когда Польшу оккупировали, здесь по-прежнему, как на затерянном острове, царили тишина и покой. Далекie взрывы сюда не доносились: их заглушал шум вековых сосен и елей. Но вот нагрянули оккупанты и вчистую разграбили

разбросанные вокруг хутора. Казалось, больше им здесь делать нечего. Стало даже тише обычного — поезда ходили реже.

Со временем фашисты по-своему оценили достоинства этого заброшенного уголка. По секретному приказу Гимmlера здесь построили лагерь смерти, специально предназначенный для массового уничтожения евреев. Был случай, когда в Собибор доставили эшелон с цыганами. 8 мая 1942 года смертоносный конвейер был пущен в ход.

Лагерь в Собиборе огражден четырьмя рядами колючей проволоки высотой в два человеческих роста, окружен рвом, наполненным водой, и минным полем. В самом лагере на равном расстоянии друг от друга много сторожевых башен и постов, где круглосуточно несут службу вооруженные эсэсовцы. В Собиборе фактически три лагеря. В первом из них живут узники, оставленные на время для выполнения неотложных работ. Отсюда проход ведет во второй лагерь, в котором сортируют и упаковывают вещи тех, кто по так называемой «небесной дороге» следует в третий лагерь. Там, в третьем лагере, уже уничтожили сотни тысяч людей.

В начале весны двое узников — муж с женой — попытались бежать. Их расстреляли, а заодно еще полтора человека — всех, кто работал вместе с ними. Была неудавшаяся попытка совершить подкоп. Известен также случай, когда группа заключенных работала в лесу недалеко от лагеря и двое молодых парней задушили охранника и убежали. Всех остальных пригнали из леса и расстреляли. Группа из Голландии, насчитывавшая свыше семидесяти человек, решила было подкупить охранника. Возглавлял группу журналист из Амстердама, в свое время сражавшийся в одной из интернациональных бригад в Испании. Соотечественники называли его меж собой «господин капитан». Попытка провалилась, и, как гитлеровцы ни пытали его, он никого не выдал и до последней минуты твердил, что бежать собирался один. С тех пор завели порядок: лагерников пересчитывают не менее трех раз в день, и делает это лично обершарфюрер Карл Френцель. Борух был одним из тех немногих узников Собибора, кому удалось остаться в живых в течение года с лишним. По профессии он мужской портной и назначен старшим группы рабочих во втором лагере.

Ночью Печерский так кричал во сне, что Цибульскому и Лейтману, лежавшим с ним рядом, пришлось его разбудить.

— Уймись, не ори! — прикрыл ему рот ладонью Борис. — Не хватает еще, чтобы Френцель услышал.

Александр оттолкнул его:

— Ну и лапищи у тебя, такими впору лошадь удавить.

— Я был единственным в городе возчиком, который обходился без кнута. Прикажи, и ты увидишь, как я этими руками стану душить фашистов.

Печерский с укоризной оборвал его:

— Не болтай лишнего. Спи.

Позже, когда Цибульский уже похрапывал, Лейтман нагнулся к Печерскому и шепнул ему на ухо:

— Саша, ты что, не доверяешь ему?

— Как самому себе. Но раньше времени говорить вслух о таких вещах не следует. Меня другое занимает: тот тип, что приходил сегодня, Борух, не вздумал ли запугать нас?

— Не исключено, но излишняя подозрительность тоже вредна. Борух не хуже нас знает, что ему

тоже «небесной дороги» не избежать.

— Ну, это не довод. Вспомни-ка провокатора, из-за которого ты угодил в Варшавскую тюрьму. Он ведь у вас был на подозрении. Почему же вы его вовремя не обезвредили?

— Именно потому, что тогда это было не более чем подозрение. Что касается Боруха, то мы скоро сами узнаем, правда ли все то, что он рассказывал. Мне кажется, что правда. А если так, то нетрудно догадаться, зачем он это рассказывал.

— Зачем же?

— Борух дал понять, что вся надежда на нас и что мы не вправе думать только о себе. Если уж бежать, то всем вместе. Что же ты молчишь? Разве не так?

— К этому человеку мы еще успеем присмотреться.

На дворе кто-то пять раз ударил куском железа о рельс. Ровно в пять минут шестого все узники уже были на ногах. Им выдали по кружке кипятка, пересчитали и, когда они получили рабочий инструмент, пересчитали снова.

В Северном лагере, куда их привели, работы осталось на месяц, не больше.

В первый же день пятнадцать новоприбывших получили по двадцать пять плетей каждый. Били проволокой в резиновой оплетке, и тот, кто подвергался экзекуции, должен был при этом громко считать удары. Стоило ему сбиться со счета, как экзекуция повторялась сначала.

На второй день таким же пыткам подверглись еще двадцать пять узников. Одного застрелили за то, что он близко подошел к проволочному ограждению.

На третий день Френцель чуть не до смерти забил повара за то, что тот не управился за двадцать минут с раздачей баланды.

На четвертый день лишь счастливая случайность спасла Печерского от неминуемой гибели. Вместе с другими узниками он колот во дворе суковатые дубовые кряжи. В руках у него был колун.

Оказавшийся рядом с Александром бывший нотариус из Голландии протер очки и на мгновение замешкался, не зная, как подступить к непривычному для него делу. Наблюдавший за ним Френцель хлестнул нотариуса плетью по голове. Очки у того упали и разбились вдребезги.

— Коли! — приказал Френцель.

Голландец — взмах колуном, Френцель — взмах плетью. Дальше — больше. Пень не поддается, а человек обливается кровью.

Печерскому, после двухлетнего пребывания за колючей проволокой, умудренному горьким опытом, пора бы знать, что в таких случаях лучше всего сделать вид, будто ты целиком поглощен работой, ничего и никого не замечаешь. Но нет! Сердцу не прикажешь. Он стоит, судорожно сжав зубы, и не спускает глаз с обоих — палача и его жертвы, до тех пор пока взгляды Печерского и Френцеля не встретились.

— Рус, работай! — приказывает эсэсовец Александру и, подзвав к себе капо Бжецкого, велит ему передать по-русски слово в слово: — Тебе дается пять минут на то, чтобы расколоть этот кряж.

Сумеешь — получишь пачку сигарет, не сумеешь — получишь двадцать пять ударов плетью.

Приготовься.

Александр поплевал на ладони, взмахнул колуном и оглянулся на Френцеля. Тот схватился за кобуру и поспешно отступил на несколько шагов. Затем вскинул руку, и на солнце сверкнул золотой браслет часов.

— Начали!

В эти считанные минуты полено заслонило перед Печерский весь белый свет. Резкий удар — и на дереве осталась первая зарубка. Еще удар — образовалась трещина. Тяжелая колода скрипнула. И тут Печерский, вытерев рукавом пот со лба, в сердцах громко вскрикнул, обращаясь неведомо к кому:

— Шалишь!

В то же мгновение раздался треск, древесина расщепилась, и колун вонзился по самую рукоять. Френцель уже без опаски, ухмыляясь, подошел поближе.

Александр опустился на правое колено, обтер руки о песчаный грунт, не спеша поднялся, держа кряж на весу, и, шатаясь, подошел к большому булыжнику. Резким движением повернул он колоду так, чтобы топорщице оказалось внизу, и со всего размаха ухнул из последних сил.

— Четыре минуты тридцать секунд, — отметил Френцель. — Получай свою пачку сигарет.

— Спасибо, не курю.

Начальник первого лагеря что-то сказал Бжецкому, и тот исчез. Вскоре он вернулся с пайкой хлеба и пачкой маргарина в руках. Времени на размышление у Печерского было вполне достаточно. Этим, должно быть, и объяснялся его ответ:

— Я сыт.

Почему обершарфюрер и на этот раз не вынул парабеллум из кобуры — сказать трудно.

Случай этот, как весенний гром, всколыхнул весь лагерь. И когда капо Шлок замахнулся было палкой на Розенфельда, к нему подскочил Бжецкий и удержал за руку:

— С ним лучше не связывайся. Он из русских...

## О СЕБЕ НАДО ДУМАТЬ САМИМ

К Печерскому обратился Борух:

— В женском бараке только о вас и говорят. Женщины просят вас заглянуть к ним сегодня вечером. Я зайду за вами.

Печерский вопрошающе посмотрел на Лейтмана. Тот кивнул, но добавил, что они пойдут вместе.

Все сто пятьдесят женщин повернули головы к вошедшим. На приветствие каждая отвечает на своем языке: кто на еврейском, кто на русском, польском, чешском, французском, голландском... Всего несколько часов назад отсюда увели в третий лагерь шесть прачек: они настолько обессилели, что не могли больше работать. А кто из оставшихся женщин уверен, что завтра не поранит иголкой палец, не поскользнется, не схватит воспаление легких, не заразится сыпняком — и тогда уж наверняка не позже чем на третий день не миновать им «небесной дороги». Свыше двух дней никому в рабочей команде болеть не разрешается.

Печерский думает: с чего начать разговор? Его взгляд падает на невысокую молодую женщину, с коротко подстриженными черными волосами и большими печальными глазами. Он подходит к ней, и она подвигается, приглашая сесть рядом на нары.

— Как вас зовут? — обращается он к ней по-русски.

— Was?[15] — спрашивает она, не понимая.

Печерский немного знает немецкий и повторяет свой вопрос.

— Люка.

— Что бы вы, Люка, хотели от нас услышать?

— Расскажите, пожалуйста, что слышно на фронте? Ведь вся надежда — на русских.

И он начинает рассказывать, а Шлойме и Борух переводят, один — на еврейский, другой — на польский, о разгроме немцев под Москвой, на Волге, под Курском. Советские дивизии, должно быть, уже вышли к Днепру. Много партизан действует в Белоруссии, на Украине, а также в Польше. Он и сам не очень в курсе событий, но слушательницы его знают и того меньше.

Кто-то из дальнего угла спрашивает:

— Если так много партизан, то почему они не нападут на наш лагерь и не освободят нас? До леса ведь рукой подать...

— Напасть они, возможно, смогли бы, а потом — что с нами делать, куда вывести? Нет, о себе нам надо думать самим...

Оказалось, что ответ на последний вопрос слышали не только женщины. Его слышал и Бжецкий, который незаметно вошел в барак и прислонился к притолоке двери. Несколько минут постоял он с видом человека, которому нет никакого дела до всего, о чем здесь толкуют, затем повернулся и вышел.

Не раз уж случалось, что капо Бжецкий появлялся там, где его меньше всего ждали. Правда, Бжецкий не Шлок. Все знали, что у Бжецкого крутой нрав и от него недолго получить зуботычину — а кулаки у него пудовые, — что у немцев он пользуется доверием, но доносчиком его никто не считал. Бывало даже, что кто-нибудь скажет ему горькую правду, а он молча ее проглотит.

Печерский сидит рядом с Люкой, — вполне возможно, что это было заранее предусмотрено. Борух тем временем направился в дальний угол барака, а Лейтман подошел к Фейгеле.

Фейгеле чуть было не поссорилась со своей соседкой с верхних нар, которая без конца тараторила и, что бы ни услышала, истолковывала по-своему, предсказывая самое худшее.

— Что вы, Лея, все ноете, — сказала она, еле сдерживаясь, — только и знаете, что отравлять жизнь себе и другим. Не хотите — не слушайте, но нам не мешайте. От вашего нытья на душе муторно. До войны Лея слыла одной из лучших модисток в Люблине. Попасть к ней было не просто, и даже богатые помещицы из окрестных имений говорили с ней заискивающе. Сейчас исхудавшее тело Леи как бы приросло к жестким нарам. Но от Фейгеле она по привычке отмахивается: эта взбалмошная девчонка возмнила о себе бог весть что и берется поучать других. То, что она может сказать, Лея знает и без нее. Лучше послушать этого мужчину с седыми висками, который переводит на ее родной язык то, что рассказывает по-русски другой, высокий. Может быть, он объяснит ей, что значит — самим думать о себе.

— Вы тоже из Минска? — спрашивает она Лейтмана, нагибаясь с верхних нар.

— Я из Варшавы.

— Это уже лучше. У нас обычно говорили, что минчане хотя и не укусят, но зубы покажут. Скажите, пожалуйста, разве можно избежать верной смерти? Вы о таком слыхали?

— Слышал. И знаете где — в Минске...

— Постойте, постойте, — перебила она его, — вы ведь только что сказали, что сами из Варшавы.

— Да, но сюда я прибыл транспортом из Минска.

— Что занесло вас туда, чего вы там не видели?

Фейгеле коробит от назойливых вопросов Леи, но вмешиваться в чужой разговор она не решается и обращается к Береку:

— Ну что ты скажешь? Впору у нее самой спросить, чего она не видела в Собиборе, как ее сюда занесло?

Лейтман кладет руку на плечо Фейгеле:

— Не надо так. Ты бы лучше подобрала к ней ключик. Ей ведь тоже не сладко. — Он поворачивает голову к Лее: — В Минском гетто погибли моя жена и трое детей, а как меня в Минск занесло — длинная история. Это было еще в 1939 году.

— О боже, — глубоко вздыхает Лея. — Разбередила старую рану. Значит, пришлось и вам хлебнуть лиха. Где взять силы это перенести? Весь мир опоясан колючей проволокой.

— Это вы хватили через край. Весь мир никогда не был в руках Гитлера. Красная Армия дерется изо всех сил, и воюет она также и за нас. И Гитлера она одолеет. Но нам самим надо рук не опускать. Не качайте головой. Я сейчас объясню, что имею в виду, и вы меня поймете.

Фейгеле и Берек подходят к Люке. Она разговаривает с тем отчаянно смелым человеком, который отважился бросить вызов Френцелю и остался в живых. Вот какие люди бывают! Даже не верится. Берек подошел поближе к Печерскому и смотрит на него во все глаза.

Волосы у Берека взъерошены, в руках он мнет свой старый картуз. Так хочется заговорить с Печерским, но он никак не решится... Из женского барака Берек выходит преисполненный надежды, взбодренный, словно все опасности миновали. Надо непременно передать Куриэлу слова Сашка: «О себе нам надо думать самим». Видно, Сашко и его товарищи что-то затевают, но что именно? Кто станет рассказывать об этом ему, Береку?

Борух все больше завоевывал доверие Печерского и чувствовал это. Выбрав удобный момент, он однажды завел с Печерским такой разговор:

— Давайте играть в открытую. Я знаю, что вы, советские, не станете сидеть сложа руки. Но я и в мыслях не допускаю, что вы собираетесь вырваться отсюда, а нас всех оставить на погибель.

— Откуда вы взяли, что мы собираемся бежать? — поднял брови Александр. — Это опрометчиво сказано. Вы хоть раз пытались бежать?

— Пытался.

Печерский такого ответа не ожидал. Он, конечно, замечал, что Борух живо реагирует на все, что происходит в лагере, но чтобы... Александр посмотрел на Боруха так, будто видел его впервые. Роста тот ниже среднего, но силенок, наверно, когда-то было не занимать. Кулаки у него всегда сжаты. Глаза — острые, колючие. Как-то Лейтман сказал: «Саша, Борух, должно быть, сильный человек, мне он нравится». Шлойме прав.

— Борух, я сам лишних слов не люблю, но у нас с вами разговор очень серьезный. Мне нужно подробно знать, когда и где это было.

— Я бежал из лагеря в Люблине, где содержались еврей-военнопленные. Немцы решили отделить их от поляков. Такие «юденлагеря» были в Бялаподляске, Канской Воле, Парчеве, Любартуве — в местечках вокруг Люблина. Это было в начале 1940 года. Нас, свыше трех тысяч военнопленных, гнали в Люблин. Сотни людей по дороге убили, многие погибли от голода и страданий.

— В Люблинском лагере вы тоже были портным?

— Это здесь я стал портным. Сам я кузнец. Из Люблина немцы погнали нас на строительство лагеря смерти в Майданеке.

— Так вы бежали из Майданека?

— Нет. Вышло так, что меня отослали назад в Люблин. Там я участвовал в восстании.

— В восстании?

— Да, Сашко, в восстании. Из польского подполья удалось получить полицейское обмундирование, и ночью без единого выстрела около сотни узников (точную цифру затрудняюсь назвать) сумели уйти из лагеря. Когда немцы спохватились, они собрали нас, тысячи полторы военнопленных, на аппельплац и объявили, что все мы будем строго наказаны за то, что не донесли о готовящемся побеге. Что означает «строго наказаны» — объяснять никому не надо было. Нас построили в колонну и вывели из лагеря. И тут узники набросились на охрану. Это был настоящий бой, и примерно человек семьсот спаслись и разбрелись по лесам. Две недели я был на свободе. Однажды в каком-то селе я решил зайти в крестьянскую хату, чтобы попросить хлеба. Не успел я переступить порог, как на меня набросились и заломили руки.

— Вы уже больше года в Собиборе, здесь никто не пытался предпринять что-нибудь?

— Пытались, и не раз. Но неудачно, авось на сей раз удастся. Вам, Сашко, я доверяю и поэтому скажу: мы...

Александр схватил Боруха за руку.

— В лагере есть подпольный комитет?

— Нет, но действует группа. Она и поручила мне связаться с вами. Нам нужен такой командир, как вы.

— Кто в эту группу входит?

— Мастер портняжной мастерской Юзеф, сапожник Якуб, Янек из столярной, я и Леон Фельдгендлер. Он сын знаменитого Жолкиевского раввина, да и сам умница и на редкость бесстрашный человек. Это он предложил, чтобы вы возглавили наш комитет.

— Знаете ли вы расположение минных полей вокруг лагеря?

— Знаю. Я сам копал ямки для мин. Минные поля расположены в шахматном порядке и занимают примерно пятнадцать метров в ширину.

— Ширина минного поля, говорите, пятнадцать метров, проволочные заграждения — около четырех метров, значит, девятнадцать. От столярной мастерской до заграждений двенадцать метров, а всего, таким образом, тридцать один метр. Будем считать тридцать пять. Столько займет проход, чтобы выбраться за территорию лагеря. Лаз шириной три четверти метра и примерно такой же глубины придется прорыть...

— Я вас перебью. Сперва скажите мне, сколько времени потребуется на то, чтобы проделать всю эту работу, куда вы денете выкопанную землю и как скоро смогут шестьсот еле живых калек на четвереньках друг за другом пробраться по лазу да еще успеть уйти подальше от лагеря?

— Рыть придется около двух недель. Землю, думаю, будем ссыпать под пол столярной мастерской, а пробраться люди смогут за несколько часов.

— Верится с трудом.

— Почему?

— Не думаете же вы, что у всех немцев бельма на глазах, а уши заткнуты ватой. — Борух поправил на голове картуз, козырек мешал ему заглянуть собеседнику в глаза. — Другого плана у вас нет?

— Для другого потребуется сотня острых топоров и ножей и, само собой, люди, которые могли бы ими орудовать.

— Вот это разговор по мне. Будут. И топоры, и ножи, и люди будут.

— Ладно. Что это за разрушенное двухэтажное здание по ту сторону лагеря? Как вы думаете, не скрытый ли это сторожевой пост?

— Думаю, что нет. Когда-то там была мельница.

— Борух, вам не кажется, что немцы не так уж доверяют охранникам?

— Это верно. Патронов им выдают всего лишь по пять штук и только перед тем, как заступать на пост. Патроны немцы хранят в помещении, где размещается коммутатор, недалеко от центральных ворот. Там выставляется охрана из немцев. Если надо еще что-нибудь узнать — скажите, и мы все сделаем.

— Установите наблюдение за мельницей: заходит ли туда кто-нибудь. Удобнее всего наблюдать из столярной мастерской. Узнайте также, когда сменяется охрана и всегда ли в одно и то же время. Давайте условимся: встречаться с вами и с Фельдгендлером будем в женском бараке, у Люки. То, что она не знает русского, даже лучше.

Однажды, когда прибыл новый эшелон, на станции произошла какая-то заминка, и все немцы отправились туда. Из охраны на своих постах оставались лишь пять солдат. Большая часть узников в это время находилась в Северном лагере. Печерский, Цибульский и еще несколько человек отремонтировали свой барак. Цибульский стал уговаривать:

— Саша, давай убежим! С этими пятью как-нибудь справимся.

— Неужели ты думаешь, что нам удастся подойти к ним на близкое расстояние и без шума уложить их на месте? А проволочные заграждения, а мины? Допустим, кому-нибудь из нас удастся вырваться отсюда, но остальных ведь расстреляют. Нет, так нельзя.

В другой раз, когда небольшая группа лагерников задумала перерезать колючую проволоку и бежать, пришлось самим выставить охрану и удержать людей от этого отчаянного шага. Один из них набросился на Печерского с кулаками.

— Кто ты такой, — кричал он в ярости, — что командуешь нами?

— Советский офицер.

— А если я тебе не подчинюсь?

— Для того мы и выставили здесь свою охрану.

Печерский уже несколько раз заходил в женский барак. Он узнал, что Люка родом из Гамбурга, отец ее был видным революционным деятелем. Когда к власти пришли нацисты, отец Люки, как и все его товарищи, ушел в подполье, а матери с детьми удалось перебраться в Голландию, через некоторое время туда пробрался и отец.

После оккупации Голландии неожиданно в дом нагрянули фашисты и накрыли их на «месте преступления»: они слушали Московское радио. Из всей семьи в живых остались Люка и ее мать. Отца и двух ее братьев сожгли в Собиборе.

Здесь, в лагере, Люке приходится ухаживать за кроликами. Иногда ей удается тайком унести несколько капустных листьев, морковку, а то и кусок хлеба.

Двор, в котором Люка работает, отделен от «небесной дороги» деревянным забором. В нем есть еле заметные щели, и она часто видит, что происходит за забором. Сперва из птичника выпускают сотни гусей. Они идут вперевалку и гогочут. За стадом тянутся голые скорчившиеся люди. Люке кажется, она слышит, как у несчастных зуб на зуб не попадает. Их гонят партиями по пятьсот человек. Эти

процессии тянутся часами. Люка знает: людей загоняют в серое бетонированное здание и герметически закрывают за ними тяжелые двери. Тут же запускают мотор, чтобы подать в «баню» удушливые выхлопные газы...

Печерский и Лейтман стали часто навещать слесарей и кузнецов. Как-то вечером, заглянув в кузню, они застали там Бжецкого. На правой руке — повязка капо, вытекший глаз закрыт, а другой — живой — беспокойно бегает с одного лица на другое.

— Нет, Сашко, здесь табачком и не пахнет, — потянул Лейтман своего друга за руку, как только он увидел Бжецкого. — Пошли к слесарям, может, там куревом разживемся.

— Иди один, — отозвался капо, — мне с этим парнем поговорить надо.

Оставшись с Печерским с глазу на глаз, Бжецкий без обиняков заявил ему:

— Вы ведете себя неосмотрительно. Эта история с Френцелем, ваша беседа в женском бараке... Я ведь тоже не лыком шит, и мне совершенно ясно, что Люка вам нужна только для отвода глаз и что Шлойме Лейтман — ваша правая рука. Одним словом, вы должны понять: будь я доносчиком, давно бы вас выдал. Но я знаю, что и мне костра не миновать. «Вечный лагерь», как здесь его кое-кто именует, не вечен, а живых свидетелей немцы вряд ли оставят...

— Хорошо, что вы это понимаете, — прервал его Печерский. — Но почему обо всем этом говорите мне?

— Саша, давайте не тратить время попусту. Имейте в виду: вы можете многое выиграть и многое потерять. Нам, капо, немцы доверяют. Кроме третьего лагеря, я повсюду хожу свободно. Короче говоря, согласны взять нас в компанию?

— Кого это «нас»?

— Меня и капо станционной команды Чепика. Капо Шлока я сам опасуюсь. С ответом я вас не тороплю. Обдумайте все, тогда скажете. А пока — спокойной ночи!

Вечером 12 октября на вахте в Собиборе стояли не только фашисты, но и советские военнопленные. Аркадию Вайспапиру и Алексею Вейцену было дано задание следить за тем, что происходит на территории лагерного двора, а Борису Цибульскому и Семену Розенфельду — не спускать глаз с центральных ворот и, как только заметят что-нибудь подозрительное, немедленно подать условленный сигнал.

Но и они не знали, что в ту самую минуту, когда раздались девять ударов железом о рельс, в столярной мастерской собрались девять человек и стали спорить между собой, приглашать ли еще одного, десятого... А что сказал бы Аркадий Вайспапир, если бы он узнал, что этот десятый — капо Бжецкий, который недели две назад избил его так, что тело ноет и по сей день?

Послали за Бжецким, и когда тот, явившись, стал в дверях, Печерский объявил:

— Начинаем совещание.

Бжецкий обычно ходил в расстегнутой куртке. На этот раз он застегнул ее на все пуговицы, огляделся по сторонам и спросил:

— Вы что, Саша, решили меня испытать или предупредить?

— Сейчас не время для пустых разговоров. Вас, если хотите знать, следовало бы судить, и все же мы вам доверяем жизнь шестисот человек. Предупреждения, надеюсь, излишни. Вы сами хорошо понимаете, что ждет вас в случае предательства... А теперь садитесь, обсудим план восстания.

Назавтра, 13 октября, рано утром, в столярную мастерскую зашел Бжецкий и отчитал Янека за то,

что в казарме, где размещается охрана лагеря, плохо запираются двери.

— Откуда мне это знать? — оправдывался Янек. — Ведь нам запрещено туда входить.

— На все у вас находятся отговорки. Давайте плотника, я сам его сейчас туда отведу.

Нетрудно догадаться, что этим плотником был Печерский. Он прихватил ящик с инструментом и вышел вслед за Бжецким. В казарме в это время никого не было, и под видом проверки замков Александр закрыл дверь на ключ, заглянул в шкафы, где хранились винтовки, и убедился, что патронов ни в магазинах, ни в патронташах нет.

После обеда он вместе с Лейтманом забрался на чердак столярной мастерской; оба долго всматривались в ближний лес, правее ворот.

Проволочное ограждение решили перерезать возле дома, где жили немецкие офицеры. Лейтман высказал предположение, что большая часть зарытых мин опасности не представляет, так как это шумовые, сигнальные мины, и взорвать их можно будет при помощи заранее припасенных камней. Хорошо бы иметь под рукой и сухой песок, чтобы в нужную минуту бросить в глаза охранникам и ослепить их.

Посоветовавшись, решили начать действовать прежде всего во втором лагере. В нем постоянно находятся четыре офицера-эсэсовца. Их необходимо первыми разоружить и уничтожить. Если это не удастся, считай, вся затея сорвалась, все пропало. Тогда гибель всех оставшихся в живых шестисот узников неминуема, причем гибель страшная — от зверских пыток. Кто же будет тем смельчаком, который отважится первым занести топор и тем самым дать сигнал к началу восстания? Лейтман хочет, чтобы Печерский тут же решил, кому это можно доверить. Александр надолго задумывается, перебирая в уме одно имя за другим.

Свойственные Шубаеву ловкость и сноровистость не изменили ему и в лагере. Как и все горцы, ходит он бесшумно, и иногда кажется, что его рваные опорки подбиты подушечками. Человек он немногословный, только скажи ему — он пойдет и сделает все, что потребуется. Его и надо послать в портняжную мастерскую, чтобы убрать Ноймана, исполняющего обязанности коменданта лагеря. Стоит подать знак Аркадию Вайспапиру, и он лишь слегка кивнет головою, а в его больших синих глазах загорится огонек. Жизнь в неволе не сломила его; он как бы стал меньше ростом, но сохранил твердость в ногах и силу в руках. Аркадия Печерский пошлет к сапожникам, пусть сведет счета с обершарфюрером Геттингером.

И на Розенфельда вполне можно положиться, хотя он еще очень молод. Накануне Печерский, размышляя над тем, какое поручение дать ему, спросил Семена, сколько ему лет. Такие вопросы здесь задавать не принято, и Семен с удивлением ответил ему вопросом на вопрос: «Как это вы узнали, что именно завтра мне может исполниться двадцать один год?» Так, с печальной трезвостью, Семен и сказал: «Может...» А как иначе скажешь здесь, в Собиборе? Розенфельд пойдет вместе с Шубаевым.

Не дрогнет рука и у Алексея Вейцена. Ему лучше всего поручить перерезать колючую проволоку возле дома, где живут офицеры.

«Так кто же начнет первым?» — размышляет Печерский. И ему вспоминается, как несколько дней назад прибыл эшелон с очередной партией узников. Были они все до единого голые, в чем мать родила. Их везли в таком виде, чтобы никто по пути не вздумал бежать. Печерский и Цибульский незаметно выглянули из-за угла одного из барakov — оттуда можно видеть все, что делается на

территории третьего лагеря с его газовыми камерами. Вдруг раздался душераздирающий крик ребенка: «Мама! Ма...» В тот миг Александр подумал и твердо решил: «Если перед побегом не удастся свести счеты с палачами из Собибора, мы себе этого не простим». Александр подумал, а Цибульский, как бы угадав его мысль, подтвердил ее вслух. И сейчас Печерский решительно заявил: — Группу, предназначенную для действий во втором лагере, поведет Борис Цибульский. Его я знаю лучше других, за него могу поручиться. Он и нанесет первый удар.

Вот так тщательно продумывая, взвешивая все «за» и «против», Печерский и Лейтман окончательно установили, кому из узников поручается ликвидировать эсэсовцев из охраны лагеря. Восстание начнется завтра, в четверг, 14 октября, во второй половине дня, когда немецкие офицеры придут в мастерские на примерку одежды и обуви. Все должно быть кончено до пяти часов, до переключки. Ночью самым надежным людям передадут семьдесят остро отточенных ножей и топориков — их заранее тайно изготовили кузнецы и слесари.

Они еще были на чердаке, когда раздалось гоготание гусей. К небу взмыли клубы густого черного дыма.

Ночной мрак дышал сыростью и прохладой. А в бараке было так нестерпимо душно, что единственное зарешеченное окошко покрылось каплями влаги. Уже поздно, но Печерский и Лейтман, лежа рядом на нарах, все еще о чем-то шепчутся. Первым спохватился Шлойме:

— Хватит. Надо хоть немного вздремнуть.

— Погоди, — останавливает его Александр. — Как ты смотришь на то, чтобы поручить Пинкевичу вывести людей из лагеря? Он как-никак бывший майор, его опыт может пригодиться.

— И не думай! Я давно к нему присматриваюсь. Говорю тебе — он трус. Как-то на днях в разговоре с ним я попытался прощупать его — и, знаешь, какой получил ответ? «В авантюрах участвовать я не намерен».

— Может быть, он тебе не доверяет?

— Ерунда. Помню, в Минске он мне однажды сказал, что, дескать, при Пилсудском быть коммунистом еще можно было, а при Гитлере это исключено. Ну его к дьяволу. Спи!

## ВОССТАНИЕ

День для октября в этих местах выдался на редкость теплый и солнечный. Узники, проглотив свою порцию баланды, ждали сигнала, чтобы отправиться на работу. Бжецкий расхаживал злой, словно в него черт вселился. В руках он держал гофрированную трубку от противогАЗа и лютовал, как никогда. Начальник охраны Грейшуц подозвал его и протянул пачку сигарет.

Печерский и еще семь человек направились в малую столярную мастерскую. Территория первого лагеря видна оттуда как на ладони. В большой столярке сегодня за старшего не Янек, а Лейтман. С ним двадцать военнопленных, и у каждого под рубашкой спрятан нож.

В три тридцать пополудни Бжецкий должен был отвести Цибульского во второй лагерь, где его ожидали Леон Фельдгендлер и Борух. Втроем им предстояло обезоружить и прикончить находившихся там четырех гитлеровцев. Неожиданно возникло осложнение. Часа за полтора до назначенного срока вошел эсэсовец и велел Бжецкому, прихватив с собой трех человек, следовать за ним. У Печерского на лбу выступил холодный пот. Быстрым шагом он направился в большую столярную мастерскую и поручил Янеку и Капо Чепику узнать, куда увели Бжецкого с тремя узниками. Оказалось, что они в Северном лагере складывают в штабеля лесоматериал. Печерский

подозвал Цибульского:

— Во второй лагерь вас поведет не Бжецкий, а Чепик.

— Это исключено! — воскликнул Чепик. — Без разрешения мне запрещено там появляться. Надо все отложить на завтра.

— Что? Вы отказываетесь выполнять приказ?

За Чепика ответил Цибульский:

— Саша, не беспокойся. Чепик пойдет, и все будет в порядке.

Первым, к четырем часам дня, в портняжную мастерскую должен был прибыть заместитель коменданта лагеря Нойман. Он прискакал верхом на двадцать минут раньше времени. Его встретили старший мастер Юзеф, «портные» Шубаев и Розенфельд. Юзеф попросил господина коменданта снять мундир. Нойман расстегнул и положил на стол ремень вместе с парабеллумом.

— Прошу! — Юзеф услужливо подал ему новенький мундир. — Будьте добры, повернитесь к свету. В то же мгновение Розенфельд накрыл рукой оружие Ноймана, а Шубаев схватил прислоненный к ножке стола и прикрытый тряпкой топорик.

От рева Ноймана даже его конь во дворе рванулся с места. К счастью, одному из лагерников удалось схватить лошадь под уздцы и отвести ее в сторону. Труп Ноймана затолкали под нары, а следы крови на полу присыпали песком. Шубаев побежал оповестить об этом Печерского и передать ему первый трофей — парабеллум Ноймана.

В четыре часа пять минут за сапогами пришел хозяин «небесной дороги», начальник третьего лагеря Геттингер. С ним справился Аркадий Вайспапир.

В десять минут пятого порог портняжной мастерской переступил начальник охраны лагеря Грейшц. Не успел он сделать и шага, как рухнул навзничь.

В это время во дворе показался ээсовец Гаульштих. Направлялся он во второй лагерь, откуда Печерский и Лейтман не получили еще никаких сведений. Навстречу Гаульштиху выбежал Лейтман:

— Господин офицер! Нам приказано сегодня закончить нары, а точных указаний нет. Плотники простаивают. Вы не смогли бы зайти на минутку?

Лейтман уступил Гаульштиху дорогу и дал ему подойти вплотную к нарам. От первого же удара Гаульштих упал, раскинув руки.

В двадцать минут пятого из второго лагеря прибежал Цибульский:

— Сашко, со всеми четырьмя офицерами покончено. Оружие забрали. Телефонную связь и сигнализацию перерезал парижанин Иосиф Дунец[16]. Хозяева второго лагеря теперь Леон и Борух. Во двор вошли несколько кровельщиков. У каждого в руках цинковая водосточная труба. В трубах лежало шесть немецких винтовок с патронами.

В полпятого из Северного лагеря вернулся Бжецкий. Он сообщил, что в гараже Генрих Энгель — слесарь из Лодзи — железным прутом уложил на месте унтершарфюрера Ганса Вольфа и завладел его автоматом.

Пора подавать сигнал к общему штурму. Но Печерский выжидает. Еще жив Френцель — начальник первого лагеря. А ведь все, казалось, было предусмотрено: с Френцелем договорились, что он зайдет в малую столярку, чтобы осмотреть новые шкафы. Почему же его нет? В живых еще остаются такие кровавые злодеи Собибора, как штабсфюрер Вернер Дюбуа и унтершарфюрер Франц Вольф.

Ждать, однако, больше нельзя. Пора подавать сигнал. Печерский приказывает Бжецкому построить

всех узников в одну колонну.

Впереди стали советские военнопленные. Они должны напасть на оружейный склад. Леон Фельдгендлер привел из второго лагеря колонну почти в полтораста узниц. Поднялся шум. Люди начали о чем-то догадываться, и теперь каждый стремился оказаться поближе к воротам.

Тем временем к собравшимся неожиданно подошел начальник караула. Он никак не мог понять, почему сегодня на построении, как никогда, шумно, и стал направо и налево орудовать плетью. Но тут он вдруг заметил, что за ним неотступно следуют несколько лагерников.

— Капо, — подозвал он Бжецкого, — что здесь происходит? — и потянулся к кобуре.

В одно мгновение несколько топориков опустили на голову эсэсовца.

Удерживать людей больше нельзя было, и Печерский громко приказал:

— Всем к офицерскому дому! Рвите проволоку — и в лес!

Только теперь на сторожевых вышках заметили, что в лагере происходит что-то неладное.

Началась стрельба. Пинкевич, а вслед за ним многие узники бросились к центральным воротам.

Стоявшего у ворот охранника поглотил водоворот неудержимо рвавшихся наружу людей. Но леса достигли не все — многие подорвались на минах.

Советские военнопленные во главе с Печерским бросились к оружейному складу, но шквал огня прижал их к земле. К складу бежали эсэсовцы.

Френцеля Печерский заметил, когда тот пытался ползком пробраться к дверям склада. Александр выстрелил, но попал ли?

— По одному в лес! — приказал Печерский.

Сам он с несколькими вооруженными людьми решил задержаться, чтобы помешать эсэсовцам преследовать беглецов.

— Товарищ командир! — обратился к нему Вайспапир. — Пора уходить.

«Товарищ командир» — от этих слов у Александра дрогнуло сердце. Впервые за последние два года к нему так обращаются. И хотя он еще в лагере смерти и даже тень его не легла за проволочное ограждение, отныне он больше не узник!

На лесной опушке Печерский на миг остановился, чтобы отдышаться. Сюда бегут еще люди. Все чаще слышен свист пуль. Вот кто-то рухнул наземь, кто-то наступил на мину. Как подкошенная упала женщина; до спасительной лесной опушки ей оставалось всего лишь несколько шагов.

С апельплаца до слуха Куриэла и Берека донесся гул сотен голосов. Не спросив Куриэла, Берек выскочил из каморки. Он увидел эсэсовца, лежавшего, уткнувшись лицом вниз, недалеко от него — другого. Что происходит в лагере?!

Берек вбежал в каморку и рывком потянул Куриэла за руку.

У больших ворот — столпотворение. Туда же кинулись Куриэл и Берек. Несколько эсэсовцев, бегущих к оружейному складу, перерезали им дорогу. Один из них обернулся и выпустил очередь из автомата. Берек оглянулся и увидел, как Куриэл медленно опускается на землю...

После кипящего смертоносного котла, из которого им только что удалось вырваться, Печерскому показалось, что лес погружен в дремоту. Со стороны лагеря еще доносится приглушенная стрельба, а здесь чуть качаются ветки, сбрасывая с себя пожелтевшую листву.

Шли гуськом, друг за другом. Впереди Печерский, за ним Цибульский. Замыкал шествие Вайспапир. Лес, к огорчению, кончился. Впереди простиралось обширное поле. Люди почувствовали себя в еще

большой опасности. Неожиданно перед ними открылся широкий и глубокий ров, наполненный водой. Вайспапир услышал какой-то подозрительный шорох и тотчас же передал по цепочке:

— Внимание! Здесь кто-то есть.

Тем же путем замыкающему передали приказ командира:

— Выяснить и доложить!

И незамедлительный ответ:

— Все в порядке. Это Шубаев.

Шубаеву вместе с небольшой группой беглецов удалось наспех соорудить подобие плота. Люди благополучно перебрались через ров. За полем их снова вобрал в себя лес. Но Печерского ничто не радует. Шубаев сообщил, что тяжело ранен Лейтман. Вместе с Леоном Фельдгендлером[17] он должен был разыскать польских партизан. И вот Шлойме Лейтман — его лучший и надежный друг — лежит теперь на носилках, и жизнь в нем угасает. Сколько долгих дней прожил он в лагере бок о бок с Лейтманом и как-то не задумывался, до чего близок и дорог ему этот человек!

Достаточно было Лейтману прикрыть глаза в знак согласия, и Печерский знал, что решение принято правильное.

С Шубаевым Лейтман передал ему свой последний привет и благодарность. Благодарность... Но кого, как не Лейтмана, нужно в первую очередь благодарить за то, что они обрели свободу. Это ведь он все время твердил: «Расплачиваться мы должны не слезами, а огнем». Сколько Александру ни суждено прожить, он никогда не забудет друга. Но долго думать об этом Печерский теперь не вправе. На его плечах забота о судьбе людей, которые идут за ним. Он знает: такой большой группе трудно скрываться, незаметно пробираться сквозь вражеские заслоны.

Послышался шорох, все затаили дыхание. И снова тихо. Хорошо, что тревога оказалась ложной.

Пошли дальше. Вдруг одна из женщин, забыв, видно, где она находится, громко кричит:

— Моисей, ты где?

Казалось, эхо разнеслось по всему лесу, по всем окрестностям. Что ж, прогнать беднягу? Будь жив Лейтман, он определенно сказал бы «нет».

На рассвете возвратился Алексей Вейцен, посланный в разведку. Его сообщение было малоутешительным. Недалеко отсюда железная дорога, а лес редееет.

Что делать? Остаться в лесу? Здесь их наверняка будут искать. Подползли поближе к станции и затаились в кустах. К счастью, пронизывающий ветер не разогнал туч, и с утра начал моросить мелкий дождь. Когда день был уже на исходе, в небе показались самолеты. Послышались выстрелы, лай собак. Немцы и полицаи прочесывали лес.

Еле дождались ночи. Ползком перебрались через железнодорожную насыпь и торопливо углубились в лес. В зарослях наткнулись на двух собиборовцев.

— Вы идете к Бугу? — спросили те. — Напрасно. Нам сказали, что там полно немцев.

Печерский и с ним еще восемь человек все же решили идти в сторону советской границы, к партизанам. На небольшой лесной поляне в последний раз собрались все вместе.

— Товарищи, — сказал Александр. — Мы сейчас разобьемся на небольшие группы по восемь — десять человек. Каждая пойдет своим маршрутом. Иначе нам отсюда не выбраться. Я назову вам старших. Надеюсь, они ваше доверие оправдают.

Его обнимали, целовали и на прощание говорили:

— Спасибо, Сашко! Мы тебя никогда не забудем...

Подбежал к нему также и Берек и схватил за руку. Жаль, что в темноте Сашко не мог заглянуть пареньку в глаза. Он тогда не стал бы долго раздумывать и сказал бы: «Нас девять человек, ты будешь десятым».

Берек позже не раз возвращался в мыслях к этому моменту и не мог простить себе, что у него не хватило смелости сказать: «Дядя Сашко, и я хочу с вами на восток, к Бугу, к партизанам. Можете делать со мной что хотите, но я от вас не отстану...»

...Спустя четыре дня, поздно вечером, девять человек крадучись пробирались к одинокому хутору. За хутором они следили в течение нескольких часов. Надо было соблюдать особую осторожность — до Буга рукой подать.

Александр постучал в окно. Кто-то отодвинул занавеску. Дверь открыли. В дом вошли Печерский, Цибульский, Шубаев и Вайспапир. Остальные остались снаружи. Оказалось, что даже сюда, на этот заброшенный хутор, почти у самой границы Польши и Белоруссии, дошел слух, что где-то возле Хелма или Майданека произошло чудо.

— Говорят, — рассказывал хозяин дома, — будто из адских печей, в которых фашисты сжигали людей, вдруг стали выскакивать разгневанные духи — ожившие покойники — и хватать немцев за горло. Кого схватят — из того душа вон. Сперва, как водится, гитлеровцы кинулись к винтовкам, а потом со страха побросали оружие и давай бежать без оглядки.

Как тогда, во дворе минского карцера, Печерский, прислонившись к стене, зажмурил глаза. Открыть их он не решался. Ему не верилось, что он уже не в плену и то, что им здесь рассказали, — не более чем легенда, вещий сон. Еле слышно он произнес:

— Помогите нам перебраться через Буг.

Хозяин избы поправил фитиль на каганце, завесил окно одеялом и не спеша ответил:

— Сам бог помогает вам, так можем ли мы отказать? — И распорядился, обратившись к своим детям: — Зося, собери на стол, а ты, Казимеж, готовься в дорогу.

В ночь на двадцатое октября беглецы уже ступили на белорусскую землю. На ней еще хозяйничали оккупанты, так что предстояло пробираться к партизанам. Борису Цибульскому не повезло. При переправе через Буг он тяжело простудился. Его лихорадило, и дальше идти сам он не мог. Из четырех вырубленных молодых дубков соорудили носилки. Как только дошли до села, уже в партизанской зоне, Бориса пришлось оставить.

А еще через два дня, неподалеку от Бреста, они встретили первых партизан...

Александр Печерский дождался дня, когда партизаны соединились с регулярными частями Красной Армии. Красную партизанскую ленту на фуражке он сменил на звездочку. В конце августа 1944 года Печерский был тяжело ранен. В госпитале, где он пролежал четыре месяца, в запасном полку, а затем в Ростове, после демобилизации, он пытался узнать о судьбе своих друзей — повстанцев из Собибора.

И узнал, что в тот же вечер, когда они совершили побег из лагеря, по железнодорожному телеграфу полетела тревожная депеша: «Немедленно выслать войска и нагнать беглецов». Молодая женщина, работавшая телеграфисткой на Хелмском вокзале, передала депешу немцам с опозданием на четыре часа...

16 октября 1943 года в Собибор прибыло специальное саперное подразделение. Динамитом взорвали

почти все строения и сторожевые вышки, вырыли столбы с колючей проволокой, погрузили на платформы и увезли экскаваторы, которыми рыли траншеи для пепла сожженных, транспортеры, на которых еще лежали тела умерщвленных жертв, дизельные моторы, которые нагнетали удушливый газ.

Из Берлина поступил секретный приказ: повстанцев, всех до единого, уничтожить любой ценой. Немало беглецов было поймано. Но многим удалось найти дорогу к партизанам. Кое-кого, рискуя жизнью, укрыли у себя польские крестьяне.

## Глава пятая

### НА СВОБОДЕ

#### ТАКОВ ПРИКАЗ КОМАНДИРА

Для Берека лес снова стал домом, а земля — постелью. Вместе с семьёю собиборовцами — земляками из Польши — он направился в сторону Хелма, но на второй же день при переходе шоссе группа наткнулась на немцев. Сперва раздался свисток укrywшегося в засаде гитлеровца, а потом началась стрельба. Двое из группы были убиты, остальные разбежались кто куда.

Они остались вдвоем — Берек и Томаш. Томаша Сашко назначил старшим в группе.

Томаш идет впереди. Он еле держится на ногах, кажется — вот-вот упадет. Даже стоя на месте, качается, как подрубленное дерево. Томаш говорит, что в армии он был младшим командиром. Судя по его возрасту, это было бог весть когда, а может, он только выглядит таким старым. Берек боится потерять его: у него ведь наган с тремя патронами, а под курткой самодельный нож, изготовленный в лагере накануне восстания.

Перед наступлением вечера Томаш и Берек со всеми предосторожностями вышли на опушку леса, поднялись на пригорок и осмотрели местность. Холодное солнце садилось, небо окрасилось в цвет спелой пшеницы. Далеко на горизонте, на малиновом фоне заката виднелся позолоченный крест костела. В вечернем сумраке они уселись под могучим дубом, покрытым большими, величиной с тарелку, лишайниками. Такие мертвые ржавые наросты появились на многих деревьях вокруг Собибора. Должно быть, из-за того удушливого дыма, что день и ночь стлался над округой. Беглецы сидели и думали, куда идти дальше. Заходить в деревню рискованно: повсюду наверняка рыщут жандармы. Но голод пересилил страх, и они решили положиться на судьбу. Днем раньше, днем позже, но к людям выходить придется.

Когда совсем стемнело, они направились вниз, с пригорка. Накапывал дождик, понемногу он усилился, и оба промокли до нитки. Одежда прилипла к телу, башмаки скользили, вода попадала за ворот. Впотьмах наткнулись на скирду сена, разглядели тропинку, ведущую на хутор.

Посоветовавшись, решили, что в дом постучится только Берек, а там уж видно будет.

Дверь оказалась незапертой. Можно ли войти, Берек спросил, уже переступив порог. На низком стульчике между кадками с фикусами сидела женщина и чистила картошку. Из-под ножа змеилась тонкая длинная кожура, опускаясь в подставленную миску. Первым порывом Берека было схватить миску с шелухой и бежать. Однако он, как положено, произнес «Добжий ветшур!» и услышал то же в ответ. Казалось, его появление ничуть не удивило хозяйку.

— Можно у вас напиться? — попросил он.

Глазами она указала ему на скамью, где стояло ведро воды.

Он зачерпывал уже третью кружку, когда почувствовал на себе еще чей-то взгляд. Дверь, ведущая во

вторую комнату, была застеклена, и двое ребяташек, должно быть стоя на цыпочках, уткнулись носами в стекло. Дети мгновенно исчезли, а из комнаты вышел мужчина с плечами грузчика, без фуражки, подпоясанный ремнем, в сапогах с высокими голенищами. Кожа на его лице казалась дряблой, как у человека, который редко бывает на свежем воздухе и недосыпает.

— Откуда и куда идешь? — спросил он.

Берек от неожиданности растерялся.

— Не хочешь говорить — покажи документы. Или их у тебя тоже нет? Как тебя зовут?

— Тадек.

— Фамилия?

— Кневский.

Как бы не веря тому, что слышит, человек попросил Берека повторить фамилию, смерил его подозрительным взглядом с головы до ног и указал на стул у стены:

— Садись. Ты один или с тобой еще кто-нибудь?

— Один.

— Чего же ты по ночам ходишь? Кто тебе указал дорогу сюда? — Его спокойный поначалу тон понемногу менялся. — Я спрашиваю, кто тебя послал, солтыс или кто-нибудь другой?

— Никто. Я наткнулся на скирду сена, а оттуда тропинка вывела меня прямо к дому.

— Ты что, рассчитывал, что тебе здесь предложат ночлег?

— Нет, я так не думал.

— Тогда зачем ты сюда пришел? Ты напился, — кивнул он в сторону ведра, — и ждешь, чтоб тебя еще и накормили?

Берек повернулся к дверям. Он был уверен, что его сейчас схватят за шиворот. Мужчина порывисто шагнул к выходу и опередил Берека, но в это время хозяйка встала с места, выпрямилась и сказала:

— Хотела бы я знать, Юрко, чей это дом? И чего ты из себя строишь маршалека, ведь ты даже не поручник. Парня оставь в покое. Нечего кипятиться. Картошки всем хватит. Пусть поест. А там — не мое дело, откуда и куда он идет.

Юрко отступил. Чувствовалось, что он из строптивых. Уходя, он из сеней пригрозил женщине:

— Тебе, Анна, видно, хочется поговорить с самим начальником. Сделаю тебе такое одолжение.

Долго ждать не придется.

О голоде Берек уже забыл. Его охватило беспокойство. Кто знает, куда направился этот Юрко и что он задумал. Теперь остается подождать, пока удалятся его шаги, потихоньку выбраться из дома и бегом к Томашу. Анна будто все поняла. Она дотронулась до руки Берека:

— Не бойся. Юрко здесь не бог весть кто. Так тебя Тадеком зовут? Иди, Тадек, к столу. Хлеба я не могу тебе дать, а картошки ешь сколько хочешь.

Сама она тем временем принялась запаривать полосу в кадке, потом, не передохнув ни минуты, стала толочь просо в ступе.

Поглядев, как ест Берек, хозяйка спросила:

— Хочешь взять с собой немного картошки?

— Нас двое. Если позволите...

— Дорогу сюда тебе придется забыть. Кое-что я тебе соберу и дам с собой. Видишь, Юрко догадался, что ты его обманул. А что будет, если он сейчас приведет сюда твоего товарища?

— Я боюсь Юрка. А товарищ мой ему живым не дастся.

— Кто он, военный? Он вооружен?

— Когда-то был военным, потом фельдшером, последнее время сапожником. Не смотрите на меня так, я вам чистую правду говорю. Я этих мест не знаю, мы бежали из Собибора. Это недалеко от Хелма. Вы о таком городе слышали?

— А как же! И о Собиборе сюда слухи дошли. Скажи, это правда, что там был бой и всех немецких офицеров повесили?

— Бой был, но скольких гитлеровцев уложили, я не знаю.

— Вот что, Тадек. Я ненадолго отлучусь, но ты меня непременно дождись. Если вернусь с вооруженными людьми, не пугайся. Не ручаюсь, что они смогут тебе помочь, но зла не сделают. Не бойся. Клянусь, эти люди тебя не тронут.

— Я вам верю и без всяких клятв. Если б вы задумали неладное, то не стали бы меня ни о чем предупреждать.

— В горшке топленое молоко, пей. Башмакиними и поставь к печке сушить.

Берек остался в доме. Его охватило возбуждение. Неужели наконец-то ему предстоит встреча с партизанами? Вот когда осуществится его мечта. Уж он бы... Но почему хозяйка сказала, что не знает, смогут ли ему помочь? Как же это так? Кто же другой поможет? Разве он не мог бы стать партизаном? Ведь, слава богу, не калека, кому же, как не ему, мстить врагам! Он закрыл глаза, но, боясь уснуть, тут же их открыл.

В дом вошли трое, не считая хозяйки. Один с автоматом, двое с винтовками. Юрка среди них не было. Тот, что с автоматом, похоже, старший.

— Твоя фамилия Кневский? — обратился он к Береку.

— Нет.

— Тогда почему ты так назвался?

— Я испугался... У меня есть друг Тадек Кневский.

— Вы земляки?

— Нет. Он из Белостока. Но прошлой зимой мы были вместе. Он, можно сказать, спас меня от смерти.

— Сколько людей бежало из Собибора?

— Думаю, человек триста или четыреста. Но многие подорвались на минах, а еще больше, наверно, погибли потом.

— Кто руководил восстанием?

— Печерский. Советский офицер. Все его звали Сашко.

— Не знаешь, он остался жив?

— Как это не знаю! Сашко со всеми попрощался за руку. Он и с ним еще восемь человек направились в сторону Буга.

— Они хорошо вооружены?

— Оставили при себе два или три пистолета. Остальное оружие поделили между старшими групп. Старших назначил Сашко.

— Тот, кто тебя сюда послал, тоже старший?

— Да.

— Ты нас поведешь туда, где он тебя дожидается.

— Как только он услышит, что я не один, убежит.

— Предупредишь его, что бояться нечего.

— Мы мало знаем друг друга, он может мне не поверить и убежать.

Тот, что с автоматом, улыбнулся и кивнул в сторону своих товарищей:

— Видишь, какие у меня молодцы. Прикажу им — и они его мигом догонят.

Берек счел нужным предупредить:

— Это может плохо кончиться. Двумя пулями он кого-нибудь из вас уложит, а третьей, если у него не будет иного выхода, покончит с собой.

— Ты говоришь, что мало его знаешь, откуда же тебе известно, что он на такое способен?

— Если Сашко доверил ему нож, значит, на него можно положиться.

— Вот это я понимаю! — произнес вполголоса старший. — Как долго он тебя будет ждать?

— Мы условились, что, если я не вернусь до восхода солнца, значит, со мной случилось несчастье и он должен уходить.

— Хорошо. До рассвета что-нибудь придумаем. Лёлек, — указал он на одного из своих парней с копной черных как смоль волос, — сейчас принесет соломы, и ты сможешь спокойно поспать.

Берек лежит, подложив руки под голову. Фитиль керосиновой лампы прикручен. Окно завешено рядом, но Береку не спится. Неужели все, что с ним сейчас происходит, явь? И он может ущипнуть себя и убедиться, что это не сон?

Вдруг Лёлек, пристроившись рядом с Берекком, толкнул его и, точь-в-точь как Фейгеле, спросил:

— Ты, как я вижу, парень не промах. Скажи, однако, как тебя по-настоящему звать?

— Берекком звать. Ты что, еврей?

— Нет, вы только послушайте, я турок. На моем надгробном памятнике высекут слова: «Рахми Тевфик Чамблебел». Не понимаешь? Выходит, зря я тебя хвалил. Уши развесил, глазами хлопаешь, а соображаешь как тот индюк у хелмского кантора. Отец мой, мир праху его, Тевье Чамлинский, назвал меня в честь своего деда Рахмилом. И еще одну тайну могу тебе открыть, но это уже всерьез. Я заметил тебя, когда ты еще не подошел к скирде. Ты зачем вертелся около хутора? Думаешь, в темноте ничего не слышно?

— Я боялся открыть дверь.

— Когда боятся, читают молитву. Ладно уж, что было, то сплыло.

Берек не понял, что кроется за этими словами. Нет ли здесь какого-нибудь подвоха? Лёлек продолжал:

— Ты попал к хозяйке — побольше бы таких. Но если бы нас тут не было...

— Скажи, Лёлек, вы на хуторе долго пробудете?

— Ты что, чокнутый? С горы костел видел? До него отсюда три километра, а может, и того нет. Там в деревне постоянно находятся полицаи, и немцы туда частенько наведываются. Мы появляемся здесь только в случае крайней надобности, и никому, кроме нашей группы, не разрешено оставаться на ночлег.

— А Юрко разве тоже из вашей группы?

— С тобой, Берек, не соскучишься. Юрко сам по себе. А что, он тебя на бога взял? От него можно всего ждать. Если вступишь в отряд, не вздумай о нем никого спрашивать.

Вот тебе и на! И этот туда же...

— Как это «если»? — чуть не подскочил Берек, и у него ёкнуло сердце. — Вы разве не возьмете нас с собой? Ты ведь тоже не родился партизаном, или думаешь, что я еще не дорос?..

— Я ничего не думаю, — перебил его Лёлек, — мы специальная разведывательная группа, и о том, чтобы остаться с нами, и речи быть не может. В отряде я уже год и два месяца, но попасть в него было не так-то просто. Сам я из деревни возле местечка Адамов. Всех нас, евреев, заключили в адамовскую тюрьму и, как мы потом узнали, должны были отправить в Треблинку. Что нас там ожидало — ты знаешь лучше моего. Ночью подошли партизаны, втихую сняли охрану и взломали замок на дверях. Вдруг мы услышали, как кто-то громко закричал по-еврейски: «Не пугайтесь, это я, Файвл Млиновский. Мы пришли спасти вас!» Освободить-то нас освободили, но в отряд никого не взяли.

Берек недоумевает:

— Млиновский был командиром отряда и не захотел тебя взять?

— Командиром отряда был Серафим Алексеев, русский военнопленный, бежавший из лагеря. Но какая разница, он или Млиновский? Из тюрьмы нас вышло двести человек. Когда мы добрались до леса, нас уже было человек триста — это выбирались из своих укрытий и присоединялись к нам люди, прятавшиеся от немцев. У Алексеева в отряде было тогда двадцать четыре партизана. Из них больше половины без оружия. Мог ли он взять к себе триста безоружных людей, среди которых были старики и дети? Он разделил нас на группы и помог добраться до большого леса.

— Как же ты стал партизаном?

— Алексеев со своим отрядом направился в Кшивдинский лес, а мы с товарищем увязались за ними. В конце концов мы его упросили...

— Алексеев и Млиновский живы?

— У Алексеева, я слышал, теперь большой отряд, а Млиновский погиб. Во время восстания в Варшавском гетто Млиновский с двумя партизанами вывел оттуда двенадцать человек, но в отряд Алексеева вернулся лишь один партизан. Остальные погибли в бою под Гарволином. — Лёлек умолк и, уже поднимаясь, заметил: — Тебе, Берек, хорошо, можешь спать. А мне на пост. Ночью они сюда не полезут. Но все же... Три часа я буду охранять твой сон.

Лёлек ушел в осеннюю ночь, а Берек не мог сомкнуть глаз, и все из-за единственного слова «если». Еще вчера приходилось месить грязь, а сегодня предрассветный морозец подсушил почву и ветер дочиста вымел узкую тропинку. Идти стало легко. Заиндевевшие травы искрятся. Во всем чувствуется приближение зимы.

В полумраке Берек и Лёлек дошли до скирды сена. Несколько минут они постояли, прислушиваясь. Было так тихо, что казалось, можно расслышать шелест склоняющейся к земле засохшей травинки. У скирды никого не оказалось, и они двинулись дальше. Ветер дул в спину, как в парус, заставляя ускорять шаг. Пока добрались до горки у леса, согрелись. У Лёлека тонкий слух и зоркий глаз разведчика, но Томаша не видно и не слышно: то ли ушел, то ли прячется.

Берек приставил ладони ко рту:

— Томаш! — И через минуту нараспев: — Том-м-а-ш!

Наконец откуда-то из-за деревьев послышался голос:

— Стоять и ни с места. Если тот, кто с тобой, снимет с плеча винтовку, я выстрелю первым.

Берек пытается объяснить:

— Томаш, это партизан Лёлек. Можешь поговорить с ним на родном языке.

— Все равно, пусть остается на месте, а ты подойди ко мне.

Позже, когда они сидели втроем и Томаш жадно хватал одну картофелину за другой, Лёлек заметил ему:

— Вы смахиваете на птицу, что клюет, но не забывает оглядываться. Ну что ж, для партизана это неплохо. Верхом ездить умеете?

— Я служил в кавалерии, — Томаш поспешно проглотил последний кусок, — если потребуется, мы с Берекком не подведем.

— Речь идет только о вас. Берек пробудет здесь в лесу до конца дня, а потом вернется на хутор и пока останется там. Запомни, Берек, если труба не дымит, не смей даже близко подходить к дому. Надень мою фуфайку, а вы, Томаш, дайте ему свой нож. Ты чего стоишь, — повысил он голос, — будто тебя живьем похоронили? Таков приказ командира. Не вешай носа, говори, что думаешь, без утайки. Ну, скажи же что-нибудь, ты ведь парень что надо.

Береку было до боли обидно, что его не берут в отряд. Он молчал, боясь расплакаться при первом слове. Лёлек принялся его утешать:

— Не думай, что здесь ты будешь бить баклуши. Тебе поручают важное дело. Так сказал командир, а он не бросает слов на ветер. Во всем слушайся Анну. Юрко, хоть и пытается брыкаться, тоже слушается ее. Правда, он к тому же влюблен в нее по уши.

— Юрко тоже остается здесь?

— Юрко служил в польской полиции, ну а с волками жить — по-волчьи выть. Как-то партизаны, не зная, на кого он в самом деле работает, ранили его. Теперь он уже не в полиции, а секретарь самоуправления, но полицейскую повязку и даже пистолет немцы ему оставили. Они верят ему. Я тебе все это рассказываю для того, чтобы ты не пугался, увидев его в форме полицая.

— Все-таки кто же он?

— Для гитлеровцев — верный холуй, пострадавший от лесных бандитов. Даже медалью награжден. Для населения — предатель польского народа. В этом уверены многие, а на селе одной такой молвой могут человека со свету сжить. Для меня, для тебя — партизан, вынужденный маскироваться. Он рискует жизнью больше, чем я, хоть я — разведчик. А теперь, Берек, давай попрощаемся. Возможно, скоро снова встретимся.

И опять Берек остался один в лесу. Так уж, видно, ему на роду написано. Лёлек и Томаш ушли. И след их простыл. До чего же радужным получился на этот раз мыльный пузырь и как быстро он лопнул!.. Одно слово, одно прикосновение — и вся накопившаяся боль вырвется наружу. Но куда денешься? Берек бродил по лесу, словно его вела неведомая сила. На него с любопытством посмотрела сидевшая на ветке птичка. Вот кому можно позавидовать: стоило ветру зашелестеть листвой — и птичка исчезла.

Собственно говоря, отчего он так расстроился? Ведь только вчера он чуть не умер с голоду, и, если бы кто-нибудь ему сказал, что он найдет место для ночлега, его счастью не было бы границ. А то, что ему встретились партизаны, разве не счастье? Нехорошо являться к Анне с таким угрюмым видом. Томаша взяли в отряд потому, что у него наган, он фельдшер, а может быть, еще и потому, что во время восстания Сашко доверил ему вот этот острый отточенный нож, который Берек держит

сейчас в руках, как копье...

## «КАЖДОМУ СВОЕ»

Тайком, работая по ночам, Анна и Юрко выкопали глубокий, вместительный погреб — подземное убежище. Из дровяного сарайчика потайной узкий ход вел по зигзагообразному коридору в бункер, который Анна называла пивницей. Дверь пивницы обита ржавой жстью. Стоит закрыть ее поплотнее — и свеча, облепленная расплавленным воском, вскоре гаснет, становится темно, хоть глаз выколи. В пивнице стоит стол, скамья, на деревянных полках у стены — металлический ящик с бумагами, наборная касса со шрифтом, банка типографской краски, пишущая машинка. Здесь же копировальная бумага, стопка школьных тетрадей, чернильница и перо, простые и цветные карандаши. В пивнице Берек находится только днем, но здесь можно и полежать. Анна соорудила постель, принесла маленькую подушку. На Береке длинный плащ с брезентовым верхом, на ногах старые растоптанные валенки. Даже Лёлек и его командир не знают, что под землей завелась такая «малина». В военное время и отцу родному не все расскажешь.

От Берека пока требовалось одно: описать подробно все, что ему известно о лагере смерти Собибор. Анна, как выяснилось, вовсе не была простой деревенской женщиной, как сперва показалось Береку. Однажды она ему сказала:

— Об этом лагере у нас были скупые и противоречивые сведения. Никто даже предположить не мог, что именно там произойдет такое сражение и победят повстанцы. Но за Собибор еще предстоит рассчитаться с нацистами. Так что ты обо всем напиши, назови фамилии, факты, даты. Есть один партизанский командир, он собирает такие материалы уже сейчас. Тебе надо поскорее научиться печатать на машинке, тогда дело пойдет быстрее.

Берек почувствовал себя задетым. Неужели нельзя было найти для него более подходящего дела? Но коли это приказ, то и говорить не о чем. Почерк у него неважный — пишет вкривь и вкось, но если постараться, можно написать ясно и разборчиво. Мысли роем теснятся в голове. Строчки ложатся одна к другой, словно борозды пашни. Ему слышится лай собак-ищеек, крики охранников — тот, кому довелось хоть раз их услышать, не забудет вовек, — он видит «небесную дорогу»... Но Береку кажется, что рассказать о Собиборе невозможно. Ему хочется хоть на мгновение поверить, что это был только сон, кошмарный сон. Но ничего не получается. Лагеря смерти уже нет, а он все еще живет в нем. Должно быть, рана «Собибор» никогда не заживет. Даже здесь, в этом обиталище для летучих мышей, далеко от Собибора, он ощущает тошнотворный запах гари и пепла. Его преследует свет фонарей на столбах, прожекторов на сторожевых вышках, малейший шорох нагоняет на него ужас. На сегодня хватит. Пусть все хоть немного уляжется.

Как магнитом тянет Берека к металлическому ящику. Интересно, что в нем хранится? Он пытается приподнять крышку, и, к его удивлению, она открывается без труда. О, тут действительно хранятся сокровища! Ящик полон бумаг, листовок, рукописей. Есть здесь и газеты. Берек набрасывается на них, как жаждущий припадает к источнику. Он читает, читает, читает...

Когда Анна в конце дня дала ему знать, что можно подняться наверх, он все еще не мог оторваться от чтения.

— Ты что так долго не отзывался? — спросила Анна.

— Я открыл ящик с бумагами, — ответил Берек смущенно.

— Это ничего, — успокоила его Анна. — Мы рассчитывали ознакомить тебя с этими документами

после того, как ты напишешь о себе. Но так, может быть, даже лучше. Это поможет тебе осмыслить все, что с тобой произошло. Читай и запоминай.

На рассвете Берек уже был в бункере у ящика. Накануне он весь день, не отрываясь, читал газеты. Из отдельных случайно, а возможно, и не случайно сохранившихся номеров различных изданий за разные годы он узнал такое, о чем до сих пор не имел понятия. Когда ему в руки попала газета за ноябрь 1941 года, в которой описывалось, как Красная Армия гнала немцев от Москвы, сердце его забилось от радости. Вот бы такого Ноймана или Болендера двинуть назад, «нах хаузе», туда, откуда они пришли. Э, нет! Кто их выпустит живыми? Тем из них, что унесли ноги из-под Москвы, считай, повезло.

Из другой подпольной газеты он узнал о первой польской пехотной дивизии, сформированной на советской земле в поселке Ленино, и о ее первом сражении с гитлеровцами совсем недавно, 12 октября 1943 года.

В одной из последних листовок (ее, судя по шрифту, набирали здесь же, в погребе) он прочел сообщение о том, что фронт приближается к Киеву и Гомелю.

А ведь оттуда до Польши рукой подать!

Сегодня, решил Берек, он возьмется за чтение рукописей. Среди них наверняка найдутся свидетельства фашистских зверств. Он стал рыться в бумагах и вдруг ахнул от удивления: на первой полосе одной из газет он увидел крупные еврейские буквы. Это был заголовок, название газеты «Ди югнт-штиме» — «Голос молодежи», а над ним лозунг: «Да здравствует братство народов!» — и девиз:

Все люди братья,

Желтые, черные, белые...

Это же строки из стихотворения Переца, классика еврейской литературы Ицхока-Лейбуша Переца.

Берек и сейчас может продекламировать это стихотворение от начала до конца.

Береку мало света, отбрасываемого свечой, и он зажигает керосиновую лампу. Теперь можно отчетливо разглядеть рисунок на первой странице: крепкое пожатие рук, соединенных в проломе стены гетто.

Провести целый день в погребе намного тяжелее, чем на чердаке у деда Мацея. Трудно дышать. Пол, хотя и покрыт тряпьем, сырой. Темные слепые стены сочатся влагой, от них несет ледяным холодом. Но Берек не обращает на это внимания, он читает.

На своем недолгом веку он пережил немало, казалось, невозможно придумать ничего страшнее ужасов Собибора, и все же кровь стынет в жилах, когда в рукописях на разных языках — польском, идиш, иврите — читаешь о все новых нацистских злодеяниях.

Мордхе Юзефович пишет на идиш:

«Когда нас загнали в вагоны, мы не думали, что нас везут на гибель. Мы верили, что едем на работы. Надпись на воротах лагеря, куда мы прибыли, гласила: «Каждому — свое». Истинный смысл этих слов дошел до нас очень скоро. Как только мы оказались по ту сторону ворот, эсэсовец пристрелил моего старшего брата и тут же похвастался своему приятелю, такому же душегубу, как он: «До десяти мне осталось прикончить еще двоих. Если я мало уничтожу их днем, мне не спится ночью».

На что тот ему ответил: «Почему только десять? Удвой число, спать будешь, как после бани».

Я показался гитлеровцам еще довольно крепким, и меня с другими узниками послали валить деревья

в лесу. Топор я обрушил на голову убийцы моего брата, того самого, что плохо спит ночью, если мало убивает днем. Пусть будет так, как они говорят: «Каждому — свое». Из винтовки, которую я отобрал у фашиста, дважды выстрелил по преследователям. Пока я жив, винтовку из рук не выпущу. Ненависти моей нет предела».

Как пароль, как клятву повторяет Берек слова призыва: «Нет привилегированных и непривилегированных рабов. Есть только тот, кто продолжает борьбу, и тот, кто сдается».

Нет, он, Берек, не сдался. Он будет бороться. С винтовкой в руках. Вот только напишет все о Собиборе и тогда... Рину ему вовек не забыть... Сашко, Куриэл, Макс ван Дам, Абрабанел, Фейгеле, Люка... Все они перед ним, стоит только закрыть глаза...

Раз или два в неделю в погреб спускается Юрко и тут же становится к кассе. В подпольной типографии он за наборщика. Должно быть, из-за раны он тяжело дышит и с трудом произносит слова. Несколько раз он показывал Береку, как надо печатать на пишущей машинке. Оказывается, Юрко — человек совсем неплохой. Сегодня ему предстоит выпустить листовку, которая начинается словами: «Братья и сестры! Никогда мы не будем народом рабов. Польша с ее славным прошлым не станет на колени!»

Дни кажутся бесконечно долгими. Их не сосчитать. Каждый новый день длиннее предыдущего. По вечерам, покидая погреб, Берек чувствует себя точно зверь, вырвавшийся из клетки. Ему хочется вдохнуть в легкие как можно больше воздуха.

Анна разрешила ему проводить ее до пруда. Он остался дожидаться в камышах, а она направилась в соседнее село, к матери, навестить детей, смолоть на жерновах немного ржи и прихватить несколько ложек соленой воды из-под вареной картошки. Каждую спичку Анна делит теперь уже не ножом, а ногтем на три части.

Пруд еще не сковало, но он весь в морщинах. Складки густеют, вода вот-вот замерзнет. Хорошо это для пруда или плохо? Пруд ведь не человек. Ему что, вода превратится в лед — надежное покрывало на зиму, а весной незачем прикрываться; лед растает, и пруд снова пополнится водой.

Ветер раздувает полы пальто, башмаки деревенеют. Ноги заледенели, холод пронизывает до костей. Чтобы хоть немного согреться, Берек начинает подпрыгивать и прыгает с такой силой, будто забивает кол в землю. Он рад, что может себе это позволить. А где теперь Томаш? Тогда в лесу, когда они его искали и не могли найти, Лёлек в шутку сказал: «Бог дал дураку руки и ноги, и тот дал дёру».

Вдруг Берек остановился как вкопанный и весь обратился в слух. Улыбки на лице как не бывало. Ему показалось, что кто-то приближается. Он занялся подсчетом. Сколько времени может уйти у Анны на дорогу туда и обратно и на то, чтобы смолоть зерно? Нет, возвращаться ей еще рано. Вот залаяла собака. Это Анна только вышла из деревни. Теперь отчетливо слышно: по тропе, что змеится метрах в двухстах отсюда, кто-то едет верхом. За время, что Берек живет на хуторе, всего один раз появился человек от партизан. Берек его не видел, но все, что они с Юрком успели отпечатать, и то, что Берек написал, тот унес. Дважды приходили полицаи, но это было днем. Несколько часов они пьянствовали, горланили и еще до захода солнца убралась восвояси. Юрко тогда остался на хуторе ночевать. От него несло самогоном, и утром с похмелья у него трещала голова.

Поздней осенью все вокруг голо, и Береку приходится стоять затаившись на одном месте. Ведь, кроме ножа, никакого оружия у него нет. Пока он не узнает, кто этот верховой, придется играть с

ним в прятки. Наконец тот проехал мимо, топот стал удаляться, а в воздухе остался теплый лошадиный запах.

Берек так сосредоточенно прислушивался к звукам на хуторе, что не заметил, как подошла Анна. Он взял у нее из рук мешочек с мукой, а она направилась к тропе, чтобы узнать, кто здесь проезжал. Оказалось, это Лёлек. Он обменялся с Анной несколькими словами и повернул обратно в лес доложить командиру, что дорога на хутор свободна. Приехали те же самые партизаны, которых Берек видел, когда впервые оказался в доме Анны.

— Добрый вечер, Анна, добрый вечер, Берек!

Если судить по величине чугуна с пшенной кашей, который Анна достает из печи, нетрудно догадаться — она ждала гостей. Правда, каша довольно жидкая. Анна черпает ее деревянной ложкой, и пар валит чуть ли не до потолка. Еда не бог весть какая, но уписывают ее как самое аппетитное жаркое. Под ложку Берек подставляет кусочек хлеба — чтобы и капля не пропала.

Из привезенных для печатания материалов командир достал сложенное письмецо и подал его Береку:

— Это тебе.

Глаза Берека бегают по строчкам.

«Дорогой Берек! О зверствах фашистов уже столько писали и рассказывали, что кое-кто думает: вряд ли можно к этому добавить что-нибудь новое. Мне приходится читать разные документы, в которых рассказывается о самоотверженности и героизме. Героизм в условиях, когда, казалось, люди совершенно лишены возможности сопротивляться. То, что произошло в Собиборе, потрясает. Даже самый отчаянный крик не в силах выразить всю боль, какую испытываешь, читая твои строки. Сказать, что это мужество и героизм, — значит сказать мало. Мы попытаемся узнать о дальнейшей судьбе Сашка. Как только что-то выясним, сообщу тебе. А теперь мне хотелось бы еще немного поговорить с тобой.

Я знаю, тебе сегодня исполняется пятнадцать лет. От имени партизанского командования поздравляю тебя как мужественного бойца. Отсчет твоего партизанского стажа мы начали со дня восстания в Собиборе. Пятнадцать лет! Но не ошибся ли календарь? Как уложить в эти годы путь, который тебе пришлось пройти? Меня удивило, как глубоко ты сумел осмыслить и изложить все то, что произошло с тобой и твоими товарищами по борьбе. Желаю тебе, чтобы скорее наступило время, когда ты снова сможешь почувствовать себя таким юным, каков ты есть.

Мне передали, ты разочарован, что воюешь без винтовки. Ты не прав, Берек. То, что ты делаешь, трудно переоценить. Люди должны знать правду. Это укрепляет в них силу и волю к борьбе.

Письмо ободрило Берека. Он как бы вырос в собственных глазах, стал сильнее. Зря он думал, что его не взяли в отряд оттого, что не верят в его силы. Оказывается, его считают партизаном. Он был благодарен человеку, написавшему это письмо. Кстати, почерк оказался тот же, каким написаны тексты воззваний и листовок. Кто же он, этот человек, который несколькими словами сумел вдохнуть бодрость в его душу? Анна, возможно, ответила бы ему, но Лёлек, который в это время готовил пойло для лошадей, вдруг повернулся и приложил палец к губам. Вместо того чтобы объяснить, что к чему, он задал Береку встречный вопрос:

— Если ты не знаешь, кто такой Станислав, как же ты, когда в первый раз переступил порог этого дома, назвался его именем?

Вот когда Берек обрадовался. Это же дядя Тадека! Станислав Кневский. Еще во время гражданской войны в Испании он дрался с фашистами. Это он тот самый партизанский командир, который уже сейчас, хотя еще идет война, собирает материал о военных преступлениях. Вот если бы Станислав разрешил Береку хоть на один день покинуть погреб и встретиться с ним. А может быть, одного дня на дорогу будет мало? Но раз Кневский сам сюда не приезжает и его к себе не зовет, значит, еще не время.

— Кневский? — переспросил Берек у Анны.

— Он самый, — подтвердила она.

## СНОВА У ДЕДА МАЦЕЯ

Гора с горой не сходится, а человек с человеком, если они, конечно, живы, встречаются. Берек и Станислав Кневский встретились восемь месяцев спустя, после освобождения Люблина, ставшего временной столицей Польши. Станислав рассказал Береку о своем племяннике. Тадек погиб.

Случилось это вот при каких обстоятельствах.

За невыполнение приказа о поставке скота для немецкой армии солтыс Гжегож Нарушевич взял десять заложников, среди них деда Мацея, и предупредил: если в течение трех дней крестьяне не доставят требуемый скот, заложники будут переданы в гестапо. В ближних лесах партизан не было, но именно в то время там остановился небольшой отряд. Как Тадек его разыскал, осталось загадкой. Поздно вечером он постучал в окно к Нарушевичу и попросил впустить его: он, мол, боится оставаться в пустом доме деда Мацея. Один из полицаев — прихвостней Нарушевича — пытался прогнать его. Но Тадек продолжал стучать в дверь до тех пор, пока солтыс не распорядился открыть. Нарушевича партизаны взяли живым, но он успел выстрелить в Тадека. Заложников освободили, и они ушли к партизанам. Дед Мацей скрывался в лесу, пока Красная Армия не освободила село. Кневский разезжает по разрушенным городам и селам. На основании фактов, свидетельских показаний, расследований составляют документы об ущербе, причиненном врагом стране, народу. Разыскивают культурные ценности — картины, редкие книги, музейные экспонаты, которые удалось спрятать и сохранить от разграбления гитлеровскими оккупантами.

Берека тянет в родное местечко, в охотничий домик в лесу, в избу деда Мацея, где они с Риной скрывались. Кневский пообещал взять его с собой; ему тоже хочется побывать в тех краях. Выехали они на машине задолго до восхода солнца. День обещал быть знойным, но до места добрались рано, до наступления жары.

К кому приехал сюда Берек и зачем? Разыскать в исчезнувшем мире свое прошлое, утолить ноющую боль? Но можешь ходить здесь сколько угодно, все равно никого, никого из тех, кто тебе нужен, не встретишь. Птичьи гнезда на пожарной каланче показались Береку старыми знакомыми. Но нет, это не те гнезда и не те ласточки. Заросли чертополохом тропинки, по которым он бегал босиком. Вот базар и дом, где он родился и вырос. У этой пыльной завалинки он часто играл. У этого окошка любил подставлять зеркальце лучам солнца, чтобы по потолку, по стенам, по мебели скакали солнечные зайчики. Теперь отцовский дом глядит на него выжженными глазницами. С тех пор как Берек себя помнит, у колодца стояла почти высохшая, старая, согнутая верба. Но как раз этому дереву война, видно, не повредила. И колодец как стоял, так и стоит. Берек нагибается пониже к воде и кричит: «Гу-гу!», и, как прежде, из глубины доносится гулкое эхо: «Гу-гу!», но отголоски из колодца негромки и быстро замирают.

— Детство зовешь? — Станислав по-отцовски кладет руку на плечи Берека.

Местечка уже не докличешься. Теперь это пустырь с глухими зарослями лопухов, крапивы и репейника. Можно только взять нож, хранящийся у него от повстанцев, и на завалившемся бревне вырезать слова: «Здесь жила Рина». Детство прошло, осталась открытая рана, острая, ноющая боль. Шофер довез их до леса. Договорились, что завтра утром он заедет за ними в деревню к деду Мацею. Берек повел Кневского узкой дорогой, которая давно уже не слышала скрипа колес, затем тропой, а после — по нехоженным травам в глубь леса. Тогда, в те страшные дни, он искал для себя убежище как можно дальше, в глухом и недоступном месте. Теперь ему кажется, что он узнает тут каждое дерево. Кневский тоже хорошо знает этот лес, как и всю округу. Недалеко отсюда городок, где до войны он преподавал в гимназии немецкий язык. Станислав часто останавливается, вслушиваясь в голоса леса. Времена теперь другие, но нет-нет да и наткнешься на кого-нибудь, по ком давно уже плачет тюрьма. И он не отпускает Берека от себя.

Вот оно — высохшее болото, заросшее ольхой и лозой, и горка, откуда Берек разглядел охотничий домик. Теперь домик этот уже не напоминает скирду сена. Нет крыши. Часть стены обвалилась. Дверь висит на одной проржавевшей петле. На отшлифованных дождем и ветром досках оспенные следы пуль. После того как они с Риной ушли отсюда, здесь кто-то жил. Не исключено, что этого человека выследили и убили. Зимой, когда завоет ветер, засвистит вьюга, все вокруг покроеет снегом и скует льдом, домик этот покажется закутанным в белый саван.

Берек стоит на том самом месте, где он встретил Рину. Перед его глазами ее горестно надломленные брови, распухшие губы, скрюченные пальцы. Спазмы сжимают горло. Плечи трясутся от беззвучных рыданий.

Кневский, должно быть, понял, какие чувства обуревают Берека, притянул его к себе и тихо промолвил:

— Пошли, друг.

Они вышли на опушку леса. По-прежнему растут подсолнухи, поодаль пасется стадо коров. Но пастух — другой, и подпаска рядом с ним не видно.

— Джень добжий!

— Джень добжий, панове!

Кневский спрашивается у пастуха, знает ли он деда Мацея. Конечно, знает.

— Он в селе?

— А где ж ему быть?

Пастух долго смотрит вслед незнакомым людям. Кто они? По-видимому, городские. Дед Мацей мыкается на старости лет один-одинешенек. На прошлой неделе пастух встретил его у кладбища. Все не может дед забыть свою Ядвигу. На том же кладбище похоронен и Тадек. Был он деду Мацею за внука, от смерти его спас. На кладбище завернули и эти городские и, видать, приходят сюда не в первый раз: знают, где находится могила Ядвиги.

День уже клонился к закату. Кневский и Берек напились у деревенского колодца, освежили лица холодной водой и направились к хате деда Мацея.

Старик сидит на завалинке, сгорбленный, с беспомощно повисшими натруженными руками. Из каждой морщинки проглядывает старость. Что надо этим приезжим, которые поздоровались с ним? Наверное, тоже попросят рассказать о солтысе. Почему именно его Гжегож Нарушевич взял одним

из десяти заложников... Приезжие просят разрешения войти в дом.

Он ковыляет впереди них, опираясь на палку. Петух в ярко-золотом оперении уступает ему дорогу. Старик обходит старое решето, давно оставленное наседкой и ее семейством. Выцветшие серые глаза из-под нависших бровей почти ничего не видят. Теперь ему приходится передвигаться с помощью палки. Гости вроде о чем-то спрашивают, но его уши давно уже никуда не годятся. Он слышит только, когда ему громко кричат или если заранее знает, что ему скажут. Их, кажется, интересует его здоровье? А может, что-нибудь другое. Надо ответить так, чтобы годилось на все случаи. И, напряженно вглядываясь в лица, стараясь по губам увидеть то, что не может расслышать, он произносит уже привычные слова:

— В моем возрасте что поделаешь?

Кневский догадался, что Мацей туг на ухо, и старается говорить как можно громче:

— Зато вы много хорошего людям сделали.

— Я? — искренне удивляется старик. — Э, нет! Люди воевали, шли на смерть, а я в это время, как всегда, пас скот.

Берек засмотрелся на фотографию, висящую на стене, — раньше он ее здесь не видел. Молодой военный с эполетами на плечах как две капли воды похож на деда Мацея. Кто это? Сын, наверное.

— Спасая от смерти еврейских детей, вы ведь тоже рисковали жизнью, — говорит Станислав.

— Никого я не спасал. Не знаю, кто это вам сказал, но если вы что-то и слышали, то скажу, что это все — Ядвига. Не доведись ей раньше времени умереть, возможно, и дети были бы живы. — И дед Мацей, поощренный вниманием гостей, не удержался, чтобы не поведать им о горестной судьбе скрывавшихся у него беглецов.

Старик рассказывает, и Берек ловит каждое слово, будто обо всем этом слышит впервые.

— И в том, что Тадек погиб, — заканчивает Мацей, — я, должно быть, тоже виноват. Надо было научить его сдерживать свою ненависть к Нарушевичу.

— Дед Мацей, — Берек схватил старика за руки, — вы не должны так говорить. Неужели вы меня не узнаете? Я пришел к вам с дядей Тадека, Станиславом Кневским. Вы ведь о нем слышали.

Пораженный дед Мацей моргает полуслепыми глазами. Уже поздний вечер, а рассказам о пережитом нет конца.

— Одного не понимаю, — говорит дед Мацей Кневскому. — Как вы могли отпустить Тадека к Гжегожу, почему не взяли его с собой?

Станислав встает с места и закуривает.

— Возможно, вы и правы. Родители Тадека решили, что именно у этого негодяя мальчику удастся переждать тяжелое время. То, что Тадек не пойдет его дорогой, всем было ясно.

Дед Мацей долго что-то ищет в буфете и ставит на стол шкатулку и табакерку из тех, что когда-то изготавливали он сам, Тадек и Берек. Это подарок Кневскому. Он ставит также бутылку самогона и скромную закуску. Это все, что есть у него в доме. Берек выпил полстопки, голова у него закружилась. Дед Мацей улыбнулся:

— Ты пьешь, как пьют горячий чай, а не водку. Сейчас я тебе постелю. Раздевайся и ложись спать.

Берек почувствовал приятную усталость. Глаза слипались. И уже в полусне он услышал разговор.

— Берек наверняка захочет учиться, — сказал дед Мацей.

— Безусловно. Но сначала надо покончить с войной.

— Долго ждать, покуда всем бедам придет конец. Дерево гнется, пока оно молодо. У кого он жить будет?

— Пока со мной. Будет работать и учиться. А потом, если захочет, поступит в университет.

— В какой, в Люблинский или Варшавский?

— Не знаю. Может случиться, что мне придется работать в Германии. Тогда Берек, возможно, будет учиться в Берлине.

Деду Мацею показалось, что он недослышал:

— Где?!

Станислав повторил.

— Что ж это вы, пан Станислав, вздумали надо мной смеяться? Берек в Берлине? На кого же вы думаете его учить? На доктора?

— Голова у него светлая. Если захочет, станет доктором.

— Что правда, то правда. С вами ему будет хорошо. Ну, уже поздно. Пан Станислав, пора и вам отдохнуть.

Береку показалось, что дед Мацей прилег рядом с ним и обнял его.

Рано утром, как только появились первые солнечные лучи, к дому подошла машина. Отъезжала она не спеша, и они еще долго видели деда Мацея у ворот.

По обеим сторонам дороги широко раскинулись поля волнующейся спелой пшеницы.

## **Часть вторая**

### **СУД ПОСЛЕ ПРИГОВОРА**

## **Глава шестая**

### **СЧЕТ И РАСПЛАТА**

#### **ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ ПЕЧЕРСКОМУ**

«Дорогой Александр!

Я очень благодарен тебе за письмо и особенно за то, что ты выполнил мою просьбу и прислал свою фотографию. За эти годы я сильно изменился, ты же, как мне кажется, остался, каким был. Жена говорит, что, по моим рассказам, она тебя таким и представляла. Теперь ты уже знаешь, что я женат. У нас две славные дочки. Старшей скоро шестнадцать, младшей исполнилось одиннадцать. Работаю таксистом. Живем неплохо.

Итак, тебе хочется знать, что со мной произошло после Собибора и как я нашел Бауэра...

Стоит только написать слова «Собибор», «Бауэр», как меня пронизывает острая боль. Кто-кто, но ты, я знаю, меня понимаешь.

Приступлю к рассказу: примерно год тому назад я со своими знакомыми сидел в ресторане. И хотя давно знаю, что после любой попытки отвести душу остается лишь горький осадок, я почему-то дал волю словам и заговорил о Собиборе. Вдруг я увидел, что сидящие за столом смотрят на меня так, словно я рассказываю небылицы, и никому, понимаешь, никому не хочется верить, что такое могло происходить на самом деле.

Я умолк и через некоторое время, когда мы уже были на улице, сказал одному из знакомых:

— Генри, думаешь, то, что я рассказал, не больше как дурной сон? Ты улыбаешься?

Он мне ответил:

Хочешь, Сэм, я раздобуду тебе адрес врача, который лечит гипнозом такую хворь. Это обходится недешево, но, говорят, дело свое он знает.

Теперь настал мой черед улыбаться.

За несколько дней до того, как ехать в Хаген на судебный процесс по делу палачей Собибора, среди ночи я вдруг проснулся оттого, что кричал не своим голосом, и наутро все-таки направился на прием к врачу, изгоняющему дурные сны при помощи гипноза.

Врач начал с того, что предупредил меня: потребуется не менее десяти — двенадцати сеансов и результат будет положительным лишь в том случае, если я буду строго выполнять все его предписания.

— Согласны? — спросил он.

Конечно, согласен. Что мне еще остается делать? После этого он забросал меня вопросами, и, как мне показалось, мои ответы его удовлетворили. Вдруг он прервал себя на полуслове (в это время он втолковывал мне, как важно подольше бывать на свежем воздухе) и спросил:

— Что же, собственно говоря, снится вам много лет подряд? Не зря ведь говорят, каждый сооружает себе лестницу в зависимости от того, как высоко он вознесся во сне. Что вы думаете об этом?

Остроту насчет лестницы я, по правде сказать, не совсем понял и ответил ему без обиняков:

— Я ведь, доктор, говорил вам: Со-би-бор! Так назывался лагерь смерти, куда я угодил еще мальчишкой.

Ты бы посмотрел, как он возмутился, услышав мой ответ. Почему же я не сказал ему, что был в руках у фашистов, сразу, едва переступил порог кабинета? Нечего было зря тратить на меня время и брать плату за визит.

— Я медик, ме-дик, а не шарлатан, — внушает он мне, — я берусь лечить только тех, кому можно помочь, а вы...

Что мне оставалось? Я с ним рассчитался. За то, что он сказал правду, я ему хорошо заплатил.

— Гуд бай, доктор, — говорю, — прошу прощения.

— Гуд бай, гуд бай, могу дать вам только один совет. О лагере постарайтесь забыть. Избегайте всего, что может навести вас на мысль о том времени и о тех событиях. Вы должны были так настроиться давно, как только кончилась война. Неужели вы этого сами не понимаете?

— Понимаю.

— Вот и надо было выкинуть все из головы.

— Это выше моих сил, доктор.

— И все же вам бы следовало как можно меньше думать о трагедии минувших лет.

— Пробовал. Сперва думал, что это мне удастся после того, как я найду и помогу задержать хотя бы одного убийцу из Собибора.

— А-а! Так вот что вы себе вбили в голову! И с этой фантазией носитесь по сей день? Вы должны понять, что самовнушение тоже своего рода болезнь.

— Почему самовнушение? Я его разыскал и задержал.

— Кого вы задержали?

— Обергазмейстера из Собибора — Эриха Бауэра.

— Во сне?

— Нет, доктор, наяву.

— Даже так? Интересно. И долго вы его искали?

— Почти четыре года.

— Вы его задушили, пристрелили?

— Я передал его в руки полиции.

— Но теперь вам следует забыть о нем. Жив он или нет, все равно встречаться с ним вам больше не придется. Это несомненно.

— Не говорите. В ближайшее время нам обоим предстоит выступить в качестве свидетелей на одном судебном процессе. Извините, доктор, я отнимаю у вас время, а в передней ждут пациенты.

— А вы? Вы ведь тоже мой пациент. Этот обергазмейстер, не запомнил его имени, сейчас на свободе?

— Нет. Бауэр в тюрьме. Сперва его приговорили к смерти, но потом...

— Теперь только я начинаю кое-что понимать. Бауэра, конечно, власти запросто могут принудить выступить в качестве свидетеля. Но вас? Вы ведь свободный гражданин. Каждый мало-мальски разумный человек подтвердит, что ехать на процесс вам нельзя. Если вы не сойдете с ума, то заболете, получите инфаркт. До вас доходит серьезность моих слов?

— А как же!

— Если вы будете выполнять мои предписания, я попытаюсь вам помочь. Я имею в виду ваши нервы. Но при одном условии: на процесс вы не поедете, ни строчки о нем читать не будете, даже слушать о нем откажетесь.

— Спасибо, доктор, только я непременно поеду. Я должен предъявить счет и добиться расплаты. Вот тебе, дорогой Александр, слово в слово мой разговор с врачом, а заодно и кое-что о Бауэре. Подробнее о том, как я его обнаружил, я тебе еще расскажу. Об этом много писали в газетах. Шутка ли, такая сенсация! Посылаю выдержку из книги «По следам убийц», вышедшей в Польше. Все, быть может, происходило не совсем так, как в ней изложено, но все-таки там больше правды, чем в других публикациях.

После восстания мне действительно повезло. Пуля меня миновала, на мину я не наскочил и не попал, как это случилось со многими узниками, оказавшимися по ту сторону колючей проволоки, снова в руки к фашистам. Меня и одну девушку, бежавшую из Собибора, спас польский крестьянин. Мы скрывались у него целых девять месяцев. Все эти долгие месяцы, до встречи с советскими солдатами, он и его семья ежеминутно рисковали жизнью. Такое не забывается.

Больной, исхудавший, оборванный, я отправился в местечко, где родился и рос. Повсюду только угольно-черные печные трубы, куда ни повернешься — зола. Из всей нашей многочисленной семьи не осталось в живых никого. Я потерял всех. Какое-то время слонялся один-одинешенек. Когда окончилась война, решил направиться в сторону Собибора, но по дороге передумал и сказал самому себе: покуда еще свежи следы и ты молод, соберись с силами, Самуил, и разыщи фашистских убийц, где бы они ни укрывались. Я понимал, что выбираю нелегкий путь, но это меня не остановило. Я отправился в осиное гнездо, где тысячи эсэсовцев уже успели заручиться выданными им западными оккупационными властями документами, отпускающими все грехи. Больше всего на свете мне хотелось разыскать кого-нибудь из бывших хозяев «небесной дороги», и вышло так, будто сам господь бог услышал мою мольбу. Но об этом — в другой раз.

В Америку я приехал в 1950 году. Нас, бывших собиборовцев, здесь несколько человек, и мы часто

встречаемся. Вскоре вышлю тебе хорошую фотографию, а пока посылаю давнишнюю, маленькую.

Будь здоров. Сердечный привет жене и детям.

С большим уважением и любовью

Бруклин

20 августа 1965 г.»

### ОДНАЖДЫ ВЕСНОЮ 1949 ГОДА

Весна. Стоило солнцу выглянуть из-за плывущих облаков, как все вокруг засияло, хоть глаза зажмурь. В сквере на недавно выкрашенной скамье сидит молодая парочка. Чисто выметенные дорожки с ровными шеренгами стриженных деревьев радуют глаз. Парень положил руку на плечо девушки.

— Фейгеле, — говорит он, — посмотри-ка на эти деревья. Мне они напоминают свечи у изголовья. Казалось, что такого он сказал? Но она сразу отстранилась от него. В ее взгляде из-под опущенных ресниц он увидел скрытый упрек, и ответила она ему чуть ли не сердито:

— Опять двадцать пять? Ты ведь, Берек, дал слово, что сегодня не будешь напоминать мне о таких вещах. Хоть на день забудь. Пора жить головой, сердце заведет черт знает куда... Честное слово, мы сами не хотим замечать, как много радости и счастья вокруг, не ценим этого, проходим мимо.

— Ты права, но что я могу с собою поделывать? Хочешь, почитаю тебе газету? Правда, она старая.

— Может, просто так посидим, молча?

— Тоже мне кавалер! Он, видите ли, будет сидеть и молчать. Ладно уж, почитай что-нибудь. Только, чур, чтобы там и намека не было на войну и на Собибор... Ты слышишь, что тебе говорят?

— Слышу, а ты, пожалуйста, закрой глаза. Читаю: в одном недорогом берлинском отеле в соседних номерах живут двое, парень и девушка. Волосы у девушки гладко причесаны, из-под длинных ресниц глядят янтарного цвета глаза, и вообще она до того хороша, что, как говорила моя мама, хоть молись на нее.

— Так-таки и написано?

— Так. Только про маму — это я от себя добавил. Там еще сказано, что такая красота не часто встречается.

— Ты уверен?

— А я откуда знаю? Должно быть, так и есть. Но если ты не согласна, все претензии адресуй в газету. Может быть, тебе не понравится, как здесь пишут о ее звонком голосе и о том, что она прожила свое детство и юность далеко не так, как положено детям?

Фейгеле порывисто встала, будто собираясь уходить. Потом снова села и отняла у него газету.

— Теперь я буду читать, а ты у меня будешь сидеть с закрытыми глазами. Но сперва покажи, на чем ты остановился. Здесь, говоришь? Так вот, послушай, что здесь напечатано: «21 марта 1949 года. Вчера, в семь часов тридцать семь минут по Гринвичу, в Северное полушарие пришла весна. В Берлине она наступила...»

— И зачем, Фейгеле, ты мне все это читаешь? О том, что Земля вертится и мы с ней вместе, — все знают. Так я говорю? Дальше. Какая из себя девушка, мы уже слышали. А парень? Что там о нем сказано?

— О нем говорить еще рано, а писать и подавно.

— Ты ошибаешься.

— У меня, должно быть, что-то со зрением, и я не все вижу. Мои янтарные глаза подслеповаты.

— Твои глаза здесь ни при чем. Шрифт до того мелкий, что без увеличительного стекла ничего не разберешь. Только моим глазам под силу разглядеть мельчайшую точку на любом расстоянии.

— Так уж и разглядишь?

— Если эта точка мне по душе — разгляжу.

У Фейгеле вспыхнуло лицо. Она забарабанила пальцами по скамье, затем вынула из сумочки сигарету с фильтром и закурила. Видно было, что курение не доставляет ей особого удовольствия, но не курить она не может.

— Так, так, — сказала она, — парень ты не промах. Жаль только, Берек, что ты об этом раньше не сказал.

— Раньше или позже, какая разница?

— Еще какая!

— Не понимаю тебя.

— Ты ведь знаешь, что я имею привычку спрашивать и сама себе отвечать... Но на этот раз ты меня опередил и сам ответил, почему ты меня искал целых пять лет. Понравившуюся тебе точку ты бы, конечно, разглядел поскорее, но сокровище вроде меня...

— Фейгеле, не то говоришь. Ты ведь знаешь, что я думал...

— Надо было поменьше думать и побольше искать. А ты понадеялся на чужого дядю.

— Неправда, Кневский для меня не чужой дядя. Если бы не он, мне бы тебя не разыскать.

Фейгеле снова улыбается:

— Не сердись, дорогой. Что уж говорить, тому, кто поведется с таким вздорным существом, как я, не позавидуешь. Стыд и срам. Уж лучше бы ты на меня рассердился, накричал. Наклонись, я тебя поцелую, а там можешь читать дальше.

— Еле дождался. Читаю: он тоже красивый, стройный, рослый. Одним словом, парень что надо. И не только лицом пригож, он еще и приветлив, всегда весел, с ним приятно проводить время. К тому же умен, благовоспитан. Когда он встречается с девушкой, отвечает ей низайший поклон и любезно говорит...

— Умница моя, все ты перепутал. Совсем не то там написано. Эти же строчки прочту теперь я.

Послушай: лоб у него наморщен, взгляд — напряженный. И еще есть изъян по части зрения — все ему видится черным. Иногда, правда, улыбка скользнет по его лицу, но откуда она берется — остается загадкой. Сам он шупленький, низенький, колченогий, заика, и все же иногда кажется, что не лишен некоторой симпатии — чуточку, конечно, самую малость.

— Ответь мне, Фейгеле, на такой вопрос: как при таком зрении ему удалось разглядеть, что у девушки очень миловидное лицо?

— Откуда я могу знать? Быть может, и не разглядел, он ведь враль порядочный. А то бы эта парочка давно уже сидела в Луна-парке. Он ведь как будто обещал?

— Что ж, пошли.

На углу Берек увидел в руках цветочницы корзину бледно-желтых мимоз-недотрог, купил пару веточек и, лукаво улыбаясь, преподнес Фейгеле.

Нарастающий гул можно было услышать уже за несколько кварталов до Луна-парка. Звуки музыки вперемежку с людским гомоном. Сегодня воскресенье, и народа, жаждущего развлечений, тьма-

тьмущая.

В люльках, наподобие детских, люди взлетают в гору. На самой макушке горы они на мгновение застывают, словно повисая в воздухе, и срываются вниз, в пропасть.

Мужчина в белых брюках галифе вскакивает в седло мотоцикла и с треском на бешеной скорости несется по кругу, выписывая вензеля на гладких круглых стенах. Внезапно мотор глохнет, но зря обмирают многочисленные зрительницы: каждый поворот мотоциклист совершает с такой уверенностью, что не слушаться его машина не может.

Фейгеле тянет Берека в павильон кривых зеркал. Вот уж где смеха не оберешься. Берека же из всех увеселительных мест больше всего тянет в тир: надо думать, что те, кто когда-то любили стрелять, не сразу откажутся от этой привычки. Здесь, правда, стреляют в человечков из фанеры или картона, но все же...

На этот раз Береку пришлось уступить. Такой уж сегодня день выдался.

Им было хорошо. Они смеялись, резвились. Вдруг Фейгеле вырвала свою руку из его руки. В ее широко раскрытых глазах — ужас. Поднявшись на цыпочки, она стала оглядываться по сторонам.

Берек тихо спросил:

— Ты что, увидела его и потеряла из виду?

— Да.

— Это Бауэр, не ошибаешься?

— Не знаю. Но мне показалось.

Они оставались в Луна-парке еще несколько часов, но тот, кого искали, им больше на глаза не попадался.

## КАРУСЕЛЬ КРУЖИТСЯ

В следующее воскресенье Фейгеле пришла в Луна-парк с Самуилом Лерером. Проходя мимо карусели, он внезапно остановился. Губы его искривила болезненная гримаса. Он как бы снова увидел «небесную дорогу», ведущую к газовым камерам. Самуил схватил Фейгеле за руку и сжал ее с такой силой, что девушка вскрикнула от боли.

— Вот он, — шепнул Самуил возбужденно, — обергазмейстер Эрих Бауэр. Беги за полицией. Я задержу его.

Кружится карусель, огороженная крашеным штакетником, а вокруг, как в улье, не унимается гул. У будочки, где у открытого окошка кассирша продает билеты на следующий сеанс, выстроилась длинная очередь детей и взрослых.

Работая локтями, Самуил проложил себе дорогу и встал рядом с турникетом; сперва всех выпустят без толкотни, по одному, а затем, так же по одному, чтобы ненароком не пробрался безбилетник, впустят новую партию любителей карусели.

Какая неподдельная радость на лицах у тех, кто сидит верхом на разрисованных лошадках! О малышах и говорить не приходится. Что же касается взрослых, то обремененных заботами и нуждой здесь вряд ли встретишь.

Среди седоков, проносящихся на карусели, обращает на себя внимание мужчина крепкого сложения, широкоплечий, прищпоривший коня с таким видом, будто под ним не деревянный, а настоящий, живой.

Самуил не спускает глаз с этого человека. Ему кажется, стоит перемахнуть через забор — и он

вцепится в Бауэра, стащит его на асфальт и станет душить, душить... Но такое он может позволить себе только в мыслях. Жажду мщения придется укротить. Без особой необходимости он Бауэра и пальцем не тронет. Так он обещал Станиславу Кневскому. Каких бы трудов это ни стоило, он, разумеется, слово сдержит.

Когда подошло время, автоматический выключатель сработал и карусель замедлила ход. Уже можно рассмотреть вытянутые губы Бауэра. В Собиборе он носил до блеска начищенные сапоги; сейчас на нем лакированные туфли. Там он ходил с железным прутком в руках, теперь держит иллюстрированный журнал.

Лучше бы колесо продолжало кружиться как можно дольше. Один на один в поле или в лесу Самуил справился бы с Бауэром скорее, но здесь, среди густой толпы, это будет нелегко. Все равно из своих рук он его не выпустит. Его надо задержать до тех пор, пока не явится полиция. Для этого надо самому быть как можно более спокойным. Совершенно спокойным.

Бауэр уже стоит на асфальте. К выходу спешить ему незачем. Пока турникет всех выпустит, пройдет минуты две. Бауэр делает несколько шагов в сторону, и Самуил видит его отражение в цветной дверце какого-то шкафчика на подставке. Что может храниться в таком красивом шкафчике? Пожарный кран, аптечка или что-нибудь другое? Об этом сейчас не время думать. Хорошо, если бы Бауэр задержался по ту сторону турникета подольше или хотя бы вышел последним. Но нет, турникет он уже миновал.

— Господин Бауэр, одну минутку, мне нужно с вами поговорить, — обращается к нему Лерер.

— Со мной? Вы ошиблись. Мы с вами незнакомы.

— Нет, я не ошибся. Мы с вами знакомы. Давайте отойдем в сторонку.

— Зачем? Вы наверняка меня с кем-то спутали. Но это неважно. Бывает. К сожалению, я спешу. Меня ждут.

— Подождут. У меня к вам более важное дело.

— Что вам от меня надо? — Глаза у Бауэра налились бешенством. — Я вас не знаю и знать не хочу.

— Мало ли что. Было время, когда и я не хотел вас знать, но кто с этим считался? Ладно, ладно, не смотрите на меня так. Вы бывший обергазмейстер из Собибора, эсэсовец Эрих Бауэр.

— Я никогда не состоял в СС! Из Собибора? Что это такое — Со-би-бор? Вы что, ненормальный? Бауэр взял себя в руки и говорил теперь спокойно, сдержанно и неторопливо.

— Что такое Собибор, вы отлично знаете. Но если хотите, я напомню: Собибор — бывший фашистский лагерь смерти на севере Польши. Какая же это была для вас золотая пора, когда вы носили свастику, и как быстро вы обо всем забыли!

Бауэр замахнулся, но Самуил перехватил его руку, попытался вывернуть ее за спину, но это ему не удалось. Бауэр вырвался, однако убежать не успел. Немецкий полицейский и два американских солдата в белых касках с черными буквами «МП» — военная полиция — задержали его.

Вокруг Бауэра и Лерера собиралась толпа. Тучный мужчина науськивал Бауэра:

— Дай ему в зубы и иди своей дорогой!

Теперь этот человек тяжело качнулся и обратился к полицейскому:

— Какой-то тип посреди бела дня пристал к порядочному человеку, а вы, не разобравшись, что к чему, задерживаете не того, кого следует. Это преступление против закона!

Другой — на вид совершенно немощный, скособоченный старик — поддержал его неожиданно

зычным голосом:

— Я тут стою с самого начала спора и заверяю вас, что этот человек, — указал он на Бауэра, — воплощенное благонравие. Это же, господин полицейский, у него на лице написано. Я психолог и в таких делах разбираюсь. А этот, — ткнул он в Лерера, — если не сумасшедший, то определенно бандит. Скорее всего, и то и другое. Не иначе, хотел ограбить человека. Вы видели, как он стал заламывать ему руки назад? Он...

— Хватит! — прервал его полицейский и обратился к Бауэру: — У вас при себе какие-нибудь документы имеются?

— Конечно. Мне документы выдала американская комендатура. Пожалуйста, читайте!

Тучный субъект радостно всплеснул руками:

— Вот видите, кто прав?

Рядом с Фейгеле стояла женщина. Длинные белокурые волосы, отливавшие золотом, ниспадали на плечи. За руки она держала девочку лет шести и мальчика лет трех. Повернувшись к Фейгеле, она негромко сказала:

— С немецким полицейским говорить нечего. Он здесь не хозяин. Но если вы знаете английский, то объясните солдатам...

— Что, по-вашему, я должна им объяснить?

— Я хочу сказать, мало ли что кому померещится. Может, этот человек в самом деле ни в чем не виноват? Так недолго всем нам остаться вдовами, а нашим детям, не дай бог, сиротами. Ведь что получается? Их, мужчин, карают, а в нас, женщин, попадают. Расплачиваться-то приходится нам. Разве не так? Когда один говорит — белое, а другой — черное, надо выслушать, что скажет третий. Как я понимаю, должен быть хотя бы еще один свидетель, который мог бы подтвердить, что это не клевета. И вообще пора перестать ворошить прошлое. Американцы должны знать, что мы, немцы, делали то, что требовал Гитлер. Жить надо сегодняшним днем, и пусть прикажут обоим разойтись по-хорошему.

Говорила женщина искренне и с такой доверчивостью, будто они давно знакомы. Но эти искренние слова прозвучали для Фейгеле дико. Вряд ли есть смысл повышать голос. Разве только напомнить случайной собеседнице, что делали с такими малыми детьми, как у нее, она ведь мать. Хотя она, должно быть, и так наслышана.

— С этими двумя эсэсовскими защитниками и спорить неохота, — сказала Фейгеле в ответ женщине, — но вам я могу сказать, что никакого недоразумения здесь нет. Этот человек, о котором здесь говорят, что он порядочный и благочестивый, и который прикидывается божьим агнцем, в Польше задушил газом сотни тысяч людей, в том числе отца и мать молодого человека, который задержал его, его сестру и ее такую же маленькую, как у вас, дочку. По-английски я говорить не умею, но вот этот солдат, со шрамом на щеке, понимает и немного говорит по-немецки, и вы, если не передумали, можете сами к нему обратиться.

Женщина ничего не ответила. Она потянула детей за руки, и они направились к карусели. Фейгеле подошла к солдату со шрамом и спросила:

— Чего мы так долго ждем?

— Успокойтесь, мисс, сегодня воскресенье. И уж если мы удостоились чести быть в одной компании с такой красавицей, как вы, зачем спешить? Берите, мисс, пример с вашего кавалера. Он свое дело

сделал и знает, что из наших рук никто не увернется. Правда, и немец ведет себя так, будто ему опасаться нечего, но я уже привык к тому, что только маленькие дети и большие дураки говорят правду.

— На комплименты вы, оказывается, мастер, но я спрашиваю всерьез. От этого шума, от музыки можно оглохнуть. А адвокаты Бауэра... Вы только посмотрите, их становится все больше и больше.

— Сейчас подойдет наш «джип», и мы отвезем задержанного, а там уж им займутся следователи. Я лично вам верю больше, чем бумажке, которую кто-то из наших ему выдал. Но, как видите, я только простой американский солдат.

Бауэр стоял с таким видом, будто его все это не касается. Но, когда ему приказали идти, он заупрямился:

— Никуда я сейчас не пойду. Меня ждут. Если вы имеете право, возьмите мой документ, а завтра я сам явлюсь, куда скажете.

Немецкий полицейский ответил лаконично:

— Исключено!

Бауэр заносчиво вскинул голову и высокомерным тоном заявил:

— Я требую, чтобы вы сейчас же меня отпустили.

И снова услышал в ответ:

— Исключено!

Видимо, Бауэр не совсем потерял надежду выпутаться из этой истории и позволил себе пригрозить американским солдатам:

— Смотрите, как бы вы потом не пожалели. Вы вынуждаете меня обратиться с жалобой к вашему главному коменданту.

Это возмутило солдата со шрамом. Он побагровел. Двумя руками резко повернул Бауэра направо, потом налево, после чего рванул его на себя.

— А ну-ка, шагом марш! А парень, что тебя задержал, пойдет рядом. Нравится тебе такая компания? Если не нравится, то у тебя есть выход. Попроси, чтобы тебя переправили в Польшу. Поляки, думаю, тебя хорошо запомнили и будут рады такому «желанному» гостю.

Немецкому полицейскому он приказал:

— Освободи нам дорогу!

Так они шли до ворот берлинского Луна-парка, а оттуда на машине доехали до полицейского участка.

Самуилу не терпелось скорее позвонить майору Кневскому и сообщить ему о случившемся, но он решил не отходить от Бауэра до тех пор, пока тот не окажется за решеткой. Начальник полицейского участка заверил, что надлежащее распоряжение относительно Бауэра будет немедленно отдано, но при этом позволил себе пошутить. С ухмылкой он спросил американского солдата:

— Вы никогда не были охотником или рыбаком? — И, услышав отрицательный ответ, продолжал: — Даже с опытными охотниками случается, что гонятся они за волком, а, оказывается, вспугнули зайца. Любой рыбак знает, что в сеть попадает всякая рыбешка — большая, средняя, маленькая и совсем мелочь, которую можно, не раздумывая, бросить обратно в реку.

— А мне думается, — ответил ему солдат, — что если это не акула, то во всяком случае и не рыбешка. Но даже такую «мелочь», как вы говорите, обратно в воду бросать не следует. Из нее со

временем могут вырасти довольно крупные хищники.

— Возможно, возможно... — нехотя согласился тот.

Свое обещание начальник полиции сдержал. Бауэра заперли в камере с зарешеченным окном.

Оставив позади полицейский участок, Самуил и Фейгеле кинулись искать телефон-автомат. Когда в автоматах нет нужды, они попадаются на каждом углу, а тут... Наконец подвернулся автомат, и Лерер стал торопливо крутить телефонный диск. В квартире представителя польской миссии по делам военных преступников долго не снимали трубку, и, когда наконец кто-то подошел к телефону, Лерер, не поздоровавшись, выпалил:

— Бауэр у нас в руках!

— Кто-кто?

— Эрих Бауэр.

— Обергазмейстер из Собибора?

— Да, пан майор.

Трубку снял Берек, который пришел к Станиславу в гости. Если бы Лерер знал, что с ним разговаривает не Кневский, а кто-то другой, он был бы сконфужен. Правда, ничего страшного здесь нет. Было бы только сообщение достоверным. Тем временем трубку взял Кневский:

— Что случилось? Кто говорит?

— Вы меня не узнаете? Это я, Лерер. Мы поймали Бауэра.

— Успокойтесь, Самуил. Я даже сперва вашего голоса не узнал. Когда и где это произошло?

— Два часа назад. В Луна-парке. На карусели. Он катался на лошадке... — выпалил Самуил на одном дыхании.

— Он сопротивлялся?

— Не очень.

— С вами Фейгеле?

— Да.

— Вы уверены, что это Бауэр?

— Абсолютно. Поверьте, ошибка исключена. Это настолько точно, что вы можете хоть сейчас сообщить в Варшаву.

— Конечно, могу. Но лучше подождем. Где он сейчас находится?

— Под охраной в полиции. Если вы желаете туда поехать, адрес такой...

— Нет. Там нам делать нечего. Сперва надо встретиться и услышать от вас все подробно. Плохо, что сегодня воскресенье.

— Почему? Если бы не воскресенье, мы бы его не поймали...

— Тоже верно. Но американцы такими делами в день отдыха заниматься не станут. Над ними не каплет. И все же им придется поспешить. Среди них есть один человек, который к таким делам равнодушен. Большой властью он не обладает, но для начальника полицейского участка ее вполне хватит. Сейчас мы ему позвоним. Итак, я вас жду.

#### ТРЕТЬЕГО СВИДЕТЕЛЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Своим спокойствием и сдержанностью представитель польской миссии Кневский производил впечатление человека, которого никогда и ничем не удивить. Фейгеле, например, после первой встречи с ним заметила:

— Мужик он, видать, головастый, только уж больно строг и невозмутим.

Вскоре, однако, она свое мнение о Кневском изменила и утверждала, что майор человек веселый, жизнерадостный а иногда даже чересчур горячий.

На следующий день Кневский обратился в американскую администрацию с требованием, чтобы суд над военным преступником Эрихом Бауэром состоялся там, где он совершил свои преступления, — в Польше. По существу ему не возразили, но обратили его внимание на одну незначительную деталь, являющуюся препятствием: отсутствие доказательств. На начавшемся предварительном следствии Бауэр отрицал, что он когда-либо служил в СС и бывал в Польше. Он утверждал, что до вчерашнего дня о Собиборе вообще слыхом не слыхивал, назвал свидетелей, которые могут подтвердить его местонахождение в 1942 и 1943 годы. И вообще держался он так, будто произошло недоразумение и вскоре все прояснится.

Кневский понял, что, судя по всему, в адвокатах для Бауэра недостатка не будет. Уже сейчас пытаются его амнистировать. Чиновник американской военной полиции говорил:

— Бауэр признает, что о концентрационных лагерях что-то слышал, но где и при каких обстоятельствах — сказать не может. Когда следователь напомнил ему, что речь идет о специальном лагере смерти, в котором он, Эрих Бауэр, в течение восемнадцати месяцев день за днем умерщвлял газом тысячи людей, он с удивлением пожал плечами и спросил: неужели такие лагеря существовали на самом деле? Такого он себе представить не может. Ему становится дурно даже при виде капли крови.

Что еще можно сообщить господину майору? Разве только то, что Бауэр просил не извещать жену об его аресте. Он нередко отлучается на несколько дней, так что и на этот раз она наверняка не станет тревожиться. Он сам, если ему позволят, напишет жене и подготовит ее к печальному известию. Еще он просит, если можно, принести ему альбом для рисования, несколько карандашей, линейку, резинку. Это пока все, что можно сообщить господину майору.

«Господина майора» эти сведения не удовлетворили. Он пообещал в течение ближайших дней представить доказательства, а также свидетелей, которые подтвердят, что задержанный и есть тот самый Бауэр, и потребовал, чтобы ему разрешили два-три раза присутствовать на допросе. Хотя, возможно, и одного раза будет достаточно.

Так и договорились.

Допрос начался в десять часов утра. Вел его комиссар немецкой уголовной полиции Иоганн Штифтер в присутствии высокопоставленного офицера американской военной полиции Арчибальда Флетчера, представителя отдела экстрадиции при главном штабе американских войск Юджина Фушера и представителя польской миссии Станислава Кневского.

Прошел час, другой, третий. Пепельницы уже до краев наполнились окурками, но попытки разоблачить Бауэра пока безуспешны.

Ему показывают фотографии нацистских бонз. Он их тут же называет, так как, по его словам, их знает каждый немец, даже тот, кто не читает газет, видел их сотни раз в кино.

Когда его спросили, сколько раз ему приходилось беседовать с Гиммлером, у него от смеха затрясся кадык. Содрогался от смеха даже черный галстук-бабочка.

— Вы всерьез полагаете, — спросил он, жестикулируя, — что такие, как я, имели доступ к Гиммлеру? К тому же...

Следователь не дал ему договорить:

— Вопросы задаю я, а вы извольте на них отвечать. На этот раз, как исключение, отвечу вам: мы не только полагаем, но нам доподлинно известно, что 13 марта 1943 года вы стояли рядом с рейхсфюрером Генрихом Гиммлером. Вы отдали ему рапорт. Гиммлер вас похвалил, наградил орденом, повысил в звании.

Бауэр и бровью не повел.

Ему показывают еще несколько фотографий. На них, если верить Бауэру, он никого не узнает. Тогда его просят внимательно всмотреться в одну из них. Вдоль высокого забора шагает эсэсовец. Идет он чуть согнувшись. Правая рука, в которой он держит хлыст, отведена назад. На нем белый китель и такая же фуражка.

Проходит минута, две, три...

Следователь прерывает затянувшуюся паузу:

— Неужели вы не узнали своего непосредственного шефа оберштурмфюрера Штангля, назначенного в 1942 году комендантом лагеря смерти Собибора? Нам известно, что ваша совместная работа началась еще до этого. Франц Пауль Штангль! Неужели не помните? Нет? Тогда я вам напомним кое-что из его биографии: родился в Австрии, совсем молодым поступил на службу в полицию. Многих из своих бывших сотрудников, в том числе самых близких друзей, упрятал в тюрьму, в концлагеря. Перед войной гитлеровская администрация в Вене поручила ему составление протоколов, свидетельствующих о естественной смерти антифашистов, замученных в гестапо. Занимал несколько постов сразу. Возглавлял группу по обеспечению существующих и строительству новых концлагерей. Одновременно, а это вам должно быть хорошо известно, состоял главным комендантом лагеря смерти Хартгейм. О его заслугах, а заодно и ваших, в разработке самых «рациональных» методов уничтожения людей при помощи газа «Циклон» вам еще придется рассказать. Напрасно вы все отрицаете. Это вам не поможет. У нас хватит терпения. Фотографию Штангля мы пока отложим в ящик стола и извлечем оттуда рисунок. Можете взять его в руки, только очень осторожно. Художника вы убили. Рисовать вас ему больше не придется. Помните голландского художника Макса ван Дама?

Бауэр не дал вывести себя из равновесия. Лицо его оставалось невозмутимым! Взглянув на портрет, он подтвердил:

— Похож.

— Правильно, — впервые за время следствия согласился Штифтер с Бауэром. — Но мне хотелось бы от вас услышать, на кого похож портрет?

— На меня.

— Так, значит, Бауэр, теперь всей игре конец?

— А это, господин следователь, зависит от вас. Только так не полагается. Это противозаконно. Если только рисунок, а вернее, эскиз не является дешевой фальшивкой, тогда мне ясна причина вашего нелепого заблуждения. Вы, вероятно, со мной согласитесь. Человеку свойственно ошибаться. Это может случиться с каждым, даже с теми, кто служит в уголовной полиции... Здесь ведь не указано, кто, где и когда позировал художнику.

— Чего нет, того нет. Зато есть живой человек, присутствовавший при том, как художник вас рисовал. Этому человеку и удалось сохранить эскиз. Таким образом, и нам и вам известны ответы на

все ваши вопросы: кто? — вы; когда? — весной 1943 года; где? — в Собиборе, в казино. Дом этот сохранился. Окна выходят на железную дорогу, до которой рукой подать. Помещение небольшое, но персонал лагеря в нем недурно развлекался. Приходилось ли вам когда-нибудь позировать художнику Макс ван Даму — мы не знаем, да это для нас не столь уж важно. Я думаю, что вас и еще кое-кого из ваших коллег художник запечатлел не случайно. Макс ван Дам, безусловно, понимал, что из ваших рук ему живым не выбраться, и в этом для него заключалась единственная возможность, находясь на краю гибели, рассчитаться с вами. Вы только подумайте, — повернулся следователь к польскому майору, — как он был прав. Макса ван Дама давно уже нет на свете, а своими рисунками он помогает нам разоблачить убийц и приблизить справедливую расплату. Станиславу Кневскому было известно, что следователя Иоганна Штифтера Штангль в свое время посадил в тюрьму, и смерти он избежал только случайно. Был ли тогда Штифтер антифашистом — неизвестно, но после пяти лет, проведенных в тюрьмах Ганновера и Баудена, он им определенно стал. Кневскому не впервые приходится сотрудничать с Штифтером, и они без слов понимают друг друга...

Когда имеешь дело с такими, как Бауэр, изречение «кто много спрашивает, тому много отвечают» неприменимо, и Штифтер пытается при помощи фактов убедить обвиняемого в том, что его заперательство может повредить в первую очередь ему самому. Все же сегодня Штифтер ведет следствие необычно. Как он сказал только что? «Макса ван Дама давно уже нет на свете, а своими рисунками он помогает нам разоблачить убийц и приблизить справедливую расплату». Далеко не от каждого обвинителя в Западной Германии можно услышать такие слова. Нелегко будет майору Станиславу Кневскому, если Штифтера освободят от должности и на его место посадят кого-нибудь из тех, каких здесь большинство. Если они и не солидарны с бывшими эсэсовцами, то, во всяком случае, готовы их выгородить.

Такой опытный человек, как Кневский, естественно, сразу заметил, что Бауэра наконец приперли к стене. Настал час, когда Бауэр почувствовал, что скамьи подсудимых ему не миновать. Какую лазейку отыщет он на этот раз, что теперь скажет? Бауэр заявил:

— Высокопочтимые господа! Не каждый, на кого следователь указывает пальцем, действительно преступник. Сперва некто — вероятно, психически больной — вздумал меня оговорить, теперь вы хотите при помощи хитроумных ходов обосновать, доказать этот оговор. Возможно, существовал какой-то Бауэр, и звали его, как и меня, Эрихом, но я такого не знал и знать не хочу. Нас, немцев, обвинять теперь проще простого, и все же я верю, нет, я уверен, что все выяснится. Справедливость должна восторжествовать.

Никто не возражает против того, чтобы справедливость восторжествовала. И «высокопочтимые господа» тоже. Между тем Юджин Фушер — здоровяк, с явной склонностью к сытой полноте — на своей визитной карточке написал по-немецки и положил на стол против Штифтера записочку: «Еще несколько минут, и я упаду в обморок от голода и усталости. Неужели не сжалитесь?»

Следователь пододвинул белую картонку к жандармскому офицеру Арчибальду Флетчеру. Тот, даже не успев дочитать ее, утвердительно кивнул головой и взглядом спросил у польского майора: «А вы что скажете?» Улыбка Станислава Кневского должна была означать: «Что же, если вам так хочется, пусть будет по-вашему».

После перерыва состоялась очная ставка Бауэра с Лерером, затянувшаяся на несколько часов. Один

утверждает, другой опровергает. Создавалось впечатление, что речь идет не о том, действительно ли обвиняемый служил в лагере смерти и ежедневно занимался удушением людей, а лишь о том, с какой палкой он ходил. Бауэр твердит, что он, собственно, никогда палку в руках не держал. А насчет того, будто он отнимал у кого-то лекарства, Бауэр отвечает, что ни о каких лекарствах знать не знает и вообще считает, что лекарства излишни. Человеческий организм должен сам справляться со всеми болезнями.

На вопрос, как он обходился бы без лекарств, если бы был ранен, последовал ответ:

— Не знаю. До сих пор господь оберегал меня от всех напастей. Ни я ни в кого не стрелял, ни в меня не стреляли, и надеюсь так прожить до конца своих дней.

Случайно или умышленно, но Лерер уже в который раз называет Бауэра старшим банщиком, и обвиняемый на это никак не реагирует. Удивительно. Штифтер интересуется, что должно означать это обращение? Бауэр пожимает плечами: дескать, откуда мне знать? Лерер поясняет, что так звали Бауэра узники, потому что здание, в котором находились газовые камеры, декоратор специально закамouflировал под баню. Жертвам говорили, что перед отправкой в резервацию, где каждый получит работу по специальности, они должны сходить в баню. Даже охранники за глаза называли Бауэра «старшим банщиком».

Допрос продолжался до позднего вечера. Все устали, выдохлись. Следователь поблагодарил Лерера за его весьма важные показания и предупредил, что, наверное, еще не раз придется его беспокоить.

Затем он обратился к Бауэру:

— Вам передали альбом, о котором вы просили?

— Да. Спасибо.

— И вы успели что-нибудь сделать?

— Пустяки. Свет в камере слабый, но все же...

— Вы можете нам показать ваши рисунки?

— Могу. Хотя я полагаю, что вам будет неинтересно, а возможно, и непонятно...

— Они такие сложные?

— Наоборот. Но вам мои занятия покажутся детской забавой, а для меня, можно сказать, в них смысл жизни. Я могу продолжать? Хорошо. Каждый Новый год устраиваются базары, где для детворы продают пряники, игрушки. От искусных поделок глаз не оторвать. Еще до войны я вынашивал мечту о создании Санта-Клаус-автоматов. В одном берлинском журнале недавно была опубликована моя статья об этом. Теперь мне хочется усовершенствовать некоторые из развлекательных аттракционов.

Следователя интересует, приходил ли Бауэр в последнее воскресенье в Луна-парк, чтобы развлечься или по делу.

Бауэр объясняет:

— Пожалуй, по делу. Механизм, приводящий в движение карусель, можно усовершенствовать. Но для меня это и развлечение, доставляющее радость.

Задается новый вопрос:

— Не кажется ли Бауэру, что характер его нынешних занятий может в какой-то мере подтверждать его деятельность в Собиборе?

Бауэр и на этот раз не теряется.

— Да, — отвечает он после небольшой паузы, — я допускаю, что вы, господин следователь, можете так подумать. Но, как мне кажется, только поначалу. Логически мыслящему человеку ясно, что тот, кто действительно виновен и хочет скрыть свою вину, не станет добровольно давать показания, которые могут быть истолкованы не в его пользу или же каким-то образом подтверждают обвинение. Разве я не прав?

— Со временем это выяснится. Но вы опять задаете вопросы... Так что вы намеревались или уже успели изменить в механизмах Луна-парка?

— Вы, господин следователь, должны меня извинить, я неправильно выразился. Мое упущение. Я не предполагал, что именно это вас заинтересует. Между прочим, это лишний раз подтверждает, что современные аттракционы занимают воображение не только детей. Я думаю не столько об изменении аттракциона, сколько о создании новых. Взрослые люди, а особенно дети, любят, чтобы все было настоящее, как в жизни. Вы представляете себе, как будет здорово, если каждая деревянная лошадка по воле всадника начнет брыкаться, пускать пену изо рта, насколько естественней и увлекательней будет выглядеть аттракцион. Вот когда я все это осуществлю, вы сами убедитесь.

— Хорошо. А теперь покажите нам свои чертежи. И, пожалуйста, объясните, что вы успели сделать в камере. Встаньте так, чтобы и мои коллеги могли видеть. Для нас ведь это не более чем пунктиры, черточки и кружочки. Вот так. Коротко и ясно расскажите о самом существенном.

Бауэр объясняет. Какого напряжения это ему стоит — знает только он сам, а может, наоборот, он и рад, что ему дали высказаться. С тех пор как его задержали, он впервые оказался «на коне». В последние годы нет для него ничего более интересного, чем то, о чем он здесь рассказывает. Сколько времени мог еще Эрих Бауэр говорить о своих Санта-Клаус-автоматах, проявляя в этом деле глубокие познания и эрудицию, сказать трудно. Надо полагать, что долго, очень долго. Но следователь, обладавший весьма зычным голосом, вдруг скомандовал:

— Кру-гом!

Бауэр, хотя ему и было уже под сорок, не моргнув глазом, как это подобает вышколенному солдату, выполнил приказание и упруго повернулся на сто восемьдесят градусов. То, что он увидел, заставило его на миг оцепенеть. Внезапно охрипшим, сдавленным голосом он пробормотал:

— Юлиана! Ю...

У дверей стояла молодая женщина в очках. На руках она держала кролика. Когда взгляды ее и Бауэра встретились, она вздрогнула, по щеке скатилась слеза. Одета она была почти так же, как в Собиборе. Ее, Юлиану-Эстер, и еще одну девушку из Голландии, Люку, Бауэр на время оставил в живых лишь потому, что кролики почему-то к ним особенно привязались. Настоящее имя ее, Эстер, Бауэр запретил произносить и приказал, чтобы и в женском бараке все звали девушку Юлианой. В порядке исключения он разрешил ей носить очки, потому что, как объяснил он помощнику коменданта лагеря Густаву Вагнеру, это нравится кроликам. Узников в очках в Собиборе можно было сосчитать по пальцам. Если человек нуждается в очках, значит, он неполноценен и не вправе рассчитывать даже на кратковременное существование.

Работы у Бауэра хватало. Собибор непрерывно принимал и «перерабатывал» десятки эшелонов. В каждом эшелоне — двадцать пять вагонов. В вагоне от восьмидесяти до полутора человека, осужденных без суда на смерть. И так восемнадцать месяцев подряд.

Потом, во время суда над Бауэром, его защитник Бернгард Готчер скажет:

— У человека, которого я защищаю, немало недостатков. Но достоинств у него куда больше. Он очень трудолюбив. Если бы вы знали, как он любит детей, каждую божью тварь. Он часами может заниматься кроликами...

Тогда еще не было известно, что Готчер — бывший эсэсовец и во времена Гитлера написал брошюру, превозносящую расизм и нацизм, но то, что Бауэр трудолюбив, — это было чистой правдой. Однако обергазмейстеру и его шести дизельным моторам, нагнетавшим удушливый газ, тоже нужно было время от времени отдохнуть, остыть. Вот тогда, в свободную минуту, Эрих Бауэр с наслаждением наблюдал, как Юлиана и Люка кормят его любимых кроликов. В такие мгновения могло бы казаться, что в одном человеке уживаются змея и голубь, но это было не так.

Если кролики почему-либо неохотно брали из его рук траву, которую Бауэр сам рвал и приносил, он менялся в лице и орал на девушек:

— А ну-ка, жрите траву сами, да поаппетитней, чтобы сок тек по вашим свиным губам. Жуйте и глотайте так, чтобы и кроликам захотелось!

Кто знает, сколько дней или даже часов девушки могли бы еще прожить, если бы в лагере не вспыхнуло восстание? Немного. Известно, что на другой день после восстания Бауэр задушил своих кроликов, а заодно и гусей, которые гоготали, когда по «небесной дороге» партиями гнали голых людей в крематорий.

Юлиана-Эстер свою миссию на допросе выполнила и удалилась так же незаметно, как вошла.

И когда Эрих Бауэр, сломленный и опустошенный, снова опустился на скамью, он как бы заново увидел себя и без лишних слов, черным по белому, письменно подтвердил, что он — это он.

Следователь еще что-то ему говорил, но Бауэр ничего не слышал. Показаний третьего свидетеля — а им был Берек Шлезингер — не потребовалось.

## **В КАМЕННОМ МЕШКЕ**

Какое это было время!.. Даже в самом прекрасном сне невозможно чувствовать себя более счастливым, чем Эрих Бауэр. Подумать только! Распоряжаться судьбами сотен тысяч людей из разных стран, делать с ними все, что тебе заблагорассудится. А ведь для таких, как он, арийцев, властелинов мира, это было только началом... И вот — на тебе! Что же произошло? Сперва он проиграл вместе со своим фюрером, а теперь — и сам. Неужели конец? Каждый оценивает события на свой лад. Для Бауэра опасность, угрожающая ему лично, куда существеннее, нежели общее поражение.

Как только исход войны стал очевидным, Бауэра ни на минуту не покидал страх. Как вести себя в случае опасности, он продумал давно, но ему и в голову не приходило, что с него сорвут защитный костюм и парик, которые он натянул на себя, как артист перед выходом на сцену, что как из-под земли появятся живые свидетели и все кончится провалом. Если бы он хоть на мгновение мог допустить, что тот, кто задержал его в Луна-парке, собиборовец, он с самого начала попытался бы вырваться, убежать: при таком скоплении народа это вполне могло удалиться.

Когда следователь упомянул имена Штангля, Вагнера, Болендера, Френцеля, закралось подозрение, что кого-то из них поймали и тот выболтал лишнее. Иначе откуда такие точные и полные сведения? Теперь он уже знает «откуда». Попался на крючок, и весьма основательно, он один, все же остальные на свободе. Штангля американцы в последние дни войны задержали, отобрали награбленное им добро, а его самого передали австрийским властям. В Австрии же у него было немало друзей, и те

помогли ему улизнуть. Теперь говорят, он находится довольно далеко отсюда, и бояться ему некого. Почему же и он, Бауэр, не бежал? Скорее всего, оттого, что ему не хотелось расставаться со своим богатством. Сидеть на месте, никуда не уезжать уговаривал его также бывший товарищ по партии Карл Френцель. Френцель переслал из Собибора домой столько, что хватит внукам и правнукам. По сей день живет он в своем Геттингене и в ус не дует. О Курте Болендере ничего не известно. Этот сразу же после войны как в воду канул. Ищи ветра в поле!

Надежда на то, что опасность пройдет стороной, жила в нем до тех пор, пока ему не показали его портрет. Он мог бы поклясться, что тогда, шесть с лишним лет назад, сходство не было таким разительным, как сейчас. Откуда голландец мог знать, что с годами у него на верхней губе появятся короткие усики? Действительно, получилось так, как сказал следователь: художника уже давно нет на свете, а его нарисованные письма все еще идут...

Никого из голландцев, удушенных в его газовых камерах, он не запомнил. Да и как было запомнить при таком колоссальном объеме работ! И хорошо, что они ушли в небытие, не оставив после себя и следа. Даже птицы на деревьях, как любил говорить Штангль, и те тогда знали, что шуметь нельзя. Из семидесяти двух голландцев, которых расстреляли за попытку к бегству, он запомнил только одного, их руководителя, кажется, бывшего офицера флота. Каким только мучениям и пыткам его ни подвергали, он не переставал твердить, что бежать из лагеря собирался один. Запомнил он также художника, которого следователь назвал ван Дамом.

Вагнеру, Нойману и Френцелю, видите ли, захотелось иметь свои портреты! Им мало было того, что унтершарфюрер Франц Вольф по нескольку раз в неделю их фотографировал. Семьдесят одного голландца отвели на так называемый полигон и расстреляли. А Макса ван Дама на время оставили в живых и даже дали ему в помощь какого-то подростка. И зашел-то он, Бауэр, к художнику случайно, один-единственный раз. Ему тогда позировал Карл Френцель. Этот Макс ван Дам знал наверняка, что, как только закончит работу, он умрет. Да и клиент его не подгонял. Однако непохоже было, чтобы художник стремился растянуть работу надолго. Более того, он торопился.

Паренек, что помогал ван Даму, очевидно, и есть тот самый свидетель, которым его напугали. Это он сохранил его, Бауэра, портрет. Сколько же их, этих свидетелей?

После восстания объявили, что все беглецы пойманы и что их руководителя, советского офицера, тоже нашли, только, к сожалению, уже мертвым. «К сожалению» потому, что у мертвецов один недостаток: можешь их сколько угодно душить и жечь, ни боли, ни страха они уже не почувствуют.

Но кто его знает, возможно, и руководитель восстания, как Юлиана, поднялся из могилы.

Юлиана... Чертовщина, да и только! Какие же претензии у него тогда могут быть к Вагнеру или Френцелю? Те ведь художника все же расстреляли, а он? Дождался вот, что девица, как привидение, возникла на пороге!

Ясно одно: пока приговор не вынесен, надо быть предельно осмотрительным. На все вопросы, которые ему зададут, у него будет один ответ: война. Что ему приказывали, то он и делал. Есть еще одна возможность: все, что ему невыгодно, он забыл... Все бы это ничего, не будь свидетелей. Их надо опасаться куда больше, чем следователя. Иоганн Штифтер, должно быть, из тех немцев, которые носили полосатую одежду и деревянные колодки на ногах. Кто же мог оставить его в живых?

Мало, слишком мало было газовых камер. И хотя Штангль и даже рейхсфюрер Генрих Гиммлер его

хвалили, сам-то он, Бауэр, знает, что, не возись он с этими дурацкими кроликами, мог бы обслужить не шесть, а семь или даже восемь газовых установок. Если бы он, Вагнер, Болендер, Нойман, Гомерский, Френцель и другие делали свое дело с большим усердием, Юлиана не появилась бы на пороге и могила Штифтера давно заросла бы травой. Но после драки кулаками не машут.

Пока он и без адвоката понимает — в его интересах, чтобы предварительное следствие тянулось как можно дольше. Есть еще надежда, что американцы, которые снабдили его документом, свидетельствующим о непричастности к каким бы то ни было военным преступлениям, не выдадут его полякам. Ничего не может быть ужаснее, и хотя он себя малодушным не считает, но при одной мысли об этом его бросает в дрожь. Хоть караул кричи: он, Эрих Бауэр, угодил в тюрьму, в каменный мешок!

Мрачные раздумья донимали Бауэра всю ночь.

...Что и говорить, Эриха Бауэра сразу должны были передать в распоряжение Польской Народной Республики. Там, на территории оккупированной Польши, он совершил свои преступления, там, естественно, должен был свершиться справедливый суд над ним. Но американские дипломаты прибегли к всевозможным уловкам, уклоняясь от выполнения законных требований польских властей. И пошли в ход торги, споры. Наконец американская администрация пошла на некоторый компромисс: Бауэра будут судить в английском секторе Берлина, в Моабитской тюрьме, где фашисты пытали Эрнста Тельмана, Мусу Джалиля. Там, мол, сами тюремные стены вызывают к объективному рассмотрению дела.

Процесс, по мнению американцев, должен был доказать, что западногерманские органы правосудия способны сами надлежащим образом наказать военных преступников. Так что незачем выдавать их тем странам и народам, которые хотят сорвать с убийц маску и показать их подлинное лицо. Между собой уж как-нибудь можно будет договориться, прийти к соглашению... А в ФРГ уже в то время поговаривали об установлении срока давности. К этому шло.

Бауэра задержали весной 1949 года, а суд над ним начался лишь через год.

## ГОРЕЧЬ ВОСПОМИНАНИЙ

Снова май. Перешептываются деревья. Листья купаются в солнечном свете. В городском шуме нелегко уловить пение птиц. А этот парень замедлил шаг и весь обратился в слух, будто желая вобрать в себя пойманную невзначай мелодию.

Возможно, он и сам не заметил, как опустился на скамейку. Одна из женщин, пришедших сюда, в городской сквер, погулять с детьми, согрела его озабоченным материнским взглядом: она заметила его хмурые глаза под насупленным лбом и удивилась угрюмому виду этого еще совсем молодого человека. Ведь она и представить себе не может, какие тяжкие испытания выпали на его долю. Кому придет в голову, что было время, когда жизнь в нем еле теплилась, что у него отняли самое дорогое и сокровенное.

Берек сидит, положив ногу на ногу. Плечи низко опущены, и, хотя он в том возрасте, когда воспоминания не должны подавлять мечты, в памяти его неотступно живет прошлое, полное мук и страданий. Как побороть горечь воспоминаний?.. Стоит им всплыть, никуда от них не деться. Бывает, они путаются в голове бессвязно, разрозненно, а вот сегодня выстроились в ряд, день за днем, ночь за ночью...

С Максом ван Дамом провел он неотлучно двенадцать дней и двенадцать ночей. Погибнуть, как это

позднее выяснилось, должны были они вместе, и кто бы мог предположить, что Нойман, этот ядовитый и желчный маньяк, нагонявший смертельный страх не только на узников, но даже на своих «коллег», из-за Куриэла вынужден будет отсрочить гибель Берека.

Днем у них не было возможности разговаривать. Днем ван Дам рисовал. Сначала Френцеля, затем Вагнера, Ноймана. Они охотно ему позировали. Каждому из них непременно хотелось иметь свой портрет кисти ван Дама. Собственно говоря, для этого они и продлили ему жизнь. Днем Берек был всего-навсего послушным помощником. Зато по ночам, двенадцать ночей кряду, они говорили, говорили... Общим языком для них служил немецкий, который Берек все же немного понимал, и еврейский.

В первый же вечер, когда оба они, усталые, лежали рядом на нарах, ван Дам прикоснулся к плечу Берека:

— Послушай, Берек, мне хочется знать все о тебе и о Рине. Кое-что про вас мне рассказал Куриэл, — а так как Берек молчал, он с огорчением продолжал: — Я знаю, к человеку лучше не приставать, тогда он сам рано или поздно выложит все, что у него на сердце. Но у меня мало времени, а мне надо еще рассказать тебе о себе и о последних минутах Рины. Нет, мальчик, ты и представить не можешь... Я даже не знаю, смогу ли я все это передать словами. Попытаюсь нарисовать, но ты не думай, что это проще. Но надо, необходимо. Ты не отзываешься. Не хочешь меня слушать? Тогда я завтра же объявлю Нойману, что художнику Макс ван Даму не нужна больше дарованная ему на время жалкая жизнь. У меня не было ни малейших сомнений в том, что он выполнит мое требование и пришлет тебя. Иначе я бы и карандаша в руки не брал.

— Может быть, и не надо было?

— Ты так думаешь?

— Я думаю, что его надо не рисовать, а задушить. Хотите, я схвачу его сзади за горло, а вы мне поможете, и мы вдвоем его повалим.

— Дорогой мой мальчик, так нельзя. Тогда не только нас, но и все рабочие команды уничтожат.

— Так или иначе, всех нас до единого уничтожат.

— Скорее всего, ты прав, и все же искорка надежды остается.

— На что? Фронт ведь от нас далеко.

— Да. Ближе, чем раньше, но все равно далеко. Однако хочется, чтобы ты знал: и здесь, в лагере, кое-что происходит, и я верю...

— Ваш капитан должен был сделать первую попытку?

— Наш капитан думал только о голландцах, и в этом состояла одна из его ошибок. Но самая большая его ошибка была в том, что он, как слепой, который тычет палкой во все стороны, долго колебался, покуда отважился на решительный шаг. И когда наконец решил осуществить свой план, то не нашел ничего лучшего, как обратиться за помощью к гитлеровцу. А тот, как и следовало ожидать, всех нас выдал.

— Как же мне разыскать тех людей, которые что-то предпринимают?

— Это не так-то просто. Если кто-нибудь им нужен, они находят его сами.

— Почему же они медлят?

— Должно быть, время еще не настало. Нет еще человека, который способен повести за собой...

Наш капитан был смельчаком, но и только.

— Каким же еще надо быть?..

Вот так и начались их ночные беседы. Ван Дам снова и снова просил, чтобы Берек рассказал ему про себя и про Рину. О местечке, в котором они росли, о лесе, в котором они скрывались. И лишь перед тем, как распрощаться навеки, Берек понял, для чего художнику понадобилось знать все это.

Настал вечер, когда ван Дам сказал ему:

— А теперь, Берек, выслушай меня. Я верю, что ты выживешь. Может быть, благодаря Куриэлу, может быть, каким-нибудь иным путем... Так или иначе, на тебя одного надежда, что ты передашь людям некоторые рисунки.

— Ваши?

— Быть может, не только мои. Здесь есть еще один художник, который, как и я, делает зарисовки.

— Кто он?

— Лагерник. В какой он команде — не знаю, мне он назвался Иозефом Рихтером из Польши[18]. Берек промолчал. Что он мог ответить? Пообещать? Поклясться? Это не нужно было ни ему, ни художнику. В тот вечер ван Дам рассказал ему о себе.

Макс ван Дам родился 19 марта 1910 года в голландском городе Винтерсвейк. К рисованию он пристрастился с тех пор, как помнит себя. Чем больше родители противились этому, тем сильнее в нем крепло желание стать живописцем. Когда отец убедился, что не в состоянии заставить сына отказаться от своей мечты, он ему сказал:

— Потом ты наверняка пожалеешь, что пошел по этому тернистому пути, но поздно будет. Ну что ж, даю тебе еще неделю на размышление.

— Я тогда, — рассказывал ван Дам, — учился в средней школе. На другой день после этого разговора я уже не пошел на уроки. Я думал, что родители об этом не знают, но кто-то рассказал им, и еще до истечения недели отец мне заявил: «Раз ты такой упрямец, то откладывать ни к чему, но я ставлю условие: вначале ты должен приобрести специальность. Получи, скажем, диплом учителя черчения. Тогда ты хоть заработаешь себе на хлеб. Теперь не рембрандтовские времена. Я хочу, чтобы ты никогда не знал голода и был одет, как все люди».

Я же, разумеется, мечтал о свободном искусстве. Отец отвел меня в школу, где готовили преподавателей черчения.

— Ваши родители были бедными? — спросил Берек.

— Отец мой был директором кооперативного объединения, муниципальным советником Гельдерландских провинциальных штатов. Но он придерживался мнения, что живопись — не профессия.

Школу я окончил, диплом получил и подал документы в академию художеств. Каким глупым и самоуверенным был я тогда. В академию меня не приняли. Я готов был голодать, лишь бы заниматься тем, что мне по душе. С помощью друзей недалеко от города я приобрел первое в своей жизни ателье и был принят в художественное объединение «Независимые». Отец остается отцом. Хоть он меня и бранил, все же от него я получил первый солидный заказ — изготовить витраж для здания кооперативного объединения в Винтерсвейке. С 1933 года я стал получать королевскую субсидию по пластическому искусству, однако в академию меня все еще не хотели принимать. Сейчас, в Собиборе, понять это трудно, но тогда я из-за этого места себе не находил. В те годы был знаменит бельгийский импрессионист Исодоор Опсомер. Рассказывали, что он очень строг, но это

меня не остановило: я отобрал несколько своих работ и поехал к нему. Он меня принял, и, должно быть, я ему понравился. По его совету я держал экзамены в художественный институт в Антверпене, где он был директором.

В институт я поступил без особого труда, и вскоре мне предоставили ателье.

Не успел я оглянуться, — продолжал ван Дам, — как годы учебы оказались позади. Сразу же после окончания института я отправился путешествовать по свету. Был в Италии, Франции, Испании, снова во Франции и всюду, изо дня в день, рисовал. Свои лучшие работы, как мне кажется, я написал в Пиренеях. Горы меня очаровали.

О картинах ван Дама, которые он в 1934 и 1937 годах выставил в салоне искусств в Амстердаме, много говорили и писали. В 1938 году состоялась его выставка в Хильверсуме. Он участвовал в конкурсе на приз «При де Ром» и в 1938 году за картину «Хагар и Исмоэл» удостоился серебряной медали. В 1939 году он с успехом участвовал в выставке «Искусство — сегодня» в Амстердамском музее.

Ван Дам любил путешествовать. Но с 1937 года его постоянным местом жительства снова стала Голландия. Сперва он поселился в Бергене, затем в Амстердаме. Теперь у него были и квартира и ателье.

— На всякий случай, — сказал ван Дам Береку, — запомни название улицы — Зомер Дейкстраат. Это, возможно, тебе когда-нибудь еще пригодится. Там я и познакомился с ювелиром Куриэлом, у которого ты сейчас работаешь.

В другой раз ван Дам рассказал, как он попал в руки к немцам.

— Что опасность войны в Европе становится все реальной — я понимал и, может быть, поэтому больше путешествовал, чем сидел дома. Хотелось успеть увидеть как можно больше. Но когда немцы напали на нас, 10 мая 1940 года, я оказался в Амстердаме. Четыре дня спустя Голландия капитулировала. Королева Вильгельмина, просидевшая к тому времени на троне целых пятьдесят лет, эмигрировала вместе с правительством в Англию. Свои картины я отвез к одному другу в Гаагу, а сам направился в Бларикум. Укрывался я в семье Схраверов, прошу тебя запомнить и этот адрес: Бослаан, 6. Будь добр, повтори: Бослаан, 6. Для меня это важно, так как и там я много рисовал. Может быть, сохранились некоторые мои работы.

Осенью 1942 года ван Дам вместе со своей родственницей Олисе де Йонг ван Дам и ее маленькой дочуркой Жаклин бежал во Францию.

— Как это нам удалось — долго рассказывать. Дней шесть-семь мы пробыли в Париже и поняли, что задерживаться там опасно. Мы попытались добраться до Швейцарии. В горах Юра во Франции нас задержал патруль «зеленой полиции». Я дал честное слово, что завтра явлюсь в ближайшую немецкую комендатуру, и нас отпустили. Как ни умоляла меня Олисе не показываться на глаза немцам, я ее не послушал. Ведь я дал слово! Так мы и расстались[19].

— Зачем вы это сделали? — с болью вскричал Берек. — Сами полезли в петлю!

Кругом стояла тишина. Только изредка в окне вспыхивал луч света. Это прожектор на сторожевой башне рыскал, упираясь лучом в ночное небо.

**НЕ УСПЕЛИ**

Долго сидеть в кресле в застывшей позе и неизменно сохранять на одутловатом лице благостное выражение Карл Френцель не мог или не хотел, да и кто ему здесь указ? Художник, который одной

ногой уже на том свете? Ведь нужен не сам он — этот жалкий и ничтожный юде, а его мастерство, потому и остался он в живых, но только до тех пор, пока это ему, Карлу Френцелю, необходимо. Каждые десять — пятнадцать минут он вскакивал с места и начинал бегать по комнате, пока ван Дам не заявил, что после таких частых перерывов ему трудно сосредоточиться и продолжать работу, так как видит перед собой разные модели. Френцелю хочется размяться, это понятно, но почему он все время мечется по комнате, словно тигр в клетке?

Берек похолодел. Связаться с Френцелем — страшнее, чем с чертом. Френцелю же сравнение с тигром пришлось по душе. Вдруг он шутовски расшаркался перед ван Дамом, притопнул ногой и выразительным жестом пригласил его на танец. Художник не пошевелился. Обершарфюрер снисходительно улыбался.

— Вы вправе отказаться от моего приглашения, хотя его охотно принимали красивейшие женщины. Я хорошо танцую. Могу также декламировать, играть на сцене. Я неплохой актер. Люблю веселые и забавные театральные представления. Если в них много пения — тем лучше. Если бы не один еврей, я мог стать профессиональным актером. В свое время я был очень зол на него, но попадись он мне сейчас, даже пальцем бы его не тронул, а только на один день, нет, на неделю передал в команду Эриха Бауэра. Такую роль, кажется, и сам Шекспир не придумает. Да, так что вам еще нужно для работы?

— Карандаш «Иоганн Фабер» или «Кох-и-Ноор». А также уголь, мел и немного пива или сладкой воды для закрепления рисунка. Неплохо было бы для фиксажа достать смесь из спирта и канифоли. Мне также нужна белая и черная французская бумага.

— «Фабер», я знаю, старая немецкая фирма, а про «Кох-и-Ноор» не слышал.

— Тоже старая фирма, только чешская.

— Хорошо. В эшелонах, прибывающих из Чехословакии, попадаются и живописцы. Ваш брат скорее согласится бросить хлеб и белье, но олифа, тушь, краски — это всегда при вас. На прошлой неделе мне показали одного известного карикатуриста. Вы не думайте, что на это ядовитое искусство у нас наложен запрет. Высмеять вас, изобразить так, как вы того заслуживаете, — мы не против. Согласись он рисовать, как вы идете на смерть, мог бы продлить свою жизнь. Не захотел, — его дело, и он вместе со всеми пошел по «небесной дороге»... Собибор это вам не Амстердам. Что вы на меня так смотрите? От вас мне скрывать нечего, и я могу вам сказать больше: и не Берлин. Кроме птичьего молока, у нас здесь есть все. Мы купаемся в роскоши, а после нас — хоть потоп.

Все необходимые материалы вы, маэстро, получите, а о разных моделях забудьте. Клетка, которую вы упомянули, не для меня. Скорее в ней окажется весь мир, только не я. Это исключено, — изрек Френцель на прощание, покидая светлую комнату казино, в которой художнику разрешалось бывать только днем, во время работы.

Не успел Френцель выйти, как на пороге появился Вагнер, заместитель коменданта лагеря Густав Вагнер собственной персоной. Он принес фотографию размером с почтовую открытку. На ней во весь рост стояла молодая, не очень красивая, но стройная женщина — это фотоаппарат сумел запечатлеть, — и довольно учтиво попросил ван Даму по этой фотографии нарисовать портрет. Тщетно ван Дам пытался ему доказать, что он никогда такими делами не занимался, что уважающий себя художник не опустится до того, чтобы рисовать с фотографии; на Вагнера это никакого впечатления не произвело. Он твердил одно:

— Ерунда. Все это отговорки, еврейские штучки.

Вагнер был вне себя от негодования. Неважно, кто эта женщина, но она ему дорога. Он должен иметь ее портрет, и сделать это нужно сейчас же, так как... оберштурмфюрер Штангль может со дня на день прибыть из Трешлинка... Вагнер загнулся, изменившись в лице.

— И никаких разговоров, проклятый еврей! — схватился он за кобуру.

Это было днем. А вечером, когда их обоих, художника и его юного помощника, снова заперли в узенькой комнатке и они вдвоем лежали на узких одноместных нарах, ван Дам опять попросил Берека рассказать ему о Рине.

— Господин ван Дам, зачем вам это? Вы же сами хотели мне рассказать о ней, но все молчите. И так лучше. Не надо...

— Не надо, говоришь? Я не уверен. Но о Собиборе тебе надо знать все. Все, что мне известно, ты должен запомнить. Еще один-два Сталинграда, и нацистской Германии не устоять. Ты выживешь. Повторяю тебе это снова и снова.

Он как бы заклинал Берека. И вот — Берек жив и помнит.

— Тот, кто здесь не был, — начал ван Дам сперва тихим, потом все более крепнущим и уверенным голосом, — не может себе представить, какое чудовищное преступление скрывает этот могучий и бескрайний лес, окружающий со всех сторон Собибор.

Он говорил о лесе, как о живом существе.

— Если бы лес знал, если бы он мог себе представить, кому и для каких целей служит, то сбросил бы с себя всю листву. Тогда, может быть, люди увидели бы, что здесь творится. Лес слышит, как отовсюду доносятся звуки, шум, но ему кажется, что это пришли с пилами и топорами валить деревья. Лес видит, как горят костры, но он знает, что люди всегда грелись у яркого пламени горящих елей и берез.

Ван Дам говорит, и Береку кажется, что это он не рассказывает, а рисует кистью.

Как бы уловив мысль Берека, художник вдруг заметил:

— Нет, Берек, я хочу нарисовать тебе не этот лес, а фабрику смерти Собибор. Лес должен источать запах сосновой смолы, нагретой коры, грибов, а здесь пахнет гарью. Не успели мы выйти из эшелона, как сразу же поняли, что попали не в резервацию для «полезных евреев», как нас пытались убедить. Но кто мог себе представить, что окутывающий все вокруг дымный туман поднимается от костров, на которых сжигают сотни тысяч людей. Шесть газовых камер Собибора почти ежедневно проглатывают полторы тысячи человек. Три раза в день по пятьсот человек, которые только что двигались, разговаривали, дышали. И вот уже больше года жгут тех, кого удушили газом, жгут, чтобы никаких следов не осталось, чтобы мир никогда ничего не узнал. Но этому не бывать! Мир узнает, проклянет и осудит.

Паренек примерно твоих лет (в то время он уже был узником со стажем) как-то сказал мне: «Прежде здесь действовала всего одна газовая камера и было еще хуже». Сперва мне показалось, что парень не в своем уме, но он мне объяснил: «Когда мы прибыли сюда, очередь в «баню» была такая, что моим родителям пришлось выстоять более десяти часов, дожидаясь, пока их удушат».

Теперь люди Гимmlера рассчитали все до мельчайших деталей, и переполненные до отказа транспорты следуют сюда один за другим. Большинство из тех, кто прибыл сюда вместе со мной, верили, что нас привезли в рабочий лагерь. Некоторые полагали, что стоит проявить послушание,

приспособиться, и им удастся как-нибудь пережить это страшное время. Объявили, что нас повезут в Минск или Ригу. Куда именно — это выяснится в дороге. Лишних вещей брать с собой не следует, так как самое необходимое дадут на месте, но золото, серебро, украшения, ценные картины и книги брать обязательно.

В Собиборе на железнодорожной станции нас встретил обершарфюрер Вагнер. Он справился о нашем самочувствии и просил извинить, если кого-нибудь из нас, «полезных евреев», ненароком в дороге кто-нибудь обидел. «Время сейчас военное, — напомнил он нам, — но здесь, в резервации, куда вы прибыли, все налажено. Каждый получит жилье и работу по специальности». Вагнер указал на плакат, на котором большими буквами было написано, что одежду надо сдавать в дезинфекцию. Я вынул из кармана свой альбом и наскоро начал зарисовывать, как обершарфюрер стоит и рассматривает только что прибывших пассажиров. Он это заметил, подошел, взглянул на рисунок, на меня и ушел.

Когда нас привели на предлагерную территорию и за нами закрылись ворота, я сразу же понял, что от окружающего мира мы отрезаны навсегда. Я посмотрел на людей вокруг, но уж лучше бы я этого не делал. Лишь двое влюбленных, что стояли рядом со мной, все еще шушукались и, должно быть, не замечали, куда попали. Я было подумал: сказать им? И решил: нет, нельзя. Достаточно того, что об этом знаю я.

Теперь эсэсовцы применили новую тактику — тактику устрашения. Церемониться с осужденными было уже ни к чему. Необходимо уничтожить как можно больше людей и как можно быстрее. Тот же Вагнер, поздравивший нас на железнодорожной платформе с прибытием, начал направо и налево орудовать плеткой, Френцель и Гомерский делали то же самое, но с еще большим усердием. Били по самым чувствительным местам. Отовсюду слышалось: «Скорей!», «Скорей!». Один старик чуть замешкался, и охранник тут же его пристрелил. Труп бросили на ручную тележку. На меня Вагнер закричал:

— Ты болен или нарочно медлишь, — тогда тебя повезут.

— Я не болен, мне хочется посмотреть на колонну со стороны.

Почему я ему так ответил — этого я ни тогда, ни сейчас сказать не могу.

— Стой! — приказал он мне. — Я отведу тебя в сторону, и рисуй. Понравится мне твоя работа, — считай, тебе повезло, а нет...

Потом мне разрешили ходить повсюду, кроме третьего лагеря, и рисовать. Собибор со своими тремя лагерями занимает шестьдесят гектаров. Сопровождал меня охранник. После работы он отводил меня в барак и отбирал все рисунки.

Я рисовал, как сдают вещи. В одну «кассу» — деньги, в другую — золото и серебро, в третью — украшения, часы, картины, книги. Игрушки складывали в отдельные ящики. Случалось, что ни в одной из «касс» не было надобности, так как людям нечего было сдавать: их ограбили еще до прибытия сюда. Я рисовал, как люди раздеваются перед «баней». Как «в целях гигиены» стригут волосы у женщин и детей. Однажды я видел, как охранник пытался вырвать золотые зубы изо рта еще живого человека. Я и это нарисовал. Потом Вагнер счел нужным сообщить мне, что охранник понес строгое наказание. Почему? Потому, что этим должны заниматься специальные «дантисты», и «операция» эта производится на мертвых, чтобы не отнимать лишнего времени.

Вагнер ежедневно просматривал мои работы и делал свои замечания. Когда ему казалось, что я

недостаточно точен, напоминал, что он поборник правды, достоверности. Однажды он обратил внимание на то, что я неверно показал, как люди бегут из лагеря в лагерь. «Они же не просто бегут, а скачут галопом, — сказал Вагнер, — для этого их бьют и погоняют». Но и без пояснений Вагнера я видел, что обреченным не давали опомниться, подумать о том, как подороже продать свою жизнь. Знаю, что и такое случилось. И еще одно указание сделал мне Вагнер: «Присмотритесь к конвоирам, стоящим по обе стороны дороги, и вы увидите, что у них наготове оружие, а у всех офицеров расстегнуты кобуры».

Из моих рисунков Вагнер сделал альбом. То ли для себя, то ли для кого-то из высокопоставленного начальства. Все они охотно любовались делом рук своих. Вагнеру очень понравился мой рисунок, на котором изображен Болендер. Шефа «небесной дороги», одетого, как доктор, в белый шелковый халат, я изобразил в тот момент, когда он приказывал людям, которых должны сейчас загнать в «баню»: «Мужчины — направо, женщины и дети — налево!» Но Вагнеру я отдавал не все. «Он хочет передать рисунки мне», — подумал Берек. Хорошо, что уже стемнело и ван Дам не мог увидеть его горькой усмешки.

Через день после этого разговора ван Дам показал Береку свои рисунки. Семь листов, написанных сангиной, художник назвал «Семь кругов коричневого ада».

— Мне, Берек, — сказал ван Дам, — трудно рассказать тебе словами о последних минутах твоей Рины. Перед тобой рисунки. Гляди! На одном из них ты ее увидишь. Тогда, когда умертвили двести девушек из Люблина, я ее не знал, но из того, что ты о ней рассказывал, и даже когда ты не хотел и не мог говорить, я услышал то, что делает художника зрячим, всевидящим. Вот они, эти рисунки. Смотри.

Но все листы Береку просмотреть не удалось. Рисунок, на котором, как ему показалось, стоит Рина, он сразу же увидел и был не в силах оторвать от него глаз. В горле у него застрял ком, он не мог продохнуть. Его Рина — точно рыбка, выброшенная на берег — нагая, трепещущая. Губы до крови искусаны. От ужаса и страданий глаза широко раскрыты. И где-то высоко-высоко в задымленном небе плывет бледное, погасшее солнце...

Ван Дам подумал, что рисунок Береку не следовало показывать. Все остальные — надо было, а этот — нет.

— Берек, — сказал он, — ты пока верни мне рисунки. Хочу просмотреть их при дневном свете. Два дня у нас есть. Я еще успею передать тебе работы. Пока только спрячь у себя несколько первых рисунков, на которых я увековечил кое-кого из убийц, а это силуэт Ноймана, вырезанный из черной бумаги. Возможно, и он тебе пригодится.

Ван Дам не успел передать Береку остальные рисунки.

Когда Нойман пришел за художником, он застал его за работой над женским портретом.

— Ван Дам, — сказал Нойман, — теперь все! Я уж как-нибудь обойдусь без любовницы Вагнера. — И, помолчав, добавил: — У Густава Вагнера в голове, очевидно, ливер, а не мозги. Вы свою работу закончили. Если вы верующий, скажите своему богу то, что у вас, евреев, принято говорить перед смертью, и получите по заслугам. Знайте, ван Дам, таланты я ценю. Вас я не загазую, как мы поступаем со всеми, вы умрете от моей пули.

Берек судорожно заплакал.

— А ты, гаденыш, — закричал Нойман на Берека, — марш к Куриэлу! Твое счастье — он нам пока

еще нужен.

— Мы с тобой, Берек, не успели... — произнес ван Дам.

Это были последние слова, которые Берек от него услышал.

...В Берлине стоит теплый день. Солнце почти в зените. Но Берек как бы весь застыл, а перед глазами мелькают черные полосы. Откуда людям знать, о чем он сейчас думает? То, что он в счастливом возрасте, — это и так видно. А что на душе — это ведь скрыто от глаз.

## НА СУДЕ И ПОСЛЕ СУДА

До Моабитской тюрьмы, где проходит судебный процесс над Эрихом Бауэром, Берек намеревался идти пешком, но разбуженная память увела его так далеко, что он забыл о времени. Пришлось вскочить в трамвай, иначе бы он опоздал к началу заседания.

Высекая дугой искры, ярко-желтый трамвай промчался через мост, под которым текла Шпрее, и Берек увидел круглую стену из красного кирпича, огораживающую пятиугольное здание тюрьмы. Зал заседаний суда до того переполнен, что дышать нечем. Заняты и все места для представителей печати. Не так-то просто узнать, кто из публики в свое время был узником, как Берек, а кто выносил и исполнял приговоры. Хотя нет. Не совсем так. Если хорошенько присмотреться, многое можно определить даже по тому, кто как молчит. Не говоря уже о тех, кто отпускает неуместные остроты и шутки, как эти двое, что сидят рядом. Берек испытывал почти физическую боль, но приходится терпеть. Ему уже не раз доводилось слышать от весьма солидных людей: неужели прошлое должно, как тень, следовать за тобой и преследовать тебя? Стали бы они здесь, на суде, повторять свой вопрос?

За те полчаса, что Берек находится в зале суда, Бауэр уже во второй раз отвечает, что он только выполнял приказы. На вопрос, сколько человек было задушено в газовых камерах Собибора, он отвечает, что точного числа не знает, а говорить наобум не в его натуре. Ему напоминают, что эсэсовцы устроили пиршество по случаю уничтожения пятисоттысячного узника Собибора и об этом по телефону рапортовали своему главному шефу Глобочнику, — Бауэр отрицает все это.

Он может подтвердить только то, что телефонный аппарат в Собиборе действительно был. Сперва на почте возле станции, потом на территории лагеря. Само собой разумеется, что пользоваться телефоном могли только офицеры СС. Но неужели он, Бауэр, должен помнить все рапорты, которые при нем отдавались?

О приезде Гимmlера в Собибор он ничего сказать не может. Ничего не помнит. Абсолютно ничего. Ему напоминают: рейхсфюрер, в сопровождении пышной свиты, прибыл специальным поездом 13 марта 1943 года. Роскошные вагоны были замаскированы и снаружи походили на обыкновенные товарные.

За сутки до этого из Люблина на грузовых машинах доставили двести молодых красивых еврейских девушек. Их не сразу отвели на «небесную дорогу», а загнали в барак, там они переночевали, а на следующий день он, Эрих Бауэр, в присутствии Гимmlера, загазовал их.

Бауэр сидит с таким видом, будто слышит об этом впервые. Поэтому не приходится удивляться, когда он отрицает, что за эту акцию рейхсфюрер повысил его в чине и наградил орденом. Бауэру кажется, что награждение было уже после Собибора, в Италии. Там он воевал против партизан. Кстати, обращает он внимание суда, немало немцев сложили там головы, и по сей день никто не знает, где истлели их кости. Что было бы, если бы и он оттуда не вернулся? Выходит, единственная

его вина в том, что пуля его миновала?

Бауэра спрашивают, кто первым в Собиборе включил мотор, подававший газ в камеры, а поскольку он молчит, судья зачитывает выдержку из его показаний на предварительном следствии. «Мотор, снятый с подбитого танка, в лагерь привез, установил и включил Эрих Фукс». Бауэр подтверждает: да, это так, но как долго Фукс пробыл в Собиборе, он не знает. Возможно, что неполный день или даже считанные часы. Фукса он больше никогда не встречал и потому не запомнил его.

Признает ли он себя виновным в том, что задушил сотни тысяч людей?

Нет, своими руками он никого за горло не брал. Его дело было включить мотор для подачи газа в камеры на время сеанса.

Прокурора интересует, что в данном случае означает «сеанс»?

Бауэр пожимает плечами. Неужели требуются еще какие-либо разъяснения? От напряжения лоб у него покрывается испариной. Он отвечает:

— Я бы сказал, промежуток времени с той минуты, как двери герметически закрывались, и до той, как их открывали. Загрузка и выгрузка камер ко мне отношения не имели.

Прокурор спрашивает:

— Кем загружали камеры?

— Узниками.

— Живыми людьми?

— Нам объяснили, что это люди неполноценные, вредные для рейха.

— Я спрашиваю, — повторяет прокурор, — живыми людьми?

— В приказах они значились как неарийцы, недочеловеки, враги рейха.

В третий раз повторяется тот же вопрос:

— Живыми людьми?

— Да. Живыми людьми.

— Как долго длился такой сеанс?

— Это зависело от контингента. Старикам, больным достаточно было десяти — двенадцати минут.

— Вы их сортировали?

— Нет. Но большинство было ослабленных.

— С детьми вы тоже так поступали?

— С детьми у нас возникали затруднения, да и моторы расходовали больше горючего. Обычно матери прикрывали детей собою, а сквозь смотровое окошко трудно было установить, живы они еще или нет.

— Бывали ли случаи, чтобы из газовых камер выгружали еще живых людей?

— Редко. Случалось, что на свежем воздухе кое-кто снова начинал дышать, шевелиться, подниматься.

— И тогда для них устраивали второй сеанс?

— Ко мне они уже не попадали.

— Куда же они попадали?

— Их оттаскивали в сторону и, когда набиралось побольше, приканчивали.

— Каким образом?

— Пристреливали.

— Так произошло и с двумястами девушками из Люблина?

После долгой паузы Бауэр начинает рассказывать:

— С люблинскими все было иначе. Это был необычный контингент. Все молодые, здоровые.

Несмотря на это, перед газованием их разделили на две партии. Первый сеанс был обычным, а при втором, когда привели самых красивых, рейхсфюрер приказал включать и выключать моторы через определенные интервалы. Сам рейхсфюрер Гиммлер так приказал. Операция заняла втрое больше времени.

По залу пронесся шепот и заглох, оставив после себя гнетущую, напряженную тишину. В такой тишине непременно что-то должно случиться. И вдруг послышался протяжный, мучительный стон:

— А-а-а-а...

Это не выдержал Берек. Так стонут, когда не хватает воздуха, когда тебя душат, душат... К нему направились, пробивая себе дорогу локтями, двое — полицейский и врач с чемоданчиком. Те, что сидели поближе, слышали, как доктор сказал полицейскому:

— Ваша помощь не требуется.

Страж порядка отступил назад, но вскоре вынужден был пустить в ход локти еще более энергично. С возгласом: «Боже мой, это же все ложь! Мой муж такой хороший, такой благородный» — жена Бауэра бросилась к его конвоирам. Полицейский преградил ей дорогу.

К скамье подсудимых пробилась девочка лет четырнадцати, видимо, дочь Бауэра. Глаза ее полны слез.

На следующий день собравшиеся в зале судебного заседания выслушали приговор, вынесенный обвиняемому западногерманскими судьями:

обергазмейстера из Собибора, Эриха Бауэра, за то, что на протяжении полутора лет уничтожил при помощи удушающего газа сотни тысяч людей, присудить к «смертной казни через повешение».

Публика, в числе которой находилось немало бывших узников, торжествовала. Многие тогда полагали, что хоть на этот раз верх взяла справедливость. Но они снова ошиблись. Смертный приговор был вскоре отменен. Бауэра осудили на пожизненное тюремное заключение.

Пятнадцать лет спустя Берек Шлезингер опять встретился с «повешенным» лицом к лицу. Это было в Хагене, где Бауэр выступал в качестве свидетеля защиты на так называемом Собиборском процессе или процессе по делу Болендера. Присутствовала на этом процессе и дочь Бауэра. Ей было теперь под тридцать.

А Рина свои пятнадцать так и не перешагнула, и никогда их не перешагнет...

## **Глава седьмая**

### **ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ**

#### **У КНЕВСКОГО**

Наступили осенние дни. Над головой висит свинцовое небо. Из низких облаков моросит холодный дождик. Солнце, выглянувшее за весь день каких-нибудь два-три раза, куда-то торопится и на землю почти не смотрит. Еще вчера листья с деревьев и кустов падали изредка, по одному, по два, а сегодня вдруг закружился желтый вихрь.

В такую погоду не хочется выходить из дому. Но Береку и Фейгеле надо непременно быть у Кневского. И они под одним зонтиком направляются в центр города. По дороге заходят в небольшой ювелирный магазин. Сегодня здесь никого нет. Но все равно владелец магазина не спешит им

навстречу. Он видит: драгоценных камней эта парочка у него покупать не станет. Это им не по карману, а дешевыми бусами он не торгует. Тот, кто понимает толк в таких вещах, знает, что с подделками он, в прошлом алмазных дел мастер, ничего общего не имеет.

Берек просит показать ему колечко с бриллиантом. Просьбу его хозяин выполнил, но при этом осведомился:

— Вы студент, медик?

— Да. А как вы об этом догадались?

— По запаху... От вас пахнет эфиром.

— Вот уже несколько дней, как нам приходится присутствовать на операциях.

— Только присутствовать? С годами, когда станете известными врачами, вы, вероятно, сможете позволить себе приобрести вот такое колечко. — После некоторого раздумья он добавляет: — У ювелиров в ходу такая острота: ум женщины в ее украшениях, украшение мужчины — его ум. Вы, надеюсь, на меня не обидитесь. Молодые не любят откладывать, так что, если есть кому за вас платить...

— Нет. До свидания.

И они идут по улице дальше, прижавшись друг к другу. Надо бы попросить Станислава заглянуть в этот магазин. С ним ювелир так разговаривать не станет. У Станислава совсем другая осанка, другой вид. Ему подадут кресло и посадят на почетное место. В такой фирме иностранцев любят. Правда, не поляков, а американцев.

В доме у Кневского повсюду — на столе, на стульях и даже на полу — лежат старые газеты и журналы. Хозяин дома как бы оправдывается:

— Вы спросите, зачем рыться в бумагах, коль скоро нам и так многое известно? Но американцу Юджину Фушеру и даже пострадавшему от нацистов Штифтеру это «многое» неизвестно. Как-то раз я им показал номер подпольной газеты «Глос Варшави», и Фушер, будто в шутку, заметил: «А что, если мы этот пожелтевший листок пошлем на экспертизу, не фальшивка ли?» Поди расскажи им, что уже через полтора года после начала оккупации в Польше выходило до полутора десятков подпольных изданий, которые передавались из рук в руки, и как гестапо ни свирепствовало, оно сумело обнаружить всего лишь две газеты, а из тридцати тысяч распространителей печати выловило не более десяти.

Вот мне и хочется, чтобы мы с вами перевели некоторые материалы, не то всем моим доводам грош цена. Но прежде всего давайте освободим стол и пообедаем. Домработницу я предупредил, что сегодня принимаю дорогих гостей, и она старалась вовсю.

Во время обеда Станислав объяснил, о каких материалах идет речь. Все это факты, опубликованные в период с 1943 по 1945 годы на польском языке, но читать-то их будут не в Варшаве.

Берек садится за машинку, а Фейгеле диктует.

В здании Гданьского института гигиены специальная комиссия по расследованию обнаружила мыловаренную фабрику, где немцы изготавливали мыло из тел замученных жертв. На фабрике найден металлический котел с частями человеческих тел, стерилизаторы для варки человеческих костей, ящик, полный человеческой кожи, огромное количество костей рук и ног и около двух килограммов мыла, изготовленного из умерщвленных людей. На фабрике действовала экспериментальная «лаборатория» по изучению методов производства такого мыла. «Лабораторией»

руководили немецкие «профессора» Шпанер и Вольман.

Агентство Полпресс сообщает, что возле Хелма обнаружен гитлеровский лагерь смерти. В 1940 году в этот лагерь привозили арестованных поляков, венгров, румын, чехов и словаков. Гитлеровцы убивали свои жертвы в душегубках. Одежду убитых они сортировали и отсылали в Германию. Трупы сжигали в специальных печах.

Специальный суд в Лодзи осудил на смертную казнь «фольксдойче» Сидонию Бейер. Во время оккупации она была надзирательницей в лагере для еврейских детей. Больных детей она «лечила» следующим образом: выводила зимой на мороз, раздевала догола и поливала холодной водой. Множество детей погибло.

Эти факты подтвердили несколько детей, оставшиеся в живых и вызванные в суд в качестве свидетелей

## ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ...

Легкая, подвижная Фейгеле, диктуя, ходила по комнате взад и вперед. Берек взглянул на нее и не смог удержаться, чтобы не воскликнуть: «Какая ты красивая!» И хотя она моментально отпарировала: «Язык у тебя без костей, но приятная ложь иногда дороже денег», лицо ее просияло. Во всем ее облике было столько очарования, что Кневский, окинув их теплым взглядом, подумал: «Пара что надо!»

— Пане Станиславе, — обратилась Фейгеле к Кневскому, — материал о судебном процессе в Линебурге надо тоже диктовать? Там говорится об адвокатах, вступающих в сговор с военными преступниками.

— Печатать, непременно печатать! С такими адвокатами мы столкнемся еще не раз. Вы бы послушали, как из шкуры лезут, чтобы обелить «профессоров» Шпанера и Вольмана! Мне нужно, чтобы чиновники, с которыми я имею дело, увидели написанное черным по белому. Они говорят: «Немцы не признают, что такие злодеяния имели место, а пострадавшие не могут быть объективными в своих показаниях». Это они теперь не признают. А вот гитлеровские главари — те признали, что угнали и превратили в рабов миллионы мирных жителей. По признанию рейхскомиссара Украины Эриха Коха, опубликованному в январе 1943 года в газете «Дойче Украине-цайтунг», в Германию отправлено 710 тысяч украинцев. По заявлению «Управления по использованию рабочей силы», которым руководил нацист Фриц Заукель, опубликованному в фашистской «Минскер цайтунг», за 1942 год было отправлено в рейх из восточных областей около двух миллионов человек. Это же невероятно, но факт, что из двадцати миллионов жертв, понесенных Советским Союзом в войне с гитлеровской Германией, почти половина погибла не на поле боя, а была расстреляна, сожжена...

Завтра я покажу Штифтеру фотографию бывшего офицера бригады имени Домбровского в Испании Пинхеса Картина, известного под именем Анджея Шмидта. В оккупированную Польшу он также отправился добровольцем. Это было в январе 1942 года. К сожалению, до восстания он не дожил, — эсэсовцы его убили. Но он был одним из организаторов антифашистского блока в Варшавском гетто и первым там возглавил вооруженные боевые группы. Когда я об этом рассказал Штифтеру, он на меня посмотрел так, будто все это я сам только что придумал. Ему, конечно, трудно было поверить, что человек, находившийся на свободной от немцев земле, добровольно отправился в самый ад, в Варшавское гетто.

— Что, собственно, изменится от того, что еще один человек узнает правду? — не могла понять Фейгеле. — Иные ее знают, а делают все, чтобы доказать обратное.

— Штифтер может нам еще во многом помочь. В моей картотеке Курт Болендер значится среди мертвых, а Штифтер недавно посоветовал мне поставить против его имени вопросительный знак. Я верю, что шефа «небесной дороги» удастся разыскать, и произойдет это не без помощи Штифтера.

— Легко сказать! Ведь самому Штифтеру ничего плохого Болендер не сделал, чего же ради ему стараться? Разве не так, Берек?

Берек мог бы ей разъяснить, что это не совсем так. Но Кневский сам счел нужным ответить:

— У Штифтера свои счеты со Штанглем. Его в свое время Штангль посадил. И если окажется, что Болендер на самом деле жив, и его поймут, это может послужить ниточкой для поимки Штангля. По некоторым данным, «мертвый» Болендер в мае 1945 года встречался в Австрии как с ним, так и с Густавом Вагнером.

Берек рассказал Кневскому о посещении ювелирного магазина, но Станислав считал, что поиски в Германии награбленных Болендером алмазов не помогут напасть на его след.

— В первые дни моего знакомства со Штифтером, — объяснил Кневский, — я попросил его поручить одному из своих сотрудников заняться ювелирными магазинами, но кольца, на которых по приказанию эсэсовцев были выгравированы слова «Жизнь + смерть», уже давно пошли на переплавку. Что до редких камней, их наверняка вывезли за границу еще во время войны, а если и нет, все равно в витринах выставлять не станут.

— И все же ими торгуют! — упорствовал Берек.

— Даже с самыми крупными торговцами алмазами, а их совсем немного, алмазный синдикат связан только посредством особых маклеров. Прежде чем попасть к покупателю, алмазы проходят через руки многих посредников. Большинство таких торговых сделок совершается не в Берлине, а в Лондоне. Алмазный синдикат ежемесячно устраивает там специальные выставки, и поэтому меня не удивило, что алмаз, который Болендер должен был передать Штанглю для Гиммлера, оказался там.

— Но этот алмаз, — возразила Фейгеле, — мог попасть в Лондон независимо от того, жив обершарфюрер или нет.

— А разве Штифтер этого не понимает? Недавно он допрашивал Эриха Бауэра по другому делу и между прочим показал ему фотографии трех военных преступников и среди них Болендера, которого якобы недавно задержали. Несколько лет назад Бауэр заявил, что Курта Болендера нет в живых, но это ему не помешало спросить: «А каким образом мой шеф попался?» Поездка Берека в Дуйсбург — город, откуда Болендер родом, ничего существенного нам не дала, а вот то, что Штифтер разыскал человека, служившего вместе с Болендером в Бранденбургской тюрьме, подтолкнуло меня поехать в Штеермарк, где я узнал, что бывший обершарфюрер долгое время жил там под фамилией Бреннер. Завтра, Берек, ты пойдешь со мной к Штифтеру. Он как будто напал еще на какой-то след. Но на сегодня, дети мои, хватит. Спой нам лучше, Фейгеле.

— Да что вы! Я, кажется, уже потеряла голос.

— Вы ей не верьте, — воскликнул Берек. — Поет она, да так, что заслушаешься. Впору продавать билеты.

Фейгеле радостно улыбнулась. Она не заставила себя долго упрашивать и запела песню о бездонном синем небе. Станислав и Берек слушали, зачарованные ее пением.

От Кневского Берек и Фейгеле вышли, держась за руки.

## РУКИ НАЗАД

Как только Штифтер дал знать, что, судя по приметам, Болендера видели в Гамбурге, тотчас же туда переехали Берек и Фейгеле. Медицинский институт оба они к этому времени уже закончили, и им помогли поступить на работу в одну из клиник. Квартиру из двух комнат они сняли недалеко от города, в Пиннеберге. Прошло больше года, но ни разу им не удалось встретить человека, даже отдаленно напоминающего бывшего шефа «небесной дороги».

Кневский возвратился в Польшу. И супругам не раз приходила мысль, что пора покинуть Германию. Так бы они и поступили, если бы наконец однажды Фейгеле не примчалась домой возбужденная и с порога не выпалила:

— Я, кажется, видела его. Правда, я его представляла себе несколько иначе.

— Где? — бросился к ней Берек.

— В Эльберштадте. Что ты на меня так смотришь? Задержать его я ведь не могла. Порт большой и разбросанный. Болендер сел в автомобиль, и, пока я схватила такси, его уже и след простыл.

— А почему «кажется»?

— Потому, что в Собиборе я видела его всего лишь один раз. И то от страха закрыла глаза и шептала: «Приходи уж, приходи, страшная смерть». Или ты думаешь, что достаточно было мне взглянуть на рисунок, который ты мне показал, чтобы я его тотчас узнала?

Жители Гамбурга, особенно те, что хотят забыть о всех невзгодах и доставить себе удовольствие, знают дорогу в увеселительный квартал Санкт-Паули. Допоздна кипит здесь подогретое вином веселье. Если кошелек набит, там можно недурно провести время. Недалеко от бульвара в Санкт-Паули Берек и увидел его. Курт Болендер не спеша шел по одной из дорожек, усыпанных красной кирпичной крошкой. Уже несколько часов спустя Берек знал, где он работает и что зовут его теперь Курт Вильгельм Фале.

Иногда люди совершают поступки, которые трудно постичь. Скажем, то, что местом жительства Болендер избрал крупнейший город и порт Западной Германии, еще можно понять, но то, что он поступил кельнером в ресторан, где можно встретить людей со всего света, — уму непостижимо. Сегодня Береку не до еды, но вот Штифтер, оказывается, гурман. Он уселся за стол так основательно, будто только затем сюда и приехал. К тому же курит столько, что дым стоит столбом. Береку хотелось бы знать: чем объясняется его всегдашнее самообладание — и даже при таких обстоятельствах — профессиональным хладнокровием или у следователя и в самом деле стальные нервы? От яркого света и оттого, что Берек не отрывает взгляда от мелькающего по залу оберкельнера Курта Вильгельма Фале, глаза у него устали, и он то и дело щурится. Оберкельнер расхаживает между столиками с важным видом занятого делом человека, знающего себе цену. Черный галстук, манжеты ослепительной белизны.

Наконец настала минута, когда Штифтер откашлялся, прочистил горло и велел передать оберкельнеру, что его просят заглянуть в кабинет в правом углу зала. Болендер, поклонившись, встал у столика.

— Господин Курт... — запнулся на секунду Штифтер.

— Курт Фале.

— Господин Курт Фале, нам хотелось бы пригласить вас к нашему столику. Не беспокойтесь, там, —

Штифтер указал пальцем на общий зал, — будет все в порядке. Сам хозяин заменит вас.

Оберкельнер посмотрел на Штифтера так, будто тот слегка перебрал. Он невнятно поблагодарил за приглашение и повернулся к выходу.

— Господин Курт Вильгельм Фале, — задержал его следователь, — я Иоганн Штифтер, из уголовной полиции. По тому, как у вас изменилось лицо, я понял, что вы верите мне на слово. Все же мне хочется, чтобы вы убедились, — он отогнул лацкан, — но совершенно необязательно тут же закладывать руки за спину... Присядьте.

— Господин Штифтер, если у вас действительно ко мне дело, я вас слушаю. Что же касается моего лица и моих рук, я попросил бы вас...

— О чем же вы попросили бы меня?

— Чтобы вы отдавали себе отчет в том, что говорите.

— В гестапо один человек, которого вы знаете не хуже меня, говорил уже мне эти слова. И должен признаться, бывали минуты, когда я сожалел, что не послушался. Скажите, этот молодой человек, — и Штифтер указал на Берека, — вам знаком?

— Нет.

— Вы в этом абсолютно уверены?

— Память у меня пока в порядке.

— Тогда я ничего у вас спрашивать не стану, вы нам сами обо всем расскажете. Начать советую вам так: я, Курт... — и назовите свое настоящее имя.

— Господин Штифтер, если вы уверены, что у вас есть основания разговаривать со мной таким образом, то ресторан для этого не самое подходящее место.

— Вы совершенно правы, но вряд ли для вас имеет смысл спешить в другое место. Вы ведь понимаете, что, раз было преступление, будет и наказание...

— Ордер на мой арест никто вам выдать не мог.

— Я его и не просил. Мои коллеги даже не знают, что ради вас я поехал сюда. Пока это наша тайна. Лучше расскажите, как к вам попал алмаз, который потом оказался на Лондонской выставке. Тогда ваша фамилия была Бреннер. Правда, доказать, что этот алмаз продал Курт Бреннер, почти невозможно.

— Господин Штифтер, — оберкельнер продолжал разговор все еще стоя, — допустим, вам удалось бы доказать, что Курт Вильгельм Фале и Курт Бреннер одно и то же лицо, что у меня был алмаз и я его продал, ну и что из этого, в чем моя вина? Разве только — алмаз краденый, в таком случае пусть разберутся и накажут того, кто украл.

— Там, куда мы вас сейчас отвезем, во всем разберутся.

— Господин Штифтер, я не знаю, кто этот молодой человек, но мне не хотелось бы, чтобы из-за недоразумения... Поверьте, я в долгу не останусь...

— Широта вашей природы нам известна. Не так просто было обзавестись бумажкой, что Курта Болендера нет в живых. Но ведь пока вы еще не в колумбарии. Вас, Болендер, будут наказывать не за то, что вы, получив алмаз у Фридриха Шлезингера, должны были его заактировать и сдать, а оставили у себя. Не забывайте, где это происходило и кем вы тогда были. Ваша улыбка, обершарфюрер СС Курт Болендер, фальшивая. Лучшее средство от страха — это делать что-то, но бежать вам не удастся. За многие годы моей работы в полиции бывали случаи, когда удавалось от

меня бежать, но на сей раз — дудки. Если хотите, можете закурить или глотнуть пива. Пожалуйста! Нервным движением Болендер отодвинул от себя стакан, на минутку присел и тут же вскочил.

— А что, господин Штифтер, если я сейчас подниму шум? За столиком возле кабинета сидят четыре английских офицера. Они наши завсегдатаи. Вот я и заявлю им, что вы не Штифтер, а Гиммлер. Вы примерно одного с ним возраста, а если судить по портретам, даже немного похожи.

— Хорошо придумали, Болендер! Но к чему поднимать шум? Я и сам могу их пригласить сюда. Одного из них я тоже знаю. Он служил в штабе Второй английской армии и, наверно, помнит, как части этой армии 21 мая 1945 года арестовали шефа гестапо. Захватили его где-то в пути; разъезжал он, разумеется, под вымышленным именем, переодетый, сбрив усы и с черной повязкой на одном глазу. В ночь на 24 мая во время медицинского освидетельствования он зубами раздавил стеклянную ампулу с ядом, которую держал во рту, и через пятнадцать минут скончался. Это о Гиммлере. Что же касается вас, то молодой человек, — указал он на Берека, — который жил и работал вместе с Фридрихом Шлезингером и взял его фамилию, заявит: «Этого эсэсовца я видел и знаю, чем он занимался в лагере смерти Собибор. Видел все своими глазами». Вы, обершарфюрер, понимаете, что это значит? Разве только в вашем нынешнем состоянии вы не способны здраво мыслить.

— Если молодой человек так заявит, это будет наглой ложью.

— Болендер, неужели вы не слышали или не читали, что еще десять лет тому назад поймали и судили Бауэра, Гомерского? Приходится удивляться, что за вами мы пришли так поздно. Все бывшие узники лагеря уничтожения Собибор, оставшиеся в живых, на вас пальцем укажут.

— Тот, кто был в лагере уничтожения, уже ни на кого не укажет.

— Я тоже так полагал, но, к счастью, ошибался. Кое-кому из осужденных удалось выжить, а палачам Собибора на месте выдали сполна. Будь вы в момент восстания в лагере, первым убили бы не Ноймана, а вас. Окажись там Штангль или Вагнер, тогда вы были бы вторым. Хочу задать вам еще один вопрос, можете считать его неофициальным. Скажите, где сейчас находится Штангль?

— Не знаю.

— Есть основания надеяться, что он скоро попадется. Но взять его хотелось бы мне самому.

Болендер в глубине души уже понимал всю безысходность своего положения и после некоторого раздумья заявил:

— Из персонала лагеря Собибор я знаю, где находится один лишь Карл Френцель.

— Болендер, — впервые подал голос Берек, — про Карла Френцеля нам все известно. Надо думать, что скоро он будет там, где и должен быть.

Штифтер поднялся и подвел черту под разговором:

— Если так, то на сегодня все вопросы и ответы исчерпаны. Пошли, Болендер! Машина у входа.

Пойдете посредине — между мною и этим молодым человеком. Руки назад!

Фейгеле дожидалась в машине. Когда Болендер уже был за решеткой, они с Берексом помчались телеграфировать Кневскому в Варшаву. Домой они добрались поздно ночью.

## Глава восьмая

### СОБИБОРСКИЙ ПРОЦЕСС

#### НЕ ОТВЕЧАТЬ — ТОЖЕ ОТВЕТ...

«Бонн. Одиннадцать бывших эсэсовцев и один младший офицер полиции будут в сентябре месяце переданы суду присяжных в городе Хагене (Федеративная Республика Германия) по обвинению в

массовом уничтожении людей в бывшем гитлеровском лагере смерти Собибор.

Процесс, на котором будут заслушаны тридцать четыре свидетеля, продлится несколько месяцев».

Такое сообщение было опубликовано 22 апреля 1965 года в польской газете «Жице Варшавы».

Об этом же на различных языках писали сотни газет во многих странах: одни крупным шрифтом на первой странице, другие петитом где-нибудь на последней.

Зал, в котором происходит пресс-конференция, высокий, просторный. Портьеры на приоткрытых окнах раздвинуты, и видно, как солнце выплывает из-за облаков. По теневой стороне тротуара движется густой людской поток. Говорят, когда люди предпочитают теневую сторону, это первый признак наступившего лета. Сюда, в город, оно пришло уже давно. Идет последняя неделя июня. Собравшимся объявили, что их просят занять места. Первым к микрофону подошел человек с добродушным смуглым лицом. Длинные до плеч волосы придавали ему вид художника. На мгновение он залюбовался бликами на крыше противоположного дома и не спеша начал свою речь с панегирика солнцу, которое одинаково светит всем людям на земле. Как искушенному оратору, ему не составляло особого труда совершить плавный переход от хорошей погоды к судебному процессу, ради которого почтенные господа и собрались здесь. Но по мере того как он говорил, приподнятый тон его понемногу тускнел.

— Еще в апреле мы объявили о начале судебного процесса над бывшими служащими бывшего лагеря уничтожения Собибор. Да, как это ни неприятно, но это был лагерь уничтожения, лагерь смерти, а не концентрационный лагерь, как некоторые его называют. Кое-кто из зарубежных журналистов и даже у нас в Федеративной Республике сомневается в том, что судебное разбирательство начнется в назначенный срок. Заверяю вас, что на этот раз срок окончательный. Но вот точную дату окончания процесса назвать не смогу. Председатель окружного суда господин Штракке полагает, что это будет 24 декабря. Если это не подтвердится, прошу вас лично ко мне претензий не иметь. Судить людей, как вы сами понимаете, не просто. Это только мифологическая богиня с завязанными глазами и весами в руках спокойно и точно отмеряет каждому заслуженную кару... Мы же не боги. Одни лишь материалы следствия занимают свыше ста томов. Заглянуть в них вы, к сожалению, не можете, но я думаю, что сегодня вы получите некоторую информацию, которая позволит вам объективно осветить этот не имеющий себе равных процесс, как, впрочем, и само восстание.

Оратор сделал многозначительную паузу и продолжал:

— Процесс не имеет себе равных по целому ряду причин. Прежде всего потому, что еще за год и семь месяцев до капитуляции рейха и за девять месяцев до того, как Красная Армия заняла территорию, на которой находится Собибор, пленные, не ожидая помощи со стороны, подняли восстание и сами себя освободили. Понять их и посочувствовать им можно. В то же время следует сказать, что они самовольно приняли на себя полномочия суда и сами вынесли и привели в исполнение приговор над персоналом лагеря. Как могло случиться, что фантастический план восстания осуществился, — это другое дело. Определенные обстоятельства благоприятствовали восставшим. Комендант и некоторые эсэсовские офицеры в это время находились в отпуске, а в их отсутствие, вероятно, в лагере ослабла дисциплина. На руку восставшим было и то, что возглавил их отважный и, надо полагать, опытный военный, успевший за три недели пребывания в лагере завоевать огромное доверие у этой разношерстной массы людей из разных стран.

Каким образом этот советский офицер попал в Собибор, где, согласно приказу Гиммлера, советским военнопленным не полагалось находиться, — остается загадкой. Возможно, кое-кого из вас это заинтересует. Известно, что перепутали маршрут, по которому должен был следовать эшелон. Такое могло произойти по ошибке телеграфиста, железнодорожного диспетчера. Может также возникнуть мысль о том, что это был не просто советский офицер, случайно оказавшийся в Собиборе в тот момент, когда там вспыхнуло восстание. И такие случаи известны. Недавно я читал об одном таком человеке, засланном со специальным заданием в Варшавское гетто.

Оратор оседлал очками тонкий, чуть изогнутый нос, сел за стол и начал рыться в лежавших перед ним бумагах, видимо собираясь зачитать какой-то текст. Но в это время с места поднялся высокий мужчина с ранними морщинами на лбу — это был Берек — и обратился к оратору:

— Господин советник, разрешите мне пока не называть ни моего имени, ни газеты, которую представляю. Вы сказали, что пленные сами себя освободили и что это означало вынести и исполнить приговор до того, как произойдет так называемый законный суд. Но до этого вы справедливо подчеркнули, что Собибор был не обычным лагерем, а лагерем смерти. Почему вы тут же забыли об этом? Кто имел более законное право карать убийц, нежели сами узники, которых гнали в газовые камеры? На мой взгляд, каждый, кто боролся против фашизма, имел для этого все законные основания. Мне также хотелось бы знать, как понять ваши слова о руководителе восстания? Быть может, загадкой для вас является то, что он и его соотечественники решили спасти не только самих себя, но и всех других узников, кто бы они ни были, к какой бы стране ни принадлежали? — И так как вопрос остался без ответа, он продолжал: — Вы позволили себе бросить упрек героическим повстанцам из Собибора, погибшим и оставшимся в живых, и теперь отмалчиваетесь. Не отвечать — тоже ответ...

Советник поднялся с места и с напускным спокойствием, улыбаясь, сказал:

— Я внимательно выслушал запальчивую речь господина, которого как журналиста я не имею чести знать, и считаю, что экспромт ему не удался. Если бы уважаемый господин не торопился делать выводы, а вдумался в мои слова, они бы, надеюсь, не произвели на него такого впечатления. Я упомянул, что пленных, несомненно, можно понять и что им можно также сочувствовать. Это, я вижу, вас не удовлетворяет? Ваше право. — И у оратора неожиданно вырвались слова, которые он, вероятно, не должен был произносить: — Когда вы — вам, видимо, лишь тридцать с небольшим — в первый раз узнали о лагере уничтожения Собибор?

— Очень давно. Мне было тогда четырнадцать лет.

— Прошу прощения, — советник недоверчиво посмотрел в его сторону, — но я полагаю, суд не станет заниматься историей восстания в Собиборе. В противном случае я был бы не вправе высказывать на этот счет какие-либо соображения до того, как дело будет рассмотрено судом присяжных. Вероятно, найдутся историки, которые займутся изучением всего, что связано с подготовкой и ходом восстания. Пожелаем им успеха в этом важном и полезном деле. Если вам будет угодно, я при случае с удовольствием продолжу с вами беседу. Теперь, к сожалению, нет времени. Позвольте обнародовать официальный документ отдела печати при окружном суде города Хагена.

Достопочтенные господа!

В суде присяжных при окружном суде города Хагена в Вестфалии 6 сентября 1965 года начнется

слушание дела по обвинению двенадцати бывших сотрудников СС и полиции в пособничестве при убийстве евреев в лагере уничтожения Собибор (Люблинский округ в Польше) в 1942 и 1943 годах. Судя по обилию материалов, процесс продлится по меньшей мере четыре месяца. Приглашены: тринадцать свидетелей из Соединенных Штатов, одиннадцать — из Израиля и десять — из Федеративной Республики.

Наряду с Треблинкой и Бельжецем Собибор был одним из трех лагерей смерти, созданных руководством СС в конце 1941 — начале 1942 года для осуществления так называемого «окончательного решения еврейского вопроса» («акция Рейнгард») в бывшем генерал-губернаторстве. По имеющимся данным, в Собиборе было уничтожено около 250 000 евреев. Все упомянутые лагеря подчинялись главному командованию, которое возглавлял скончавшийся в 1945 году группенфюрер СС Одилио Глобочник. Лагерем Собибор руководил комендант. В 1942 году им был впоследствии объявленный умершим оберштурмфюрер СС Томала. Его сменил до сих пор не разысканный оберштурмфюрер СС Штангль. После него начальником лагеря был недавно умерший оберштурмфюрер СС Рейхлейтнер. Большинство немецкого персонала лагеря офицерских званий не имело.

Два бывших эсэсовца лагеря Собибор — Эрих Бауэр и Губерт Гомерский — решениями других судов приговорены к пожизненному тюремному заключению.

В октябре 1943 года несколько сот заключенных евреев подняли вооруженное восстание против своих охранников. Восстание было подавлено, лагерь ликвидирован.

Двенадцати обвиняемым на так называемом Собиборском процессе, который начнется 6 сентября 1965 года, вменяется в вину:

I. Бывшему обершарфюреру СС, портье Курту Болендеру из Гамбурга, рождения 21 мая 1912 года, 9 случаев убийства в общей сложности около 360 человек, 2 случая пособничества в убийстве в общей сложности около 86 тысяч человек.

II. Бывшему обершарфюреру СС, помощнику режиссера театра Карлу Френцелю из Геттингена, рождения 20 августа 1911 года,

42 случая убийства большого количества людей,

2 случая пособничества в убийстве в общей сложности около 250 тысяч человек.

III. Бывшему унтершарфюреру СС, владельцу склада Францу Вольфу из Эппельхайма, рождения 9 апреля 1907 года,

1 случай убийства одного человека,

1 случай пособничества в убийстве около 115 тысяч человек.

Обвиняемые находятся в предварительном заключении: Болендер — с 1961 года, Френцель — с 1962 года, Вольф — с 1964 года.

IV. Бывшему обервахмейстеру полиции, каменщику Эриху Лахману из Унтергрисбаха, рождения 6 ноября 1909 года.

1 случай пособничества в убийстве около 150 тысяч человек.

V. ...

Обвиняемым Болендеру, Френцелю и Вольфу вменяется в вину совершение убийств по собственной инициативе, не имея на это четкого приказа. Остальные девять обвиняемых, которым вменяется в вину только пособничество в убийстве, не убивали без приказа.

Оратору поставили стакан воды. Он не спеша сделал несколько глотков и, подняв глаза от бумаги, продолжал:

— То, что я здесь зачитал, а также план лагеря уничтожения Собибор вы получите в отпечатанном виде. Заседания суда будут проходить три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и четвергам. Все выступления будут записаны на магнитофонную ленту, однако пользоваться записями смогут лишь сотрудники суда. Нет, в этом отношении никаких исключений сделано не будет. Допуск для историков?.. Только для тех, кого суд пригласит специально для того, чтобы помочь ему установить истину.

Кто-то в зале довольно громко произнес:

— Официально приглашенные историки изрекают историческую ложь.

Раздался смех. Советнику не сразу удалось утихомирить зал и предоставить слово человеку, который назвался: Станислав Кневский. Польша. Историк.

— Длительное время, — сказал Кневский, — я собираю и публикую материалы о бывших лагерях смерти на территории Польши. Тут бросили реплику, что историки, случается, лгут. Здесь не до смеха, ибо, к сожалению, зачастую так оно и бывает. Если историк берется обелить нацистских преступников, он неминуемо должен лгать. Так, в частности, было на процессах и после процессов над палачами Собибора Эрихом Бауэром и Губертом Гомерским. Господин советник считает, что это к делу не относится, но вы ведь сами вспомнили их сегодня, выходит... Ну хорошо, — сказал он тихо, и кровь прилила к его лицу. — Пусть будет по-вашему. Я только прошу ответить мне на несколько вопросов.

Во-первых. На каком основании вы здесь заявили, что в Собиборе уничтожили 250 тысяч человек? Если эту цифру назвали обвиняемые или их адвокаты, это не означает, что она соответствует действительности. Куда больше доверия заслуживают исследования авторитетных историков ряда стран, которые доказывают, что там уничтожено гораздо больше людей. Это же подтверждают и свидетельства оставшихся в живых собиборовцев. Хочется надеяться, что окружной суд приложит усилия, чтобы установить более точные данные о числе погибших.

Во-вторых. На чем основано утверждение, что восстание в лагере смерти Собибор было подавлено?

Недавно мне удалось разыскать телеграмму, посланную в канцелярию Гимmlера начальником полиции безопасности Люблинского округа 15 октября, на следующий день после восстания. Телеграмма не отрицает успеха восстания. Вот что в ней сообщается: «14 октября 1943 года, примерно в пять часов вечера, в лагере Собибор, в сорока километрах севернее Хелма, произошло восстание. Преодолев сопротивление охраны, повстанцы ушли в неизвестном направлении. Девять эсэсовцев убито, один не найден, один ранен. Двух охранников-иностранцев пристрелили».

Уполномоченному Гимmlера, немедленно прибывшему в Собибор, были переданы фотографии не девяти, а шестнадцати убитых эсэсовцев. Если учесть, сколько офицеров было в так называемом гарнизоне Собибора и что часть из них в тот день находилась в отпуске, то эта цифра вносит полную ясность. При этом надо иметь в виду, насколько эсэсовская охрана превосходила повстанцев в вооружении и выучке, сколько рядов проволоки опоясывали лагерь, в каком состоянии находились и чем были «вооружены» восставшие узники. Самым существенным, однако, является то, что около трехсот узников обрели свободу. Кто же после этого вправе утверждать, что восстание было подавлено?

И наконец, третий вопрос: не считает ли суд, что свидетелем номер один на этом, как вы сами сказали, чрезвычайно важном процессе должен быть руководитель восстания в лагере смерти Собибор. Его адрес вам сообщит любой из оставшихся в живых собиборовцев, в какой бы стране он ни жил. Если угодно, можете записать: Александр Печерский, Советский Союз, Ростов-на-Дону. В других городах Советского Союза живут еще шесть человек, принимавших активное участие в восстании. В Польше проживают... Хорошо, господин советник, я, конечно, понимаю, что не вам решать такие вопросы. Я кончил.

Из польской газеты «Штандар люду», 30 июня 1965 года.

...На Собиборский процесс свидетелей из Польши не вызвали.

Только считанные убийцы из Собибора понесли наказание. Большая же часть из них, как и большинство гитлеровцев, совершивших преступления в Польше, скрываются в Западной Германии. Преступления в Собиборе еще не раскрыты полностью. Главная комиссия по расследованию гитлеровских преступлений в Польше обращается с просьбой ко всем свидетелям и всем гражданам, располагающим такими материалами, передать их в распоряжение комиссии.

Москва, 1 сентября 1965 года, ТАСС.

Корреспондент агентства ДПА передает из Хагена:

В понедельник двенадцать бывших эсэсовцев предстанут перед судом присяжных в Хагене по обвинению в убийстве и содействии убийству 250 тысяч евреев в лагере смерти Собибор в Польше. Главным обвиняемым на этом процессе будет 53-летний портье Курт Болендер.

Большинство свидетелей были «рабочими евреями» в Собиборе и остались в живых благодаря восстанию узников 14 октября 1943 года. В этот день двести или триста евреев с ножами, дубинками, топорами, а некоторые даже с пистолетами и винтовками поднялись против своих мучителей. Во время этого восстания погибло около 20 немецких надсмотрщиков, в том числе заместитель коменданта лагеря. Около 130 восставших погибло от мин, которыми был окружен Собибор, и от выстрелов охраны.

Одиннадцать из двенадцати обвиняемых на Хагенском процессе до «акции Рейнгард» участвовали в так называемой акции по умерщвлению — Т-4.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Днем еще стояло благодатное тепло, но к концу дня на горизонте дольше обычного алел закат; от реки Энепе внезапно повеяло холодом, верхушки деревьев закачались, И обрывок газеты не просто взлетел в воздух, а, будто оседлав вихрь, понесся ввысь.

На следующий день из-за туч пробились клочки серого неба, и ветер немного стих, но все равно норовил по-озорному забраться под воротник, распахнуть полы легких дождевиков, задрать и без того короткую юбку, сорвать еще не увядшие листья.

Два пожилых человека поздоровались, пожав друг другу руки: «Гутен морген», повернулись спиной к ветру и пошли вместе.

— Не кажется ли вам, герр Нойман, что лето с осенью сошлись так близко, что трудно сказать, чей будет верх? — спросил один, и, хотя говорил он довольно громко, второй приложил ладонь щитком к уху.

Старик намеревался сказать своему попутчику еще что-то, но перехватило дыхание, и, чтобы ветер не относил слова в сторону, он, ожидая ответа, также поднес костлявую ладонь к уху.

— Не волнуйтесь, герр Гаульштих, — ответил ему Георг Нойман, — для тех, кто остался жив, и лето еще вернется, и осень не заставит ждать. А вот для моего сына и для вашего брата уже двадцать два года как кончились и осень, и лето, и все на свете. Моему Иоганну не было бы еще и пятидесяти. Его сын, мой внук, уже старше своего отца. Тому двадцати семи не было, когда бандиты топором размозжили ему голову, а теперь хотят во второй раз его обезглавить — и кто же? Ох-ох! Один немец другого...

— Герр Нойман, а вы думаете, что на суде Альфред и Иоганн будут упомянуты?

— Почему же нет? Разве это вас огорчило бы? Наоборот, пусть почаще их вспоминают. Жизнь свою они положили на алтарь фатерланда, а кто о них помнит? За что, спрашивается, им такая участь?

— Жена Альфреда умерла, а его две дочери к суду никакого интереса не проявляют. Отца они даже не вспоминают, будто его никогда у них не было. Зато его внуку, Густаву, видите ли, хотелось бы знать о своем деде как можно больше. Он, возможно, не прочь был бы выступить на суде в качестве прокурора. Живет Густав в Бонне. Как-то раз пришел я к нему, когда он с кисточкой в руках писал транспарант: «Помните 1933 год, протестуйте против чрезвычайного законодательства!» «Густав, — спросил я его, — что было бы, если бы к тебе в комнату вошел не я, а твой дедушка?» Он даже не счел нужным мне ответить, — торопился в бундестаг, чтобы вместе с таким же, как и он, представителем какого-то пацифистского общества, именуемого «Кампанией против атомного вооружения», выразить протест против проекта изменения конституции. И что вы думаете? Их выслушали, а потом, когда бундестаг обсуждал проект, Густав со своими товарищами маршировал по центральным улицам, затем они провели митинг, после чего...

— Он кто у вас?

— Густав? Как — кто? Внук Альфреда.

— Это, герр Гаульштих, я от вас уже слышал. Он что, коммунист?

— Пока нет, а там — кто его знает? Я надеюсь, станет старше — поумнеет. Гаульштихи из поколения в поколение занимались коммерцией, а не политикой. Я ему это напомнил, и знаете, что он мне ответил? Вот вам дословно: «А мне говорили, что не только мой дед, но и вы, его брат, были активным членом национал-социалистской партии. Однако дед преуспел больше. Он был эсэсовцем, а вы всего-навсего капитаном рейхсвера».

— Герр Гаульштих, а до здания суда еще далеко? Когда-то я мог шагать сколько угодно. Было, все было. Меня, если хотите, ничего не брало. А теперь и легкий ветерок с ног сбивает. Если еще далеко, так мы, может, передохнем или остановим такси?

— Нет-нет. Сейчас свернем за угол, а оттуда рукой подать.

В Хагене Берек Шлезингер, не в пример большинству прибывших на процесс, не остановился в новом, только что построенном из стекла и бетона отеле в центре города, а добрых два часа блуждал по улицам и переулкам старой части города, пока не нашел то, что хотел, — тихую и уютную гостиницу.

Привлекла его старинная вывеска у входа, но прежде всего — патриархальный облик трехэтажного дома из красного кирпича. Крыша — двускатная, островерхая. В узкие окна первого этажа вставлены разноцветные продолговатые стекла. Посреди небольшого холла за массивным дубовым столом сидел хозяин — немец в летах. Под слезящимися глазами тяжело свисали морщинистые мешки, говорил он немного в нос. Из его слов Берек понял, что получить комнату в этом отеле не просто.

Охотников до всего, что напоминает былые времена, теперь хоть отбавляй, а здесь, куда ни глянь, сплошь старина. Все стародавнее, забытое. Можно объехать всю Вестфалию, другой такой гостиницы не сыщешь. Приедем, видимо иностранцу, но безусловно владеющему немецким, повезло. Профессор из Бонна, читающий лекции в здешней административно-хозяйственной академии, — многолетний постоялец гостиницы, должен был прибыть еще вчера, и на этот раз на длительный срок, но только что звонили из академии и предупредили, что профессор не приедет. Гость представился и заполнил регистрационный лист: Бернхард Шлезингер из Голландии.

Возможно, что задержится, а может быть, уедет на время и прибудет снова.

— Пожалуйста, пожалуйста, — радушно отозвался хозяин. — Правда, в вашей стране многие считают, что европейское книгопечатание изобрел не мой соотечественник и однофамилец Иоганн Гутенберг, а голландец Лоренц Костер, но надеюсь, что мы с вами будем жить в мире и согласии. В отеле, где всего тридцать четыре номера, желательно, чтобы все жильцы чувствовали себя как дома. Есть еще мансарда. Живут там студенты, и от них больше убытка, чем дохода. Комнат было всего сорок, но без современных удобств; пришлось дом реконструировать. Ваш номер будет стоить сорок восемь марок в сутки. Если господин Шлезингер пожелает, он может питаться в ресторане — здесь же на первом этаже. Зал маленький, но большинство постояльцев довольны. Прошу, вот ваш ключ, господин Шлезингер!

Деревянные ступеньки скрипят и так навощены, что немудрено поскользнуться. Берек поднимается к себе на третий этаж. Медная ручка на дверях номера надраена, в ее ярком блеске можно видеть себя, как в зеркале. В комнате — деревянная кровать, у изголовья — маленькая тумбочка и на ней, рядом с ночником, — Евангелие. Посреди комнаты — стол, два стула, а в углу возле небольшого гардероба — старинное кресло, обтянутое черной кожей.

В Хагене Берек готов был ко всяким неожиданностям, но что уже на второй день он у дверей гостиницы столкнется лицом к лицу с отцом Ноймана и родным братом Гаульштиха — этого он никак не ожидал. Они шли по одной и той же улице, в один и тот же дом. У стариков слух неважный, и разговаривают они громко, так что он невольно слышал каждое их слово, все их «да-да», «ох-ох». Нет, в суде он постарается сесть подальше от них.

## ВОСКРЕСШИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

У входа в окружной суд толпится народ. Никто не выказывает нетерпения, так как известно, что, пока не откроют двери и не впустят всех желающих, процесс не начнется. Так издавна заведено, так будет и на этот раз.

Не успел Берек переступить порог зала, как у него замерло сердце: Болендер, Френцель, Дюбуа, Вольф... Собибор снова перед ним.

О том, что Болендер после войны «преобразился» в мертвеца, а шестнадцать лет спустя воскрес, — Берек знает, но Вольф? Еще когда Берек в первый раз услышал фамилию этого убийцы в числе подсудимых, он был поражен. Ведь слесарь из Лодзи Генрих Энгель железным прутом уложил его на месте. А может быть, то был другой палач, с такой же фамилией? Кажется, так. В Собиборе было два брата Вольф. Один другого стоил. У того, что сидит сейчас на скамье подсудимых, у Франца Вольфа, на одном плече всегда висел автомат, а на другом фотоаппарат.

Вернер Дюбуа — тот самый штабсшарфюрер СС, что 14 октября 1943 года был начальником караула. За минуту до того, как вспыхнуло восстание, он еще орудовал плеткой на апельсиплаце. Ему

удалось построить всех по пять человек в ряд, как вдруг он заметил, что несколько узников идут за ним следом, и схватился за кобуру, но от удара по голове упал как подкошенный. Из его же, Дюбуа, парабеллума Шубаев всадил в него пулю. Этот выстрел и послужил призывом к мести. Удержать разъяренных людей было уже невозможно. В это время раздался приказ Печерского: «Все к дому офицеров!»

Лишь на пресс-конференции Берек узнал, что Дюбуа выжил, и вот теперь он сидит рядом с остальными палачами, и до него рукой подать. Выглядит он моложе своих лет, держится скромно, тихо. До чего же эти палачи умеют прикидываться овечками!

Первые слова, которые Берек записал в свой блокнот, были: «Понедельник, 6.9.65, зал 201».

Если бы процесс проходил в зале 1 или 2, Береку незачем было бы делать пометку. Четырехэтажное здание Хагенского окружного суда довольно велико, но не настолько, чтобы в нем помещались сотни залов. Тогда потребовалось бы помещение высотой еще на добрый десяток этажей или же вытянутое вдоль всей улицы. Если власть имущие всерьез захотели бы привлечь к ответственности всех военных преступников, не пустовали бы, надо думать, и сто залов. Тем более что такие процессы длятся месяцами, а то и годами. Для земли Северный Рейн — Вестфалия такой «домик» с сотней судебных залов был бы весьма кстати.

На скамье подсудимых сидят не двенадцать, а одиннадцать человек. Среди них нет бывшего унтершарфюрера СС Эрнста Цирке. Он прислал письмо, в котором сообщил, что повестку в суд получил своевременно, но не может прибыть к указанному сроку, так как страдает диабетом и проходит курс лечения. На рецептурном бланке врач госпиталя в Цале подтвердил, что Эрнст Цирке действительно болен и должен находиться под медицинским наблюдением еще дней восемь — десять. Разобрать подпись врача и занести в протокол его фамилию не удалось, и все же принимается решение: «До тех пор, пока состояние здоровья обвиняемого Эрнста Цирке не позволит ему явиться в суд, дело его выделить из остальных».

Представителей печати, телевидения и кинохроники предупреждают: через пять минут всякого рода съемки в зале суда прекращаются. Десятки фотоаппаратов и кинокамер нацелены на скамью подсудимых. Первый справа — главный обвиняемый Курт Болендер — шеф газовых камер в Собиборе. Рядом с ним Вернер Дюбуа, единственный из обвиняемых, которому не пришлось добираться издалека, — он живет в Швельме, близ Хагена. Следующий — Карл Френцель. Он отвернулся, чтобы не попасть в фокус фотоаппаратов. Возле него сидят Эрих Фукс, Альфред Иттнер и Роберт Юрс. Остальные пятеро — во втором ряду.

Нельзя утверждать, что каждый из палачей занимает место соответственно его «заслугам». Иначе Францу Вольфу следовало бы занять третье место, а не последнее, одиннадцатое. Было ли заранее установлено, кому куда сесть, — сказать трудно, но, как только подсудимые вошли, Курт Болендер поспешно уселся на переднее, самое броское место с твердым намерением ни за что его не уступить. Френцель же всегда считал, что место, которое он занимает, и есть самое почетное. С Френцелем у Болендера старые счеты, и, возможно, поэтому между ними протиснулся «тишайший» Дюбуа. Одеты все так, будто собрались в театр. Болендер и Френцель — в светлых костюмах, ярких галстуках, а из верхних кармашков пиджаков торчат отутюженные платочки — у одного белый, у другого темно-красный.

Обвиняемые сидят за барьером. Барьером же будут отделены и свидетели. Но пока они еще у себя

дома. Их вызовут после того, как будут заслушаны обвиняемые. Справа прокуроры: доктор Шермер из Дортмунда и его помощник прокурор Зельцер из Хагена. С левой стороны — места защитников. Секретарь суда берет в руки молоток. Не в первый раз приходится Береку бывать на судебных разбирательствах в Западной Германии, и он почти уверен: прежде чем ударить молоточком и торжественно возвестить: «Суд...», он непременно кашляет. Так было и на этот раз. Когда все поднялись со своих мест, в зал вошли председатель окружного суда Штракке, заседатели-советники суда Кнейст, доктор Хеллер и шесть присяжных разного социального положения. В случае, если придется заменить кого-либо из заседателей или присяжных, на «скамье запасных» сидят советник суда Флейшер и двое присяжных.

Председатель и заседатели — в черных мантиях, на которых сверкают белоснежные воротнички. Занял свое место председатель суда, сели и все, кто был в зале. Шум понемногу утихает. Судья трижды ударяет молоточком и тише обычного объявляет:  
— Судебное разбирательство начинается!

### ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НИКЧЕМНОЙ ЖИЗНИ...

Пепельные волосы Болендера гладко причесаны. Лишь у висков еле заметные залысины. На его узкокостном лице — ни морщинки. На здоровье, видно, жаловаться не приходится. В свои пятьдесят три года он еще может похвастать чуть ли не юношеской стройностью. Только немногие давние его знакомые знают, что всю жизнь он считал себя обойденным, так как состояние, оставленное ему покойным отцом, досталось отчиму.

И хотя это состояние было мизерным по сравнению с тем, что «обиженный» приобрел впоследствии, Болендера с детства не покидала надежда рассчитаться с отчимом. Тому же удалось раньше пасынка стать верным слугой фюрера и занять такой пост, что связываться с ним было рискованно. И хотя Курт был не из робких, он вынужден был молчать. Болендер — человек, страшный особой коварностью.

Главное же в нем было — жажда власти. Даже среди своих у него не было друзей, — он всех рассматривал с позиции собственного недостижимого превосходства. Его добродушный вид, лицо святоши многих ввели в заблуждение. Там, где надо было, он умел улыбаться, производить впечатление отзывчивого человека, но змеиное жало у него всегда было наготове.

Штурмовые отряды были словно специально созданы для него и ему подобных. Его заметили, оценили и в числе избранных командировали на курсы по подготовке первых специалистов для строго секретной отборной эсэсовской части «Мертвая голова».

Некоторые сослуживцы еще не успели освоить и половины «учебной программы», а Болендеру уже доверили роль непосредственного исполнителя акции «эвтаназия Т-4». Сам он не доверял никому и подозрительно взирал даже на свое отражение в зеркале.

Председатель суда спрашивает:

— Что за акция «эвтаназия» и почему ее еще называют «Т-4»?

Болендер щурит глаза. Сейчас он, кажется, пожмет плечами, будто обо всем этом понятия не имеет. Но тут же, как если бы у него внутри сработали потайные пружинки, он вдруг поворачивается направо, потом налево, наклоняется вперед и объясняет:

— Это была акция против душевнобольных.

— Что значит «против»? Больные требуют к себе внимания, нуждаются в лечении, в помощи. Если

болезнь неизлечима, ищут успокоительные средства, чтобы облегчить боль. А может быть, вы открыли лечебное средство — порошки или таблетки — и назвали их «Т-4»? Или же вы применили средство не против болезни, а против больных?

— Да. Это была акция против душевнобольных. Их уничтожили при помощи газа, после чего сожгли. Акция была задумана в канцелярии фюрера на Тиргартенштрассе, 4, и была обозначена начальной буквой названия улицы и номером дома.

— А что это за «Колумбусхауз»?

— В этом доме сперва размещался центр по руководству операцией «Т-4».

Судья спрашивает Болендера, приходилось ли ему бывать в берлинской канцелярии фюрера. Да, отвечает он, как и все, кто состоял в этой команде, один-единственный раз, по служебным делам, разумеется. Бывал ли он в Заксенхаузене? Этого он не помнит. Лагеря уничтожения, если только такой был на самом деле, он не видел, в противном случае он бы запомнил, чем этот лагерь отличается от всех остальных, в которых ему приходилось работать или бывать. Первый опыт он получил в лазарете Бранденбургской тюрьмы. Там ему не понравилось. Вместо того чтобы самому отдавать приказания он вынужден был подчиняться старшей медицинской сестре. Ослушаться ее он не мог, так как начальник тюрьмы приходился ей близким родственником. Она была некрасивой; несмотря на это, он вынужден был играть роль влюбленного. Она сама «освобождала от никчемной жизни» душевнобольных, после чего он их сжигал. Однажды она на него разозлилась и сунула ему в руку лопату, и, вместо того чтобы выполнять свои обязанности, он должен был вскапывать огород. Этого, разумеется, он не мог стерпеть и вынужден был обратиться с жалобой к своему непосредственному командиру Францу Паулю Штанглю.

История эта ему хорошо запомнилась, так как вся его карьера тогда висела на волоске. В ответ на запрос начальник Бранденбургской тюрьмы сообщил, что... он просит извинения. Если суду это неинтересно, он может не продолжать, только хотел бы, чтобы в протоколе было зафиксировано, что в свое время он категорически отказывался сжигать тела убитых немцев.

Курт Болендер поправляет свой новый галстук и платочком протирает и без того чистые очки в массивной оправе. Кто посмеет утверждать, что он, Курт Болендер, личность второстепенная? Сколько внимания уделяют ему в первый день процесса, намного больше, чем всем остальным обвиняемым. Не зря председатель суда начал допрос именно с него.

Нет. Предъявленных ему обвинений он не признает. Его руки никогда не были в крови. Он сам пострадал. Он был осужден на суде в Кракове и отправлен в Данцигский штрафной лагерь на девять месяцев. Судью интересует, за что его осудили? Болендер с достоинством отвечает: это несущественно. Он не обязан рассказывать всем о вещах сугубо личных, интимных, касающихся его одного. Да, из-за женщины. Он попросил свою приятельницу дать суду показания в его пользу против его бывшей жены... Как ему удалось после суда получить два ордена? Он полагает, что обязан этим Францу Паулю Штанглю и главному инспектору всех трех лагерей уничтожения — Собибора, Треблинки и Бельжеца — штурмбанфюреру СС Кристиану Вирту, которые дали о нем положительные отзывы.

Снова он утверждает, что ни о каких двухстах пятидесяти тысячах умерщвленных газом в Собиборе не знает. Абсолютно ничего. Что это за «небесная дорога»? Он был начальником третьего сектора, или же, как его именовали, третьего лагеря, но ни о каких «небесных дорогах» знать не знает. Две

большие ямы он после возвращения из отпуска видел, а как же могло быть иначе? Время было летнее, стояла жара, кругом было полно мух и всякой другой нечисти. Они забирались в каждую щелочку. Вызывали у всех ужас и омерзение. Как же можно было не закапывать мертвых? Председатель суда призывает Болендера не отклоняться от темы, а отвечать на вопросы, которые ему задают.

— Эсэсовскую форму вы носили всю войну?

— После суда в Кракове меня из СС исключили.

— И больше вы ее не надевали?

— Надевал.

— Самовольно, значит. Как же это вам удалось?

— В штрафном лагере не сделали пометки в документах о том, что меня исключили из СС.

— Как вы называли свою собаку в Собиборе?

— Бари.

— А еще как?

— Не помню.

— Собаку вы называли «Менш» — «Человек». Вы ее науськивали: «Менш, хватай собаку!», и она набрасывалась на жертву и перегрызала ей горло.

— Ничего подобного. Собака сама бросалась на все, что быстро двигалось.

— Для этого вы подгоняли узников плеткой или же стреляли из пистолета?

— Подгонять было необходимо, так как шли они медленно, а на железнодорожную станцию прибывали все новые эшелоны.

— Кого вы застали в Собиборе, когда возвратились туда после восстания?

— Из моих прежних коллег там никого уже не было. Не застал я также и рабочих команд.

— Куда делись узники, которые были заняты на работе в лагере?

— Тех, кто не успел бежать, и тех, кого поймали, расстреляли.

— Что предприняли лично вы?

— Мне приказали доставить евреев из других лагерей, чтобы замести следы Собибора.

— Вновь прибывшие сделали свое дело, а потом?.. Я жду, отвечайте на вопрос.

— Мы вынуждены были выполнять приказы.

— Вы их убили?

— Их убили.

— Лично вы в них стреляли?

— Я тогда уже воевал в Италии против партизан, как же я мог расстреливать в Собиборе?

— Вы могли это сделать до Италии. Не так ли?

— Не знаю.

— Почему вы после войны свою фамилию Болендер сменили именно на Бреннер?[20] Вы не отвечаете. Я поставлю вопрос по-другому. Это связано с тем, чем вы занимались в Бранденбурге и Собиборе?

— Да.

— По документам вы числитесь умершим?

— Это моя бывшая жена объявила меня умершим.

- И получает за вас пенсию?
- Возможно.
- Документ о том, что Курт Болендер погиб, раздобыл Курт Болендер?
- Не помню.
- Вы признаете, что лично принимали участие в девяти случаях уничтожения в общей сложности около трехсот шестидесяти человек?
- Нет.
- Кто же убил этих людей?
- Все, что мне было известно, я рассказал на предварительном следствии.
- Мы еще, Болендер, напомним вам, что вы тогда говорили...

## **ВИНОВЕН ИЛИ НЕ ВИНОВЕН**

Пока судья занят Болендером, Френцель может себе позволить кое о чем поразмыслить. Карл Френцель еще и поныне преисполнен гордости, как и тогда, в годы войны, когда он был обершарфюрером СС. Это Болендер каждый раз, когда называют его имя, вскакивает как от удара бича и вслушивается в слова судьи, чтобы, не дай бог, ни одного звука не пропустить. Плохо, когда человек не умеет сохранять достоинство. Оружие в руках держал, а пороху, видать, не нюхал. Он, Карл Френцель, не вскочит с места как ужаленный. Он поднимется степенно и на заданные вопросы будет отвечать спокойно, неторопливо. Говорят, Болендер не дурак. Отчего же он стоит у барьера с растерянным видом? Будешь держаться приниженно, глядишь, и на голову сядут. Он что, разума лишился? Позор!

Френцель смотрит надменно, как подобает военному, словно не он здесь под стражей. Широкие плечи расправлены, взгляд — суровый, ледяной. Только когда оглашали обвинительное заключение, он еле сдержал ярость. Он еще должен хорошенько подумать, что ответить на вопрос, признает ли он себя виновным. И вообще, в чем и перед кем виновен? При аресте у него отняли его широкий, потертый от долгой носки ремень с надписью на бляхе «С нами бог». Может, они всерьез полагают, что ему взбредет в голову наложить на себя руки. На это пусть его недруги не рассчитывают. Перед богом, который уберег его в Собиборе, он не согрешит, не станет его обманывать. Что до тех, кто творит над ним суд, он волен вести себя с ними, как посчитает нужным. От адвоката Рейнча он знал, кого ему следует опасаться, а кого нет. Да, с адвокатом ему, кажется, повезло: возможно, не в меру речист, зато ему ничего не стоит доказать, будто мороз на дворе оттого, что печь не топлена, и все, что ни делалось в лагерях уничтожения, шло на пользу тем, кого убивали. Этот краснобай может все. А на что способны прокуроры, еще неизвестно... Одно ясно — высшая мера исключена. Умирать Френцелю не хочется. А там — время покажет. Если бы прокуроры обладали властью, бундестаг не принял бы решения, открывающего перед бывшими эсэсовцами двери в бундесвер. Когда это было? В 1956 году. А три года спустя были легализованы эсэсовские так называемые «традиционные союзы». Но ни тот, ни другой закон не идут ни в какое сравнение с законом, принятым бундестагом 26 июня 1961 года. Эту дату Френцель запомнил настолько хорошо, что может назвать ее, даже если его разбудят среди ночи. Кто бы мог подумать?! Приняли закон об обеспечении пенсией бывших эсэсовских офицеров! Чего же после этого стоят все эти прокуроры? Когда к барьеру подойдет унтершарфюрер СС Франц Вольф, он определенно будет все отрицать. Может, и ему, Френцелю, вести себя точно так же? Вольф ни одним правдивым словом не

обмолвится. Интересно, как бы повел себя его брат, Ганс Вольф, окажись он перед судом? Они оба служили в Собиборе. Ганс был более прытким, нежели Франц. Это он научил его, Френцеля, одним ударом выбивать у заключенных золотые зубы изо рта. Силы в кулаках Френцелю еще и теперь не занимать. Дай ему только волю, он и сейчас взял бы весь мир за глотку и сжал так, что тому и не очухаться. Только теперь он уже научен, — живых свидетелей не оставил бы ни одного.

Свидетелям только кажется, что они все знают. Но ведь по ночам их держали за семью замками. К казино никто из них даже близко не подходил. Нет, один из них, кажется, там бывал. Тот самый голландский живописец, который рисовал его, Френцеля, портрет. Портрет этот висит у него дома над большим аквариумом. Их у него пять — чудесных аквариумов, которым цены нет. Редко у кого найдутся аквариумы с такой оригинальной воздушной вентиляцией и освещением, как у него. Золотых рыбок он любил с детства. Но больше всего он любил наблюдать, как вода в углу шумит и пенится. Один из аквариумов, самый маленький, стоял у него в Собиборе. Мастера, изготовившего его, он сам передал в руки Геттингера. Геттингер был тогда заместителем у Болендера. Но какое это имеет отношение к портрету? А! В тот день, когда художника вместе с большой группой голландцев должны были отправить на тот свет, портрет не был готов. Это позволило голландцу прожить еще две недели.

Писал он его в казино. Сам Болендер привел туда живописца, но так или иначе схем загрузки газовых печей он видеть не мог. А если даже видел? Он все равно мертв. А мертвые тем хороши, что ничего не расскажут и никому претензий не предъявят. В последний час своей жизни узники Собибора могли кричать сколько им угодно перед стадом гусей. Но на всякий случай, на другой день после восстания, и гусей прирезали.

Как же он, Карл Френцель, допустил, чтоб остались живые свидетели, пусть даже один из них? Вот за что его действительно надо было строго наказать. Так же, как и его начальника. Больше, чем на один день, никого не следовало бы оставлять в рабочих командах. Но кто бы тогда шил одежду и обувь для офицеров, выполнял ювелирные работы? А много ли успеет за один день золотых дел мастер? А портные — дошить сегодня то, что вчера начал другой? Да и подыскать квалифицированных мастеров было не так-то просто. Одни отлично знают свое ремесло, но не признаются в этом. Другие толком ничего не знают, а выдают себя за специалистов. Жулики! Для чего, собственно, все это им было нужно? Разве только, чтобы отложить на день прогулку по «небесной дороге». Евреи! Проклятые евреи!

Те, кому не приходилось служить в СС, по сей день считают, что, если над нами не свистели пули, нас не посылали на фронт, нам не приходилось идти в атаку, значит, нам было легко. Ведь всех нас чуть не перебили. В Треблинке тоже вспыхнуло восстание, но не такое, как в Собиборе. Такого, кажется, нигде не было. Потому и свидетели остались. Френцель от напряжения наморщил лоб: неужели нельзя было всего этого избежать?

А собственно говоря, слишком уж жаловаться на судьбу не приходится. Много ли найдется в мире людей, которые могут похвалиться, что они загнали в газовые камеры не сто, не тысячу и даже не десятки тысяч, а сотни тысяч мужчин, женщин, детей. Да, да, сотни тысяч. Кому-кому, а ему отлично известна пропускная способность газовых камер. Моторы работали бесперебойно, как хорошо налаженный часовой механизм. Курт Болендер может теперь сколько угодно стоять, беспомощно опустив руки, втянув голову в плечи и кусая губы. Все это не более чем игра, придуманная им самим

или же подсказанная адвокатом. Не будь Болендера, и Вагнеру, и ему самому, Френцелю, нечем было бы похвастаться. Таким талантом, такими заслугами перед фатерландом, перед фюрером Болендер действительно может гордиться.

Не только суд, но и адвокат Рейнч, на которого ему, Френцелю, приходится в известной мере рассчитывать, никогда не узнают, что еще в конце весны 1943 года, в тесном кругу, в казино, отмечали памятную дату: в Собиборе был уничтожен пятисоттысячный еврей. Правда, в эти полмиллиона вошли не только те, кто был задушен газом, но и те, кого расстреляли, забили до смерти, затравили собаками, закопали заживо, кто погиб в пути, не доезжая Собибора. Те, кто умер от голода и холода. Кто покончил с собой. Так или иначе, но отмечать было что!..

При таком размахе работ, естественно, невозможно было обойтись без обслуживающего персонала. Минимум двести человек требовалось на сортировке и упаковке одежды, отправляемой в рейх. Нужны были также люди, чтобы строить. В лагере постоянно строили — то склады, то сторожевые вышки, то помещения для охраны. Да, есть что вспомнить!

Таить все в себе, молчать Френцелю намного труднее, чем высказаться. Но лишнего слова от него не услышишь. Тем более теперь, в таком месте, — тут надо быть осторожным, как никогда. Даже в мыслях. Итак, виновен или не виновен? Да и перед кем виновен? Перед фюрером? Это не пришло в голову даже уполномоченному Гимmlера, прибывшему в Собибор на другой день после восстания. Ввести в заблуждение рейхсфюрера, прибегнув ко лжи, тогда, двадцать два года тому назад, никто не посмел. И если бы уполномоченный Гимmlера пришел к заключению, что персонал лагеря виноват, никого из них, и его, Френцеля, в том числе, уже давно на свете не было бы. Кто угодно мог сидеть на скамье подсудимых, только не эти одиннадцать, что находятся здесь сегодня. Рейхсфюрер никаких защитников не стал бы слушать, да и кто отважился бы взять на себя такую роль? Приговор Генриха Гимmlера никто не стал бы отменять. Его власть была безгранична.

Френцеля даже в дрожь бросает. Для него мог бы наступить конец не в сентябре 1965 года, а еще тогда, в октябре 1943-го, не в Федеративной Республике, а в третьем рейхе. Зарубцевавшаяся было рана снова заныла...

Так виновен или не виновен?

Суд идет своим чередом, а у Френцеля будто заложило уши, он ничего не слышит. Он отгородился от окружающего и ушел в себя, в свой внутренний мир, куда, слава богу, никому пока доступа нет. Ему есть о чем думать, что перебирать в своей памяти. Прошлое так и ищет выхода, просится наружу. Когда у него появляется охота рассказывать, дети и внуки слушают его затаив дыхание. Тень на его лице хотя и медленно, но постепенно рассеивается. Подобно тому, как пылинки кружатся в полосе солнечного луча, пробившегося сквозь замочную скважину, каруселью закружились мысли. Густые свисающие брови приподнялись, глаза заблестели. Все это в прошлом, но он почувствовал, что прошлое согревает и бодрит его.

Вступить в СС его уговорил брат, ученый-теолог. Вначале Карл смотрел на него так, будто тот не в своем уме. А потом, потом он стал сторонником фюрера.

В Собиборе он почувствовал себя на своем месте. Только уж очень не хотелось ему, чтобы кто-то, лишь потому, что раньше его вступил в СС, им верховодил. Оставаться в тени и чтобы тебя подгоняли кнутом — это не для него. Он уже и тогда не был мальчиком — и все же решил начать сначала, как говорится, с нуля. С раннего утра допоздна он махал топором, орудовал рубанком.

Заготавливал сруб для газовых камер. Никогда прежде он так тяжело не работал. Одно его заботило — чтобы никто плохо о нем не отзывался. Все шло по-задуманному. Комендант лагеря Франц Штангль его заметил и однажды, задержавшись возле него, спросил, не хочет ли он стать дезинфектором.

— Что надо будет делать? — спросил Френцель.

— Сжигать тех, кого удушили газом. Для этого в вашем распоряжении будет рабочая команда. Каждый день новая. Сегодня отработала, назавтра — сама в костер. Ну как? — Штангль не приказывал, он только спрашивал. И это надо было ценить.

— Яволь, господин оберштурмфюрер!

Первое время сам он, Карл Френцель, никого не душил, не расстреливал. Он только старательно вырывал у задушенных золотые зубы изо рта. Когда-то он не мог видеть, как убивают на сцене или на экране, а тут — ничего. Кое-кто из его коллег, а более всего их адвокаты, утверждают, что, выполняя такую «работу», они сами переживали и таким образом частично искупили свою вину. Ерунда. Ему нервничать не приходилось. Вначале он золотые зубы сдавал Гансу Вольфу. Но уже на шестой, нет, на пятый день у него появился свой расчет. Каждый десятый зуб он оставлял себе. Затем каждый девятый. Пока не остановился на твердой норме — одну четвертую часть — не больше и не меньше — из того, что попадало к нему в руки, он считал своей собственностью. Он не сомневался, что другие, хотя и не возились с золотыми зубами, похитили у рейха куда больше, чем он.

Тоска по тем временам будит в нем воспоминания, и нет им конца. Летом 1942 года ему было приказано выехать в Хелм на «военную учебу». Так это называлось в предписании, но стрелять из орудий и пулеметов не довелось. И маршей там не совершали, не обучали и командовать. А было вот что: в подвалах гестапо на живом «материале» проходили специальный учебный курс.

Перед тем как он должен был вернуться в Собибор, ему выдали новенькое форменное обмундирование, парабеллум с тупой деревянной рукояткой и пачку газет «Дас шварце корпс»[21] от 20 августа. Эту дату он хорошо помнит, так как в Собиборе распространял газету среди офицеров. Один экземпляр он оставил у себя, сохранил и время от времени перелистывал. Он и сейчас помнит наизусть напечатанное там высказывание Гимmlера, которое он, Френцель, впоследствии процитировал в присутствии рейхсфюрера. «Наша задача состоит не в том, чтобы германизировать Восток в общепринятом смысле слова, то есть не обучать проживающих там людей немецкому языку и немецким законам, а заботиться о том, чтобы на Востоке жили люди только истинно немецкой, германской крови».

Это было 13 марта 1943 года. Сам Генрих Гимmlер поставил в пример верного служения фатерланду и фюреру обершарфюрера Карла Френцеля. Да, да, обершарфюрера, никакой ошибки тут не было. С помощью цитаты, потребовавшей менее одной минуты, чтобы произнести ее, Карл Френцель вдруг был возведен в то же звание, какое было у заместителя Штангля — Густава Вагнера. Конечно, можно сказать, что это лишь случай, но к этому он долго готовился. Он знал, что скоро, очень скоро оправдает свое возвышение и что Собибор только ступенька его служебной лестницы, по которой он будет подниматься все выше и выше.

Так бы все и было, если бы его восхождение неожиданно не оборвалось. В тот проклятый день октября сорок третьего года, когда как гром среди ясного неба вспыхнуло восстание.

Так что ж, виновен или не виновен?

Будь он виновен, сам Гиммлер не пощадил бы его. И не помогла бы его более чем преданная служба. «Более чем преданная», потому что он не только пунктуально выполнял приказы — иначе и быть не могло, — но и проявлял немало собственной инициативы.

О содеянном он не жалеет. Это чувство ему незнакомо. Совесть его не мучила ни тогда, ни сегодня. Если его что-нибудь и беспокоит, то отнюдь не тени тех, кого он уничтожил. Теней нечего бояться. А вот бывшие пленники Собибора, которых он не успел отправить на тот свет, — те и без суда могут убить его. Вполне возможно, что кое-кто из них находится сейчас в зале или же где-то на улице у здания суда. Таких, сказали ему, осталось еще человек сорок.

В зале кто-то грохнул стулом. Френцель обернулся и встретился с таким ненавидящим взглядом, что невольно вздрогнул.

Через день или два все они будут стоять перед ним. Узнает он кого-нибудь из них? — вряд ли, а вот они его — непременно. Один, другой, десятый и невесть еще сколько будут тыкать в него пальцами — вот он, Карл Френцель, убийца, палач. Ну и пусть тычут. Они-то живы, уничтожал он других. Как смогут они это доказать?

«Как?» Коль скоро им удалось вырваться из его рук, нечего теперь спрашивать «как?». Сапер, говорят, ошибается раз в жизни. Сапером он никогда не был, но разве с ним не произошло то же самое?

Стоял знойный летний день. Лето сорок третьего в тех краях вообще было на редкость жарким. Одно-единственное облачко блуждало по небу, как бы подчеркивая его голубизну. Лагерь же был опоясан широкой полосой дымного тумана. Из леса доносился шум — валили деревья. Он расстегнул воротник, ослабил ремень и поспешил к эшелону, прибывающему из Чехословакии. Вагоны быстро очистили. И лишь один старикашка, тощий, как высушенный лист, еле тащился. И он резанул его плеткой раз, другой: «Поторапливайся, ты, старая падаль, проклятый юде!» Старик нагнулся, набрал полную горсть пыли, растер ее, высыпал и медленно, подчеркивая каждое слово, промолвил: «Как эту пыль, развеют ваш пепел».

Тогда он тут же забыл эти слова. Но после Нюрнбергского процесса старик этот не раз являлся ему во сне, снова и снова повторяя: «Как эту пыль...»

Прошел год, другой, и все стерлось из памяти. Не станет ли старик теперь опять являться ему во сне и дразнить по ночам, а оставшиеся в живых свидетели — три раза в неделю во время суда — по понедельникам, вторникам и четвергам?..

Кто они, эти свидетели? Кто бы ни были, их не следовало оставлять в живых. Уж лучше бы не трогать этого старика, не стрелять в него — седого и немощного, он и без того окошел бы, — а разрядить пистолет в того, кто заварил всю эту кашу, именуемую «восстанием в лагере Собибор». Тот ведь тоже однажды вздумал дразнить его, Френцеля, почему же он не прикончил его на месте? Думал, еще успеет.

Виновен, Френцель! Еще как виновен!

Если так случилось, что по чьему-то недосмотру эшелон из Минска, который должен был отправляться в Треблинку, или Бельжец, или еще черт знает куда, попал в Собибор, надо было всех до единого из этого эшелона, вне всякой очереди, в тот же день удушить и сжечь. Правда, над ним тогда стоял Вагнер. Но его нетрудно было уговорить. Так нет же, до этого не додумался.

Одному лишь Теобольду, старшему сыну, рассказал Френцель, что, как только до него дошла весть о восстании в лагере, он тут же понял, чьих рук это дело, кто им заправляет. Трудно поверить, что он мог дать себя одурачить. Ведь подозрение закралось, а предпринять ничего не предпринял. Более того: если среди военнопленных тот тип еще до прибытия в Собибор слыл героем, то Френцель возвысил его в глазах всех остальных лагерников.

Был конец сентября. Прибывшие из Минска работали в Северном лагере уже третий или четвертый день... Еще месяц, и они с поднятыми руками будут шагать по дороге к газовым камерам. Капо Бжецкому было приказано дать им тупые топоры, а поленья — дубовые. Сам он только что проводил одного человека в Геттинген — передал с ним для жены маленькую, но очень ценную посылочку. Настроение у него было приподнятое, но что он будет делать в Северном лагере, еще сам не знал. Одно было ясно: тому, кто попадется ему под руку, не поздоровится...

Шел он оживленный, довольный собой, и еще издали взял на прицел двоих из рабочей команды, намереваясь «поиграть» с ними. Приблизившись, убедился, что выбор удачный. С такими приятно забавляться. Одного из них — рослого, статного, хотя и очень худого, в изорванной одежде — он заметил, еще когда прибыл минский эшелон, и разрешил оставить его в рабочей команде. Правда, он делает свое дело умеючи, но это значения не имеет. Второй, низкорослый, близорукий, стоит в задумчивости, как будто решает мировые проблемы. Щуплый голландец — глядеть не на что, только тронь — сразу упадет — однажды уже попадался ему на пути, и Френцель был уверен, что его давно на свете нет. А он — тут как тут. Слабый, надломленный, но стоит на собственных ногах. Френцель на какое-то время забыл о рослом и саданул маленького так, что тот, должно быть, сразу решил все «мировые проблемы». И тут Френцель вдруг почувствовал на себе чей-то острый, как клинок, взгляд. Это на него смотрел тот самый худой военнопленный. Обычно в Северный лагерь обершарфюрера сопровождал капо Бжецкий, так было и на этот раз, и Френцель приказал ему объяснить наглецу, что если тот за пять минут справится с поленом, получит пачку сигарет, в противном случае будет избит до смерти.

Работа заняла у заключенного четыре с половиной минуты, но от пачки сигарет он отказался. — Спасибо, не курю.

Френцель по сей день помнит, как разыграла в нем кровь.

Теобольд не мог понять, к чему была вся эта игра? И если он уже держал парабеллум в руках, то почему опять вложил его в кобуру?

Не понимает Теобольд, что его отец, который долго размышлять не привык, никак не мог решиться и выбрать для этого рослого пленного подходящую смерть. День — одно, на другой — другое, но все, кажется, не то. Пока однажды, когда они поздно ночью сидели в казино, он не рассказал о своих колебаниях Иоганну Нойману. Что Ноймана надо остерегаться, он знал — и все же не скрыл от него, что в лагере знают об этом случае и смотрят на того пленного как на героя. Капо Шлок донес, что у евреев был религиозный праздник — судный день — и многие плакали, молились, просили своего бога, чтобы он сотворил чудо и спас их от гибели. А один неверующий сказал своему земляку: «Ты не бога проси, а русского командира Сашка. Уж он не станет дожидаться, когда его, как ягненка, поведут на убой. Он скорее сможет нам помочь». На что тот ему ответил: «Вот мы и просим бога, чтобы он помог русскому командиру и всем, кто с ним заодно».

Нойман сказал такое, до чего другой бы не додумался:

— Пока не трогай его. Давно пора всех уничтожить и сформировать новые рабочие команды. Мы этого Сашка заставим гнать по «небесной дороге» в газовые камеры всех тех, кто остался от минского эшелона. Это я беру на себя. Вижу, мой план пришелся тебе по душе?  
Еще как! Если бы тогда Френцелю предложили пойти в отпуск, он, пожалуй, отказался бы. Это должно было произойти 16 октября, а 14-го... Что теперь твердить — виновен или не виновен? Еще как виновен! Сегодня же он попросит Рейнча сделать все, чтобы этот Сашко не появился на суде.

### «В ИНТЕРЕСАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ»

У барьера Карл Френцель. Сейчас ему придется отвечать на вопросы. До этого он еще успевает повернуться лицом к открытому окну и взглянуть на небо. Солнце сияет по-прежнему. Что ж, может, и впрямь не так страшен черт, как его малюют.

— Обвиняемый Карл Френцель, вам вменяется в вину, что в сорока двух случаях вы непосредственно участвовали в убийстве неопределенно большого числа людей и содействовали убийству примерно двухсот пятидесяти тысяч человек. Вы согласны с предъявленным вам обвинением?

— Нет. Это неправда.

— Вы были членом национал-социалистской партии?

— Да.

— То, что вы служили в Собиборе, признаете?

— Да.

— Расскажите подробнее, как вы там оказались.

— Я служил в строительном батальоне, но как отца троих детей меня вскоре демобилизовали. Все мои товарищи были на фронте, и я подал заявление, чтобы и меня призвали. Мою просьбу удовлетворили.

— Это означает, что вы доброволец?

— Да. Но я просил, чтобы меня послали на фронт.

— А попали вы куда?

— В «Колумбусхауз», в штаб по руководству акцией «Т-4», а уже позже — в Собибор.

— Чьи приказы вам приходилось выполнять в Собиборе?

— Всех назвать невозможно.

— Все же? Попытайтесь назвать несколько имен.

— Оберштурмфюреры СС Томала и Рейхлейтнер вас, вероятно, не интересуют?

— Почему?

— Потому, что их уже нет в живых. Это вы и без меня знаете. Могу еще назвать Франца Пауля Штангля, Густава Вагнера.

— Еще кого?

— Еще кого? Обершарфюрера СС Курта Болендера, что сидит рядом с Вернером Дюбуа.

От неожиданности Болендер вскакивает с места и растерянно смотрит на Френцеля. Что ж это такое? Бросается на своих и как шавка готов в любую минуту цапнуть за ногу? Этот жалкий балаганщик хочет выставить его, Болендера, на посмешище, опозорить?

В зале поднялся шум, хохот.

Когда Болендер сел на место и зал утихомирился, председатель суда, иронически улыбаясь, спросил:

— Подсудимый Карл Френцель, какие приказы в свое время отдавал вам Курт Болендер?

— Разные. Разве упомнишь?

— А что, у Болендера было не такое же воинское звание, как у вас?

— Заслуг у него больше, чем у меня, но и грехов тоже. Скорее его можно было наказывать за махинации с золотом и бриллиантами, чем за то, что он вынудил человека давать ложные показания против своей жены, — чеканил Френцель каждое слово, — но оказалось, что в Собиборе трудно было найти ему замену. Болендер уже был обершарфюрером, когда я ходил в рядовых эсэсовцах, и мое быстрое продвижение по службе он, очевидно, по сей день не может мне простить.

— Ваши личные взаимоотношения суд не интересуют. Какие обязанности вы выполняли в Собиборе? В каком отделении вы служили и чем там занимались?

— В предлагагерном. В лагерях номер один и номер два. Последний назывался Северным лагерем. Я был надзирателем над рабочими командами и станционной командой.

— Каким образом доставляли людей в газовые камеры?

— Их туда гнали прямо из железнодорожных эшелонов.

— Предлагагерное отделение они могли миновать?

— Ни в коем случае. Там они должны были быстро раздеться, якобы для того, чтобы идти мыться.

— Все это они делали по доброй воле?

— Им ведь говорили, что их поведут в баню. Многие верили. Но были и такие, которые не хотели выходить из вагонов. Кое-кто медлил, а нам надо было как можно скорее разделаться с прибывшими эшелонами.

— Значит, вам приходилось встречаться с заключенными еще на железнодорожной станции, возле платформы, и, если они что-то делали не так, как от них требовали, вы им по-хорошему объясняли, как надо себя вести?

— По-хорошему? Далеко бы мы ушли, если бы по-хорошему. На этот вопрос я уже не раз отвечал, а вы...

— Подсудимый Карл Френцель, призываю вас к порядку. Каким образом вы заставляли людей идти от железнодорожной платформы до газовых камер?

— По-всякому.

— Били их?

— Не всегда.

— Если не слушались, вы избивали или расстреливали? Отвечайте!

— Я лично ни в кого не стрелял.

— У вас была своя ферма в Собиборе?

— Не понимаю.

— Вам непонятен вопрос? Ферма, которая поставляла лично вам свинину? Гуси в лагере были?

— Да.

— Почему вы застрелили заключенного, обслуживавшего ферму?

— Я его не застрелил. Я хотел припугнуть его за то, что он плохо обходился с божьими тварями.

— Тогда скажите, кто и за что этого человека расстрелял?

— Геттингер. Заместитель Болендера. Этот случай я как раз запомнил. Потому что позже, в казино,

Геттингер орал, что у гусей знатная родословная, они Рим спасли, а тут какой-то еврей смеет плохо с ними обращаться.

— Кем были ваши родители?

— Мать — домашняя хозяйка, отец — служащий на железной дороге. — Глаза у Френцеля сузились, его передернуло, и он с раздражением спросил: — Это тоже имеет отношение к делу?

— Все имеет отношение. От железнодорожной платформы до газовых камер вы все время подгоняли людей, и стоило им на секунду замешкаться, как тут же на них набрасывались и избивали. Чем вы можете это объяснить?

— Если бы мы этого не делали, они бы догадались, что их ждет, и стали бы сопротивляться или же вели бы себя беспокойно и затрудняли нам работу.

— Вы хотите сказать, что это также делалось в интересах заключенных?

— !!!

## СПЕЦИАЛИСТ

— Вернер Дюбуа, вам предъявлено обвинение в том, что вы содействовали убийству сорока трех тысяч человек. Отвечайте: кто вы по специальности?

— Мастер по изготовлению кистей для рисования. В настоящее время работаю слесарем. Моей мечтой было стать испытателем автомобилей.

— Что же вам помешало осуществить свою мечту?

— Этому помешали различные обстоятельства. В Заксенхаузене это частично мне удалось. Мой начальник получил тогда новый «мерседес».

— Еще чем вы занимались в Заксенхаузене?

— Перевозил трупы, помогал сжигать их.

— Убивали их в вашей машине?

— Нет, нет. Те автомобили были совсем другие. Если это интересует суд, я могу рассказать.

— Рассказывайте, только как можно короче.

— Это были тяжелые грузовые автомобили с оцинкованным изнутри кузовом. Задние дверцы кузова закрывались герметически. Отработанные газы двигателя через специальное отверстие в полу поступали в кузов.

— Вы, видно, специалист в этой области. За преступления в Бельжецком лагере смерти вас судили?

— Меня и еще шестерых из тех, что сидят здесь со мной на одной скамье...

— Если нужно будет, этих шестерых спросят. Вас наказали?

— Нет. Никаких документов о том, что я служил в Бельжеце, не обнаружили. Я как бы постоянно числился в резерве. Как только кто-нибудь уходил в отпуск, я его замещал.

— Когда вы сняли мундир эсэсовца?

— Когда? Сейчас скажу. Меня задержали англичане. Тогда я еще носил эсэсовскую форму.

Англичане меня отпустили. После этого я работал шофером у американцев. Тогда я уже носил штатскую одежду.

— Пока больше вопросов к вам не имею.

— Пожалуйста. Спрашивайте. Я человек не гордый. Я всегда стоял за прочный, строгий порядок и теперь готов подчиняться любому порядку, установленному властями, армией или судом.

— Вы состояли в национал-социалистской партии?

— Да. Это было неизбежно, — при этих словах Дюбуа опустил брови, как будто его гнетут тяжелые думы. — Нужна была сверхъестественная сила, чтобы этому воспротивиться. Такое тогда было время.

## СТОРОННИК ЗАКОННОСТИ

Шестидесятидвухлетний продавец автомобилей из Кобленца Эрих Фукс с несвойственной его возрасту живостью вскочил со своего места на скамье подсудимых. Он пригладил волосы у висков, провел рукой по трехъярусному загревку. То, что он сидит на скамье подсудимых, не более как недоразумение. Судьи в этом сами скоро убедятся. Он изъездил многие страны и ни в каких нечистоплотных сделках, к тому же связанных с риском, никогда не участвовал. Это ему ни к чему. Он противник всяких коммерческих махинаций. Не сдержат слово, сфальшивить — это исключено! Ловчить, обманывать — дело нехитрое. Но на обмане далеко не уедешь. Он всегда был сторонником законности, правопорядка. И во время войны он был всего-навсего маркитантом. В торговых кругах его хорошо знают. У него там, это он может смело утверждать, — авторитет. Расовая ненависть, особенно ненависть к евреям, ему всегда была противна. Юдофобы вызывают у него отвращение. Берек слушал, и ему казалось, что этот пустобрех с плутоватыми глазками может молотить языком целый час и никто его не остановит. Его и не думают прерывать.

Но всему приходит конец.

— Обвиняемый Эрих Фукс, к судебной ответственности вы привлекаетесь впервые?

— Поверьте, что на таком судебном процессе мне приходится быть впервые.

— На «таком» — верим. А все же?

— С коммерсантом всякое бывает. Друзей мало, а врагов хоть отбавляй. Что стоит оболгать невинного? Все как будто идет так, что лучше не надо, и вдруг... Тогда и паук на стене даст показания против тебя, а при случае и вовсе со света сживет.

— О каком случае вы говорите?

— О 1933 годе. Я тогда работал у евреев, в издательстве Ульштейна, и обо мне написали, что я прислужник евреев: будто в моем присутствии кто-то из служащих нелестно отозвался о пасторе Штеккере — теоретике антисемитизма в Германии, — а я промолчал. Более того, будто я сказал, что евреи такие же, как все мы, только немного другие.

— Какое отношение все это имеет к коммерции? Хватит. Из издательства Ульштейна вас уволили?

— Да. Я был вынужден вступить в нацистскую партию и надеть форму штурмовика.

— Ясно. В чем состояло ваше участие в акции «Т-4»?

— Мое дело было доставлять почту и продукты. С юных лет я был хорошим шофером.

— В чем заключается эта акция, надо полагать, вы знали?

— Представьте себе, нет. До меня это дошло позже, чем до остальных. И, узнав, я страшно испугался.

— Чем вы занимались в Собиборе?

— Там я пробыл менее суток и ничем не занимался.

— Тогда зачем вас туда послали?

— Мне приказали доставить в Собибор мотор, снятый с подбитого русского танка.

— С какой целью?

— Этого мне никто не сказал. Я там переночевал и на завтра возвратился в свою часть.

— Нам, подсудимый Эрих Фукс, известно, что вы первым в Собиборе включили мотор, который нагнетал газ, и таким образом удушили три тысячи шестьсот человек.

— Когда? За одну ночь?

— Когда? Это вы сами знаете. Если вы забыли, вам подскажет тот, кого вы научили уходу за мотором. После этого ваш преемник уже сам продолжал работу.

— Эрих Бауэр и есть тот паук, и ему ничего не стоит сжить со света ни в чем не повинного человека. Но его-то я меньше всего боюсь. Когда в 1950 году его судили в Моабитской тюрьме, он заявил, что меня не помнит. С тех пор прошло пятнадцать с лишним лет, как же это он вдруг вспомнил?

— Его ответ на этот вопрос нам известен. А вы ждите, когда он сам об этом скажет в вашем присутствии. Чем вы занимались после войны?

— Работал во французском секторе шофером и по воле случая опять у еврея.

К концу допроса Фукс как-то заметно слинял, от первоначальной его самоуверенности и живости мало что осталось.

## КАК ПО МАСЛУ

Последним в первый день судебного процесса допрашивали обершарфюрера СС Альфреда Иттнера. На предварительном следствии он признал, что принимал участие в убийстве пятидесяти семи тысяч человек. Ему и вопросов задавать не пришлось. Улыбаясь, он повернулся лицом не к председателю суда, а к прокурору и стал неторопливо рассказывать:

— Во всем, понимаете, виноват мой двоюродный брат, занимавший видное место в нацистской иерархии, — он был главным казначеем. Кузен вдруг вспомнил, что я ему не чужой, и меня, подсобного рабочего, устроил бухгалтером в одной из зарубежных нацистских организаций. Оттуда прямая дорога вела к акции «Т-4».

— Почему? — спрашивает председатель.

— В самом деле почему? — удивляется и Иттнер.

— А вы знали, — спрашивает далее судья, — что это за акция?

— Как вам сказать? — повел Иттнер плечом. — В общих чертах.

В Собиборе Иттнер был и регистратором, и ревизором, составлял опись ценных вещей, отобранных у узников, проверял кассу, находившуюся не только в несгораемых шкафах. Все, что было реквизировано у узников, подлежало отправке в рейх, и этим ведал Иттнер. Он признает, что, как и всем его коллегам, ему жилось вольготно. Прежде всего они думали и заботились о себе. То, что имели дело с безоружными людьми, придавало им уверенность, что с войны они вернутся целыми и невредимыми. До этого чудовищного события — восстания, всколыхнувшего Собибор, — у него, у Иттнера, все шло как по маслу.

— Мы привыкли к тому, что обреченные плачут, вопят, но никому в голову не могло прийти, что они могут решиться на такое. К тому же...

Но председателя суда, господина Штракке, должно быть, не интересовало, что еще хочет рассказать Иттнер. Он только спросил:

— Как относились к вам ваши коллеги по Собибору?

— Большинство — хорошо. Они же знали — то, что я напишу пером, не вырубишь топором. При этом ведь и я рисковал. И в немалой степени.

Из помещения суда Берек вышел вечером, но на площади, недалеко от центра, было светло как днем. Люди научились освещать все, что им надо, что им выгодно. В витринах магазинов горят огоньки, словно тлеющие угли, с которых только что сдули пепел. На большой вывеске сверкает золотом надпись «Распродажа». Куда ни повернись, на тебя глядят манекены с протянутыми руками. Обыкновенные стекляшки сверкают у них на пальцах, как бриллианты. Кто как может расхваливает свой товар.

И хотя выставленные вещи уже не пользуются спросом, вышли из моды — на то и реклама. Немые манекены зывают: «Вот эта верхняя сорочка стоила две недели назад двадцать марок, а сегодня — пять. Только пять. Покупайте!» Одни не прочь приобрести такую сорочку, но не унизит ли их покупка вещи, оцененной в четыре раза дешевле? Другим она крайне нужна, но для них и пять марок — деньги. Однако заглянуть в магазин ничего не стоит — а раз уж ты вошел, как же не приобрести вещь за бесценок?

Хаген — старинный город, известный миру еще с девятого века. Туристы охотно приезжают сюда. У них свой расчет. Пусть у немцев эта вещь вышла из моды, зато в другом месте мода еще не прошла, а возможно, и не дошла. Так что манекены свое дело делают, и не зря сверкает позолотой надпись «Распродажа». Спрос большой. Почему же и ему, Береку, не заглянуть в магазин? Это ведь в самом деле ничего не стоит. Нет, сегодня не надо, лучше в другой раз.

В пути, когда самолет или поезд несетя, проглатывая километр за километром, или в шумном городе, особенно на чужбине, груз воспоминаний не давит с такой силой. Сегодня же память снова пробудилась в нем и не дает покоя. После такого дня давние события не кажутся столь уж далекими, и все пережитое неотступно следует за тобой. Если бы можно было стряхнуть с себя груз прошлого, выговориться и покончить с этим раз и навсегда! Но сбудется ли когда-нибудь эта мечта?

Он дошел до перекрестка и даже не взглянул на светофор, два глаза которого были погашены, а третий мигал лениво, как у сонного человека. Голова раскалывается от мыслей, а длинные ноги знай себе шагают по пешеходной дорожке. Так, ни у кого не спрашивая дороги, ни на кого не оглядываясь, он оказался перед отелем.

В ресторане на первом этаже выбор блюд был небольшой. Но Берека это мало беспокоит. На ужин ему достаточно салата из цветной капусты, бутерброда и стакана лимонного сока. Перекусив, он по скрипучим ступенькам поднялся к себе в номер. Раздеться бы и сразу в постель, но на это у него сил не хватило. Он опустился в кресло. В настенном зеркале Берек увидел свое отражение — выглядит он сегодня плохо: усталый, бледный.

Он вдруг ощутил резкую слабость. Еще раньше, когда Берек поднимался по ступенькам, у него кольнуло под сердцем, но боль тут же прошла, и он не обратил на нее внимания. Кто-кто, но он должен был понимать, что такие боли своего рода сигнал. Правда, пульс теперь почти нормальный, в висках стучит не так сильно, а если давит в груди, то оттого, что на душе неспокойно. Своего пациента он бы без труда убедил, что здесь дело не в мнительности, что это куда серьезнее. Лечить должен всегда кто-то посторонний. Кто же его станет лечить? Перед глазами проносятся какие-то фантастические картины. Хорошо, что некоторые из его фантазий осуществляются. В противном случае как удалось бы ему сегодня увидеть на скамье подсудимых Болендера? Этот злодей по-прежнему полон змеиного яда, даже на расстоянии видно; он и теперь, изменись обстоятельства, готов сеять смерть.

Хватит. Уж лучше было бы ему ходить вокруг магазина «Распродажа». Надо принять таблетку и лечь. Если бы не сны, ночь была бы для него самым лучшим лекарством.

## Глава девятая

### ВТОРОЙ ДЕНЬ

#### «ГОЛОСУ РОДИНЫ — ОТКЛИК В МИРЕ»

Из открытой форточки повеяло предрассветной свежестью. В далекие времена, когда Берек о большом городе еще понятия не имел, эта зоревая свежесть проникала в их комнатушку вместе с голосистым пением петуха. Он завернулся в одеяло и снова попытался заснуть. Но вскоре солнце погладило его по лицу и пригласило взглянуть хотя бы на то небольшое из даров природы, что перепадает на долю большого города, — на мягкое светлое утро наступающего дня.

Кто-то по-кошачьи тихо, должно быть на цыпочках, прошел по коридору мимо дверей. Видно, человек чуткий. Воспитанные люди щадят покой других. Для Берека утро всегда было лучшим временем, когда можно поразмыслить над предстоящим делом, посоветоваться с самим собою. Ему вспомнились где-то недавно прочитанные строки: «Тот, кто сторонится радостей, подобен покойнику, осужденному на вечное странствование, ибо даже умалишенный может иногда развеселиться и пуститься в пляс...» И такие, как он, Берек, тоже, конечно, имеют право на радость. Это вовсе не значит, что надо забыть все, что происходило в мире, и примириться с тем, что в нем сейчас происходит. Нет, нельзя глядеть на мир сквозь розовые очки, но не следует и закрывать глаза на все хорошее.

Берек опустил ноги с кровати, привычно пошарил ими по коврику, но ничего не нашел. Наспех собравшись в дорогу, он забыл прихватить с собой тапочки. Невелика беда: пройдетя босиком по комнате и, как в былые времена, ощутит приятную прохладу пола. Правда, тогда это был земляной пол, а теперь воощеный паркет. И он сделал несколько размашистых шагов, распахнул створки и по пояс высунулся в окно.

Пичужка с черными крапинками на белой головке испугалась и, взмахнув крылышками, взмыла ввысь, сделала несколько петель, на мгновение как бы застыла и возвратилась на ветку.

Только теперь Берек заметил, до чего тщательно прибрана комната. Он принял душ, побрился, достал свежую сорочку, цветной карманный платочек и стал одеваться. Сейчас он совершит небольшую утреннюю прогулку, позавтракает и снова отправится той же дорогой, что и вчера, на судебный процесс.

— Гутен морген, герр Шлезингер, — приветствовал Берека хозяин отеля, когда тот спускался по ступенькам.

— Гутен морген, герр Гутенберг.

— Как вам спалось? Некоторые жильцы не любят, когда к ним в окно проникает утреннее солнце.— Все в лучшем виде, герр Гутенберг. Солнце мне всегда по душе.

— Извините, что вчера так получилось с ужином. Я просто не уточнил, будете ли вы у нас питаться. Для жильцов отеля накрывают специальные столики. Вы можете заранее заказать то, что вам нравится. При желании вам принесут еду в номер. Два столика еще свободны. Занимайте, какой хотите.

— Благодарю, герр Гутенберг.

— Не за что. Так у нас заведено.

— Могу ли я пригласить вас позавтракать со мной?

— Сегодня я и без завтрака сыт. Впрочем, чашку черного кофе... Хотите посмотреть свежие газеты? «Вестфаленпост», «Гейматнахрихтен», «Виртшафтланд». Пожалуйста, у нас вы еще можете их получить. В городе, думаю, уже распродали.

— Произошло что-нибудь чрезвычайное?

— В мировом масштабе нет. Но у нас, в Хагене, такое не часто случается. Вы видите снимки в «Вестфаленпост»? Сверху — «На скамье подсудимых», внизу — «Председатель окружного суда Штракке». Сколько лет я читаю «Вестфаленпост» и только теперь оценил значение постоянного девиза газеты: «Голосу родины — отклик в мире». Конечно, грешно иметь что-нибудь против того, чтобы о твоём родном городе писали и говорили как можно больше. Но такие новости его не красят. — Гутенберг огладил свою длинную седую бороду и, попросив прощения у герра Шлезингера за то, что вынужден на короткое время его оставить, удалился.

Берек надел очки, взглянул на фотографии, сделанные перед заседанием суда, и стал читать «Гейматнахрихтен» за 7 сентября 1965 г.

«Курьез на Собиборском процессе: обвиняемый Курт Болендер официально все еще числится умершим.

Хаген. Начавшийся вчера в Хагенском окружном суде процесс по делу об уничтожении 250 000 евреев в лагере смерти Собибор (Польша) в рамках «акции Рейнгард» (так называемое «окончательное решение еврейского вопроса») находился в центре внимания общественности. Печать, телевидение, немецкие и зарубежные радиостанции широко комментируют первый день процесса. Необычный курьез всплыл уже в самом начале. Курт Болендер, один из двенадцати обвиняемых, скрывавшийся после войны сперва в Австрии под именем Бреннер, потом в Гамбурге как Курт Вильгельм Фале, официально зарегистрирован как умерший. Заявление о его смерти, не аннулированное и поныне, сделала его бывшая жена. Когда речь зашла о пенсии для него самого, Болендер снова воскрес.

Сегодня в 9 часов 15 минут суд будет продолжен».

«Виртшафтланд» за 7 сентября 1965 г.

«Удалось выявить лишь 28 бывших узников, разбросанных ныне по всему свету. Начиная с октября они будут давать показания на судебном процессе в качестве свидетелей».

«Строго говоря, на скамье подсудимых он и не сидит, так как официально Курт Болендер мертв. Его жизненный путь начался 53 года назад в Дуйсбурге. Достигнув зрелого возраста, вступил в штурмовые отряды. В 1939 году, по его словам, был призван в СС. После войны зарегистрировался у сельского писаря в горном селении Штейермарк под фамилией Бреннер. Почему Бреннер? Болендер, нисколько не смущаясь, объясняет выбор этой фамилии довольно просто: «Таково было мое прежнее занятие. Не мог же я так легко его забыть».

Все это приведено в отчете Вернера Дидерихса о первом дне судебного процесса. Короткие и острые заголовки метко характеризуют пятерых обвиняемых, допрошенных накануне на процессе:

Умерший — Болендер.

Доброволец — Френцель.

Замещающий отпускников — Дюбуа.

Прислужник евреев — Фукс.

Протеже двоюродного брата — Иттнер.

ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

Столик Шлезингеру герр Гутенберг предложил довольно удобный: отсюда можно видеть всех, тебя же видят только близкие соседи. В зале было не более двух десятков человек. В течение получаса, до того, как двери открывались для всех желающих, право пользоваться рестораном предоставлялось только постояльцам отеля. И так три раза в день.

Кельнер принял заказ и вышел. Берек спросил:

— Так что, собственно, герр Гутенберг, вас тревожит? На такой судебный процесс обычно прибывают люди издалека. Им требуются отели, рестораны. Одни будут расходовать деньги, другие получают доход. Так ведь?

— Так, герр доктор, так. Но мне такие доходы не нужны. Моя дочь Эльза на меня рассердилась и осыпала градом упреков...

— За что? Не понимаю.

— Сейчас объясню. Большинство обвиняемых на свободе. Один из них остановился у меня.

Претензий к нему я иметь не могу, так как он меня об этом предупредил. Сначала я колебался, сдать ли ему номер, но, когда он заявил, что намерен прожить у меня в течение всего судебного процесса, согласился. Я люблю, когда постояльцы живут в отеле как можно дольше. Обычно Эльза в мои дела не вмешивается, но сегодня утром она этого человека узнала по снимку в газете «Вестфаленпост».

— И что вы решили?

— Не знаю, не знаю. Я всегда старался держаться подальше от политики.

— А ваша дочь?

— Эльза? Как когда.

— Чем, собственно, она возмущена?

— О, герр Шлезингер, она мне такое наговорила, что даже доктору об этом не расскажешь. Начала она с такого заявления: «Если бы к тебе пришел убийца или вор, ты сдал бы ему номер?» —

«Эльза, — сказал я ей, — как ты смеешь мне, твоему отцу, задавать такой вопрос?» От досады я хотел хлопнуть дверью и выйти из комнаты, но Эльза встала на пороге и, размахивая газетами, закричала: «На, читай о своем госте! Обервахмейстер полиции Эрих Лахман из Унтергрисбаха участвовал в убийстве не одного, а 150 тысяч человек». И кто меня тянул за язык сказать ей, что Лахман — бывший полицейский. Эльза была вне себя от возмущения и так кричала, я думал, люди сбегутся. «Разве оттого, что твой Лахман «бывший», хоть один из задушенных ожил?»

Вот тебе раз! «Мой Лахман». Можно подумать, что, если бы я не сдал ему комнату, он бы ночевал на улице. Ведь и другие обвиняемые живут в гостиницах. Ко всему прочему она обещала непременно прийти со своими учениками в зал заседаний суда. Пусть дети своими глазами увидят и запомнят убийц. Но это еще не все. Она покажет Лахмана детям и скажет им, что жилье этому бандиту предоставил некий Гутенберг и тем самым опозорил имя великого первопечатника. И что, к сожалению, этот Гутенберг — ее отец. Я видел, Эльза возбуждена, и понял, что лучше не возражать ей, иначе это дорого мне обойдется.

— Герр Гутенберг, где работает ваша дочь?

— Эльза — педагог. Она преподавала литературу в Хагенской высшей инженерной школе. Но из-за своего характера вынуждена была оттуда уйти и с трудом поступила в обычную школу. Уж коль

Эльза на что-то решилась, ничто ее не остановит. Теперь она снова может остаться без работы...

— Зачем же вы с ней спорите?

— Ведь родители у ее учеников люди разные. Одни не станут возражать против ее затеи, другим будет безразлично, но некоторые поднимут такой шум, что директор школы, даже помимо своего желания, вынужден будет предпринять по отношению к Эльзе какие-то меры. Посоветуйте, доктор, как мне избавиться от этого Лахмана?

— Это вы сами должны решить.

— Не так-то просто. Сдавать ему комнату меня никто не заставлял, но спорить с окружным судом мне тоже нет резона. Коль скоро Лахмана сюда вызвали, где-то ему жить надо.

— Только поэтому вы не можете отказать Лахману?

— Как вам сказать? Если бы Лахман нуждался в медицинской помощи, вы б ему отказали?

— Это не одно и то же.

— Я и Эльзу хотел убедить этим примером, но и она мне ответила, что это разные вещи. Как быть, ума не приложу. У нее не только слабые нервы, но и сердце пошаливает.

— Вот в этом я, возможно, чем-нибудь и мог бы ей помочь.

— Я уж было сам подумал, даже хотел вас просить, но пока это исключено. Эльза считает, что все постояльцы, прибывшие к нам за последние дни, не лучше Лахмана. Что же вы, герр Шлезингер, мне посоветуете? Я думал было обратиться к адвокату Лахмана, но разве он мне поможет? Поймите меня правильно, я должен избавиться от Лахмана, успокоить Эльзу. Кроме нее, у меня никого нет. Мой сын, Якоб, бедное дитя, погиб 19 марта 1944 года под Могилев-Подольским у Днестра. Так мне сообщил его командир. А до этого у города Могилева погиб мой старший брат Вилли. Вы случайно не знаете, сколько в России городов по названию Могилев? Два из них я запомнил навсегда.

— Нет, герр Гутенберг, сколько таких городов в России, я не знаю. На днях я в одной газете прочитал, что большой город в Рурском угольном бассейне — Хаген — в 1951 году насчитывал около ста пятидесяти пяти тысяч жителей. За четырнадцать лет прибавилось тридцать с лишним тысяч, а теперь в городе примерно сто девяносто тысяч человек. А в лагере смерти Собибор, писали в этой же газете, уничтожили не менее двухсот пятидесяти тысяч человек. На шестьдесят тысяч больше, чем сейчас проживает в вашем большом городе Хагене... Так можно ли после этого найти оправдание этому Лахману и таким же, как он, убийцам?

— С вами трудно не согласиться, но мне думается, число погибших преувеличено.

— Скорее наоборот, преуменьшено.

— Боже мой! И вы полагаете, что моя дочь права?

— Да. Скажите Эльзе, что сегодня же Лахман покинет ваш дом.

— Собственное дитя нельзя обманывать.

— Так и будет. Дайте мне, пожалуйста, телефон его адвоката.

— Герр доктор, не иначе сам бог подал мне мысль обратиться к вам. Если только вам это удастся...

Берек вышел из отеля и из телефона-автомата позвонил защитнику Лахмана:

— Посоветуйте Лахману немедленно перебраться в отель, где проживают остальные обвиняемые. В Хагене сейчас находится один человек, который помнит его еще по Польше, и не исключено, что Лахману грозит опасность. Если господин адвокат сомневается, то пусть напомним своему подзащитному случай, происшедший весной 1943 года у станции Собибор. Недалеко от

станции Лахман и еще один ээсовец нагнали пастушонка с собакой... Собаку Лахман хотел пристрелить...

— Кто со мной говорит? — спросил адвокат. — И откуда вам известны такие подробности? Судя по акценту, вы скорее немец, чем поляк.

— Это неважно. Мое дело предупредить вас.

— Алло, алло...

Берек повесил трубку. В тот же день Лахман переехал в новый отель из стекла и бетона, в котором жили его коллеги — еще шестеро обвиняемых на Собиборском процессе.

## ДА И НЕТ, НЕТ И ДА

Гиммлер возвысил Штангля, Штангль — Вагнера, Болендера. Не последнее место в этом ряду занимал и Эрвин Ламберт. Когда группенфюреру СС Одилио Глобочнику стало известно, что реконструкция дома отдыха для офицеров лагеря отнимает у Ламберта много времени, он был этим весьма недоволен и сделал выговор коменданту. «Этим могут заняться другие, — сказал он, а Ламберту с улыбкой заметил: — Орлу не пристало гоняться за мухой».

И вот Ламберта поднимают с места для допроса. Стоит он немного ссутулившись, с опущенной головой. Отвечает неохотно и односложно — «да, нет, нет, да». Понемногу все же удается его «расшевелить».

— Когда приступили к осуществлению акции «Т-4», потребовался человек, умеющий свободно читать чертежи. И тогда меня привлекли к работе.

— К какой именно работе вас привлекли?

— Тогда я этого не знал.

— Но все же работали?

— Да.

— В таком случае вы обязаны были знать, чем занимаетесь?

— Нет.

— И так, не ведая того, вы в замке Хартгейм близ Линца построили первую газовую камеру?

— Да, то есть нет.

— Как это понять?

— Я строил, но что там будут делать, не знал.

— Чем вы можете это доказать?

— Тем, что впоследствии камера работала плохо и я вынужден был ее перестроить.

— И на этот раз вы уже знали, что и для кого вы строите?

— Что — да, для кого — нет.

— А в Бернбурге, Хадамаре, Собиборе, Треблинке — там вы знали, для кого и что вы строите?

— Да.

— Лично вам приходилось гнать людей в газовые камеры?

— Нет.

— Ни разу? Попытайтесь вспомнить.

— Кажется, нет.

— Кажется или нет?

— Нет.

- Чем вы занимались до акции «Т-4»?
- Я был строителем.
- А в последние годы?
- Начальником высоковольтной линии в Дюссельдорфе.
- Свое участие в убийстве множества людей вы признаете?
- Нет.

## **КРЫТО**

По внешности, одежде, манерам бывшего унтершарфюрера СС Роберта Юрса можно принять за кого угодно, только не за дворника. Сперва он отвечал осторожно, взвешивая каждое слово, потом разошелся, повел себя развязно, даже нагло, так что председателю суда пришлось призвать его к порядку. Тем не менее он не переставал жонглировать специфическими выражениями завязтого картежника: «Когда двое играют, один должен выиграть, а другой — проиграть», «Тот, кто не годится для карточной игры, не годится и для других дел», «Крыто».

На вопрос, что привело Юрса из Франкфурта в Хадамар и Собибор, последовал ответ:

- Двести сорок марок месячного жалования. — И тут же: — Сумма не ахти какая, но, как говорится, на худой конец и воробей птица.
- Каковы были ваши обязанности в Собиборе?
- Примерно такие же, как у Иттнера. Я составлял акты на конфискованное имущество и давал их Иттнеру на утверждение. В какой-то мере я был его секретарем. До споров у нас не доходило. На службе старшим был он, а в казино я. В игре со мной никто сравняться не может.
- Кто отбирал вещи у заключенных?
- Мне все давали готовым.
- Имеются показания, что вы набрасывались на вновь поступивших в лагерь с криком: «Золото, золото, ценные вещи!»
- Я этого не помню. Разве только мне приказывали так кричать. Но мне, фактически секретарю, никто не мог давать таких приказаний.
- Как часто и на какой срок вы в Собиборе получали отпуск?
- Как все. После сорока двух дней работы — восемнадцать дней отпуска.
- И как все, вы увозили домой золото, деньги и награбленные вещи. Вам это доставалось легче, чем другим.
- Почему легче? Все знают: старшая карта кроет младшую... Другим можно было взять с собой сопровождающих, а я должен был все таскать сам.
- Чем вы занимались после войны?
- Кроме азартных игр, чем еще я мог заниматься?
- У вас есть образование, и вы, по вашим собственным словам, работали также секретарем.
- Секретарем, счетоводом имело смысл работать во время войны, а после... Какая разница? Было бы чем крыть...

## **ФИЛАНТРОП**

Ганс-Гейнц Шютт прямая противоположность Роберту Юрсу. Шютт полон непомерной гордости, и, даже сидя на скамье подсудимых, он прислушивается главным образом к самому себе. Когда его перебивают, останавливают, он злится, угрюмо хмурит брови и дает понять, что в своем городе он и

сейчас у руля. В позе, в жестах, сопровождающих его ответы, — кичливая спесь. Нет, он не простой уполномоченный торговой фирмы, распространяющий ее продукцию по всему миру, а ответственный представитель, он...

Тому, что бывший обершарфюрер СС Ганс-Гейнц Шютт, которому уже пошел пятьдесят восьмой год, и сейчас имеет дело с политикой, вполне можно верить.

По случайному стечению обстоятельств свадьба Ганса-Гейнца совпала с «Ночью длинных ножей». За богато уставленным столом собралось много гостей. Но долг превыше всего, и жених, оставив пиршество, ушел патрулировать улицы.

— С какой целью? — спрашивает председатель суда.

— Чтобы предотвратить эксцессы.

— И это вам удалось?

— Нет.

— В национал-социалистскую партию вы вступили в юности. Чем это объяснить?

— То же самое можете спросить у сотен тысяч. Как мне помнится, партия Гитлера в 1926 году насчитывала 17 тысяч членов, а в 1931 году — свыше 800 тысяч. Нацистская партия привлекала многих. Люди моего возраста это хорошо помнят.

— О чем говорит ваш эсэсовский номер 169099?

— Не знаю. В 1933 году эсэсовские отряды насчитывали 250 тысяч человек.

— Когда вы поступили на службу к Гитлеру?

— Как только фюрер пришел к власти. В конце января 1933 года он получил соответствующие полномочия от президента Гинденбурга. Против Гитлера активно выступали только коммунисты, а я к их партии никогда не принадлежал.

— Суду известен приказ, в котором вы отмечены как лучший из двадцати двух командиров общих эсэсовских частей. Что вы на это скажете?

— Не я решал, кого отмечать, кого наказывать. Я — человек деловой и действительно служил Гитлеру верой и правдой.

— В чем состояла ваша работа?

— Меня направили в управление зерновых и кормовых культур.

— А потом? Почему вы замолчали?

Глядя на Шютта, Берек подумал: не застыли ли слова на его губах? Нет. Тыльной стороной ладони Шютт вытер углы рта, и, словно град, посыпались слова:

— Потом я участвовал в операции «Т-4». Тогда я верил, что эвтаназия — благо. Не я один считал, что селекция, я имею в виду акцию по освобождению психически больных от неполноценной жизни, нужное и важное дело. Здесь, возможно, сказалось влияние литературы, которой я зачитывался с юных лет.

— Какую литературу вы имеете в виду?

— Такая литература в Германии была еще до Гитлера. Мне, например, запомнилась книга Эвальда Мельцера «Право на убийство», вышедшая еще в начале двадцатых годов. Мельцер был невропатологом, мой отец был с ним лично знаком.

— Если я вас правильно понял, вы и не пытались отказаться от участия в акции «Т-4», а, возможно, даже пропагандировали ее и еще похвалялись тем, что вам доверили в ней участвовать.

— Похвалялся? Это исключено! Здесь уже кто-то сказал, что об этой акции в Германии знали не более ста человек. Так оно и было. Пропагандой нацизма занимались другие. Я — человек дела.

— В письме к сыну Юргену перед его конфирмацией вы советовали: когда ты подойдешь к алтарю, думай о том, что труды фюрера благословлены богом, и это служит подтверждением правильности нашего мировоззрения.

— Мне хотелось как следует подготовить его к религиозной церемонии и таким образом приобщить к церкви.

— Но во время конфирмации не обязательно думать о фюрере и его воззрениях?

— В каком духе воспитывать детей — решают родители. В нашей семье все было за распространение влияния церкви и духовенства на жизнь страны. Мой отец был активным деятелем клерикальной партии.

— Здесь речь идет не о вашем отце. Какую должность вы занимали в лагере, созданном в замке Графенек?

— Заместителя начальника лагеря. Я занимался вопросами снабжения.

— А в Собиборе?

— То же самое. В этой области я специалист.

— Что представлял собой Собибор?

— Это был концентрационный лагерь.

— И не более?

— Не знаю.

— А о газовых камерах для удушения людей, о кострах, на которых их жгли, вы знали?

— Этим я не занимался.

— Чем же вы тогда занимались?

— Я ведь сказал — снабжением.

— Чем вы должны были снабжать заключенных?

— Ничем.

— Горючим для моторов, нагнетающих газ, вы должны были снабжать?

— Само собой.

— Вы не задумывались над тем, к чему это ведет?

— Мое дело было верно нести службу. Если бы этого не делал я, делал бы другой. Разница лишь в том, что другой не выполнял бы свои обязанности так же добросовестно.

— После войны, сейчас, чем вы занимаетесь?

— Хозяйственной работой. Я также состою советником общины, членом ратуши. Много времени у меня отнимает работа в Союзе возвращения на родину, спортивном союзе, землячестве, в Наблюдательном совете единой Германии... — На правой руке уже пальцев не хватало, а пускать в ход левую Шютту не хотелось, и он добавил: — А если выдается свободная минута, посвящаю ее филантропии. Да, такой уж я человек.

## ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС

— Обвиняемый Эрих Лахман...

— Яволь, герр председатель окружного суда!

— Обвиняемый...

— Яволь, герр председатель суда...

В зале оживление, смех. Председатель суда сбивается со своего спокойного тона.

— Обвиняемый Эрих Лахман, стойте и молчите. Пока говорю я, вы должны молчать. Когда вы выслушаете мой вопрос, будете отвечать. — Эрих Лахман чуть было снова не произнес свое «яволь», но председатель суда опередил его: — Объясните суду, за что вас, обервахмейстера полиции, когда вы были в Собиборе, осудили на шесть лет и отправили в Дахау в штрафной батальон?

— Я должен объяснить, почему меня отослали в Дахау? Там я недолго пробыл. Со штрафным батальоном я ушел на фронт. Моя вина состояла в том, что я не выполнил приказа о переезде из Собибора в другой гарнизон. Некоторое время я скрывался у одной женщины, но меня разыскали и арестовали. Потом мне сказали, что на мое счастье я не попал в руки эсэсовского судьи Вилли Оструэса. Он мог осудить меня на смертную казнь.

За время службы в Собиборе обервахмейстер полиции Эрих Лахман успел немало: он участвовал в убийстве ста пятидесяти тысяч человек.

Больше вопросов к нему не было, и Эрих Лахман, пригладив слипшиеся от пота волосы на лбу, сел на свое место на скамье подсудимых.

## ИСКРЕННЕЕ ПРИЗНАНИЕ ИЛИ ОБМАН?

— Генрих Унферхау, вы признаете свое соучастие в убийстве 72 тысяч человек?

— Я никого не убивал. Никого.

— В Собибор прибывали эшелоны, набитые людьми, а оттуда возвращались пустые. Так?

— Да. Обычно они отходили пустыми.

— Как в данном случае надо понимать слово «обычно»?

— Обычно парни из станционной команды наводили чистоту в вагонах, и эшелон отходил от станции порожним. Но бывало и так, что вагоны, следовавшие в Германию, загружали одеждой, обувью и даже тюками волос.

— Куда девались люди, которым принадлежали одежда, обувь?

— Их удушали, затем сжигали.

— Как вы считаете, неся службу в Собиборе, вы помогали уничтожать людей?

— Можете верить или нет, но если бы не страх, что меня расстреляют, я бы сбежал из Собибора. Я все время хотел оттуда вырваться, хотел стать простым солдатом, но это удалось только к концу войны.

— Обвиняемый Унферхау, мы хотим вам верить. Но вы не ответили на вопрос: неся службу в Собиборе, вы помогали уничтожать людей? Отвечайте.

— Да. — Нижняя губа у Генриха Унферхау запрыгала, будто ее дергали за веревочку, он то и дело снимал очки и снова надевал их. — Как я могу сказать «нет», хочешь не хочешь надо сказать «да». Его «да» прозвучало на весь зал. Берек не ожидал услышать такого ответа. За два дня судебного заседания это первый случай, когда бывший эсэовец во всеуслышание признает свою вину.

Что это — искреннее признание своей вины или же уловка для смягчения наказания? Тем временем взоры всех присутствующих в зале обращены к обвиняемому, который стоит перед судом с дрожащими от волнения руками. Председатель не прерывает Генриха Унферхау, и тот продолжает рассказ о себе:

— С детства у меня был музыкальный слух, и меня учили играть на скрипке, саксофоне, альпийском

рожке. Я играл в городской капелле. У нас в Кёнигслуттере существовало отделение союза бывших фронтовиков — «Стальной шлем», боровшегося за отмену Версальского мирного договора. Члены союза часто собирались вместе. Они любили весело проводить время. Платили хорошо, и я перешел в их капеллу. Чтобы играть военные марши, скрипач не требуется, и я стал барабанщиком. Как только Гитлер пришел к власти, большинство членов «Стального шлема» вступило в штурмовые отряды. Они охотно маршировали, часто устраивали уличные шествия и до хрипоты орали:

«Улица — наша траншея». Мы, музыканты, шагали впереди и, чего греха таить, чувствовали себя на седьмом небе. Никто так не глух, как тот, кто не хочет слышать.

Позже я оставил музыку и стал санитаром. Сопровождал больных, которых должны были удушить газом. Я также отсылал одежду, снятую с умерщвленных, их семьям. Мне хотелось начать новую жизнь, но что я мог поделать? Понимание вины приходит поздно... Начиная с 1952 года я снова работаю в психиатрических больницах. Часто выступаю в любительских концертах. Говорят, что я неплохой музыкант.

## У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА

Бывший унтершарфюрер СС Франц Вольф обвиняется в том, что он по собственной инициативе убивал и способствовал уничтожению 115 тысяч человек. «Способствовал» — это для него пустой звук. Что это значит — «способствовал»? Он не такой продажный, как Унферхау, чтобы признать себя виновным, сказать «да, способствовал». Каждый идет своей дорогой. Он, Вольф, ни в чем не признается.

Из обвиняемых он самый старший по возрасту. Ему пятьдесят восемь. Шютт и Болендер считают, что они раньше него пошли на службу к Гитлеру. И зря так считают. Это, однако, не мешало Нойману — партайфюреру в Собиборе — третировать его, чинить препятствия при повышении в звании. Как-то Нойман сказал, что все равно он, Франц Вольф, неполноценный немец. Хотя эта собака, Нойман, которому доставался самый жирный кусок, отлично знал, что братья Франц и Ганс Вольф — испытанные ветераны партии судетских немцев, заявившей во всеуслышание о своей верности немецкому национал-социализму и потребовавшей от правительства Чехословакии широкой автономии для судетских немцев.

В начале осени 1936 года братья Вольф были в числе тех, кто с оружием в руках готовился выступить против правительства и, когда путч провалился, бежали в Германию. Будь это в их власти, они с чехами и словаками обошлись бы так же, как с евреями и цыганами. Чехов он, Франц Вольф, ненавидит, но перед судом решил разыграть из себя бравого солдата Швейка.

Встать так встать. И он стоит, выпятив свой большой живот, веко одного глаза опущено, шарообразная лысая голова лоснится.

— Франц Вольф, когда вы вступили в национал-социалистскую партию, вы знали, к чему она стремится?

— В партию я вступал так, как вступают в союз охотников-рыболовов. Каждый молодой немец тогда тянулся в эту партию. Когда ты молод, меньше всего думаешь о том, что надо держаться золотой середины. Мне, естественно, также хотелось идти в ногу со временем.

— Каким образом вас привлекли к акции «Т-4»?

— Там требовались фотографы. Фотографировать я умел, аппаратура у меня была хорошая. Снимал я фигуры в полный рост, по пояс, анфас, в профиль.

— Какое это имеет отношение к удушению газом психически больных людей?

— Их-то я и фотографировал. Приказано было всех перед смертью фотографировать. Сперва я это делал играючи. Со временем, когда число удушенных стало расти изо дня в день, в Хадамаре мне приходилось ежедневно делать до двухсот снимков, я еле справлялся и начал подумывать о том, как бы оттуда выбраться.

— Что вы для этого предприняли?

— Ничего. Мне дали понять, что это исключено. Коль скоро я туда попал, обратного хода нет.

— Для вас, скажем, обратного хода не было, но вашему брату Гансу вы ведь не были врагом, почему же вы помогли ему поступить на работу в Собибор?

— Ничего подобного. Наоборот. Я его уговаривал не делать этого. Но он не послушал. А может быть, не мог поступить иначе. Брат не брат — каждый идет своей дорогой. Да и о чем теперь говорить, если ему среди бела дня размозжили голову.

— Разве в Собиборе убивали только по ночам?

— Я не убивал ни ночью, ни днем. Кто-нибудь может доказать обратное?

— Не спешите. Вам еще предстоит встречи с бывшими узниками Собибора.

— Заключение не могут быть объективными. Они будут говорить то, что им заблагорассудится, или же то, что им прикажут.

— Кто может им приказать?

— Москва, Варшава или еще кто-нибудь.

— Чем вы занимались в Собиборе?

— Фактически я и там был фотографом. Персоналу лагеря, от коменданта до последнего охранника, — всем хотелось фотографироваться. А почему бы и нет? Денег это не стоило, а если бы и стоило, платить было чем. Кое-кто завел себе альбомы — вот такой величины, — и Вольф разводил руки во всю ширь.

— Кроме персонала, вам никого и ничего больше не приходилось снимать?

— В Собиборе это с самого начала запрещалось. Осенью 1942 года этот запрет был вторично подтвержден приказом. Если случалось, что в кадр попадало что-нибудь нежелательное, я такую фотографию тут же уничтожал.

— Но кое-что попадало, и не «случайно», а специально. Некоторые фотографии сохранились, и мы вам их покажем.

— Ни до моего ареста, ни после в моем доме таких фотодокументов обнаружить не могли. Не могли потому, что их у меня не было.

— Возможно, что это так. Но ведь вы сами здесь сказали, что кое-кто завел себе альбомы.

— Да, но только с личными фотографиями. Если кто-либо из тех, кто сидит со мной на скамье подсудимых, предъявит альбом со снимками другого рода, тогда я вынужден буду признаться. Это не относится только к одному Генриху Унферхау. Он моего доверия не заслуживает. При этом мне хочется напомнить суду, что Унферхау — обершарфюрер, а я всего лишь унтершарфюрер.

— Это мы знаем. Речь идет не об Унферхау. До августа 1942 года вместе с вами в Собиборе служил эсэсовец Курт Франц. Его потом перевели в Треблинку. У Курта Франца, осужденного на днях в Дюссельдорфе, нашли альбом с надписью «В память о чудесных временах». В этом альбоме имеются фотодокументы...

— Возможно, Курт Франц сам фотографировал.

— Я бы вам рекомендовал набраться терпения и дождаться, когда настанет время для вещественных доказательств. А теперь ответьте на следующие вопросы: кроме фотографирования, что еще входило в ваши обязанности?

— Мне приходилось выполнять различные приказания.

— За лесную команду вы отвечали?

— Не всегда.

— Были ли случаи, когда вы лично вешали или расстреливали кого-нибудь из лесной команды?

— Нет, нет и еще раз нет!

— Побег двух заключенных во время работы лесной команды вы помните?

— Да. Такой случай я помню. Эти двое убили охранника и пытались бежать.

— Почему пытались?

— Потому что их поймали и расстреляли.

— Обоих?

— А как же? Бежать из Собибора невозможно было.

— Но ведь они были вне территории лагеря?

— Неважно. Достаточно было снять телефонную трубку, чтобы из всех окрестных гарнизонов за ними была послана погоня. Тот, кто попал в Собибор, не должен был выйти оттуда живым. Так приказал Гиммлер.

— Кто расстрелял этих двоих? Вы или кто-либо из сидящих рядом с вами на скамье подсудимых?

— Ни я и никто из тех, кто здесь сидит. Это сделал Нойман.

— Нойман? Вы говорите так потому, что Нойману уже ничто не может повредить.

— Я говорю «Нойман» потому, что такие дела он любил делать сам, и никто не осмеливался этому противиться. Даже комендант лагеря. Нойман следил за тем, чтобы имущество заключенных отправлялось в рейх. Все знали, что самое ценное он забирает себе, отсылает своим родителям, жене, многочисленным любовницам, но перед ним все дрожали и молчали. Когда мой брат Ганс получил отпуск, он повез свой небольшой ранец и два больших чемодана для потаскух Йоганна Ноймана.

— Суд интересуется Франц Вольф, а не Нойман. Добра, надо полагать, всем вам хватало.

— Хватало. Однако у большинства доставленных к нам заключенных ничего не было: какие-то нищие, голодранцы. Если у них что-нибудь и было, то скорее в голове, чем в кармане. Но их головы никому не были нужны.

— Обвиняемый Франц Вольф! Не забывайте, где вы находитесь. Ваши слова могут быть истолкованы как расовая ненависть к народу.

— Почему к народу? Ко всем народам, кроме немцев, у меня одинаковое отношение.

Председатель посмотрел на свои ручные часы и объявил, что сегодняшнее заседание суда закрывается, а очередное состоится послезавтра, 9 сентября, в девять часов пятнадцать минут утра. Свой отчет в газете «Виртшафтланд» за 8 сентября репортер Вернер Дидерихс назвал «Их дороги скрестились на акции «Т-4», после чего идут подзаголовки:

Строитель газовых камер — Ламберт.

Составитель актов — Юрс.

Деятельный — Шютт.

Старший полицей — Лахман.

Городской музыкант — Унферхау.

Фотограф — Вольф.

## Глава десятая

### ТРЕТИЙ, «СВОБОДНЫЙ» ДЕНЬ НЕ СКАЗАВ «ДО СВИДАНИЯ»...

Если бы не хозяин отеля, у Берека была бы довольно беспокойная ночь и новый день для него наступил бы еще до того, как кончился предыдущий. Днем Иоахим Гаульштих занемог. Его беспокоила тупая, ноющая боль в животе. Обедать он не стал. Георг Нойман предложил ему остаться в отеле и отлежаться. Но Гаульштих об этом и слушать не хотел. Не для того он тащился сюда поездом из Бонна девять часов.

Лег он рано, но около одиннадцати вечера проснулся от острой боли. Его тошнило, и он ощущал такую слабость, что с трудом добрался до номера своего друга.

— Герр Нойман, мне плохо, очень плохо.

Кто мог сказать Нойману, что в отеле проживает врач? Как бы то ни было, позвонив Гутенбергу и сообщив, что один из постояльцев нуждается в неотложной медицинской помощи, он спросил:

— В каком номере проживает доктор?

— Сию же минуту иду к вам, — отозвался Гутенберг.

Ганс Гутенберг из тех людей, которые, прежде чем что-либо сделать, все тщательно обдумывают и взвешивают. Гаульштиху плохо, все это так, и надо немедленно что-то предпринять, но для этого не обязательно тревожить своего постояльца, к тому же весьма симпатичного. И он принял такое решение:

— Беспокоить герра Шлезингера среди ночи я себе позволить не могу. Мы не в лесу. В городе хватает своих врачей. Сейчас же вызову «скорую помощь»...

И Берек спокойно проспал эту ночь.

Прибывший по вызову врач сделал Гаульштиху укол и предложил его госпитализировать. Но больной наотрез отказался.

Утром, когда Берек спускался к завтраку, Гутенберг остановил его и рассказал о том, что произошло этой ночью.

— А как сейчас себя чувствует больной? — поинтересовался Берек.

— Пока вы позавтракаете, я постараюсь выяснить.

После того, что Франц Вольф рассказал о своем бывшем начальнике на вчерашнем судебном заседании, было бы неудивительно, если бы заболел отец Иоганна Ноймана — Георг Нойман.

Порядочному человеку узнать такое — впору сквозь землю провалиться, но стыд не всем глаза ест, да неизвестно еще, знакомо ли это чувству Георгу Нойману. Что до Иоахима Гаульштиха, то доктор Шлезингер вправе не заниматься им. Его жизни пока ничего не угрожает, а врачей в Хагене достаточно.

Как звали брата Гаульштиха — эсэсовца из Собибора, — Берек не помнит. Он и в лагере этого не знал. Но то, что руки этого злодея были по локоть в крови, ему доподлинно известно, так же как и тем узникам, которые оборвали его разбойничью жизнь.

...По сравнению с другими эсэсовцами обершарфюрер Гаульштих — на вид болезненный,

кроткий — казался вылепленным из другого теста. Продолговатое лицо, тщательно выбритые впалые щеки, красные глаза с непрерывно подрагивающими веками. Белесые волосы всегда гладко — волосок к волоску — причесаны. На руках белые перчатки. Двигался не торопясь и говорил негромко, словно бы нехотя. Но его безобидная внешность была обманчивой. Стоило этому «тихоне» — жалкому, убогому человечку, которого легкий ветерок, казалось, мог сбить с ног, — ткнуть пальцем в кого-нибудь из узников и при этом буркнуть что-то невнятное, для несчастного все было кончено.

Гаульштих имел привычку часами слоняться по лагерю, зевая от скуки, будто ему ни до чего дела нет, и лагерники, завидя его, предупреждали друг друга: «Берегитесь, «тихоня» идет!» Носил он роговые очки с толстыми стеклами и, снимая их, одним платочком вытирал глаза, а другим — очки. Сосед Печерского по нарам, Алексей Вейцен, как-то подсчитал, что на «очковую» операцию у Гаульштиха обычно уходит две с половиной минуты: две минуты занимает протирание, а полминуты он дышит на стекла. Это важно было знать, так как в такие минуты удобнее всего было с ним покончить. Тогда, разумеется, это была только мечта о мести.

А пока этот цивилизованный людоед ходил по земле, уверовав, что его удел — повелевать и властвовать, неуклонно насаждая «новую религию крови и расы». Его указующий перст в белой перчатке не ведал усталости. В этом деле он в советниках не нуждался, считая, что сам хорошо знает, когда и чей черед настал. Недаром он окончил Гейдельбергский университет — ума ему не занимать. И предан фюреру ничуть не меньше Ноймана, которого все норовят ублажить, или же братьев Вольф, этих сомнительных арийцев, и даже самого Курта Болендера, который из амбиции способен задушить кого угодно.

Все они готовы идти на любые ухищрения, лишь бы не попасть на фронт, он же, Гаульштих, наоборот, просится: «Возьмите меня!» Но кому, спрашивается, он, почти слепой, там нужен? Иное дело ткнуть пальцем в кого-нибудь из беззащитных пленников и послать его на истязания, муки и смерть. Это он может делать с не меньшим удовольствием, чем его коллеги, и хотя он плохо видит, зато отлично слышит.

«Тихоня» и дальше разгуливал бы на свободе, если бы не...

Произошло это 14 октября 1943 года, в десять минут пятого пополудни. Именно в это время на горизонте показался эсэсовец Гаульштих. Один из специально выставленных наблюдателей — юркий парнишка Томас Блатт — немедленно предупредил: «Тихоня» идет!» Он шел в направлении второго лагеря, где находился Борис Цибульский со своей группой. Им было приказано покончить с четырьмя эсэсовскими офицерами, забрать у них оружие, прервать телефонную связь и систему сигнализации. Печерский еще не имел от них никаких сведений. Навстречу Гаульштиху выбежал Шлойме Лейтман и сказал, что плотники простаивают, сидят без дела.

— Ферфлюхте юден! — разъярился Гаульштих.

Ничего другого от него и не ожидали услышать. Но в столярную мастерскую он все же вошел. Лейтман дал ему подойти вплотную к нарам. От первого же удара обершарфюрер рухнул наземь... К брату этого Гаульштиха, возможно, и придется сейчас идти Береку. И все, что нужно сделать для больного, он как врач сделает. В номере, по всей вероятности, будет и друг Гаульштиха, Георг Нойман.

Сын Георга Ноймана, последний комендант лагеря Собибор — Иоганн Нойман, стоит перед глазами

Берека как живой. Да и как забыть этого на редкость жестокого, оголтелого убийцу? В свои двадцать с лишним лет он был грузным и тучным, но старался держаться подчеркнуто прямо. Руки постоянно засовывал под туго затянутый ремень, а уж высокомерия в нем было столько, будто он по меньшей мере генерал. Недаром его прозвали «мопсом в мундире».

Его страстью были верховые лошади. Как-то случайно Берек оказался очевидцем того, как один паренек из станционной команды позволил себе погладить рукой блестящую шерсть кобылы Ноймана. Лошадь повернула тонкую длинную шею и, откликаясь на ласку, радостно заржала. В это мгновение показался Нойман. Лошади он пригрозил пальцем, а паренька хлестнул нагайкой и тут же загнал в колонну узников, шествовавших по «небесной дороге» в газовые камеры. Для лагерников не было тайной, что и Френцель и даже Болендер его боятся.

При всем этом Нойман любил наряжаться. От него за версту несло духами. В портняжную мастерскую на примерку нового мундира он должен был прийти первым — к четырем часам дня, чтобы никто его не опередил. Но на этот раз он прискакал верхом даже раньше, за двадцать минут до назначенного срока.

Свой первый трофей — парабеллум Иоганна Ноймана — Шубаев передал Печерскому...

— Герр доктор...

Берек зажмурился, словно прогоняя дурной сон.

— Герр доктор, — Гутенберг снова оказался рядом с Берекком, — извините, но Гаульштих мне что-то не нравится.

— Вызовите «скорую помощь».

— Вызывал. Говорят, его надо госпитализировать.

— Они правы.

— Но как же мне быть, если больной только и твердит, что он скорее умрет в отеле, чем ляжет в больницу. Вы представляете себе мое положение? Только вы можете мне помочь.

— Герр Гутенберг, но ведь я не могу насильно отправлять его в больницу.

— Это я понимаю и знаю, что свободного времени у вас нет, но все же прошу вас, доктор, загляните к нему. Простите меня за назойливость, но я не знаю, что делать.

Гаульштих лежал в постели, у него был вид тяжело больного человека. Гутенберг придвинул к кровати стул для врача и вместе с Нойманом вышел из комнаты. Берек принялся мыть руки и, обернувшись к больному, спросил:

— На что жалуетесь?

— Чувствую резкую слабость. Возможно, это от старости...

— Разве два дня назад вы были намного моложе? Покажите, где болит.

— Вот здесь, — ткнул Гаульштих пальцем в поясницу.

— А ночью во время приступа?

— Тогда мне казалось, что болит везде.

— Дайте-ка руку. Пульс слабоват. Должно быть, и давление у вас низкое. Тонометра у меня при себе нет. — Берек вынул носовой платок и, положив его на грудь больного, принялся выслушивать сердце. — Тоны обычные для человека вашего возраста.

— Доктор, дорогой, вы согласны, что в больнице мне нечего делать? — Гаульштих с надеждой посмотрел на Берека.

— Этого я пока сказать не могу.

— Ну, конечно, от смерти не откупишься и не спрячешься.

— Рано вы заговорили о смерти. Камни в почках у вас находили, приступы бывали? Есть основания полагать, что это почечная колика. Судя по использованным ампулам, которые врач «скорой помощи» оставил на столе, и он того же мнения.

— Может быть, мне лучше уехать домой? Здесь мне все равно делать нечего.

— Зачем же было приезжать?

— Сам не знаю. Думал, такой судебный процесс. Но непонятно, чем он мог заинтересовать посторонних людей. Я заметил, что вы и многие другие сидят и внимательно слушают. Не беспокойтесь, доктор, никаких отрицательных эмоций этот разговор у меня не вызовет.

— Я тоже так думаю.

— Вы слышали, как вчера Вольф обливал грязью Ноймана? Человека, павшего смертью героя... Даже слов не нахожу. Мой друг, которого вы у меня застали, отец Ноймана. Мой брат — слабый здоровьем, полуслепой — также служил в Собиборе. Их обоих, сына Ноймана и моего брата, бандиты убили, топорами размозжили им головы, а наказать хотят...

— Герр Гаульштих, как я понимаю, вы уже не у дел. Чем вы занимались раньше?

— Я и мой брат Альфред, погибший в Собиборе, закончили Гейдельбергский университет — один из трех старейших университетов, сохранившихся со времен Римской империи. Альфред был очень способным. Он мог бы стать большим ученым. В этом вы можете не сомневаться. Свои первые исследования он опубликовал, будучи совсем молодым. Делать открытия ему еще было рано, но популярно изложить научную теорию — это он уже умел. Если вы будете столь любезны и возьмете со стола журнал, я вам покажу, до чего доступно, я бы сказал, самобытно, Альфред писал еще в студенческие годы. Почитайте, например, вот здесь, — ткнул Гаульштих пальцем. Береку бросился в глаза золотой перстень и выгравированное на нем слово «Жизнь». Далее, очевидно, следовало «+ смерть». — «Не все немцы, к сожалению, знают, что слово «ариец» (Aria) почти одно и то же, что «айе» (Aia). Арийцы, значит, были айориерами (Aiorier), то есть властелинами, господами. Это факт, и никому не дано изменить его. Кельтское слово «алор» (Alor) и немецкое «герр» (Herr) одного происхождения и еще с давних времен свидетельствуют о нашем первенствующем положении». Ну, герр доктор, как вам нравится? Тогда казалось, что никаких доказательств не требуется. Теперь такой труд может принести еще больше пользы. Он стал актуален, и недаром многие пытаются его достать и прочесть. Но оставим это. Я забыл, что бог дал человеку один рот и два уха, чтобы он побольше слушал и поменьше говорил. Итак, герр доктор, как вы посоветуете — заказывать мне билет домой?

— На это можно будет ответить только после того, как сделают электрокардиограмму. А пока я вам рекомендую лежать в постели.

Берек снова подошел к умывальнику. Стоя спиной к Гаульштиху, он спросил:

— Скажите, пожалуйста, герр Гаульштих, перстень этот вы давно носите?

— Давно. Лет двадцать с лишним. Если не больше. А почему вы спрашиваете? Обыкновенное колечко.

— Да, обыкновенное, но оно уже вросло в палец.

— Теперь его и силой не снимешь. Доктор, я вам очень благодарен за визит. Сейчас расплачусь с

вами.

— За такой визит я платы не беру.

Гаульштих с удивлением уставился на него.

Берек вышел из комнаты, не сказав «до свидания». В коридоре его поджидал Нойман. Берек не дал ему и рта открыть и, не останавливаясь, произнес:

— Все, что нужно, я сказал больному

## **ФРАУ БЕТТИНА**

Из отеля Берек вышел с твердым намерением завтра же на рассвете уехать из Хагена. Здесь ему больше делать нечего. И вообще — надо было послушать Фейгеле и вовсе сюда не приезжать. Лучше всего было бы оказаться здесь, когда начнется допрос свидетелей обвинения, собиборовцев. Их он хотел бы видеть хотя бы издали. В лагере он почти не покидал каморки Куриэла и, вероятнее всего, никого из них ни разу в глаза не видел. Только с некоторыми ему пришлось познакомиться по переписке уже после войны. И хотя прошло много лет, он все равно чувствует себя связанным с ними неразрывными узами. Быть может, теперь настало время покончить с игрой в «прятки», чтобы не только Печерский, но и Самуил Лерер, и Томас Блатт, и все оставшиеся в живых собиборовцы признали Берека своим, одним из спасенных, чудом избежавших «небесной дороги». Но сначала надо посоветоваться с дядей Станиславом, так по старой привычке называл Берек Кневского, когда думал о нем.

Станислав Кневский должен был прибыть к началу судебного процесса, но неожиданно, в последнюю минуту, сообщил, что вынужден задержаться в Варшаве. Вот тогда Фейгеле и сказала, что и Береку пока незачем ехать. И была права. Лопнула мечта о долгожданной встрече, о совместных прогулках и беседах.

Покончить с игрой в «прятки» — дядя Станислав, пожалуй, не согласится. «Хлопче, хлопче, — скажет он добродушно, — что это ты вздумал? Пока Штангль и Вагнер на свободе, об этом и не помышляй». А коль так, ему, Береку, в Хагене делать нечего. Ничего нового он здесь не узнает. Суд этот, видно, будет длиться не месяц и не два, и хорошо, если он закончится вынесением справедливой кары хотя бы главным преступникам. Не случайно все эти гаульштихи, нойманы, их отцы и братья, издающие запах тлена, осмеливаются мечтать о новом Гитлере. Они преотлично знают законы своей страны, ее судей. Неудивительно, что старый Гаульштих похваляется расовой теорией своего брата. Ему известно, что даже если на него за это подать в суд, он отделается пустяком.

Лишь теперь, когда прошло столько лет, осознаешь в полной мере величие подвига повстанцев, собственноручно приведших в исполнение справедливый приговор над своими палачами. Узникам ни к чему были протоколы и экспертизы.

Одна только польская комиссия по расследованию преступлений гитлеровцев передала Западной Германии десятки тысяч документов, микрофильмов, фотографий, тысячи протоколов, свидетельских показаний. Но какой в этом прок? Большая часть из них до суда не дошла. Федеративная Республика не признает принципов Нюрнбергского трибунала, решения о том, что военные преступники должны предстать перед судом народов тех стран, где они совершали свои злодеяния.

А если и судят? Обергазмейстера Эриха Бауэра пятнадцать лет назад западногерманский суд

приговорил к смертной казни. Адвокаты добились отмены смертного приговора. А теперь его вызвали в Хаген в качестве свидетеля.

В списках военных преступников, обнаруженных комиссией Объединенных Наций, Губерт Гомерский значится в числе первых. О нем там сказано: «В Собиборе с мая 1942 по октябрь 1943 г. Обвиняется в убийстве и других преступлениях». А суд присяжных во Франкфурте-на-Майне затевает пересмотр его дела, несмотря на то что этим же судом он был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Гомерский требует, чтобы его не только выпустили на свободу, но и выплатили компенсацию, и не исключено, что он своего добьется.

Время бежит. Пронеслись годы. Мир стал старше, но, выходит, не поумнел. А бороться надо! Бороться, разыскивать и привлекать к суду. Бороться до тех пор, пока жив хоть один из убийц и где-то скрывается или же открыто ходит по земле.

Тихие хагенские улочки вывели Берека к книжной лавке, которую он заметил, еще когда направлялся на пресс-конференцию. Здесь есть букинистический отдел, а заодно можно приобрести новую грампластинку. Для Фейгеле нет лучшего подарка, чем хорошая песня, а для Берека самое большое удовольствие — рыться в книгах.

Берек сразу же нашел и отложил на круглый столик в углу то, что уже давно искал. Ему и в голову не могло прийти, что именно здесь, в Хагене, он обнаружит такое — гимн партизан поэта Гирша Глика в исполнении Поля Робсона на еврейском языке: «Ты не верь, что это твой последний шаг...»

Написана эта песня в Вильнюсском гетто в те дни, когда туда дошла весть о восстании в Варшаве.

Берек представил себе, как обрадуется Фейгеле. Он прослушал пластинку, и у него пропало желание рыться в книгах. Наскоро перелистав несколько фолиантов, внушающих почтение своей древностью, купил свежий медицинский журнал и возвратился к себе в отель. После обеда надо сесть за письма Печерскому и Кневскому. И тому и другому, естественно, хочется знать о начале процесса. Как при случае не высказать все, что накопило, а заодно и не переслать несколько газетных вырезок. Вечером же имеет смысл немного проветриться, пройтись или даже заглянуть в пивной бар...

Гутенберг сказал Береку:

— Пивных баров у нас много. Но двух одинаковых, как мне кажется, вы не найдете. Можно опуститься в подвал, где ослепляет сияние огней. Можно войти в роскошное здание, где темно, как в подвале. Вы увидите вывеску, на которой нарисованы пенящиеся кружки пива, а внутри, в зале, на накрытых крахмальными скатертями столах стоят хрустальные бокалы для вина. В таком баре обычно заказывают бургундское или рейнвейн. Здесь вам подадут ром, виски, водку, лимоны, бананы, но не спрашивайте баварского пива, раков или же свинины с кислой капустой. Надо знать, куда идти. Если, герр Шлезингер, вы хотите провести вечер в свое удовольствие, положитесь на меня. У моего друга великолепный пивной бар. И он умеет принимать гостей. Это отсюда недалеко. Я вам сейчас объясню, как туда попасть...

— Герр Гутенберг, — поблагодарил его Берек, улыбаясь, — я еще сам не знаю...

— Ну что вы, — фамильярно похлопал его по плечу Гутенберг. — Я ведь понимаю, почему вы со мной об этом заговорили. Должен сказать, женщина весьма симпатичная. Она сегодня уже дважды о вас справлялась. Правда, она не просила о том, чтобы я вас предупредил, но я думаю...

— О какой женщине вы говорите? У меня здесь нет знакомых женщин.

— Она не представлялась мне как ваша знакомая. Оба раза спрашивала только: «Доктор Шлезингер

у себя в номере?» Что мне ей ответить, если она явится в третий раз? Могу ей сказать, что вы заняты и никого не принимаете.

— Это правда, герр Гутенберг, но отвечать так — не в моих правилах. Если в это время буду в своем номере, то, пожалуйста, объясните ей, что врачебными делами я здесь не занимаюсь. Этого, возможно, будет достаточно.

— Она производит впечатление добропорядочной женщины. Но мне кажется, что такой ответ вряд ли ее удовлетворит.

— Тогда, будьте добры, предупредите ее, что у меня мало времени.

День уже был на исходе, когда кто-то тихонько постучал в дверь. Берек произнес «Битте». Порог переступила элегантно одетая женщина и в нерешительности остановилась. Берек поднялся ей навстречу. Прошло несколько томительных секунд, пока она тихо произнесла:

— Тысяча извинений, но у меня не было другого выхода. Доктор Шлезингер, есть человек, который считает, что от вас зависит его жизнь.

— От меня? Сомневаюсь. В Хагене немало видных врачей, с которыми я не могу и не собираюсь конкурировать. — А так как, судя по всему, этот ответ ее не удовлетворил, он продолжал: — Завтра я уезжаю в Бонн, и...

— Если это единственная причина, не позволяющая вам выслушать меня сегодня, я готова, если позволите, сопровождать вас в Бонн.

— Не понимаю. Может, лично вы нуждаетесь в моей помощи, и это заставило вас прийти ко мне?

— Не о себе и не о медицинской помощи собираюсь я говорить с вами. Не будь вы в Хагене, я бы разыскала вас в Амстердаме. Не удивляйтесь, если вы согласитесь уделить мне немного времени, вы все поймете.

— Коль скоро речь идет не о медицинской помощи, это упрощает дело. Но я все-таки врач, так что прошу присесть и разрешите задать вам несколько вопросов. Тогда, может быть, и времени у нас уйдет меньше.

— Нет, герр Шлезингер, это не тот случай, когда доктор спрашивает, а пациент отвечает. Ответа я буду ждать от вас.

— Это, фрау... — Берек на мгновение запнулся, — похоже скорее на ультиматум.

Женщина не обиделась и не растерялась.

— О каком ультиматуме может идти речь, если от вашего «да» или «нет» зависит жизнь человека. Вы сделали паузу, ожидая, должно быть, чтобы я представилась. Зовут меня Беттиной. Но мне не хотелось бы начинать разговор в этой комнате. Прошу вас, выйдем куда-нибудь из отеля.

— Куда и надолго ли?

— Куда хотите. Пожалуйста, не смотрите на меня так. Мне доподлинно известно, что вы, Бернард Шлезингер, не из трусливых. — Сказано это было так, будто она знала его уже много лет.

— Не собираетесь ли вы рассказать Шлезингеру о Шлезингере?

— О, нет. Речь пойдет о Курте Болендере. По вашему взгляду я, кажется, поняла, что вы ожидали услышать что угодно, только не это.

— Напрасно вы так считаете. Определенное сходство между вами и Болендером я заметил сразу. Вы его дочь?

— Боже упаси! У Болендера детей нет. Достаточно того, что мы троюродные брат и сестра. Между

нами действительно есть какое-то внешнее сходство.

— Извините, фрау, — Берек как-то сразу потерял интерес к разговору, — что, собственно, вы мне собирались сказать?

— Герр Шлезингер, я со страхом в душе переступила порог вашей комнаты, думала, вы тут же меня прогоните. Мне важно знать правду о Болендере. Только поэтому я согласилась на роль посредника.

— Какие отношения могут быть между мною и Болендером? — Берек пытался говорить как можно спокойнее. — Кому могла прийти в голову такая нелепость?

— Я вижу, у вас нет желания пройтись со мною. Что ж, давайте поговорим здесь. — Усевшись в кресло у журнального столика, она спокойно произнесла: — Предложение исходит от Болендера.

Спустя мгновение она продолжала:

— Он вас заметил в зале еще в первый день суда и понял, что вы не свидетель обвинения...

— Что из этого?

— Он хотел бы знать, согласитесь ли вы подтвердить некоторые известные вам факты.

— Значит, он хотел бы знать, — стараясь себя сдерживать, сказал Берек, — соглашусь ли я стать свидетелем защиты. Неужели, фрау Беттина, вы не понимаете, что я должен был прекратить разговор с вами? Я этого не делаю только потому, что вы женщина. Не понимаю Болендера. Ни он, ни его адвокат во мне как свидетеле не нуждаются. Я уже не говорю о том, что для этой роли я не подхожу и по другим причинам. Возможно, фрау Беттина, здесь какое-то недоразумение или же вы что-то не так поняли. Ведь сами вы с Болендером в эти дни разговаривать не могли.

— Вы правы. Один человек, которого я, разумеется, не могу вам назвать, передал мне его письма. Уверю вас, что никто и ничего здесь не напутал и поняла я все так, как надо. Болендер не думает подкупить вас или же использовать в качестве свидетеля. Но он все же считает, что вы можете быть небесполезны друг другу. Вы, пусть и не официально, подтвердите факты, о которых он вам напомнит, а он, если верить ему, поможет вам разыскать Штангля. Он готов также выделить средства на памятник погибшим в Собиборе.

Берек привык не давать воли своим эмоциям, но тут он не выдержал и вскочил с места. Палач готов поставить золотое надгробие своим жертвам. Какое кощунство, какое наглое бесстыдство! Хотелось кричать от боли, от возмущения, от гнева. Но Берек знает — крик плохой помощник. Значит, надо набраться терпения и докопаться до сути.

— С неба, фрау Беттина, подарки не падают. — Берек попытался улыбнуться, но это ему не удалось.

— Болендер пишет, что он хотел бы только одного — подтверждения истины.

— Истина в том, что для него и высшая мера — недостаточное наказание.

— Возражать вам, герр Шлезингер, я не могу. Теперь, после того как я выполнила то, о чем меня просили, мне хотелось бы... — и она остановилась, обдумывая, стоит ли продолжать.

Берек терпеливо ждал.

— Вы понимаете, — наконец выдавила она, — Болендер хочет... — Она снова замолкла, явно ожидая проявления заинтересованности собеседника.

Берек, однако, продолжал хранить молчание. Собравшись с духом, она прервала затянувшуюся паузу.

— Он хотел бы, чтобы я подтвердила, что он не чистый ариец.

— Кто? — удивился Берек.

— Успокойтесь, герр Шлезингер. Все это ложь, и, как я понимаю, ложь, задуманная с дальним прицелом.

— Хорошо, что вы это понимаете. Может, действительно нам лучше продолжить этот разговор во время прогулки?

Теперь уже засомневалась Беттина.

— Все, что я хотела сказать, я сказала. Стены отеля мне уже не мешают.

— В таком случае, фрау Беттина, земля и небо нам тоже не помеха.

## В ПИВНОМ БАРЕ

Вечерний город дышал прохладой. Накрапывал мелкий нудный дождик, такой, что не поймешь, когда начался и когда кончится. Берек решил вернуться в отель за зонтиком.

— Не надо, — сказала фрау Беттина, — меня такой дождик не пугает. Вы не боитесь простуды? Он в это время думал о затее Болендера, но сказал:

— Глоток вина согревает зимой и охлаждает летом. Вы можете позволить себе поужинать со мной?

Она кокетливо поклонилась ему:

— С таким мужчиной — почему бы нет? Тем более что мне хотелось бы показать вам письмо Болендера, да и есть хочется.

— Гутенберг порекомендовал мне пивной бар неподалеку отсюда.

— Гутенберг, надо полагать, говорил, что вами интересуются?

— Да. Он сказал, что меня спрашивала добропорядочная дама, и, — Берек улыбнулся, — к тому же очень симпатичная.

— Ну уж, — махнула она рукой. — Говорят, очень красивая женщина вместе с вами выследила Болендера.

— И это вам известно? Я вижу, вам обо мне немало наговорили.

— Не беспокойтесь. Никто, кроме меня, этого знать не будет. Я понимаю, что такому человеку, как вы, приходится остерегаться.

Вход в пивной бар был ярко освещен. Вдоль тротуара стояли машины самых различных марок — «мерседесы», «фольксвагены», «пежо». Берек и фрау Беттина спустились по ступенькам, и перед ними, словно кто-то заранее был предупрежден об их приходе, раскрылась дверь. Пожилой человек с жиденькими седыми волосами, обрамлявшими голый череп, пригласил их следовать за собой. Он не представился, но и так видно было, что это хозяин.

Береку было интересно: предложено ли им столь удобное место у массивного стола без соседей в самом уютном зале случайно или по просьбе Гутенберга? Если справедливо второе предположение, то как владелец бара сразу же узнал их? Здесь, видимо, кроется профессиональный секрет.

Хозяин помог им снять пальто и сам же повесил их на вешалку рядом со столом. Поправляя прическу перед зеркалом, Беттина ощущала множество тянувшихся к ней взглядов.

Звон приборов усилил аппетит. На некоторое время Берек забыл о предстоящем разговоре. Он не отказался бы от яичницы со свежими, только что сорванными с грядки огурчиками. Берек подозвал кельнера. Беттина попросила накрыть скатертью неструганный дубовый стол. Кельнер быстро принес белую скатерть, расставил бокалы, тонкие стаканы. Они заказали форель, светлое пиво в глиняных кувшинах, бутылку сухого рейнского вина «Либфрауэнмильх». «Божественный напиток», — заметила Беттина. Пока готовилась рыба, которую при них только что выловили из аквариума,

кельнер принес закуски, две рюмки водки, каждая величиной с наперсток, и небольшое овальное блюдо с нарезанным колечками луком.

От настольных свечей и маленьких электрических лампочек, вмонтированных в старомодные фонари, висящие на голых кирпичных стенах, исходил слабый, тусклый свет. Чуть светлее было лишь в том месте зала, где бармен, одетый в смокинг, готовил коктейли. На стенах висели олени рога, голова кабана, картины: в вышине витают голуби, роза с полураскрытыми лепестками, желтые и белые водяные лилии. Береку они напомнили пруд в его родном городишке. (Швырнешь камешек, он долго прыгает, оставляя на воде круги, будто плеснула рыба.) Желтые лилии, вспомнил он, раскрываются сразу же после восхода солнца, белые — чуть позже.

Они сидели молча. То ли не хотели, то ли не знали пока, как продолжить разговор. Послышались звуки музыки. Вспыхнувший яркий свет вывел Берека из оцепенения. Пара за парой — большинство молодых — поднимались с мест и, вступая в беснующийся круг, начинали дергаться в неистовом танце. Какой-то шустрый человечек, сидевший за столиком напротив, вмиг, будто пробка из бутылки с шампанским, вскочил и с молниеносной быстротой ворвался в самую середину людского водоворота. Потом молодая певица со спокойным лицом и добрыми доверчивыми глазами пела о том, как светит луна, как мерно качаются волны... Вместе со всеми Берек покачивался в такт песне, затем зал снова заполнился танцующими парами. Но это уже был танец спокойный. Беттина дотронулась до плеча Берека. Он встал и подал ей руку.

— Герр Шлезингер, вы замечательно танцуете, — сказала Беттина, когда они снова сели за стол. Берек учтиво поцеловал ей руку и снова наполнил рюмки.

— Вам не кажется, что я много пью? Нет? Благодарю. — И без всякого перехода: — Если не секрет, скажите, пожалуйста, четыре года тому назад, в Гамбурге, с вами была ваша жена? Она действительно так красива, как о ней говорят?

— Что говорят, не знаю, но для меня она красивей всех.

— Она хоть понимает, какая она счастливая? — спросила Беттина, пытаясь перехватить его взгляд.

— Скорее всего, она несчастлива.

— Мне не верится, что по вашей вине.

— И она в этом не виновата.

— Дети?

— У нас нет детей, — ответил Берек.

— Извините, пожалуйста. Больше ни о чем таком спрашивать не буду. Я понимаю, что злоупотребляю вашим терпением. — И, вопреки всякой логике, продолжала: — Удовлетворите мое любопытство и скажите, вы были пастушонком недалеко от того места, где служил Болендер во время войны?

— Тогда я только мечтал, как бы стать пастушонком.

Беттина вдруг рассмеялась.

— С вами в одном отеле проживал Эрих Лахман, тот самый, что на суде все повторял: «Яволь, герр председатель суда». Кто-то позвонил его адвокату и предупредил, что в Хагене находится один человек, который встречал Лахмана в Польше. Я не знаю, что еще он ему говорил, но как будто предложил адвокату напомнить Лахману о каком-то пастушонке и его собаке. И что вы думаете? Бывший обервахмейстер до того испугался, что теперь боится высунуть нос из своего номера, хотя в

Хагене нашлись добровольцы, выразившие готовность взять на себя охрану отеля, в котором остановились обвиняемые. Откровенно говоря, я было подумала, что звонили вы, но теперь мне ясно, что вся эта история — выдумка. Кто-то, видимо, вздумал пошутить.

Берек не успел еще поставить свой стакан, как почувствовал, что у него пересохло во рту. Не рассказывать же ей, что в это мгновение он видит себя одетым в рваную куртку, служившую ему верхней одеждой днем и одеялом — ночью. Он идет по следам Рины, а за ним обервахмейстер с плеткой в руках. Лицо Лахмана Берек видит сейчас перед собой отчетливее, чем сидящую перед ним Беттину...

Беттина сидит, закусив губу. Перед ее раскрасневшимся лицом вьется дым сигареты. На часах половина десятого. Зал опустел. Женщин почти не видно. У Берека терпения в избытке, но дольше оттягивать разговор о Болендере не имеет смысла.

Беттина бросила на него пронизательный взгляд. Ей кажется, что она знает, о чем он сейчас думает. Прошло уже бог весть сколько времени, как он отрешенно молчит. Она бы не сказала, что он такой уж замкнутый человек. Открытое лицо, высокий лоб. Из-под густых вразлет бровей смотрят умные карие глаза. На голове шапка темно-каштановых волос. Резкие черты лица. Продолговатый тонкий нос. Усы и круглая курчавая борода. Ходит слегка ссутулив плечи, словно стесняется своего высокого роста. В свои тридцать с лишним лет он юношески подвижен. Если бы ее спросили, она бы сказала, что сидящий против нее мужчина очень симпатичен. Но ей-то что до всего этого?..

— Герр Шлезингер, нам уже скоро уходить. Допоздна здесь засиживаются лишь мужчины. Так что, пожалуйста, включите настольную лампу и прочтите письмо Болендера ко мне.

Берек стал читать:

«Находясь под замком, лишенный свободы, я в этот трудный час могу рассчитывать только на твою помощь. Ты единственная, кто может помочь мне доказать, что из двенадцати обвиняемых я виноват меньше всех, а если и заслужил наказание, то самое минимальное. Прошу тебя, ради бога, помни, что родной человек более чем друг, и не откажи в просьбе. Моя жизнь и моя смерть зависят от тебя и от того человека, к которому тебе придется обратиться. Он значится под именем Бернад Шлезингер. Это он вместе с одной женщиной, возможно своей женой, выследил меня в Гамбурге. Женщина очень красивая, и будь она в зале суда, я бы ее наверняка заметил. Должно быть, ее привлекли в качестве свидетеля обвинения, а его — нет. Это станет ясно после того, как закончится чтение обвинительного акта. Для меня сейчас важно как можно скорее узнать, согласен ли он подтвердить некоторые факты, которые ему бесспорно известны. Прошу тебя объяснить Шлезингеру, что мне понятны его гнев и ненависть, и я призываю его не к сговору со мной, а к честности и объективности. Ты непременно должна его убедить, что именно из-за пятна в нашем роду я вынужден был притвориться нацистским фанатиком. Ты докажешь ему, что в моих жилах течет еврейская кровь, и он усомнится в том, что я действительно мог быть ненавистником евреев. Разумеется, письменного удостоверения с печатью о том, что наши прабабушки были еврейками и их хоронили так, как того требуют еврейские религиозные обряды, никто мне не выдаст, хотя лет сорок назад в нашем городе об этом знали все от мала до велика. То, что твои родители долгое время делали вид, будто они об этом знать не знают, вполне объяснимо. Иначе тогда и быть не могло. Скажу тебе больше: именно поэтому я не мог заступиться за твою больную мать, когда ее привезли в лазарет Бранденбургской тюрьмы. Но об этом Шлезингер не должен знать. Ему ты должна

рассказать лишь об одном — о нашем происхождении по материнской линии. Мне хотелось бы, чтобы ты добилась от него только подтверждения фактов, а факты таковы:

1. В лагере уничтожения Собибор я, Курт Болендер, трижды спас от смерти Бернарда Шлезингера. Первый раз весной 1943 года, когда он попал в лагерь, я лично отвел его к ювелиру Фридриху Куриэлу, настоящая фамилия которого была Шлезингер, и оставил у него подмастерьем. Второй случай произошел спустя два месяца, когда охранники задержали Бернарда Шлезингера в одном из секторов лагеря, куда вход заключенным без разрешения был запрещен. Я вывел его оттуда. В третий раз я спас Бернарда Шлезингера после того, как он пробыл две недели у голландского художника ван Дама и подлежал уничтожению. В последних двух случаях Нойман требовал, чтобы мальчишку ликвидировали, а я этого не допустил.

2. Ювелир Куриэл побывал в третьем секторе лагеря, доступа в который никто, кроме эсэсовцев, не имел. И хотя произошло это по приказу Штангля, выйти оттуда он уже не должен был. Я же его выпустил и устроил на работу. Все это, я уверен, Шлезингер знает со слов Куриэла.

3. Как только я узнал, что Фридрих Куриэл болен, я тут же приказал отпускать ему пищу из кухни, предназначенной для охраны. В тот же день я сам навестил Куриэла, а также прислал к нему опытного врача.

Было и много других случаев, когда я, несмотря на риск, помогал заключенным чем только мог. Если Бернард Шлезингер знает подобные случаи, то я верю, что он этого не станет отрицать.

4. Я готов признаться в том, что, как все эсэсовцы в Собиборе, я не забывал и о себе. Несколько бриллиантов, которые я получил от Куриэла и должен был переслать в Берлин, я придержал и оставил у себя. Как и большинство людей, я не понимал, что несправедливо нажитое богатство рано или поздно пойдет прахом. Все же мне хочется подчеркнуть, что, не отослав все бриллианты, я тем самым нанес ущерб рейху.

Если герр Шлезингер подтвердит упомянутые факты, я обязуюсь весь мой капитал, находящийся вне Германии, перечислить надлежащим еврейским организациям по его указанию, этого будет достаточно для того, чтобы поставить великолепный памятник погибшим в лагере Собибор. Я также обязуюсь помочь в розысках комендантов лагеря, чьи приказы вынужден был исполнять, — Штангля и Вагнера. По данным, которые дошли до меня перед арестом, оба они проживают в Латинской Америке.

P. S. Беттина, не беда, если мое письмо попадет в чужие руки. Терять мне больше нечего. Нанести больший ущерб моей чести уже невозможно. Если судьи меня не оправдают, я покончу жизнь самоубийством. Пока же уповаю на человечность, справедливость и закон».

Беттина взяла письмо из рук Берека и с тревогой посмотрела на него. Ей пришла в голову мысль, что он может оставить ее одну и уйти, не попрощавшись, однако тот спокойно рассчитался с кельнером, и они вышли на улицу. Дождик все еще накрапывал. Берек запрокинул голову вверх, к темному куполу неба, будто собираясь пересчитать невидимые звезды. Неужели, подумал он, Болендер в самом деле полагает, что весь этот бред может быть воспринят кем-то всерьез и он предстанет в глазах людей таким, каким ему хотелось бы, или же он писал это в состоянии невменяемости?

— И это все? — спросил он Беттину.

— Если этого мало, могу добавить вот что. В Хагене живет сестра моей матери. Я прочитала ей письмо. Действительно, сказала она, в нашей семье бытовала легенда о какой-то прабабушке —

незаконной дочери еврея. Мы постарались забыть об этом задолго до того, как Гитлер пришел к власти. Откуда эти сведения у Курта — не знаю. Я, кажется, ничего ему не говорила. Да и при чем тут он? Если даже что-то и было, то не с его прабабушкой, а по другой линии. Курт, — рассмеялась она, — лжет только четырежды в году: летом, осенью, зимой и весной.

— Беттина, а вы смогли бы это подтвердить в присутствии представителей печати?

— Не знаю.

— Ну конечно. Кому охота рекламировать свою родственную связь с Куртом Болендером?

— Не то... Не забывают, что есть на свете «добровольцы», охраняющие подсудимых на улице, в отеле... Моя тетя стара и больна.

— А что, если вас кое о чем попросить?

— Если смогу вам быть полезна...

— Скажите, Беттина, Болендер ждет от вас письменного ответа?

— Ни в коем случае. Просьба его такова: если моя встреча с вами еще не состоялась, я на суд не явлюсь. Если встретиться удалось, но вы ни на что не соглашаетесь, я прихожу и сажусь позади вас. Если имеется какая-то надежда, мы садимся в одном ряду. Чем больше надежды, тем ближе к вам мое место. О том, что вы намерены завтра уехать отсюда, ему, естественно, никто не сообщал.

— Тогда, если вы не возражаете, давайте завтра сядем с вами в одном ряду, чтобы нас отделяло друг от друга примерно четыре или пять стульев. Пусть обершарфюрер СС надеется... Вы ничего не имеете против?

— Нет. Но мне хочется верить, что нам нельзя сидеть рядом только в зале суда. — И, чтобы обратить эти слова в шутку, она добавила: — Идемте, герр Шлезингер, проводите меня до угла и возвращайтесь к своему Гутенбергу, пусть не сомневается, что я добропорядочная дама...

Моросить перестало, но еще капало с крыш, с деревьев. Луна отражалась в блестящем асфальте. Их обогнал мужчина в черном дождевике, и снова стало по-ночному тихо. Вдруг где-то неподалеку тревожно и пронзительно загудела пожарная машина. Они одновременно взглянули на застывшие стрелки электрических часов на углу и распрощались.

Дверь в отеле была уже заперта. Как в далеком детстве, когда он, провинившись перед мамой, убежал из дому, а потом крадучись, незаметно пробирался в свой закуток, — так и на этот раз Берек потихоньку отпер входную дверь и неслышно поднялся к себе наверх. Наскоро раздевшись, задернул шторы на окнах и погасил свет. На сегодня хватит. Он принялся размышлять о том, что ему предстоит делать завтра. Утром уезжать уже не придется, надо идти на суд. Он лежал с открытыми глазами. Очертания предметов то проступали, то тускнели, но неотвязные видения прошлого не могли дожидаться, пока он уснет, и вереницей роились в голове, перемежаясь с реальными мыслями. ...Кто-то берет его за руку и ведет по знакомым местам. Он ощущает запах спелой пшеницы, сухого скошенного сена. Синичка весело щебечет, наклоня головку то в одну, то в другую сторону, из травы, покрытой прозрачной паутиной, скачут в воду лягушки...

...В саду у ветеринара висится гора чистых, словно вымытых, яблок: зеленые и красные, круглые и продолговатые. Забор редкий, и в голову закрадывается шальная мысль — пробраться в сад и зубами впиться в сочную мякоть плодов, но во дворе позвякивает цепью хозяйский пес.

...Он шагает босиком по узкому дощатому тротуару. По бокам стоят хаты с оштукатуренными стенами. Крыши крыты бурой дранкой. Он ногой толкает незапертую калитку и оказывается во

дворе, почему-то ему незнакомом; над головой тянутся телеграфные провода, и ветер насвистывает жалобную песню. Из жестяной водосточной трубы свисают сосульки, снег валит Береку в лицо. В дом он входит через черный ход. В кухне густой аромат свежеспеченного ржаного хлеба. Отец, подпоясанный толстой веревкой, в старых истоптанных валенках, подбрасывает дрова в печь. Мать, укутанная в выцветшую шаль, возится в углу. Здесь же еще один человек: старик в брезентовом плаще, с которого стекают крупные капли, стоит и мнет в руках теплые рукавицы и зимнюю шапку. Нараспев, будто слепой бандурист, он спрашивает у Берека: «Ну что, с глаз долой — из сердца вон? Хлещешь вино и не находишь времени прийти на кладбище, где лежат в земле Ядвига, Тадек, я. Забыл ты нас...»

Берек смолчал бы, но Фейгеле закричала, не давая деду Мацею договорить: «Нет, нет! К моему несчастью, Берек ничего не забыл. Чужую боль знает как унять, а сам ходит с незаживающей раной в груди. Достаточно малейшего шороха, и он по ночам не может уснуть. Он в плену у прошлого. Это страшное испытание!..» Прокричала и в чем была — по-летнему нарядная — выскочила во двор, на улицу. Берек решил догнать ее, но ноги не слушаются, и он стал ее звать — Фейгеле, Фейгеле!.. И эхо вокруг отозвалось: «Фей-ге-ле!..»

## Глава одиннадцатая

### ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

#### В СВОЕ ВРЕМЯ

— Внимание! Суд идет!

Присутствующие в зале заседаний поднимаются с мест, но шум теперь намного меньше, чем в первый день процесса. В ряду, где сидит Берек, большинство стульев пусто. Между ним и Беттиной, которая сидит на пятом или шестом месте от него, всего один человек. Меньше людей и за длинным столом, предназначенным для представителей печати. Журналисты не спешат доставать свои блокноты. Лишь одна женщина держит наготове карандаш — это журналистка и историк Мириам Нович. Она постоянно присутствует на всех процессах над военными преступниками, не пропускает ни одного заседания. Мириам напряженно следит за Болендером, отвечающим вопросом на вопрос:

— Вы считаете, что в мое время погибло 86 тысяч человек? — Слова «в мое время» он повторяет уже в который раз. И понимать их надо — «тогда, когда я, Болендер, служил в Собиборе».

— А как вы сами считаете? Сколько вы уничтожили — больше или меньше? — допытывается прокурор.

— Когда я прибыл в Собибор, там был сплошной лес. Мы создали лагерь. Ни кирпича, ни глины, никаких строительных материалов на месте не было. И за короткое время выросли коттеджи, бараки, мастерские.

— Вы были строителем?

— В мое время мы делали все, что прикажут.

— На складах одежды и ценных вещей, отобранных у заключенных, вы бывали часто?

— Нет. К ним я отношения не имел.

— А у ювелиров?

— Я имел полномочия заходить только к одному из них.

— В чем заключались ваши обязанности при разгрузке транспортов с заключенными?

— За железнодорожную платформу я не отвечал.

— Но все видели, как вы ходили там с кнутом и избивали людей.

— Кнут у меня был толщиной с прутик от веника. Один случай, возможно, был. — Болендер повернул голову и стал всматриваться в зал, как будто разыскивая кого-то. — Штангль приказал мне отобрать группу из двенадцати трудоспособных евреев. Когда я их пересчитал, оказался один лишний. Тринадцатого я, разумеется, прогнал.

— Куда?

— Мне важно было освободиться от него. Куда он делся — это его дело. Еще был такой случай: при мне один из заключенных попытался убежать, а я даже не взялся за оружие.

— Кто его задержал — охрана или ваша собака?

— Мне неизвестно, что он был задержан. Возможно, он и спасся.

— Выходит, что вы, Болендер, в Собиборе спасли еврея?

— Спас, — произнес он сперва нерешительно, а потом более уверенно. — В свое время я не одного спас. Я им сочувствовал. Подробнее я скажу об этом позже.

Обервахмейстер Лахман тяжело, как слон, качнулся и разразился смехом. Френцель от неожиданности зажмурил глаза. По щеке, от виска до шеи, у него пробежала судорога. Прокурор спрашивает далее:

— О том, что вы не только уничтожали, но и спасали узников, вы на предварительном следствии заявляли?

— Я никогда и никому не заявлял о том, что кого-либо уничтожал, и никто никогда у меня не спрашивал, спасал ли я кого-либо.

— Вы можете назвать свидетелей, которые это подтвердят?

— Пока я свидетеля назвать не могу.

— Вы не можете, а мы можем назвать людей, которые сами видели, как вы убивали узников только за то, что они якобы плохо работали. У нас имеются показания людей, которые своими глазами видели и слышали, как вы приказывали расстрелять двести узников за то, что они намеревались обратиться к администрации лагеря с жалобой. Вы, Болендер, лично участвовали в их расстреле. Эти факты вы признаете?

— Нет.

— Что вам было известно о так называемом «лазарете» на территории лагеря?

— Это была большая и глубокая яма, куда свозили больных и слабых.

— Откуда и для чего их туда свозили?

— Прямо с железнодорожной платформы, чтобы не перегружать газовые камеры.

— А потом что с ними было?

— Раз они миновали газовые камеры, они уже оказывались не в моем ведении.

— Подсудимый Болендер, своим ответом вы наконец подтвердили, что газовые камеры находились в вашем распоряжении, а теперь объясните нам, что ожидало людей в «лазарете»?

Болендер вытянул шею, как будто ему вдруг стал тесен воротник.

— Их расстреливали. Лично я в этом не участвовал.

— Со временем мы докажем, что и в этих акциях вы принимали участие. При этом вы еще надевали белый шелковый халат и шутили, что одной пулей вы излечиваете больного раз и навсегда.

— Это исключено. Я уже говорил, что к заключенным относился с сочувствием.

— Вы, ведавший газовыми камерами, говорите о сочувствии?

— Отвечал за газовые камеры Бауэр.

— Во время очной ставки Бауэр заявил: «Болендера без Собибора, как и Собибор без Болендера, трудно себе пред ставить».

— Я тогда в ответ сказал, что после того, как Бауэр просидел много лет в тюрьме, его показания не заслуживают доверия.

— А то, что главный инспектор лагерей уничтожения, Кристиан Вирт, писал о вас в 1943 году в рапорте на имя Глобочника, заслуживает доверия?

— Для того чтобы ответить вам, я должен знать, что он писал.

— Цитирую: «Собибор как место экзекуций нуждается в Курте Болендере».

— Это всего лишь его личное мнение.

— А как объяснить, что сразу же после восстания в Собибор командировали именно вас?

— Это был приказ, и я обязан был его выполнить.

— Вы не только выполняли приказы, но и действовали по собственной инициативе, даже вопреки указаниям.

— В свое время соответствующие указания были даны Гиммлером и Гитлером.

Обвинитель взял со своего столика книгу, раскрыл ее и, придерживая рукой нужную страницу, заявил:

— Тезис о том, что ссылка на приказ Гитлера не может служить оправданием умышленного убийства стариков, женщин, детей и вообще беззащитных людей, был подтвержден еще на Нюрнбергском процессе.

— Я стою перед немецким судом, а не...

Председательствующий сделал замечание обвинителю, что в компетенцию окружного суда Хагена не входит обсуждение различных тезисов.

На этот раз Френцель был в восторге от ответа Болендера. Вот что значит быть упрямым, как осел, и твердым, как сталь. Должно быть, еще не родился на свет такой обвинитель, который способен вырвать признание у Болендера. Почему же тогда три дня тому назад Френцелю показалось, что некогда всемогущий шеф «небесной дороги» стоит у барьера с беспомощно повисшими руками?

Выходит, это была уловка, рассчитанная на то, чтобы потом успешней войти в роль. Теперь видно, что голова у портье на месте. Одного лишь Френцель не понимает: зачем понадобилась Болендеру вся эта нелепая комедия — сказка о том, что он сочувствовал евреям и даже спасал их. Какой-то умысел здесь наверняка есть. Должно быть, это прояснится на послеобеденном представлении.

И еще одна загадка: Болендер стоит у стены, на которой вывешен план лагеря, нарисованный Бауэром, и отмечает на нем малейшие неточности. Он, возможно, делает это, желая доказать, что точно так же Бауэр мог напутать и в своих показаниях на предварительном дознании. И что уж совсем непонятно Френцелю, так это заявление Болендера:

— Если взять план Бауэра и сравнить его с макетом, изготовленным руководителем восстания, сразу видно, что именно макет, а не план целиком соответствует действительности.

Стоит Френцелю вспомнить горстку повстанцев, которая обвела их всех вокруг пальца, и он места себе не находит от злости. Если бы восставшие успели тогда хоть на минуту раньше пробиться к

оружейному складу, они бы привели в исполнение свой приговор и над большинством из тех, кто сидит теперь на скамье подсудимых. Неужели Болендер не представляет себе возможные последствия такого заявления? Ждать долго их не придется. Вот уже ухватились:

— Где этот макет находится?

— В Советском Союзе. В музее, — ответил Болендер, подчеркивая каждое слово.

— Вы лично там его видели?

— Нет. Один из туристов, посетивший город Ростов-на-Дону, макет сфотографировал, эту фотографию я держал в руках.

Председатель суда на время как бы забыл о Болендере и обратился к Френцелю:

— Вам инкриминируются сорок два случая, когда вы, не имея на это прямого приказа, по собственной инициативе непосредственно участвовали в убийстве людей. Так, на железнодорожной платформе вы убили маленького ребенка, ударив его головкой о стену вагона. Вы пристрелили мать за то, что она не хотела расстаться со своей дочерью. Вы застрелили отца, когда тот отказался выполнить ваш приказ повесить своего сына. Десятки людей вы заставляли переносить в руках речной песок и расстреливали тех, у кого песок просыпался. Признаете эти обвинения?

Френцель долго молчал, будто потерял дар речи, затем прокашлялся, прочистил горло и заявил, что на все вопросы, так или иначе относящиеся к предъявленным ему обвинениям, он отвечать отказывается.

Не успел еще Френцель сесть на место, как поднялся его адвокат Рейнч и стал доказывать, что подзащитный имеет право не отвечать на подобные вопросы.

Дальше оставаться в зале суда не имело смысла. Береку стало совершенно ясно, чем суд будет заниматься в ближайшие несколько месяцев. Болендер, Френцель и остальные девять или десять обвиняемых с помощью своих адвокатов придумают десятки уловок, чтобы саботировать процесс как в зале суда, так и вне его. Видеть все это он не хочет и не может. Достаточно, если он прочитает о процессе в голландской печати и в газетных вырезках, которые ему пришлют Кневский и Гутенберг. То, что он задержался на один день, не помешает. Болендер затеял необычную игру, и знать о ней он должен. Итак, на вокзал.

Проходя мимо Беттины, Берек тихо шепнул ей:

— Адье. Передайте ему — нет!

## **Глава двенадцатая**

### **ЖИТЬ И НЕ ЗАБЫВАТЬ**

#### **К ФЕЙГЕЛЕ**

Колеса стучат по рельсам. За окном вагона во всю ширь асфальтированного шоссе, идущего вдоль железной дороги, мчатся автомобили — по десять и более в ряд. На мгновение показался и исчез какой-то маленький застенчивый вокзальчик, и снова проносятся фабричные корпуса, крохотные лесочки, поля, на которых пасутся коровы со свисающими широкими подгрудками, сады, старые и новые загородные виллы, замки...

Берек смотрит в окно, слепящее солнцем, и мысли в голове растекаются, времена перемешиваются, хотя ни один прожитый год не был похож на другой. С Фейгеле он встретился в конце сорок восьмого года в Варшаве, у Кневского. Она вся светилась притягательной лучистой красотой, обращавшей на себя внимание прохожих. Но Фейгеле была тяжело больна. Она чуть не погибла от

туберкулеза легких, и Кневскому стоило немалого труда устроить ее в одну из лучших клиник. На письма Берека она первое время не отвечала. Потом случилось, что он получал по два, а то и по три письма в день. В своей обычной манере она писала ему: «Что, глупенький, хотел бы ты от меня услышать? Одна у меня работа — не давать врачам покоя. Я, кажется, сама себе изрядно надоела... До чего же ты, Берекл, ко мне добр! Твои глаза так и светятся добротой. Если бы я верила в ангелов, они, думаю, походили бы на тебя... Главное — слушаться старших, а кто из нас старше, это мы с тобой знаем... Берекл, сегодня заход солнца был изумительным. Только что скользнула какая-то звездочка, появилась и исчезла. Жизнь все-таки хорошая штука. Кажется, я теперь уже больше на этом свете, чем на том. Чудеса в решете, не правда ли?»

В тот вечер, когда он явился в больницу с букетом цветов и сказал ей то, что уже не раз собирался сказать, она ответила:

— Нет, вы только подумайте! — и голос у нее дрогнул. — Парню самому свататься не положено.

Допустим, что из старой девы еще может получиться молодая жена, но, Берекл, я ведь «оттуда», из Собибора... Неужели тебе не понятно, отчего в моих глазах слезы? Из этого ада мы выбрались живыми, но не невредимыми. Боюсь, как бы я не походила на засохшее и бесплодное дерево...

Обоих Кневский устроил учиться в Берлине. Фейгеле все давалось намного легче, чем Береку.

Достаточно было ей прослушать лекции, чтобы пойти и сдать экзамен. Через день в ночное время они дежурили в палате для тяжелобольных. Стипендию получали из Польши. В трудную минуту их выручал Кневский. Так прошли студенческие годы. По окончании учебы им пришлось на время задержаться в Гамбурге. Трижды они побывали в Польше. И всегда вместе. Дважды навестили деда Мацея. Когда приехали в третий раз, его уже не было в живых.

Скончался он на сельском погосте. С утра люди слышали, как он шел по дороге, постукивая перед собой палкой. Шел с трудом, еле передвигаясь. Он уже совсем обессилел. На кладбище дед Мацей опустился в мягкую траву, уперся головой в холмик, под которым когда-то похоронили Ядвигу, и уснул вечным сном. Береку казалось, что деду Мацею было под девяносто, а по словам соседней ему и восьмидесяти не было.

И в Голландию Берек и Фейгеле приехали вдвоем. Приехали, чтобы узнать о судьбе рисунков ван Дама, выяснить, что предпринимается для их розыска. Берек также надеялся, что здесь ему удастся найти кого-нибудь из родственников Фридриха Шлезингера. В Амстердаме он как-то познакомился со знаменитым врачом Корсари. В беседе выяснилось, что Корсари и доктор Абрабанел, погибший в Собиборе, были большими друзьями. Берек рассказал Корсари о последнем врачебном визите Абрабанела и, как клятву, повторил слова, сказанные им Куриэлу: «Если бы произошло чудо и ваш внук оказался на свободе, я бы ему сказал: вот уже скоро шесть столетий, как Абрабанелы лечат людей. Молодой человек, следуй по нашему нелегкому пути, и ты никогда об этом не пожалеешь...» Берек показал Корсари железнодорожный билет и фотографии, которые Абрабанел оставил Куриэлу. Вот тогда и зародилась мысль о том, что Береку и Фейгеле неплохо было бы осесть в Голландии. Со временем доктор Шлезингер стал ординатором в больнице профессора Корсари, а затем и его ассистентом. Часть своих пациентов профессор понемногу уступил Береку. Корсари одолжил молодой чете денег на приобретение удобного, солнечного домика, на оборудование просторного кабинета, и, судя по всему, больные довольны своим доктором, а профессор — своим учеником. Поезд замедлил ход, и Берек внезапно услышал железный лязг буферов. Нить воспоминаний

оборвалась.

...Из здания вокзала повалил поток пассажиров. Берек охватил взглядом всю шумную площадь.

Через несколько минут Фейгеле в мягких башмачках на босу ногу всплеснет руками:

— Ба! Кого я вижу! Берекл приехал!

Фейгеле с ее девичьей фигуркой и короткой стрижкой на вид и тридцати не дашь. Она принимает из рук Берека букет цветов. Затем один пакет, другой.

— Ой, — говорит она, — что этот человек себе позволяет! Кто я тебе, чужая, что ты наташил мне столько подарков? Молчишь? Ну скажи, что хочешь доставить мне удовольствие. Это для меня будет самым ценным подарком.

— Нет, Фейгеле, самый ценный подарок еще впереди. Сейчас Поль Робсон споет для тебя песню.

— За песню тебе причитается поцелуй. Но почему ты так быстро возвратился? С чем ты вернулся из Хагена?

— С тем же, с чем и уехал, — отвечает Берек, будто в шутку. — Ты, Фейгеле, была права. Приговор они постараются утопить в море слов. Но правду о Собиборе...

— А разве, Берекл, она им нужна?

— Она нам нужна.

Прошло несколько дней, и из Хагена поступил номер газеты «Гейматнахрихтен» за 15 сентября 1965 года с отчетом о пятом дне судебного процесса. Та же почта доставила Береку письмо от Беттины.

Заголовочный шрифт газетного листа возвещал:

«Болендер заявляет, что сам он на 1/8 еврей».

«Болендер указал, что он происходит от евреев. Его прабабушка была незаконнорожденной дочерью еврея».

Фейгеле улыбнулась:

— Теперь ты видишь, Берекл? Кто красив, а я умна. Твоя Беттина затеяла двойную игру. Все это, от начала до конца, сплошной обман. Допустим, обершарфюреру терять больше нечего, — пусть сбудется все то, что я ему желаю, — но его троюродная сестра — хитрая, видно, бабенка. Давай-ка посмотрим, что она пишет моему муженьку.

Берек вскрыл письмо. В конверте лежала напечатанная на машинке копия заявления Беттины, разоблачающего Болендера. И ни слова Береку.

— Смотри-ка, порядочная немка, — сказала Фейгеле.

«Слово повшехне», 25 сентября 1965 года.

«Памятник жертвам фашизма в Собиборе.

В ближайшее воскресенье на территории бывшего гитлеровского лагеря смерти в Собиборе состоится торжественное открытие памятника жертвам фашизма, уничтоженным в лагере.

Программой предусмотрены выступление министра Я. Вечорека и возложение венков на братскую могилу.

В торжественном открытии памятника примет участие один из немногих оставшихся в живых узников, руководитель восстания в Собиборе, советский гражданин А. Печерский»[22].

## **В ХИЛЬВЕРСУМЕ**

В приглашении, присланном господину и госпоже Шлезингер, было сказано, что открытие выставки работ Макса ван Дама состоится 30 апреля 1966 года. Было решено выехать на рассвете.

По краю неба заалели первые лучи. Мотор автомашины пока не включен. Кругом еще царит ночная тишина.

— Берек, а Берек, ты слышишь, что я тебе говорю?

— Слышу, конечно.

— А если слышишь, то почему не слушаешься? Я хочу, чтобы ты надел теплый джемпер.

— Фейгеле, ведь на дворе уже лето, а до Хильверсума рукой подать.

— Если тебе охота простудиться — твое дело, но потом пеняй на себя.

Судя по всему, Фейгеле уже теряет власть над собой. За последнее время нервы у нее крепко сдали. С каждым годом Собибор все больше напоминает о себе. Еще немного, и она вовсе откажется ехать. Берек готов во всем ей уступить. Он уже застегнулся на все пуговицы.

В пути к ней возвращается хорошее настроение. С моря, от каналов дует свежий ветер. Дышится легко. На небе — ни облачка. Все вокруг залито солнцем, и сырой асфальт напоминает черное зеркало.

— Утро, Берекл, райское, и мне просто жаль тех, кто еще лежит в постели. А что, если остановить машину и немного пройтись?

Недалеко от шоссе виднеется тихое озеро. Совсем близко большой город, а все кажется первозданным. Луг и холмик за озером так зелены и чисты, будто человеческая нога по ним никогда не ступала. На таком холмике возле местечка Берек когда-то видел пастушка со свирелью. Летом в праздник учащихся «лагбоймер» он на таком лугу играл с мальчишками в войну. Все это он помнит, но снова увидеть мир теми мальчишескими глазами, увы, уже невозможно.

Фейгеле расстегивает стоячий воротник кофточки. Утром, задержавшись у туалетного столика, она заметила: «Эти зеркала никого не щадят». Что говорить, ни зеркала, ни годы.

Вдруг Фейгеле остановилась:

— Берек, как ты думаешь, Печерский знал ван Дама?

— Нет. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Я думала, когда он приедет на суд, пригласить его к нам в Голландию.

— Он не приедет.

— Как это? А ты откуда знаешь?

— Штракке заявил, что Печерский недолго пробыл в Собиборе и поэтому вызывать его в качестве свидетеля не имеет смысла. Мол, новых фактов от него ожидать не приходится.

— Вот тебе и на!

— Об этом сказано в статье Сашка, опубликованной в Бюллетене[23]. Там же приводится просьба Сашка сообщить ему о судьбе Люки, если кому-либо в Голландии что-нибудь о ней известно.

— Видишь, сколько лет прошло с тех пор, а сердце у него все ноет. И я навсегда запомнила Люку. Дня три-четыре после восстания мы были вместе. А ты, Берек, тоже веришь, что Люка жива, но не дает о себе знать?

— Трудно поверить. Но все возможно. Кто-то написал Печерскому, что Илона Сафран, вывезенная из Голландии в Собибор под именем Урзулы Штерн, это и есть Люка.

— Да будет тебе! Ведь обе они, и Люка, и Илона, были в женском бараке.

В машине они перебрасываются лишь короткими фразами. Дорога все оживленнее, так что приходится быть внимательным.

Хильверсум — город небольшой, зеленый, город-сад. В известной мере его можно считать культурным центром страны. Здесь живут писатели, журналисты, артисты, музыканты, художники. Здесь, а не в Гааге, находятся радио- и телевизионные станции страны.

На полотне у входа в музей начертано: «Макс ван Дам. 1910—1943». Выставка продлится месяц, а впечатление такое, будто все хотят посетить ее в первый же день. К автопортрету художника не подступиться. Здесь немало людей, которые знали ван Дама при жизни.

Берек и Фейгеле переходят от одной картины к другой, и глубокая скорбь сжимает их сердца. Какого замечательного человека уничтожили в Собиборе. Какой великолепный художник не прожил и половины своего земного срока.

Бюллетень Нидерландского комитета бывших узников Освенцима за май 1966 г.

Из статьи протестантского пастора А. Д. Х. Хойсмана.

«Вчера я посетил выставку Макса ван Дама в Хильверсуме. Это — впечатляющее собрание картин, акварелей, рисунков.

Жизнь тридцатитрехлетнего еврейского художника оборвалась в 1943 году в фашистском лагере смерти Собибор.

На прошлой неделе я разговаривал с одним из его убийц.

Я удостоился сомнительной чести быть узанным одним из их фюреров. «Ах, вот как, вы — голландец».

Я боюсь, что вряд ли можно говорить о каком-либо чувстве вины у этих эсэсовцев. Из бесед, которые мне пришлось вести с ними совсем недавно и в ноябре 1965 года, создается впечатление, что они считают себя жертвами политического процесса, затеянного в престижных целях. Палачи превосходно выглядят.

Восемь из двенадцати находятся на свободе! Неслыханно! Невероятно!

Во время заседаний суда происходят «веселые» паузы. Палачей развлекает то, что кто-то из узников, вопреки их ожиданию оставшийся в живых, не может спустя двадцать три года сказать точно, какой масти была собака, которой эсэсовцы их травили, — черной или коричневой.

В двенадцать часов дня эти господа вместе со своими защитниками отправляются обедать, а в три часа или три тридцать пополудни «трудный день» заканчивается.

Один из этих «сверхчеловеков» уверял меня, что процесс — дело рук евреев. Как видите, уважаемые читатели, гитлеровские прихвостни все еще живы!»

## **СНОВА В ХАГЕНЕ**

Гутенберг встретил Берека и Фейгеле как своих давнишних добрых друзей. Двухкомнатный номер, куда он их проводил, был лучшим в отеле. За время отсутствия Берека Гутенберг сильно осунулся, постарел. Голова стала совсем седой. Глубже стали поперечные морщины на лбу. Глаза впали, но отекшее лицо, как всегда, тщательно выбрито.

— Будете завтракать или хотите сперва отдохнуть с дороги? — справился Гутенберг.

— Нет, нет, — ответила Фейгеле, — мы не утомлены и не голодны. Разве только стакан чаю... Очень хочется пить.

— О, фрау Шлезингер, если только позволите, я сам обслужу вас.

Берек не дал ему договорить:

— Чай мы будем пить втроем. Не возражаете, герр Гутенберг?

— Мне, — говорит Фейгеле, — нужно только минут десять, чтобы привести себя в порядок.

— Уверяю вас, герр Гутенберг, что раньше чем через полчаса моя жена из своей комнаты не выйдет.

— Вы приехали на суд? — завязывает Гутенберг разговор после того, как они втроем сели за стол. —

У нас о нем уже забыли, или, вернее сказать, к нему уже настолько привыкли, как будто без него Хаген — не Хаген. После вашего отъезда ко мне пришел адвокат Лахмана и допытывался, не справлялся ли кто-нибудь у меня о его клиенте. Человек он солидный и сказал, что после войны Лахман ни одного дня в тюрьме не сидел и сидеть не будет. Моя Эльза сделала так, как обещала: повела своих учеников на процесс. Я ей передал мой разговор с адвокатом, и она по своей привычке заметила: адвокат знает, что говорит, он полагается на судей... Кстати, Эльза о вас справлялась и хотела бы повидать.

Прошло почти шестнадцать месяцев с тех пор, как начался процесс, а конца ему не видно. В лагере Собибор все шло куда быстрее... Но хоть в одном случае справедливость восторжествовала. Курт Болендер покончил с собой — повесился в камере. Какому-то прыткому репортеру даже удалось заснять, как он болтается на веревке.

Адвокат Френцеля Рейнч заявил, что это свидетели обвинения довели Болендера до самоубийства. Верно и то, что на бывшего шефа «небесной дороги», как и Френцеля, свидетели чаще всего указывали пальцем. В своем предсмертном письме, адресованном Беттине, Болендер писал о «недочеловеках», которые смеют кричать на арийца чистой крови, и об арийцах, которые ничуть не лучше «недочеловеков». В конце письма сказано:

«Тебе, Беттина, я намеревался выделить половину моего капитала, но убедился в том, что ты этого не стоишь, а потому все свое состояние передаю одной близкой мне по духу молодежной организации...»

У здания окружного суда почти одновременно остановились пять легковых машин. Прибывшие в них пятеро мужчин никуда не спешат. Они стоят и ведут задумчивую беседу в ожидании трех своих коллег, вышедших из отеля минут за двадцать до них. По случаю замечательной погоды те после сытного завтрака решили прогуляться пешком.

О чем они говорят между собой? Роберт Юрс, человек с приличным брюшком и двойным подбородком, размахивает рукой, на которой видна черная татуировка. Он обижен, что прибывшая сюда на свидание с отцом дочь Эриха Бауэра отказалась сесть в его машину. С ним не поехала, а вот с этим придурковатым Лахманом сидела в холле и внимательно слушала все, что он ей рассказывал. Фукс снял очки в позолоченной оправе, прищурил глаза, и множество мелких морщинок пробежало по его лицу. На его взгляд, Лахман не такой уж тупица, как это кажется. Он первый из обвиняемых понял, что судей особенно бояться нечего. До Фукса это дошло намного позже, когда уже начался допрос свидетелей, и тогда он заявил: «О моей совести беспокоиться нечего. Я делал то, что должен был делать».

Из-за угла появились трое.

— Идут, — оповещает Юрс. — Лахман уже принял горячительное, вы только посмотрите, как браво он шагает!

Дюбуа в ответ замечает:

— Да что ты, разве мы так шагали? — Воспоминание доставляет ему большое удовольствие. — Вот если бы им навстречу шел Штангль, или Вагнер гаркнул бы...

Береку не хотелось, чтобы Фейгеле присутствовала на суде, но та настояла на своем. Она смотрит на Френцеля, на Рейнча, который обрушился с упреками на свидетеля Меера Зиса, и потихоньку глотает слезы. Зис рассказывает о Бельжеце и Собиборе. На его долю выпало испытать ужас обоих лагерей смерти, и теперь он нигде не находит себе места, кочует из одной страны в другую, ничего не может сделать со своей памятью. Сюда Зис прибыл из Венесуэлы, а куда поедет дальше — и сам не знает. Рейнч, приставший к Зису, как пиявка, наконец от него отстал, и тогда к свидетелю обратился Штракке:

— Всмотритесь, пожалуйста, хорошенько и скажите нам, кого еще из бывших эсэсовцев вы узнаете? Меер Зис так и сделал: он узнал и назвал тех из обвиняемых, кого помнил. После этого повернулся в сторону адвокатов и, указывая на них пальцем, спросил:

— Господин председатель, среди них я могу искать?..

Лица защитников искривились, будто они объелись чем-то кислым. Зис подождал, пока улегся шум в зале, и продолжал:

— Я могу назвать еще двоих — свидетелей защиты: юриста Оструэса — бывшего эсэсовского судью, которого опасался даже генерал Глобочник, и коммерсанта Штекенбаха — бывшего начальника Берлинского гестапо...

За столом представителей печати взяли за блокноты.

Начался допрос свидетеля Шлойме Подшлебника. После восстания он стал Соломоном Фаулем. Из комнаты для свидетелей, тяжело ступая, он вошел в зал заседаний и остановился как вкопанный. Ему под шестьдесят. Живет в Америке. Фермер. В Собиборе находился с конца 1942 года. Перед этим в лагере уничтожили его родителей, пять сестер и троих братьев. Это он, работая в лесу, убил вооруженного охранника и бежал вместе с еще одним узником. Того поймали, и Франц Вольф застрелил его.

Адвокат Вольфа спрашивает:

— Как звали человека, вместе с которым вы совершили побег?

— Его фамилия Кон.

— Вы в этом уверены?

— Когда двое собираются предпринять такой шаг, они должны хорошо знать друг друга.

— Кон был вашим земляком?

— Нет.

— Откуда он приехал в Собибор?

— Он туда не приехал. Его привезли.

— Откуда?

— Из Кобрина.

Слово берет обвинитель:

— Обвиняемый Франц Вольф, вы все еще утверждаете, что Подшлебника и Кона поймали?

— Мы их тогда по именам не знали.

— Бывали ли еще случаи, когда кто-либо из лесной команды пытался бежать?

— Не помню.

— Подсудимый Вернер Дюбуа, как бывший начальник охраны вы должны помнить, бывали еще подобные случаи?

— Нет.

— Франц Вольф, вы поймали обоих беглецов?

Вольф молчит.

Штракке недоволен, так как этого в протокол не занесешь.

— Господин председатель, — говорит Подшлебник, — унтершарфюреру СС с его ненасытной жаждой крови, конечно, хотелось уничтожить обоих свидетелей.

Адвокат Вольфа опять встает с места. Ему разрешают задать свидетелю один вопрос, другой, десятый... Наконец у Подшлебника лопнуло терпение, и он в ответ говорит адвокату такое, что занести в протокол и на этот раз не представляется возможным...

На исходе последний день декабря 1966 года. Весь месяц шли дожди. Еще вчера Гутенберг сомневался, наступит ли настоящая зима в Хагене. Но зима пришла. За одну ночь город преобразился, оделся в белый наряд.

Фейгеле и Берек идут, прижавшись друг к другу. Снег скрипит у них под ногами.

— Красота-то какая! — восклицает Фейгеле. — Только и жить!

— Да, надо жить, — говорит Берек. — Жить и не забывать.

Через несколько часов начинался новый, 1967 год...

## Часть третья

### ДЛИННЫЕ ТЕНИ

## Глава тринадцатая

ВАГНЕР — МЕНДЕЛЬ

ПОЕЗДКА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Бернарду Шлезингеру и Агие Вонделу нелегко было решиться предпринять поездку из Амстердама в Бразилию. Обоих мучило сомнение: может, вся эта затея ни к чему? Дорога дальняя, да и влетит она в копейку. Правда, слишком прибедняться им не приходится, но и лишних денег у них не водится. К тому же путешествие может затянуться. Вондела это меньше беспокоило. Хотя последнее время дела его шли не блестяще, но пока он еще вполне кредитоспособен, и ежемесячные перечисления продолжают поступать независимо от того, на месте он или в отъезде. С компаньоном они с самого начала договорились, что тот сам будет справляться с делами, да, собственно говоря, никто, кроме одного доверенного сотрудника, и не знает, что их, хозяев, двое. А вот Берек — другое дело. Он занимается частной практикой, а пациенты хотят, чтобы «свой» доктор всегда был под рукой. Сомнения длились до тех пор, пока Фейгеле (раз уж Берек по сей день называет ее так ласково, последуем его примеру и мы) в один прекрасный день со свойственной ей категоричностью не заявила:

— Кончайте-ка, мужчины, разговоры! «Ехать, не ехать»... Последнее слово, как я понимаю, за вами, но не грех и меня послушать. С Береком, скорее всего, должна была бы поехать и я. Но мужа своего мне не переспорить. Верно и то, что Вагнера я почти совсем не помню и, попадись он мне на глаза, вряд ли бы его узнала. Помню только, что постоянно шипел, как гремучая змея. Запомнилось мне также, что был он высоченного роста, так что его хватило бы на двоих, — какое-то страшилище. Подождите, подождите, я еще не все сказала. А что этого душегуба столько лет не могут схватить за

свидетелями. Щука может уйти вглубь, как Борман и Менгеле, а рыбак с крючком, глядишь... — Согласен, — не дал ей договорить Агие, — но раньше времени нечего тревожиться. Поедем вдвоем. Одно дело — рекомендательное письмо к моему другу Гроссу, другое дело — явиться самому. Но суть не в этом. Недавно мне в руки попали важные документы об оберштурмбаннфюрере СС профессоре Вернере Хайде — научном руководителе акции «эвтаназия», жертвами которой стало свыше двухсот тысяч человек, и о любимце Гимmlера профессоре Вольфраме Зильберсе — генеральном директоре научно-исследовательских институтов по изучению проблемы наследственности. Из них явствует, что по предложению этих «ученых мужей» Францу Штанглю еще в 1940 году было приказано в кратчайшие сроки и совершенно секретно создать действующую модель лагеря смерти, по образцу которой такие же лагеря будут создаваться на территории завоеванных стран. Местом для него был избран замок Хартгейм в Австрии.

Там-то строитель из Штутгарта Эрвин Ламберт и соорудил первую газовую камеру. В этом же лагере была создана специальная школа, в которой из числа отобранных фанатично преданных нацистов готовили руководителей будущих конвейеров смерти. В свое время и Ламберт, и Хайде, и Зильберс предстали перед судом, но все они о Хартгейме предпочитали не распространяться. Вагнер был первым, кого Штангль зачислил слушателем, а несколько месяцев спустя назначил инструктором этой школы, и теперь никто, пожалуй, не знает столько о судьбе эсэсовцев из Хартгейма — куда разбрелись и где укрываются, — как Вагнер. Разумеется, выудить это у него не просто, но пытаться надо. Возможно, что и фрау Тереза Штангль вынуждена будет кое в чем раскрыться перед вами. Короче говоря, долго раздумывать не приходится. Сейчас же звоню в Сан-Паулу Гроссу, и, если обстановка не изменилась, вылетаем.

Береком владели противоречивые чувства. Хоть Фейгеле и уверяет, будто не помнит Вагнера и не узнала бы его при встрече, это не совсем так. Не забыла же она, что он высоченного роста и что он то и дело шипел. И если бы она поехала с ними, было бы совсем неплохо. Но после того, как лет десять назад они вместе ездили на процесс в Хагене, она долго не могла прийти в себя, и затянувшиеся было раны снова дали о себе знать. И он твердо решил: хватит! Он не допустит, чтобы на пути Фейгеле снова повстречался кто-либо из эсэсовцев Собибора. Что до Вондела, то его намерение тут же вылететь в Бразилию встревожило Берека.

Конечно, сообщение Агие очень важно. Да о чем тут говорить, если из оставшихся в живых ста восьмидесяти палачей Собибора перед судом Западной Германии предстали только четырнадцать. Ради того чтобы разыскать и разоблачить остальных, не следует жалеть ни труда, ни времени, ни денег, даже если это и связано с опасностью для жизни, и все же он убежден, что не только Фейгеле, но и Агие с его чувствительным к малейшим переменам климата больным сердцем не должен рисковать собой. Это не обычный полет, когда, прибыв на новое место, на час-другой переводишь стрелку часов. Это долгая и утомительная дорога, протяженностью от Восточного полушария до Западного. В Бразилии придется забыть о привычных для нас временах года. Легко ли будет Вонделу приспособиться к периоду дождей, который длится там с ноября по май? Обо всем этом Берек не раз говорил Агие, но тот все отмалчивался, делал вид, что не слышит. Как же все-таки быть?

Тем временем Вондел связался по телефону с Гроссом. Судя по доносившимся восклицаниям, там произошли какие-то перемены, и Гросс советует с вылетом повременить.

Услышав эту неожиданную новость, Фейгеле ухмыльнулась и заметила:

— Что ни говорите, а я как в воду глядела. Все их дьявольские штучки у меня уже сидят в печенках. И этот хищник не клюет на приманку. Не зря я вам напомнила про Бормана. Похоже, что это второй Ресифи.

Ресифи... Из этого бразильского города как-то поступило сообщение, взбудоражившее телеграфные агентства всего мира: «Мартин Борман арестован в бразильском штате Пернамбуку!» Вскоре, однако, выяснилось, что произошла ошибка: вместо Бормана в Ресифи задержали другого нациста, бывшего офицера СС, которого органы юстиции многих латиноамериканских стран разыскивали за торговлю наркотиками.

Понять, почему Гросс неожиданно предложил отложить вылет, было трудно, и Фейгеле все больше склонялась к мысли, что поездка в Бразилию с самого начала была пустой затеей, что она ломаного гроша не стоит, ее надо выбросить из головы и заниматься более неотложными делами. И у Вондела появились совсем иные заботы: предстоящую ему операцию по вживлению кардиостимулятора нельзя было дольше откладывать, и Берек уговорил его как можно скорее лечь в больницу.

## В ОТЕЛЕ «ТИЛЬ»

Истинную причину, побудившую Гросса посоветовать отложить поездку, Берек узнал только через несколько недель после телефонного разговора с Бразилией.

Оказавшись в Бразилии, Штангль и Вагнер вскоре вошли в контакт с нацистами, осевшими там задолго до них, включились в тайную замкнутую сеть, связывавшую всю эту свору, где все обязаны были всячески поддерживать и предупреждать друг друга о грозившей опасности. Здесь, как и раньше, Вагнер старался оставаться на втором плане, за спиной Штангля. Но после того, как его шеф оказался за решеткой и там скончался, в Вагнере разыгралось тщеславие: его заслуги перед рейхом столь велики, что он вправе рассчитывать на гораздо большее почтение к себе. Настала пора считаться с ним если не как с видным деятелем, то хотя бы как с заслуженным ветераном.

Не последнюю роль здесь, видимо, сыграла интимная связь Вагнера с Терезой Штангль. Франц Штангль, по убеждению Вагнера, был личностью незаурядной, и Тереза, сравнивая их, не могла не видеть разницы между ними. Так или иначе, но Вагнер делал все от него зависящее, чтобы как-то напомнить о себе. И хотя его товарищи по партии прекрасно понимали, чего он хочет, никто из них не поддержал его. Время шло, а он ничего не добился.

Поначалу он никак не мог взять в толк: опытный, заслуженный эсэсовец, удостоенный почетной эмблемы «Черная голова», готов всего себя отдать делу воспитания молодежи в духе гитлеризма, а ему не дают хода. До него дошел слух, что кое-кому здесь не нравится его фамилия — Мендель. Вагнера так и подмывало рассказать, как он стал обладателем этой фамилии и во что ему это обошлось, и он с трудом удерживался от этого соблазна.

Как бы то ни было, но ему, Вагнеру, привыкшему повелевать, знавшему, что любой его приказ незамедлительно и беспрекословно выполняется, на этот раз придется, сжав зубы, смириться. Дело, видимо, идет к тому, что через несколько лет никто и не поверит, что фермер Гюнтер Мендель, занимающийся выращиванием кур и кроликов, и некогда всемогущий Густав Вагнер — одно и то же лицо...

Это вызывало у него большую досаду, и он как-то полусуто сказал Терезе:

— Наши соотечественники ведут себя точь-в-точь, как куры на моей ферме. Если петухи дерутся, то тот, кто проиграл бой, сразу же теряет власть, и его «привилегиям» приходит конец. Несколько лет

назад я раздобыл «арийского» петуха с Тибета. Куры его не признали и избрали себе другого владыку. Польза от него невелика, но все же я его кормлю.

Терезу рассказ о тибетском «арийском» петухе ничуть не удивил. Еще до войны она слышала, что на Тибет было послано несколько «научных» экспедиций с заданием выявить и отобрать партию породистых, «расовых» животных и что одному ученому, некоему доктору Шефферу, удалось доставить в Германию табун «арийских» лошадей и несколько ульев «арийских» пчел. Мед из этих ульев должен был стимулировать прогресс избранной немецкой расы, которая со временем будет состоять из людей — гигантов, людей — божеств. Вагнеру же она заявила:

— Коль скоро петух этот только жрет и кур не топчет, будь он хоть трижды «арийский», его незачем держать. Такого не кормить надо, а зарезать.

Вагнера ее ответ еще больше раздосадовал, но он промолчал. Шло время, и у него возникла идея, которую он тут же ретиво принялся осуществлять. Через своего знакомого, имевшего доступ к нацистской верхушке, внедрившейся в Бразилию, Вагнер передал, что он готов принять на себя все расходы, связанные с празднованием 89 й годовщины со дня рождения Гитлера. Не сразу, но предложение его было принято, и он был включен в состав организационной комиссии, состоявшей из четырех доверенных лиц. Комиссию возглавляла особа довольно высокого ранга, и, как водится, заниматься черновой работой ей не полагалось, так само собой получилось, что подготовка к юбилею фюрера легла главным образом на плечи Вагнера. Фактически он стал заправлять всеми делами и настолько ушел в работу, что даже позабыл о всех своих недугах. Недавнего угнетавшего его чувства приниженности и апатии как не бывало. Он как бы родился заново. Многие из «бывших», привыкшие отмечать дату рождения Гитлера большей частью в домашней обстановке, за зашторенными окнами, в довольно узком кругу, на этот раз изъявили желание принять участие в общем торжестве.

О предстоящем празднестве вслух нигде не говорилось. Больше того, были приняты меры, чтобы об этом знали лишь немногие, и даже приглашенные были уведомлены о месте и времени собрания лишь в последнюю минуту. Для этого несколько раз умышленно переносили место сбора.

Организаторов особенно смущала излишняя горячность молодых неонацистов. На свой страх и риск те пригласили гостей из соседних стран — Аргентины, Боливии, Чили, Парагвая. Более опытные и осторожные «бывшие» пытались охладить их пыл. В который раз просеивали и резко сокращали списки приглашенных. Кое-кому заявили, что празднество на этот раз придется отложить, зато, мол, в будущем году, когда фюреру исполнилось бы девяносто, оно будет отмечено широко, с размахом. Так было сообщено и Терезе Штангль, и Гросс, узнав от нее об этом, посоветовал Вонделу с поездкой в Бразилию повременить.

Однако празднество, правда, не так широко, как этого хотелось Вагнеру, все же состоялось.

В то утро, когда Альфред Вилкельман, владелец небольшого, но фешенебельного отеля «Тиль» в курортном городке Итатия (в ста тридцати километрах южнее Рио-де-Жанейро), объяснял поварам, какие изысканные блюда им придется готовить, начальника политической полиции штата Гуанабара уведомили о том, что двадцатого апреля в отеле «Тиль» соберутся делегаты подпольной Коммунистической партии Бразилии. Альфред Вилкельман был известен полиции как человек, тесно связанный с нацистами. Было маловероятно, что он согласился предоставить свой отель для собрания коммунистов, но это еще ничего не значит. Возможно, что сам Вилкельман не знает, каких

гостей ему предстоит принять, а уж полиция в этом разберется и постарается принять надлежащие меры.

Как только блюстители порядка оцепили отель, им стало ясно, что здесь собралась публика иного рода. За богато сервированными столами сидели изрядно выпившие господа и во всю мочь орали «Хайль Гитлер!». В здешних краях это было привычным делом и не наказывалось. Но полицейским отступить уже было неловко, так как еще до них здесь появились вездесущие газетчики.

Несколько человек из тех, кто сидел за председательским столом, и среди них Вагнер и фрау Тереза, успели незаметно выскользнуть из банкетного зала и юркнуть в боковую комнатку, но и там оставаться долго нельзя было. Один из официантов показал им мало заметный запасной выход. Вагнер не спеша, с напускным спокойствием вышел во двор отеля, и тут же его ослепила вспышка магния. Сфотографировали его одного, его вместе с Терезой и еще раз, когда с ним поравнялся какой-то человек. Разглядев его, Вагнер остолбенел. Сходство этого человека с самим Вагнером было поразительным, как если бы они были близнецами. В том же возрасте, одного роста, такой же, как и он, тощий, со впалыми щеками. Вагнеру на мгновение показалось, что он смотрит в зеркало и видит в нем свое отражение. Он побагровел, глаза его загорелись гневом. Что здесь происходит? Как попал сюда этот тип?

Вокруг них начали собираться люди, удивленно поглядывая то на него, то на его двойника. Значит, все видят, что они поразительно похожи, будто одна мать их родила. Вагнер ничего не мог понять: откуда этот человек взялся, кто мог его подослать и с какой целью?

Тереза взяла Вагнера под руку, и они направились к машине. Никто их не останавливал, ни о чем не спрашивал. В дороге он стал понемногу успокаиваться: ничего, мол, страшного не произошло, встреча с двойником, скорее всего, была шуткой, чьим-то розыгрышем. Быть может, это и лучше, что у него появился двойник. Тем труднее будет докапываться до его прошлого, и его скорее примут за того, за кого он себя выдает.

— Жаль, что торжества так нелепо кончились, — обратился он к Терезе, — но считать это провалом, думаю, нет основания.

Тереза же, до этого, казалось, спокойно сидевшая рядом с ним, возразила:

— Густав, это не так. Задумано все было хорошо, но получилось явно неудачно. Что-то надо предпринять, — в ее словах чувствовалась озабоченность.

Но Вагнер не разделял ее опасений.

— Глупости! Выдумываешь! — отчитал он ее, как неразумное дитя, и, немного успокоившись, добавил: — Никого ведь не задержали, фамилий ни у кого не спрашивали и не записывали.

Но Тереза продолжала настаивать:

— А я тебе говорю, что теперь надо быть особенно осмотрительным. Фотографии напечатают в газетах, и многим они раскроют глаза.

— Ни фамилии Вагнер, ни даже Мендель под фото не будет, — уже менее уверенно продолжал он стоять на своем.

— Твоей, вероятно, не будет, зато будет моя или же того типа, что так на тебя похож.

— Когда я увидел его во дворе отеля, мне, по правде сказать, показалось, что это какая-то галлюцинация. Он, очевидно, тоже сидел в зале. Теперь мне ясно, отчего все поглядывали на меня и посмеивались. Ты хоть знаешь, кто он?

— Кое-что я о нем слышала, но впервые увидела его только сегодня. Он выдает себя за полковника, бывшего командира особой группы по уничтожению коммунистов, евреев и цыган, сопровождавшей оккупационную армию.

— А я о существовании двойника и не подозревал и в зале его не заметил. Все-таки не понимаю, чем это может мне грозить?

Тереза ничего не ответила и только пожала плечами.

На другой день после неудачного празднества в газете «Жорнал ду Бразил» появилась информация о состоявшейся в Итатиае встрече пятидесяти бывших нацистских преступников, иллюстрированная фотографиями ее участников.

Вот когда Вагнер понял, что ему давно надо было продать свою ферму и вместе с Терезой покинуть насиженные места. Сделать это сейчас ему вряд ли удастся, так как за ним безусловно уже следят, и деньгами тут не откупишься. А коль так, он своей попыткой тронуться с места вызовет еще большее подозрение, и тогда уж наверняка с него глаз не спустят.

## ДОБРОВОЛЬНОЕ ЗАТОЧЕНИЕ

Время шло, и чем дальше, тем больше страх охватывал Вагнера, и он терял выдержку. Все эти годы в Бразилии он ни с кем не переписывался, теперь же почтальон часто к нему навевался. Письма посыпались со всего света. В конвертах, как правило, лежали вырезки из газет. Прочитать их — а они были на разных языках — он не всегда мог, но фотографии были одни и те же: он и Тереза, он и его двойник. В одном из писем рядом с текстом под вторым снимком красными чернилами сделана приписка: «Один из них — палач из Собибора Густав Вагнер, и его убить мало». Эти письма вызывали у него все нарастающее смятение. Ему мерещилось, что отовсюду его выслеживают. Днем он еще как-то крепился, но с наступлением темноты, особенно по ночам, все звуки и предметы рождали в нем страх. Это в Хартгейме ему легко было уговорить себя, что им, избранным, состоящим в «Черном ордене», нечего бояться, что они и в воде не утонут, и в огне не сгорят, вражеские пули их не возьмут, а снаряды их минуют. В это легко было верить тогда, когда он был вне опасности. А кто теперь ему подскажет, что нужно сделать, чтобы сохранить свою жизнь?

Он пробовал было утопить страх в вине. В последние годы врачи ему категорически запрещали употреблять спиртное, и все-таки по вечерам он нет-нет да прикладывался к рюмке, но ничего не помогало. Тревога даже во сне не покидала, и страшные сновидения преследовали его каждую ночь. В один из вечеров он выпил несколько рюмок бразильской башасу и даже до кровати не смог добраться, так и остался сидеть за столом, голова гудела, все в ней перемешалось. Мысли, видения уносили его в далекое прошлое. Вдруг ему послышался голос, возникающий издали и возвещающий о том, что наступает час расплаты: пролитая им кровь не исчезла бесследно, и зря он тешил себя надеждой, что земля укроет, со временем все забудется. Возмездие за содеянное неминуемо.

Он все явственнее слышит отзвуки приближающихся шагов: нарастает глухой шум, переходящий в мощный гул. Это идут те, кого он уничтожил. Кто же тридцать с лишним лет после гибели поднял их из забвения? Вот они уже переступают порог дома. Ощущение такое, словно его пригвоздили к стене. Над ним висит ягдташ с бахромой. Он уже давно не охотник, теперь охотятся за ним. Ему страшно, он боится двинуться с места. Вот-вот примутся за него, и в ход пойдут те же зверские пытки, которые он так охотно применял к своим жертвам. Он в ужасе: у мертвых это уже позади, а ему еще

предстоит испытать. Не лучше ли покончить с собой? Легко сказать! В здравом уме на такое решиться может не каждый. Нужны железные нервы и холодный рассудок. У него на это не хватит мужества.

Вот они уже рядом. Знакомые лица. Там, в лагере смерти, где они были в его власти, он не давал им ходить и даже стоять на ногах: они ползали перед ним, как черви. Он их избивал так, что они валялись наземь и больше не поднимались. Здесь же они все стоят на ногах. Их главаря он видит впервые. По его знаку все выстраиваются, как это делали на апельплаце, — по росту в четыре ряда. Дом, оказывается, и не дом вовсе. Здесь все поделено на прямоугольники, точь-в-точь как в лагере. Вместо комнат — бараки с оконцами, забранными железными решетками. Даже запах паленого тот же. Вагнеру кажется, что он все еще тот, каким был в те времена. И сил в нем не убавилось, ему ничего не стоит справиться с любым из этих призраков. Так не лучше ли воспользоваться испытанным приемом, замахнуться, как бывало, правой рукой и...

Почему же он все еще раздумывает и на это не решается? Что-то его сдерживает. Их глаза не только полны яростного гнева и возмущения — к этому он уже привык, — но и злорадно блестят: «Мол, попробуй, мы только этого и ждем». Что ж, тогда он предпримет другой ход, попытается чем-нибудь их задобрить. Он прикинется слабым, немощным и станет замыкающим в ряду. Голову он втянет в плечи и присядет на корточки. Ему в эту минуту захотелось стать как можно ниже ростом, незаметным, а то и вовсе невидимкой.

Незнакомый человек, их старший, пальцем показал ему на середину апельплаца. В лагере так и было заведено. Там было его постоянное место, но сейчас лучше прикинуться, что он не понял, кого имеют в виду. Но тот подошел к нему и без всяких усилий, так, будто вместо Вагнера был пустой мешок, швырнул его на середину плаца.

Теперь Вагнер догадался, кто перед ним. Это Вилли Шлегель, докер из Гамбурга. Тому ничего не стоило подняться по трапу корабля с четырьмя тяжелыми мешками на плечах.

«Теперь ты уже знаешь, кто я? — спросил Шлегель у Вагнера, как бы читая его мысли. — Тебе узнать меня нелегко. Ты задушил меня в темноте, закованного в кандалы. Но помнить меня ты должен. Забыл? Ну что же, я тебе напомню, как это было.

Хотя я ни к одной из левых партий не примыкал, но когда в Дахау был создан концентрационный лагерь для противников фашизма, я все же в конце мая 1933 года угодил в этот лагерь. За что? Прославился я своими мускулами: знали меня как человека большой физической силы, и ваши вербовщики предложили мне вступить в партию. Прочитал я устав национал-социалистской партии и заявил им, что мне это не подходит.

В карцере я очутился после того, как отказался быть капо. Задушить меня тебе никто не приказывал. Ты тогда хотя и служил в гестапо, но непосредственным исполнителем акции «эвтаназии» еще не был. Однако, узнав о моем отказе быть капо, вызвался меня проучить. «Шлегель, — заявил ты мне, — если согласишься избивать других, то мы с тобой еще встретимся, если нет...»

У Вагнера кровь застыла в жилах, круги пошли перед глазами, и он закрыл их ладонями. «Боже мой, что же теперь будет? Они меня сейчас задушат, как я когда-то Шлегеля, или навалятся на меня и начнут терзать».

Вилли Шлегель снова обратился к нему:

«Признаешься, что собственноручно задушил меня? Даже комендант лагеря, который при этом был,

сказал тебе, что ты не человек, а комок дикой злобы».

«Да, герр Шлегель, я вас задушил».

«И что же было с тобой потом?»

«В списке команды, которой поручалось осуществлять так называемую операцию «Рейнгарда», я был одним из первых».

«Чем это объяснить?»

«Должно быть, тем, что я хорошо овладел специальным курсом обучения и к тому же имел богатую практику по части экзекуций».

«В Польше, до Собибора, ты чем занимался?»

«В Собибор я прибыл 28 апреля 1942 года, но и до этого находился в распоряжении генерала полиции и СС Глобочника. Нашу команду, в которую входило девяносто два человека, направили в Травники. Там нас разделили на три группы, предназначенные для трех лагерей — Бельжеца, Треблинки и Собибора. В одной из этих групп я вел курс практики умерщвления без применения оружия и технических средств».

«Что означает «без технических средств?»»

«Имеются в виду газовые камеры».

«А практиковались вы на ком?»

«Сперва на польских, затем на советских военнопленных».

«Кого-нибудь из них ты здесь узнаешь?»

«Да, вот этого, что рядом с вами. Чтобы покончить с ним, мне пришлось немало повозиться. Сам он русский, бывший пограничник, но хорошо знал немецкий язык. До армии был сельским учителем».

«Со мной здесь тринадцать человек из Собибора. Через газовые камеры они не проходили. Кто же их убил?»

«Я, герр Шлегель, я».

«Возле них стоят дети и монахи, а их кто, где и когда умертвил?»

«Это было в декабре 1942 года. Случайно мне стало известно, что в одном из монастырей, недалеко от Белостока, находится группа крещеных еврейских мальчиков: монахи оставили их у себя и укрывают. Я прихватил несколько эсэсовцев и нагрянул в монастырь. Монахов мы здесь же, на месте, застрелили, а мальчишек — во рву недалеко оттуда».

После небольшой паузы допрос продолжался.

«Где проживала Тереза Штангль, когда ее муж был комендантом Собибора?»

«Недалеко от лагеря, у озера, было поместье, которое называлось у нас Фишгут, там она и жила».

«Почему Штангль не сменил фамилии, как ты?»

«Это было сложно: требовалось соответствующее разрешение корпорации, в которой мы состоим на учете. Сменить фамилию на Мендель стоило мне немалых денег, хотя привыкнуть к ней я и по сей день не могу».

«Теперь это значения не имеет. Приговор будет вынесен не Менделю».

Шлегель обходит всех, кто с ним пришел, с каждым перекидывается несколькими словами: он спрашивает, ему отвечают. Вагнер видит, что люди возбуждены. По губам нетрудно догадаться, что они о чем-то кричат, но что именно — он не слышит. Неужели они выносят ему приговор? Тогда к чему были его признания? Последняя надежда улетучилась. Его стало лихорадить. Он понимает, что

приговор может быть один — смертная казнь.

Шлегель возвращается на середину плаца и объявляет:

«Вынесение приговора на время откладывается. Мы считаем, что для тебя и смерти мало. Но мы решили подождать и послушать, как тебя будут судить нынешние судьи».

Значит, им мало убить. Они еще хотели бы до этого истязать и мучить его. Он опрометью бежит к Шлегелю, хочет броситься к нему в ноги, умолять, но тот вдруг исчезает. Все вокруг погружается во тьму, и только неумолчно звонит вечеровой колокол, звонит призывно и тревожно...

Если он на этот раз по-настоящему проснулся, то теперь, вероятно, уже полночь. В доме темно. Он сидит, склонив голову на письменный стол. Бесперывно звонит телефон. Ощущение обреченности не отступает, и страх все еще сжимает горло. Все же он протягивает руку и снимает телефонную трубку. Тереза, уже в который раз, называет его по имени, а он никак рта не может раскрыть. Так и не дождавшись, когда он наконец отзовется, она кричит в трубку:

— Густав, ты меня слышишь? Через несколько часов я уезжаю. Когда вернусь — пока не знаю сама. Вагнер растерянно пролепетал в трубку:

— Уезжаешь, а меня оставляешь со Шлегелем?

— Что за Шлегель? И почему ты так долго не отзывался?

— Приезжай скорее, я тебе все расскажу. — Вагнер еще никак не мог освободиться от гнетущего кошмара. — За себя тебе нечего бояться. О тебе я ему ничего не говорил, я только сказал, что ты одно время жила в Фишгуте.

— Ты с ума сошел? Кто тебя тянул за язык? Приехать сейчас не могу. Утром вышли мне по условленному адресу подробное письмо. Ты меня слышишь? До тех пор, пока не получу твоего письма, я не вернусь и звонить не буду...

Прошло еще немало времени, пока Вагнер решился включить свет. Он попытался было взяться за письмо Терезе, но руки не слушались. Его удивляло, что в доме все, как прежде, словно ничего не произошло, он один, и никто его не допрашивает, не судит.

С наступлением утра он выскользнул из дома, запер на замок двери и ворота, сел в машину и направился в Сан-Паулу. Он проехал мимо полицейского управления, но остановиться и переступить порог этого заведения у него не хватило духу. У придорожного кафе он притормозил, зашел и заказал завтрак. Заглянул в утренние газеты. На первой же странице ему бросились в глаза знакомые фотографии — он и его двойник. В эту минуту к нему пришло окончательное решение.

У комиссара полиции как раз выдалась свободная минута, он был в хорошем настроении и внимательно выслушал раннего посетителя, назвавшегося Менделем.

— Просматриваю сегодня вот эту газету, — помахал тот ею перед лицом комиссара, — и узнаю, что разыскивают какого-то Густава Франца Вагнера, и здесь же, рядом с его фотографией, напечатали мою. Криминалистам, думаю, нетрудно будет установить, кто есть кто. Давно уже чувствую, что меня преследуют. Те, кто хотят свести счеты с Вагнером, могут невзначай вместо него рассчитаться со мной. Вот я и прошу вас, чтобы полиция взяла меня под защиту.

Мендель не успокоился до тех пор, пока комиссар не согласился взять его под стражу и посадить на время в камеру предварительного заключения.

Пронырливые газетные репортеры вскоре узнали об аресте Менделя, и кое-кому из них разрешили встретиться с ним. Свою причастность к истреблению евреев он, конечно, отрицал. В Собиборе он

недолгое время был, но занимался там исключительно делами строительства: возводил здания для персонала лагеря и мастерские, в которых рабочие команды должны были ремонтировать оружие. Что до Треблинки, он это название слышит впервые.

Ответы Вагнера появились в газетах, и он склонен был покинуть место своего добровольного заточения. Но перед самым его уходом в полицейский участок, без вызова, в сопровождении журналистов явилось «частное лицо» — бывший узник Собибора Станислав Шмайзнер, и с первых же слов: «Привет, Густ!» — Вагнеру стало ясно, что на этот раз ему не скрыться, что его настоящая фамилия станет известна всем. «Привет, Густ!» — так фамильярно к нему обращались лишь считанные его друзья из числа эсэсовских офицеров в одном только Собиборе. Знал об этом и Шмайзнер. В лагерную ювелирную мастерскую, где он работал, Штангль и Вагнер часто наведывались. Вагнер вспомнил показания Шмайзнера против Штангля и, увидев его так неожиданно, пришел в ярость, потеряв контроль над собой. Назавтра в печати появились снимки, на которых было запечатлено, как Шмайзнер отводит от себя правую руку замахнувшегося на него Вагнера. Под снимком были приведены слова, сказанные здесь же Вагнером:

«Мы думали убить тебя, еще когда ты свидетельствовал против Штангля. Тогда мы оставили тебя в живых. Теперь же мои друзья тебя уничтожат».

Бывших нацистов и их последышей возмутило, что Вагнер с самого начала не отдает себе отчета в своих словах и поступках. Да и неизвестно, что еще он может выкинуть и к каким опасным последствиям для нелегального нацистского движения это приведет.

## В ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ

Во вторник тридцатого мая 1978 года, на рассвете — Амстердам еще не пробудился ото сна, — Берек уже был в аэропорту. Зря торопился. Вылет в Бразилию задерживался более чем на час. Жаль. Он спешил, а мог бы подольше побыть дома, подержать еще в своих ладонях лицо Фейгеле.

Всю ночь они почти не спали. Никак не могли наговориться.

— Ты когда-то обещал, — напомнила ему Фейгеле, — что мы никогда не будем разлучаться. Что же тебе снова взбрело в голову и не сидится на месте? Несет тебя нелегкая черт знает куда, на край света! Твое счастье, что я на тебя не могу долго сердиться: за все мои страдания бог одарил меня любовью. Поезжай и на этот раз, в добрый час! Но сколько это может продолжаться? И без этой поездки никто тебя не упрекнет, что ты свой долг не выполнил до конца. Обо мне не беспокойся. Ты ведь меня знаешь. Вонделу я, конечно, буду звонить часто. Береги себя, — прошептала она, прильнув к нему.

Он думает о Фейгеле, и чувство нежности к ней переполняет его существо.

Летное поле занято десятками авиалайнеров, и от несмолкающего гула их мощных двигателей содрогается все вокруг. Берек подумал: человек устремляется все выше, все быстрее, но до птиц пока ему далеко. Птица будто застыла в неподвижности, но достаточно ей раскрыть крылья и почти бесшумно взмахнуть ими, и она взвоет выше облаков.

В «боинге» Берек удобно устроился в мягком кресле у иллюминатора и, не дожидаясь напоминания, пристегнул ремни. За бортом накрапывал дождик. Один толчок, другой. Шум двигателей все нарастал, превращаясь в сплошной гул. Машина как бы нехотя оторвалась от бетонных плит летного поля, нашла для себя среди туч светлеющую дорожку и устремилась на запад. Все время на запад. Береку чудится, что в безмолвной пустыне, окружающей самолет, тянется длинный караван тяжело

навьюченных верблюдов. Они послушно следуют за человеком с большой бородой. Он чем-то напоминает дедушку Рины. По сей день Берека не оставляет щемящая тоска по дому своего детства с его земляным полом, по людям, ушедшим в небытие.

У Рининога деда была одна-единственная коза, а верблюдов он и в глаза не видел. Его вместе с другими гитлеровцы сожгли заживо, когда он, облаченный в молитвенную одежду — талес, находился в синагоге. Кажется, дым от костров, на которых сжигали людей, поднялся высоко-высоко над землей и не хочет растаять. Береку чудится, что сквозь клубы дыма он видит и Рину.

Рина... Его первая погубленная любовь. Через всю жизнь пронес он светлое чувство к двум любимым — к Рине и Фейгеле. Фейгеле, Фейгеле! Легко ранимая, импульсивная. Порой не знаешь, что может ей прийти в голову. Вздумалось же ей ни с того ни с сего приревновать его к немке Беттине. Вначале Фейгеле не подавала вида, но когда встретила ее в Майнце, где та была у них гидом, в Фейгеле будто что-то надломилось. Она то и дело впадала в уныние, не находя себе места. И когда ее уже совсем проняло, она вскинула руки, обхватила ими свои распущенные по плечам волосы и заговорила так, как когда-то в юности:

— Муженек мой, знаешь, что я тебе скажу? Оказывается, ты парень не промах. Ты, миленький, крутишь любовь, а я-то считала, что ты у меня не такой, как все. Думаешь, у меня шоры на глазах или я какая-нибудь дурочка и ничего не замечаю? Ошибаешься. Ты спросишь, о чем я веду речь? Не о чем, а о ком. Лучше, если ты сам назовешь ее.

Берек оторопел, но сдержался и промолчал, пока Фейгеле сама не поняла, что ее подозрения беспочвенны.

Береку кажется, что лайнер застыл на одном месте. Шум двигателей становится все слабее и слабее.

В салон вошла стюардесса и объявила:

— Уважаемые дамы и господа! Наш полет проходит на высоте одиннадцати тысяч метров.

Скорость — тысяча километров в час. Температура за бортом шестьдесят восемь градусов.

Пассажир, сидящий в кресле перед Береком, обернулся к нему и с недовольным видом переспросил:

— Минус шестьдесят восемь градусов?

Берек слегка улыбнулся:

— Разумеется, ниже нуля.

Пассажир проворчал:

— Это я сам понимаю, но сказать об этом должна была она, стюардесса. Ей за это хорошо платят.

Береку не хочется продолжать разговор с этим раздраженным человеком. Когда сталкиваешься с такими людьми, сразу портится настроение. Он закрывает глаза и погружается в свои мысли.

Наконец самолет начал снижаться. Все в салоне, даже солнечный зайчик на широком металлическом крыле, задвигалось, закачалось. Машина как бы ныряла в поредевших облаках. Приблизились уплывающие под крыло лесистые горы, заблестели океанские дали. «Боинг» сделал резкий поворот, и все вздыбилось. Но вот уже можно разглядеть рифленую поверхность воды. Чуть ниже — и отчетливо видны пенящиеся волны и уходящий вдаль голый песчаный берег.

## ЛЕОН ГРОСС

Международный аэропорт Галяо под Рио-де-Жанейро и переполнявший его пестрый, разноязычный люд с первых минут ошеломили Берека. Пассажиров такое множество, что ступить некуда. Судя по всему, большинство из них туристы. Недаром на всех языках реклама оповещает о том, что Рио —

красивейший из городов планеты. За время, что Берек был в пути, солнце поднялось довольно высоко и посылало на землю свои яркие лучи. Ожидается жаркий, душный день. Берек направился в таможню. У выхода его уже ждал Гросс. По описанию Вондела узнать его было нетрудно: элегантно одетый мужчина в летах, седая квадратная бородка, темные очки. В левой руке он держал книгу в зеленой обложке. Гросс, в свою очередь, также по описанию Вондела без труда узнал Берека и устремился к нему.

На всякий случай Берек осведомился:

— Герр Гросс?

— Да, да, герр Шлезингер. Будем знакомы. Прибыли вы сюда вовремя. Пожалуйста, в мою машину. Берек сел рядом с Гроссом, и машина тронулась с места. Дорога шла вдоль залитого солнцем моря, и невозможно было оторвать от него глаз.

Гросс взял на себя роль гида:

— Герр Шлезингер, взгляните, пожалуйста, направо, на эти горы. Не правда ли, величественное зрелище? А это раскинулись заводские корпуса. Поднимите стекло. Тут воздух всегда насыщен сероводородом. Скоро снова будем любоваться морем и горами. Рио занимает узкую полосу вдоль берега и склонов гор, окаймляющих бухту. Вся низина уже давно заселена, и город растет, взбираясь по горам все выше.

Они ехали мимо бесчисленных пирсов, подъемных кранов, пароходов, затем свернули вправо и очутились на шумной магистрали. У Берека было такое ощущение, будто он проник в глубокую и узкую щель, напоминающую горную теснину, и вдоль нее до самых облаков вздымаются стены из стекла и бетона.

Впервые он оказался так далеко от дома. Языка этой страны не знает. Знакомых у него здесь тоже нет. Многие из того, что ему предстоит сделать, будет зависеть от Гросса, и, вероятно, тому придется быть не только гидом, но и единственным человеком, с кем можно будет при необходимости посоветоваться. Правда, до Сан-Паулу, куда Берек теперь направляется, он мог бы и сам добраться, но все же хорошо, что Гросс его встретил.

По центру города пришлось ехать очень медленно, и Гросс заметил, как внимательно Берек вглядывается в многочисленные книжные лавки, попадающиеся на пути.

— Герр Шлезингер, вы, случайно, не пытаетесь разглядеть мой книжный магазин? — в шутку спросил Гросс.

Берек рассмеялся.

— Надеюсь, при случае вы сами мне его покажете. Да, книги — моя страсть. Я этим «заболел», еще когда жил в Германии. Однажды мне даже удалось побывать на Лейпцигской книжной ярмарке, но тогда я был бедным студентом и мог только с завистью смотреть, как люди покупают то, что им по душе.

— Вы упомянули Лейпциг, и я не могу устоять от соблазна похвастать своей родословной. Дед мой уверял, что наш род берет начало от знаменитого лейпцигского книготорговца Гросса, который еще в далеком 1595 году выпустил первый книжный каталог. Возражений дед не терпел. Меня же опасаться нечего, но вы хоть сделайте вид, что верите мне. Возможно, нам с вами удастся заглянуть к здешним букинистам. Хотя вряд ли у вас будет время, чтобы снова заехать в Рио.

Гросс посмотрел на часы, нахмурил брови и, поискав глазами, куда припарковаться, сказал:

— Сейчас мы с вами ступим на знаменитый пляж Фламенго. Недалеко отсюда сооружен монумент солдатам и офицерам бразильского экспедиционного корпуса, павшим в сражениях с гитлеровцами. Сражался корпус на земле Италии. Под каменными плитами мемориала покоится прах пятисот бразильцев, чьи останки удалось разыскать и перевезти с горного кладбища Пистолия. На надгробиях высечены их имена.

Берек остановился в отдалении. Памятник сделан в виде гигантского светильника на двух высоких опорах. Он напоминает раскрытые к небу ладони. Левее установлены три высеченные из гранита фигуры — пехотинца, летчика и моряка. Они стоят спиной к морю и лицом к небоскребу, над крышей которого переливается эмблема западно-германской автомобильной фирмы «Мерседес-Бенц».

Реклама...

Гросс отошел позвонить кому-то. Только после этого разговора, сказал он Береку, выяснится, смогут ли они задержаться здесь, в городе, и переночевать, или же им придется сегодня же выехать в Сан-Паулу.

Было бы неверно утверждать, что Гросс производит впечатление человека скрытного, непроницаемого. Скорее, наоборот. Тем не менее он пока избегает какого бы то ни было разговора, имеющего отношение к делу, ради которого Берек предпринял столь далекое путешествие. Еще Вондел ему говорил, что Гросс принадлежит к числу тех благородных немецких интеллигентов, которые, к сожалению, хоть и поздно, но поняли, что собой представляет нацизм. Его и некоторых других его единомышленников, принимавших активное участие в либерально-буржуазном пацифистском движении, арестовали.

Гросса взяли в Веймаре, а очутился он в Бухенвальде. До этого он и понятия не имел о том, что здесь находится один из крупнейших и страшнейших концентрационных лагерей на территории Германии. Пятеро узников совершили побег, но спастись удалось лишь ему одному. Он добрался до Берна, где сторонники пацифизма располагали небольшим издательством. Гроссу предложили заняться изданием литературы, но он отказался. Тогда же он дал себе слово: до тех пор, пока существует фашизм, активно с ним бороться.

Как-то побывав в своем родном городе Киле, он написал Вонделу:

«Я воочию убедился, что в двадцатых годах, когда Гитлер рвался к власти, у него не было столько сторонников, сколько их сейчас среди реваншистов и неонацистов Западной Германии. Большинству из них двадцать — тридцать лет. Сегодняшние «коричневые» — внуки тогдашних и, как это ни выглядит дико, имеют в своем распоряжении с десятков книжных издательств, выпускают свыше шестидесяти газет и журналов. Гитлеровскую «Майн кампф» здесь, в Киле, распространяют под предлогом, что это антикварная книга. В здешнем университете я приобрел «жетон», открыто распространяемый студенческим советом. На жетоне выгравированы женщина и мужчина. В одной руке женщина держит знамя со свастикой, в другой — книгу со свастикой на обложке. У мужчины на руке повязка, и тоже со свастикой. Многие студенты и профессора протестуют против нацистской пропаганды, административный же суд земли Шлезвиг-Гольштейн считает, что запретить ее никто не вправе... Кому же, если не нам, бороться с теми, кто по сей день остается верным Гитлеру?»

Гросс возвратился и сел за руль. Дозвониться ему не удалось. Берек обратил внимание, что его новый друг плохо выглядит: глаза воспалены, припухшие. На бледных губах — еле заметная

ироническая улыбка.

Теперь они направляются по автостраде Рио — Сан-Паулу. Гросс вынимает из кармана небольшой флакончик, извлекает из него две таблетки и кладет их в рот. Это дало Береку повод спросить своего попутчика:

— Как вы себя чувствуете, герр Гросс?

— Особенно хвалиться нечем, а все потому, — улыбнулся он, — что я уже в который раз откладываю поездку в Париж.

— Почему именно в Париж?

— Я думал, что Вондел вам все рассказал обо мне. Уже много лет, как я страдаю бессонницей, а в Париже, говорят, есть фирма, которая выпускает убаюкивающие матрасы...

Гросс, оказывается, веселый человек. Берек принял шутку и громко рассмеялся.

— О господи! Если вы так будете вести себя при фрау Терезе Штангль, то, пожалуй, и мои рекомендации ничего не будут стоить. Хотя кто его знает...

— Герр Гросс, вы думаете, мне на самом деле надо познакомиться с Терезой Штангль?

— Я в этом уверен, но возможно, что вам придется с этим повременить.

— Долго ждать я не могу.

— И все же, думаю, есть смысл. Тереза Штангль подозревает, что ее первый муж скончался не от сердечного приступа, что, скорее всего, его отравили, и она боится, чтобы то же не случилось с Вагнером.

— Какое отношение это имеет ко мне?

— Самое непосредственное. Она уже давно ищет хорошего врача, не связанного с бывшими и новоявленными нацистами. О вас она слышала от Иоахима Гаульштиха. По его словам, никто не мог установить диагноз его заболевания, и, если бы не вы, ему бы из Хагена живым не выбраться. Для него, как и для Терезы, осталось лишь загадкой, почему вы отказались от гонорара. Не исключено также, что Тереза знает, что вы еврей, но она не подозревает, что вы бывший узник Собибора. Да, она на вас рассчитывает.

Берек был явно задет:

— Неужели она да и вы думаете, что я возьмусь лечить Вагнера?

— Она уверена, что, если хорошо заплатить, можно купить всех и каждого. То, что вы как врач ничего плохого Вагнеру не сделаете, это, как вы понимаете, я могу ей гарантировать. Само собой, с этим предложением к вам обратится сама фрау Штангль, и об этом я сам уж позабочусь. Сегодня же я ей дам знать, что вы здесь. Да вы что, в самом деле ничего не знали о цели своего приезда? Разве Агие не ввел вас в курс дела?

— Я думаю, что и сам он не знал всего. Вондел мне только сказал, что фрау Тереза Штангль, возможно, вынуждена будет кое в чем раскрыться передо мной. Сказал он это еще до того, как его оперировали и когда он предполагал, что едем мы с ним вдвоем. Его слова меня немного удивили, но уточнять я не стал. Только теперь начинаю понимать, что вы задумали. Но мне кажется, что о моем приезде пока ей говорить не следует. Ведь не исключено еще, что мне придется первым засвидетельствовать, что Вагнер — это Вагнер.

— Судя по всему, друг мой, и вы многого не знаете. Англичане говорят: «У старых грехов длинные тени». За Вагнером действительно тянутся длинные тени. Вы — одна из них, но не единственная.

Кроме Визенталя[24], был Шмайзнер. Других пока не требуется, а если понадобятся, найдутся. Тереза понимает, что в провале ее Густава в немалой степени повинна она сама. Официально они не состоят в браке, но с годами любовь их, казалось, становилась все более пылкой, так что Вагнер совсем расслабился и забыл об осторожности. Во время очной ставки со Шмайзнером Вагнер потерял контроль над собой, и это может ему дорого стоить. За двадцать восемь лет, что Вагнер живет в Бразилии, он встречался со многими военными преступниками. Когда Штангль поехал в Боливию на встречу нацистов, проживающих в Латинской Америке, Вагнер последовал за ним как бы в качестве телохранителя. Кстати, верховодил на этой встрече Иозеф Менгеле. Вагнер был единственным, от которого у Штангля не было тайн. Не прервал Вагнер и впоследствии свои связи с представителями подпольной фашистской иерархии. Так что знает он много, и Тереза этого опасается. Теперь вы понимаете, почему ей крайне необходим врач со стороны? Терезе нужно, чтобы время от времени Вагнера навещал не только тюремный, но и «ее» доктор, а уж устроить это она сумеет. Сегодня она намеревалась прибыть в Рио и при помощи влиятельных лиц добиться, чтобы Вагнеру было разрешено встретиться на пресс-конференции с местными и иностранными журналистами.

Берек привык выслушивать собеседника, не перебивая его, но на этот раз он не выдержал и воскликнул:

— Настолько она всесильна?

Одной рукой Гросс вел машину, а другой, защищаясь от солнца, опустил козырек над лобовым стеклом.

— Я понимаю, — ответил он, — что вам хотелось бы, чтобы, пока мы едем, я вам о ней рассказал поподробнее. Это не лишнее, так как недооценить ее опасно. Но даже в общих чертах сделать это непросто. В молодости она была хороша собой, могла и завлечь, и ослепить. Энергии ей и тогда было не занимать, а теперь подавно. Как и с помощью каких тайных ходов она на этот раз добьется своего, я еще не знаю. Закон она привыкла обходить, не брезгуя ничем. Думаю, что в возрождение фашизма она не очень верит. Скорее всего, она была бы не прочь отойти от этой компании подальше, к старости пожить в свое удовольствие, благо капиталы ей это позволяют. Как бы то ни было, чтобы спасти своего Густа, она денег не пожалеет.

Берек заметил:

— Пресс-конференция нужна ей, полагаю, только как дань времени.

— Ошибаетесь, дорогой. Здесь дело глубже. Пресс-конференция ей нужна для того, чтобы как можно больше людей услышало, что Вагнер остался верен своим прежним принципам и никого из своих дружков не выдаст. Такого рода реабилитация для нее очень важна. И не только чтобы отвести опасность от Вагнера. Она сама сильно напугана. Вслед за Вагнером недолго добраться и до нее. Одним словом, Терезе хотелось бы, чтобы Вагнер вел себя как Штангль. Когда тот попался, он, должно быть, никого не выдал.

Когда они приехали в Сан-Паулу и остановились у отеля, перед тем как высадить Берека, Гросс сказал ему:

— Надеюсь, что у Терезы вам удастся узнать что-нибудь новое о Штангле и, возможно, еще кое о ком. Без этого трудно будет проследить за всеми маневрами Вагнера и полностью его разоблачить. Конечно, все, что может вам пригодиться из того, что знаю я, будете знать и вы. А пока вам надо

хорошо выспаться. Убаюкивающего матраса предложить не могу, но обычное снотворное у меня найдется. Не хотите? И правильно делаете. Я забыл, что по сравнению со мной вы еще молодой человек. Спокойной ночи, герр Шлезингер. Спокойной...

## Глава четырнадцатая

### ВИЛЛА НА УЛИЦЕ ФРЕЙ ГАСПАР

#### В СПИСКАХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

Душно. Берек весь в поту. Он снимает со спинки кровати полотенце и вытирает лицо. Сколько времени прошло с тех пор, как он вылетел из Амстердама? Чуть ли не вечность. В самолете удалось лишь ненадолго вздремнуть. Он пытается ни о чем не думать. До прихода Гросса надо непременно поспать. Прошел час, другой, а он все лежит с открытыми глазами и неотрывно думает о Терезе Штангль и ее муже.

Франца Штангля посадили в 1967 году. Существовали разные версии о его аресте.

Согласно одной из них, агенты бразильской тайной полиции притаились возле дома Штангля по улице Фрей Гаспар и терпеливо, свыше четырех часов, выжидали его возвращения домой. Приехал он на своем новом «фольксвагене». Как только он вышел из машины, агенты окружили его и надели на него наручники.

Согласно другой версии, агенты полиции следили за дочерью Штангля, и, когда она как-то вечером задержалась, комиссар позвонил Штанглю домой и попросил срочно прибыть в госпиталь, так как дочь его попала в автомобильную катастрофу и находится в тяжелом состоянии. Комиссар полиции не преминул выразить отцу пострадавшей свое соболезнование. Что произошло далее — догадаться нетрудно. Агенты схватили и обезоружили Штангля у входа в госпиталь.

Тереза же утверждала, и, пожалуй, ей можно верить, что у ее Польди оружия при себе не было и никто его в кандалы не заковывал.

Существовала и еще более интригующая версия о том, как Штангля разоблачили. Важно, однако, то, что его даже не надо было искать. Судить его можно и надо было сразу же после войны, тогда он не смог бы прожить на свободе и в роскоши до шестидесяти двух лет.

После Собибора Штангля назначили комендантом в Треблинке. 2 августа 1943 года там вспыхнуло восстание, и те, кого собирались уничтожить, сумели поджечь лагерь.

Еще не улеглась потрясающая новость о восстании в Треблинке, как за ней последовала другая: восстал Собибор. Это прозвучало как гром среди ясного неба. Гитлеровцы не могли взять в толк, как такое могло случиться? Как бы то ни было, для Штангля это был тяжелый удар. Эти два образцовых, по понятию гестаповцев, лагеря смерти создал не кто иной, как сам Штангль, они были предметом его гордости. Теперь же и спрос будет с него. От этого не отмахнешься. Его репутация, его «доброе имя» вдруг оказались подмоченными, и не то что Гиммлер, даже Одилио Глобочник, этот генерал от полиции, который много лет протезировал Штанглю, отказался его принять.

Штангль понимал: рассчитывать на то, что вспомнят и учтут его бывшие заслуги, не приходится. Замешательство его длилось недолго. В Югославии и Голландии, где он вскоре оказался, он лез из кожи вон в надежде, что начальство заметит и оценит его усердие. Но к этому времени его «счастливая» звезда, да и не его одного, уже закатилась. Франц Штангль ждал вызов в Берлин, но ему приказали выехать в Триест в распоряжение начальника карательных отрядов, в задачи которых входило уничтожение итальянских партизан. Там он застал Одилио Глобочника, Кристиана Вирта,

Густава Вагнера и других видных ээсовцев, до этого служивших на фабриках смерти. Тогда и пришла ему в голову мысль, что собрали их здесь не только затем, чтобы избавиться от партизан, но и от них самих, бывших начальников лагерей. Об этом он открыто заявил через двадцать три года, когда очутился в Дюссельдорфской тюрьме.

Штангль не мог забыть Собибор и Треблинку, а в бывших оккупированных странах, особенно в Польше, не могли и не хотели забыть Штангля. Сразу же после войны польские судебные органы оповестили о розыске Франца Штангля и заявили, что судить его должны там, где он совершил свои наиболее тяжкие злодеяния.

Берек сбросил с себя простыню, но легче ему не стало: тело покрылось испариной, стучало в висках. Ощущение было такое, будто из комнаты выкачали весь воздух — дышать нечем. После такой ночи голова будет тяжелой, а она должна у него быть ясной: ему нужно быть собранным и помнить все, что он знает о Штангле и Вагнере. А пока он заставит себя думать о других, более приятных вещах. Так, пожалуй, будет лучше.

Берек вспоминает один из рассветов своей юности, когда он встречал восход солнца в поле. Воздух был свеж и прозрачен. Утренняя роса пригнула травы, и после каждого шага на них оставались темные следы. Ровная как линейка степная дорога ведет к колодцу. Ему хочется пить, и у колодца он напьется свежей холодной воды.

Пить ему на самом деле захотелось, и он встал, включил свет и открыл холодильник. Жажду он утолил, но уснуть вряд ли сумеет. Берек поправил постель, но не стал ложиться, а сел к окну, прислонился головой к подоконнику. Где-то вдали скрежещущие звуки врывались в ночную тишь. Сан-Паулу — один из крупнейших городов мира. Раньше, до своего приезда, Берек не мог понять, почему Штангль, Вагнер и им подобные решили осесть в этом наиболее промышленно развитом штате Бразилии. Рассчитывать на то, что найдут здесь сторонников или хотя бы сочувствующих среди рабочих, они вряд ли могли. Зато сюда проникли и пустили глубокие корни десятки предприятий и банков, владельцы которых — выходцы из Германии. Гросс рассказывал Береку, как эти промышленники и финансисты, гребущие золото лопатой, по сей день заботливо опекают своих соотечественников — военных преступников. По словам Гросса, на юго-восточной равнине, где раскинулся штат Сан-Паулу, проживает свыше восемнадцати миллионов человек: попробуй в этом море людей найти того, кого ищешь. Да этому и мешают. В сельском хозяйстве заправляют богатые землевладельцы, а для них превыше всего — прибыль. Они стремятся выращивать побольше кофе, сахарного тростника и хлопка на экспорт, кукурузы, бобов и цитрусовых — на внутренний рынок. Кто на них будет работать — их не интересует. Многие из бывших надзирателей гитлеровских концентрационных лагерей стали надсмотрщиками, но на этот раз — у богатых помещиков и латифундистов.

Скоро начнет светать, и, возможно, сегодня же Тереза Штангль пригласит его к себе. Разговаривая по телефону с Фейгеле, он намекнул на это, но она приняла его слова за шутку. «Хватит тебе меня разыгрывать!» — ответила она. Берек закрыл глаза, и ему вспомнилось...

...Это было в конце марта 1948 года. Зима и следовавшие за ней холодные дождливые дни остались позади. Весна набирала силу. С каждым днем становилось все теплее. Фейгеле тогда лежала в больнице. Опасность миновала. Она заметно поправилась, так что юбка на ней не сходилась. Вскоре ее должны были выписать. Берек и Станислав Кневский — тогда он уже работал в

Польской миссии по делам военных преступников — навестили ее, вошли в палату, и она, сияя от радости, протянула им обе руки. Обычно по лицу легко прочесть, гнетет ли тебя печаль или ты испытываешь радость, но даже в трудные минуты, когда оставалось мало шансов на благоприятный исход, и тогда Берек в ее присутствии сдерживал себя и не проявлял малейших признаков беспокойства. Он иногда позволял себе и пошутить. «В этом доме, — сказал он ей однажды, — за версту несет лекарствами даже от тех, кто собирается завтра идти под венец». Каждый раз находил он для нее ободряющие, теплые слова.

Фейгеле и на этот раз хотелось услышать добрые вести. Так уж, видимо, устроен человек, и Кневский не обманул ее ожиданий:

— Я сегодня разговаривал с одним человеком, который видел Штангля и Вагнера уже после войны. Они были в плену у американцев. Куда они скрылись, он не знает, все же это может помочь в наших дальнейших розысках. Международный ордер на арест Штангля мы разослали уже давно. В списке военных преступников комиссия Объединенных Наций включила его одним из первых, но американцы сделали вид, что об этом не знают. Теперь мы разошлем ордер на арест Вагнера. Фейгеле вздрогнула и побледнела.

— Пан Кневский, знаете, что я вам скажу? Даже если они и узнают, то отделаются одними разговорами. Меня, как только услышу об этих выродках, бросает в дрожь, а им все нипочем. Фейгеле угодила в самую точку.

Штангль и не думал сам лезть в петлю, ни когда счастье от него отвернулось, ни когда все кончилось для нацистов прахом. Единственное, на что он пошел, — сбрил щеточку усов, которую носил а-ля фюрер, и сдался в плен американцам. Почему надо было так бесконечно долго тянуть следствие и сбор материалов о нем — трудно понять. Это все равно что кто-то взялся бы разглядывать гусеницу через увеличительное стекло и при этом пытался бы отрицать, что видит продолговатое мохнатое существо с несколькими парами ног. Американцы с самого начала знали, какой хищник попался им в руки. Дела Штангля не настолько были окружены тайной, чтобы при желании о них нельзя было разузнать. Случилось так, что сохранилось несколько актов о «естественной» смерти умерщвленных антифашистов. Составил эти акты в Вене по заданию гитлеровской администрации Штангль. Произошло это вскоре после провозглашения «аншлюса» — присоединения Австрии к Германии. Вместе с оккупацией Австрия потеряла не только свою независимость, но и собственное имя: отныне она именовалась «Восточной областью» третьего рейха.

Следователь, который вел дело Штангля, знал также, что в 1940 году тот работал в берлинском центре «эвтаназии» и оказался он там после того, как Гитлер в первый же день второй мировой войны — 1 сентября 1939 года — поручил рейхслейтеру Баулеру и доктору медицины Брандту приступить к этой акции. «Право убивать, — объявят они вскоре, — залог здоровья нации». Для фабрик смерти потребовались «специально обученные, высококвалифицированные» кадры, и для их подготовки в Германии были созданы три секретных лагеря-школы: одна — в Хадамаре близ Лимбурга, другая — в Графенеке у Бранденбурга и третья — в Зонненштейне, недалеко от города Пирна. Франц Штангль и Кристиан Вирт имели свободный доступ в каждый из этих лагерей. Немногим даже из самых видных офицеров гестапо было дано такое право; их можно было пересчитать по пальцам. Чем же объяснить, что именно Штангль и Вирт заслужили столь высокое доверие? Тем, что им предстояло создать на территории Австрии четвертую, самую изуверскую

школу, просуществовавшую до конца войны.

Место для этой школы Гиммлеру предложил гаулейтер «Верхнего Дуная». Еще в детстве его очаровали башни и купола кирхи в замке Хартгейм близ Линца. Земля здесь отличная, если же удобрить ее пеплом от сожженных человеческих тел — тем лучше. Не беда, если часть его попадет в воды Дуная: они и без того особой чистотой не отличаются.

С самого начала было задумано, что Хартгейм предназначается исключительно для умерщвления людей, и этому должно быть все подчинено. Планировалось приступить здесь к разработке новых, более совершенных способов уничтожения: вместо девяти граммов свинца, веревки на шее, впрыскивания яда лишать жизни с применением индустриальных методов. Из Штутгарта прибыл Эрвин Ламберт и построил первую газовую камеру. Не было недостатка и в людском материале. Для начала из Маутхаузена доставили транспорт немецких и австрийских коммунистов. Узники прозвали лагерь Домом убийств — «Мордхаузен». Работали они в каменоломне. Тех, кто не в силах был выполнить дневную норму, сбрасывали с горного выступа в ров.

Организаторы лагеря-школы в Хартгейме приступили к отбору кандидатур для специального отделения. Им были предоставлены неограниченные полномочия. Как потом вынужден был признать Штангль, нужны были люди, которые обладали соответствующими данными и уже доказали свою преданность Гитлеру, были способны воспринять цель, состоящую в систематическом и планомерном, рассчитанном на годы, уничтожении евреев, коммунистов и социалистов.

Отобранным ээсовцам дали понять, что после выполнения этой «почетной» задачи большинство из них станет владельцами заводов и фабрик, банков и торговых заведений, домов и улиц, тысяч гектаров пахотной земли. Работать на них будут нелюди, появившиеся на свет божий лишь затем, чтобы служить арийцам. Так, постепенно, этих «сверхчеловеков» увлекли мечтой о волшебном тысячелетнем рейхе, где каждому из них предстоит в полную меру вкусить жизненные блага, а пока ненасытная жажда богатства должна была превратить убийство людей в обычное дело, чуть ли не в удовольствие, без которого они уже не могли обойтись.

Не зря инспектор концентрационных лагерей в Германии Эйке заявил здесь, в Хартгейме: «Аромат ладана нам ни к чему, мы его не переносим». И поскольку его выкормыши свыклись с запахом дыма и гари, исходящим от работающей день и ночь газовой камеры, и смрадом сжигаемых на кострах человеческих тел, и это им было по сердцу, они во всю мочь своих луженых глоток прокричали ему вслед: «Не переносим!..»

Густав Вагнер был среди первой пятерки, отобранной Штанглем и Виртом для своей «академии». Как говорится, кто что ищет, то и находит. Штангль был убежден, что на Вагнера можно положиться как на самого себя. Прошло немного времени, и из ученика тот стал инструктором. Знали ли они с самого начала, какой учебный курс им предстоит усвоить и что они должны будут делать после его окончания? Безусловно. Со всей определенностью можно утверждать, что знали. От такого рода занятий тогда не отказывались. Позднее, правда, исключения все-таки бывали. В Собиборе, рассказывали, недолгое время служил ээсовский унтершарфюрер по фамилии Шварц. Вопреки всем усилиям инструкторов из него не получился убийца. Вырваться из этой фабрики смерти ему помогло то, что в его арийской родословной всплыло какое-то пятнышко. Перед отправкой на фронт он заглянул в барак, обошел все нары, как бы прося у узников прощения.

Как только Штангль стал комендантом Собибора, своим первым заместителем он назначил Вагнера.

То же повторилось и в Треблинке. Большинство эсэсовцев этих двух лагерей смерти были воспитанниками школы Хартгейм.

Одним из осужденных, который был доставлен в Хартгейм в качестве «учебного материала», оказался бывший австрийский канцлер Горбах. От верной гибели его спасло то, что он обладал красивым почерком. Для экс-канцлера нашлась должность в лагерной канцелярии. Должно быть, это дало повод представителю отдела экстрадиции при главном штабе американских войск Юджину Фушеру предложить, чтобы Штангля выдали не правительству Народной Польши, где он уничтожил семьсот тысяч человек, а Австрии, где он будто занимался одной лишь теорией, и если истязал и душил, то только немецких и австрийских коммунистов и социал-демократов. Доказательство налицо! Штанглю ведь ничего не стоило отправить бывшего канцлера на тот свет, но он этого не сделал.

С предложением Фушера согласились, но привести его в исполнение не торопились. Правда, с частью награбленного золота Штанглю пришлось расстаться. Должно быть, те, кто отняли у него кошелек, не знали, что у него еще имеются редкие бриллианты, которые он, будучи комендантом Собибора, вместе с Болендером утаил от Гимmlера.

Берек хорошо помнит, как в один из вечеров в лагере, лежа на нарах, Куриэл ему говорил: «Чем меньше хищников будут касаться этих драгоценных камней, тем легче будет потом их найти. О Гимmlере говорить не приходится. Но и о Штангле, и о Болендере уже знают на воле. Настала бы только пора...»

Один из крупных бриллиантов, как потом выяснилось, был еще до этого передан подпольному гангстерскому тресту «ODESSA» переправлявшему нацистских преступников в безопасные места в разные страны мира. Штангля и Вагнера выдали правительству Австрии только в марте 1947 года. Для недавно освобожденной Австрии это была не бог весть какая находка... В это время в Варшаве высший трибунал судил коменданта Освенцима Рудольфа Гесса. В этом крупнейшем из фашистских концлагерей погибло четыре миллиона человек — мужчины, женщины, дети из многих стран Европы. Почти всем этим странам польское правительство направило приглашение прислать на процесс своих представителей. Это, можно сказать, был поистине международный процесс, и никто не сомневался, что убийца получит по заслугам. Так и произошло.

В Вене Штангля и Вагнера — этих матерых палачей — надолго не задержали. Нашлись доброты, которые помогли им. Место заключения для них подобрали подходящее — Линц, где они знали каждую улицу, каждый закоулок как свои пять пальцев. Там их уже поджидали Тереза Штангль и специальный представитель «ODESSA», имевший свободный доступ в тюрьму. В Линце арестантам жилось недурно. Камера ничем не напоминала подвал, где узникам нечем дышать и они чувствуют себя заживо погребенными, им не приходилось также спать на прогнивших соломенных тюфяках. Снова следствие затянулось на долгие месяцы. На здоровье ни один, ни другой не могли жаловаться. Изредка заключенных водили на работу на местный металлургический завод, но за деньги, а платили они хорошо, находились охотники выполнить вместо них дневную норму. Из заключения можно было бежать, но в этом не было необходимости. Многие видные нацисты к этому времени уже успели занять ключевые позиции. И вдруг тревожный сигнал: в руки представителя «ODESSA» в Линце попала пересланная из Вены довоенная фотография, Штангля. Был он тогда еще относительно молод, хотя у него уже намечалась небольшая плешь. Штангль не помнил, когда и где его снимали.

Важно было другое: фотографию обнаружили у иностранца, вернее, иностранки, говорящей с выраженным польским акцентом. Приехала она в Вену из Парижа, справлялась о замке Хартгейм, и в то время, когда она обедала и пожилой кельнер до смерти надоедал ей своей приторной угодливостью, кто-то рылся в ее вещах и извлек оттуда эту фотографию.

На этот раз Штангль не на шутку перетрухнул. Так недолго оказаться в руках у поляков. На кон поставлена его жизнь. И что тогда будет с Терезой, с его детьми? Могут и до них добраться. От предчувствия надвигающейся опасности он лишился сна. Набрякшие подглазья побагровели. В поисках выхода он, словно зверь в клетке, часами метался по камере. Единственное, до чего он додумался, это просить администрацию тюрьмы усилить охрану, и лишь тогда он немного успокоился.

Почти так же, только не в Линце, а в Сан-Паулу, повел себя тридцать лет спустя Густав Вагнер.

## ФРАУ ТЕРЕЗА

Берек и Гросс направляются к дому Терезы Штангль.

Врач всегда готов прийти на помощь людям, но Бернарду Шлезингеру и во сне не могло присниться, что в его помощи будет нуждаться жена Франца Штангля и любовница Густава Вагнера. Терезу, говорят, не так просто обескуражить. Только арест Вагнера на время выбил ее из колеи. Стоит ей прийти в себя, и она поймет, что доктор Шлезингер не тот, кто ей нужен. Если так произойдет, ему не придется ни перед кем оправдываться. Никому он не служит и никому не обязан. На его совести лишь один-единственный неоплатный долг перед отцом и матерью, братом и сестрами, перед Риной и миллионами погибших. И этот долг он на себя возложил сам, по велению совести.

Берек шагает по одному из самых фешенебельных районов Сан-Паулу — по Бруклину — и испытывает такое чувство, будто он направляется в замок Хартгейм на Дунае, где Штангль и Вагнер готовили профессиональных убийц для Освенцима, Треблинки, Собибора и других лагерей смерти. Живет Тереза Штангль не где-нибудь на окраине. Дорогу к ее дому он может найти и без помощи Гросса. Улицу Фрей Гаспар знает здесь каждый встречный, а дом номер 377 и самому легко обнаружить.

Особняк, во владение которым уже давно вступил Франц Штангль, не огорожен проволокой, не окружен каменной стеной, и сторожа у ворот не видать. Только небольшая никелированная цепочка запирает калитку изнутри. Неужели у него не конфисковали награбленное имущество? Вряд ли.

Особняк мог быть записан на чужое имя, так же могли поступить с драгоценностями, отданными на хранение в опечатанные банковские сейфы. Можно было опасаться, что соседи станут коситься в их сторону, но в этом районе бедняки не проживают, и, если кто-либо из соседей и догадывается, как эти богатства нажиты, им до всего этого нет дела.

Фрау Тереза любезно поздоровалась с Гроссом, подала руку Шлезингеру. Береку хотелось закричать, но он сделал над собой усилие и пожал протянутую руку.

— Доктор Шлезингер, я о вас так много слышала, что мне кажется, будто мы с вами давно знакомы. Надеюсь, со временем мы станем добрыми друзьями. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Если угодно, можете посмотреть мою библиотеку, картины, хотите, сразу приступим к разговору.

— Если не возражаете, я сперва посмотрю картины.

— Пожалуйста. Для вас все двери открыты, а я тем временем побеседую с господином Гроссом. Это всегда доставляет мне удовольствие, но, к сожалению, он часто обо мне забывает.

Улыбка не сходила с ее уст, обнажая ровный ряд белых зубов. Говорила она без кокетства. Ей, должно быть, казалось, что своей манерой держаться весело и непринужденно удастся скрыть свои переживания.

Берек огляделся. Нет, это не обычный дом, а настоящий дворец. В огромном зеркале в прихожей он видит, как Тереза берет Гросса под руку. Двигается она плавно, ступает легко. Красивой ее не назовешь, но она еще довольно привлекательна, аристократична, элегантна. Прическа — по последней моде. Видно, что умеет ловко скрывать свои изъяны и оттенять достоинства. У него еще будет время присмотреться к ней.

Берек заходит в зал, стены которого увешаны картинами: здесь и масло, и гуашь, и акварели, и офорты. Если бы его спросили, он сказал бы — настоящие сокровища. Ему хотелось увидеть ее портрет, нарисованный в его присутствии Макс ван Дамом с фотографии. Там, как ему помнится, она тоже улыбалась, но улыбка ее была совсем иной.

Берек ходит из одной комнаты в другую неторопливо. Внезапно его будто что-то подтолкнуло, и он возвращается в зал, который только что миновал, и подходит к круглому столику. Его внимание привлекла фотография в незатейливой рамке, размером чуть больше почтовой открытки. Это был снимок с портрета молодой женщины в полный рост. Портрет этот кисти ван Дама, хоть и в уменьшенном виде, позволял заглянуть во внутренний мир этой женщины.

...Было это в Собиборе, в казино. Густав Вагнер принес фотографию молодой женщины, снятой в полный рост, и властно потребовал, чтобы художник сделал портрет этой женщины. Она, мол, ему дорога, и он должен иметь ее портрет. Это было днем, а вечером...

Воздух насыщен удушливым чадом обугленных человеческих тел и сосновой смолы. Между деревьями мерцают звезды. Кажется, до них рукой подать. Вот одна из звездочек в какое-то мгновение скользнула вниз и исчезла, и ван Дам, лежа на нарах рядом с Береком, проговорил: — Тебе повезло, что ты попал к Куриэлу. Считай, что в рубашке родился.

Сказал и надолго замолчал. Надвинулась туча, и барак погрузился во тьму. Постепенно глаза свыклись с темнотой, и Берек услышал слова, произнесенные ван Дамом:

— О Собиборе тебе надо знать все. Все, что мне известно, ты должен запомнить. Ты останешься в живых. Говорю тебе это снова и снова.

И вот настал час...

Фрау Тереза зашла в зал, перехватила пристальный взгляд Берека и, поправляя складки портьеры на окне, пояснила:

— Красивой я получаюсь только на фотографиях. Пусть это вас не удивляет. Художнику я никогда не позировала.

— Знаю.

В его голосе прозвучала затаенная неприязнь. В эту минуту он ничуть не сожалел о том, что не сдержал своих чувств. Даже если после этого ему придется покинуть дом, не попрощавшись.

— Что вы сказали? — спросила она, резко обернувшись в его сторону.

Ответил ей подошедший Гросс:

— Фрау Тереза, вы помните, я как-то говорил вам, что герр Шлезингер, после того как побывал на первой послевоенной выставке Макса ван Дама, стал большим его поклонником. Ему удалось приобрести несколько работ художника. Я же рассказал ему о вашем портрете работы ван Дама и

обещал ему попытаться уговорить вас продать ему портрет. Но быть посредником между вами для меня несколько затруднительно. Я ведь к вам обоим привязан. Так что, друзья мои, поступайте как вам угодно, а я на время вас покину.

Тереза несколько удивленно посмотрела на Гросса и слегка кивнула головой, как бы нехотя соглашаясь на его уход. Леону она верит, и все, о чем он здесь говорил, вполне допустимо, тем не менее услышанное ее насторожило: хороших и знаменитых художников на свете немало, с чего же вдруг этот амстердамский доктор гонится именно за картинами ван Дама? То, что они соотечественники, еще ничего не значит. Голландское искусство славится во всем мире, — «когда-то славилось», поправляет она себя, — и чтобы приобрести Рембрандта и других великих, будь это возможно, ему всего его состояния не хватит. Как же ей быть — приступить самой к неотложному делу, для чего ей и понадобилась встреча со Шлезингером, или же повременить и убедиться, что он интересуется только картинами ван Дама и ничем больше? Но нетерпение берет верх, и она спрашивает:

— Герр Шлезингер, об этом художнике вы, вероятно, знаете многое?

— Не очень. Жизнь у него была короткая. Он погиб, когда ему было тридцать три года. О нем много писали в газетах в 1966 году, когда состоялась выставка его произведений в Хильверсуме.

— Жаль. Он и сейчас мог бы сидеть за мольбертом и рисовать. За его картины платили бы большие деньги. Для меня он святой. Другого слова не нахожу.

Нетрудно было понять, куда она клонит, но Берек прикинулся непонимающим и спросил:

— Почему святой?

— Почему? Вы, должно быть, читали, что по пути в Швейцарию его задержал военный патруль, и, хотя надлежащих документов у него при себе не было, его отпустили. А он? Он, видите ли, в присутствии дамы дал честное слово, что наутро сам явится в ближайшую немецкую комендатуру, и, зная о грозящей ему опасности, все же слово сдержал. Вот это по-рыцарски! Такие мужчины теперь редко встречаются. При случае я как-нибудь расскажу вам о том, при каких обстоятельствах он рисовал мой портрет.

— Сомневаюсь, будет ли у нас такая возможность. Сюда, в Бразилию, я прибыл ненадолго. Долго отсутствовать мои пациенты мне не позволяют.

— Герр Гросс мне об этом говорил, тем более я вам благодарна за вашу готовность меня выслушать. Что до всего остального, не сомневаюсь, договоримся. Главное, чтобы вы меня правильно поняли и по возможности постарались помочь как врач. Ваши пациенты в Амстердаме могут в случае необходимости обратиться к другому врачу, я же в Сан-Паулу такой возможности лишена. Вы меня понимаете? Конечно, я вам обстоятельно все объясню, но это длинный разговор. Пока мы его отложим, а теперь позвольте пригласить вас к столу. Только с меня, пожалуйста, пример не берите. Вы ведь знаете, когда состоятельная женщина голодает? — Ее брови поднялись кверху, напоминая вопросительный знак. — Совершенно верно, когда ей это рекомендует врач.

Она направилась в столовую, а он шел следом и про себя заметил: даже сейчас она не забывает о своей внешности.

Стол был накрыт роскошно — всего было в изобилии. Не хватало разве что фасоли и лапши — мечты бедняков. Тем не менее Тереза сочла нужным извиниться: она разрешила прислуге отлучиться, и теперь придется ей самой заканчивать приготовления к обеду.

Ну что ж. Берек тем временем продолжал разглядывать обстановку. Судя по всему, дом не новый, но недавно основательно реставрирован и роскошно обставлен. Не каждому это по карману, но Штангль мог себе это позволить. Большинство из тех, кого он ограбил, жили в покосившихся, наполовину вросших в землю хатенках, крытых дранкой или черепицей, с потрескавшимися дверьми и ржавыми петлями. Берек хорошо помнит, что в доме его родителей самое почетное место — на источенном шашелем старом комоде — занимал самовар. Гнутые подсвечники, медная ступка, вся в трещинах от долгого употребления кухонная дощечка, выщербленные тарелки и миски, оловянные ложки — убогие принадлежности домашнего обихода. В хорошие времена, помимо житного хлеба, могли себе позволить еще стакан простокваши, к чаю подать крупинку сахарина, бублики, несколько соленых рыбешек, а если гость пожаловал, стол накрывали скатертью, ставили бутылку вишневой настойки, подавали гусиные шейки, начиненные мукой с жиром, а на закуску — тушеную морковь. Выпив и закусив, брали в руки старую деревянную дудочку и, хмельные, скорее с горя, нежели от выпитого, вполголоса напевали берущие за душу народные мелодии. Кому-то могло показаться, что такая жизнь ломаного гроша не сто́ит, но в семье Берека жизнь принимали такой, какая она есть. Если подумать, что возьмешь у таких нищих? Но Штангль умел брать и с живых и с мертвых. Внешне Бернгард Шлезингер ничем не напоминает ни свою мать Песю, с ее вечной заботой о том, как накормить детей и мужа, ни своего отца Нохема — маляра, всю жизнь красившего полы и крыши, окна и двери. Да и ничего в нем не осталось от прежнего местечкового мальчика. И все же с трудом укладывается в голове то, что он, Берек, вместо того чтобы крушить и ломать здесь все и вся, сидит у Штангля за столом и разделяет трапезу с его Терезой. Он вспоминает, как Фейгеле — тогда она еще даже не была его женой — однажды выговаривала ему:

— Берек, дай тебе бог здоровья, ты сам не отдаешь себе отчета в том, куда тебя несет. Я, может быть, не все понимаю, но, скажи на милость, к чему тебе все эти рискованные дела? Неужели нам с тобой мало того, что мы перенесли, неужели ради этого мы вырвались из ада? Ну почему, Берек, ты такой упрямец, почему?

Но как отказаться от возможности схватить и предать суду еще одного из тех, за кем тянется кровавый след и кто по сей день не расплатился за свои злодеяния? Чья бы это ни была кровь — тех, кто пал на поле боя, его родных или отца Вондела, Тадека или Куриэла, погубленные жизни которых остались в нашей памяти, — он должен за нее призвать к ответу. И такая возможность теперь как будто появилась: ради спасения своего любовника Тереза, надо думать, готова не только на любые расходы, но и пожертвовать свободой кое-кого из скрывающихся нацистов.

Тихо. Слышно лишь тиканье стенных часов.

На серебряном подносе Тереза приносит черный кофе и экзотические плоды дынного дерева — мамон. Она оживленно заговорила о себе, о детях и внуках, о том, каким преданным и заботливым отцом был Франц.

О том, что Штангль ничего не жалел для жены и детей, любил их, — это Берек слышал и раньше, что же она еще скажет?

Тем временем она продолжала:

— О любви я начала задумываться очень рано. К шестнадцати годам я ростом была выше матери. Моя пышная грудь привлекала взоры молодых людей. Вы меня извините, герр Шлезингер, за подробности, но зрелость наступила для меня раньше времени, и «девушкой на выданье» я

фактически стала тогда, когда мои сверстницы об этом еще не помышляли. Мои подружки еще играли в классы, а я уже предавалась девичьим мечтам. Чувственная по натуре, я увлекалась молодыми людьми, причем мои увлечения не отличались постоянством: сегодня мне нравится парень, полный сил и отваги, а завтра — тщедушный, все помыслы которого устремлены в коммерцию.

Берек, которому не раз приходило на ум вежливо намекнуть ей, что он напрасно тратит время, слушая ее пустую болтовню, и что не за тем он летел из Голландии в Бразилию, тут же осадил себя: терпение — прежде всего, иначе незачем было ехать сюда. Наконец она заговорила о Штангле и Вагнере, и тут он стал более внимательно слушать:

— Короче говоря, вопреки здравому смыслу, победил Франц. Смешно сказать, но увлекался он в то время тем, что лепил из пластилина зверюшек. Ему тогда не было еще и двадцати. Со временем он стал владельцем мануфактурной лавки. Моя тетьа окрестила его «Непобедимым». Голова на плечах у него была, упрямства — хоть отбавляй, а тут еще пробудилась жажда власти. Я по молодости не смогла это оценить по достоинству, но мои родители — люди, падкие до денег, — сразу поняли, что он далеко пойдет и что для меня это более выгодная партия, чем брак с его приятелем, Вагнером, первым предложившим мне руку и сердце. Не проходило дня, чтобы мне не напомнили: «Франц слова на ветер не бросает. Поторопись, не то он другой достанется».

И я вверила свою судьбу Францу. Густав тяжело переживал, но что он мог поделать? Оба они были членами одной партии, но и там Вагнер был у Франца в подчинении. Оба боготворили своего шефа, звали его Одилио. Летом 1933 года он вынужден был покинуть Австрию. Франц тогда оказал ему какую-то услугу. Одилио Глобочник со временем стал видным генералом и об этой услуге Франца никогда не забывал. Густава я первое время избегала. Вскоре у меня родился ребенок, и, к слову сказать, достался он мне в таких муках, что я чуть богу душу не отдала.

Так — то высокопарно, то с большой дозой сентиментальности — Тереза могла бы говорить еще долго, но, видимо, женское чутье подсказало ей, что не все, о чем она рассказывает, Шлезингеру интересно. К чему тогда обнажать свою душу перед человеком, который и слышит, и видит не так, как ты. Когда она узнала от Гросса, что доктор Шлезингер согласен встретиться с ней, она обдумала, что и как ему скажет. Но вышло так, что заговорила она совершенно о другом. Раньше такого с ней не случилось бы. Она ведь чуть не проговорила, и совершенно чужому человеку, что самая светлая пора ее любви настала лишь после смерти Франца. Она имеет дело с врачом, но выкладывать все это ему вовсе не обязательно.

Мужчины, они разве понимают что-либо в таких вещах?

— Герр Шлезингер, разговор с вами я сразу должна была начать с Густава Вагнера и его самочувствия, но это такое щепетильное дело, что, как бы я ни старалась, мне придется делать отступления и затрагивать посторонние и, возможно, более опасные темы. Должна вам заранее сказать: ваши взгляды, ваше мировоззрение меня не интересуют. Время сейчас мирное. Как врач и человек вы нам подходите, и, как меня уверял Гросс и как я сама понимаю, опасаться возможных связей между вами и теми, кого нам приходится остерегаться, нет основания. На сегодня это самое главное. Условия можете ставить любые, постараемся их выполнить, но об одном прошу вас: не откажите. Возможно, что в преждевременной смерти Штангля есть доля и моей вины, но если Вагнера не удастся спасти, виновата буду я одна.

## БЕЗ ТЕНИ СОЖАЛЕНИЯ

Тереза пристально смотрит Шлезингеру в глаза, привлекая его внимание, но что-то непохоже, чтобы он вникал в ее слова. Скорее всего, думает о своем. Но она все равно от него не отступится. Другого выхода у нее нет.

— Не раз, бывало, Густав говорил мне: «Тереза, давай уедем отсюда, из Бразилии», а я все не соглашалась. Год выдался хороший, можно сказать, удачный, наши личные отношения складывались почти так, как нам этого хотелось. Важно и то, что здесь проживает много немцев и австрийцев. Временами мне кажется, что я будто и не уезжала из фатерланда. Да и не так-то просто оставлять детей и внуков, даже Гросса, который часто бывает у меня дома. Вы, безусловно, меня понимаете, но вам важнее узнать побольше о Вагнере, что он за человек. Если вам скажут, что у него сильный характер, — не верьте этому. Так же, как неверно то, что теперь о нем пишут, будто вся его сила была в кулаке. Скорее можно было прийти в замешательство от одного его взгляда. Кое-кого и в дрожь бросало. Но мне, при всех его недостатках и противоречиях, он дорог. Никто не знает его так, как я. Он всегда нуждался в более твердой руке.

Да, да! Не удивляйтесь. Такой он человек, Вагнер. Ему нужно, чтобы рядом была более сильная натура, чтобы им руководили, а там он уже сам задаст тон, у него будут учиться другие. А погорячился он, узнав, что его преследуют, оттого, что его возбужденная фантазия нарисовала бог весть что, и он не совладал с собой. Меня здесь не было. Будь я на месте, он к комиссару полиции не пошел бы. Он мог бежать в соседнюю страну и там переждать, а при необходимости — податься куда-нибудь в другое место. И все те, которые теперь так возмущены его поведением, охотно ему во всем помогли бы. Вы меня понимаете? Те... — Она на мгновение осеклась, будто испугавшись чего-то, но тут же продолжала: — Одно то, что Вагнер потерял самообладание и пригрозил человеку, который якобы узнал его, что с ним рассчитаются, говорит о том, что сам он беспомощен, как ребенок.

Берек не выдержал:

— Фрау Тереза, мне, вероятно, в эти дела незачем вникать, все же хотел бы спросить, почему вы говорите «якобы узнал», если сам Вагнер не отрицал, что его действительно узнали?

— Ах да, вы того, Шмайзнера, имеете в виду? — заметила она недовольно. — Не забывайте, в какое время это происходило. Вы тогда были еще ребенком и не испытали того, что пришлось нам испытать. Это ваше счастье. Вы должны понять, что человек не хозяин своей судьбы и не всегда делает то, что хочет. Особенно в военное время. Тот, кто доверяет свидетелям на судебных процессах, никогда не будет объективным. Человек, у которого есть здравый смысл и хоть немного сочувствия к людям, не станет требовать, чтобы в старости понесли наказание за содеянное в молодости. И, кстати, почему, собственно говоря, эти процессы вас заинтересовали?

— О каких процессах идет речь?

— В Хагене, в Дюссельдорфе, я знаю, вы были.

Берека и до этого терзали сомнения, а после ее расспросов его раздражение и недовольство собой стали еще сильнее. Уж лучше бы он не приезжал сюда. Глядя на Терезу, сидевшую в старинном бархатном кресле, Берек запальчиво произнес:

— Был, да и кто мог мне запретить? На суде в Дюссельдорфе были и вы и выступали в качестве свидетеля. Я запомнил, как на вопрос судьи, знали ли вы, что ваш муж был комендантом Собибора и

Треблинки, вы ответили, что узнали об этом только после его ареста. Мне интересно было слушать всех свидетелей, выступавших в суде. Это вполне объяснимо. У меня, человека, выросшего после войны, события тех лет не укладываются в голове. Я этого не могу понять ни умом, ни сердцем. Поэтому меня особенно интересуют факты. Только факты.

Такой ответ вполне устроил Терезу и рассеял ее опасения. Так же примерно рассуждал и Гросс, но это не повлияло на их отношения. «Выбор жизненного пути, — сказал он ей, — вечная проблема. Одни предпочитают всегда и везде оставаться порядочными людьми даже тогда, когда это грозит им бедами, а то и гибелью, другие же ради своего благополучия готовы на все, — вплоть до согласия шагать по трупам». По существу ту же мысль, только в другом изложении, она услышала от Шлезингера. Важно, что он проявил свое истинное лицо, и Тереза задает ему вопрос, который недавно ей задал зять:

— А если сама природа запрограммировала человека таким?

— Даже если допустить такое, и тогда это никого не освобождает от ответственности. Давайте лучше, фрау Тереза, об этих вещах больше не говорить. Я — врач, и разговор со мной ведите как с врачом.

Слова Шлезингера произвели впечатление на Терезу: кажется, этот доктор оправдывает ее надежды. Никому из тех, кто опасается, что Вагнер может его выдать, не удастся перетянуть на свою сторону Шлезингера и использовать его в своих целях. Что до официального суда, можно рассчитывать на благоприятный исход, а там они с Густавом сумеют перебраться в другое место и спокойно доживать свои дни.

— Хорошо, хорошо, — отозвалась она с готовностью, — пусть будет по-вашему. Для меня теперь важно, чтобы Вагнеру поставили правильный диагноз и лечили его соответствующими лекарствами и в нужных дозах. Вы меня поняли?

— Важнее, чтобы вы меня правильно поняли. Не видя пациента, я лишен возможности установить, чем он болен, и, как вы сказали, назначить соответствующие лекарства.

— Милый мой доктор, что же мне делать? — произнесла она умоляюще.

— В тюрьме имеется врач. Поговорите с ним.

— Это исключено, — разочарованно махнула она рукой. — Я эту мысль напрочь отбросила. В ближайшие дни его переведут в столицу, в город Бразилиа. Я заинтересована, чтобы это произошло как можно скорее. Что собой представляет тамошний эскулап — я знаю еще по тому времени, когда там сидел Штангль. Дело осложняется тем, что встретиться и поговорить с врачом или еще с кем-либо из тюремных чиновников могу не я одна. В печати появились статьи с требованием, чтобы полиция разыскала друзей Вагнера, которые могут учинить расправу над узнавшим его свидетелем. Названы организации и лица здесь, в Бразилии, и за рубежом. Среди них — сын Эйхмана и даже Менгеле, которого Густав давно уже в глаза не видел. За Менгеле, как вы понимаете, мне особенно тревожиться не приходится. Человек он с головой. Не зря же окончил два факультета — медицинский и философский. На одном месте он долго не задерживается, но вот Густав... Теперь вы понимаете, кого он задел? Если надо, они могут заплатить куда больше, чем я. К тому же их боятся, а кто я? Вы, только вы один в силах мне помочь. Я верю, что, как только Густава переведут в Бразилиа, вы сможете его навестить и при необходимости оказать ему медицинскую помощь или хотя бы посмотреть, как и чем его лечит тюремный врач. Соответствующего разрешения я добьюсь,

и вам ничего для этого делать не придется. Вам ясно?

— Не совсем. Все должно делаться на законном основании. Лечить кого-либо в тюрьме мне раньше не приходилось. И если я иду на это, то только при условии, что не вы, а тюремный врач пригласит меня как бы на консультацию.

— Герр Шлезингер, в здешних порядках я разбираюсь неплохо, так что можете на меня положиться. То, что вам кажется маловероятным, в действительности дело решенное. Десятки журналистов из разных стран уже знают, что Вагнер намерен устроить пресс-конференцию. Будут у него и другие встречи. Большой интерес к нему проявляют эксперты по особо важным ценностям. Им теперь известно, что в свое время Густав ведал мастерскими, где готовили к отправке в рейх конфискованное имущество. Под давлением внешних сил эти эксперты пользуются большими правами. Они попытаются добиться своего, и надо внушить Вагнеру, чтобы он вел себя с ними сдержанно и разумно. Я это знаю потому, что эксперты беседовали и со Штанглем. Франц отвечал им обдуманно, коротко и спокойно. Густав же очень спесив. Он не терпит, когда кто-то позволяет себе даже намек на иронию или насмешку по отношению к нему. Если его не предостеречь, он может натворить глупостей. Мне сказали, что один из иностранцев психолог или психиатр, и ему ничего не стоит усыпить и таким образом ослабить, а то и вовсе парализовать волю. В тюрьме применять гипноз запрещено, и я договорилась, что встреча с психиатром состоится только в присутствии моего личного врача, я имела в виду вас. У Вагнера большое сердце, и с ним всякое может случиться. Так что я на все готова, лишь бы вы согласились помочь ему.

Берек еще колебался, не знал, на что ему решиться. С самого начала ему противно было слушать ее болтовню. Штангль, Вагнер и Тереза — ничего себе компания! Его бы не удивило, если бы она попыталась выведать что-либо у него, а о себе умолчать, произошло же обратное. Неужели она не понимает, что ее откровенность не менее опасна, нежели угроза Вагнера, что его друзья за него заступятся и расправятся со свидетелем? Чем, собственно говоря, он, Берек, завоевал ее доверие, и она говорит с ним куда более откровенно, чем он надеялся? Неужели на нее так повлиял арест Вагнера, что ей кажется — самое худшее уже свершилось. Правда, и без нее нетрудно догадаться, что Штангль и Вагнер были связаны не только с теми, кто бежал из Германии, но и с новоявленными нацистами. Оба они безусловно знали новые фамилии бежавших, их адреса, пароли. Кое-какие из этих тайн, видно, известны и Терезе. Но как связать то, что, с одной стороны, она была среди немногих допущенных на празднование дня рождения Гитлера, а с другой — с такой легкостью назвала Менгеле и упомянула об экспертах, разыскивающих награбленные убийцами драгоценности. Как Тереза поведет себя с ним дальше — сказать трудно, но ясно одно: он не должен отказываться от ее предложения. Тереза сидит молча — сидит и ждет. То, что он задумался, прежде чем дать ей окончательный ответ, кажется ей естественным. Берек спрашивает:

— Как у Вагнера протекает болезнь сердца и давно ли она у него?

— Точно я вам не скажу, но думаю, что это началось после того, как взяли Штангля. Он испытывал боли при ходьбе, при физических нагрузках и особенно когда нервничал. К врачам он не хотел обращаться. Постепенно приступы становились реже и почти прекратились. Но за последнее время они участились, в основном по ночам, во сне. Боли были до того сильными, что он лежал в испарине с широко раскрытыми глазами. На этот раз он всерьез испугался и обратился к врачу. Давали ли ему нитроглицерин? Да, герр Шлезингер, и, когда он его принимал, боли обычно быстро проходили.

Электрокардиограмму ему делали, но что она показала, не знаю. Если бы был инфаркт, я бы знала.

Что же вы молчите, герр Шлезингер? Как вы думаете, болезнь серьезная, опасная?

— Полагаю, что серьезная, но все зависит от того, как она будет развиваться дальше. У таких больных часто бывают инфаркты и другие осложнения.

— Если я вас, доктор, правильно поняла, он может неожиданно умереть?

— И такое случается, особенно если кровяное давление высокое и нет надлежащего лечения.

Ответ Берека не на шутку напугал ее.

— Не может ли случиться, что ему умышленно назначат не то лечение или применят опасные для него средства? Так ведь недолго и отравить.

— Этого я не знаю. В таких случаях судебным экспертам нетрудно установить факт отравления. Но должен вам сказать, что подобные вещи делаются куда проще и с меньшим риском быть обнаруженным. В латыни есть такой термин «плацебо», что означает «ничтожно малое». Так вот, вместо того чтобы дать больному те лекарства, которые записаны в истории болезни — сосудорасширяющие препараты и другие, — прибегают к плацебо: делают уколы, дают таблетки или порошки, но содержат они, скажем, питьевую соду, сахар. Вреда от них никакого, но и нужной помощи больной вовремя не получает. Это называется пустышкой.

Не думайте, фрау Тереза, что плацебо вещь запретная или придумана с преступной целью. В лечебных учреждениях, где испытывают новые лекарства, иногда без этого не обойтись. Обычно такие средства изготавливаются в лабораториях этих же лечебных учреждений.

Вы хотите знать о дозировке. Конечно, и это весьма важно. Даже в обычных больницах истории болезни доступны только для медицинского персонала. Если вы допускаете, что тут может быть замешана рука злоумышленника, то выписано будет все правильно, а на самом деле больной получит ничтожно малую дозу или же, наоборот, дадут лекарства в значительно больших количествах, что может привести к осложнениям. Чтоб это стало причиной остановки сердца — такого я не слышал.

— Герр Шлезингер, вы даже себе представить не можете, как я вам благодарна, вам и Гроссу, за то, что он рекомендовал мне вас. Можете не сомневаться, что выразится это не в одних словах.

«Плацебо», «осложнения» — все эти ухищрения, как бы мудрено они ни были задуманы, врагам Вагнера осуществить не удастся. Густав будет принимать только те лекарства, которые я ему передам. Вас я попрошу их прописать и объяснить ему, как их следует принимать. Прослушать его сердце, измерить ему давление — такая возможность у вас будет. Во время встречи с экспертами тюремного врача не будет. С ним я сумею договориться. Он из тех, что так и смотрит тебе в руки. Единственное, о чем я вас попрошу, при случае сказать Густаву от моего имени, чтобы он не принимал близко к сердцу всякую чепуху и не обращал внимания на то, что пишут в газетах. Не только Польше или Израилю, но даже ФРГ или Австрии его не выдадут ни в коем случае. Я вижу, вы качаете головой, и, как я понимаю, вы с самого начала отказываетесь выполнить мою просьбу. Что ж, мне это говорит о вашей прямоте и честности. Другой на вашем месте поступил бы так, как считает нужным, а я бы меж тем напрасно на него рассчитывала.

Герр Шлезингер, Вагнер мне бесконечно дорог, я должна его спасти и для этого пойду на все.

Извините, я задержу вас еще на несколько минут и расскажу то, что другому, даже самому близкому человеку, не стала бы рассказывать. Тридцать с лишним лет над Вагнером неслыханно издевались, и все из-за меня. Не понимаете? С тех пор как Штангль на мне женился, он своего соперника от себя

не отпускал. Франц полагал, что так для него безопаснее. Даже в отпуск они уходили в одно и то же время. Лишь после того, как суд в Дюссельдорфе вынес приговор, то есть перед самым концом, мой муж отменил распоряжение, по которому я не вправе была пользоваться остающимися после его смерти имуществом и фамильными ценностями. Штангль всегда мог наказать Вагнера, Вагнер Штангля — никогда. Не будь Франца, Густава, а заодно и меня сжили бы со света. И дети мои, едва они повзрослели, были преданы больше отцу, чем мне. Вам может показаться, что без помощи Штангля Вагнеру не стать бы высокопоставленным функционером СС? Это не так. Они могли бы служить в разных ведомствах, но должности, скорее всего, занимали бы одинаковые.

Извините, пожалуйста, за то, что я вас задержала. Надеюсь, вы не злоупотребите моим доверием, и все мною сказанное останется между нами. До свидания, герр Шлезингер!

В зал вбежала внучка Терезы — девочка лет семи-восьми, сияющая, счастливая, — симпатичный, ухоженный ребенок. На Берека повеяло детским теплом, но это длилось мгновение. Сколько довелось ему видеть детей, жизнь которых была оборвана, детей, так и не ставших взрослыми... Берек вышел за ограду, и вздох облегчения вырвался из его груди. От всего пережитого за день он чувствовал себя разбитым. Тереза оказалась совсем не такой, какой он ее себе представлял. За те несколько часов, что он провел в ее обществе, он ни разу не обнаружил в ней ни малейшего признака раскаяния. Она занята только собой, и до других ей дела нет. Его все подмывало спросить у нее, признает ли она, что Штангль и Вагнер не только убивали людей, но и присваивали драгоценности, отнятые у жертв? Вполне возможно, что подобный вопрос несколько не смутил бы ее. Первым делом он позвонил Гроссу, и они условились встретиться на углу, возле отеля.

— Есть ли что-нибудь новое? — нетерпеливо спросил. Гросс.

— Есть.

Гросс выжидательно посмотрел на Берека.

— Оказывается, у Менгеле имеются два диплома.

— А то, что Менгеле родом из Гинцбурга, она, очевидно, сообщит вам в другой раз. Но дело не в этом. Все равно это не пустые разговоры. Фрау Тереза не бросает слова на ветер. Если она это вам сказала, значит, не без умысла. Когда Штангля посадили, распространился слух, что его супруга ничего не имела против, чтоб его на законном основании убрали с дороги. Тереза тогда потребовала, чтобы в печати была названа фамилия эсэсовца, который за вознаграждение в семь тысяч долларов выдал Штангля. Штангля обвинили в том, что он уничтожил семьсот тысяч человек, и его партайгеноссе — товарищу по партии — захотелось получить не меньше хотя бы одного цента за каждого убитого. Защищая Вагнера, она действительно готова пойти на все. Вы случайно не обратили внимание, что она часто употребляет слова «Вы понимаете?». Не улыбайтесь. Это важно. В этом есть свой смысл.

— Обратил внимание. Я, как мне кажется, догадываюсь, какой смысл она в это вкладывает.

— В таком случае вы с ней справитесь и без моей помощи. Ну, а теперь вам не помешает освежиться. У нас даже в самом холодном месяце, в июле, когда температура обычно не опускается ниже двадцати градусов тепла, без этого не обойтись. А потом — в ресторан. Если хотите, можем поехать в японский квартал и отведать там экзотические блюда. Что же вы молчите? Приказывайте, я в вашем распоряжении. Свой разговор с Терезой сможете обдумать лежа в постели. Я, например, всегда так поступаю: лежу с закрытыми глазами и вижу все так отчетливо, будто это происходит сию

минуту. Тогда я могу лучше оценить происшедшее и предусмотреть возможные последствия. Правда, в таких случаях в голову лезут и всякие посторонние мысли, но при вашем характере, думается мне, вы сможете от них отмахнуться.

— На этот раз, герр Гросс, вы ошибаетесь.

— Если бы только на этот раз! Со Штанглем я был давно знаком, и до его ареста мне в голову не приходило задуматься над его прошлым. О нем нельзя было сказать, что он человек слишком откровенный, но и замкнутым его нельзя было назвать. Ко мне он впервые обратился с просьбой порекомендовать ему хорошего переплетчика. Как многие его соотечественники, живущие в Бразилии, он интересовался мемуарами, историческими записями бывших генералов и дипломатов третьего рейха. Такого рода литературу здесь можно приобрести почти в каждой книжной лавке. Удивило меня лишь одно обстоятельство: переплеты для своих книг он заказывал дорогие — с серебряными застежками, с золотым тиснением — и щедро платил за работу. Тут я понял, что этими книгами он дорожит настолько, что хочет сохранить их для потомков. После смерти Штангля Тереза стала еще более словоохотливой, но рассказала она о нем и о Вагнере очень немногое из того, что нам хотелось бы узнать.

Под аркой крытой галереи они прошли из одного двора в другой. Двадцатидолларовый номер, который Берек снял в гостинице, выходил окнами во двор. Им принесли свежее пенистое пиво. Есть не хотелось. Они с удовольствием просидели бы допоздна, но Береку нужно было отдохнуть. Говорят: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, но на этот раз все произошло на удивление быстро. Все, о чем говорила Тереза, начало сбываться. Вагнера посадили во вторник, тридцатого мая, а три дня спустя, в пятницу, его перевели в столицу, в Бразилиа. Тереза в сопровождении своего адвоката, Флаэно Дронке, прибыла туда несколькими часами раньше и остановилась в доме, который она сняла на длительный срок. На рассвете она позвонила Шлезингеру.

Фрау Тереза? Из Бразилиа? — он был удивлен. Как это ей удалось так быстро туда добраться? Она попросила Берека как можно скорее прибыть в столицу. Следствие и сбор материалов против обвиняемого будут, надо думать, еще долго длиться, но до встречи с экспертами остались не дни, а считанные часы.

Берек быстро оделся, сложил вещи и направился к выходу. Вполне возможно, что звонок Терезы ему на руку. Есть смысл в том, чтобы он был там, где назревают события.

## **Глава пятнадцатая**

### **ДОПРОС**

#### **ЭКСПЕРТЫ**

Два эксперта, которым разрешили встретиться и поговорить с Вагнером, появились у входа в тюрьму точно в назначенное время. Третий пропуск, выданный на имя Шлезингера, надо полагать, их вовсе не обрадовал. Берек заметил, что они посмотрели в его сторону с недоумением. Один из них, примерно того же возраста, что и Вагнер, стал разглядывать Берека так пристально, что даже прищурился, и его лицо покрылось густой сетью морщин. Его растерянность длилась недолго, он тут же расплылся в улыбке, подал Береку руку и представился:

— Юджин Фушер.

Улыбка его была неискренней.

Берек вскоре понял, что перед ним тот же Фушер, который тридцать лет назад на допросе обергазмейстера из Собибора Эриха Бауэра представлял комиссию по делам военных преступников при главном штабе американских войск в Германии. О благосклонном отношении этого эксперта к гитлеровскому палачу в свое время Береку рассказал Станислав Кневский. А до этого, не без содействия Фушера, избежали заслуженной кары Штангль и Вагнер. Тогда американцам не удалось прибрать к рукам все, что было награблено в лагерях, и теперь Фушер скорее всего уже частный сыщик и эксперт. Сюда он явился как давний кредитор, чтобы вырвать упущенный тогда «долг» и отхватить от него свой жирный кусок. Как же поведет себя Фушер сегодня, с чего он начнет? Всех троих привели в просторную комнату и указали каждому его место. Из внутренних дверей появился Вагнер, но остановился на пороге. Конвоир, по-видимому, ждал дальнейших распоряжений.

У Фушера иссякло терпение, он подошел к приоткрытой двери и потребовал от кого-то в коридоре: — Соответствующее разрешение в префектуре получено, что же мы здесь зря тратим время? Бауэр, Гомерский, Болендер, Френцель, Штангль — все эти лагерные палачи, которых в разное время Береку довелось увидеть на допросах, чередой прошли перед его мысленным взором. И вот еще один — Вагнер. Целыми днями он носился по лагерю словно гиена, высматривающая добычу. Стоило этому дьяволу в образе человека бросить на кого-то косой взгляд, и того ждал конец. Теперь он стоит, и вид у него жалкий, приниженный.

Куда девались его спесь и высокомерие. Когда-то густые волосы заметно поредели и потускнели. Оттого, что сутулится, он не кажется таким высоким. Только шея у него вытянута, как у жирафа, и выделяется тонкий горбатый нос на настороженном лице. Фушер же на вид моложав и спортивную осанку сохранил. Даже в одежде старается не отставать от моды.

Наконец все улажено. Конвоир покинул помещение, закрыв за собою дверь. Вагнер с деловым видом садится на стул. Расстегнутая рубашка обнажает ключицы и волосатую грудь.

— Господин Вагнер, как ваше самочувствие?

Берек не заметил, кто из двоих экспертов задал вопрос.

— На здоровье пока не жалуясь, — уклончиво ответил Вагнер.

— Прекрасно.

Теперь у Фушера появилась возможность попытаться избавиться от непрошеного свидетеля.

— Тогда, быть может, нам следует попросить у доктора прощения за беспокойство и отпустить?

Но и Вагнер был начеку, а возможно, Тереза заранее к этому его подготовила, и тут же возразил:

— Это уж позвольте мне самому решить.

Фушер будто не расслышал и повторил:

— И все-таки мы бы вас просили...

— Исключено. Если вы хотите со мной говорить, то только открыто. И больше об этом не будем.

— На сей раз пусть будет по-вашему. Но мы должны быть уверены, что все останется между нами.

Не знаю, что вам известно о нас, но о вас мы знаем не из сообщений печати о вашем аресте, взбудоражившем телеграфные агентства всего мира, а задолго до этого. Я лично занимался вашим делом еще в июне 1945 года. Американский отдел по расследованию военных преступлений находился тогда в австрийском городе Линце.

Весы, на которых намереваются взвешивать ваши немалые грехи, нас меньше всего интересуют.

Иногда достаточно подуть небольшому ветерку, и стрелка на весах качнется в ту или другую сторону. Но чтобы стрелка весов качнулась в вашу пользу, нужна сила со стороны, а это, само собой разумеется, во многом зависит от того, как вы себя поведете. Никто из нас не намерен учинять вам допрос — признаете ли свою вину, или как объяснить вашу столь быструю карьеру во время войны. Фашистскую иерархию в целом и ваше досье в частности мы знаем хорошо. Даже среди гестаповцев вы выделялись своим, мягко выражаясь, довольно крутым характером.

Допустим на минуту, что Собибор и Трешлинка были чем-то вроде рабовладельческих государств в миниатюре, а вы — полновластным хозяином рабов. Не качайте головой, будто это не так.

Незаметной фигурой, пешкой вы не были. В том царстве, где вы властвовали, вы пользовались правами куда большими, чем рабовладелец. Вы возглавляли не только рабочий лагерь, но и фабрику смерти, и перед тем, как уничтожить людей, вы старались обобрать их дочиста, выжать из них все, что только можно. Штангль объяснял мне это следующим образом: «Мы нуждались в захваченной территории, но не в людях, это вынуждало нас создавать карательные отряды, а они сперва привлекали людей к принудительному труду и уж потом освобождались от них». Таким образом вы служили одновременно в двух ведомствах: в главном ведомстве по безопасности рейха — по части физического истребления людей, и в главном административно-хозяйственном ведомстве СС — по части изъятия собственности и использованию рабочей силы до ее уничтожения. О крупных конфискованных ценностях — движимости и недвижимости — говорить сейчас не будем, нас теперь интересуют главным образом особо ценные предметы — ювелирные изделия, произведения искусства, попавшие в частные руки.

До Вагнера наконец дошло, куда клонит Фушер.

— Золото и другие ценные предметы, — сказал он, — отсылались в Берлин, но к этому я никакого отношения не имел и при всем желании ничем помочь вам не могу.

— Должно быть, Вагнер, мне все еще не удалось убедить вас в том, что мы хорошо осведомлены о ваших делах. Мы бы советовали вам не скрывать от нас ничего. Только общество «Ост» вывезло из лагерей, которыми вы заправляли, имущества на сумму сто семьдесят девять миллионов марок. Это официально зарегистрировано и никем не опровергнуто. А сколько ценностей удалось утаить от «Ост»?

— Мне теперь даже трудно точно вспомнить, где и чем «Ост» занимался.

— Что ж, напомним. «Ост» действовал на территории генерал-губернаторства, как вы тогда именовали оккупированную Польшу. Ведал им известный вам эсэсовский генерал Одилио Глобочник. «Ост» представлял собой одну из фирм эсэсовского концерна «Дойче Верк-Бетрибе» и был тесно связан с крупновским концерном «И. Г. Фарбен» и другими ему подобными, извлекавшими баснословные прибыли от использования дармовой рабочей силы. Теперь, надеюсь, вы вспомнили свои связи с некоторыми сотрудниками этой конспиративной фирмы?

— Нет, нет, — голос Вагнера при этом даже не дрогнул. — Если кто-то подобное говорил вам обо мне — не верьте. Не иначе решил свалить с больной головы на здоровую.

Фушер обернулся к своему коллеге, — тот до сих пор участия в разговоре не принимал.

— Это напоминает мне рассказ американского психолога Жильберта, присутствовавшего на Нюрнбергском процессе. После просмотра документальных кинокадров об уничтожении Варшавского гетто он спросил у Геринга, что тот может об этом сказать. На что Геринг, не

задумываясь, ответил: «Слухи о жестокостях были столь невероятными, что я их расценивал как вражескую пропаганду». Геринг и не предполагал, что на следующий день киноэкран продемонстрирует, как он инструктирует Гейдриха по вопросу реализации «окончательного решения» еврейского вопроса...

Фушер снова обернулся к Вагнеру:

— Пока нас устроят краткие ответы. Вы, Штангль и другие, бежавшие из лагерей для интернированных, некоторое время укрывались в горах Австрии?

— Да.

— Что вас так тянуло в Обзедорф и Бад-Аусзее — это в пятнадцати километрах от озера Топлиц, не так ли?

— Потому, что эти места находятся в неприступных Альпийских горах.

— А других причин, кроме этого, не было?

— Нет.

— Вам имя Вероники Либль ни о чем не говорит? В горы она приходила не одна, а с тремя сыновьями: Клаусом, Диттером и Хорстом.

— Вы у меня спрашиваете о жене и детях Адольфа Эйхмана? Нет. Я их там не видел. Может быть, Штангль встречался с ними.

— У Штангля от вас секретов не было. Там «в неприступных Альпийских горах», как вы выразились, еще задолго до того, как ваш «тысячелетний» рейх рухнул, укрыли баснословные сокровища, и среди них редкие по своей ценности благородные камни, вывезенные из лагерей и похищенные у частных лиц в оккупированных и других странах. Там же, «в неприступных Альпийских горах», скрывались многие руководители подпольного нацистского движения. Кстати, там вы во второй раз дали клятву эсэсовца. Штангля и вас новые нацистские руководители встречали и провожали куда с большим почетом, чем иных видных генералов. Думаю, что это не было случайностью. Тогда чем это объяснить? Почему столько почестей? Потому, что в сокровищах, которые там захоронили, был и ваш немалый вклад, и нацистские главари рассчитывали, что это не последний. Дорогу в горы вам показывала Вероника Либль. А сами вы этого не помните?

— Не помню. Одного из ее сыновей я недавно видел.

— Это для меня не секрет. Вы мне скажите, какую присягу вы тогда дали?

— Мы присягнули в том, что тот, кто останется жив, обязуется делиться своими доходами с семьями погибших эсэсовцев.

— Обязались так обязались, но чем делиться? В лагерях, где вы проходили службу, наиболее ценные предметы должны были прежде всего пройти через руки эксперта. Такой первоклассный специалист, присланный самим Гиммлером, у вас был, и звали его Куриэл. Правда, нам известно — это заявил Бауэр, — что доступ к Куриэлу имели только эсэсовцы Курт Болендер и Иоганн Нойман, а оба они уже на том свете. Но не станете же вы отрицать, что имели своего соглядатая, который следил не только за Куриэлом, но заодно и за Болендером и Нойманом. Некоторое время ваш человек имел возможность заглядывать в журнал учета, который эксперт обязан был вести. Между вами и Штанглем были самые тесные связи. В делах службы вы доверяли друг другу полностью. Но Штангль был себе на уме и даже со своим первым заместителем не хотел делить все поровну. Однако он явно вас недооценил. Из пяти крупных бриллиантов, которые не были отосланы в Берлин,

два присвоил Штангль, два — вы и один — Болендер. Один из этих бриллиантов, Штангль вынужден был отдать «ODESSA», вы же отделались четырьмя слитками золота, в то время как из одного только Собибора вы вывезли десятки таких слитков.

Когда вы попались к нам в руки, мы, к сожалению, не знали об этих двух бриллиантах, которые вы утаили. Хотелось бы выяснить, куда ведут следы этих бриллиантов. Для этого я и приехал сюда, как только узнал о вашем аресте. Приехал не один, а захватил с собой вашего старого знакомого. Он сейчас в Бразилии, и если понадобится...

От волнения у Вагнера задрожали руки, а его выступающий кадык задвигался вверх и вниз. Вагнер не смог усидеть на месте и, как собака на цепи, стал нервно ходить от стены к стене. Спорить с Фушером — опасно, можно и не вырваться из-за решетки. Об этом его предупреждала Тереза и рекомендовала говорить с Фушером учтиво, внимательно его выслушивать и стараться по возможности задобрить.

— Герр Фушер, — сказал Вагнер, — вы разговариваете со мной, как судья или следователь, но, уверяю вас, то, что вы утверждаете, не более чем выдумка, и этим вы ничего не добьетесь. Такое мог вам сказать Карл Френцель, и то сомнительно. Скорее всего, Роберт Юрс — учетчик, активировавший в лагере конфискованное имущество, но в моем присутствии он от своих слов откажется. Мне в руки никакие бриллианты не попадали.

Фушер оскалился по-волчьи:

— Мне и минуты не потребуется, чтобы доказать, что все так, как я сказал. Вы только что упомянули неудавшегося актера-любителя Карла Френцеля и картежника Роберта Юрса. Не без основания вы предполагаете, что и они могли бы вас разоблачить. Кстати, главный мой свидетель также большой охотник до азартных игр. В свое время вы его доставили в Собибор из Терезенштадта. Зовут его Нэтн Шлок. Сейчас он живет в Америке. Там же проживает еще один ваш старый знакомый, тоже не немец, Джон Демьянюк. Этот — истинно ваш выкормыш. Он был взят вами из эсэсовской школы в Травниках, где вы, уже в то время признанный мастер пыток, преподавали. Вы, наверно, не забыли, как старательно Иван Демьянюк усваивал вашу науку? Он говорит, что вы вывели его в люди и поэтому он преклоняется перед вами. Это, однако, не помешает ему выступить свидетелем, и отнюдь не в вашу пользу. Он не смог со мной приехать. Им теперь занимается суд в Кливленде, и не исключено, что его лишат американского гражданства; тогда он еще больше будет напуган и зависим. Ни Демьянюк, ни Шлок ничего о вас выдумывать не станут, но теперь никто не будет возражать, если они скажут о вас больше, чем от них ожидают, и тем самым осложнят ваше положение.

Вагнер, — Фушер вдруг заговорил медленно, с остановками, — я понимаю, вам нелегко. Вы очутились как бы между двух огней: страшитесь не только оставшихся в живых узников лагерей, требующих возмездия, но и ваших вчерашних друзей, опасющихся, как бы вы им не повредили. На кого же, кроме меня, вы можете рассчитывать? У вас нет другого выхода, как пойти мне навстречу. За эти два бриллианта и некоторые другие ценные предметы и картины наследники их бывших владельцев готовы уплатить половину нынешней их стоимости. Что касается вашей дальнейшей участи, то, как только вас освободят, вы сможете податься на все четыре стороны. Вы исчезнете из виду, поселитесь где-нибудь и спокойно доживете свои дни. И вам вовсе незачем рваться навстречу своей гибели. Я говорю вам это прямо. Своему коллеге, Преснеру, я доверяю, а врача, коль скоро вы

настояли на его присутствии, видимо, опасаться вам не приходится.

Короче говоря, подумайте хорошенько. Не забывайте о Шлоке и Демьянюке. Взвесьте все «за» и «против». После этого мы с вами еще раз встретимся, только с глазу на глаз. Если дело дойдет до того, что надо будет привести фамилии, адреса, вы это сможете сделать незаметно, не произнося вслух. Да, я сегодня должен ненадолго уехать. О дне моего возвращения будет знать фрау Тереза. Договорились?

## ПО «НЕБЕСНОЙ ДОРОГЕ»...

Время, говорят, — лучший доктор. Самые тяжелые переживания со временем притупляются. Собибор же, видимо, исключение. Тот, кто испытал и пережил этот ад, не забудет его до конца своих дней.

Фушер говорил, а у Берека по спине пробежал холодок. Не веря своим ушам, затаив дыхание, он вслушивался в слова американца, будто узнавал все это впервые, а уже то, что Шлок и Демьянюк живы — это невероятно! Тот самый капо Шлок! Бешеная собака: начальству лизал пятки, а на своих бросался, будто с цепи сорвался. Среди всей своры лагерных холуев — капо и членов «юденрата», — которые в своем рвении выслужиться и угодить нацистским хозяевам измывались над своими, такими же, как они, узниками, Шлок был самым подлым. Куриэл как-то о нем сказал: «Шлоку ничего не стоит избить любого ни за что ни про что. Ничтожный человек».

Однажды вечером Берек пришел в женский барак, и Фейгеле тут же оповестила всех его обитателей: — Вы только посмотрите, кто к нам пришел! Берек — один, без соглядатая. Что же стряслось с капо Шлоком? Говорят, в него угодили сразу два камня: один, брошенный немцами, сломал ему шею, а другой — еврейский подарочек — напрочь пришиб его.

Ах, Фейгеле, Фейгеле! На этот раз ты ошиблась: жив! Шлока не взяли ни пуля, ни камень. Уцелел, мерзавец, и по сей день ходит по земле.

Макс ван Дам как-то сказал: «Чем капо Шлок лучше Вагнера, Гомерского, Ноймана? — И сам себе ответил: — Всем бы им висеть на одной веревке».

Ван Дам был справедливым человеком, и приговор был бы справедливым.

Иван Демьянюк, должно быть, тот самый охранник, который увидел, как Берек прислонился к стене барака во втором лагере. Оказавшись у края бездны, Берек стоял ни жив ни мертв, видя, как по «небесной дороге», ведущей к газовым камерам, бредут призраки обреченных на гибель людей... И нет ничего удивительного в том, что Берек даже не заметил, как один из наемников подошел к нему вплотную и замахнулся резиновой плеткой. Тогда его спас счастливый случай. Стоит ему вспомнить об этом, и его охватывает ужас.

Ван Дам, Куриэл погибли, а Шлок, Демьянюк — уж лучше бы им не родиться — живы. И Фушер, тот самый Фушер, которому, казалось бы, положено стоять на страже закона, готов без зазрения совести заключить мир с Вагнером — этой гиеной из Собибора, — который и поныне свои злодеяния выдает за доблесть. Сговор между ними состоится, даже если эсэсовец только наполовину примет предложенные ему условия. Торг и сделка — все впереди. Вот уж поистине — воронье слетелось на падаль...

Этот постыдный сговор происходит в Бразилии, земные недра которой хранят в себе несметные богатства, залежи драгоценных камней. В каждом номере отеля рядом с Библией лежит прекрасно оформленный рекламный проспект, в котором броским шрифтом, так что нельзя не заметить,

сообщается, что «фирма «Штерн» — лучший поставщик драгоценных камней». На обороте подробно перечисляются магазины фирмы и их адреса. С фирмой «Штерн» конкурирует фирма «Амстердам». И она на каждом шагу напоминает, что «Бразилия — родина драгоценных камней, и стоят они здесь дешевле, чем в любой другой стране мира». С какой из этих двух, а возможно, и иной, совсем неизвестной фирмой вошел в контакт Фушер? Кто его уполномочил и кого он здесь представляет? Встреча еще не окончена. Впереди почти целый час. Теперь заговорил человек, который сидел справа от Фушера. По профессии он психолог. Фамилия его Преснер. Он откашлялся, пригладил волосы, уложенные поперек плечи, и включился в разговор. Куда он метит? Не хочет ли он, чтобы Вагнер подтвердил известный всему миру факт, что после войны многие страны Латинской Америки более чем гостеприимно встретили и приютили у себя тысячи нацистов? (Агентства печати называют цифру в двадцать тысяч.) Благоклонное отношение к ним проявили не только немецкие колонисты, переселившиеся на этот континент в начале столетия, но и местные диктаторы. Вновь прибывшие специалисты по истреблению людей привезли с собой колоссальные награбленные состояния и вскоре сами заняли видные посты в органах власти.

Разговор принял такой характер, что Берек не без основания подумал: «Будь здесь кто-нибудь из журналистов, он мог бы написать: «Беседа прошла в дружественной обстановке».

Береку также кажется, что Преснер как будто задумал систематизировать богатый опыт бывшего обершарфюрера СС по части массовых убийств. Чуть ли не с похвалой отзывается он об инициативе, находчивости и организаторском таланте Вагнера, проявленном им при уничтожении десятков тысяч людей, и, главным образом, о том, как ловко удавалось ему притупить у осужденных дух сопротивления. Для тех, кто и в наше время прибегает к репрессиям, этот опыт весьма ценен.

Преснер так и вьется вокруг Вагнера, как пчела вокруг меда.

Психолог хочет узнать поподробнее, какие тесты один из надзирателей в Треблинке, некий Макс Билас, применял при отборе узников на временные работы.

— Билас, Макс Билас? — переспрашивает Вагнер и морщит лоб. — Такого надзирателя я, кажется, припоминаю. Да, был такой, но какие тесты он мог придумать и зачем они ему понадобились? Все способы выявления трудоспособности отдельных лиц или групп мы досконально изучили в школе Хартгейма, когда в Польше еще и лагерей не было. Испытания проводились на немецких и австрийских коммунистах и социал-демократах, и мы убедились, что все было нами заранее предусмотрено и наши расчеты оказались абсолютно правильными и точными.

Если бы Берек мог себе позволить, он бы спросил у Вагнера: «Так уж все? А восстания в Треблинке и Собиборе?»

Преснеру же Берек сказал бы:

«Господин психолог, какие это были тесты, я мог бы вам рассказать не хуже Вагнера. Правда, один раз, но я сам видел, как обершарфюрер СС Густав Вагнер, с которым вы так мило беседуете, поступал с изможденными, обессиленными людьми, которых только что выгрузили из эшелона. Он приказал: «Специалисты, шаг вперед!»

По одному его взгляду нетрудно было понять, что любой из тех, кого сюда пригнали, для него ничего не значит, что каждому из них в его глазах грош цена. Никого не интересует, сколько их прибыло, сколько им лет. Всех до единого уничтожат. А специалисты, которых собираются в данную минуту использовать, чуть дольше задержатся на этом свете. Отсрочка может длиться часы, дни, но

не более нескольких недель.

О тех, кто не сделал шага вперед, некоторые историки и сторонники экспериментальной психологии теперь пишут: «Они устремились в объятия смерти, как те овцы, что бегут к сочному пастбищу».

Мало того, находятся и такие, что утверждают: «В своем добровольном марше к смерти осужденные видели возвышающий их поступок». И ни у кого из этих «эрудитов» рука не дрогнет и язык не отнимется». Но психолог Петер Преснер Берека не слышит. Он не сводит глаз с Вагнера.

— Правильно, — поддакивает он ему, — вам быстро и легко удалось отделить и отбросить слабых, обессиленных, которых уже нельзя было использовать в качестве рабочей силы. Ну, а дальше? Что было дальше — это Берек запомнил на всю жизнь. Непригодных или тех, кто не пожелал быть рабом, в «гигиенических целях» стригли наголо и отсылали по «небесной дороге» на тот свет. Преснеру не терпелось узнать поподробнее о всех приемах и способах, применявшихся в этом «эксперименте», но время, отпущенное для беседы с заключенным, истекло. «Господин Вагнер...» — успел он лишь произнести самым дружественным тоном, когда открылась дверь и охранник дал понять, что свидание окончено. Шлезингеру полицейский передал фонендоскоп, тонометр и микроаппарат для кардиограммы. Такие же приборы Берек привез с собой из Амстердама, но в комнате ожидания их у него отобрали. Теперь ему дали тюремную аппаратуру. Оба эксперта покинули помещение. Психолог Преснер был явно доволен беседой с Вагнером.

Остались они втроем: Вагнер, охранник и Берек, вернее — доктор Бернхард Шлезингер. Как водится в таких случаях, разговор принял другой оборот: речь пошла о болезнях и лекарствах.

Наконец Вагнер может свободно вздохнуть. Во всю свою длину он вытянулся на топчане, но из-под толстых стекол очков заметно, как в глубине его зрачков затаился испуг. Он жалуется на боль в подреберье, на тяжесть в затылке. Шлезингер делает ему укол — это должно снять боль и заодно снизить давление.

Когда речь заходит о здоровье, Вагнер становится словоохотливым. К лечащему врачу он испытывает доверие. Он лежит полуголый на краю топчана. Отвечая на вопросы врача, он как бы перелистывает страницы своей жизни.

— Мои родители были людьми среднего достатка. Я никогда не бездельничал. Был посыльным в лавке, лоточником, потом обыкновенным австрийским служащим. Спиртными напитками не злоупотреблял, если не считать какое-то короткое время. Но это было еще до войны. Ранен или контужен не был. Часто приходилось работать сверх меры, но нервничать? Никогда. Это не согласуется с моими принципами. У меня сильная воля, я приучен к самодисциплине. Чем я лечил язву желудка? Пил минеральную воду, принимал ванны и другие процедуры. Нет, не думаю, что желудочные боли связаны с военным временем. У меня была обычная работа. Да, герр Шлезингер, самая обыкновенная. Мог бы я спокойно, без содрогания созерцать предсмертные муки? Что же тут такого, если это не касается близкого тебе человека?

Минуты две он молчал. Только что он произнес «обычная работа» и вдруг наморщил лоб, будто пытаясь что-то вспомнить, и бешено сверкнул глазами, как бы угрожая кому-то неведомому. Береку показалось, что Вагнер стал о чем-то догадываться. Но вряд ли, ему и в голову не придет, что пути Куриэла и доктора Шлезингера могли когда-то пересечься.

Берек подал Вагнеру стакан воды, снова прощупал его пульс и уже собрался было уходить, как тот опять заговорил:

— В последние годы сердце у меня стало пошаливать. Тереза мне передала, что вы большой специалист, так помогите мне... — Он отчаянно махнул рукой и заговорил совсем другим тоном: — Фушер — хитрец и думает, что, упомянув Шлока и Демьянюка, напугал меня и я у него в руках. Тереза быстро его отрезвит. Еще не родился тот ловкач, которому удалось бы ее перехитрить. Безучастно стоявший в стороне полицейский вдруг поднял палец — «запрещено». Вагнер медленным шагом направился к выходу и уже у самого порога оглянулся назад. Он, возможно, ожидал услышать от врача что-то важное для себя, но Берек не шелохнулся; он был рад, что наконец избавился от этой невыносимой для него встречи.

В коридоре не было ни души. Все двери заперты. В сопровождении конвоира Берек возвратился на контрольный пункт, где ему вернули его вещи.

Оттуда он направился затененной стороной улицы в центр. Всего восемнадцать лет тому назад этот вновь построенный город стал столицей государства. Никаких промышленных предприятий в нем нет, заводы и фабрики не дымят, а дышать Береку все равно нечем. Фрау Тереза просила его прийти к ней как можно скорее. Ничего, подождет. Прежде всего надо посоветоваться с самим собою и заодно перекусить. Вот как раз рядом на первом этаже закусочная. Здесь можно заказать хороший кусок поджаренного мяса, яичницу. Но едят здесь стоя, — придется поискать другое место.

Набрел он на скромный ресторанчик; скорее всего, его можно было назвать приличной столовой. Посетителей было немного. Берек сел за отдельный столик в углу. Тут же ему принесли большую тарелку салата — свежего, будто только с грядки, обильно наперченного и политого растительным маслом. Подали ему также местное национальное блюдо — фейжаро — тонкие ломтики колбасы, похожие на ливер, зеленый горошек. Все это он запивал кокосовым соком, в котором плавали кусочки льда. Но ел он машинально и размышлял о только что увиденном и услышанном в тюрьме. Не столько Вагнер, сколько Шлок не выходил у него из головы. Разве можно было предположить такое? Ему самому никогда в голову не пришло бы, что Вагнер и Шлок связаны между собой. Он должен во что бы то ни стало разыскать Шлока. По-хорошему или против воли, но он заставит его выложить все, что тот знает.

## КАПО ШЛОК

По заведенному порядку день убийств в лагере начинался с той минуты, когда охранник трижды ударял железным прутком о висячий стальной рельс. Для тех, кто пока еще оставался в живых, это служило сигналом к подъему, и тут же в бараке раздавался пронзительный свист. У широко распахнутой двери появлялся капо и во всю мочь орал: «Вставать! Всем вставать! Живо на аппельплац! Живо!» После этого он вел свою команду на работу, следил, чтобы никто не отходил ни на шаг дальше отведенного места, чтобы все работали усердно, ничего не брали из имущества, которое уже считалось собственностью третьего рейха. После работы капо отводил рабочую команду назад.

Все эти и многие другие обязанности Шлоку выполнять не пришлось. Обычно его рабочим местом считалась лагерная касса. Там он помогал выписывать фиктивные квитанции, так называемые «расписки» на сданные узниками в первые часы их прибытия ценные вещи. Унтершарфюрер СС Роберт Юрс — ответственный за активирование конфискованного имущества — не раз пытался избавиться от Шлока, но ему это не удавалось. Куриэл никак не мог взять в толк, в чем тут дело и почему ему подселили именно этого капо, хотя сразу же заметил, что тот пристально следит за ним и

вынюхивает, как охотничья собака. Теперь нетрудно догадаться, кто стоял за спиной Шлока и чей это был человек.

Думая о Шлоке, Берек представил себе, как тот, скорее всего, начнет изворачиваться, прикинется несчастеньким, будто не понимает, о чем его спрашивают, чего от него хотят. И если уж станет отвечать, то путано, бессвязно, так что одно с другим не сойдется, или же забросает градом слов, обтекаемых, как эти горошины. Шлоку все нипочем. Пусть! Не исключено также, что у него вполне приличные манеры и складная речь. Он и тогда, тридцать пять лет тому назад, выглядел внушительно. Теперь же он, вероятно, выхолен, приобрел представительный вид. Кому же сейчас может прийти в голову, что этого человека нельзя пускать на порог, что грешно с ним иметь дело. Шлок — каким бы он ни казался солидным — насквозь фальшивый человек. Пустить пыль в глаза, прикинуться добреньким, постараться войти в доверие — это он может.

Куриэл как-то рассказывал, что даже с закрытыми глазами, полусонный, Шлок первым делом тянулся рукой к дубинке, с которой он, как капо, не расставался. Шлоку ужасно хотелось, чтобы если не его взгляда, то хоть дубинки боялись. Без нее он никто — такой же узник, как и все. И если уж немцы его выделили из массы заключенных, поставили на ступеньку выше остальных, он постарается служить им верой и правдой, пусть видят его послушание и усердие.

Спроси у него кто-нибудь в лагере: зачем это тебе, какой в этом смысл, если все равно и тебя считают низшим существом, недочеловеком, — он бы на него посмотрел как на сумасшедшего. Как — зачем? Чтобы отвести от себя смерть. Пусть на час, на день, но оттянуть гибель, продлить жизнь. А чего стоит хотя бы то, что он получает не, как все, восьмушку, а четвертушку хлеба, не один половник баланды, а два. Конечно, каждому хочется казаться порядочным и справедливым, а на самом деле? Одна видимость. Жить надо сегодняшним днем, а спастись должен каждый, кто как может. Для этого все средства хороши.

Шлок сам не раз рассказывал, что первый свой удар дубинкой он обрушил на старика, но тот не издал ни малейшего звука, не отскочил в сторону, лишь повернулся к нему и с укоризной произнес: «Эх, молодой человек, все мы стоим одной ногой в могиле, а вы не нашли для себя лучшего занятия, чем бить старика по мягкому, а теперь уже и не очень мягкому месту». Совесть не слишком мучила Шлока, но все же с тех пор он стал бить только по плечам, — и попадать легче, и нагибаться не надо. Однажды он принялся избивать узника, не пожелавшего вытряхнуть карманы. С помощью дубинки капо своего добился, но при этом получил сдачу: от сильного удара по лицу он еле устоял на ногах. «Капо, — сказал ему узник, — ты ничуть не лучше гитлеровцев. Можешь не сомневаться: с тобой рассчитаются».

Как нарочно, в это время мимо проходила колонна узниц. С работы их вел старший капо Бжецкий. Шлока он терпеть не мог.

— Стой! — скомандовал он на ходу и, по рассказу Фейгеле, своим единственным глазом подмигнул острым на язык женщинам. — У вас, как это нетрудно понять, несладко на душе, так вот вам небольшая утеха. Подойдите к этому битому дураку и сыграйте с ним веселую шутку, да так, чтобы ему тошно стало.

Долго упрашивать их не пришлось. Они окружили Шлока, и самая бойкая из них, Генриетта — актриса из Варшавы, с ужимками комедиантки жалобно, во весь голос завопила:

— Ай, ай, горе мне! Такой парень — тихий как голубь, добрый как ангел, одним словом,

брильянтовый — и его посмели обидеть. Откуда-то из Бельгии или Греции прибывает дикарь и хрясь по физиономии этого симпатичного, чудесного капо. Это ужасно. Так, милые мои, нельзя! Одному спустишь, другому, и, глядишь, найдется немало охотников оторвать у Шлока руки или ноги. Так недолго оставить его как пчелу с жалом, но без крылышек. А вы что скажете? Разве я не права? Это произошло, когда Берека в Собиборе еще не было. Он и Рина в это время скрывались на чердаке дома деда Мацея и бабы Ядвиги. Шлок тогда жил в одной каморке с Куриэлом, но об этой истории Фейгеле рассказывала Береку много раз и с такими подробностями, что захочешь — не забудешь. Теперь, узнав о том, что Шлок живет и здоровствует и в этот момент даже находится где-то недалеко отсюда, Берек вспомнил все, что он слышал и знал об этом мерзком человеке. Кстати, то, что ему досталось в тот раз, было только авансом. Попадало ему еще не однажды, так что жил он в вечном страхе и оглядывался на каждом шагу. Он даже сна лишился.

Вагнер в это время был в отпуске, и Шлок отсиживался в каморке и не показывался на людях несколько дней подряд. После того случая он не то что поднять руку на узника — даже близко подойти опасался. Но для немцев это не прошло незамеченным, и первым из них спохватился Френцель. Он отстегал Шлока хлыстом, правда, так, чтобы лагерники не видели, и предупредил, чтобы не забывал, кто он и для чего ему вложили дубинку в руки, в противном случае не быть ему капо и отправится он к Болендеру по «небесной дороге». Что Френцель на это способен — поверить нетрудно. Для него убить человека все равно, что для другого вдохнуть глоток воздуха.

Шлок решил во что бы то ни стало доказать Френцелю, что лучшего капо ему не сыскать. Он пуще прежнего бросался на людей и избивал их.

Однажды он зашел на территорию четвертого, так называемого Северного лагеря. Его только строили, и Шлоку, собственно говоря, там делать было нечего, но в своем рвении выслужиться он заглядывал во все дыры и, на свое несчастье, сунулся на строящийся объект. Кто-то незаметно подошел к нему сзади и накинул ему на голову рогожу. На него навалились и всыпали как следует, но так, чтобы он не отдал богу душу, не то замучают всех до единого, кто в это время работал в лагере. Били его крепко, чтобы надолго запомнил. Шлок, однако, скоро пришел в себя, но, так как страх перед Френцелем пересилил все остальное, он не переставал усердствовать.

Последний раз он замахнулся было дубинкой на Александра Шубаева — советского военнопленного, уроженца Дагестана, но ударить не успел: Борис Цибульский из Донецка кулаком двинул капо в спину так, что тот не устоял на ногах. Больше того — Борис его предупредил, что, если он вздумает жаловаться или еще раз ударить, пусть пеняет на себя.

Происходило это незадолго до того, как в Собиборе вспыхнуло восстание. Никто из тех, кому удалось вырваться из лагеря и бежать, Шлока больше не видел, и никому в голову не приходило, что он еще ходит по земле. Фейгеле и Берек думали, что знают о Шлоке больше чем достаточно, а вдруг поднимется завеса еще над одной нераскрытой тайной? Как знать, все возможно.

Берек ходит по улицам, но ничего не видит и не слышит; голова у него занята одним — как добраться до Шлока? Разве только просить об этом Терезу? Ее теперь Шлок интересуется не меньше. О состоянии здоровья Вагнера Берек ей подробно расскажет, что до остального — лишь столько, сколько сочтет нужным. Правда, не исключено, что она и без него все знает. Фушер такой человек, что, если ему это выгодно, он и сам не преминет обо всем сообщить.

## ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Помещение, отведенное для встречи Вагнера с представителями печати, было слишком тесным и не вмещало всех желающих присутствовать. Тем, кто хотел оказаться поближе к арестованному, приходилось пробиваться локтями. Возбуждение нарастало, но дверь, ведущая в дежурную камеру, все еще оставалась закрытой.

Берек знал, что хотя Вагнер за решеткой, но перед журналистами он предстанет не с заложёнными за спину руками и сидеть будет не на табуретке за неструганым столом. Знал он также, что кое-кто из корреспондентов явился сюда затем, чтобы своими вопросами и репликами поддержать Вагнера, подбодрить его, а потом попытаться убедить общественность в том, что вообще нет основания его судить. Эти господа не прочь превратить встречу в салонный разговор.

Вагнер появляется в сопровождении того самого охранника, который привел его на встречу с экспертами. Он машет голыми загорелыми руками, старается идти непринужденно и не спеша проходит к своему месту. Берек сидит так, что ему не приходится, как другим, вставать, чтобы разглядеть арестованного; он хорошо видит его с головы до ног. За последние дни Вагнер заметно осунулся. Лоб и щеки избородили глубокие складки. Шея стала тоньше и еще более дряблой. Сутулые плечи не дают ему выпрямиться во весь рост.

Он степенно усаживается в кресло и внимательно разглядывает корреспондентов, с которыми ему сейчас придется иметь дело. С их уловками он хорошо знаком. С ними надо ухо держать востро. Недаром говорят, что перо бывает страшнее пули. Само собой, не все, что знает, он станет им выкладывать. Скорее — наоборот. Минуты две он сидит молча, будто воды в рот набрал. Когда нужно будет — он заговорит и за словом в карман не полезет.

Таков примерно, по предположению Берека, ход мыслей Вагнера в эти минуты.

Говорить начал Вагнер сперва тихо, невнятно, но постепенно голос его окреп и речь стала более отчетливой.

— То, что я собираюсь здесь сказать, должно вас убедить, что я ни в чем не виновен...

Это, по всей вероятности, подсказка адвоката.

В первые минуты Вагнер ведет себя вполне корректно, говорит спокойно, чуть ли не доверительно. Однако стоило перейти к вопросам, как все его напускное спокойствие улетучивается. Он поводит плечами, отвечает то недовольно, с досадой, то с неприкрытой злобой, чуть не свирепея, кровь ударяет ему в лицо.

— Да, судебный следователь ознакомил меня с материалами обвинения. Да, меня обвиняют в убийствах и истязаниях, но я докажу, что это не соответствует действительности. Сколько страниц содержат материалы моего дела, мне никто не докладывал. Кто-кто, но уж газетчики знают отлично, что написать можно все, что угодно. Подтвердить или опровергнуть названное количество транспортов, прибывших в Собибор — а речь идет о ста шести, — я не могу. Возможно, что это так. Я и теперь считаю, что слабым и больным не место среди живых. Это я знал еще до того, как фюрер пришел к власти. Я бы не сказал, что Треблинка и Собибор были лагерями смерти. Принудительный труд там применяли, управлять людьми приходилось твердой рукой. Все это правда. Вы спрашиваете, что собой представлял Франц Пауль Штангль? Могу сказать лишь одно: это был прекрасный офицер и хороший, добропорядочный человек.

Так он и сказал: «хороший, добропорядочный человек».

— Почему вы отвечаете не на все вопросы, которые вам задают? — послышался чей-то громкий

голос из-за спины Вагнера.

— Какие еще вопросы? Пока я на все ответил, и вообще прошу меня не перебивать, в противном случае я откажусь продолжать беседу с вами. Мне это ничего не стоит. Контракта с вами я не заключал, так что...

Произнося эту тираду, он, однако, вспомнил о предупреждении адвоката: «Терпением можно и колодец вычерпать до дна». Да, с этими шелкоперами лучше держать себя в руках. Он переменит тон и в дальнейшем будет отвечать на все вопросы спокойно и сдержанно. Сейчас он доброжелательно обратится к этому вот плешивому, с куцей бородачкой, что сидит напротив него:

— Слушаю вас.

— Благодарю. Читатели наши, как вы знаете, большие любители сенсаций. С вашей помощью я мог бы им сообщить обо всем, что касается вашей второй фамилии — Мендель, которую вы себе взяли. Генеалогию рода Менделей, полагаю, вы хорошо изучили.

Вагнер на минуту задумался. Должно быть, пытается вспомнить все то, что он узнал о родословной ветви Менделей, когда отвалил за право носить эту фамилию изрядный куш.

— Фамилию Мендель носила семья венгерских евреев. В пятнадцатом веке это была одна из знатнейших в стране фамилий. Представители этой семьи тогда и в следующем столетии занимали высокий пост главного судьи по делам венгерских евреев. Позже эта должность была упразднена. Как явствует из документов, семья Менделей пользовалась незапятнанной репутацией при дворе короля. Так, например, король Владислав собственноручно написал письмо главе Венецианской республики, в котором заступился за Иосифа Менделя и просил освободить его от обязанности носить отличительный знак, что задевает его самолюбие. Членам этой семьи не раз приходилось вступаться за своих соплеменников перед властью имущими, и редко когда им отказывали. Если вы, герр журналист, владеете пером, этого будет достаточно, чтобы ваша корреспонденция вызвала сенсацию.

Попробуй угадай, что замыслил этот газетчик, но, вместо того чтобы поблагодарить Вагнера за столь захватывающие подробности, он задал еще один, и довольно каверзный, вопрос:

— Моих читателей несомненно заинтересует, известно ли вам что-либо о дальнейшей судьбе членов семьи Мендель?

Вопрос этот вызвал у Вагнера явное замешательство. Сказать, что от них и следа не осталось, — это и так понятно, иначе он бы этой фамилии себе не взял.

— Разумеется, — сказал он, — судьбу членов этой фамилии я знаю. Но о чем можно здесь говорить? Что было, то было.

— А я, — заключил репортер, — напишу примерно вот что: «Рано или поздно, но со временем все тайное станет явным, ибо память человечества ничем не вытравить». И еще: «Преступников уничтожить можно, куда труднее уничтожить их преступное учение, которое начинается с ненависти и кончается убийством».

Вагнер словно онемел. Плечи вздрогнули, как от удара. Кровь снова прилила к щекам. «Спокойно, Густав, спокойно, — внушал он себе, — держи себя в руках!» — но все-таки не выдержал:

— Каждый человек идет своей дорогой. Вам, я думаю, не хватило бы мужества вести себя так, как те, кого вы называете преступниками. Я был верным солдатом Германии. Гиммлер говорил, что эсэсовец...

Каким образом имя шефа гестапо — Гиммлер — подвернулось ему на язык? Вышло так, будто он сам себе подставил подножку. В зале раздался смех. Двое, как бы сговорившись, разом поднялись со своих мест. Это были корреспонденты местной бразильской газеты. Они переглянулись, и старший из них сказал:

— Господин Вагнер, горячиться здесь ни к чему. Давайте попытаемся внести ясность. Не считаете ли вы, что в Собиборе и Трешлинке вы были не больше как марионеткой в чьих-то руках?

Вагнер все еще не понял, что ему хотят помочь не увязнуть в трясине. И он решительным движением руки отмахнулся от вопроса:

— Нет, нет. Моим шефом все время был Франц Штангль. Мы относились друг к другу с уважением, и никогда он меня марионеткой не считал. Я это могу доказать.

— Не надо. Лучше скажите нам, сколько, по вашему мнению, теперь в Бразилии замаскировавшихся бывших и неонацистов?

Это, должно быть, были вопросы его доброжелателей, ради которых Тереза добивалась, чтобы состоялась пресс-конференция, а он, Вагнер, уже было отчаялся, полагая, что никто их не задаст. Теперь он не должен мешкать и отвечать будет так, как ему рекомендовал адвокат и требовала от него Тереза.

— Я их не считал.

— А если мы вас попросим назвать хотя бы кого-либо из них?

— Это исключено.

— Жаль. Нам вы, конечно, можете не отвечать, но на суде вы станете податливее и ответите по существу.

Вагнер вновь непререкаемым тоном заявил:

— Это исключено! — И после небольшой паузы добавил. — Я — гражданин Бразилии, и, если меня вздумали судить, это должно происходить в моей стране — в Бразилии. Я также ничего не буду иметь против, если меня выдадут Федеративной Республике Германии.

Задавали еще и другие вопросы, на которые Вагнер отвечал — то охотно, то увильывая от прямого ответа, но интерес к ним у Берека уже пропал. «Да, — подумал он, — затеянный Терезой спектакль удачным не назовешь. Инсценировка могла бы быть более убедительной».

Почему арестованный в Бразилии эсэсовец Вагнер попытался покончить с собой?

...Наконец Густава Франца Вагнера перевели в столичную тюрьму — в Бразилиа. Отвели ему там отдельную камеру, разрешили пользоваться телевизором, просматривать газеты, предоставили другие удобства, каких не имеют остальные арестанты в этой далеко не демократичной стране. Ему разрешили провести пресс-конференцию. У представителей печати создалось впечатление, что держится он излишне самоуверенно, о своем будущем нисколько не тревожится, ведет себя нагло и заносчиво.

Чем же объяснить, что менее чем через неделю он попытался покончить с собой?

Вагнеру теперь шестьдесят семь лет. Это человек гигантского роста, светловолосый, с холодными голубыми глазами. В Бразилию он прибыл в 1950 году. В пригороде Сан-Паулу у него собственная ферма. Одно время он был механиком, потом занялся разведением кроликов и кур. Понемногу научился понимать и даже кое-как изъясняться по-португальски.

Вагнер, вероятно, мог бы спокойно жить и дальше, если бы не его многолетняя любовь к вдове

своего старого верного друга — мадам Терезе Штангль. По решению Международного трибунала в Нюрнберге Франц Штангль — начальник лагерей смерти Треблинки и Собибора — был приговорен к смертной казни. В Треблинке погибло 700 тысяч человек, в Собиборе — 250 тысяч. В обоих лагерях вспыхнули восстания, после чего эти фабрики смерти прекратили свое существование. Выступая на пресс-конференции, Вагнер не отрицал, что он был эсэсовцем. Собибор, считает он, был не адом, а раем для рабочих. Умерщвляли в нем только больных, так как в Германии лазареты были переполнены.

На пресс-конференции Вагнер заявил: «Я надеюсь, что меня выдадут Федеративной Республике Германии. Во время войны я честно служил Германии, и это должно быть принято во внимание. Там у меня имеются верные друзья. Будет справедливо, если правительство ФРГ поддержит меня». Могут спросить: что это — наигранный цинизм? Не думаю, что это так. Вагнер — один из самых страшных мучителей, какие только встречались в лагерях смерти, но дураком его считать нельзя. С тех пор как третий рейх рухнул, у него было достаточно времени, чтобы все обдумать, но до самого своего ареста он принадлежал к подпольной организации эсэсовцев. Что происходит в Федеративной Республике Германии — он хорошо знает. Он также знает, что ордера на его арест, выданного Западной Германией в 1967 году, ему нечего опасаться. Ему известно также, что из 85 тысяч военных преступников, проживающих в ФРГ, только 7 тысяч были осуждены и получили минимальные наказания, и даже эти мизерные сроки были со временем сокращены.

Через несколько дней после того, как состоялась пресс-конференция, Вагнер попытался покончить жизнь самоубийством.

На этом репортаж Пьера Дюрана кончается. Остается только добавить: убивая других, у Вагнера ни разу не дрогнула рука; покончить же с собой — духу не хватило.

## **Глава шестнадцатая**

### **КАК ЗАВЕЩАНИЕ ПОГИБШИХ В САМУЮ ТОЧКУ...**

— Да, заключенный Густав Вагнер пытался покончить с собой. Каблуком он раздробил стекла своих очков и проглотил несколько мелких осколков. Произошло это в десять часов утра.

Этими словами тюремный врач Амаду Билак на пресс-конференции подтвердил слухи, которые еще раньше дошли до журналистов.

— Нет, это не самоубийство, — уверял Бернард Шлезингер Леона Гросса. — Никому не верьте, что Вагнер на самом деле задумал покончить с собой. Теперь это вышло из моды. Правда, у Вагнера необузданная натура, и предвидеть, что может созреть в его сумасбродной голове, — нелегко. Но от него, а тем более от Терезы можно ждать чего угодно, только не этого. Уверяю вас, здесь явный обман. Чем это вызвано? Думаю, необходимостью изменить тактику при вновь создавшейся обстановке. Поначалу Вагнер с пеной у рта уверял, что никакого Собибора знать не знает, что в то время он находился совсем в другом месте. Потом утверждал, что это был обыкновенный рабочий лагерь. После этого заявил, что понятия не имел о том, что там происходило. Наконец, он сказал, что как верный солдат вынужден был выполнять приказы Гиммлера.

Теперь появились новые доказательства, усугубляющие его вину. Документы неоспоримо подтверждают, что Вагнер неоднократно самым зверским образом убивал людей исключительно по собственной инициативе, порой даже вопреки распоряжениям начальства...

Берек подошел к окну и продолжал:

— Леон, что собой представляют Вагнер и Тереза, и так ясно. Вы знаете их не хуже меня. Пример эсэсовских главарей, их образ мыслей и поступки — все это для Вагнера и поныне свято и достойно подражания. И задумай он покончить с собой, непременно последовал бы примеру Гимmlера, который принял яд, или Глобочника, который перерезал себе горло, на худой конец, как Болендер, повесился бы. Я также не верю, что Вагнер был невменяем. Он убийца, но своей жизнью дорожит и пойдет на все, лишь бы уцелеть. В тюрьме Вагнер не был строго изолирован, за его камерой никто не наблюдал. Если бы он всерьез задумал решиться на такой шаг, мог бы это сделать незаметно для охраны. Не сомневаюсь, у этого номера есть режиссер.

Гросс неуверенно возразил:

— И все же мне трудно понять, зачем он это сделал, почему пошел на такой риск? То, что Нюрнбергский процесс отверг ссылку на приказы Гитлера, как оправдание при убийстве стариков, женщин, детей и вообще ни в чем не повинных и беззащитных людей, Вагнера нисколько не должно было страшить. Если не считать Восточной Европы, за последние годы не было ни одного случая, чтобы кому-либо из нацистов не удавалось обойти закон. К тому же у Вагнера есть основание полагать, что закон о сроках давности для военных преступников очень скоро войдет в силу. Тогда зачем понадобилась ему вся эта затея с самоубийством?

— Но он ведь ничего не потерял и немногим рисковал, — отозвался Берек. — Я уже не раз встречался с подобными вещами. Еще будучи студентом присутствовал на вскрытии трупа человека, длительное время страдавшего шизофренией. Он не раз пытался покончить с собой. Из его желудка патологоанатом извлек гвозди, булавку и две металлические пуговицы, но не это было причиной его смерти; произошел несчастный случай. Кстати, Вагнер раздробил стекла очков не на мелкие кусочки, а почти в порошок.

Гросс помолчал, затем, как бы соглашаясь с собеседником, заметил:

— Так, так... Допустим, вы правы, но в то же время здесь не все ясно, и задуматься есть над чем. Почему вдруг он выкинул такой фортель? Должна же быть какая-то причина, побудившая его сделать это именно сегодня, а не неделю тому назад?

— Еще бы! — воскликнул Берек. — Все дело в том, что инсценировка самоубийства нужна была не только Вагнеру, но и Фушеру. Тереза теперь в его руках. Она вынуждена прислушиваться к его советам. Весть о том, что Вагнер пытался покончить с собой, Терезу не так уж ошеломила. Она только сделала вид, что вот-вот упадет в обморок, но при этом даже не побледнела. И это вполне объяснимо. Польша предъявила новые документы, подтверждая снова и снова свое право заполучить этого военного преступника. Поэтому Тереза хочет как можно скорее и надежнее отвести опасность от Вагнера. Теперь вам ясно?

— Как будто ясно, — тихо произнес Гросс. — Во всяком случае, такое предположение вполне допустимо. Должен вам сказать, что ваше пребывание здесь оказалось не бесполезным. К нашему разговору мы еще вернемся.

К этому времени Береку стало известно, что по установленному в Бразилии закону порядку обращаться с заявлением о выдаче для суда преступника любая страна может не позже чем через девяносто дней после того, как официально объявлено о его аресте. В случае, если требования о выдаче преступника поступают от нескольких стран, предпочтение отдается той из них, на

территории которой он совершил наиболее тяжкие преступления. Кроме того, между Бразилией и Федеративной Республикой Германией заключено специальное взаимное соглашение о выдаче преступников.

Вагнер и сам понимал, что уж если суд над ним неизбежен, то лучше, чтобы он состоялся в ФРГ. С просьбой о выдаче Вагнера обратилась и Австрия на том основании, что он бывший гражданин этой страны. Сделано это было, как сам он понимал, скорее всего, для видимости.

Из Израиля прибыл специальный представитель министерства юстиции и также привез с собой важные документы, подтверждавшие вину Вагнера. На том основании, что в его стране проживает большинство уцелевших собиборовцев, требовал выдачи преступника Израилю.

Ходили также слухи, что делом Вагнера заинтересовались правительства Югославии и Италии, и не сегодня завтра они пришлют официальные запросы. Но всех их опередила Польша.

Уже в начале июня польское министерство юстиции обратилось к правительству Бразилии и наиболее веско аргументировало, почему Вагнера, осуществлявшего массовые убийства людей в Собиборе и Трешлинке, должны немедленно выдать Польше, и только ей одной.

Берек был убежден, что требования народной Польши справедливы и неоспоримы. Там лучше, чем где-либо, знают все черные дела этого хищника. В Польше, можно не сомневаться, он получит по заслугам и сполна.

Тереза нутром почуяла приближение опасности. Ее охватило все нарастающее беспокойство, пока, наконец, она не впала в непривычное для нее угнетенное состояние. Фушер исполнил ее просьбу: отдал ей фотографию Вагнера, снятую на контрольном пункте американской армии в 1945 году. Заодно он показал ей кипу газетных вырезок о Вагнере. Надо думать, что это, собственно, и было основной целью его встречи с ней. Нужно было нагнать на нее страх, чтобы она не валяла дурака и стала сговорчивее.

Поначалу Фушер сделал вид, что колеблется — оставлять ли Терезе все эти материалы, а потом, не дав ей опомниться, с ухмылкой заявил:

— Пожалуй, лучше будет, если вы внимательно прочтете все, что пишут в газетах. В вашем положении надо трезво смотреть на вещи, чтобы не просчитаться.

Фушер, очевидно, решил, что сказанного недостаточно, и без обиняков добавил:

— Большинство полагает, что есть кого судить и за что судить. События развиваются настолько быстро, что расчеты тех, кто требует: «Кровь — за кровь, смерть — за смерть!» — могут скоро сбыться...

В таком случае не рассчитывает ли Тереза на его помощь, на то, что он как-нибудь облегчит ее положение?

Тереза и без того в глубине души не верила в то, что Густаву удастся уйти от наказания, но до сих пор никто еще не разговаривал с ней так откровенно, как этот американец. На сей раз несчастье коснулось ее самой. А если ко всему еще конфискуют имущество Вагнера? Все пойдет прахом! При этой мысли у нее помутилось в глазах. О майн готт! Вот до чего дожила, а ведь это только начало. Самое страшное — впереди. В эту минуту она и впрямь готова была взвыть по-волчьи.

Юджин Фушер свое дело сделал. Больше возиться с ней и даром тратить время он не станет. Теперь, надо полагать, она перестанет изворачиваться, ускользать от прямых разговоров. А для того чтобы фрау Штангль окончательно убедилась, что с ней не шутят, он нанесет ей последний удар:

— Нэтн Шлок находится сейчас здесь, в городе. И если вы, Тереза, — сказал он фамильярно, — хотите его видеть, вот его визитная карточка. Здесь указан номер его телефона в отеле, где он остановился. Хочу еще добавить: все, о чем я здесь говорил и что вы узнаете из газет, Вагнеру уже известно. И, наконец, мне кажется, что при нынешних затруднительных обстоятельствах ваш Густав будет скорее нуждаться не в терапевте, а в психиатре. Да, да, дорогая моя, к сожалению, это не пустой разговор, так для него будет лучше.

Тереза недоуменно спросила:

— Что, собственно, вы этим хотите сказать?

— Напрасно тревожитесь. Вагнер как был, так и остается в здравом уме, но то, что я вам советую, — единственное, что может ему помочь. Повторяю: е-дин-ствен-ное!

Тереза попыталась было возражать, но вскоре примирилась с мыслью, что этому янки, который говорил с ней, не повышая голоса, придется уступить и делать так, как он советует. Другого выхода у нее нет.

## ТЕ, КТО НЕ ХОТЯТ ЗАБЫТЬ

Вот чего Берек никак не мог ожидать: после того как Тереза дважды звонила и просила его как можно скорее прийти, ему приходится торчать в холле и ждать, пока его пригласят войти в комнату. За дверью явственно слышны шаги, но на стук никто не отзывается. Странно!

Что это может означать? Конечно, недолго повернуться и уйти, но он этого не сделает. Берек стал прислушиваться к тому, что происходит за дверью. Нервные шаги Терезы взад и вперед по комнате напоминают метание зверя в клетке. Должно быть, на душе у нее не сладко. Но как быть? Войти в комнату без разрешения — не в его правилах, но что поделаешь? Он слегка толкнул дверь, и она отворилась.

Да, Берек не ошибся: Тереза не на шутку удручена. Только вчера он подумал: «Давно уже бабушка, а на лице — ни морщинки». Сегодня этого не скажешь: выглядит она неважно. Смотрит на доктора, будто видит его впервые. В руках у Терезы несколько газетных вырезок. Еще больше их разбросано по столу. Как он заметил, вырезки из разных газет.

— Извините, фрау Тереза, что вошел без разрешения. Что с вами? Почему молчите? Что случилось? Вы плохо себя чувствуете?

Вместо ответа она спросила:

— Герр Шлезингер, какие языки вы знаете?

— Полиглотом меня не назовешь.

— Все же?

— Знаю, само собой, немецкий, голландский, латынь, несколько хуже знаю восточнославянские языки.

— Какие же это языки — восточнославянские?

— Чешский, польский, словацкий.

— Больше половины этих бумажек напечатано на польском языке. Главное, что может меня заинтересовать, он подчеркнул красным карандашом.

— Пока, фрау Тереза, я ничего не понимаю. Вижу только, что вы сильно возбуждены, и прошу вас успокоиться. Если не секрет, скажите, пожалуйста, кто «он»?

— У меня такое впечатление, будто он только что вышел отсюда. Видите, я еще никак не могу

опомниться. Вы могли столкнуться с ним возле моего дома.

— С кем я мог столкнуться, фрау Тереза, с кем? Вы ведь знаете, кроме Гросса, у меня здесь нет знакомых, а он в отъезде и вернется только завтра.

— Только завтра, говорите? Жаль. С Леоном я могла бы посоветоваться скорее, чем с моим адвокатом. Если вас не затруднит, не смогли бы вы попросить Гросса от моего имени, чтобы он приехал сегодня?

— Гросс должен прибыть не из Сан-Паулу, а из Рио, а я ни его адреса, ни телефона не знаю.

— Жаль, жаль. Вы даже представить себе не можете, какой мерзкий тип этот янки и как непросто и опасно иметь с ним дело. Даже голос его для меня невыносим.

Как только Тереза произнесла слово «янки», Берек сразу же догадался, кто это «он», и все же решил уточнить:

— К вам приходил Юджин Фушер?

— Подлый Фушер, — вырвалось у нее в сердцах.

— И это он принес вам газетные вырезки?

— Кто же еще, кроме него, мог это сделать?

— То, что опубликовано в печати, уже ни для кого не секрет. Прошу вас, успокойтесь. Покажите их мне. Ну вот, могу вам сразу сказать, что беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться: большинство этих материалов я и Гросс уже читали.

— Леон знал об этих материалах и ничего мне о них не сказал? Правда, мы с ним не всегда сходимся во взглядах, но все равно — настоящие друзья так не поступают. Или вы что-то не договариваете?

Знай я все заранее, возможно, не позволила бы Фушеру вертеть мною, перепутать все мои планы.

Берек слушал сетования Терезы и думал: до чего же мастерски Гросс играет свою роль! С каким доверием относится к нему фрау Штангль. И как это ему удалось? Не зря Агие Вондел как-то о нем сказал: «Гросс один из тех, у кого можно поучиться умению бороться с фашизмом». Чтобы не поколебать у Терезы доверие к Леону, Берек принялся ее успокаивать:

— Иногда лучше знать как можно меньше: здоровее будешь. Гросс, очевидно, не хотел вас огорчить.

— Когда речь идет о смертельной опасности, не до этого. А как, доктор, расцениваете это вы? — И, так как Берек уклонился от ответа, она нетерпеливо продолжала: — Что уж теперь об этом говорить. Я хотела бы вас просить ознакомить меня с этими грязными пасквилями.

На этот раз Берек не заставил себя долго упрашивать. Тереза ему подсказала:

— Сначала польские — я должна знать, чего от нас хотят поляки, о чем они галдят.

А как это сделать? Читать ей по-польски или сразу переводить на немецкий? Польский язык он знает с детства, но она об этом не должна догадаться, и чтобы ей казалось, что перевод дается ему с трудом, он как бы пропускает каждое слово через сито, часто спотыкается, перевирает ударения и слова. Его собеседница — вся внимание: она напряженно вслушивается, стараясь ничего не пропустить.

Берек читает только те строки, которые Фушер подчеркнул красным карандашом:

— «В официальном нюрнбергском списке военных преступников о Густаве Вагнере сказано: «Состав преступления — геноцид. Время и место — 1942—1943 гг. Собибор, Трешлинка».

— Я вижу, — перебивает его Тереза, — тут назван его порядковый номер в списке.

— Да, — ответил ей Шлезингер, — номер проставлен арабскими цифрами, и вам нетрудно его

разглядеть. Слушайте дальше.

«В связи с арестом нацистского палача Густава Вагнера корреспондент польского агентства печати обратился к директору Главной комиссии по расследованию преступлений гитлеровцев Чеславу Пилиховскому с просьбой проинформировать, что собой представляет этот убийца. Директор дал следующее разъяснение: Густав Франц Вагнер — один из самых кровавых палачей, непосредственно осуществлявший массовые убийства в Собиборе. Это подчеркивают в своих показаниях все свидетели. Так, например, Самуил Лерер заявил, что любимым занятием Вагнера было истязать людей палкой или же раскаленным железным прутом. На глазах у Эстер Рааб он убил мальчика. Герш Цукерман в своих показаниях написал, что это был разнузданный и злобный бандит, и он, Цукерман, сам видел, как Вагнер подвергал одного из узников мучительным пыткам каленым железом. Множество документов, которыми мы располагаем, подтверждают — Вагнер кровожадный палач...»

Берек на некоторое время замолкает, напряженно вглядывается в напечатанные строки. Ему чудится, что он слышит резкий звук раздирающего кожу удара нагайки, чувствует впивающиеся в тело ржавые шипы колючей проволоки. При одном воспоминании об этом Берек содрогается. Он видит перед собой Вагнера — мастера изощренных пыток. Эсэсовцы были охочи до диких оргий; такие разнузданные пиршества они обычно устраивали после каждого «трудного» для них рабочего дня, когда прибывал эшелон и надо было, не откладывая на завтра, «обработать» многотысячный людской материал. Вагнер всегда был главарем этой одичалой своры нацистских выродков, предметом их восхищения и преклонения.

Стоит Береку вспомнить то ужасное время, когда он был у Вагнера в руках и жил в постоянном ожидании смертного часа, как его сковывает леденящий душу ужас. И поныне его не покидает чувство вины перед родными и близкими: все они погибли, а он жив. Утешает лишь то, что все силы он отдает розыску убийц. В этом он видит свой долг перед памятью погибших...

Тереза заметила, что Шлезингер помрачнел, но истолковала это по-своему:

— Герр Шлезингер, я вижу, и вы возмущены. Какая наглость! Не хватает терпения слушать все, что тут написано. Сплошное вранье. Неужели неясно, что это свидетельства кучки нелюдей, а если здесь и есть доля правды, все равно пора перестать ворошить прошлое. То, что земля прибрала, подлежит забвению. А как вам нравится этот Цукерман, отозвавшийся о Густаве как о «разнузданном, злобном бандите»? И фамилия-то у него — Цукер[25]-ман! Такой грязной, омерзительной клеветой еврейство хочет обесчестить Вагнера.

Фрау Штангль была крайне возбуждена и с трудом владела собой. Берек выслушал ее «тираду» и еще медленнее продолжал читать:

— «Кто он, этот безжалостный палач, которого схватили и призывают к ответу через тридцать с лишним лет после того, как он совершал свои злодеяния?»

Все жертвы сегодня не могут свидетельствовать, но те немногие, кому удалось уцелеть, рассказали о нем достаточно. Вагнеру мало было душить газом и сжигать людей. Ему нужны были развлечения, и, подвергая истязаниям свои жертвы, убивая младенцев на глазах их матерей, он испытывал садистское наслаждение.

В Бразилию Вагнер прибыл вместе со своим патроном — Штанглем, этой бестией с «золотой плетью», помеченной его инициалами и украшенной награбленными у узников драгоценностями.

Вагнер и на новом месте жил на широкую ногу, вынашивая мечту о возврате добрых, старых времен. Какой стране выдадут этого палача и когда это произойдет, кто будет его судить, станет известно в скором времени. Ясно одно: убийца, отнявший жизнь у сотен тысяч людей, должен понести суровую кару».

Кажется, достаточно. Можно больше не читать.

Тереза вскочила с места:

— Какая наглость! — Голос ее срывался от возмущения. — Просто невероятно! Если верить этим свидетелям, то Фушер прав, что жизнь Густава висит на волоске, что перед ним бездна... Тоже мне свидетели! Не зря их уничтожали, но кто сейчас займется ими? Вы понимаете? — спросила она и, не ожидая ответа, продолжала: — Не вздумайте мне возражать. Я сама знаю, что и они сотканы из плоти и крови, но правы те, кто доказал, что эти люди не имеют права на существование. И поляки, и русские, и французы, и даже ваши голландцы, которые тоже печатают эти пасквили и обливают грязью имя и честь заслуженного солдата, ничуть не лучше всех этих евреев и цыган. Им бы всем один большой Собибор. Возвести на человека напраслину — чего проще. Но, чтобы судить его, требуются веские доказательства, подлинные, а не фальшивые документы, а ведь то, что вы читаете, — это же черт знает что.

Берек с трудом сдерживал себя. Сколько лет прошло после войны, а они ничуть не изменились.

Вагнер, Тереза — какими были, такими и остались.

Слушать дальше разглагольствования Терезы не имело смысла: ничего нового от нее не услышишь и только потеряешь время. Что она из себя представляет, он уже и так хорошо знает, а ее намерения ему сейчас вряд ли удастся разгадать. В то же время Береку не хотелось, чтобы фрау Штангль решила, будто положение не так уж безнадежно. Правда, перепугалась она сегодня не на шутку, но самого важного еще не знает, и он ей на это откроет глаза:

— Фрау Тереза, мне пора уходить, но еще несколько строк я вам должен прочесть. Мне кажется, об этом вам следует знать.

Тереза подошла к столу, стала рядом со Шлезингером и ткнула пальцем в подчеркнутый двумя красными линиями газетный заголовок.

— Читайте, но не все подряд, а только подчеркнутый текст. От этих свидетельских показаний меня уже тошнит.

— Тут сказано: «Руки Вагнера по локоть в крови...» — И, перехватив гневный взгляд Терезы, Берек поспешил возразить: — Нет, нет, это сообщение иного рода. Здесь речь идет о неоспоримом документе.

— Неоспоримые документы должны быть скреплены подписью и печатью, и то они заслуживают доверия лишь в том случае, если исходят от авторитетных лиц и к тому же составлены в свое время. Для меня это аксиома. Думаю, что и вы, доктор, согласитесь со мной.

Вместо ответа Берек продолжил чтение:

— «Комиссия по расследованию гитлеровских преступлений в Польше располагает специальным приказом относительно Густава Франца Вагнера, датированным октябром 1943 года. В приказе дается высокая оценка действиям Вагнера и отмечаются его особые заслуги перед рейхом в реализации «акции Рейнгард».

У Терезы задрожали веки. На щеках появились красные пятна. Она на глазах состарилась, и

тщательно скрываемые шестьдесят три года проступили на ее растерянном лице. Чутье ее не обмануло. Фушер приходил к ней не только с камнем за пазухой, но и с остро отточенным ножом. И все же она еще на что-то надеялась.

— И это все? Кем подписан приказ?

— Рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером.

— Это клевета, и я это докажу. Слишком мелкой сошкой был Густав, чтобы Генрих Гиммлер отмечал его в специальном приказе. К тому же в октябре произошло восстание в Собиборе, и уже одно это исключало, чтобы о ком-либо из администрации лагеря отозвались положительно.

Документ этот подложный. Это образец надувательства.

— Фрау Тереза, здесь также указано, что оригинал приказа сохранился и авторитетными немецкими экспертами признана достоверность подписи Гиммлера. Точная дата не указана. Может быть, это было незадолго до восстания, но не исключено, что и после, и именно поэтому точная дата не указана. Историк, прокомментировавший приведенный в газете текст приказа, допускает, что поводом для его появления и послужили восстания в Треблинке и Собиборе. Дело в том, объясняет историк, что сроки восстаний совпали с трехнедельным отпуском, который предоставили Вагнеру после трехмесячной службы. Проводил он его в Берлине и Вене. Здесь также приводится следующее высказывание Одилио Глобочника: «Будь на месте Вагнер, никому из осужденных не удалось бы спастись бегством». И последнее сообщение: «Среди документов по делу Вагнера, переданных на днях генеральным прокурором Польши судебным органам Бразилии, имеется и этот приказ». Так, фрау Тереза, сказано в газете.

Что и говорить! То, что услышала Тереза, превзошло все ее опасения. Она сразу поникла, плечи ее затряслись, из груди вырвался стон, и она судорожно зарыдала.

Вот как обернулось дело! Самоуверенная эсэсовская дама, одна из тех, для которых из человеческой кожи изготавливали перчатки, вдруг потеряла голову.

Доктора Шлезингера, знающего цену людским страданиям, вспышка боли и отчаяния женщины могла бы тронуть. Не слишком ли жестоко обошелся он с «бедной» Терезой, не сказав ей ни единого слова в утешение? Но Тереза взяла себя в руки, выпрямилась и почти спокойно сказала:

— Гиммлер, Глобочник... Они, власть имущие, вершили судьбами таких, как Штангль и Вагнер, а чуть что — бросили своих на произвол судьбы и наложили на себя руки. Тоже мне героизм!

Другое дело Борман, Менгеле. Живет себе Менгеле недалеко от...

Казалось, что Тереза вот-вот назовет место, где скрывается один из самых отъявленных гитлеровских преступников, но она опомнилась, махнула рукой и сказала:

— Как вы понимаете, о Менгеле я знаю не больше, чем парижанка Беата Кларсфельд. Откуда я о ней знаю? Во всех газетах о ней только и пишут. Кстати, я думала, что Беата, которую мы, немцы, зовем не иначе как «бешеный ангел мести», еврейка, но оказывается, это не так. Кларсфельд делает вид, что вершит правый суд, а думает о другом: денег у нее предостаточно, но этого ей мало; ей хочется еще стать лауреатом Нобелевской премии, и она уверяет всех, что вскоре ей удастся обнаружить место, где скрывается Менгеле. Я убеждена, что это одни слова. Иозеф Менгеле, мне кажется, совершил только одну ошибку: он не должен был афишировать свой развод с Иреной и тем более посылать в суд доверенность, заверенную в Буэнос-Айресе. После этого еще один «бешеный ангел мести», некий Герман Лангбейн из Вены, установил истинное местонахождение Менгеле, так что тот

вынужден был бежать из Аргентины. В другой раз Менгеле ошибки не совершит, так что ни Кларсфельд, ни Лангбейну поймать его не удастся.

Да, подумал Берек, слишком рано Тереза спохватилась, что болтает лишнее, и, вероятно, впредь будет осмотрительнее. Не станет же он ей рассказывать, что бывший боец интернациональных бригад в Испании, а затем узник Дахау и Освенцима, Герман Лангбейн заканчивает документальную книгу о нацистских лагерях смерти и в ней немало места отведено не только «деяниям» Менгеле, но и Штангля и Вагнера. В печати об этом не сообщалось, а узнал он от Александра Печерского, с которым Лангбейн состоит в переписке. И все же Шлезингер пытается выяснить, почему Тереза, озабоченная судьбой Вагнера, упомянула о Менгеле, и делает это не в первый раз. Случайно ли это? Вряд ли. Правда, фрау Штангль любопытство доктора может не понравиться, но тем не менее он спросил, а Тереза, не чуя подвоха, ответила:

— Вы ведь знаете, доктор, я потеряла своего Польди, теперь хотят отнять у меня Густава. А могло быть совсем по-другому. Когда на крючок попадают крупные шуки, пойманную ранее мелюзгу бросают обратно в воду. Да, да, Фушер прав, и только он один мне поможет. Нельзя терять ни минуты. С ним и со Шлоком я еще, правда, хорошенько поторгуюсь. Американец считает, что Густав будет нуждаться только в психиатре, а мне не хотелось бы раньше времени отпускать вас от себя. Как бы то ни было, вы получите полностью то, что было оговорено.

Как бы между прочим Берек спросил:

— А где вы этого Шлока найдете? — И, так как Тереза ответила не сразу, он продолжал: — Фушер при мне сообщил Вагнеру, что Шлок сейчас находится в Бразилии, но где именно — он не сказал. И снова Береку улыбнулась фортуна. Тереза положила перед ним визитную карточку Шлока и пренебрежительно заметила:

— Иметь дело с этим субъектом мне не хочется. Я могла бы послать к нему своего адвоката, но, откровенно говоря, теперь уже сама не знаю, кому он служит — мне или американцу. Кто еще, кроме него, мог передать Густаву в тюрьму, чего от него хочет Фушер? Перетянуть Шлока на свою сторону вряд ли удастся, но за мзду он выложит все, что меня интересует, а главное — чем он мог бы повредить Вагнеру.

## ВЕРУЮЩИЙ

Визит Шлезингера закончен. Широким, размашистым шагом идет он мимо газона, пахнущего только что скошенной травой. Солнце бьет в лицо, и, чтобы заслониться от него, кепку приходится надвинуть на лоб. Береку кажется, что его одежда отдает подвальной плесенью. Где она могла впитать в себя эту затхлость? Разве что в просторном будуаре фрау Штангль с настежь раскрытыми окнами, завешанными легкими гардинами. Пока Тереза не попадает на удочку. Берек еще не успел осмыслить все, что от нее услышал за эти несколько часов, но слова о Бормане и Менгеле врезались в сознание. Она чуть было не назвала место, где теперь скрывается обер-убийца из Освенцима. Фрау Штангль не могла не знать, что за поимку Менгеле обещано такое денежное вознаграждение, какого не обещали никогда за голову преступника.

Иозеф Менгеле! Ему теперь около шестидесяти семи лет. В его родном городе Гюнцбурге в Баварии отец Иозефа, Карл Менгеле, в начале века построил завод сельскохозяйственных машин. С годами завод разросся и превратился в крупное предприятие с филиалами в Австрии, Аргентине, Италии и Франции. Во главе фирмы теперь стоит младший брат Иозефа.

Когда Иозефу Менгеле исполнилось девятнадцать лет, он уехал в Мюнхен и занялся изучением медицины и философии. Там он вступил в национал-социалистскую партию, а несколькими месяцами позже — в ряды СС.

В Освенциме Менгеле зверствовал год и семь месяцев. Это ему не помешало вскоре после войны возвратиться в Гюнцбург, который тогда входил в американскую зону оккупации, и прожить там неполных четыре года.

Еще студентом Берек бывал в Гюнцбурге и не раз слышал, что о Иозефе Менгеле отзывались как о хорошем медике из очень богатой и знатной фамилии. Это говорилось о враче-изувере, проводившем в Освенциме чудовищные эксперименты над женщинами и детьми; особым его пристрастием были опыты над близнецами.

Тереза также упомянула Мартина Бормана, которого Гитлер прочил себе в преемники. Ручаться, что Борман по сей день еще жив, Берек не станет, но версия о его гибели в мае 1945 года в Берлине, имевшая хождение вскоре после войны, явно несостоятельна. Шесть лет тому назад в Западном Берлине во время прокладки нового трубопровода обнаружили скелет человека и по черепным ямкам установили, что это скелет Бормана. В Бонне тогда было официально объявлено, что, согласно выводам экспертизы, загадка «Борман» полностью прояснилась и Западная Германия больше заниматься ею не будет. Более достоверными Береку показались появившиеся в печати предположения о том, что скелет Бормана был обнаружен стараниями... самого Бормана.

Десятки фактов, о которых сообщалось в мировой печати, подтверждают, что Борман неоднократно приезжал в Бразилию и даже проживал там. Основная его резиденция находилась в штате Мату-Гросу. Оттуда он координировал деятельность нацистов, осевших в Аргентине, Бразилии и Парагвае. В Бразилии он значился под именем Лейзера (или Элизера) Гольдштейна. Во всяком случае, так он был записан во время своего пребывания в городе Санта-Катарина.

В конце 1954 года человек, который называл себя Лейзером Гольдштейном, возвратился в Аргентину. На этот раз он выдал себя за испанца Хосе Переса. Владелец отеля в Мина-Клаверо (провинция Кордова) заявил полиции, что его постоялец Хосе Перес и Мартин Борман — одно и то же лицо, но пока детективы собрались заглянуть в отель, Бормана и двух его сопровождающих и след простыл.

Два года спустя в Сан-Паулу Бормана увидела женщина, которая хорошо его знала, и сообщила об этом бразильским властям. Произошла эта неожиданная встреча не где-нибудь, а недалеко от улицы Фрей Гаспар, где стоит особняк Штангля, откуда доктор Шлезингер недавно вышел.

Гроссу тогда удалось встретиться и побеседовать с этой женщиной. Леон не из легковверных, и он полагает, что ошибки не произошло, и если бы полиция хотела задержать Бормана тогда в Сан-Паулу или же позднее в штате Мату-Гросу, где он окопался, это бы ей удалось.

Три года спустя, в 1959 году, Борман снова жил в Парагвае, недалеко от границы с Бразилией, куда перебраться — сущий пустяк. Там он часто встречался с Менгеле. Судя по всему...

Вот уже второй раз Шлезингера обгоняет стройная женщина. Прохожих немного, тротуар достаточно широк, тем не менее она задевает его рукой и, обернувшись, лукаво заглядывает ему в лицо. Довольно молодая, с коротко остриженными волосами, но уже перешагнувшая тот возраст, когда позволительны детские шалости и заигрывание. Шлезингер удивленно поднял брови, но этого она уже не могла заметить. Нет, подумал Берек, это не слезка, иначе зачем ей надо было привлекать

к себе внимание. Женщина свернула на другую сторону, и Берек постепенно вернулся к своим размышлениям.

У Агие Вондела Шлезингер видел фотокопию регистрационной карты Парагвайского управления по туризму. В ней о Менгеле значится:

«Иозеф Менгеле, паспорт номер (Береку запомнилось, что номер семизначный, но назвать его теперь бы не смог) Национальность — немец. Прибыл в Парагвай 2 октября 1958 года из Аргентины (Буэнос-Айреса). Срок окончания временной визы — 1 января 1959 года».

За день до истечения срока временной визы Менгеле сунул кому надо солидный куш, получил от парагвайского правительства документ на право постоянного жительства, и дело в шляпе.

За тридцать с лишним послевоенных лет Вондел собрал сотни вырезок из газет с сообщениями о местонахождении Бормана и Менгеле. Большинство из них содержат сомнительные предположения. Вполне возможно, что делается это умышленно, с целью увести от истины, запутать следы. Но время от времени появляются достоверные данные. Так, например, Цетлев Зоненбург — участник первого съезда бывших нацистов, заявил:

«Наша встреча происходила в боливийском городе Санта-Крус, в доме эсэсовца Эртеля фон дер Куинга. Руководил съездом Иозеф Менгеле. Там же присутствовал Мартин Борман».

Не исключено, что фрау Штангль знает об этой компании не меньше, чем Зоненбург. А то, что она сказала, «когда на крючок попадают крупные шуки, пойманную ранее мелюзгу бросают обратно в воду», напоминает слова Фейгеле о Вагнере: «Щука может уйти вглубь, как Борман и Менгеле, а рыбак с крючком, глядишь...»

Нет, Фейгеле, на этот раз, надо думать, Вагнеру не вывернуться и не ускользнуть.

Береку также ясно и другое: тем, что Фушер вывел его из игры как лечащего врача Вагнера, он ему только удружил. Теперь можно ехать домой. Берек и сам уже подумывал о том, как бы поскорее выскользнуть из рук Терезы. Решение о том, выдавать ли Вагнера и какой именно стране, — скорее всего, будет откладываться еще не раз. Старые счета и теперешний торг всей этой своры по поводу награбленных бриллиантов его мало интересуют. Один другого пытается перехитрить. Пусть даже вцепятся в горло друг другу — что ему до всего этого? Осталось только одно важное дело — встретиться со Шлоком. Что и говорить: лучше бы его не видеть и не слышать, но что поделаешь? Шлезингер долго сидит на берегу рукотворного озера, созданного в центре города, и жадно вдыхает влажный воздух. Надо заранее подумать, как вести себя со Шлоком.

Мерно колышутся еле заметные волны. Вдали, у горизонта, розовеет узкая полоска — отсвет заходящего солнца. На берегу много гуляющих. Берек смотрит на них рассеянным взглядом. Здесь встречаются люди со всех концов света. Местных жителей распознать нетрудно. Большинство из них среднего роста, худощавые, смуглые, с лучистыми карими глазами. Языка этих людей он не знает, но мог бы поклясться, что эта пожилая женщина выговаривает своей внучке — загорелой девчужке — за то, что та стоит близко у воды.

У Берека создалось впечатление, что бразильцы открытый, доброжелательный народ. Со стороны может показаться, что кругом царит благополучие и что жители Бразилии живут спокойно и безопасно. Но, как и повсюду, здесь у каждого своих забот по горло. Берека недавно основанная столица поразила еще до того, как он ступил на ее землю. Из Сан-Паулу он вылетел самолетом, для которого без малого тысяча километров — сущий пустырь. На небе не было ни облачка, и он не успел

задремать, как его сосед, видимо тоже приезжий, прикоснулся к его плечу.

— Посмотрите, — воскликнул он удивленно, — такого я еще нигде не видел!

Шлезингер посмотрел в иллюминатор и поразился. Похоже было, что их воздушный корабль гонится за другим воздушным кораблем, только гораздо большего размера. По своим контурам Бразилиа напоминает аэроплан. «Крылья» его распростерлись на двенадцать километров. Это жилая зона, поделенная на микрорайоны. А в «фюзеляже» — на отлогой поверхности, протянувшейся от вокзала до озера, разместились государственные и общественные здания.

Берек снова возвращается к мыслям о Шлоке. Как ему быть: предварительно позвонить по телефону или же пойти к нему без предупреждения? Если заранее позвонить, он может отказаться от встречи. Принимая во внимание «благородную» миссию, с которой Шлок сюда приехал, ему определенно не захочется встречаться с незнакомым человеком. Он даже может и не открывать дверь, пока не узнает, кто к нему пожаловал.

Береку хорошо известно, что в подобных случаях невозможно заранее все предусмотреть. Ведь может случиться, что у Шлока он застанет Фушера: американец и без того настроен против врача Вагнера, и его появление было бы неприкрытым вызовом.

Шлок и Фушер! Вот уж поистине два сапога — пара.

Сомнения и опасения недолго занимали Берека, и он постепенно пришел к убеждению, что все задуманное так или иначе осуществится. Ничего страшного не произойдет, даже если Фушер окажется у Шлока. Больше того, он даст американцу понять, что хочет поговорить со Шлоком с глазу на глаз. И для Терезы найдет оправдание своего визита к Шлоку. Сказала же она ему, что у нее нет ни малейшего желания иметь дело со Шлоком и что довериться своему адвокату она не может, так как не уверена в нем.

Значит, решено. Сейчас он направится в отель, в котором Шлок остановился, снимет там для себя номер, если удастся — то по соседству или хотя бы на одном этаже.

Все это ему удалось.

Берек позвонил Шлоку раз, другой, пока тот не снял трубку.

— Алло!

Берек начал с извинения:

— Прошу прощения за беспокойство, но, мне кажется, что в отеле вы единственный, кто мог бы мне подсказать, есть ли в городе синагога.

То ли вопрос оказался для Шлока неожиданным, то ли он на самом деле не расслышал и не понял, чего от него хотят, но он приглушенным голосом переспросил:

— Как это понимать? — и закашлялся.

Берек поспешил объяснить:

— Видите ли, я нездешний, а завтра годовщина смерти моего брата...

Шлок не дал Береку договорить:

— Помянуть душу усопшего — богоугодное дело, но какое отношение к этому имею я? Я ведь не габе[26].

Берек терпеливо повторил:

— Я полагал, что вы подскажете мне, как пройти в синагогу.

Шлок понял: от этого человека так просто не отделаешься.

— Коль я живу в отеле, значит, и я не местный.

— Это ничего не значит, — попытался Берек смягчить раздражение Шлока. — Вы могли приехать из Рио или Сан-Паулу. Меня же занесло бог весть откуда.

Шлок всегда любил совать свой нос в чужие дела. И на этот раз любопытство взяло верх над привычной осторожностью, и он уже более мягким тоном спросил:

— А откуда вы?

— Из Амстердама.

Голландию Шлок запомнил на всю жизнь. Во время оккупации он оказался, правда, ненадолго, в Вестерборкском лагере. Но надо убедиться, что его собеседник действительно прибыл из Голландии.

— Тогда вам должны быть знакомы «Моком», «Моком кодош», «Мединэ»[27], если только я сам не перепутал.

— Нет, вы ничего не перепутали. «Моком», «Моком кодош» — так именовались еврейские кварталы Амстердама, а свыше шестидесяти других поселений — большие и малые города, в которых проживали евреи, — назывались «Мединэ».

— Коль вы из Амстердама, то, наверно, сфард?

— Нет, ашкенази. Так что не имею повода гордиться тем, что мои предки — выходцы из Испании или Португалии. Правда, и некоторых ашкенази, особенно выходцев из Германии, тоже в скромности не обвинишь. Они почему-то считают себя выше тех же выходцев из Франции или Австрии.

— Так оно и есть. Именно они стояли во главе общин, и, наверно, это были совсем неплохие времена. Я мог бы вас в этом убедить. Но, простите, я не знаю, как вас зовут и в каком номере вы остановились.

Берек представился и назвал номер.

— Вот как! Мне его тоже предложили, но я скромный коммерсант и не могу себе позволить такие траты.

— Я — врач. Меня пригласили сюда на консилиум. Это входит в мой гонорар.

— Из Голландии в Бразилию на консилиум? Такого я еще не слышал. И если уж приглашать, то надо думать, и в Америке найдутся специалисты.

— Тут я с вами полностью согласен. Но я не напрашивался. Даже наоборот.

— Ну конечно, все мы люди, и если хорошо платят... — И, так как Шлезингер не сразу нашелся что ответить, Шлок продолжал: — Верно я говорю, а может, не совсем так?

— Не совсем. Я и дома неплохо зарабатываю.

— Ну, тогда вы многого достигли. Вот что значит быть в своем деле крупным специалистом. Один из ваших коллег, знаменитый профессор, еще бог весть когда сказал мне, что я не жилец на свете. Скажите, пожалуйста, вы хирург?

— Нет, кардиолог.

— Это даже лучше. Можно болеть многими болезнями, а умирают, когда сердце останавливается.

Разве не так? — И, решив, что такое знакомство может оказаться полезным, Шлок спросил: — Доктор, вы ужинали? Не составите ли мне компанию? Правда, я трэфного[28] не ем, но если не возражаете...

«Неужели, — подумал Берек, — он уже у меня в руках?»

— Трефное, нетрефное — мне все равно. Ну что ж, я могу зайти к вам, только попозже, часа через два-три, после того как я позабочусь о поминальной молитве по моему брату.

— Трефное, нетрефное — вам безразлично, а поминальная молитва вас занимает.

— Это разные вещи. Когда и где погибли мои родители — мне неизвестно, но когда убили моего старшего брата, они еще были живы. Брата мы сами похоронили — этот день и час я хорошо помню. Так что это заодно будет поминовением отца и матери, всех моих близких...

— Так, значит, мы с вами люди одной судьбы? Не беспокойтесь. Молитву я вам закажу. Мне сделать это проще. Здесь, в городе, я знаю все ходы и выходы. Не возражайте. Назовите только имя брата. Береку очень не хотелось прибегать к услугам Шлока, но отступить было поздно.

— Не сомневайтесь, — заверил Шлок, — все будет в лучшем виде. Мне и не снилось, что моим соседом окажется человек, говорящий на моем родном языке и к тому же врач с именем. Значит, решено. Загляните ко мне через часок.

Берек, помедлив, сдержанно ответил:

— Согласен, но, пожалуй, лучше, если вы придете ко мне. За то время, что вы будете заниматься моими делами, я позабочусь об ужине.

Перебирая возможные подступы к Шлоку, Берек упустил из виду, что для того собственное здоровье превыше всего. Вот где, оказывается, самый верный ход.

Да, должно быть, Шлок действительно уже совсем плох, если «знаменитый профессор» утверждал, что он не жилец на этом свете. Но, судя по телефонному разговору, Шлок себе на уме, и нелегко будет проникнуть в его замыслы.

То, что Шлок прикидывается богобоязненным человеком, еще можно понять. Не исключено также, что он действительно стал верующим, — ведь недалеко время, когда надо будет предстать перед всевышним...

## Глава семнадцатая

### НОЧНОЙ РАЗГОВОР

### НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Прошло немногим более получаса, как Берек положил телефонную трубку, когда в дверь его номера постучали и послышался неуверенный голос:

— Можно?

И вот они стоят лицом к лицу, и Шлок смотрит на знаменитого врача преданным взглядом. Со стороны вряд ли кому могла прийти в голову мысль, что судьбы этих людей так зловеще пересеклись.

— Заходите, пожалуйста, — пригласил его Берек.

— Спасибо! — расплылся гость в улыбке.

Первым заговорил Шлок:

— Я подумал, что коль нам суждено жить по соседству, незачем сидеть в одиночестве. Но сначала давайте познакомимся, — Шлок протянул Береку костлявую руку. — Меня зовут Натан Шлок, хотя мне приятнее, когда мое имя произносят по-еврейски, как моя мама: Нотэ. Слышите, как это звучит? Но-тэ! — Он провел рукой по отполированной до блеска лысине. — А в Штатах меня почему-то зовут Нэтн. Это плата за счастье проживать в Америке. А ваше имя? Бернанд? Я не ошибся? Вероятно, правильнее будет Борух? Шутка сказать — Бо-рух! Это ведь имя знаменитого философа

Спинозы. И его звали Борухом. Правда, был он безбожником, и еврейская община Амстердама подвергла его отлучению — херему. Он и в самом деле себе много позволял. Но и я всегда был и остаюсь сторонником политических и религиозных свобод. Вы со мной согласны?

Берек усадил Шлока и слушал молча, не перебивая. Было ясно, что «раскачивать» гостя ему не придется. Как раз перед посторонним человеком, к тому же врачом, Шлок будет разговорчив.

Перебивать его не стоит, пусть говорит, рассказать ему есть о чем. Интересно, у каких родителей, в какой среде вырос этот человек. Берек смотрел на него и думал: да тот ли это Шлок, которого он запомнил по Собибору? Годы и болезнь изрядно его помяли. В лагере он казался Береку крупным, крепким, теперь же перед ним невысокий, дряхлый старик.

Шлок оседлал нос очками и пригладил жидкие волосы на затылке. Ему хотелось произвести благоприятное впечатление на врача. Спросив разрешения, он пересел к открытому окну и, вынув из портсигара сигарету, закурил и тут же принялся сипловатой скороговоркой рассказывать о себе, о своих болезнях так увлеченно, что позабыл об осторожности.

Если попытаться кратко изложить рассказ Шлока, опуская такие подробности, как то, что его дед ходил в собольей шапке, отец носил пальто с бархатным воротником, а мать молилась перед зажженными свечами в серебряных подсвечниках, то суть рассказа сводится к следующему.

...Шлоку недавно исполнилось шестьдесят семь лет. Родом он из Галиции, но вырос в Вене, куда его родители переехали незадолго до первой мировой войны. В австрийской столице жил дальний родственник матери по фамилии Футервейт. Упомянуть о нем следует хотя бы потому, что летом 1933 года он стал жертвой брошенной нацистами бомбы. Исполнителем этого террористического акта был Одилио Глобочник. Тот самый Одилио Глобочник, который со временем стал гаулейтером Вены, а затем главным руководителем «акции Рейнгард» в оккупированных гитлеровцами областях. Футервейт помог отцу Натана — Рефозлу Шлоку — поступить помощником к ювелиру. Большим специалистом по этой части отец не стал, но на жизнь зарабатывал.

От своего единственного сына он требовал лишь одного: чтобы тот хорошо учился, но особым усердием Натан не отличался. В старших классах он обзавелся дружкой, оказавшим на него дурное влияние. В школьной футбольной команде Август был центрфорвардом. Натана он покорила богатырским ростом, крепкими мускулами, хладнокровием и самоуверенностью. Оба они увлекались футболом, часто убегали с уроков и слонялись по улицам, а вскоре Август втянул Натана в картежную игру и другие дела, о которых в старости лучше не вспоминать. И даже тогда, когда Август был задержан полицией по подозрению в изнасиловании школьницы, Натан сделал все, чтобы его вызволить. Он долго уговаривал свою мать, пока она не согласилась засвидетельствовать, что весь тот вечер ее сын и его школьный товарищ сидели у нее дома и готовили уроки.

— Так моя мать спасла этого негодяя, который потом... — и тут у Шлока вырвались слова, о которых он сразу же пожалел, — в 1942 году ее убил...

Услышав это, Берек не выдержал и спросил:

— Этот негодяй жив и поныне?

Шлок надолго задумался, как-то странно уставился на Берека, глаза его увлажнились, и из груди вырвался тихий, приглушенный стон:

— Не все ли вам равно, доктор?

Обострять отношения со Шлоком в намерения Берека пока не входило, но все же он возразил:

— Нет, не все равно. Я ведь не только врач, но и человек, и не считаю, что все то, что земля забрала, должно быть предано забвению. Вы, как я вижу, тоже не из тех, кто склонен забывать, тогда почему же после войны вы не пытались узнать об этом убийце, разыскать его?

Шлок побледнел. Слишком неожиданным для него был этот переход. Он снял очки в позолоченной оправе и стал медленно укладывать их в футляр. Теперь его глаза сверкали сухим блеском.

— После войны меня одолевали совсем иные заботы: у меня тогда болела голова о том, как бы прокормиться. Что и говорить, уничтожил он не только мою мать, а еще тысячи людей, а по-вашему получается, что рассчитаться с ним должен был один я... — Шлок снова надел очки и уже более спокойно продолжил: — Если вы еще не устали, я расскажу вам, что произошло дальше.

Берек хмурит брови. Пусть говорит, что хочет. Придет время, и он заставит Шлока рассказать о Собиборе, о «небесной дороге», утоптанной сотнями тысяч человеческих ног, об убийцах, нашедших приют в Южной Америке.

Шлок начал издали:

— Еще до тридцатых годов, когда деньги упали в цене и дороговизна в Австрии росла с каждым днем, началась паника: люди стали уезжать из страны, где все труднее становилось прожить. В погоне за заработком австрийцы готовы были оставить насиженные места, бросить свой дом и годами нажитое имущество. Эмигрантом стал и мой отец. Он надеялся, что в Гамбурге ему повезет больше, чем в Вене. Почему именно там, а не в другом месте? Гамбург в то время был вольным городом. К тому же большой порт, крупный торговый центр, известный не только в Германии. На переезд в Гамбург у отца была еще одна причина: у него там было кое-какое знакомство. На первых порах он решил поехать один, без семьи, а его место в Вене должен был занять я. Хозяин мастерской дал на это свое согласие с условием, что в течение двух лет платить мне будет вдвое меньше, чем отцу. Вот так я и стал ювелиром. Работа мне нравилась...

У Шлока перехватило дыхание, и он надолго замолк. Зжатое в ладонях лицо его как бы съежилось. Должно быть, у него в голове ворочались тяжелые, как глыбы, думы. Рассказать все, как было, он не может, кое о чем надо умолчать, что-то опустить. А возможно, здесь сказалось его болезненное состояние. Еще в начале разговора Шлок показал Береку выписку из истории болезни. Лечить его Берек не намерен, но ознакомиться с диагнозом не помешает. Ясно, что Шлоку нужно немного передохнуть, и Берек сказал:

— Герр Шлок, отложим на время беседу. Я хочу предложить вам поужинать со мной. Ужин, правда, довольно скромный, но еда такая, что вам все можно, — трэфного можете не опасаться. Давайте вымоем руки и сядем за стол.

— А-а-а... — Шлок махнул рукой. — Хотя я первый завел разговор об ужине, но, если уж по правде говорить, к еде я безразличен. Большим едоком я никогда не был, а в последнее время и вовсе меня на еду не тянет. Получается так, что я ем и меня что-то гложет. Вот так, дорогой доктор, но это разговор особый. Не буду себе и вам перед едой портить настроение, и о моей болезни поговорим после.

Стол, стоявший посреди комнаты, был так обильно уставлен яствами и напитками, словно Берек решил заметно пополнить дневную выручку ресторана. Кельнер наставил столько тарелок и тарелочек, бутылок, фужеров и рюмок, что хватило бы еще на несколько человек. Вначале они выпили немного виски и запили содовой со льдом. Берек попробовал кусочек необыкновенно

вкусного кисло-сладкого мяса. Шлок медленно жевал зелень и не мог отвести взгляда от большой льняной салфетки, которой до этого была прикрыта еда. На салфетке было шестнадцать квадратов с темно-синими полосами по краям. В каждом квадрате рисунок: ветряная мельница, цветы, девочка и мальчик на фоне нидерландского пейзажа. В Голландии Шлок не раз видел такие салфетки и скатерти. Интересно, каким образом они оказались здесь, в Бразилии?

Берек удовлетворил его любопытство:

— Когда кельнер занес мне меню, он как бы между прочим спросил, откуда я прибыл, и тут же вернулся со скатертью и салфетками.

Самолюбие Шлока было задето:

— Где уж мне, герр Шлезингер, тягаться с вами, если вы позволяете себе платить за номер такие бешеные деньги. Мне тоже приносят все, что душа желает, но никому не придет в голову украсить стол приятной для меня скатертью. Хотя это, наверно, считается суетой сует.

Ну вот: ко всему Шлок еще и завистлив.

После ужина Шлезингер выразил желание ознакомиться с медицинской картой. И вот что там было сказано:

«В 1943 году вследствие телесных повреждений у больного оказалась травмированной правая лопатка. Пострадавший длительное время не обращал внимания на боли. В 1953 году на месте ушиба возникла опухоль, не поддававшаяся лечению. На основании результатов обследований (рентгеновских снимков, лабораторных анализов и др.), учитывая возможные тяжелые последствия, больному была предложена срочная операция. Свое согласие он дал только спустя девять месяцев. Лопатку пришлось удалить. Шов долгое время не заживал, рана кровоточила. Правая рука плохо действовала. В октябре 1977 года боли усилились, и было основание подозревать, что опухоль дала метастазы. Была предпринята новая операция. Диагноз — остеосаркома».

Пока Шлезингер читал заключение, Шлок пристально следил за ним, повторяя про себя слова заключения. Со стороны могло показаться, что они вдвоем читают один и тот же текст. Это неудивительно: больной знал его наизусть.

— Теперь вы видите, что я одной ногой уже на том свете? Как же мне быть? Другой на моем месте сказал бы: чем такая жизнь, лучше головой в омут, а я, как утопающий, хватаюсь за соломинку. Все еще на что-то надеюсь...

— Надеяться надо всегда. У меня создалось впечатление, что медицинское заключение писал не врач.

— Чтоб я так был здоров, вы угадали. Но с рентгеновских снимков и лабораторных исследований сделаны точные копии. Для вас, думаю, и этого достаточно.

— Как же все-таки к вам в руки попало это малограмотное заключение?

— За деньги. За доллары можно купить все и вся. Все, кроме здоровья.

Берека так и подмывало сказать, что Натан Шлок и Тереза Штангль мыслят одинаково, но спросил он о другом:

— О каких телесных повреждениях идет здесь речь? Не приложил ли к этому руку ваш бывший приятель?

— На это я могу вам ответить: и да, и нет. Но сперва я хотел бы услышать, что вы, доктор, можете сказать о моей болезни?

— Прежде всего должен вам напомнить, что онкология не моя специальность. Кроме того, делать поспешные выводы, тем более когда речь идет о серьезной болезни, — не в моих правилах. У себя дома я прежде всего посоветовался бы со своим коллегой — крупным специалистом в этой области. — У вас в Голландии? Где только я не побывал за это время, а вы говорите, что в Нидерландах... Шлезингер позволил себе пошутить:

— Не зря говорят: похож, как Голландия на Нидерланды. Должен вам сказать, что в Голландии иногда можно найти то, что в другой стране вряд ли найдете. — И без всякого перехода: — Кстати, правое плечо у вас немного ниже левого, но это почти незаметно.

Теперь уже Шлок нехотя улыбнулся:

— Как видите, на хорошего портного можно положиться скорее, чем на хорошего врача. Пиджак так искусно сшит, что он скрывает изъян. Поэтому я и не стал его снимать. С вашего разрешения я сниму пиджак и закончу свою историю.

— Пожалуйста, герр Шлок.

После того как Шлок поступил на работу к ювелиру, Август все еще продолжал встречаться с ним, стараясь, однако, чтобы никто не видел их вместе: то ли Август чувствовал себя неловко, то ли это действительно могло помешать его карьере. Ведь основой фашистской идеологии, ее сутью был расизм. Правда, после того как Глобочник убил Футервейта, национал-социалистская партия в Австрии была запрещена, но в подполье она развернула еще более активную деятельность. Годом позже последователи Глобочника только за одну неделю совершили сто сорок террористических актов.

Отец в каждом письме требовал, чтобы Натан с матерью без промедления выехали к нему. Многие немецкие евреи, и не только евреи, бросали свое имущество и бежали кто в Бельгию, кто в Голландию, кто во Францию. Шлоки же устремились в Германию, хотя дела у Рефоэла, или, как теперь его называли, Рудольфа Шлока, были не блестящи. Долгое время он ходил без работы — никуда его не принимали. Пришлось ему сменить профессию и стать стекольщиком.

Третий рейх вскоре стал страной погромов. Нацистские молодчики бесчинствовали всюду: не проходило ночи без диких оргий, насилий и убийств. В витрины магазинов, окна домов летели булыжники. На стекло и стекольщиков был большой спрос. Рудольф Шлок обзавелся алмазом и стал ходить по улицам с ящиком на плече, высматривая, кому нужно вставлять стекла. Он считал, что ему повезло. Особенно удачными для него бывали дни, когда приходилось иметь дело с двойными рамами. Если уж в такие окна попадал камень, обычно вдребезги разбивались сразу оба стекла. О тех, кто кидал булыжники, он старался умалчивать. В чужие дела он никогда не вмешивался; пострадавших можно только пожалеть, но что поделаешь?

Конечно, нелегко в его возрасте тащить на себе тяжелый ящик со стеклом. Особенно трудно работать на высоте — между небом и землей: тут уж у него от страха тряслись поджилки. Зачем, черт побери, придумали многоэтажные дома?

При всем том Рудольф Шлок был даже доволен своей работой: в такие тяжелые времена у него есть заработок, и он даже может вызвать к себе семью. Только бы не было хуже.

Но худшее случилось. Среди бела дня шайка отпетых молодчиков выбила стекла сразу в нескольких еврейских домах. Людям, конечно, горе, но зато Рудольф обеспечен работой. И он поспешил туда, прихватив с собой полный ящик стекла. Не успел он толком разглядеть предстоящую работу, как

двое дюжих парней схватили его ящик и разбили все стекла, пригрозив, что, если он не бросит свое занятие, они прикончат его на месте.

Таким образом, все его радужные планы лопнули как мыльный пузырь.

Три месяца Рудольфу нечем было платить за квартиру. Хозяин дома в счет долга отобрал у него скудные пожитки и выгнал на улицу. Ночевать ему приходилось где попало, укрываясь тряпьем. Дошло до того, что он готов был ходить по миру с сумой или же рыться в мусорных ящиках. И все же домой, в Вену, он ни за что не хотел возвращаться. Как только Эстер Шлок узнала, что муж ее остался без крыши над головой, но из Гамбурга уезжать не намерен, она собрала все, что с таким трудом удалось скопить, и отправилась с сыном в дорогу. Не могла же она допустить, чтобы ее муж бедствовал один на чужбине.

## **АВАНТЮРЫ НАТАНА ШЛОКА**

Так вся семья оказалась в Гамбурге. Не так-то просто было Натану найти себе работу. Прошло немало времени, пока наконец ему улыбнулось счастье: он поступил на службу в игорный дом. В его обязанности входило следить за игрой, принимать ставки, выдавать выигрыши.

Самому участвовать в игре и принимать чью-либо сторону ему категорически запрещалось. О клиентуре игорного дома в большом портовом городе говорить излишне. Как водится, все входят в азарт, одни выигрывают, другие неминуемо проигрывают. Те, кому везло, не скупилась на чаевые. После работы Натан нередко включался в общую попойку и разгул, забывая о всех своих заботах и неприятностях.

В одной из таких компаний Натан однажды столкнулся с Августом. Было заметно, что тот изрядно выпил, вдоволь нагулялся и душа у него поет. Шлок увидел его первым, но, вместо того чтобы незаметно скрыться, он, как глупая овечка, бросился волку в пасть. И произошло то, что и следовало ожидать: увидев его, Август рассвирепел. Вдруг кто-нибудь из его партайгеноссе разглядит в Шлоке еврея?..

В тот раз Натан отделался сравнительно легко. Август взглянул на компанию, с которой Шлок сидел за одним столом, и увидел, что это главным образом иностранные моряки, а с ними лучше не связываться. Эти парни пока не признают арийцев сверхчеловеками, и не успеешь поднять руку, как получишь по затылку. В этом увеселительном квартале Гамбурга такие случаи не редкость.

Август сделал Шлоку знак следовать за ним, и оба они направились по вошеному паркету в дальний угол зала. Один — насупленный, взбешенный, другой — с растерянным видом человека, не совсем понимающего, в чем его вина.

Услышав, что Шлок живет в Гамбурге под чужим именем и никто не знает, что он еврей, Август на время успокоился, но потом в нем снова разыгралась кровь. Как смеет этот проклятый юде выдавать себя за немца, бесчестить арийскую нацию? Он его... В это время мимо них пронеслась танцующая пара. Она — стройная, легкая, с гибкой талией — чуть заметно кивнула Шлоку. Августа будто подменили. Сменив гнев на милость, он обратился к Натану:

— Шлок, прошу тебя, познакомь меня с этой девушкой. В который раз я прихожу сюда, чтобы увидеть эту красотку, но даже под градусом не смею приблизиться к ней. Знаю, что она немка и зовут ее Ильза Рихтер. В Гамбург она приехала с матерью.

Еще в школе Август был необуздан, способен на насилие, но сам познакомиться с понравившейся ему девушкой не решался. В таких случаях он обычно прибегал к помощи Шлока, и за глаза ребята

над ним посмеивались, изображая в лицах, как этот буйный верзила стоит букой перед девушкой, весь красный, переминаясь с ноги на ногу. Но и с годами Август не одолел свое смущение перед «слабым» полом.

Без особой охоты Ильза согласилась выслушать Шлока. О том, чтобы познакомиться с Августом, она сперва и слышать не хотела, но, когда Натан с отчаянием в голосе намекнул ей, что от этого, возможно, зависит его жизнь, она, внимательно посмотрев на него, сказала:

— Подробности, отчего двое мужчин намерены друг другу горло перегрызть, меня не интересуют. Хорошо, но больше с подобными просьбами ко мне не обращайтесь.

Натан понимал, что от Августа ему благодарности ждать нечего, но и не предполагал услышать: «Ну, а теперь убирайся отсюда!» Сказано это было с такой злобой, что Натан опешил.

Вот уж действительно: кинь собаке кость, а она тебя облает...

— Не думайте, герр Шлезингер, что на этом моя одиссея закончилась. Тогдашняя моя встреча с Августом была не последней.

Берек не стал говорить ему, что он и без него это знает.

Был уже довольно поздний час. Берек выглянул из окна. Надвигалась гроза. Не в силах догнать огненные вспышки молний гром устрашающе грохотал. Город накрыл субтропический ливень.

И снова сидят они друг против друга, и Шлок продолжает свой рассказ:

— Вскоре меня прогнали с работы. Из комнаты, которую я снимал, пришлось перебраться в подвал, где жили родители. Отец, человек как будто не глупый, совершенно не разбирался в том, что происходит. У одного его знакомого, по виду типичного местечкового еврея, хулиганы на улице срезали бороду и пейсы, порвали одежду, а отец сделал вид, будто ничего не произошло. «Разве с неевреями, если это коммунисты или социалисты, обходятся по-иному? — утешал он себя и других. — Так что одно из двух: или Гитлер сломает себе шею, или же он утвердится у власти и оставит нас в покое».

Как только Германия захватила Польшу, руководитель особого сектора имперского гестапо Адольф Эйхман вызвал к себе представителей еврейских общин Берлина, Вены, Праги и некоторых других городов и заявил им, что недалеко от Люблина отведена обширная автономная территория, где евреи, в соответствии с принятым законом, будут управлять своими делами. Тайны из этого не делали, так как Эйхман потребовал, чтобы ему в кратчайший срок представили подробные списки молодых, здоровых людей, готовых добровольно отправиться в этот край. Помимо одежды и денег они должны взять с собой инструменты и даже сельскохозяйственный инвентарь. Транспортom их обеспечат. Потом, когда они как следует устроятся, вызовут к себе родных.

Первым, кто безоговорочно принял предложение Эйхмана, был представитель венской общины. В те дни, когда составлялись списки добровольцев, однажды, возвращаясь домой, я почувствовал, что кто-то идет за мной следом. Я попытался было свернуть в ближайший двор, но тут же услышал окрик: «Шлок, остановитесь!»

Шлезингер поднялся с места:

— Это был Август?

— Нет, — ответил Шлок, — Августа я бы узнал по шагам. Это был его человек.

## МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Шлок вздрогнул, словно мороз пробежал по коже. Другому Берек не дал бы продолжать рассказ и

заялся бы с ним как с больным. Как врач он и обязан был это сделать, но именно сейчас разговор принял такой оборот, что или Шлок вот-вот сам откроется, признается в своей низости, или Берек вынужден будет заговорить с ним в открытую. Скорее последнее, ибо похоже, что Шлок не испытывает угрызений совести, и если он роется в своей памяти, то лишь для того, чтобы как-нибудь обелить себя, вызвать к себе сочувствие.

И один, и другой будто забыли о времени, о том, что ночь состоит из часов и минут.

— Я, должно быть, изрядно вас утомил, — сказал Шлок, — и вы, наверное, думаете, вот попался докучливый человек! Поверьте мне на слово, это не так. Скорее — наоборот. Я никогда до этого не думал, что, когда выговоришься, становится так легко на душе. Но вы должны меня понять: пережитое сказывается к старости, а если тебя еще одолевают тяжкие болезни и тебе подвернулся случай, когда ты можешь и хочешь выложить все как на духу, — тут уж не откладывай на потом. В вашем возрасте еще можно на что-то рассчитывать, а мне уже поздно. Я бы только просил вас выключить люстру. Она сияет как солнце в разгар лета. Достаточно одной настольной лампы. Берек выполнил его просьбу и дал ему возможность оказаться в тени.

— Прошу прощения, — стал оправдываться Шлок, — что я распоряжаюсь у вас, но я не переношу яркого освещения. Я готов укрыться даже от дневного света. Эту мою болезнь ни один врач не возьмется вылечить. А вы как думаете? Не иначе оттого что вы близко к сердцу принимаете чужие беды, я сегодня с вами так разговорился. Так вот, слушайте дальше. Когда во дворе, куда я завернул, меня окликнули и я обернулся, то сразу догадался, с кем имею дело.

Передо мной стоял здоровенный парень — такому ничего не стоит одним ударом быка свалить. Он окинул меня пренебрежительным, сверху вниз, взглядом. Стоим мы так друг против друга, не произнося ни слова, пока я не додумался сунуть руку в карман и как бы невзначай достал рейхсталер — для меня тогда это было целое состояние. А вдруг, подумал я, мне удастся от него откупиться.

«Нет», — покачал он головой и протянул мне какую-то бумагу. Это оказался «привет» от Августа — приказ явиться в Вену. «И не вздумайте увильнуть, — добавил верзила, — от нас никуда не убежишь! От каждого мы требуем послушания и дисциплины. Завтра в пять часов вечера вы должны быть на гамбургском вокзале, я вас посажу в поезд, а в Вене вас встретят. Полагаю, что жить вам еще не надоело и вы не попытаетесь уклониться от выполнения приказа».

Задавать вопросы было бесполезно.

Перед взором Берека предстал совсем другой, давнишний Шлок...

Куриэл совершенно обессилел, таял на глазах. Ему обещали при первой возможности прислать врача. И вот как-то поздно вечером Шлок привел доктора, только что прибывшего с эшеленом узников из Голландии. Доктор и Куриэл тогда проговорили всю ночь напролет, и Берек по сей день помнит многое из того, что он тогда услышал.

— Герр Абрабанел, — спросил его Куриэл, — а вам известно, куда вы прибыли?

— Я об этом узнал со слов капо. И еще он мне сказал, что от каждого прежде всего требуется послушание и дисциплина.

«От каждого требуется послушание и дисциплина»... Теперь, тридцать восемь лет спустя, Берек узнал, от кого Шлок впервые услышал эти слова. Берек вспомнил, как тогда, на следующее утро, Шлок пришел, чтобы увести Абрабанела. Как только за ними закрылась дверь, капо тут же

замахнулся на доктора палкой. Правда, бить его не стал. Куриэл тогда заметил: «Шлоку ничего не стоит избить любого ни за что ни про что. Ничтожный человек». На что Берек отозвался: «Ничтожный, говорите, — чудовищный! Чтобы продлить свою жизнь хоть на час, он готов погубить десятки других».

... Так не сон ли это, что человек, который сидит перед Шлезингером, жалуется на судьбу и ждет сочувствия, не кто иной, как тот самый зловещий капо. Позже Берек скажет Шлоку, что всех ввести в заблуждение невозможно, а пока он слушает, что тот ему говорит:

— Долго ходил я возле родительского дома и все не решался переступить порог. Как сказать отцу и матери, что я должен их оставить? Ничего придумать я так и не смог и решил сказать им всю правду. Отца это сильно расстроило, а мать, как ни странно, — меньше, чем я ожидал. Она принялась меня успокаивать: «Бог внял моим молитвам. Ты мои слова потом вспомнишь. Август и нас спасет. Человек, каков бы он ни был, платит добром за добро».

Как только поезд прибыл в Вену, ко мне подошел парень, смахивающий на того, кто провожал меня в Гамбурге, и спросил: «Шлок? Хорошо. Сейчас в этом убедимся, — и достал из кармана мою фотографию. — Пошли! Нам надо торопиться, так как человек, который вас дожидается, должен уехать».

Да, это был Август. Провожатый довел меня до его дверей и, как только их открыли, повернулся и ушел.

Разговор был недолгим. Август начал с того, что предупредил меня: «Если ты хоть раз посмеешь перед кем бы то ни было похвастать нашим прежним знакомством, у тебя вырвут язык из глотки. А теперь слушай: на улице дожидается человек, который тебя сюда привел. Он отведет тебя на временную квартиру. Без него ты из дома выходить не смей. В назначенный день пойдешь в синагогу на Зайтштеттенштрассе. Там соберется несколько сот парней, добровольно отправляющихся в люблинскую резервацию для евреев. В списке ты должен быть в числе первых. Все! А теперь живо убирайся отсюда!»

Мне не дали и слова вымолвить.

Выехал я, должно быть, с первым эшелонем «добровольцев». На станциях состав то и дело загоняли в тупик, и нас подолгу держали без еды и питья. Наконец добрались мы до заброшенной станции. Оттуда нас пригнали на какой-то пустырь, огороженный со всех сторон колючей проволокой. У входа на куске жести был изображен череп, пронизанный двумя стрелами-молниями. Нас предупредили, что по проволоке проходит ток высокого напряжения. Кое-где росли чахлые кустики, сорная трава. Почва тверда как камень. Крышей над головой нам служило небо. Негде было согреться от пронизывающего холода, укрыться от дождя и ветра.

Охранять нас, разумеется, охраняли, но пока не избивали, не расстреливали, не загоняли в душегубки. Люди и без того умирали от голода и жажды, от сыпного тифа. Заключение держались группками. Иначе и нельзя было. Каждый раз, когда я пытался с кем-то поближе сойтись, от меня отворачивались. Запомнили, что я был в числе первых, кто изъявил желание переселиться сюда и заняться «земледелием». Вот так, доктор, я жил меж двух огней.

Кладбище все росло, но людей не убавлялось. За первым эшелонем последовал второй, третий. Одна из очередных партий прибыла ночью. Охранники занялись вновь прибывшими, и, воспользовавшись этим, можно было попытаться бежать. Большая группа узников, и я в их числе, так и сделала.

Сколько удалось спастись — не могу сказать, но, как мне уже после войны стало известно, двенадцать беглецов смогли добраться до советской территории. Кое-кому удалось вернуться в Вену; они еще верили, что все, что с нами произошло, не более как недоразумение.

Я же отчетливо понимал, что и в Австрию, и в Германию дорога мне заказана. Первое время мне везло: удалось достать документ, что родился от смешанного брака, и с этой бумагой попал в Вестерборкский лагерь. Это у вас, в Голландии, и о нем, скорее всего, вы и без меня слышали. К тому времени уже вступил в силу протокол, принятый в Ванзее в начале 1942 года, который содержал план истребления евреев всей Европы. Планом было предусмотрено, что эту же участь должны разделить и те, кто родился от смешанного брака. Для них, правда, оставалась еще ничтожная лазейка: чтобы уцелеть, нужно было пройти стерилизацию. Бог, однако, не дал этому свершиться, и меня отправили в Терезенштадт.

Сперва я попал в «сотню». Вы, доктор, не понимаете, что это означает? Я так и полагал. В «сотни» зачисляли узников, которые не владели необходимыми для немцев профессиями, но еще могли некоторое время быть использованы в качестве разнорабочих. Эти люди были первыми кандидатами для отправки на тот свет. Первыми, если в этот момент под рукой не было больных, стариков и детей.

Терезенштадт! До войны это был небольшой военный городок в Чехословакии. Нацисты задумали создать там образцовый лагерь, чтобы показать всему миру, на какой гуманной основе они решают проблему перевоспитания низших рас. Там даже открыли банк и пустили в обращение особые денежные знаки. В этот лагерь ссылали бывших министров из Чехословакии и других стран, заслуженных офицеров, знаменитых артистов, музыкантов.

Когда в июне 1944 года Красный Крест добился разрешения направить комиссию из трех человек для осмотра этого образцово-показательного лагеря, им по приказу из Берлина показали лубочную картину. Терезенштадт выглядел приукрашенным: в нем был театр, Дом для молодежи, детский сад, больница. Как только комиссия отбыла, оттуда вывезли восемьдесят пять тысяч узников в Освенцим и там их уничтожили. Я в это время находился уже в другой стране и в другом лагере...

Каким страдальцем прикидывается бывший капо! Но хватит! Пора кончать это представление. Пусть расскажет, как он ревностно следил, чтобы узники все ценности сдавали в «депозит», а одежду в дезинфекцию, и как за считанные минуты не оставалось следа от тех, кто носил эти вещи и кому принадлежали эти ценности.

## **РАЗОБЛАЧЕНИЕ**

— Герр Шлок, — спросил его Берек внешне спокойно, — в Терезенштадте вы не знали некоего Дрогобичского? Был он надзирателем. После войны его осудили.

Для Шлока вопрос этот был неожиданным, и он пришел в замешательство.

— Дрогобичский, говорите. Дро-го-бич-ский? Нет, такого я не встречал. А за что его осудили?

— Я же сказал, что он был надзирателем. Среди десятков тысяч мучеников нашлась и такая подлая душа...

— Мне кажется, что еврей-надзиратель в нацистском лагере, скорее всего, несчастный человек. Все зависит от того, что тебе суждено. Значит, ему суждено было стать надзирателем... Сколько лет прошло, а вы никак не можете простить еврея, которого немцы все равно уничтожили бы.

— Да, герр Шлок, я ненавижу всех пособников нацистов, какой бы национальности они ни были.

Всех их надо вытащить на свет божий.

— Как я понимаю, вы имеете в виду юденраты. Да, были такие. Создали их немцы, но по мере того, как необходимость в них отпадала, их тут же уничтожали вместе с другими. А по-вашему получается, если кто-нибудь из них случайно уцелел, ему теперь надо накинуть петлю на шею.

— Как бы вы ни пытались выгородить деятелей юденратов, они тем не менее представляли собой одно из звеньев нацистской цепи уничтожения. Верно и то, что среди них попадались и порядочные люди — ученые, адвокаты, врачи, полагавшие, что им удастся хоть сколько-нибудь облегчить участь обреченных, но они скоро убедились, что сделать ничего нельзя. Некоторые из них кончали жизнь самоубийством, другие оставались на местах и помогали тем, кто сопротивлялся.

— И я об этом же говорю, — согласился Шлок, — нельзя всех мерить на один аршин. Надо попытаться понять и тех, кто не смог ни покончить с собой, ни примкнуть к людям, безуспешно пытавшимся противопоставить себя такой могучей силе, какую представляли немцы. Может быть, это не совсем к месту, но не зря же говорят: на войне как на войне. Иной раз и мне бывало обидно, когда свой человек грозил мне кулаком. Но что мог сделать этот, как вы говорите, пособник, если за ним надзирал вооруженный эсэсовец?

Берека так и подмывало гневно бросить в лицо этому человеку, что хорошо помнит его, капо Шлока, еще по Собибору, но он решил сначала выяснить, на что тот надеется, на что рассчитывает. Берек посмотрел на руки собеседника — теперь беспомощно свисающие, а когда-то такие твердые и беспощадные. Может быть, он ими станет бить себя в грудь, каяться за содеянное?

— Шлок, я задам вам один вопрос, но с условием: отвечать будете правдиво, без уверток.

Шлок вскочил с места как ужаленный. Лицо его побагровело:

— Герр Шлезингер, чем, позвольте спросить, объяснить вашу бестактность? Я намного старше вас, кто же вам дал право так разговаривать со мной?

— Сейчас вы все поймете. Такое право дали мне вы. Ваши взаимоотношения с Августом. Мне думается, что ваша связь с ним и не прерывалась.

Вместо того чтобы хлопнуть дверью, Шлок снова опустился в кресло. Его не так-то просто сбить с толку.

— Вы, не иначе, шутите? Я ведь вам рассказывал, что еще в Гамбурге Август предупредил меня, что встречается со мной в последний раз.

— Это, однако, не помешало ему вызвать вас к себе в Вену. Вы, значит, ему опять понадобились?

— Кто, Август? Он вскоре взлетел так высоко, что даже офицеры СС стали его опасаться, что же для него значил я?

— Вы ведь были ювелиром, мог же он себе позволить занять собственного эксперта по драгоценным камням? А уж перебросить вас из Терезенштадта в другое место, надо думать, для него труда не составляло.

Кажется, сказано яснее ясного, но то ли Шлок не так истолковал слова Берека, то ли счел нужным прикинуться непонимающим, и он повел плечами:

— Вы спрашиваете или же хотите по прошествии стольких лет убедить меня в том, что так оно и было на самом деле?

— Это только вступление к тому, что было на самом деле.

— Знаете, это уж слишком, за такие слова можно привлечь к ответу.

— Вы этого не сделаете, это не в ваших интересах.

— Шлезингер, — осмелел вдруг Шлок, — я не советовал бы вам со мной связываться. Если вы действительно врач, то не можете не знать, что терять мне уже нечего. Шантажировать себя я не позволю.

Шлок с усилием приподнялся и медленными шагами направился к выходу, но Берек его остановил:

— Куда торопитесь, Шлок? Время раннее. Юджин Фушер еще спит, к кому же вы пойдете на меня жаловаться? Давно пора поговорить с вами начистоту. Садитесь, силы вам еще понадобятся. Итак, скажите, как на самом деле зовут вашего друга юности — Августа? Я понимаю, что вам трудно ответить на мой вопрос, я вам помогу. Его настоящее имя Густав Франц Вагнер.

Шлока как громом поразило. Он стал беспомощно оглядываться по сторонам, не в силах вымолвить ни слова, но прошла минута-другая, и он снова обрел дар речи:

— Убей меня бог, если я знаю, что вы от меня хотите и откуда взялись на мою голову. С первых же минут нашей встречи вы меня будто загипнотизировали и заставили исповедоваться. Я был как во сне. Вы пользуетесь недозволенными приемами. Это вам так не пройдет. Я — американский гражданин, и я...

— Шло-о-ок! — прервал его Берек. — Что с вами? Неужели вы не поняли, что вам предстоит нелегкий разговор, так что запаситесь терпением и сбавьте тон. В Собиборе, как я помню, вы избивали свои жертвы молча, а кричали от боли и плакали они. Так оно было, и от правды на этот раз вам не уйти. Если этого недостаточно, могу напомнить вам и многое другое.

Расшумевшийся было Шлок умолк и сидел как в воду опущенный. Возразить Шлезингеру ему было нечего. Наконец он опомнился и заговорил как бы сам с собой:

— Черт меня дернул пускаться в это путешествие, забраться сюда, в Бразилию, и наткнуться на этого доктора. Со стороны как будто ничего плохого о нем не скажешь, но оказалось, что человек этот соглядатай и, вместо того чтоб лечить, занимается бог знает чем. Видите ли, он вздумал быть судьей, а есть ли за что судить — не имеет значения. Меня не удивит, если окажется, что за время моего отсутствия в номере кто-то рылся в моих вещах. Странный человек! Ты говоришь ему одно, а он истолковывает по-другому. Назвал фамилию какого-то убийцы и решил, что припер меня к стене. Новости этой грош цена. Стоит заглянуть в любую газету, и ты узнаешь, кто такой Вагнер. А ему, видите ли, взбрело в голову, что я компаньон Вагнера. Нет бы подумать, возможно ли такое? Интересно, как вы будете разыгрывать комедию дальше. Больше того, за хорошую игру можно хорошо заплатить. А как же иначе? Таланты надо ценить.

Не будь Шлок так возбужден, он бы заметил, что его длинная речь и необычная манера разговора вызвали у Берека улыбку. Бывший капо, оказывается, намного хитрее, чем этого можно было ожидать. «За хорошую игру можно хорошо заплатить»... Значит, понимает, что попался.

По существу, Шлок уже разоблачен, и игра в прятки больше ни к чему. Все же Берек подумал: а что, если Юджин Фушер нашел ключ не только к Вагнеру, а еще кое к кому, и Шлок помогает ему и в других случаях? Не случайно Шлок несколько раз упоминал Вагнера, а имя Фушера пропустил мимо ушей. Скоро начнет светать. Берек устал.

— Шлок, представление, как вы изволили выразиться, подходит к концу. Слушайте, что я вам скажу, и не перебивайте меня. В Собибор вы угодили по настоянию Вагнера. Служили вы ему с рабской преданностью. Недолгое время вы жили в одной камерке с Куриэлом. Вы знаете, о ком я говорю. По

заданию Вагнера вы ретиво следили за Куриэлом, как хорошо натасканная охотничья собака. Спокойно, Шлок, спокойно! Возражать ни к чему. По ночам во сне вы выкрикивали «Ва-банк!» и не давали Куриэлу уснуть; ему приходилось будить вас. Не раз и не два вы твердили Куриэлу: «Жить надо сегодняшним днем, и каждый должен спастись как может. Для этого все средства хороши». И применяли вы эти средства довольно широко, позволяли себе больше того, что от вас требовалось. Нередко сами узники сводили с вами счеты. Но попадало вам и от нацистов. Раза два вам всыпал плеткой помощник Вагнера — Карл Френцель. И первопричиной вашего заболевания, скорее всего, явился удар, который нанес вам один из лагерников вашей же дубинкой. Уж его-то вы должны были запомнить. Не смотрите на меня так. Что вы были капо и избивали узников, вы отрицать не станете, а то, что они вам отвечали взаимностью, — вполне естественно. Допустим, что фамилию этого человека вы могли не знать, но я вам подскажу: это был Цибульский, Борис Цибульский — советский гражданин из эшелона Печерского. А фамилия Печерский вам что-нибудь говорит? — Да, то есть в Собиборе я о таком узнике не слыхал, но потом...

## В ТИСКАХ

Так Шлок признал, что он, уважаемый коммерсант, и капо из Собибора — одно и то же лицо. Теперь Берек мог спросить:

— Кто помог вам спастись после Собибора?

— Одна девушка, немка, в которую Вагнер был влюблен.

— Как ее звали?

— Луиза Рихтер.

— Где она теперь?

— В 1944 году ее расстреляли в берлинской тюрьме.

— Она знала, что вы связаны с Вагнером?

— Нет. Иначе не стала бы меня укрывать и не помогла бы добраться до Австрийских Альп.

Шлок был настолько охвачен страхом, что не заметил, как в глазах Берека промелькнула заинтересованность: «Не кроется ли здесь что-то важное?» — и жалобно пробормотал:

— Вы что, герр Шлезингер, все еще мне не верите? Ведь столько лет прошло с того времени, и доказать все это непросто.

— Истину не так уж трудно установить. Свидетелей, знающих о вашем прошлом, достаточно.

Заводить с вами переписку я не собираюсь, но, если понадобится, ваш адрес мне известен. Вы можете сменить место жительства — город, страну, — исчезнуть на время — вам это ничего не даст.

Мне известны фирмы, с которыми вы связаны, не забывайте об этом.

Почерневший Шлок приблизился к Береку, будто собираясь сказать ему что-то на ухо:

— Что же мне делать? Этот разговор нависает надо мной как занесенный над головой клинок. Если вы меня не пощадите, как я смогу смотреть в глаза моим детям?

— Напрасно ищите у меня сочувствия. Об этом надо было думать раньше. Только что вы все отрицали, а когда из этого ничего не вышло, взываете к жалости. Уходите, я не хочу больше вас видеть.

— Куда мне идти? — взмолился Шлок.

— Не прикидывайтесь невинной овечкой. Вы не ребенок. Наручников у меня нет, и, к сожалению, никто их вам не наденет.

— А завтра, что со мной будет завтра?

— Вы не успеете задремать, как Фушер поднимет вас с постели и скажет, что делать.

— Фу-шер? — удивленно произнес Шлок, будто впервые слышит это имя. — Вагнера, меня, Куриэла я догадываюсь, откуда вы могли знать, но Фушера? Его-то откуда знаете? Если вы этого захотите, я сумею от него отвертеться.

Упоминание имени Куриэла рядом с Вагнером и Шлоком возмутило Берека:

— Ничего я вам не скажу, и впредь имя Куриэла рядом с этой компанией не упоминайте.

Шлок почему-то вдруг осмелел:

— Собственно говоря, почему, герр Шлезингер, у вас так болит душа за Куриэла? Вы, наверное, не знаете, что никакой он не еврей, а самый настоящий немец.

Берек взволнованно воскликнул:

— Что из того, что вы еврей? Куриэл был замечательным человеком и свое доброе имя он до конца носил с честью. Довольно, Шлок! Уходите!

Шлок, шаркая ногами, направился к двери, но вдруг остановился, повернул голову и, не спуская глаз с Берека, спросил:

— Вы позволите мне сказать?

Шлок разоблачен, подумал Берек, но от него можно еще что-то узнать.

— Отвечайте только на мои вопросы. Вы можете привести доказательства, сколько бриллиантов присвоили Вагнер и Штангль?

— Нет.

— А Фушер?

— Думаю, что и он не сможет, иначе он бы не заставил меня поехать с ним сюда.

— Для чего, собственно, вы ему понадобились?

— Фушер рассчитывает, что с моей помощью ему удастся припереть Вагнера к стене.

— На чем строит Фушер свои расчеты?

— В той же камерке, где жил и работал Куриэл, до него находился другой ювелир. Он повесился.

Сколько бриллиантов Штангль и Вагнер тогда присвоили — никто не знает.

— И об этом вы рассказали Фушеру?

— Да.

— Когда?

— Еще до того, как закончилась война.

— Нельзя ли подробнее?

— После восстания в Собиборе я возле железной дороги наткнулся на трех убитых немцев. Из документов, которые были при них, видно было, что им был предоставлен краткосрочный отпуск. Обмундирование одного из них оказалось мне впору, я переделался и отправился к Луизе. Ее адрес я знал, так как не однажды Вагнер приказывал мне отправлять его письма к ней. В Альпах, куда я потом добрался, было немало дезертиров, и я выдавал себя за одного из них.

— И долго вы пробыли в Обзедорфе и Бад-Аусзее?

— Я же говорю вам, что выдавал себя за дезертира. Встреч с эсэсовцами, которые тянулись к озеру Топлиц, я всячески избегал. Они гонялись за каждым из нас. Так что мне, человеку вне закона, соваться в Обзедорф и думать было нечего. Вы мне не верите? Я говорю вам чистую правду. Но еще

до того, как сбросил с себя солдатский мундир, я попал в плен к американцам, и на меня пало подозрение, что я переодетый эсэсовский офицер. Перед Фушером мне пришлось исповедоваться куда больше, чем перед вами.

— Со Штанглем и Вагнером Фушер устроил вам очную ставку?

— Да.

— И вы тогда при них все рассказали?

— Почти.

— Почему «почти»?

— Потому, что я все еще их опасался. Немало нацистов, совершивших тяжкие преступления, тогда отпустили на все четыре стороны, мне же еще долгое время пришлось сидеть за решеткой.

— Еще с кем из администрации лагеря Собибор у вас была очная ставка?

— Со вторым заместителем Штангля — Гансом-Гейнцем Шюттом. Американцы тогда уже знали о том, что Шютт еще до войны в одном из приказов был отмечен как лучший из двадцати двух командиров общих эсэсовских частей.

— Шютт еще жив?

— Сейчас — не знаю, но когда шел процесс в Хагене, я узнал из газет, что Ганс Шютт состоит советником городской общины и членом окружного совета у себя в Солтау.

— И часто вы оказывали Фушеру подобные услуги?

— Дважды. Первый раз я помог ему обнаружить следы бриллианта, который похитил начальник «небесной дороги» в Собиборе Курт Болендер. К тому времени бриллиант уже оказался в Лондоне. Фушер стал посредником при перепродаже этого бриллианта и заработал солидный куш.

— Бриллиант достался кому-либо из наследников его законных владельцев?

— Нет. Потому-то Фушер и считает, что, пока живы наследники — юридические хозяева драгоценностей, — нельзя быть уверенным ни в чем.

— Знает ли о вашем существовании кто-нибудь из бывших узников Собибора?

— Думаю, что нет. Говорю это потому, что мне как-то довелось встретить кое-кого из них, но они меня не узнали. В Израиле я встретил Элли Феленбаум-Вайс. После восстания она попала к партизанам и была награждена орденами. Я ее узнал, так как незадолго до этого видел ее фотографию в одной из книг о восстании в Собиборе. Еще одного бывшего узника я видел в Америке и чуть было не попался, как сегодня с вами. Зрение у меня никудышное, и пользоваться собственной машиной я не могу. Приходится брать такси. Надо же было случиться, что однажды остановил таксомотор и, о боже, увидел за рулем Самуила Лерера. Пришлось махнуть рукой, мол, не надо, передумал.

— Когда вы видели Демьянюка и что вы о нем знаете?

— После Собибора я его больше не встречал. Он живет в Кливленде, в штате Огайо, это ни для кого не секрет. В Собиборе я его видел десятки раз: то на предлагаемой территории, то на железнодорожной платформе, где разгружали вагоны с прибывающими узниками. Прикладом винтовки или резиновой дубинкой он загонял их в барак, где отбирали ценные вещи, а оттуда — в третий лагерь, к газовым камерам. Среди охранников Демьянюк выделялся особой жестокостью. В те дни, когда не было эшелонов и некого было загонять в газовые камеры, он вместе с другими эсэсовцами отправлялся на ловлю уцелевших евреев в близлежащие города и местечки. Такую

работу доверяли далеко не каждому наемнику. Удаляться от лагеря им не разрешалось, но для него делали исключение. Больше всего он зверствовал в так называемом «лазарете», куда загоняли всех слабых и больных, у которых не было сил вместе со всеми бежать по «небесной дороге». Вагнер был им доволен.

Нахмутив брови, Берек неприязненно заметил:

— Вагнер мог быть доволен и вами. Подкованные сапоги с блестящими металлическими шипами вы, правда, не носили, но вполне их заслужили. Ваши имена могут стоять рядом. На это вам нечего сказать.

Шлок не выдержал гневного взгляда Берека и опустил глаза. Наконец он собрался с силами и сказал: — Мне трудно вам возражать, но сравнивать меня с Демьянюком — это чересчур. Я не убивал и не грабил. В то ужасное время я немало натерпелся и, как всякий человек, хотел отвести от себя смерть и цеплялся за крохотную надежду, думал: а вдруг Вагнер хоть на время отсрочит приговор и мне удастся уцелеть. Надо ли меня за это судить?

Терпение Берека иссякло, и он прервал его:

— Шлок, вас теперь занимает одно: придумать что-то в свое оправдание. Судьба вас, конечно, не пощадила. Когда Цибульский, защищаясь от ваших ударов, вашей же дубинкой огрел вас по спине, он меньше всего думал о том, что это станет причиной вашей болезни. Таким образом, он, Цибульский, и вынес вам приговор. В жизни случается, что тяжелая болезнь преобразует человека, и он смотрит на мир по-другому, видит все вокруг в ином свете. Но с вами этого не произошло. Вы каким были, таким и остались. Под стражу пока вас никто не брал, дело на вас не заводил. Кое-кто, быть может, в ваших поступках не видит ничего страшного. Но будь я судьей...

Шлок переменялся в лице и с отчаянием махнул рукой. Берек понял, что Шлок зажат в тиски, и на мгновение проникся чувством жалости к больному старику.

— Шлок, — сказал он, — мне пришлось разговаривать с вами как следователю, но виноваты в этом вы сами: своей неискренностью и увертливостью вы принудили меня так поступать. Вы мне дали понять, что готовы отказаться выполнить требование Фушера и избежать очной ставки с Вагнером. Завтра я, возможно, вам позвоню и скажу одно-единственное слово: «да» или «нет». Поминальную молитву по моему брату не заказывайте. И последнее: как вы обращались к Вагнеру, когда были друзьями?

— Густ.

У Шлока хватило ума убраться без лишних разговоров. Было слышно, как, тяжело шаркая, он идет по коридору и что-то бормочет, разговаривая сам с собою.

## **Глава восемнадцатая**

### **ФАШИЗМ — И ЕСТЬ ФАШИЗМ**

#### **КРОВЬЮ НЕ ТОРГУЮТ**

Светает. Берек поднимается с постели, и ему кажется, что прошла не одна ночь, а целая вечность. От пережитого накануне напряжения звенит в ушах. Голова гудит, сердце бьется учащенно. Фейгеле на его месте развела бы руками и, будто прогоняя дурной сон, трижды сплюнув через левое плечо, воскликнула бы: «Тьфу, сгинь, наваждение!» Ему и самому нет-нет да и приходит мысль, не сон ли все это, был ли на самом деле разговор со Шлоком или ему только кажется? Пожалуй, надо немного проветриться. Берек выходит на балкон и вдыхает свежий воздух.

Ночью на город надвинулись черные тучи и заполонили его. Разразилась гроза. На рассвете тучи постепенно рассеялись. На востоке небо заалело. Вскоре под солнечными лучами все вокруг начало на глазах меняться, рядиться в яркие одежды. Заблестели листья на деревьях, засверкали дождевые капли на травах. От обилия света Берек зажмурился. С наслаждением вдыхает он благоухающую свежесть раннего утра.

Слов нет, жизнь хороша, и каждый прожитый день — что найденный клад. Но расслабляться не время. Борьба продолжается. Сегодня ему предстоит еще одна встреча с Терезой. Жаль, что он так и не успел увидеть многое из того, что привлекает людей со всего света к знаменитому городу Рио. Пора возвращаться домой. Кажется, все, что можно было, он сделал. Но, прежде чем пойти к Терезе, надо увидеть Гросса. Если Леон не будет настаивать, чтобы Шлок выступил в качестве свидетеля против Вагнера, Берек с этим капо ни о чем больше говорить не станет.

Леон Гросс... Не часто встретишь такого человека. Агие Вондел много рассказывал о нем. Береку Гросс особенно пришелся по душе силой воли, сдержанностью и, главным образом, твердым характером. С ним забываешь обо всех опасностях. Как это ему, бывшему узнику Бухенвальда, удалось войти в доверие к Терезе Штангль, стать близким другом дома, так что она прислушивается к его советам?

Тереза Штангль... Принято считать, что по внешнему виду нетрудно узнать, что человек собой представляет, но к Терезе это не относится. Ей не откажешь в умении вести себя соответственно обстоятельствам, в обходительности. Бросаются в глаза ее самоуверенность, стремление навязать свою волю, и не случайно Тереза стала женой Штангля, а теперь — любовницей Вагнера. Такие, как она, становились надзирательницами в лагерях и обычно отличались жестокостью.

Терезе казалось, что ее безмятежная жизнь будет длиться вечно. Но настала пора, когда нельзя было, как прежде, ходить по земле с гордо поднятой головой. Само по себе поражение третьего рейха ее тревожило меньше, чем собственный проигрыш. Но она все еще упорно не хочет примириться с мыслью, что прошлого не вернешь. К чему, скажем, она вдруг принялась разглаживать о своей любви к Вагнеру? Сильно встревожил ее Фушер. Она его боится и в то же время рассчитывает с его помощью спасти Вагнера.

Юджин Фушер... Этого американца Берек, собственно говоря, видел один-единственный раз, но раскусить его, кажется, нетрудно. Он часто отмалчивается, но вовсе не оттого, что не знает, как и что сказать. На людей привык смотреть сверху вниз. Всегда и всюду стремится быть хозяином положения. Но на первом плане у него собственная выгода. Если ему не удастся заработать на Вагнере, он найдет что-либо другое, на чем можно будет погреть руки.

Но хватит размышлять. День уже в разгаре. У озера, где он вчера сидел, ему предстоит встреча с Гроссом.

Берек идет по затененной стороне улицы. Глаза шуряются от обилия света. Жарко. Воротник рубашки расстегнут. Рукава засучены выше локтей. Галстук он никогда не любил носить. Сейчас бы он душил его, как удавку. По приезде он сразу же обзавелся легким головным убором с большим козырьком, теперь он защищает его от солнца. Глаза скрыты за темными очками.

Да, с Гроссом советоваться можно. Но если Берек мог бы в эту минуту поговорить со своим партизанским командиром, ставшим для него и другом и учителем, — со Станиславом Кневским! С ним бы он отвел душу и услышал бы от дяди Станислава: «Берек, дорогой, вот что я тебе скажу...»

Если бы это было возможно... Но — увы! Представитель польской миссии по делам военных преступников Станислав Кневский рано ушел из жизни. Мать в таких случаях сетовала: «Плохие люди живут долго, а вот хорошие умирают рано».

Гросс заранее предупредил Шлезингера, что может задержаться. Так и случилось. В ожидании друга Берек сидит, не отрывая взгляда от слегка колеблющейся водной глади. Озеро перешептывается с ветерком, мерно колышется, словно колыбель, убаюкивающая ребенка, напевая мотив без слов, без начала и конца. Быть может, оно воспекает красоту своей страны, нескончаемое благодатное лето, землю, где зреют ананасы, апельсины, бананы, кокосы, а на хлебном дереве растут зелено-желтые плоды величиной с арбуз. Из их мякоти пекут вкусные лепешки, варят варенье. Берек отведал этих яств — вкус у них отменный. Но напев этот может быть и печальным напоминанием о том, что в этой стране, с ее несметным природным богатством, голодает не только горстка индейцев, чудом сохранившихся в тропической сельве бассейна Амазонки, но и сотни тысяч «своих» батраков и городской бедноты.

Вдруг с оглушающим шумом и треском мимо проносится моторная лодка, и напев улетучивается, будто испарился.

Долго наслаждаться, любоваться озером Береку не пришлось. Показался Гросс. От быстрой ходьбы он задыхался, но присесть отказался. По пути к Терезе они смогут все обговорить. Оказывается, Гросса тоже можно удивить! Берек передает ему свой разговор со Шлоком, и Леон смотрит на собеседника, будто тот с луны свалился. Все услышанное настолько взволновало обычно сдержанного и невозмутимого Гросса, что он то и дело перебивает Берека, переспрашивает.

Внезапно он останавливается, на лице промелькнула ироническая усмешка: похоже, у Гросса созрел новый план.

— Скажите, пожалуйста, вы уверены в том, что достаточно будет вам произнести «да» или «нет», и Шлок вас послушается?

— Думаю, что послушается. — И после небольшой паузы: — Вам хочется подставить ножку Фушеру?

— Еще бы! Вы даже не представляете себе, как это важно. Я вам все после разьясню, а теперь прошу вас, идите не спеша вперед, изредка останавливайтесь, но не оглядывайтесь до тех пор, пока я вас не нагоню.

Гросс заметил, что за ними следом идут двое. Его уже предупреждали, что это люди Вилкельмана. Владелец отеля «Тиль» в Итатиае Альфред Вилкельман не просто симпатизирует бразильским неонацистам, но является одним из вожаков этой волчьей стаи. Не исключено, что какое-то подозрение пало на Гросса и до приезда Берека, но что встреча доктора Шлезингера с Вагнером в тюрьме, а они об этом определенно знают, усилила подозрения — бесспорно.

В таком большом городе, как Сан-Паулу, улизнуть от соглядатаев в уличной толпе еще можно, но здесь, в Бразилиа, это сделать трудно. Гросс тут же решил, что Береку безопаснее вылететь не отсюда, а из Рио, и билет лучше брать до Рима, а не до Амстердама. Зайдут ли они к Терезе вместе или порознь — теперь уже не имеет значения. Все, что связано с безопасностью Шлезингера, он еще дополнительно продумает. Им же самим, как стало известно, заинтересовался двойник Вагнера.

Собственно говоря, двойником его можно считать лишь условно: некоторое сходство между ними есть, но оно не так велико, как это показалось Вагнеру. Надо полагать, что к фотографии,

опубликованной в газете «Журнал ду Бразил», приложил руку ретушер и постарался сделать их более похожими друг на друга, а затем фото уже перепечатали сотни других газет в разных странах мира. В Бразилию «двойник», Зигфрид Якель, прибыл из Парагвая. Там он был замешан в аферах с наркотиками. Полковником в гитлеровской армии он не был, но к концу войны, неизвестно за какие заслуги, его наградили «железным крестом».

Если спросить у Гросса, откуда ему известны эти подробности, он мог бы ответить: «Если бы я рассчитывал только на самого себя, меня бы давно уже не было на свете». Нашелся молодой человек, который согласился предпринять поездку по соседним с Бразилией странам и там кое-что разузнал о тех, кому место на скамье подсудимых. К сожалению, не всегда есть возможность прибегнуть к помощи таких молодых людей. Для этого нужны деньги, но те, у кого они водятся, на такие дела и крузейро не дадут.

Догнав Шлезингера, Гросс рассказал ему о своих подозрениях и предложил изменить маршрут его возвращения домой.

— Здесь я за вас в ответе, и вам следовало бы прислушаться к моим советам. Сумма, которой Тереза собирается рассчитаться с вами, мне известна, теперь же, если вы ей поможете избавиться от Шлока, она должна была бы повисить гонорар. Как ни странно, но на этот раз наши и ее интересы совпали, и пусть Тереза думает, что вы, человек добрый и отзывчивый, решили ей помочь. Шлок и нам мешает. Лучше, если он уедет до возвращения Фушера. Свидетельству Демьянюка, если Фушер его сюда привезет, без показаний Шлока грош цена. К журналу учета драгоценностей он доступа не имел, и никто не поверит, чтобы этому наемнику доверяли подобные тайны. От денег, которые предложит вам Тереза, вы не должны отказываться. Пусть хоть частица награбленного Штанглем и Вагнером состояния пойдет на разоблачение скрывающихся убийц.

Бернард, я вижу, вам не хочется брать в руки эти деньги. Тогда придется это сделать мне самому, и угрызений совести я испытывать не буду: мы знаем, с кем имеем дело. В связи с этим я расскажу вам одну историю.

Много лет назад, когда я еще жил в Европе, меня познакомили с интересным человеком. Во время войны он на оккупированной территории редактировал подпольную газету. Двух его предшественников расстреляли. Не избежал беды и он: немцы его арестовали, но о причастности к изданию газеты не знали, а как бывшего солдата вражеской армии заключили в лагерь для военнопленных, и он выжил. После войны он отказался брать денежную компенсацию, которую западногерманские власти выплачивали пострадавшим от фашизма. Как и многие другие, он заявил: «Кровью не торгуют!» Это так. Для себя лично и я бы этих денег не взял, но для борьбы с фашизмом... Будь с нами наш общий друг Вондел, он сказал бы вам то же, что и я. Теперь я могу вас выслушать. Немного времени у нас еще осталось.

— Леон, мне кажется, вам опасно оставаться в Бразилии.

— Видите ли, человеку нездешнему, мало знакомому с Латинской Америкой, трудно представить себе, как пристально все эти многочисленные военные преступники следят здесь за делом Вагнера. Они нажимают на все педали, чтобы вызволить его, ищут и находят лазейки. Делается это, как вы понимаете, не только из стремления помочь своему партайгеноссе. Если это им удастся, Бразилия, и особенно мой город Сан-Паулу, еще в большей мере станут фашистским гнездом. Как же я должен поступить? Думаю, что не только Варшаве, но и Бонну, где колесо правосудия едва вертится и к

нацистам проявляют чрезмерное мягкосердечие, Вагнера не выдадут. Если даже министерство юстиции примет такое решение, бразильский парламент его отменит. К сожалению, это так, и когда-нибудь вы вспомните мои слова.

Кстати, сегодня мне стало известно, что предварительно этот вопрос уже зондировался в парламенте. Собственно говоря, речь шла о Сан-Паулу. Город растет как на дрожжах: бурно развивается промышленность и транспорт. Возникла необходимость хоть как-то очистить воздушное пространство над городом, и об этом в парламенте дебаты велись неоднократно. Но сейчас не о том речь. Во время дебатов как бы мимоходом упомянули о гражданине Сан-Паулу Густаве Вагнере и что его делом следовало бы заниматься не где-то за рубежом, а в самой Бразилии. Мне рассказал об этом депутат парламента, который не разделяет этого мнения. В нынешнем правительстве таких людей можно пересчитать по пальцам. Но как бы то ни было, адвокатам Вагнера надо по возможности ставить палки в колеса.

Глядя на Гросса с уважением, Берек заметил:

— Леон, я слушаю вас и думаю, как вам все это удастся, откуда у вас столько мужества и силы?

Леон вытер платком затылки на высоком лбу. Не будь он уверен в искренности Шлезингера, он, вероятно, отделался бы ничего не значащей шуткой, но здесь идет откровенный разговор. Хочется по-дружески положить руку на плечо Бернарда, но лучше этого не делать: с них глаз не спускают. И Леон отвечает:

— Тот же вопрос я мог бы задать и вам, и Вонделу, и многим другим людям из разных стран. Уж мы-то с вами знаем, как далеко зашел бы Гитлер, если бы ему не сопротивлялись и положились на судьбу. Вас еще на свете не было, когда мы каждую неделю вынимали из почтовых ящиков такого рода «послания»: «Теперь вам придется сделать выбор, на чьей вы стороне: с нами или против нас. Если с нами — Адольф Гитлер вас осчастливит, если против — остерегайтесь! Становитесь в наши ряды, пока не поздно!» Или: «Мы победим, а вы, как бездомные попрошайки, будете стоять на улице с протянутой рукой». Я не случайно запомнил это слово в слово. За то, что я однажды разорвал такое «послание», меня избили чуть ли не до смерти. Потом мне об этом напомнили в Бухенвальде.

Фашизм — и есть фашизм. Он и теперь не менее опасен.

У входа в дом Терезы Берек предостерег Гросса:

— Леон, будьте осторожны!

И услышал в ответ:

— Всем нам надо быть осторожными.

## ДЕЛИКАТНОЕ ДЕЛО

Фрау Тереза сидела в кресле и вязала узорчатую салфетку. Спицы в ее руках так и мелькали. За последние дни она заметно изменилась, будто состарилась на несколько лет. Взгляд рассеянный. Разговаривая, обращается только к Гроссу, как если бы Шлезингера в комнате не было. В ее понимании так и должно быть: раз от услуг доктора ее вынудили отказаться, значит, надо ему заплатить то, что следует, и распрощаться. Она даже заранее продумала, что скажет ему напоследок: «Герр Шлезингер, как человек вы мне симпатичны, и я была бы не прочь еще когда-нибудь встретиться с вами, но не как с врачом». Начала же она разговор с того, какой невыносимый человек этот Шлок:

— Вчера он весь вечер просидел в отеле и никуда носа не высовывал. Это мне доподлинно известно.

Звонила ему без конца, и никто не откликнулся. Но вот поздно ночью набираю его номер и слышу, как он дышит в трубку, но не отзывается. Последний раз набрала его номер и сказала, что Фушер рекомендовал мне обратиться к нему, но он выслушал и снова молча повесил трубку. Что после этого скажешь о таком человеке?

— Фрау Тереза, ни Фушера, ни Шлока опасаться вам нечего.

Тереза бросила на Гросса недоуменный взгляд:

— Вы ведь не станете отрицать, что доктор Шлезингер передал вам разговор Фушера с Вагнером в тюрьме. Он, конечно, рассказал вам и о том, как Фушер преподнес мне ворох газетных вырезок, в которых пишут всякие пакости о Вагнере. Как же после этого мне их не опасаться? Я не столь наивна, чтобы не понимать: коль Фушер оставил мне телефон Шлока, а тот со мной не желает разговаривать, значит, что-то не так. Одно из двух: или это уловка продувной бестии Фушера, чтобы еще больше меня запугать, или же его позиция настолько упрочилась, что он уже не находит нужным считаться со мной.

— Ошибаетесь. Вернее, так могло бы быть, если бы не наш доктор...

— О каком докторе вы говорите? Я до сих пор даже не знаю, какой психиатр будет у Густава.

— Нашим доктором был и остается герр Шлезингер. Вы его недооценили.

— Почему вы так считаете? Чек на сумму, которую вы мне назвали, я уже выписала.

— То, что сделал для вас герр Шлезингер, никакими деньгами не оценить. Ночь напролет он уговаривал Шлока уехать, не давать показаний и своего добился. Теперь Фушер останется без свидетеля и больше не сможет вас шантажировать.

Вязание вместе со спицами выпало из рук Терезы.

— Ничего не понимаю. Этого не может быть. Я не могу в это поверить.

— Вы нас обижаете. Но в вашем положении... Как вам доказать, что это именно так?

— Не знаю, что вам на это ответить, — пожалала плечами Тереза. — Разве сам Шлок подтвердит, но откуда я узнаю — он это или подставное лицо?

— Если у вас возникли такие опасения, как же вы до сих пор пытались вступить в разговор со Шлоком? Может, он вовсе не тот, за кого себя выдает?

— Нет уж! Сперва я получила подтверждение, что человек, которого привез с собой Фушер, не кто иной, как Шлок, а уж потом стала ему звонить. Кроме того, я вовсе не намеревалась вести с ним переговоры по телефону, а хотела лишь условиться о времени и месте встречи.

— А кто мог бы вам поручиться, что на встречу явится Шлок, а не кто-нибудь другой вместо него?

Тереза удивленно подняла брови:

— Неужели, Леон, вы считаете меня дурочкой? У меня в ящике стола лежит фотография Шлока, сделанная вчера в отеле, где он остановился. Мало того, одному из моих людей было поручено следить за ним и подать мне знак, он это или не он. Да и без этого достаточно мне задать ему один вопрос и по ответу убедиться, с кем имею дело.

— Этот вопрос вы можете задать ему и по телефону?

— Думаю, что да, но вести с ним по телефону переговоры я больше не намерена.

— В переговорах больше нет необходимости. Я уже вам говорил, что за вас все сделал доктор Шлезингер, а вы никак не хотите этого понять.

— Легко сказать! Хочу понять, но не могу: откуда герр Шлезингер знает Шлока и как все это ему

удалось?

— Вероятно, будет лучше, если герр Шлезингер сам расскажет вам об этом.

— Нет. Леон, я хотела бы услышать это от вас, пусть простит меня герр Шлезингер.

— Хорошо, фрау Тереза, пусть будет по-вашему. Когда герр Шлезингер читал и переводил вам газетные вырезки, вы обмолвились, что у вас нет желания встречаться со Шлоком и поручить это своему адвокату вам также не хотелось. Я тогда решил, и Бернад со мной согласился, что сказали вы это не без умысла. Правильно я вас понял?

— Правильно. Но кто поручил доктору заниматься моими делами, ничего общего с медициной не имеющими?

— Я, фрау Штангль, я! Простите великодушно, но я взял на себя смелость просить доктора об этой услуге, хоть он и неохотно на это согласился. — Гросс повернулся к Шлезингеру. — Приношу вам тысячу извинений, Бернад. Я, вероятно, не должен был вас уговаривать, и вы были правы, когда возражали против моего предложения. Теперь у меня к вам только одна просьба: позвоните, пожалуйста, Шлоку и скажите ему, что не возражаете, если он выступит на стороне Фушера и будет свидетельствовать против Вагнера.

Гросс сделал вид, что не на шутку рассердился на Терезу. Шлезингер уже готов был выполнить его просьбу, но Тереза всполошилась и, опередив доктора, накрыла рукой телефонный аппарат. Она, очевидно, поняла, чтохватила через край, и решила разрядить обстановку:

— Леон, наверное, мы оба сошли с ума. Допустим, доктор меня знает всего какие-нибудь считанные дни, но вы? Неужели допускаете, что я вам не доверяю? Но и вы должны меня понять: дело серьезное, на меня свалились нелегкие заботы, и один неосторожный шаг может привести к катастрофе. Поэтому не удивляйтесь, что мне хочется самой все проконтролировать, убедиться, что все делается так, как надо. Если я и допустила бестактность по отношению к доктору, то мы с ним, надеюсь, как-нибудь поладим и перед его отъездом ссориться не станем. Леон, не смотрите на меня с такой иронией. Если бы вы и герр Шлезингер знали, что за человек этот Шлок, вы бы тоже усомнились в том, что его можно уговорить не повиноваться Фушеру. Это просто немыслимо. Шлока я видела два или три раза, но это было много лет тому назад. Я тогда еще не была женой Штангля. В годы войны я знала, что Шлок был у Вагнера в руках — Густав сам мне об этом говорил. Я понимала, что ему было уготовлено, но, как видите, он остался жив. Приехал ли он, чтобы мстить Вагнеру или же по требованию Фушера, а его он боится, — трудно сказать. Думаю, что и в том и в другом случае уговорить его отказаться от своих намерений невозможно.

Гросс посмотрел на Терезу поверх очков и с укором сказал:

— Я придерживаюсь логики, а вы сами себе противоречите. Если это невозможно, тогда зачем вы звонили Шлоку?

— Я решила, что какая-то надежда все же есть. Сперва я попыталась бы подкупить его и посулила бы намного больше чем Фушер. Если бы это не удалось, попробовала бы взять его на испуг. Скорее всего, Фушер пообещал Шлоку, что никто не узнает о его встрече с Вагнером, я же пригрозила бы, что об этом станет известно его родным и близким. Вам я могу сказать, что дальше угрозы дело не пошло бы. С Вагнером он был связан с юных лет и мог бы наговорить о нем такое, что усугубило бы положение Густава. Теперь, надеюсь, вы меня поняли. Но объясните мне, пожалуйста, как это герру Шлезингеру удалось уломать Шлока?

Ответил ей Гросс:

— Не забывайте, что рядом с нами сидит врач. Шлок тяжело больной человек и, рассчитывая на опыт и знания доктора Шлезингера, не решился отказать ему в просьбе. Так что оставьте телефон в покое и попросите герра Шлезингера, чтобы он позвонил Шлоку. По рекомендации доктора Шлок согласится вступить с вами в разговор. Согласны?

Леон перевел взгляд с Терезы на Шлезингера.

— Не совсем, — первой отозвалась Тереза. — Думаю, что пока обо мне упоминать не надо. Дело это деликатное, и спешка к добру не приведет. С этим пусть герр Шлезингер повременит.

Берек, даже не повернув головы в ее сторону, обратился к Леону:

— Герр Гросс, вы, очевидно, тоже забыли, что я прежде всего врач и заниматься другими делами не намерен. Я привык, чтобы мне доверяли. Шлоку я обещал позвонить, и из уважения к вам я это сделаю сейчас, но больше звонить ему не стану и никакого разговора относительно фрау Штангль с ним вести не буду.

— Извините, пожалуйста, — принялся оправдываться Гросс. — Вы безусловно правы, и я впредь не буду вмешиваться в эти дела.

Тереза отошла было от стола, лицо ее дрогнуло, но тут же вернулась, решительно сняла трубку, набрала номер Шлока и, не дождавшись ответа, передала ее Шлезингеру. По выжидательной позе и напряженному лицу Терезы было видно, как внимательно вслушивается она в телефонный разговор.

— Герр Шлок? Говорю вам «да». Какое лекарство принимаете? Хорошо. Каким рейсом и в котором часу вылетаете? Я правильно повторил? О том, что вы улетели, я буду знать. Фушер, говорите, вернется завтра, а если он снова затребует вас сюда? Так, так... Разыскать вас ему нетрудно, он вас где угодно отыщет. Ясно. Если вы категорически заявляете, что откажете ему, я вам верю.

Торопитесь, Шлок, не то опоздаете к вылету...

Не успел Берек окончить разговор, как трубку схватила Тереза и набрала нужный ей номер. Не назвав собеседника по имени, она распорядилась: «Сейчас же отправляйтесь в аэропорт» — и назвала номер рейса и время вылета Шлока.

— Ну и ну! — только и могла сказать Тереза. — Вот что значит: сказано — сделано. Это в моем вкусе.

Фрау Штангль была явно обрадована исходом дела. Не она, а Фушер промахнулся в своих расчетах. От избытка чувств Тереза не могла усидеть на месте и принялась расхаживать по комнате. В голове у нее рождались радужные планы. Но долго торжествовать Гросс ей не дал. Он предложил Терезе осторожно выглянуть в окно и обратил ее внимание на человека, сидящего на скамье.

— Вы этого человека никогда не видели? Я понимаю, на расстоянии разглядеть его, конечно, трудно. По дороге сюда за нами следом шли каких-то два субъекта, и этот, если не ошибаюсь, один из них. Видите, он поглядывает в сторону вашего дома. Кстати, на днях мне повстречался двойник Вагнера. Была ли эта встреча случайной, трудно сказать. Фамилию его я запомнил, но вы как будто мне говорили, что прибыл он на торжества по случаю рождения Гитлера, после чего уехал из Бразилии. Услышанное подействовало на Терезу отрезвляюще.

— Если слежка за мной связана с пребыванием Зигфрида Якеля в наших краях, это для меня опасно. Так ли зовут его на самом деле, сказать не могу, но иногда он не прочь козырнуть своим дядей — Фрицем Якелем. О нем я слышала еще в войну. Штангль хорошо знал одного юриста — Оструэса.

Он состоял в СС и в генерал-губернаторстве был судьей. Он как-то рассказал нам, мне и Штанглю, о некоем Якеле, который сочувственно относился к евреям и цыганам, даже помог кое-кому из них избежать гибели. Об этом узнали в гестапо, и Фриц Якель угодили в Освенцим, там он и погиб. Береку показалось сомнительным, чтобы Зигфрид Якель был родственником Фрица Якеля, и если даже так, зачем ему рекламировать это родство? Но заводить об этом разговор не было смысла, ему хотелось поскорее уйти из этого дома. К счастью, долго ждать не пришлось. Тереза получила по телефону подтверждение, что Шлок покинул Бразилию. Леону Гроссу и Бернарду Шлезингеру здесь больше делать было нечего.

## ПЕПЕЛ СОБИБОРА

Столицу Шлезингер и Гросс покинули через несколько часов. День был на исходе. На широкую бетонную эстакаду, ведущую в Рио-де-Жанейро, они выехали не сразу, а сперва попетляли окольными дорогами, чтобы на всякий случай замести следы, сбить с толку тех, кто вздумает увязаться за ними. Разговора об этом они заранее не вели, но Леон, видимо, решил, что так будет вернее. Как говорится, береженого бог бережет. И Берек понимающе кивнул головой, одобряя действия своего друга.

Путь неблизкий: ехать им предстояло всю ночь напролет. Тяжелые тучи, видимо где-то уже не раз освобождавшиеся от своего влажного груза, пролились на землю не хилым и ленивым дождичком, оставляющим еле заметные следы на засушливой почве, а обильным, сильным потоком. Между быстро проносящимися тучами проглядывают клочки чистого неба, и на них — сияющие далекие звезды.

Асфальт стремительно уходит из-под колес. Берек опускает боковое стекло. Ветер треплет все еще густые седеющие волосы. Свежо, но вздрагивает он не от прохлады, а от мысли о смертельной опасности, которой они недавно счастливо избежали. Случилось это на участке дороги, где редко попадаются встречные машины и на многие километры вокруг ни живой души.

Их нагнала машина, мчавшаяся с бешеной скоростью. Оказавшись рядом с Гроссом, шофер резко повернул руль вправо. Удар — и Берека отбросило в противоположную сторону. Почти одновременно Леон тоже повернул руль вправо и смягчил удар. На этот раз самообладание и опыт Гросса помогли избежать катастрофы.

Берек поначалу не понял, произошло ли случайное столкновение или это заранее обдуманная попытка расправиться с ними? Зато Гросс, знавший на этой дороге каждый поворот и зигзаг, сразу понял: случись это метров на двести раньше, лететь бы им в пропасть. В этом они убедились, когда Леон остановил свой «фольксваген» и, включив задний ход, проехал немного по бетонке и осветил фарами крутой обрыв справа от шоссе. Намеревавшаяся столкнуться или напугать их машина помчалась вперед. Красные огоньки стоп-сигнала на ней подрагивали и, удаляясь, вскоре вовсе растворились в ночной мгле.

В голову лезут разные мысли: кто же вздумал в мирное время так зло и недвусмысленно замахнуться клинком? Какой-нибудь нацистский недобиток? Их тысячи — военных преступников, непосредственных участников акций по истреблению миллионов людей, разгуливают здесь на свободе. А может, кто-нибудь из новоиспеченных молодых поклонников Гитлера. Во многих странах для мафии СС время еще не остановилось. Дай им только волю — и они с радостью возьмутся загонять целые народы за железные решетки, окружат их колючей изгородью под током, высокими

башнями и из бойниц нацелят на них дула крупнокалиберных пулеметов, автоматов. Не откажутся они и от ракет.

Возможно, пострадавшие от коричневой чумы преувеличивают опасность, их страхи надуманы? К сожалению, это не так, и, что бы ни говорили, горький опыт учит.

Бетонная эстакада здесь прямая как стрела, и монотонное приглушенное урчание мотора укачивает Берека. Сон вернул его в далекое прошлое, к пережитым кошмарным дням. Знать бы, как избавиться от этих страшных сновидений! Десятки событий, происшедших до и после войны, как бы окутаны густым туманом, а вот годы нацизма врезались в память, и нет от них избавления. Как забыть Собибор, где Штангль, Вагнер, Френцель и подвластные им наемники походили на взбесившихся погонщиков скота, загоняющих многотысячное стадо на бойню. Но гнали они на убой не скот, а людей — мужчин и женщин, детей и стариков, и, чтобы не дать им опомниться, заставляли проделать весь путь раздетыми догола, бегом мчаться в едином нескончаемом потоке к страшному концу. Стрелка часов не успевала передвинуться на несколько делений, и люди превращались в кучу пепла.

Пепел Собибора!

Слишком много боли, гнева и ненависти скопилось, и не просто стряхнуть это с себя, избавиться от них. Иногда случается, что горькие воспоминания, как сегодня, вдруг всплывают не только в полудреме, но и в минуты, когда весь он поглощен важным делом. Тогда, когда боязно было громко вздохнуть и приходилось, скрежеща зубами, заглушать крик боли и отчаяния, он, почти ребенок, умел зажать свое сердце в кулак или же заставить себя думать о том времени, когда можно будет не ползать больше на четвереньках, а снова стоять на ногах, жить и мстить врагу. Берек тяжело вздохнул. Лагерь навсегда лишил его сна и покоя.

Снова хлынул проливной дождь, и стекло пришлось поднять.

Береку не дает покоя мысль: он сегодня перемахнет из Южного полушария в Северное, передвинет стрелку часов, и, хочется надеяться, у него и у Фейгеле все будет благополучно. А как же Гросс? Вот кому выпала жизнь, полная риска и трудностей, и так изо дня в день. Прощаясь, Берек крепко пожмет ему руку, обнимет и снова напомним: «Леон, будьте осторожны!» Но какой в этом прок? Те, что следили за ними днем и гнались ночью, кем были, теми и останутся. Если им прикажут, они кого угодно уберут с дороги или же сделают калекой на всю жизнь.

Но, как бы ни была велика опасность, хочется верить, что все обойдется. Кто-кто, но уж те, на чью долю выпали столь тяжкие испытания, знают, что настоящего человека горе делает еще более сильным, и пока бьется в тебе сердце, нельзя терять надежды. Берек тепло взглянул на Гросса. Леон сидит за рулем немного ссутулясь. Несмотря на возраст, движения его еще не лишены скрытой силы. Очки сдвинуты высоко на лоб. Руки с длинными, как у скрипача, пальцами крепко держат руль.

Почувствовав на себе взгляд Берека, Гросс спросил:

— Как видите, я еще как крепко заколоченный гвоздь. Иначе нельзя. У нас с вами вера в жизнь должна быть особая. Сколько, Бернарда, вам было лет в Собиборе?

— Пятнадцать. Почти пятнадцать.

— Чудесный возраст! В пятнадцать лет я мечтал о многом. Готов был, не останавливаясь ни перед чем, ринуться в кругосветное путешествие. Потом раздумал и решил стать врачом, поселиться в джунглях и лечить обездоленных людей. Диплом врача я получил, но работать по специальности не

пришлось. Женился еще студентом, родился ребенок, но, когда после войны вернулся домой, меня ожидали только родители... В Бразилию я попал уже после того, как изъездил почти полсвета. Жажда нового, неизведанного, свойственная всем путешественникам, сидит во мне по сей день. Но, как вы знаете, заниматься здесь мне приходится совсем другим.

Гросс, должно быть, решил, что еще не все сказал, и после недолгого молчания продолжил:

— Я не могу сказать, что жизнь моя не удалась. Достиг я немногого, но, — глаза его потеплели, — вырастил двух детей, сирот — мальчика и девочку. Я настоял, чтобы они уехали из Бразилии и поселились в моем родном городе. Теперь дети зовут меня к себе, а я пока все откладываю. Каждый раз находится причина. Теперь хотелось бы дождаться и узнать, чем кончится дело Вагнера. Мне кажется, что приговор ему уже вынесен и обжалованию не подлежит. Конечно, обидно, что судить его будут не те, кто по праву должен был это сделать, но это уже другое дело. Вагнер теперь опасен для своих же единомышленников. В Сан-Паулу ему приходилось встречаться с высокопоставленными нацистами, и они постараются поскорее убрать его с дороги. Этим и объясняется то, что за нами началась слежка. За мной — так как я в течение многих лет вхож в дом Терезы Штангль, за вами — потому что, кто знает, какой ключ вы подобрали к своему пациенту и какие секреты больной мог выдать своему доктору. Захотелось же Терезе убедиться в том, что Шлок покинул Бразилию, и она отдала соответствующие распоряжения своему человеку, так же и Зигфрид Якель или кто-то из его хозяев захотят узнать, улетел ли частный врач Густава Вагнера и куда именно. Если вы приобретете билет до Рима, то за те двенадцать часов, что вы будете находиться в авиалайнере, кто-то в Италии получит указание глаз не спускать с прибывшего из Рио Бернарда Шлезингера. Мужчина вы заметный, а все остальные данные агент получит дополнительно. Располагая большими капиталами, мафия СС проделывает все это без особого труда. Куда труднее будет мне дознаться, получил ли Якель доступ к новому доктору, которого Вагнеру рекомендовал Фушер, а знать это очень важно. На этот раз мне, очевидно, придется рассчитывать на Терезу. Она не может не понимать, что и Якель опасается Фушера, и все же...

Береку ясно: Гросс играет с огнем. Ему бы хоть на некоторое время оставить эту нелегкую и опасную работу и уехать куда-нибудь подальше. Но говорить с ним об этом бесполезно. И вряд ли кому-либо удастся этого добиться. Через каких-нибудь полгода Берек пожалеет, что не высказал своему другу вслух все то, о чем он теперь думает.

Гросс свернул чуть в сторону и подрулил к бензоколонке, стоявшей у дороги.

Бензобак заполнен доверху, но Леон почему-то не торопится отъезжать. Он поправляет и без того безупречно сидящий на нем дорожный костюм и не спеша направляется к лимузину, стоящему между двумя желтыми автобусами. Водитель, подперев голову рукой, растянулся на сиденье во всю длину, и из открытой дверцы автомобиля торчат его ноги. В такую рань, до того, как в этот бледно-серый рассвет ворвутся и засияют первые солнечные лучи, обычно сладко спится, тем более такому молодому, дюжему парню. Гросс глазами обращает внимание Берека на правый бок лимузина, где виднеется вмятина с облупившейся краской. Но этого все же недостаточно, чтобы доказать, что именно эта машина, а не другая несколько часов назад нанесла удар по их «фольксвагену».

Здесь, в чужой для него стране, Берек не берется быть советчиком, но проявлять поспешность, ему кажется, ни к чему. Он готов поклясться, что на заднем сиденье обогнавшего их лимузина сидел еще кто-то, как ему показалось — женщина. Где же она? Берек стал медленно оглядываться по сторонам

и в телефонной будке увидел ту, кого искал. Она стояла к нему спиной. Зайдя со стороны, по короткой стрижке Берек узнал в ней молодую женщину, которая вчера дважды обогнала его на улице и оба раза задела рукой. Тогда он лишь недоуменно пожал плечами, а что делать теперь? Лучше всего было бы самому заговорить с ней о каком-нибудь пустяке, а может быть, без обиняков спросить, почему они их преследуют? Но эту мысль он решительно отверг. Да и как заговорить с ней, если португальского языка он не знает? Свободно владеет португальским Гросс, но он остается здесь жить, можно ли в таком случае вести себя опрометчиво? И если связаться с этой опасной бандой, надо сперва позвать полицейского, и тот, догадавшись, чей это лимузин, палец о палец не ударит, чтобы установить истину. Нет, нет, Гроссу сейчас вступать в это дело нельзя. Ничего хорошего это ему не сулит.

Женщина, должно быть, доложила что нужно, выслушала дальнейшие распоряжения и вышла из телефонной будки. Одета она была очень элегантно. Если чего не хватало в ее туалете, на взгляд Берека, так это шляпы с пером. Оказавшись с ним рядом, она повернула голову в его сторону, приложила ко рту ладонь и негромко, но внятно произнесла по-немецки:

— Эй ты, если ты дорожишь своей шкурой, сматывайся отсюда поскорей!

И неожиданно снова, как накануне, посмотрела на него озорными глазами и одарила простодушной улыбкой. После этого она села в лимузин. Заурчав, машина рванулась с места и направилась не в сторону Рио, а назад, в Бразилиа.

Гросс включил мотор, и они двинулись дальше.

До слуха доносится нарастающий шум огромного многомиллионного города. Это Рио-де-Жанейро, или, как его называют бразильцы, Сиаде Маравильоза, что означает «великолепный», «чудесный». Приходится сбавить скорость. Нескончаемым потоком движутся автомобили. Большинство из них — «фольксвагены», и держатся они главным образом края дороги. Их оттирают и обгоняют роскошные «мерседесы» и «мустанги». Гросс и Шлезингер, кажется, уже обо всем поговорили. Леон считает, что свою миссию Бернард выполнил более чем хорошо.

— Правда, — добавляет он, — не все получилось так, как было задумано, и уж вовсе неожиданным оказалось то, что Шлок выплыл из прошлого, но с ним как будто все уладилось.

Рио они увидели лишь мельком. Гросс показал Шлезингеру самую узкую улицу, шириной около тридцати пяти сантиметров. Коротенькую остановку они сделали у белокаменного здания — школы имени Анны Франк.

Почти у самого аэропорта их обогнал белый «мерседес». Его вел мужчина в летах. Сидевший справа от него молодой человек нетерпеливо махнул Гроссу рукой, требуя уступить дорогу. Но Леон старался не отставать, и к аэровокзалу обе машины подъехали почти одновременно. Из «мерседеса» проворно выскочил молодой человек и открыл дверцу водителя. Догадаться, кто у кого в услужении, было не трудно.

— Вероятно, телохранитель, — высказал предположение Берек.

— И не единственный, — заметил Гросс. — В Рио у него во дворце на улице адмирала Алешадрину другой телохранитель. Тот следит, чтобы хозяину, не дай бог, даже руки не пришлось поднять за чем-нибудь.

— Кто же он такой и откуда вы его знаете?

— Это синьор Альбрехт Густав Энгельс. Этого человека и раньше знали во многих странах, и теперь

пишут о нем повсюду. Нас с ним свело увлечение книгами. Он коллекционирует старинные фолианты в добротных кожаных переплетах. В Бразилии он одно время был директором западногерманских фирм «Телефункен» и «Мерседес-Бенц», а в годы войны возглавлял немецкую разведку. До августа сорок второго года, когда Бразилия — единственная страна латиноамериканского континента — объявила войну Германии, гитлеровские шпионы орудовали здесь в открытую. Третий рейх постоянно был осведомлен о передвижении транспортов союзных держав в Южной Атлантике и о состоянии американской военной промышленности. Когда был создан бразильский экспедиционный корпус, состоявший из одних добровольцев, он направился в сторону Гибралтара, а оттуда в Неаполь. Корабли отплыли тайком, но все равно для немцев это не было секретом.

Фашисты атаквали и пускали ко дну не только военные корабли, но и торговые и пассажирские суда. Большая «заслуга» в этом принадлежала Альбрехту Густаву. Однако же и он и другие бывшие резиденты поныне живут припеваючи. Не исключено, что именно он истинный фюрер здешних нацистов. Только что объявили о прибытии самолета из Бонна, вот, должно быть, он и встречает кого-то из близких или видных единомышленников. Вот так, мой друг...

Все формальности, требующиеся от иностранного пассажира, выполнены, и оставаться вместе им только считанные минуты. Шум такой, что совершенно оглушает, давит на барабанные перепонки, и почти невозможно расслышать, что говорит один другому.

Прощаясь, они протянули друг другу руки и долго не разжимали их. Леон произнес: «Друг мой!» — и голос его задрожал. А Берек? Какими словами высказать этому человеку свое глубокое уважение, восхищение и сердечную благодарность? Перед тем как направиться к трапу, Берек бросил прощальный взгляд на своего друга и в последний раз встретился с его добрым и умным взглядом. Лайнер с неистовым ревом пронзил пелену сизого дыма, густо нависшего над Рио-де-Жанейро, и понесся навстречу беспредельным просторам.

Берек мысленно все еще был с Леоном, которого долго ему будет недоставать. Невольно подумалось, как сходны их жизненные пути: один, выходец из Польши, живет в Голландии, другой, выходец из Германии, живет в Бразилии, и оба они делают одно дело.

Напряжение последних дней и почти бессонные ночи сморили Берека. Под монотонный шипящий звук вошедшего в облака лайнера он незаметно задремал. Снова время отодвинулось назад, на тридцать с лишним лет. Все всплывает так отчетливо и зримо, будто это происходит сию минуту. В его видениях переплетаются в клубок страшные переживания детства, сливаясь в один шемящий душу горестный мотив. Ему слышится материнский голос, он видит ее расширенные от ужаса глаза, в которые уже заглянула неотвратимая гибель. И так он в который раз перелистывает свое прошлое. И снова перед ним Рина... Тоненькая, стройная, с крохотными ямочками на щеках. Сколько же в ней обаяния! Но отчего она так бледна, почему бескровны ее потрескавшиеся губы? Она манит его к себе пальцем и глухо произносит: «Я знаю, ты не виноват, но все же... Видишь бугорок недалеко от дороги, где ты оставил меня, а сам отправился поискать какой-нибудь ручеек, чтобы набрать воды? Как же ты бросил меня одну и даже не попрощался со мной? Что с тобой случилось? Подожди, я тебе еще не все сказала. Посмотри, вон «небесная дорога», по которой меня нагую гнали. Ты плачешь? Я знаю, что тебе тяжело, только ты не огорчайся. Это, глупенький, счастье, что ты не разделил мою участь. Но ведь ты стоял близко возле дороги и по рисункам ван Дама знал, куда она

меня привела и какая смерть меня ждет, почему же ты там, в лагере, не проронил ни одной слезы ни по мне, хотя мы так сильно любили друг друга, ни по отцу и матери, брату и сестричкам, которые были тебе так дороги, по всем нам, ушедшим в небытие? Почему?»

У Берека затекли руки и ноги, он шевельнулся и открыл глаза. Ринино «почему» так и осталось в нем немым укором. Что можно на это ответить? Разве лишь то, что на его памяти никто из узников Собибора, оставленных в рабочих командах, никогда не плакал, а ведь большинство из них к тому времени уже были разлучены со своими близкими. Неужели у них у всех притупилось чувство жалости и сострадания? Нет, нет, это совсем другое.

Чтобы немного отвлечься, Берек приник к иллюминатору. Давняя, у самых истоков памяти, картина стала тускнеть. Яркость и необъятность раскинувшегося перед ним простора завораживает его. Не достигшее зенита солнце освещает небо и громадную водную ширь бледно-золотистым светом. Какую исполинскую силу таит в себе океан с его неудержимой устремленностью вдаль! Отсюда, с высоты, не видно вздыбленных валов и пенистых волн. Но и от одного того, что доступно его взору — синего неба и сверкающего океана, — дух захватывает. А там, далеко за горизонтом, родная земля с ее зелеными горами и долинами, лесами и реками. Какой прекрасной могла бы быть жизнь на этой планете, если бы на ней царили мир и братство, счастье и любовь! Почему же человечество не покончит с силами, сеющими ненависть и рознь? Почему?

Это «почему» неотступно раздается в ушах у Берека, все ширится, как круги по воде, и в эти минуты ему кажется, что оно набатом звучит по всей земле.

## **Глава девятнадцатая**

### **НЕЗАБЫВАЕМОЕ ДОМОЙ**

До того, как пассажиры покинут самолет, остались считанные минуты. Но Береку не терпится поскорее увидеть свою Фейгеле, будто бог весть когда с ней расстался. От одного сознания, что он наконец дома, его охватывает неудержимая радость. Это только говорится: с глаз долой — из сердца вон. У них с Фейгеле наоборот: в разлуке еще сильнее тянет друг к другу.

Фейгеле пристально вглядывается в людей, направляющихся к выходу с летного поля, и, как только заметила среди них Берека, с сияющим лицом устремилась ему навстречу и бросилась в его объятия. — Ты себе представить не можешь, что только я за эти девять дней не передумала! Один бог знает, и Вондел тому свидетель, что с тех пор, как ты уехал, я себе места не находила. Особенно последние два дня. По нашим расчетам ты уже должен был быть дома, а от тебя ни слуху ни духу. Я простить себе не могла, что отпустила тебя одного. А ты, Берекл, — заглянула она ему в лицо, — выглядишь не так уж плохо.

Они идут, тесно прижавшись друг к другу, и никто на свете больше им не нужен. Фейгеле, с лица которой не сходит радостная улыбка, с напускной обидой укоряет его:

— Ты никак не можешь отрешиться от своих мыслей. Даже не заметил, какая у меня прическа, какое на мне платье.

Берек улыбнулся:

— Ошибаешься, Фейгеле. Прическу твою я издали разглядел. Она тебе очень к лицу, молодит тебя. — Ой, Берекл, какой же ты у меня хороший! Но зачем меня обманывать? На тебя, видно, все еще бразильская жара действует. О том, что я старая дева, я тебя предупредила, когда тебе впору было

носиться по улицам в коротких штанишках и в детском лифчике.

— Мне только остается добавить, что в неполных семнадцать лет ты уже была перестарком, — это хочешь тебе от меня услышать? Ты же сама отлично знаешь, что выглядишь моложе своих лет.

— Пой, миленький, пой, — насмешливо отозвалась Фейгеле, усаживаясь рядом с Береком в машину. — Ты еще скажешь, как я недавно где-то прочитала, что мое лицо не утратило следы былой красоты...

— К чему эти книжные премудрости? Я знаю свое: для меня ты всегда хороша — одна на всем белом свете. Подожди, подожди. Колотить меня успеешь, когда приедем домой, дай машину завести.

Слушай, что я тебе скажу, ты и по сей день молода и твои глаза по-прежнему сияют...

Фейгеле покачнулась, будто от его сладких речей у нее закружилась голова и она вот-вот упадет. Но так как поддержать ее было некому, она выпрямилась и всплеснула руками:

— Ты только посмотри, какие речи он научился произносить! И долго же пришлось мне этого дожидаться. Дай-ка пощупаю лоб: уж не заболел ли ты? Я и не помню, когда слышала такое. Видно, для этого надо было сначала побывать в Бразилии. Не иначе тебе, бедняге, пришлось там немало натерпеться, даже костюм стал великоват. Но о делах я сейчас расспрашивать не стану. Вондел хотел, чтобы ты обо всем рассказал нам обоим. Скажи мне только: правда ли, что ты видел Вагнера, разговаривал с ним и все у тебя обошлось гладко?

— Правда.

— Как же ты стерпел? Мне кажется, это куда труднее, чем выступить свидетелем на собиборском процессе. В Хагене хоть можно было бросить в лицо убийцам все, что ты о них знаешь и думаешь, а здесь надо было держать язык за зубами. Я бы так не смогла. А тебе, Берек, не хотелось схватить Вагнера за горло и... Или тебе эта мысль в голову не приходила?

— Приходила, — не сразу ответил Берек, — но я тут же понял, что не имею на это права. Встретился бы он мне вскоре после войны, я, вероятно, поступил бы с ним так, как он с нами, но теперь...

Фейгеле резко повернулась к нему:

— Что-то я тебя, Берек, не пойму. Неужели ты еще преподнес ему успокоительные капли?

От неожиданности Берек притормозил машину.

— Как ты можешь говорить такое? — укоризненно посмотрел он на нее поверх очков.

— Прости меня, дорогой. Все эти дни и ночи я так за тебя беспокоилась, опасалась, как бы ты не попал в ловушку. Мысленно я была там, где в это время мог быть ты, говорила и делала то, что должен был говорить и делать ты. Сам знаешь, как бесконечно долго длится бессонная ночь и какие только мысли не лезут в голову. Вагнеру и вдове Штангля я готова была выцарапать глаза. Будь я там, так бы, кажется, и сделала. Неужели ты меня не можешь понять?.. — вздохнула она.

У Берека досада вмиг исчезла.

— Что тут не понять? Ты, однако, вспомни, как мы с тобой в Гамбурге выслеживали Болендера. В ресторане обер-кельнер Курт Фале Болендер не менее получаса стоял рядом со мной, что мне мешало застрелить его или же чем-нибудь размозжить ему голову? А после, в машине, когда его везли в тюрьму, он ведь сидел между мной и тобой, что нам тогда мешало задушить его?

— Иоганн Штифтер.

— Вот тут ты ошибаешься. Думаю, как только представитель немецкой уголовной полиции Штифтер понял, что ничего нового о Штангле от Болендера не узнает, он сразу же потерял к нему

всякий интерес и не возражал бы, если кто-либо вздумал убрать его с дороги. Скорее всего, поэтому он и посадил его между нами на заднем сиденье, а сам уселся рядом с водителем.

— Это мне в голову не приходило.

— Верно, Фейгеле, и я над этим никогда не задумывался, а теперь ты натолкнула меня на эту мысль.

— И все же мне кажется, что сами мы не рассчитались с убийцами по другой причине.

— А именно?

— Когда мы выследили Бауэра и Болендера, нам еще казалось, что их ждет правый суд и справедливый приговор.

— Тут, Фейгеле, возразить мне нечего, так как это сушая правда.

Дорога, куда они свернули, была запружена машинами, идущими нескончаемым потоком. Нельзя было отвлекаться ни на миг, и Берек замолчал. Откровенно говоря, ему хотелось, чтобы хоть на некоторое время прекратились разговоры, которым нет конца. Горечью полна душа, но жизнь идет своим чередом. И Фейгеле хотелось помолчать. Она была недовольна собой: слова об успокоительных каплях прозвучали слишком резко. К вечеру им надо будет подъехать к Вонделу. Он теперь живет у дочери за городом. После перенесенной операции никак не может прийти в себя. Дочь делает все, чтобы скорее поставить его на ноги. Там, у Вондела, она, Фейгеле, и услышит о поездке Берека в Бразилию: что пережил, чего добился. Хорошо еще, что никто из пациентов Берека не знает о его возвращении. По телефону она всем отвечала, что он вернется не раньше, чем через три-четыре дня.

Сейчас Катаринка, их собачонка, почуяв хозяина, стряхнет с себя дремоту, вскочит с места и начнет ползать на брюхе вокруг Берека.

## ИСЧЕЗНУВШЕЕ МЕСТЕЧКО

Фейгеле открыла окно и буквально губами ощутила свежесть раннего утра. Все вокруг щедро залито солнцем. Цветы на газонах, заполнивших узкий дворик, сверкают блестящими от влаги красками. Берек еще спал, и Фейгеле принялась готовить завтрак: чистить и натирать на терке картофель. Похоже, сегодня будет славный, солнечный день. Жаль только, что, как и все хорошее, такие дни быстро проходят: не успеешь оглянуться — уже вечер.

Все мы родом из детства, и в каждом из нас память о детстве живет до глубокой старости. Вчера сидели они у Вондела. Затянувшийся допоздна рассказ о поездке за океан утомил Берека. Подали чай. Дочь Агие — высокая, добродушная женщина, сама мать двадцатилетнего сына — вспомнила свою мать, какой отменной хозяйкой она была. И на Берека нахлынули воспоминания. Обычно немногословный и сдержанный, он не дал ей договорить и принялся оживленно рассказывать о своей маме:

— Сколько я себя помню, наш дом, с виду небольшой, всегда был свежесмытый, опрятный; никогда я не видел, чтобы стены были обшарпаны, с облупившейся штукатуркой. Двор тщательно подметен. Посуда всегда сверкала чистотой. Большая медная кружка так блестела, что в ней, как в зеркале, можно было видеть свое отражение. А как мама готовила! Ее картофельные оладьи я помню до сих пор. Кажется, и теперь я мог бы съесть целую тарелку и, пожалуй, не отказался бы от добавки...

Домой они возвращались поздно ночью. Было свежо. Ехали вдоль длинной тополевой аллеи, озаренной лунным светом, затем — мимо амстердамских каналов. По пустынным улицам редко

проезжала машина или виднелся запоздалый прохожий. Когда они уже были почти у самого дома, Фейгеле сказала:

— К завтраку, Берек, будет тебе целая тарелка картофельных оладий, а захочешь мне доставить удовольствие — съешь и попросишь добавки.

Берек так и не разобрал: то ли это было сказано в шутку, то ли Фейгеле давала ему этим понять, что он был недостаточно вежлив с хозяйкой дома и что сама она, Фейгеле, может готовить не хуже его мамы.

Это было ночью, а теперь уже утро. Фейгеле прикрывает за собой кухонную дверь и идет в спальню.

— Берек, ты спишь или притворяешься? — спрашивает она негромко.

— Сплю, Фейгеле, конечно, сплю, — откликается Берек.

— Так, может, помочь тебе прогнать сон? Вот стяну с тебя одеяло...

— Не вздумай, не то подниму такой шум, что все соседи сбегутся.

— Воображаю, как изумятся соседи, ведь они от тебя никогда громкого слова не слышали. Вот сброшу тебя с кровати...

— Напрасная затея, — смеется Берек. — Ни домкратом, ни канатом меня с места не сдвинешь. Ты что делаешь удивленное лицо, как будто первый день меня знаешь? Известное дело: раз лентяй, то непременно упрям как осел.

— Берек, я хочу тебе что-то показать.

— Покажи. Но погоди, чем это так вкусно пахнет? Ух, какие ароматы! Катаринка, — обернулся он к собачке, — ты ведь в этих делах понимаешь толк.

— А у меня для тебя приготовлена целая гора картофельных оладий, — как бы между прочим сказала Фейгеле.

— Вот с этого, жenuшка, и надо было начать. Откровенно говоря, об этом я догадался сразу же по твоему лицу. Ты ведь ничего не умеешь скрывать — ни хорошее, ни плохое. Это мне напомнило те далекие времена, когда мы, позабыв все невзгоды, шутили и дурачились, хотя на душе кошки скребли. Но об этом теперь лучше не думать. Давай сначала позавтракаем — оладьи остынут. То, что ты хочешь мне показать, подождет. Твоя мама, наверное, тебя так не баловала?

Как всегда, Берек до пояса умывается холодной водой, растирает тело жестким полотенцем. Стоя в дверях ванной, Фейгеле, дождавшись, когда утихнет шум льющейся воды, говорит:

— Еще как баловала! Мама готова была для меня сварить куриный бульон с лапшой даже в будни.

По сравнению с вами мы, можно сказать, были богачами. Мясо и рыбу брали не в долг. Твоя люлька, наверное, была полотенцем подвешена на крюк к потолку, а бабушка, когда ты плакал, совала тебе в рот кусок житного хлеба, а меня нелегко было утихомирить даже молочными клецками. Вот какая, Берек, я была. Как-никак единственная дочь.

Чем больше Фейгеле говорит, тем охотнее он ее слушает. Все, что имеет к ней отношение, дорого ему. Надев легкие мягкие тапочки, он идет на кухню и садится за обеденный столик в углу. Вначале они выпивают по рюмочке вина. Настроение у обоих прекрасное: ведь целых два дня им никто не помешает быть вместе. Если не считать собачки, которая после смачного зевка высунула язык и принюхивается к дразнящим запахам.

Большинство коллег Берека считают, что ему живется совсем неплохо. Так оно, вероятно, и есть; как говорится, дай бог дальше не хуже. В городе немало врачей, у которых пациентов кот наплакал, а у

него от них отбоя нет, обрывают телефон. Нередко даже среди ночи раздается звонок, и приходится, схватив стоящий наготове саквояж, мчаться к больному. Делает он это безропотно, не жалуясь, и если позволяет себе поворчать, то лишь тогда, когда уж вовсе не было основания тревожить его. Из раскрытого окна дует мягкий свежий ветерок. Лучи солнца с трудом пробиваются сквозь разросшиеся ветки. Берек отодвигает в сторону тарелку и лениво помешивает ложечкой чай.

— Если не секрет, ты о чем задумался? — спрашивает Фейгеле.

— Да, собственно говоря, ни о чем. В голову лезут одни пустяки.

— С чего это вдруг?

— Как тебе сказать? Должно быть, от того, что когда ты увлечен едой, ничего путного в голову не лезет.

— Берек, а что, если нам быстренько вымыть посуду и махнуть в Дельфт?

— Ну что ты! Это же бог весть где. Фарфоровых тарелок — больших и малых — этой фирмы в буфете полно, и даже шкатулка «Дельфт» у тебя имеется. Чего же еще надо?

— Только ради того, чтобы посмотреть голландский фарфор, люди съезжаются в Дельфт со всего света, а нам добраться туда электричкой сущий пустяк. Ты ведь знаешь, что приобрести что-либо из дельфтского фарфора для меня всегда огромное удовольствие, а ты, как я знаю, любишь смотреть, как художники его разрисовывают.

— Ну зачем, Фейгеле, вставать с места, одеваться? Мне с тобой и дома хорошо, а если тебе хочется помочь мне купить подарок для Гросса — отложим это на другой раз.

— Ладно, пусть будет по-твоему. К тому же ты устал с дороги.

— Вот и договорились, Фейгеле. Оладьи я с удовольствием съел, а теперь показывай, что обещала. Фейгеле встает с места и быстрым шагом направляется в спальню. Она открывает верхний ящик туалетного столика, достает довольно объемистый конверт и возвращается к Береку:

— Ты, может быть, хочешь посмотреть, как выглядит местечко или хотя бы дом, в котором жила Фейгеле Розенберг?

Берек вскинул брови:

— Местечко и дом, в котором ты жила? Хочу, конечно, но это же нереально. От твоего, моего, как и тысячи других домов, от десятков и сотен наших местечек и следа не осталось. Их сровняли с землей. Какое же местечко ты собираешься мне показать?

— Местечко под названием Горай, — Фейгеле положила на стол газету с фотографией, на которой отчетливо виднелись три близко стоящих друг к другу деревянных дома. Подпись под фотографией гласила: «В доме, что посередине, в местечке Горай жила семья Розенберг».

Кое-что Берек начинает понимать, но это лишь туманные догадки, и он спрашивает:

— Как попала к тебе эта газета?

— Ты помнишь модистку Лею, что лежала надо мной на верхних нарах? Ее убили, когда мы бежали из лагеря. Газету мне прислала ее племянница, когда ты был в Бразилии. Она думала, что, возможно, речь идет о моих родственниках. Вот так, Берек. Оказывается, и в Горае жила некая Фейгеле Розенберг, но я могла бы поклясться, что улица та же и дом с палисадником и высоким крылечком точь-в-точь как наш. Я только не могу разобрать, крыша сделана из дранки или крыта черепицей? У нас крыша была черепичная, и местами на ней проступал мох. Вот это деревце у дороги, ручаюсь, посадил мой отец. Небольшое деревце с колючими ветками.

— Значит, в Горае все-таки жили твои родственники?

— Нет, Берекл, никакие мы не родственники. Но когда я читала газету, все во мне рыдало. Я уже не рада, что затеяла этот разговор с тобой. Мне теперь не хочется, чтобы ты даже читал эту статью.

— Тогда сама расскажи, о чем в ней идет речь.

— Ну, слушай, — начала она. Люблинский музей решил показать в своей экспозиции, как выглядели еврейские местечки в Польше до того, как они были стерты с лица земли в годы войны. Музей обратился ко всем, кто знает что-нибудь о семье Розенберг, жившей в Горае до 1942 года, и просит сообщить об этом. Музей намерен сохранить не только «стены», но и обстановку, одним словом, даже «атмосферу» этого дома. Вот они и разыскивают кого-либо из этой семьи. А теперь послушай, что с ними стало. Было их семеро: Пинхус Розенберг, жена его Фейге и пятеро детей. В августе 1942 года их вместе со всеми евреями вывезли в лагеря Бельжец и Собибор... Нет, дорогой, не могу... — и она умолкла.

Берек видел, что Фейгеле вся дрожит. Должно же было случиться, что музей разыскивал следы некоей Фейге Розенберг и наткнулся на его Фейгеле.

— Знаешь что, — неожиданно пришла Береку в голову спасительная мысль, — я бы, пожалуй, не отказался съездить сейчас с тобой в Дельфт. Еще не поздно.

Когда они вышли из дома, на улице было ясно и солнечно, а над головой — чистое голубое небо. Черногрудая, со светлыми полосками птичка вспорхнула со ступенек и уселась поодаль, как бы давая им пройти.

## С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

После необычного для этих мест сухого жаркого лета наступила холодная осень с частыми дождями вперемешку со снегом. Пациентов Берека чаще обычного одолевали сердечные недуги, так что уже с самого утра он был настолько занят, что некогда было даже передохнуть. Когда, наконец, закончился прием и последний пациент покинул кабинет, Берек с облегчением сбросил с себя халат. Он собрался было вымыть руки, как кто-то требовательно постучал в дверь. Берека удивило, что Фейгеле не предупредила его, что в приемной дожидается еще один больной. Но это был не пациент.

Неожиданным посетителем оказался Вондел. Не успел он переступить порог, как Берек по его расстроенному лицу понял, что случилось неладное. Неужели с Гроссом?

Уже месяца полтора от Леона нет никаких вестей. Как будто в воду канул. Сколько Берек ни звонил, квартирный телефон в Бразилии не отзывался. Вондел попытался узнать что-либо о Леоне у их общих знакомых, но и они ничего определенного не могли ему сообщить. Кто-то слышал, будто он собирался куда-то поехать, но куда именно и надолго ли, он никому не сказал. Больше всех беспокоился Берек. Вондел к отсутствию вестей от Гросса относился более спокойно. И раньше нередко случалось, что Леон подолгу не давал о себе знать. При первой возможности все прояснится, он сам расскажет.

В последнем письме к Вонделу, датированном концом августа, Гросс дал понять, что Иозеф Менгеле, возможно, находится в Сан-Паулу. Он писал также, что Зигфрид Якель — двойник Вагнера — за последнее время дважды встречался с Терезой Штангль и подолгу с ней беседовал. Это он узнал не от самой Терезы. Судя по всему, она его избегает.

Эти новости должны были насторожить Гросса, но излишней осмотрительностью он никогда не отличался.

Да, к сожалению, предчувствие не обмануло Берека. Вондел, не глядя, придвинул к себе стул и тяжело опустился на него. Он получил письмо от дочери Леона, и вот что она сообщает. Отца в последний раз видели днем двенадцатого сентября, когда он вышел из дома. Следы его были обнаружены только через месяц. Нашелся его автомобиль. Экспертиза установила, что из машины его вытащили насильно. Политическая полиция отказалась заняться расследованием этого дела. Комиссар полиции по месту жительства Леона в Сан-Паулу считает, что никакой надежды на то, что Гросс жив, нет. Он также высказал сомнение, удастся ли найти его труп. Полиция опросила несколько человек, близко знавших Гросса, и среди них Терезу Штангль. У нее в доме на улице Фрей Гаспар Гросс был за день до своего исчезновения. Однако фрау Штангль заявила, что она не представляет себе, кто мог быть заинтересован в исчезновении Гросса. Берек все больше укорял себя: надо было настоять на том, чтобы Гросс хоть на время уехал из Бразилии. Он обязан был во что бы то ни стало убедить его в этом. Леон, Леон! Какой же это был порядочный, доброй души человек! Беседы с ним всегда были полны глубокого смысла. Он был открыт и доброжелателен к друзьям и резко непримирим к врагам. Как антифашисту ему и до и во время войны пришлось испытать немало невзгод, но и после войны он не смирился и продолжал борьбу. Его все время тянуло домой, в родной Киль, но Леон обрек себя на жизнь в одиночестве, на чужбине и ни на один день не прерывал полной опасностей работы. Теперь он бесследно исчез, пропал без вести, как на войне. И, хотя время мирное, никто не сможет возложить венки на его могилу. Вондел сидел с опущенной головой. Губы его сжались. Берек стоял рядом и молчал. Нет, о Леоне он не перестанет думать как о живом. Пусть не гаснет, хоть и призрачный, огонек надежды.

## **ФИНАЛ**

Минуло почти два года с того осеннего дня, когда Вондел принес Береку печальную весть о Гроссе. За это время Верховный федеральный суд Бразилии большинством голосов отклонил требования Польши и Западной Германии, Австрии и Израиля о выдаче им палача Собибора — Вагнера. Правда, до этого министр юстиции Бразилии дважды выносил решение о передаче Вагнера Федеративной Республике Германии для суда над ним, но оба раза парламент отменял это решение. Сообщить арестованному, что он может собрать свои вещи, так как завтра его выпустят на свободу, уполномочили тюремного врача Амаду Билака. Почему, могут спросить, эта миссия была поручена врачу, а не кому-либо другому из тюремной администрации? Потому, что Вагнер прикинулся психически больным. (В том, что это чистейшая симуляция, никто в тюрьме не сомневался.) Поэтому он был не столько в ведении надзирателя, сколько в ведении врача. Сам Вагнер относился к Билаку с недоверием. И даже когда арестованный недавно перенес ангину в тяжелой форме и несколько дней подряд у него была высокая температура, он наотрез отказался от предписанных ему тюремным врачом лекарств и процедур. По-другому относился Вагнер к психиатру, которого рекомендовал ему Юджин Фушер. От него он был в восторге. Оказалось, что здесь, в тюрьме, легче легкого, будучи в здравом уме, считаться психически больным. Чтобы усвоить эту науку, не требуется много времени и больших усилий. Если не принимать в расчет нескольких попыток к самоубийству, затеянных Вагнером видимости ради, эта «наука» далась ему без особого труда. Два раза он принимался швырять на пол все, что попадалось ему под руку, но буйствовал он лишь настолько, чтобы не приходилось утихомирить его

силой.

Обычно он занимался тем, чем хотел: заучивал наизусть «Майн кампф» фюрера, читал мемуары бывших генералов вермахта, смотрел телевизионные передачи, слушал радио, но все же он не мог считать себя совсем свободным. Приходилось продолжать свои «сеансы сумасшествия»: услышав шаги в коридоре, он начинал подолгу топтаться на одном месте или принимался безостановочно бегать по камере, становился в позу полководца, только что выигравшего важное сражение, прикидывался немым или впадал в хандру и подолгу сидел с опущенной головой.

Амаду Билак шел быстрым шагом по длинным тюремным коридорам, ведущим к камере Вагнера, заранее предвкушая, как получит солидный куш за радостное известие. В том, что у этого эсэсовца денежки водятся, он нисколько не сомневался.

Стрелки на электрических часах возле сторожевого поста показывали обеденное время. Вагнер и здесь, в тюрьме, питался неплохо. Это стоило немало, но приносили ему все, что бы он ни захотел. Билака он встретил с нескрываемой досадой: тот пришел не вовремя и помешал ему спокойно пообедать. Надежды Билака оказались тщетными. Вместо благодарности Вагнер подчеркнуто равнодушно выслушал доктора и заявил ему, что это для него не новость, об этом он был поставлен в известность еще накануне. После этого Вагнер более мягко попросил тюремного врача позвонить Терезе Штангль и узнать, не собирается ли она приехать за ним.

Билак в тот же день позвонил, но Терезы Штангль дома не оказалось. Она в отъезде, сообщил ему один из ее служителей, и вернется в Сан-Паулу не раньше, чем через неделю. Это его не на шутку расстроило: она не полностью выплатила ему обещанную сумму. Поладить с ней и раньше было нелегко, — это он помнит еще с прошлого раза, когда в тюрьме сидел Франц Штангль. Этой волчице ничего не стоит пообещать, а потом оставить в дураках. Он попытался было вспомнить, чем, собственно, он не угодил этой паре — Вагнеру и Штанглю. Ни с кем, кто мог бы каким-то образом повредить им, он в сношения не входил. Другой врач на его месте ни за что не согласился бы с диагнозом, который психиатр поставил Вагнеру, он же на все закрывал глаза и за это получил гроши. А что, если бы обман всплыл? Ему тогда наверняка пришлось бы расстаться не только со своей хорошо оплачиваемой должностью, но и еще кое с чем. Билак помнит, какую волну протестов вызвало первое решение парламента не выдавать Вагнера. Тогда даже были вынуждены рассмотреть этот вопрос вторично. Адвокаты Вагнера твердят одно: здесь, в Бразилии, их подзащитный никаких преступлений не совершил, и призывают проявлять гуманность к психически больному человеку. Что до обвинений, предъявленных Вагнеру, Билак вообще не представляет себе, что такое могло когда-либо произойти. Как это мог человек в одном лагере уничтожить четверть миллиона людей, а в другом — и того больше! Сам Билак за всю свою жизнь никогда никого пальцем не тронул и верит, что после него детям останется не только приличное наследство, но и доброе отцовское имя. Правда, кое-кто из знакомых упрекает его в корыстолюбии, в жадности к деньгам, но за содействие Вагнеру ему обещано совсем немного, а теперь может случиться, что и эту причитающуюся ему мизерную сумму он не получит.

И почему сама Тереза Штангль не соизволила прийти и сообщить Вагнеру эту радостную весть? Еще недавно эта пара собиралась оформить свои отношения, а теперь, как видно, Тереза передумала.

Чутье ему подсказывает, что здесь не все гладко.

Только один-единственный раз он, Билак, отказал ей в просьбе. Это было как раз в те дни, когда

можно было ждать, что суд над Вагнером все же состоится. Встретаться с арестованным было категорически запрещено. Вагнер тогда находился в лазарете, и Тереза попросила Билака помочь устроить Вагнеру встречу с его двоюродным братом. Сделать это на свой страх и риск Билак не решился, но Тереза Штангль своего добила при помощи более высокопоставленных лиц. Ему же было приказано присутствовать при их разговоре. До этой встречи он, откровенно говоря, полагал, что родство это фиктивное, но, когда увидел посетителя, засомневался. Сходство между Вагнером и его родственником было поразительным. Правда, встретились и разговаривали они между собой совсем не по-родственному.

По установленным правилам, разговаривать они должны были по-португальски или на другом языке, доступном представителю тюремной администрации. Они же разговаривали по-немецки. Билак, однако, все понял, и у него создалось впечатление, что человек этот пришел отнюдь не с целью повидать своего родственника.

Сперва они молча разглядывали друг друга. Затем посетитель довольно резко спросил:

— Не допускаете ли, Вагнер, что вместо Бонна вы можете угодить совсем в другое место? Как Эйхман, в Иерусалим?

— Что? — в замешательстве переспросил Вагнер, делая вид, будто не расслышал или не понял, о чем идет речь. Но тут же, побагровев, воскликнул: — А вы считаете, что такое возможно?

— Конечно, — последовал «успокаивающий» ответ, — все возможно.

Билака удивило, что «двоюродные братья» обращаются друг к другу на «вы» и посетитель ни разу не назвал Вагнера по имени.

Так начался их разговор, а кончился он еще более странно. Гость недвусмысленно предупредил Вагнера, что если он хоть единым словом обмолвится о тех, кого упоминать не положено, он может исчезнуть из тюрьмы еще до того, как закончится следствие.

— Случается же иногда: был человек и нет его, — с усмешкой заключил посетитель.

Вагнера будто прорвало. Он яростно закричал, что он не из пугливых и не боится угроз, но постепенно умирал пыл и уже более спокойно, с обидой в голосе сказал, что у его друзей нет основания сомневаться: бывший лагерь-фюрер и поныне идет с ними в ногу.

Продолжать разговор Билак тогда не разрешил. Он подозвал надзирателя и кивнул в сторону посетителя. Того сразу же выпроводили.

Жарко, но Вагнеру почему-то зябко, он не может согреться. Казалось бы, с тюрьмой покончено, он уже, считай, на свободе и снова сам себе хозяин, но почему же у него такой горький осадок и так тревожно на душе? Его мучает предчувствие беды. Взъерошенный, он возбужденно шагает по просторной камере: «Пусть только еще кто-нибудь вздумает угрожать мне, я его на части разорву».

Густав Вагнер, отнявший жизнь у сотен тысяч людей, на все способен: он не остановится ни перед чем. Только перед Терезой он робеет. Так повелось с первого же дня их знакомства. С самого начала все у них пошло кувырком. Он до сих пор не может понять, зачем понадобилось Терезе, чтобы его двойник Зигфрид Якель явился в тюрьму, да еще под видом двоюродного брата? Она ведь всячески содействовала этой встрече.

При одной мысли об этом свидании он приходит в бешенство. С Якелем ему нужно было разговаривать не так, его надо было избить до полусмерти. Пусть только сунется к нему еще раз! Тереза... Чем объяснить, что она снова отказалась стать его законной женой? Оба они уже в годах,

какой же смысл откладывать на после? И почему она именно теперь, когда его выпускают на свободу, вздумала куда-то уезжать? Нет, подумал он так же, как и Билак, здесь что-то не то.

В Сан-Паулу Вагнер возвратился 1 октября 1980 года. Там его никто не встречал, и еще до захода солнца он уже был у себя на ферме. По дороге он не встретил ни одного знакомого и только у ворот увидел проходящего мимо чужого человека. Молодой волкодав рвался с цепи, яростно лаял, но лаял он не на прохожего, а на собственного хозяина, которого до этого никогда не видел.

Дверь дома ему открыл эконоом, родившийся в Бразилии одинокий пожилой немец Рихард, который преданно служит Вагнеру уже много лет. Судя по всему, возвращение хозяина было для него неожиданным. Но комнаты были тщательно прибраны, все вещи лежали на своих местах. Рихард собрался было тут же взяться за хозяйственную книгу и обстоятельно доложить о положении дел, но Вагнер отложил это на будущую неделю.

Третьего октября, около полуночи, эконоом услышал отдаленный крик, но крик этот тут же оборвался и больше не повторился. Все же это его встревожило, и он вышел из домика во двор. Вокруг было тихо. В большом доме ни одно окно не светилось. Собака спокойно лежала у конуры и облизывалась. Кто в такой поздний час мог бросить ей какую-то еду? Наружная дверь дома Вагнера была чуть приоткрыта, и на стук никто не отзывался. Эконоом вошел в дом. В спальне, на полу, он наткнулся на труп хозяина. Густав Вагнер лежал скорчившись, с длинным ножом в груди. Рихард снял телефонную трубку и позвонил в полицейский участок.

Утром прибыло несколько автомобилей, мертвого Вагнера отвезли на кладбище и поспешно похоронили. Через несколько часов адвокат Вагнера дал интервью для печати, в котором подтвердил сообщение о том, что бывший обершарфюрер СС Густав Вагнер в возрасте шестидесяти девяти лет был найден в своем сельском доме мертвым. Кто-то из журналистов спросил:

— Как выглядел труп Вагнера?

Адвокат ответил, что лично он мертвого Вагнера не видел, но здесь присутствует эконоом, который первым обнаружил труп, может быть, он удовлетворит любопытство газетчика.

— Все покойники — на одно лицо, — позволил себе пофилософствовать старик. — Но я мог бы поклясться, что видел своими глазами, как мой хозяин уже после того, как его закопали, правда одетый по-другому, сел в «мерседес» и куда-то уехал.

Журналисты, естественно, посмеялись, но напрасно. Немного башасу эконоом, должно быть, хлебнул, но не настолько, чтобы потерять разум и не понимать, что говорит. Он просто не знал о существовании двойника Вагнера — Зигфрида Якеля.

Помощник коменданта лагерей смерти Собибор и Треблинки Густав Вагнер наконец получил то, что он заслужил. Жаль только, произошло это слишком поздно, и приговор над ним исполнили не те, кто имел на это право.

## **Глава двадцатая**

### **В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ**

### **НА ВСЮ ЖИЗНЬ**

В доме Александра Печерского не удивляются, когда в самое неожиданное время, иногда поздно ночью, раздается телефонный звонок и кто-то издалека, за тысячу километров от Ростова-на-Дону, а иногда с другого конца света начинает допытываться на ломаном русском языке:

— Ростоф? Ростоф? Это ест Сашко? Сашко Печерски?

Несмотря на утверждения телефонистки, что это квартира Печерского, человек на другом конце провода желает убедиться, что никакой ошибки нет: он разговаривает с самим руководителем восстания в Собиборе.

Понять первые слова труда не составляет, в ответ в трубке раздается: «Да, это я, Печерский, я вас слушаю». Куда трудней порой бывает понять смысл дальнейшего разговора. Это всё звонят Александру Ароновичу оставшиеся в живых бывшие узники Собибора. С выходцами из Польши он с грехом пополам еще может поговорить, но нередко в трубке слышится речь для него совершенно непонятная. У человека, который только что так взволнованно допытывался: «Ростоф? Ростоф?» — есть дети, внуки, и все они, пусть издали, хотят услышать голос Печерского, выразить восхищение легендарному Сашко, не будь которого, и их самих на свете бы не было. Печерский, конечно, догадывается, что они хотят ему сказать, но все-таки без переводчика трудно обойтись.

Судьба тридцати четырех уцелевших участников восстания Печерскому известна. Шестеро из них живут в Советском Союзе. Остальные двадцать восемь рассеяны по разным странам Европы, Азии, Америки и Австралии. Не всех он знает лично, но фотография каждого из них у него есть. Они переписываются с ним. Кое-кто побывал у него в гостях.

Сюда, к Печерскому, в Ростов-на-Дону, в город, где он вырос и куда возвратился сразу же после демобилизации из армии, тянутся собиборовцы, побратавшиеся между собой на всю жизнь, тянутся нити всего, что имеет отношение к Собибору: к истории восстания, биографиям собиборцев, судебным процессам над палачами Собибора.

Сегодня телефон зазвонил рано, еще не совсем рассвело, и Александр Аронович лишь недавно с трудом поднялся с постели. В стоптанных шлепанцах на босу ногу он ходит по комнате из угла в угол и пытается вспомнить, что же ему снилось. Он так кричал во сне, что Ольга Ивановна, жена, начала его тормошить: «Саша, что ты? Успокойся!»

Звонил Томас Блатт из Санта-Барбара, из Америки. Он сообщил, что завтра вылетает в Ленинград и оттуда первым же рейсом прибудет в Ростов.

Весть эта обрадовала Печерского. Жаль, что Ольга Ивановна уже ушла на работу. Надо подготовиться к встрече далекого гостя. Человек приезжает к нему впервые, и бог весть откуда — из-за океана.

Может быть, Ольге Ивановне стоит отпроситься на несколько дней с работы. Он представляет себе, с каким оживлением она переспросит: «Томас приезжает? Это тот, у кого всегда такие интересные письма?»

Да, у Томаса острое перо. В 1965—1967 годах, когда в Хагене шел судебный процесс над группой палачей из Собибора, Томас прислал несколько вырезок из польских газет с напечатанными в них его материалами. На процессе он выступал в качестве свидетеля и давал ценные показания. Адвокат Френцеля всячески пытался запутать его, сбить с толку, но это ему не удалось.

Звонить Ольге Ивановне сейчас бесполезно: вряд ли застанет ее на месте. Ольга Ивановна, как и Александр Аронович, уже давно на пенсии. Директор учреждения, в котором она много лет работала экономистом, предложил ей вернуться на два месяца. Дело это законное: можно получить и пенсию и полный заработок, а сбережений Печерские не нажили. Да и директор так уговаривал ее, что ему нельзя было отказать. Вот и впряглась она снова в работу, тем более что без дела сидеть вообще не может. Чем-то заниматься она должна непременно.

Олю Печерский встретил в конце войны. Его тяжким испытаниям и после Собибора еще долго не было конца. Он ведь был не только узником лагеря смерти, из которого ему удалось вырваться, но и... военнопленным. Как это ни звучит теперь странно, сказано же было Верховным Главнокомандующим в начале войны, когда не только полки и дивизии, а целые армии оказывались в окружении, что у врага нет наших военнопленных, а есть лишь изменники. И неудивительно, что в первый же день, когда спасшиеся повстанцы наконец встретились с белорусскими партизанами, его отделили от товарищей, которых он привел с собой: всех отправили в один отряд, а его, их вожака, — в другой. Разлучили их, как можно было понимать, потому что не совсем ему доверяли. Кто-то из партизанских командиров даже бросил ему вслед:

— Говоришь, не просто бежали, а восстали... Что-то я подобного не слышал, хотя сам побывал не в одном лагере. Будь это так, тебе бы Золотую Звезду повесить. Но, как говорится, свежо предание, да верится с трудом.

Правда, в партизанах, где человеческая суть познается довольно скоро и чаще всего безошибочно, тот же командир зачислил Печерского в диверсионную группу, взрывавшую вражеские эшелоны. Но как только летом сорок четвертого произошло соединение с наступавшими частями Красной Армии, ему учинили допрос с пристрастием. Проводивший так называемую спецпроверку капитан долго его выспрашивал и под конец окончательно решил, что место этого бывшего лейтенанта в штрафном батальоне, и пусть кровью искупит свою вину перед Родиной.

Вину?! У Печерского перехватило дыхание. Не из-за боязни воевать в штрафном батальоне, а от чудовищной обиды. Главное — от кого? И за что? За Собибор? За восстание?

В пятнадцатом отдельном штурмовом стрелковом батальоне ему, вероятно, предстояло сложить голову, но он, видать, родился в рубашке. Батальон занимал участок, где на время установилось затишье. Занимали отбитые у немцев глубокие траншеи, с основательно оборудованными ходами сообщения и запасными ответвлениями для укрытия людей и боевой техники. Недалеко от переднего края был небольшой лес, и оттуда доносились ароматы наливающихся соком елей и сосен. В одну из ночей дивизия перешла в наступление, и пришлось расстаться с обжитыми окопами. Батальону приказано было форсировать реку и закрепиться. В этом бою, уже на противоположном берегу, Печерский был тяжело ранен. Кто-то вынес его из-под огня. Кто-то оказал ему первую помощь. Его переводили из одного госпиталя в другой, пока, наконец, не оказался под Москвой. Здесь он пролежал долгое время. В этом госпитале медицинской сестрой работала Оля. Была она худенькой, но высокого роста и крепкой. От нее веяло молодостью и здоровьем. Александр вскоре почувствовал, что она становится для него самым дорогим человеком.

К Сашиной койке Оля подходила чаще, чем к остальным, потому что, как она позже ему рассказывала, он был беспомощнее других, хотя и проявлял редкую силу воли и никогда не жаловался. Когда он понемногу стал приходить в себя, особой необходимости выделять его среди больных не было, но к этому времени она уже любила его. Был он строен и привлекателен. Держался так, что окружающие относились к нему с уважением. Ее, откровенно говоря, удивило, что у него на гимнастерке нет ни одной медали, будто и на войне не был. Если спросить его об этом, он, по обыкновению, отделается шуткой. Вскоре и это прояснилось.

Двадцать второго июля 1944 года Совинформбюро сообщило об освобождении города Хелма и железнодорожной станции Собибор в Восточной Польше, а второго сентября «Комсомольская

правда» опубликовала статью о лагере смерти Собибор. Это было первое сообщение о восстании в этом лагере, появившееся в центральной печати. Прислал его в газету корреспондент Семен Красильщиков. До этого он опубликовал ряд материалов о Собиборе в газетах Шестой воздушной армии и Первого Украинского фронта.

В палату, где лежал Печерский, «Комсомолку» со статьей Красильщикова принесла Оля.

— Это про вас, — произнесла она скорее утвердительно, нежели вопросительно.

Печерский прочел статью раз, другой, и ему все не верилось, что то, о чем здесь написано, произошло с ним на самом деле. Жив ли кто-либо из советских людей, оказавшихся в Собиборе, — ни «Комсомольская правда», ни сам Печерский тогда не знали. Перед ним снова всплыли события недавнего ужасного прошлого, все то, что довелось ему испытать, и ему захотелось самому рассказать, как за девять месяцев до того, как Красная Армия освободила этот край, лагерь смерти Собибор на время превратился в место кровавой схватки обреченных узников со своими палачами, в боевой лагерь. Жаль только, что не со всеми из них смогли тогда рассчитаться. Френцелю и еще кое-кому из эсэсовцев удалось отсечь огнем и не подпустить восставших к оружейному складу.

— Оля, — попросил Печерский, — будь добра, принеси мне несколько листков бумаги.

Вскоре «Комсомольская правда» сообщила: «Сашко, руководитель восстания в Собиборе, жив.

Помещаем его рассказ о лагере смерти». Сотни тысяч людей читали потрясающие строки о страданиях и мужестве. Но ни к кому из спасшихся собиборовцев, выходцев из нашей страны, газета почему-то не попала в руки, вероятно, потому, что в это время они были на фронте.

Два месяца спустя два видных русских писателя — Павел Антокольский и Вениамин Каверин — опубликовали в журнале «Знамя» очерк о восстании узников Собибора и их руководителе.

Вскоре после войны Оля приехала к Саше в Ростов. Все в этом человеке было ей по душе. Что до него, то о лучшей жене и матери для своей дочурки от первого брака он и не мечтал.

...Печерский взял ключ от почтового ящика и, вставив открытой дверь своей квартиры, спустился на этаж ниже за корреспонденцией. Подниматься вверх по ступенькам ему становится все труднее.

Сердце и ноги отказываются служить, но он старается не держаться за поручни. Надо не поддаваться возрасту.

О приезде Томаса он решил Ольге Ивановне пока не говорить. Незачем ее тревожить с утра. Дело терпит. Вечером, когда она вернется с работы, они вместе решат, как лучше встретить и принять гостя.

В Собиборе Печерский Блатта не знал. Кстати, в лагере его звали не Томасом, а Тойви. Томасом он стал уже после войны, поселившись в Америке. Печерский припоминает, что от Шлойме Лейтмана и Леона Фельдгендлера он слышал, что есть в лагере пятнадцатилетний паренек Тойви Блатт, на которого можно положиться. Шлойме и Леон были совершенно разными людьми, но оба они обладали какой-то притягательной силой, люди тянулись к ним, шли за ними. Это они предложили Александру возглавить комитет сопротивления, и трудно сказать, удалось бы восстание, не будь с ним этих двоих.

Нередко спрашивают, почему именно ему поручили стать во главе восставших? Конечно, немаловажным было то, что узники из десяти оккупированных стран видели в нем представителя Красной Армии, наносившей победоносные удары по нацистам. Но почему лейтенант Печерский, а не майор Пинкевич?

Пинкевича он и сейчас хорошо помнит. Это был довольно крепкий мужчина лет сорока, с постоянно воспаленными веками, без бровей и ресниц. Говорить с ним можно было только о пустяках; едва речь заходила о чем-то серьезном, он умолкал. Правда, как только их привезли в Собибор, он первый заметил, что паровоз не тянет, а толкает состав и остановился у заграждения из колючей проволоки с таким расчетом, чтобы ни машинист, ни его помощник и кочегар границы лагеря не переступали. Позже стало ясно, что так происходит каждый раз, когда прибывает эшелон с узниками. Это делалось для того, чтобы никто, кроме эсэсовцев, не мог выйти из лагеря.

Ничего хорошего о Пинкевиче не запомнилось. Оказать сопротивление более сильному он был неспособен, однако с узниками по армейской привычке разговаривал приказным тоном и не терпел возражений. Но стоило появиться кому-нибудь из охранников, он покорно опускал голову и поспешно укрывался за чужими спинами. Пинкевич был из тех, кто больше всего на свете дорожит своей шкурой, и рассчитывать на то, что он сможет предпринять что-то на свой страх и риск, не приходилось. Печерский, и не он один, считал, что такой человек в руководители не годится.

О других легко судить, а что, если с этой же строгой меркой подойти к самому себе?

Надо признаться, что, оказавшись в плену, он настолько растерялся, почувствовал себя таким подавленным, что все в нем кричало от отчаяния. Тогда казалось — войне не будет конца. Все, что он видел, слышал и испытал, породило у него в голове такую сумятицу, что, как и тысячи ему подобных, считал себя заживо погребенным. Чтобы преодолеть отупляющее равнодушие, требовалось сверхчеловеческое напряжение. Пришел он немного в себя только в рабочей команде, в которой очутился весной сорок второго года. Здесь он понял, что если есть хоть капля надежды, нельзя опускать руки.

Он подобрал себе двух товарищей, на которых можно было положиться. В трудную минуту куда легче разглядеть, кто чего стоит. Каждый из них готов был прийти на выручку другому. Они решили во что бы то ни стало бежать. Все было обговорено, нужно было только выждать, чтобы подвернулся удобный момент.

Было это в начале мая 1942 года. Несколько дней подряд их гоняли к какому-то крохотному обгоревшему железнодорожному вокзальчику на погрузку и выгрузку вагонов. Незаметно добраться до ближайшего лесочка им удалось, но не более чем через час их, избитых в кровь, приволокли назад и посадили в карцер. За попытку к бегству обычно расстреливали или вешали на апельплаце.

Почему им посчастливилось и они избежали этой участи, трудно сказать. Их отослали в Смоленский лагерь и через две недели — в Борисовский.

Пока Печерский не попал в Собибор, ему казалось, что хуже того, с чем ему довелось столкнуться в лагерях для военнопленных, и быть не может. Здесь же, в Собиборе, он понял, что это далеко не так. В лагере смерти он увидел такое, чему отказывался верить человеческий разум. Но он видел, что его ближайшие товарищи и друзья — Борис Цибульский, Александр Шубаев, Аркадий Вайспапир, Семен Розенфельд — рассчитывают на него, ждут от него действий, и это придавало ему силы. Чувство ответственности за всех близких ему людей не позволило ему отчаяться, покориться обстоятельствам.

Первым из немцев на него обратил внимание обершарфюрер СС Карл Френцель и пытался с помощью краюхи хлеба с кусочком маргарина приручить его перед смертью, сделать его, голодного, податливой овечкой. Эсэсовцу это не удалось. Податливой овечкой Сашко не стал.

За день до восстания Лейтман как-то в разговоре заметил: «Саша, кое-кто считает, что даже к своим друзьям ты слишком строг и требователен. Я им ответил: «И хорошо. Вожак должен быть таким. Тем более, что себя он и вовсе не щадит».

С той далекой, но незабываемой поры много воды утекло, но он все так ясно помнит. И чему удивляться?

## ДОКУМЕНТЫ

Печерский поднялся со стула и взглянул на стенные часы. О-о, как далеко минутная стрелка убежала! Он хотел было съездить на рынок, но погода неважная, лучше из дома не выходить. На улице холодно и, главное, ветрено. Небольшие лужицы, образовавшиеся от таявшего снега, снова затянуло ледяной коркой. И хотя сквозь узкий разрыв в облаках прорезалось солнце, стужа набирала силу. Пожалуй, лучше он порыется в папке с письмами Томаса. Он натягивает на себя серый свитер с красными воротом и манжетами и направляется в большую комнату — в залу, как в шутку ее именуется Ольга Ивановна, — вдоль стены на полках в строгом порядке расставлено множество папок. Некоторые из них, те, что он недавно забрал из переплетной мастерской, еще пахнут клеем. Здесь хранятся уже появившиеся в печати и еще неопубликованные материалы о Собиборе. Если это материалы на иностранных языках, к каждому приложен русский перевод. В отдельные папки вложены фотографии, рисунки, письма. Писем здесь такое множество, что даже трудно себе представить, как один человек в силах был ответить на каждое из них.

В зеленом дерматиновом переплете с цифрой I на корешке — альбом, и в вырезы его плотных листов, предназначенных для семейных фотографий, вставлено множество документов. Для Печерского они бесценны: это первые официальные данные о событиях в Собиборе.

Варшава, 24 октября 1943 г.

Бунт в Собиборе. Во второй половине октября произошел кровавый бунт евреев в лагере смерти Собибор. Узники лагеря убили несколько десятков своих палачей — эсэсовцев и вахманов. После поджога лагеря узники бежали.

Этот документ нуждается в некоторых уточнениях. Первое: лагерь подожгли не узники, а сами эсэсовцы по приказу Гимmlера: и второе: сводка помечена 24 октября — на десять дней позже восстания. Удивляться этим неточностям не приходится, если принять во внимание условия подполья.

Варшава. 16 ноября 1943 г.

Ликвидация лагерей проводится в быстром темпе. Узников расстреливают из пулеметов. Первыми сжигают лагерь, в которых находились евреи. Третьего ноября был ликвидирован лагерь в Травниках, в котором находилось около трех тысяч евреев. Предвидя намерения своих палачей, узники готовились оказать сопротивление. С целью усыпить бдительность заключенных, администрация лагеря за несколько дней до этого смягчила отношение к ним: улучшила питание, объявила о намерении расширить строительство мастерских, и для этого привезли стройматериалы. Узникам приказали копать противовоздушные рвы и там же всех расстреляли. Таким же образом уничтожили всех евреев из лагеря в Понятове, а их там было 15 тысяч. В Собиборе евреи, вовремя разгадав намерения палачей, разоружили и перебили гарнизон эсэсовцев и вахманов и скрылись в лесу. Спаслось около пятисот узников.

Информация помечена 16 ноября 1943 г., а еще 4 ноября Глобочник доложил Гимmlеру:

## *«Рейхсфюрер!*

*19.X.1943 я закончил акцион «Рейнгард», руководителем которого я был, и закрыл все лагеря».*

...Если бы можно было услышать голоса миллионов людей, уничтоженных в Освенциме, это был бы ужасающий вопль — грозное предупреждение всему человечеству.

Печерский сидит у журнального столика и перечитывает старые письма Томаса. Через несколько дней состоится их встреча, и они, надо думать, наговорятся досыта, Печерскому же хочется уже сейчас проникнуться заботами и переживаниями своего лагерного побратима.

## ИЗ ПИСЬМА

Дорогой Сашко!

Я обращаюсь к тебе так потому, что под этим именем тебя помнят все, кто спасся из Собибора. Иногда какой-нибудь эпизод из жизни врежется в память и не теряет своей остроты по сей день. Стоит мне подумать о тебе, и я вспоминаю такую картину: холодный октябрьский вечер, и ты в легком плаще стоишь у дверей женского барака. Помню также Шубаева — «Калимали» тогда его называли — и его любимую песню про чайку, смело несущуюся по волнам. Он обычно пел ее по вечерам, перед тем, как нас выгоняли на аппельплац для вечерней проверки.

Так же хорошо помню многие трагические эпизоды тех дней. Мне кажется, что из лагеря я вырвался только физически. Часто вижу один и тот же сон: я все еще за проволокой, и меня ждет газовая камера. Представился случай бежать, но мне страшно. Потом я очень жалею, что не убежал, когда была возможность, а теперь этого не сделаешь, и я должен погибнуть. И так одно и то же повторяется вот уже двадцать пять лет подряд.

Ты, Сашко, просишь, чтобы я подробно рассказал о себе. Ты мне очень дорог, и писать тебе надо было бы о более радостных вещах, но кто из нас, собиборовцев, может отказать тебе в чем-либо? Посылаю тебе два коротких отрывка из моего дневника.

...Отныне и до конца моих дней эти узкие нары под самой крышей барака станут моим домом. Почти никого из нескольких сот узников, заполнивших барак, я не вижу, но слышу их тяжелое дыхание и знаю, как беспокоен их сон.

Все мы понимали, что рано или поздно нам придется оставить дом и нас угонят бог весть куда. И все равно это было неожиданно. На рассвете, когда мы еще спали, послышался тяжелый топот кованых сапог, стрельба, чей-то истошный крик. Это был конец. Мундиры эсэсовцев и рыночная площадь. Молодая женщина, извивающаяся тут же, на земле, в родовых муках. Она молит о пощаде. Невыносимо долгие часы в набитых до отказа железнодорожных вагонах. Без воды, без пищи, без воздуха. Наконец мы куда-то прибыли. Встретили нас наставленными штыками винтовок. Перед нами ворота, и на них надпись: «СС зондеркоманда». Это был Собибор. Высоко в небо вздымается пламя. Зеленый забор из деревьев и кустарников укрывает все, что за ним, но мы знаем, что там сжигают людей и что все мы превратимся в пепел.

— Хальт! Хальт! — К нам идет толстый астматичный немец. — Кто ест столяр?

— Я, я, я... — только и слышатся голоса.

Палка в руках эсэсовца опускается на головы. Люди падают. Немцы любят порядок. Слишком много желающих остаться в живых.

— Эй ты, малый, сколько тебе лет? — немец разглядывает меня с головы до ног.

— Пятнадцать.

Мне сильно повезло. Немец велит капо отвести меня к группе, занятой сортировкой вещей. Первое мое задание — подмести площадку возле железнодорожной платформы. Перрон ярко освещен. Масса людей. Прислушиваюсь, о чем говорят, но ничего не понимаю: чужой язык. Это прибыл эшелон из Голландии. Вахман приказывает нам петь, сам он в сторонке ходит взад и вперед и в такт песне ударяет плеткой по голенищу сапога. Нас заводят в большой сарай без окон. Двери открыты настежь. Мы должны будем отбирать у проходящих мимо нас людей их ручной багаж. Те, кто работал здесь до нас, знают несколько слов по-голландски и растолковывают прибывшим, что они должны оставить здесь свои вещи. Я стою ошарашенный. Люди в полном неведении, куда они попали. Большинство из них, особенно женщины, ни за что не хотят расстаться со своими вещами. Может ли, скажем, эта солидная дама — должно быть, ей давно уже за пятьдесят, — отдавать кусок шелковой подкладки, если она собралась перелицевать мужнино пальто? Вахманы без слов пускают в ход плети. Бьют остервенело, до крови. И все же находятся такие, что норовят под ударами писать свою фамилию на чемоданах и ридикюлях, чтобы легче было потом их найти. Нет карандаша — пишут кто губной помадой, кто обмакивает палец в кровь, текущую по его лицу.

Этим людям намного легче, нежели евреям из Польши, России, так как они не знают, что их ожидает. Говорить им правду не имеет смысла, да и не поверят. Колонна прошла. Сарай снова опустел. Мы наскоро подметаем и посыпаем земляной пол свежим песком.

Мы стоим вдоль длинных столов, заваленных одеждой, и сортируем ее: складываем отдельно брюки, рубашки, свитера. Как из-под земли вырастает Френцель. Я уже знаю: из всех палачей он самый злобный и опасный. Он раздает каждому из нас ножницы и гонит нас в сторону барака, находящегося недалеко от газовых камер. Эшелон доставил много женщин, больше обычного, и нам велено помочь цирюльникам остричь у всех волосы. Барак до отказа набит голыми женщинами. Увидев нас, они стеснительно жмутся друг к другу. Первый раз в жизни вижу голых женщин и от стыда и неловкости не знаю, куда глаза деть. Френцеля это забавляет, и он ехидно ухмыляется, но тут же зверски набрасывается на свои жертвы, бьет их наотмашь плетью, заставляя распрямиться. Всех остригли. Охранники угнали женщин. Собираем в мешки кучи волос, заплетенные детские косички...

Вдруг доносится гудение мотора и вслед за этим — страшный, нечеловеческий приглушенный крик. Проходит несколько минут, и шум мотора затихает. Снова тишина. Работа окончена. Капо выстраивает нас, пересчитывает раз, другой, и охранник уводит нас строем.

— Отделение!..

Мы крепче топаем ногами и, когда раздается команда «Хальт!», застываем на месте. Нас заводят в барак, снова пересчитывают — все на месте. С тех пор как прибыл эшелон с узниками из Голландии, прошло не более полутора часов.

Шли дни, и все крепла жажда мщения. Хотелось крушить, ломать, стереть в порошок всю эту адскую машину смерти, мстить палачам. Кое-кто из узников, а таких было немало, человек тридцать, знали, что в лагере создан и действует подпольный комитет, которым руководит Сашко из Москвы.

...14 октября 1943 года. Три часа дня. До боли в глазах смотрю на дорогу, ведущую в первый лагерь: оттуда должны прийти несколько заговорщиков. Идут. Из-за ворот показывается Шубаев с ведром в руках. Сопровождает его капо, входивший в подпольную группу. Так надежнее. Волнения немного улеглись.

Мы уже знаем, что в первом лагере покончено с эсэсовцами Нойманом, Геттингером, Грейшуцом, Гаульштихом. Большинство узников занято своим делом и ничего не подозревает.

...Приближаются решающие минуты. Я у слесарей. Станислав Шмайзнер — старший в мастерских — взял из рук десятилетнего Дрешера карабин и разглядывает его. Дрешер работает уборщиком в казарме вахманов, и, когда дневальный отошел от своего поста, мальчик схватил карабин, спрятал его между метлами и принес сюда.

Я входил в группу, ринувшуюся к выходу вдоль главной аллеи. Когда охрана открыла огонь, мы уже были по ту сторону ворот. Остановиться нельзя было, потому что задние напирали. Так я и еще несколько человек очутились между колючей проволокой в проходе для немецких патрулей. С нами и Шмайзнер с карабином в руках. Стоя во весь рост, он спокойно целится в пулеметчика на сторожевой вышке.

Два ряда колючей проволоки мы уже миновали. Кто-то лопатой разбивает третий ряд. Когда я оказался в узком проходе, напирющие сзади свалили ограду вместе со столбами и прижали меня к земле. Наверно, это меня и спасло. Правее и левее меня бегут узники. То тут, то там люди подрываются на расставленных гитлеровцами минах. Когда поток беглецов схлынул, мне удалось выбраться из-под колючей проволоки. Сделать это оказалось проще, чем я думал: я выскользнул из пальто и через несколько минут добрался до ближнего леса...

Сашко, судя по твоему письму, ты неплохо информирован обо всем, что происходит на собиборском процессе в Хагене. Одно только скажу: стоять рядом с Френцелем, Болендером, Вольфом и не иметь возможности расквитаться с ними — адская мука. В ФРГ закон на их стороне. Они награбили столько, что теперь живут припеваючи. Нельзя равнодушно смотреть, как нагло, вызывающе они себя ведут на суде: острят, покатываются со смеху. Скоро год, как длится процесс, свидетели один за другим выступают, приводят факты о сотнях тысяч замученных людей, а судьи в это время зевают со скуки. Не было ни единого случая, чтобы обвиняемый поднялся с места и сказал: я был молод, меня воспитал фашизм. Я в это верил и делал то, что мне велели. Но эти «герои», имевшие дело с безоружными людьми, с женщинами и детьми, на такое неспособны. И своей идее они не были верны. Они убивали не потому, что носили мундиры эсэсовцев и обязаны были выполнять приказы; они надели мундиры затем, чтобы убивать.

Как ты живешь? Пришли мне свою семейную фотографию. На днях я смотрел телевизионную передачу о твоём Ростове. Красивый город. Показывали улицу Энгельса, «Ростсельмаш», стадион, зону отдыха вокруг города и, разумеется, реку Дон. Показывали рынок и даже толстяка, торгующего рыбой.

Не исключено, что в будущем году я буду в Польше и оттуда постараюсь съездить в Советский Союз. Может быть, увидимся с тобой.

Печерский снял очки и вложил в футляр. Затем поднялся и поставил папку с письмами Томаса на место. Шагая по комнате, он хмурит брови. Удивительное дело: неужели столько узников знали о плане восстания и о том, кто им руководит? И опять-таки, как ему помнится — а он эти события держит в памяти, словно под увеличительным стеклом, — десятым по счету и последним, кто за два дня до восстания был посвящен в эту тайну, был капо Бжецкий, а как пишет Томас, об этом, оказывается, знал и еще кое-кто. Он непременно спросит об этом Томаса. Выходит, кто-то из подпольщиков был неосторожен. А что, собственно говоря, спрашивать? Кузнецы, слесари, тайно

готовившие топоры и ножи, естественно, понимали, для чего они их делают. К тому же было это бог весть когда, и какое теперь имеет значение?

Одна мысль тянет за собой другую. Во второй лагерь, на самое опасное задание, где требовалось ликвидировать четырех эсэсовских офицеров и перерезать телефонные кабели и провода сигнализации, был послан не Шубаев, как это пишет Томас, а Цибульский. Шубаев отправился в портняжные мастерские; там ему предстояло покончить с Нойманом, временно исполнявшим обязанности коменданта лагеря. Цибульский знал, что его удар топором должен быть первым, и он, пожалуй, обиделся бы, если бы это доверили сделать кому-либо другому. Он был еще довольно крепок и сохранил силу в руках. Борис взял с собой двух молодых парней — Михла и Беню. Это были его помощники. Сопровождающим у них был капо станционной команды Чепик. Тут Блатт что-то напутал. Ничего удивительного: в такой момент немудрено было забыть и собственное имя. Намного хуже, если путают умышленно, пытаясь присвоить себе чужое имя. Печерский вспомнил историю с лже-Цибульским, присвоившим не только чужое имя, но и чужие заслуги.

### ЛЖЕ-ЦИБУЛЬСКИЙ

18 июля 1964 года, в восемь часов утра, в передаче Всесоюзного радио среди других новостей прозвучала обширная и захватывающая информация новосибирского корреспондента о том, как герой собиборского восстания Борис Цибульский двадцать три года спустя встретился со своим сыном, родившимся на оккупированной Украине. Печерский передачи не слышал. Как раз в это утро его вызвали на совещание к директору завода. Но, как только он вернулся в цех, ему об этой передаче сообщили. О его причастности к Собибору знали все рабочие цеха.

— Как, как вы сказали? Борис Цибульский? — переспросил Печерский. Ему трудно было поверить в это.

Последовала долгая пауза, — бухало сердце, все остальные звуки глохли.

Все послевоенные годы он разыскивал оставшихся в живых собиборовцев. Цибульского он не искал. Его, тяжело больного, в жару, после переправы в ледяной воде через Буг, они вынуждены были оставить в одном из сел в партизанской зоне оккупированной Западной Белоруссии. С ним осталась женщина, бежавшая из гетто. От нее Печерский позднее узнал, что Борис скончался от воспаления легких.

Значит, это была неправда, или же женщина что-то перепутала. Как бы то ни было, очень уж хотелось верить, что произошло чудо, что Борис жив. Не могло же Всесоюзное радио допустить ошибку.

Весь день он не находил себе места. Звонили без конца. Справлялись, слушал ли он радиопередачу. Позвонил Вайспапир из Артемовска, Розенфельд из Гайворона, Вейцен из Рязани, Литвиновский из Куйбышева. Близкий друг из Москвы сообщил Печерскому, что он узнал телефон новосибирского корреспондента Всесоюзного радио, но пока ему не удалось связаться с ним. Не успел положить трубку, как снова раздался звонок. Это Ольга Ивановна. Слушая ее, посторонний человек мог бы подумать, что воскресший из мертвых Борис по меньшей мере ее родной брат.

Давно уже Печерский так не торопился домой с работы. Он даже не замечал, что в лицо дует горячий, пыльный ветер и что рубашка на нем мокрая от пота. Город отдавал накопленный за день жар. Александр Аронович все думал о Борисе и будто видел его перед собой живым. Был он простым парнем — возчиком из Донбасса. На первый взгляд он даже казался грубоватым, но на

самом деле был на редкость отзывчивым, готовым в любую минуту прийти на помощь измученным и отчаявшимся людям, окружавшим его. Даже в минском карцере он всех подбадривал то шуткой, то остротой. И в тифозном бараке он повторял: быть человеком — это не заразительно.

Зря Печерский торопился домой. Его друг из Москвы позвонил только часа через четыре:

— Запишите адрес Цибульского в Новосибирске. Телефона у него нет. В Ленинской библиотеке я просмотрел несколько комплектов новосибирских газет. Обнаружил в них две статьи о Цибульском. Написаны они, как мне кажется, чересчур бойко. Вы даже представить себе не можете, как там его хвалят и превозносят.

Печерского слова «хвалят и превозносят» и тон, каким они были произнесены, задели за живое. Как же иначе? Такого человека не грех хвалить и превозносить. Он это заслужил. Даже в Собиборе он сохранил огромную волю и жил в согласии с собственной совестью. А если в статьях не так уж все точно, то в этом, вероятно, повинны газетчики, которые, чего греха таить, порой теряют чувство меры.

Еще до того, как Печерский дождался звонка из Москвы, он написал подробное письмо Цибульскому. Теперь осталось написать адрес на конверте. В письме Печерский приглашал Цибульского приехать в Ростов.

Шли дни, а из Новосибирска ни слуху ни духу. Печерский не знал, что и думать.

Второго августа его вызвали на городскую телефонную станцию. Разговор заказал Харьков.

Странно, ни у кого из Печерских родственников или близких знакомых в этом городе нет. Кого же это могло занести туда?

На телефонную станцию Печерский пошел вместе с Ольгой Ивановной. Пришлось долго ждать.

Наконец из динамика раздался голос:

— Печерский, Харьков, пятая кабина.

— Алло, алло, кто у телефона?

— Саша, это я.

— Я что-то твоего голоса не узнаю.

— О, браток, должно быть, голос мой сильно изменился. Это я, Борис, Борис Цибульский. Тебе не верится, что я остался жив? Понимаю тебя. Я нахожусь на Харьковском почтамте. Здесь, в Харькове, живут мои родственники, и я с сыном приехал к ним в гости. Вчера я позвонил в Новосибирск, и сестра мне передала, что от тебя пришло письмо, и сообщила твой адрес. Как только я услышал твое «алло», я сразу же тебя узнал.

У Печерского дрогнуло сердце. Это Борис. Если бы можно было, он готов был обнять его, прижать к груди. Хочется не только слышать своего друга, но и видеть его, и он кричит в трубку:

— Борис, сейчас же купи билет и приезжай в Ростов. Сюда всего-то езды несколько часов.

— Не могу. У меня на руках билет на самолет в Ленинград. Там брат мой живет.

— Как это «не могу»? Билет в Ленинград сдай. Не можешь у меня пробыть долго — побудь хоть одни сутки, день, час. Ты ведь понимаешь...

— Если бы я не понимал, не стал бы тебя разыскивать. Сколько вместе пережито!

— Когда ты меня разыскивал?

— После войны. Я для этого специально ездил в Кременчуг.

— Почему в Кременчуг? Мы оттуда уехали, когда мне и шести лет не было. В 1915 году.

— Ну хорошо, Саша. Увидимся, и я тебе все объясню. А теперь нам пора кончать разговор. Через час я должен быть на аэродроме. Как только приеду в Ленинград, напишу тебе. Будь здоров. Привет жене и детям.

Печерский подумал, что, если Борис и напишет, это будет не скоро. Почему-то в душу запало подозрение. Об этом он по дороге домой сказал Оле.

— Как могла тебе прийти в голову такая мысль? — остановилась она. — Через неделю получим от него письмо. Не смог человек сразу поехать к нам, ну и что из этого?

Первое письмо от Цибульского Печерский получил через шесть дней, 8 августа. Но отправлено оно было не из Ленинграда, а из деревни Мышковичи, Могилевской области. Письмецо коротенькое, всего несколько строк, написанное круглым разборчивым почерком.

Дорогой Сашко!

Жаль, что все эти годы не знал, что ты жив и обитаешь в Ростове. Надеюсь, что наша встреча скоро состоится. Я сейчас разъезжаю по местам, где добрые люди укрывали моего сына. Родственников у меня много, а семьи нет. По приезде в Москву напишу подробное письмо. А пока посылаю тебе новосибирскую газету с рассказом о нашем героическом восстании в Собиборе.

Газета датирована воскресеньем, 29 марта 1964 г. Статья озаглавлена «Побег из Собибора». Далее следует подзаголовок: «Маленькая повесть о несгибаемом человеке, бывшем разведчике Борисе Цибульском». Начинается она выдержкой из воспоминаний Печерского о восстании:

«...Через полчаса ко мне пришел Борис Цибульский, которому было поручено убийство гестаповцев во втором лагере.

— Борис, — сказал я ему, — время пришло. Я посылаю тебя на самый трудный участок. С тобой пойдут Михл и Бенья. Возьмите два топора. Помни, Борис, ты начинаешь первым. Твой удар вдохновит всех...

— Не беспокойся, Саша, наши люди только ждут сигнала...»

Эти строчки, — пишет автор статьи, — я привел вместо предисловия, ибо в них идет речь о Борисе Цибульском, человеке исключительной и тяжелой судьбы, о котором я и хочу здесь рассказать.

Далее автор передает то, что он узнал от самого Цибульского:

«Собибор... Их построили на обширном дворе, опутанном колючей проволокой. Высокий гестаповец в блестящем плаще медленно прошелся перед строем, остановился у начала шеренги, а затем, показывая пальцем на пленников, стал считать:

— Айн, цвай, драй...

Дойдя до пятидесятого, он приказал ему сесть на землю. Цибульский оказался сотым, и ему тоже приказали сесть. Сердце сжалось в комок, во рту стало сухо и горько. Офицер монотонно продолжал считать. Когда он кончил, восемьдесят человек сидели на земле: каждый пятидесятый. Гестаповец не спеша достал портсигар, шелкнул крышкой. Сотни пар напряженных глаз следили за каждым его движением.

Он размял сигарету, чиркнул зажигалкой и, отогнав снятой перчаткой струйку дыма, медленно, но четко заговорил:

— Все, кто стоят, сейчас должны раздеться догола. Вещи оставьте здесь. Потом вы пойдете в парикмахерскую, а затем в баню. После мытья получите чистое белье и казенную одежду. Понятно? Через несколько минут пожитки военнопленных лежали на земле, а колонна голых людей двинулась

к баракам, где находилась парикмахерская.

Восемьдесят человек, в том числе и Борис, дожидались своей участи. Они еще не знали, что им просто повезло...»

Печерский читает и не может понять, откуда Борис взял все это. В действительности Френцель никого не считал. Он только приказал, чтобы все столяры и плотники сделали шаг вперед. Вышло их восемьдесят человек. Число сходится. Да и как можно себе представить, чтобы он считал такую массу людей? Ведь для того, чтобы отделить каждого пятидесятого, он должен был пересчитать четыре тысячи человек, а в нашем эшелоне их было тысяча семьсот пятьдесят.

«Среди узников, — читает далее Печерский, — чем-то выделялся невысокий молодой человек с сохранившейся военной выправкой. Спустя некоторое время Борис познакомился с ним. Он отрекомендовался Александром Печерским. Сказал, что был лейтенантом. В плену уже два года. Пытался бежать, но его схватили. Борис коротко, без особых подробностей сообщил о себе».

И снова Печерский недоумевает. С Борисом он был в «юденкеллере» — «погребе для евреев», как его немцы именовали, — в Минском рабочем лагере, в Собибор они прибыли одним эшелонам. Кто же здесь путает — автор очерка или сам Борис? Зачем было Цибульскому присылать эту новосибирскую газету? Каждый приведенный в ней эпизод порождает сомнения. Вот, например, написано, что он убил братьев Вольф — двух гестаповцев, отличавшихся особой жестокостью даже среди душегубов из Собибора. Но этого же не было! С младшим братом расправился член подпольной группы Леон Фельдгендлер, а старшему, Францу Вольфу, к сожалению, удалось улизнуть, возвратиться в Западную Германию, в Эппельгейм.

И, наконец, выходит, что бежал Цибульский из лагеря не с Печерским, Шубаевым, Вайспапиром, а с незнакомыми тремя мужчинами и какой-то девушкой. Для кого же тогда после перехода через Буг изготовили носилки из срубленных дубков?

Сомнения, сомнения... Как от них отделаться? При желании можно найти им объяснение: после событий в Собиборе прошло столько лет, многое забывается. С Цибульским они ведь расстались, когда он был очень болен, бредил, и все же...

— Оля, мне все кажется, что это не тот Борис, который был со мной в Минске, в Собиборе.

— Что ты! Как у тебя язык поворачивается сказать такое? Если это не тот Борис, то откуда он тебя знает?

— Он мог где-то вычитать...

— Может быть, не он, а ты кое-что забыл?

Печерскому хотелось, чтоб права оказалась Оля. К тому же вскоре прибыла газета «Правда» от 8 августа со статьей ее новосибирского корреспондента «Встреча с сыном», в которой новосибирский учитель физкультуры Борис Ефимович Цибульский представлен как один из активнейших участников восстания.

...Письма от Бориса приходят часто, но о Собиборе в них почти ничего не говорится. Так просто, коротенькие, ни о чем не говорящие записки. Судя по штемпелям на конвертах, он носится по разным городам. Единственный обратный адрес указывает: «Москва, Главный почтамт, до востребования». В одной из записок он сообщает, что собирается быть в Москве с 16 по 20 августа. Надо было бы туда съездить: но как его там найдешь?

На каждое его письмо Печерский отвечает тут же и всякий раз задает вопросы, которые просит

уточнить.

Наконец кончились разъезды Цибульского. Пятого сентября от него поступает письмо на двенадцати страницах, в которых он описывает свои воинские подвиги. Только за первые два месяца войны он захватил в плен семнадцать гитлеровцев, за что был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В начале осени сорок первого года он и еще четверо его товарищей попали в плен. Колонна военнопленных, в которой их гнали, недалеко от Белой Церкви была полностью уничтожена. Он и его товарищи успели на какую-то долю секунды припасть к земле, прежде чем застрочили немецкие пулеметы, и это их спасло. Вскоре они снова попали в руки к немцам, только это уже было в Житомире. Оттуда он угодил в Майданек, Треблинку, Бельжец и в хорошо известный самому Саше лагерь Собибор. Отовсюду ему и его неразлучным друзьям удавалось бежать. Для истинно смелых людей нет безвыходного положения, и даже немецкие лагеря не так страшны, как их рисуют.

До этого письма у Печерского еще тлела надежда, что человек, с которым он переписывается, его товарищ по борьбе. Как ни противно было его хвастовство, он готов был это простить. На войне случалось такое, что и самой пылкой фантазии не придумать. Здесь же всякий след правды утерян. Да и найдется ли хоть один человек на свете, кто пережил ужасы Майданека, Треблинки, Бельжеца, Собибора, и мог бы произнести такие кощунственные слова: «немецкие лагеря не так страшны, как их рисуют...»? Печерский пришел к убеждению, что перед ним не тот Борис Цибульский, которого он знал по Минску и Собибору. Это разные люди.

В конце письма новосибирский Цибульский неоднократно напоминал Печерскому, пытаясь убедить его, что «так оно и было», будто в Собибор он попал не в сентябре, а в мае и что сразу же включился в работу подпольной группы. Ему, дескать, досадно, почему Печерский, руководитель восстания, в своих публичных выступлениях и в печати не упоминает многих оставшихся в живых собиборовцев. Он, Цибульский, ведет с ними переписку и, как только приедет в Ростов, сообщит ему их фамилии и адреса. Пока же он просит, чтобы Сашко как можно скорее выслал ему свое фото и появившиеся за последнее время в печати материалы о Собиборе. Из Новосибирска он собирается переехать в Харьков или Ленинград. Фотография же ему нужна для того, чтобы не только рассказать о герое, который спас от верной гибели его и еще сотни людей, но и показать, как он выглядит. Почему-то больше всех он запомнил капо Бжецкого. Того, одноглазого. Второй глаз ему еще до войны выбили. Ему хотелось бы знать, как сложилась дальнейшая судьба Бжецкого.

На другой день, после того как прибыло письмо, шестого сентября, Цибульский снова вызвал Печерского к телефону. Плата за переговоры его несколько не смущала. Несколько минут подряд он размеренным тоном человека, питающего вкус к обстоятельным беседам, говорил о встрече со своим сыном, потом сказал, что в 1962 году он приезжал в Ростов в качестве арбитра двух знаменитых футбольных команд — «Спартак» и ЦСКА.

Было ясно, что о Собиборе он говорить не станет. Печерский прервал его:

— Борис, напомни мне, когда мы с тобой впервые встретились.

В ответ он услышал:

— Ну, здравствуйте! Не помню. Я ведь был во многих лагерях. Всего не упомянуть.

Печерский почувствовал, как запершило у него в горле, и закашлялся. Дальнейший диалог выглядел так:

— Ты мне пишешь, что в Собиборе работал во втором лагере, а ночевал ты в каком лагере?

— Что значит — в каком? Во втором. Неужели, Саша, ты забыл, в каких бараках мы ночевали?

— Нет, Борис, я не забыл, но, как мне помнится, никто из узников во втором лагере не жил. Теперь скажи мне, кто входил в вашу подпольную группу?

— Кто? — Голос у него вдруг осекся, он как будто проглотил застрявший в горле комок. После этого он продолжил, перемежая разговор междометиями: — Э-э-э, значит, сперва нас было пятеро. Потом мы тебя привлекли...

— В каких городах Советского Союза живут собиборовцы, которых я не упоминаю?

На другом конце провода стали мямлить что-то невразумительное.

— У тебя имеются газеты и журналы за 1945 год, в которых описываются события в Собиборе?

— Да, имеются.

Печерский больше не в силах скрыть свое возмущение. Ведь это же придумать надо. Чудовищно!

— Так вот, слушай: я верю, что ты Борис Цибульский, но мне трудно поверить, что ты был разведчиком, да к тому же бывалым. Ты не тот Борис Цибульский, за кого себя выдаешь. Это ложь. В Собиборе ты никогда не был. Ты все вычитал из газет и журналов.

Несколько секунд слышно было, как кто-то тяжело дышит в трубку. И связь прервалась.

Неделю спустя из Новосибирска прибыло еще одно письмо. Цибульский признается, что в Собиборе никогда не был, и просит прощения у всех тех, кому дорого имя настоящего Бориса. Он также просит пощадить его старую мать, так как она не вынесет его позорного поступка. И еще он просит принять во внимание его особые боевые заслуги (для большей убедительности он указывает номер воинской части), о чем свидетельствуют его фотографии, помещенные в центральной печати. К письму приложена вырезка одной московской газеты от 17 июля 1943 года. Под заголовком «Наши героические сыновья и дочери» среди других помещена фотография молодого, симпатичного парня. Под фото надпись:

«Отважный летчик Н-ской авиачасти старший лейтенант Борис Цибульский. За героизм награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды».

Вряд ли стоит говорить, что в письме нельзя было обнаружить ни признания своей вины, ни следа искреннего раскаяния.

Как потом выяснилось, новосибирский Цибульский и к этому человеку никакого отношения не имеет. Он оказался аферистом, воспользовавшимся тем, что его имя и фамилия совпали с именами отважных людей.

Еще почти целых восемь лет Цибульский продолжал свои мошеннические проделки, и каждый раз находились люди, верившие этому проходимцу. Окончательно он был разоблачен в 1972 году.

Выяснилось, что человек, вздумавший присвоить себе чужие заслуги и чужую славу, ни в одном из немецких лагерей никогда не был. В годы войны он прожил на оккупированной территории Украины и работал одно время вахтером, потом экспедитором.

Ветер на дворе немного утих. До прихода Ольги Ивановны с работы можно еще успеть кое-что закупить. Печерский выходит на улицу. Он живет в центре города. Здесь ему дорог каждый уголок.

На рынок ходить он небольшой охотник. Но ничего не поделаешь: ему очень хочется встретить Томаса хорошим обедом.

— Мистер Блатт, это первое ваше знакомство с нашей страной?

— Да, и я счастлив, что наконец-то осуществилась моя тридцатилетняя мечта.

— А что питало ее столь долгие годы?

— Страстная надежда встретиться с человеком, вашим земляком, сыгравшим исключительную роль в моей судьбе — по существу, давшим мне вторую жизнь. Это Александр Печерский.

— Вас можно поздравить: мечта сбылась — встреча состоялась. Какова ее предыстория?

— Корнями своими она уходит в годы второй мировой войны... Мне было двенадцать лет, когда фашисты оккупировали Польшу, где жила наша семья. Вам, наверное, известно, какая судьба ожидала живущих под оккупацией евреев. В 1943 году нас бросили в фашистский лагерь смерти. Из нашей семьи я один лишь и уцелел.

Советский лейтенант Саша Печерский стал организатором тщательно продуманного и необычайно смелого восстания узников лагеря смерти. Так я и многие другие пленные остались живы.

— Мистер Блатт, как повлияло на вас пережитое во время войны?

— Ни один психоаналитик уже не избавит меня от выработавшегося во мне с детских лет «комплекса войны», если это можно так назвать. Дайте вашу руку, пожалуйста, — чувствуете? До сих пор ношу в себе материализованную память о войне — фашистскую пулю, «засевшую» под подбородком.

Помню, как поразило меня мужество советских военнопленных. Под дулами автоматов, ежеминутно глядя смерти в глаза, они не теряли стойкости духа и назло своим врагам запевали русские песни, многие из которых часто звучат в магнитофонной записи и на пластинках в моем доме и сейчас. Как видите, интерес к вашей стране формировался у меня в довольно необычных условиях.

— Как сложилась ваша жизнь в мирное время?

— После войны я перепробовал много профессий: работал санитаром в госпитале, стоял за станком на заводе. Потом увлекся электроникой... В настоящее время являюсь одним из руководителей небольшой фирмы по производству стереоаппаратуры для транспортных средств, живу в Санта-Барбара — городе, расположенном в ста милях от Лос-Анджелеса — столицы южного штата Калифорнии.

Будучи по призванию и первой моей профессии журналистом, я много пишу о минувшей войне, об ужасах фашизма. Пытаюсь делать документальные фильмы на эту тему. Считаю, что таким образом вношу свой скромный вклад в дело мира, который так нужен нашим народам.

— Мистер Блатт, изменило ли недельное знакомство с нашей страной ваши прежние представления о ней?

— Видите ли, моя судьба не типична для Америки, а мои симпатии к СССР, советским людям — в силу всего вышесказанного — можно назвать врожденными. Не скрою, многие отговаривали меня ехать, но деньги были заплачены, билет куплен, да и отступить я не захотел... Самолет доставил меня в Ленинград, и я влюбился в этот чудо-город. Удивление другого рода — радушие, гостеприимство.

В Ростове я был гостем семьи Печерских, посетил дома некоторых их знакомых. Наверное, в представлении многих американцев, зараженных «великой американской мечтой» стать богатыми, иметь несколько машин, собственную виллу и многое другое, достаток моих новых знакомых, прямо скажем, очень скромный.

Здесь я видел мемориал «Змиевская балка». Какой впечатляющий по своей правдивости и

трагичности памятник жертвам фашизма! Уверен: большинство американцев хотят жить в мире с народом вашей страны, к которой питают неподдельный интерес, и мало кто из моих соотечественников жаждет возврата «холодной войны».

Знаю, что по приезде домой в Санта-Барбара мне придется отвечать на множество вопросов, и убежден: мои ответы на них, рассказы о людях, с которыми я встречался, убедят их во многом...

## **Глава двадцать первая**

### **ЗАПАДНОГЕРМАНСКАЯ ФЕМИДА НА ГУМАННОЙ ОСНОВЕ**

Шестнадцать лет прошло с тех пор, как в Хагене закончился процесс над палачами Собибора. Карл Френцель, осужденный на пожизненное тюремное заключение, добился пересмотра дела. И снова суд присяжных при хагенском ландсгерихте — окружном суде — без конца заседает. Многие бывшие узники, выступавшие на первом процессе, по возрасту и состоянию здоровья не могут прибыть сюда вторично. Кое-кто из них уже ушел в мир иной.

За эти годы Френцель сильно изменился. На себе этого не замечаешь. Но вот на днях, просматривая газеты шестидесятых годов, когда проходил Хагенский процесс, и глядя на фотографии, он с горечью убедился, что время основательно поработало над ним. Тогда он был в полном расцвете сил: здоров, силен. Белокурый ариец. Теперь голова поседела. Тяжело свисающий двойной подбородок предательски выдает его возраст, причиняет ему большое огорчение и мешает ходить по-прежнему с высоко поднятой головой, как в былые годы. Одни только глаза не изменились: большие, бегающие «глаза голодного волка», как метко выразился один из журналистов. Френцелю это выражение даже пришлось по душе. Теперь он уже не тот — наделен целым «букетом» болезней, к тому же не следит за собой должным образом. Редко выпадает день, когда бы он не выпил две-три кружки пива. Пальцы то и дело тянутся в карман за сигаретой. Дети постоянно выговаривают ему за это, а он то ли в шутку, то ли всерьез отвечает:

— Я ведь всего-навсего человек, как же можно отказаться от земных благ? Не беспокойтесь: мне виднее, что можно и чего нельзя. Да я и не затягиваюсь.

Врачи категорически запретили ему курить, предупредив, что в противном случае он может лишиться ног. Уже много лет он не выходит из дома без палки. Палка у него особенная, массивная и в то же время легкая, точеная, окаймленная светлыми ободочками, — подарок от брата, который во времена Гитлера был широко известен как теолог. Этой памятной вещью он дорожит и не выпускает ее из рук даже сидя. Однажды палка явилась причиной неприятного инцидента.

У соседа снимал комнату некий Август Бест. Надо же было случиться, чтобы он упал на улице, вывихнул ногу и пришел попросить ненадолго палку. Взяв ее в руки, он принялся разглядывать костяную ручку и вырезанного на ней орла — символ рейха — и неожиданно резко швырнул ее в угол. Оказалось, что Август Бест был одним из тех, у кого есть какие-то свои причины ненавидеть нацизм.

Пришлось заказать новую ручку. Эта тоже сделана искусно, но с прежней ее не сравнить. Френцель взял в руку палку и вышел на улицу. Не спеша зашагал он к дому номер сорок два по Гайницштрассе и вот уже поднимается по широким, чисто вымытым ступеням в двести первый зал Хагенского окружного суда. Давно уже для него открыт свободный вход в это помещение и, что существеннее, выход из него. В 1976 году окружной суд Хагена счел возможным пересмотреть дело

Френцеля. Решение принято по апелляции, составленной адвокатом Рейнчем. Это была ловко состряпанная бумага, из которой следовало, что несправедливо его, Френцеля, обвинять в совершении убийств. Пока же он «условно» освобожден.

— Уголовный кодекс, — объяснил председатель суда, — допускает подобное освобождение, принимая во внимание личность осужденного и степень его вины.

Вспоминая об этом, Френцель ухмыляется. К судьям он претензий не может иметь. Жаль, что нет уже в живых Курта Болендера. Шеф «небесной дороги» покончил с собой в тюрьме. Поторопился. Выждал бы несколько лет и тоже подал бы апелляцию. И он мог бы утверждать, что обвиняли его зря, никаких преступлений он не совершал. Неужели Болендер — эта хитрая bestия — не понимал, что при желании не так уж трудно сочинить юридические формулировки, чтобы черное стало казаться белым. Иначе как бы мог он, Френцель, оказаться на свободе, да еще рассчитывать, что на этот раз суд окончательно его оправдает.

Когда стало известно, что Курт Болендер лишил себя жизни, кое-кто из друзей истолковал этот акт чуть ли не как героический поступок. Безумие! Правда, был он убежденным нацистом, но в то же время и отъявленным трусом. Это было видно по тому, как он вел себя в Италии, когда они вместе боролись с партизанами, и особенно проявилось в последние дни Собиборовского процесса, в ожидании вынесения приговора.

Не исключено также, что кто-то помог Болендеру накинуть петлю на шею.

Шестнадцать лет тому назад Болендер свидетельствовал против него: «Никого из надзирателей лагерники так не боялись, как Френцеля. Карл Френцель был самой страшной личностью в Собиборе». Рейнч попытался было добиться, чтобы Болендер отказался от своих слов, всячески намекал ему на это различными наводящими вопросами, но тот упрямо стоял на своем, подчеркивая при этом, что Френцель был надзирателем, и не более. Признаться в том, что он был им недолгое время, Болендеру даже теперь, по прошествии стольких лет, не хотелось. Он будто забыл, что, как только Вагнер убывал в отпуск, сам он, Болендер, вынужден был выполнять приказы Френцеля.

То, что недосказал обершарфюрер Болендер, показал сперва следователю, а потом суду унтершарфюрер Франц Вольф. «Мог ли я поступать иначе, если моим шефом был Карл Френцель и он постоянно упрекал меня, что я недостаточно строго отношусь к выполнению своих обязанностей? По своему положению Френцель после Вагнера считался в лагере вторым лицом. Не повиноваться ему было опасно. Он осуществлял «лагерную юрисдикцию», и не только заключенные, но и весь персонал знали его как самого жестокого из эсэсовцев. За малейшую провинность он зверски избивал пленных. Часто сам расстреливал узников у всех на виду. Он это любил».

Тоже мне испытанный ветеран судетско-немецкой партии! Недаром Нойман считал братьев Вольф — Франца и Ганса — неполноценными немцами. На суде старший из них представился как фотограф. Да, в Хадаме и Собиборе он делал поясные снимки. Но еще тогда, когда сам он, Френцель, орудовал топором и рубанком в третьем лагере, ему довелось видеть, как Франц, не говоря ни слова, снял с плеча автомат и пристрелил капо рабочей команды, а пристрелил он его за то, что тот скрыл, что в его бригаде двое больных, которые уже не выполняют норму выработки.

Грош цена была бы всем эсэсовцам, если бы они стали выбалтывать все, что знают друг о друге.

Показания бывших узников еще можно оспаривать — они ведь не могут быть объективны к тем, кто их преследовал, но когда то же говорят свои... Рядом послевоенных директив организации

«ODESSA» категорически запрещалось свидетельствовать против коллег. Об этом напомнили ему даже тогда, когда он был в заключении.

Курт Болендер за свои грехи уже расплатился, а Франц Вольф живет себе спокойно в своем Эппельгейме. То, что ему уже семьдесят, значения не имеет. Запрет для всех один. Мог же он, Френцель, держать язык за зубами, почему же другие не могут?

Если говорить о зависти, то он завидует лишь своему адвокату Леонарду Рейнчу. Вот о ком можно сказать — пронырлив, хитер, как никто другой. Редко кому из адвокатов удается так запутать свидетелей и умалить, а то и вовсе свести на нет преступления своих клиентов, как ему. Он также знает, с кем из судей как себя держать. Некоторые из них намеренно дают ввести себя в заблуждение, чтобы иметь основание вынести смягчающий приговор, хотя и делают вид, что они строго принципиальны, следуют букве закона. Тут уж Леонард Рейнч знает, как пойти им навстречу. Один известный законодатель из Бонна как-то заметил: «Герр Рейнч, мне кажется, по сравнению с вами лиса выглядит овечкой».

Одно время заполучить Рейнча своим адвокатом было не так-то просто. Денег, надо полагать, ему хватало и до того, как он стал юристом. Состояние свое он, как и вся его клиентура, нажил во время войны. Службу подобрал себе по вкусу. Был эсэсовцем и служил недалеко от Дортмунда, в лагере, специально предназначенном для советских военнопленных. Надпись над входными воротами лагеря так и гласила: «Russenlager». Газовых камер и крематориев в нем не было, но для пленных выход был один — через мертвецкую. Таких рабочих лагерей в Германии было около девяти сот. В них содержались иностранцы — люди разных национальностей. Советским же людям был уготовлен особый режим с одним-единственным исходом — для кого раньше, для кого позже — смерть. Теперь, правда, спрос на Рейнча несколько убавился. Да и такого рода судебные процессы проходят все реже. К тому же появились новые адвокаты, владеющие своей хорошо оплачиваемой профессией не хуже Рейнча. Френцель остался ему верен и взял его своим главным адвокатом.

Новый судебный процесс начался в пятницу, 5 ноября. Проходя по коридору к залу заседания, Френцель услышал, что из совещательной комнаты доносится громкий смех. Что судьи большие любители анекдотов — всем известно. До начала заседания еще осталось шесть минут, и не грех малость развлечься. На утреннее заседание собралось много народа.

Как только Френцель вошел в зал, он услышал, как одна из женщин сказала:

— Вот он, нацистский убийца!

На суде надо вести себя спокойно, осмотрительно — это он решил твердо, тем не менее лицо его перекошилось от произвольного нервного тика. Усевшись на отведенное ему место, он надел очки и с равнодушным видом стал разглядывать публику. Женщину, которая встретила его язвительным замечанием, он узнал сразу. Это учительница Эльза Гутенберг. Восемнадцать лет тому назад, во время Хагенского процесса, она впервые привела в зал суда своих учеников. После этого они приходили еще не раз и до того, как в зале появлялись судьи, как сегодня, гневно выкрикивали: «Вот они, нацистские убийцы!»

На скамье подсудимых их тогда было одиннадцать человек. Сегодня он один. Тогда эта женщина была худошавой, теперь от ее худобы и следа не осталось. Она раздалась, но голос ее звучит так же громко. На человека, не знающего, с какими идеями она носится, может даже произвести благоприятное впечатление, но сам он ни за что не допустил бы, чтобы внуки воспитывались у такой

учительницы. Как переполошенная наседка носится она от одного ученика к другому, и они слушают ее, широко раскрыв глаза.

Для этой Эльзы, хотя она и без желтой заплаты, Собибор самое подходящее место. Туда он и загнал бы ее, чтоб знала, как положено вести себя настоящей немке. Там бы она сразу позабыла обо всем на свете: не только о нелюдях, но и о самой себе.

Судебное разбирательство началось. В зале наступила тишина. Доктор Клаус Петер Кремер, председательствующий на процессе, спрашивает:

— Обвиняемый, ваше имя, отчество?

Френцель прикидывается, будто не расслышал вопроса. Судье приходится вопрос повторить, и Френцель почему-то задирает голову кверху, словно ждет, что кто-то с потолка ему подскажет, каким именем его нарекли, потом косится по сторонам и, поклонившись председателю суда в знак того, что наконец понял, чего от него хотят, отвечает:

— Карл Август Френцель.

Один из трех судей — Ганс Роберт Рихтгоф — отодвинул от себя какую-то бумагу и покачал головой. Это можно было истолковать и так: «Собираетесь здесь ломать комедию? Только как бы вам не просчитаться».

Неонацистам, задумавшим с самого начала превратить процесс в фарс, все это было по душе.

После того как председатель зачитал обвинительное заключение, суд приступил к допросу.

Перечислить все злодеяния, которые Френцель совершил, не под силу одному человеку. Два раза в неделю по четыре часа, а то и более длятся заседания. Горы документов непреложно доказывают вину этого палача, а он почти все отрицает. Он даже отказывается признать те факты, с которыми ранее соглашался.

Бывают такие дни, когда зал совершенно пуст. Никого уже не интересует то, что происходит в его стенах. Редко когда сюда заглядывает кто-либо из журналистов. Газеты требуют от них другого рода материалов.

Френцель придерживается заранее выработанной им тактики: он все отрицает. Чаше всего говорит явную ложь, реже — ложь и правду вперемежку. Иногда настораживается, скуп на слова, отделяется ничего не значащими фразами, но временами не может преодолеть желания показать, что он властвовал, повелевал людьми, и тогда он забывает о сдержанности, обстоятельно рассказывает, чем занимались его коллеги, правда, только те, кого уже нет в живых. Вот он, в голубом блейзере и серых брюках, стоит, опираясь на барьер, и отвечает на вопросы прокурора:

— Признает ли обвиняемый, что он часто пускал в ход плеть?

— Этого я не помню.

— Мы уже не раз имели возможность убедиться, что у вас отличная память. Я спрашиваю вас не о том, помните ли, а признаете ли вы, и ответ может быть однозначный: да или нет.

— Если да, то, значит, в этом была необходимость.

— Этот вопрос неоднократно вам задавали. Отвечали вы на него по-разному. Был и такой ответ, что терпеть не могли беспорядка и стремились во всем соблюдать симметрию. Это означает «да»?

— Если я иногда и был вынужден ударить кого-нибудь, то только порядка ради.

— Как вы считаете, допустимо ли, чтобы не на войне, не в бою человека убивали без приговора суда?

— Не знаю. Должно быть, нет.

— А в Собиборе вы чем занимались?

— Я выполнял приказания своих начальников.

— Каким образом вам отдавались приказания?

— Устно, только устно. Мне приказывал Вагнер, Вагнеру — Штангль, Штанглю, надо полагать, — Глобочник.

— В вашем присутствии Гиммлер, будучи в Собиборе, отдавал какие-либо приказания?

— Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера я видел один-единственный раз. В моем присутствии он никаких приказаний не отдавал.

— Когда вы гнали людей на страшную смерть в газовые камеры, вы получали соответствующий приказ или делали это под свою ответственность?

— Подобные вопросы я категорически отвергаю. Не я один был непосредственным исполнителем акций по ликвидации. Уверяю вас, мы делали все, чтобы ликвидация проходила как можно гуманнее. У нас для этого были первоклассные специалисты.

Сказал и тут же спохватился. Еще до этого он подумал, что никому нет дела до того, любит он или не любит порядок и симметрию. Такими ответами он себе только навредит. Но какое значение имеет то, что он упомянул слово «симметрия», по сравнению с тем, что он только что сказал? Профессия его подводит. На киностудии кадры, которые по какой-то причине не годятся, вырезают, обходятся без них, а при необходимости снимают другие. Здесь же, на суде, все стенографируется, и, если ты наговорил лишнего, уже не исправить. Как говорят, что написано пером, не вырубишь и топором. На предыдущем процессе у него было достаточно времени, чтобы осмотреться, обдумать, какое впечатление оставляют ответы его коллег, делать выводы, а тут... Хорошо еще, что ему разрешили сесть и он некоторое время может не отвечать на вопросы. И все-таки его гложет досада на самого себя. Кто его просил упомянуть Вагнера, Штангля, Глобочника, зачем было склонять их имена? Этим он только дает возможность обвинителю потянуть ниточку в обратную сторону и вину за убийства в лагерях смерти взвалить на одних лишь непосредственных исполнителей. Заявил же Штангль на процессе в Дюссельдорфе в 1970 году: «Лично я к газовым камерам касательства не имел, сам я никого туда не загонял». Тогда кто же? Как — кто? Френцель, Болендер, Нойман, Грейшуц. В живых остался он один, так что в него одного бывшие узники будут тыкать пальцем и доказывать фактами, что свои обязанности он выполнял куда усерднее, чем это от него требовалось. Вот почему, когда он упомянул имена стоявших над ним офицеров, Рейнч метнул на него недовольный взгляд.

Допрос продолжается. Снова слово берет обвинитель:

— Вы только что сказали, что у вас были первоклассные специалисты. Какие?

Френцель уже открыл было рот, чтобы ответить, но тут же передумал. Прошло больше минуты, прежде чем он произнес:

— Да, первоклассные, даже знаменитые мастера — сапожники, столяры, портные.

— А сами вы не были первоклассным специалистом?

— Первоклассными были Штангль, Болендер.

— Что же это за специальность?

— Которой они овладели еще до Собибора.

— Обвиняемый, документы подтверждают, что и вы еще до Собибора овладели ремеслом убийства. Вы убивали психически больных немцев и евреев, сменивших веру.

— Расовая теория не делает различия между крещеными и некрещеными.

— Этого вопроса мы еще коснемся, а теперь объясните, как понимать то, что вы сказали относительно гуманного способа убийства?

— В отличие от других лагерей, предназначенных для уничтожения, в Собиборе заключенные до последних минут не знали, что их ожидает. Медицинские эксперименты над живыми людьми у нас не проводились.

— И это дает вам основание считать, что акции по ликвидации вы осуществляли гуманно?

— Да, — пожимает Френцель плечами, — это так, только...

— Что «только», если вы перед этим вслух сказали «да»?

— Я был не более чем маленький винтик.

— Вы, обвиняемый, были шарфюрером.

— Сперва я был рядовым ээсовцем; обершарфюрером я стал после.

— Видите, даже «обер...».

— Ну и что? Нойман был унтершарфюрером, и нередко мне приходилось ему повиноваться.

— Когда, за что и кто пристрелил двенадцатилетнего мальчика Моника Бинника?

— Бинник? — повторяет Френцель, и заметно, что вопрос этот ему неприятен. — Я такого не знаю.

— Возможно, что вы не знали его имени. Это имя мы узнали только на днях. Бинник был вашим чистильщиком сапог.

— Не только моим.

— Это к делу не относится. Я спрашиваю: когда, за что и кто? Можете сперва ответить на последний вопрос.

— Вероятно, вынуждены были так сделать для поддержания порядка и спокойствия в лагере.

— Факт вы подтверждаете, но на вопросы не ответили.

— Это было в октябре 1943 года, в один из «пустых» дней, когда...

— Как понимать «пустые» дни?

— Пустыми, — нерешительно отвечает Френцель, — мы называли дни, когда не прибывали эшелоны, или...

Обвинитель перебивает его:

— О каких эшелонах вы говорите?

— Эшелонах с заключенными, которые требовали особого обращения. Об этом я уже говорил.

— По-вашему выходит, что сами заключенные требовали к себе особого обращения. Объясните, что это означает?

Френцель молчит. Обвинителю приходится снова повторять вопрос.

— Надо полагать, что это означало ликвидацию.

— В октябре 1943 года вы от кого-нибудь получили приказ пристрелить Бинника?

Френцеля охватила дрожь. Если будет доказано, что чистильщика сапог он расстрелял по собственной инициативе, прежний приговор не будет отменен. Тогда он снова окажется в тюрьме.

Но ответить надо:

— Нет, не получал.

— Тогда почему вы его пристрелили?

— Я его спас.

— Как это понять? Когда вы его спасли?

— Когда — не помню. Эшелоны прибывали почти каждый день. Спас я его на железнодорожной платформе. Там мы проводили селекцию. Я его взял к себе чистильщиком сапог, и таким образом он был зачислен в группу «счастливицев».

— Что же случилось с этим «счастливицем»?

— Он украл банку сардин.

— У кого украл?

— Это неважно. Пусть даже у родного отца. Всё в Собиборе принадлежало третьему рейху.

— Свидетели показали, что консервы к употреблению уже не годились и банку кто-то выбросил.

— Скорее всего, так оно и было, но это дела не меняет.

— Кому принадлежали эти консервы?

— Акты по конфискации собственности составлял унтершарфюрер Роберт Юрс.

— Кто же застрелил Бинника?

— Кто его пристрелил — мне неизвестно. Я только знаю, что такой случай имел место и произошло это там, где сортировали одежду.

— В присутствии рабочей команды?

— Да.

— Юрс тоже при этом был?

— Да.

— Так вот, он и показал, что Бинника застрелили вы.

Обвинитель читает показания Роберта Юрса. После каждого абзаца он останавливается и спрашивается у Френцеля, верно ли то, что он прочитал, и на все его вопросы следует один и тот же ответ: «нет», «нет», «нет».

— Здесь все представлено в ложном свете.

— Обвиняемый, вы неоднократно заявляли, что в Собиборе занимались только строительством и больше ничем. Оказалось, что ваша деятельность была намного шире.

Обвинитель просит вызвать в качестве свидетеля Роберта Юрса. Слово берет второй адвокат Френцеля — Михель Экснер. Он считает, что Юрс как свидетель не заслуживает доверия.

Главный обвинитель Клаус Шахт не согласен.

Председательствующий, привыкший держать защитников в надлежащих рамках, отвергает отвод Экснера.

Принимается решение заслушать Роберта Юрса в качестве свидетеля обвинения 17 февраля 1983 года.

Заседание окончено. Сегодня адвокаты недовольны своим клиентом. Сейчас они прокомментируют его ответы и объяснят ему, к каким тяжелым последствиям это может привести. Но как только они завернули за угол, один из защитников вспомнил, что его ждут, второй спохватился, что ему нужно идти в противоположную сторону, и с Френцелем остался один только Рейнч.

Рейнч спросил:

— Согласитесь ли вы посетить Собибор, если этого потребует суд?

— Нет. Исключено. Мне вполне достаточно карты, что висит на стене, и макета на столике. Все, что может заинтересовать судей, я им покажу, не сходя с места.

— А если вам предложат съездить в Ростов или в другой город России, где проживают бывшие узники?

Френцель побледнел. На лицо легла тень. Ему стало нехорошо, он полез в карман за таблетками. С дрожью в голосе он спрашивает:

— Неужели кто-либо вправе на этом настаивать? Я категорически скажу «нет»!

— Учтите, суд на этот раз будет вынужден выслушать Печерского.

— Пусть суд и едет к нему. Я видеть его не желаю. Прошу вас сделать все возможное, чтобы мне встретиться с Печерским не пришлось. Я, Рейнч, устал. Давайте попрощаемся. Увидимся послезавтра.

Незаметно подкрался вечер. Продолговатые люминесцентные лампы в витринах сияли дневным светом.

## МЕЖДУ ХАГЕНОМ И ВУШПЕРТАЛЕМ

Проснулся Френцель задолго до рассвета. Голова гудела, будто били молотом по наковальне. Перед глазами все плыло. Хотелось пить, но, чтобы утолить жажду, нужно было подняться с постели. Окна завешаны тяжелыми портьерами, и свет уличных фонарей в комнату не проникает. Глаза понемногу свыкаются с темнотой. Тишина. Единственное, что он твердо знает в эту минуту, — заболеть ему нельзя. Он повернулся на другой бок, полежал немного и как будто почувствовал себя лучше.

Френцель пытается вспомнить свой сон, какой-то нелепый, кошмарный, оставивший тяжелый осадок на душе.

...Он услышал, как старые стенные часы, висевшие в спальне, громким тиканьем будто подгоняют его в школу. Скоро восемь часов. Он вскакивает с постели, наскоро умывается. Стягивает с себя ночную рубашку и надевает костюм; в нем он выглядит взрослее. Наспех перекусывает, хватая кожаный ранец и убегает. Мать успевает только набросить ему на шею теплый шарф.

И вот он шагает. Скоро весна. Улицы, дома — все ему хорошо знакомо. И учеников, идущих с ним в том же направлении, к школе, он знает, и все их повадки знает. Ребята из богатых семей не хотят с ним водиться. Это всегда его злит. Мать о них говорит: «Яблоко от яблони недалеко падает. Какие родители — такие дети». До школы идти недалеко, и вот его класс, его парта.

Учительница — женщина среднего роста с постным выражением лица — тычет указательным пальцем то в одного, то в другого из учеников, и те, вскакивая с места, называют свое имя. Очередь доходит до него. Он встает, губы шевелятся, но ни одного звука не слышно. Что случилось с языком? Его молчание слишком затянулось. Он растерянно оглядывается на соседа, а тот, будто его кто-то щекочет, заливается смехом. Остальные ребята тоже словно сговорились — дразнят его, корчат рожи, скалят зубы. Он стоит как побитая собачонка, а они в восторге. Его прошибает пот, ему становится дурно, и он садится на место.

«Карл, я требую, чтобы ты сейчас же назвал свое имя».

Он снова встает. Язык по-прежнему не повинуется ему, но никто не собирается его утешать.

Наоборот, все злорадно смотрят на него.

Учительница сердито говорит ему:

«Не думай, что все сойдет тебе с рук. Выбрось это из головы. Иди к доске и напиши свое имя».

Карл берет в руки мел и крупными буквами выводит то, что от него требуют, но не успевает оглянуться, как перед его именем кто-то четким, красивым почерком приписал: «Обершарфюрер СС». Он стирает эти слова и заодно — свое имя и теперь пишет у края доски, но надпись «Обершарфюрер СС» снова появляется. Больше того: его самого во весь рост белым на черном фоне изобразили в форме эсэсовца. Руки его в крови. Возле него лежит мальчик и корчится в предсмертных муках. Карл хватает тряпку и начисто вытирает доску. Он обреченно машет рукой и направляется к своей парте.

И опять наваждение: на его месте сидит другой мальчик. Кто это может быть? Вдруг, словно у него пелена спала с глаз, он узнает в нем чистильщика сапог Моника Бинника.

Что сегодня в школе происходит? Каким образом этот недочеловек оказался здесь, да еще смеет нагло, с вызовом смотреть ему в лицо? Сейчас он ему покажет, кто есть кто...

Возможно, ему хватило бы ума воздержаться от скандала: здесь ведь не штрафной плац в Собиборе.

В это время учительница тронула его за руку и сказала:

«Карл, тебе, очевидно, нездоровится, и я освобождаю тебя от занятий. Сегодня в нашем классе будет одним учеником меньше».

Как это — меньше? Неужели никто не видит, что здесь есть лишний? А как он пойдет домой, что скажет матери? Что же делать? Он, кажется, сейчас этого Моника Бинника вышвырнет в коридор. Но только протянул руку — увидел, что вместо Бинника сидит Печерский. Тот самый, что избежал «небесной дороги». Сорок лет прошло с тех пор, как они перед оружейным складом стреляли друг в друга и оба остались в живых. Теперь они снова встретились... Ему не хватило дыхания, и он проснулся. Такое никогда ему не снилось. Совесть и раньше его не мучила, не терзает она его и сейчас.

Тщательно выбритый, в новом костюме, Френцель спускается на первый этаж в кафе. Официант знает, какие блюда этот господин постоянно заказывает. На этот раз Френцель справился с завтраком несколько быстрее обычного. В дни, когда ему предстоит идти в суд, он задерживается за завтраком дольше. Вчера они договорились с Гансом Зигелем с утра встретиться в Гевельсберге.

Гевельсберг раскинулся вдоль автотрассы между Хагеном и Вупперталем. Особенно не разгонишься. В утренние часы на дороге много машин. Равномерно гудит мотор, но вот начался подъем, и он чуть было не заглох. Френцель переключает скорость. Он зорко смотрит перед собой через ветровое стекло. Собака с отвисшим животом перебежала дорогу, даже не обратив внимания на машину. К автомобилю она привыкла. Будь на его месте лошадь, она, вероятно, от неожиданности испугалась бы.

С Гансом Зигелем Френцель познакомился лет двадцать тому назад. При первой встрече Ганс произвел впечатление неприметного, простоватого молодого человека. Тогда Френцелю и в голову не приходило, что не Рейнч, а Зигель со временем станет его настоящим советчиком. Сейчас Зигелю сорок восемь. Это человек с обширными связями. Денег он в свое время вытянул из Френцеля не меньше, чем Рейнч, но, как он, Френцель, сумел убедиться, шли они не в его собственный карман, а на нужды неонацистов. Зигель живет в Бонне, но в последнее время часто наезжает в Гевельсберг. Возможно, оттого, что это недалеко от Хагена, где так много лет занимаются Собибором, а может быть, потому, что Гевельсберг — город необычный. Жителей в нем не так уж много — чуть более тридцати тысяч, но преобладающее большинство из них было и осталось враждебным нацизму. В

ландтаге и поныне действует коммунистическая фракция.

На углу у Хагенштрассе Зигель разговаривает с двумя молодыми людьми и, хотя он заметил, что Френцель подъехал, беседы не прервал. Френцель остановился, прижав машину к краю тротуара, и стал ждать, когда Зигель освободится. У Зигеля в руках огромный портфель, скорее похожий на чемодан. Широкой ладонью он оглаживает бороду, обрамляющую лицо, и прислушивается к тому, что говорят ему его собеседники.

Наконец Зигель закончил разговор. Френцель вышел из машины, и они направились к многоэтажному дому, построенному в стиле модерн.

— Как дела, герр Френцель? — спрашивается Зигель.

— Так себе, — отвечает Френцель со страдальческим видом. — Я накануне пережил такой день и такую ночь, что состарился на целый год.

— А от меня хотите, чтобы я помог вам помолодеть?

— Даже вы не в силах это сделать.

— Напрасно так думаете. Посмотрите на женщину, что идет впереди нас. Видите, как она держится? Идет будто танцует.

— К сожалению, я вышел из того возраста, когда это могло на меня произвести впечатление. Все уже в прошлом.

— И все же...

— Девица как девица.

— А сколько, вы думаете, этой девице лет?

— Ну, двадцать, возможно, двадцать пять.

— А что, если пятнадцать?

— Быть не может, — удивился Френцель.

— Держу пари. Сейчас спросим у нее самой.

— Не надо. Мне теперь не до этого.

В квартире, которую Зигель снял на время и где Френцель уже не раз бывал, они уселись в рядом стоящие глубокие кресла.

— Это, Карл, называется акселерацией, — продолжал свою мысль Зигель. — Вы обратили внимание, какие формы у этой девицы, как вы изволили ее назвать? Но не о ней речь, — повернул он разговор в другую сторону. — Природа без всяких лозунгов и деклараций делает свое дело. А вот вы, наши предшественники, что делали? Вы были настолько уверены в себе, что не уставали без конца провозглашать: «Германия — непобедима!» А чем все это кончилось? Как вы могли это допустить? Френцель молчал.

— Такого вопроса вы от меня не ожидали?

— Вы правы, не ожидал. То есть не ожидал, что этот вопрос вы зададите мне. Нет больше Гитлера. Геббельса, — так спрашивайте у Гесса. Он же был заместителем фюрера по партии, и вам, очевидно, известно, где он. В том, что произошло, моей вины нет.

— Вы ведь не тот Карл Френцель, каким были сорок лет назад. Теперь при желании вы можете ответить, и довольно обстоятельно, не хуже иного эрудита. Даже когда вы сидели в тюрьме, вы просили меня доставать для вас такие книги, о которых я понятия не имел.

Френцель уже было пожалел, что ответил не так, как надо было. С Гансом Зигелем приходится уxo

держат востро и не дают ему повода, чтобы он обходился с тобой как с манекеном — вертел то вправо, то влево. В противном случае ты у него в руках и собою уже не распоряжаешься.

— Да, литература меня интересовала и тогда, когда я был в заключении, главным образом театр и кино.

— Человек вы изворотливый, только гибкости маловато. Вы ведь сейчас стоите не перед судом в Хагене, к чему тогда все ваши увертки? Вы не помните, что сказано в книге Рудольфа Гесса, которую вы мне подарили? Не помните? На вопрос: «Если бы вам пришлось начать сначала, пошли бы и вы снова за таким человеком, как Гитлер?» — автор воспоминаний отвечает: «Да! Тем же путем. Разумеется, служил бы Гитлеру». Эти строки вы подчеркнули карандашом и, вероятно, запомнили их не хуже меня. «В том, что произошло, моей вины нет», — говорите вы, но это неверно. Вашим Собибором суды занимаются вот уже в шестой раз. Процессы длятся годами, и это дает повод кое-кому утверждать, что немцы хотели истребить целые народы.

Как по-вашему: почему без конца склоняют и пережевывают события в Собиборе? Кто бы знал об этом лагере, если бы вы не допустили, чтобы там произошло восстание? Молчите? Кроме вас, никто другой в этом не повинен. Много ли в Германии найдется людей, которые жили в то время так вольготно, как вы? В лагерях для вас были созданы, можно сказать, райские условия. Вам выпадало все лучшее. А вы чем отблагодарили? Здоровенный обершарфюрер СС с автоматом в руках, видите ли, не мог справиться с их главным атаманом, у которого душа в теле еле держалась. Не возражайте, Френцель. Как готовилось и прошло восстание, я знаю не хуже вас. Возле оружейного склада вы пустили в ход автомат, но, как только увидели Печерского, спрятались за угол. Он с одним пистолетом в руках стоял во весь рост и не давал вам преследовать беглецов, а вы, ползая на четвереньках, отступали. Это подтверждают и Бауэр, и Вольф — они были рядом с вами. А подчиненные вам вахманы куда смотрели? Их в лагере было, ни мало ни много, двести пятьдесят человек, и вы, как старший в лагере офицер, ими распоряжались. Десятилетний мальчуган Дрешер у вас под носом таскал винтовки и передавал их слесарям. Шмайзнер с первого же выстрела уложил на месте пулеметчика на наблюдательной вышке.

Все это так и было, но что за бес вдруг вселился сегодня в Зигеля? — не мог понять Френцель. Когда они встретились, ему даже показалось, что тот был в хорошем расположении духа. Может быть, есть смысл напомнить ему, что и уполномоченный Гимmlера тогда пришел к заключению, что он, Френцель, ни в чем не виноват. К чему теперь ворошить прошлое? С него вполне хватит судей в Хагене.

Зигель принес две бутылки холодного пива, покрытых густыми каплями влаги. Одну из бутылок он обтер полотенцем и разлил пенящееся пиво в увесистые кружки. И уже более спокойно продолжал: — Те двое, с кем вы меня видели, хотят следовать по тому же пути, что и вы, «бывшие». Они похваляются, что где-то в окрестностях на одном из еврейских кладбищ разрушили надгробия, и показали мне газетные вырезки с описанием их подвига. В десяти странах на десяти языках о них сообщала печать.

— Чем же они вам не понравились?

— Тем же, чем и вы. Вы однажды уже восстановили против себя полмира. Хватит. Борьба надо против идей, а не против народов.

— Кто же вам не дает? — спросил Френцель обиженным тоном и, поднявшись с кресла, принялся

расхаживать по комнате.

— Теперь надо все заново пересмотреть и продумать. Прочтите, что здесь пишут, — достал Зигель из портфеля какой-то листок, — свеженькая типографская краска не успела еще выветриться. Это обращение и называется «За безатомный Гевельсберг». Видите, сколько под ним подписей, имен, адресов?!

— Вы можете их уничтожить? Здесь и в других городах и странах?

— Пока нет.

— Какие же у вас претензии к нам, «бывшим», как вы нас называете?

— Тогда, во времена Гитлера, это можно было сделать. И еще: не забывайте, что если бы вы были только «бывшим», вряд ли мы стали бы вами интересоваться.

— Что вы имеете в виду? — переспросил Френцель.

— Возможно, вами тогда занимался бы кто-нибудь другой, а не мы, — сказал Зигель и раздраженно добавил: — Что вы мечетесь из угла в угол, здесь же не камера.

Что это сегодня с Зигелем? Даже в тюрьме с Френцелем никто таким тоном не разговаривал.

Следовало бы его отчитать, но сначала надо узнать, с чем он пришел, что, собственно, хочет сказать, а уж потом видно будет.

— Не обращайтесь внимания. За шестнадцать лет, что мне пришлось просидеть в заключении, у меня это вошло в привычку.

— Об этом, Карл, расскажете кому-нибудь другому, но не мне. В так называемом заключении жилось вам намного лучше, чем кое-кому на свободе. У вас было все, что вы желали, ни в чем недостатка не испытывали. Правда, вели вы себя там примерно, жаль только, что это уже больше не секрет для тех, кому лучше бы этого не знать.

— Ганс... — Френцель на мгновение запнулся, — что-то я вас сегодня плохо понимаю. Никаких секретов я никому не выдавал.

— Вы — нет, а вот другие... Посмотрите-ка эту книжонку, — Зигель достал из портфеля и протянул Френцелю брошюру, — я вам ее подарю. Вышла она в Дортмунде в 1982 году. Автор, Юрген Поморин, назвал свое произведение «Тайные источники. По следам фашистской мафии».

Естественно, что и вас он не обошел стороной. Там и ваше имя упомянуто. Откройте страницу сто семьдесят шестую, у меня там закладка, и вы убедитесь, как хорошо он проинформирован о ваших связях с организацией СС во время вашего заключения. Вы, однако, не волнуйтесь. Вам это не помешает. На то она собака, чтоб лаяла...

Френцель взял в руки книгу, вынул из нее закладку — обыкновенную каталожную карточку, какими пользуются в библиотеках, — увидел в одном месте приписку на полях и не удержался, чтобы не прочесть. Должно быть, это была запись самого Зигеля:

«Официальные данные. С 1945 по 1980 годы в ФРГ было возбуждено 86 498 судебных дел против лиц, обвиняемых в военных преступлениях, из них 76 602 были оправданы».

На 176-й странице Поморин рассказал о связях Френцеля с неонацистской организацией «Тихая помощь», занимающейся «облегчением участи» осужденных военных преступников. Если можно было бы, Френцель во всеуслышание повторил бы то, что сказал о нем Поморин, и пусть все знают, не только кем он, Френцель, был, но и кем остался.

И все-таки этого писасу не помешало бы проучить, чтобы другим не повадно было лезть в чужие

дела. И у него вырвалось:

— Ганс, а что, если этого Юргена Поморина...

— Я уже, кажется, говорил вам, что ваши знаменитые три способа устарели.

— О каких способах вы говорите? — удивился Френцель.

— О тех самых, которые вы применяли для уничтожения людей: выстрел в затылок, веревка на шею или удушение газом.

— Ах, вот что вы имеете в виду. А как же иначе? Без ножей, без ружей не воюют.

— Атомные бомбы, нейтронные бомбы, «першинги» — вот что современно, — на лице Зигеля ни один мускул не дрогнул. Глаза его смотрели серьезно и спокойно.

— Кого же вы хотели бы уничтожить — идеи или народы? — попытался уточнить Френцель.

— Мы должны завершить то, что вы начали. В такое положение вы нас поставили.

— А народы, думаете, будут сидеть сложа руки и дожидаться, когда вы их уничтожите?

— Я так не думаю. Мы их должны опередить.

— Да, да, — Френцель закивал головой, — но что произойдет, если это не удастся?

— Подобную мысль, — Зигель строго посмотрел на Френцеля, — надо выбросить из головы. На этот раз мы не проиграем.

— Я теперь в лучшем положении, чем вы, — заметил Френцель больше для себя, нежели для Зигеля.

— Это почему?

— Меня это минет.

— Как знать, как знать... Значит, вас все это не касается и шагать с нами в ногу вам уже незачем.

— Не спешите с выводами. Это не так. Меня интересует другое: как вы думаете, кто-нибудь останется в живых?

— Пока не будем об этом, — переменяя тон, продолжал Зигель. — Нам надо поговорить об одном серьезном деле. У нас к вам просьба, и вам придется непременно ее выполнить. — Он встал. — Сейчас принесу еще пива.

Френцель недоумевал: чем объяснить, что Зигель на этот раз настроен так недружелюбно и почему до сих пор словно играл с ним в прятки? «У нас к вам просьба»... Кто знает, чего от него хотят и кто эти «у нас». Ясно одно: ни в коем случае нельзя давать ему повода думать, что он, Френцель, испугался. Неожиданно у него мелькнула мысль: Зигеля уполномочили хорошенько потрясти его карманы. Тонко, учтиво, но ограбить. Нет, этому не бывать! Атомные бомбы, «першинги» — все, что хотите, только не за его счет. Да, он никому ничем не обязан. Если все же Зигель будет настаивать, то придется ему объяснить, что к бриллиантам и алмазам, которыми занимался Куриэл, он, Френцель, доступа не имел, а от того, что он сберег в лагере, уже почти ничего не осталось. Зигель принес еще несколько бутылок пива и, поставив на стол, сел против Френцеля. Оба долго молчали. Наконец Френцель, не выдержав, сказал:

— Ганс, о чем вы хотели меня просить и почему предупредили, что мне придется эту просьбу непременно выполнить?

Френцель собрался было взять в руки кружку пива и вдруг услышал:

— Просьба состоит в том, чтобы вы непременно выиграли этот процесс.

Это прозвучало неожиданно. Не переводя дыхания, Френцель залпом осушил свою кружку. Он только сейчас заметил, до чего здесь уютно и какой голубоватой белизной сверкают занавески. Он

ничего не имел бы против, чтобы Зигель повторил только что сказанное.

— Ха-ха-ха, — расхохотался Френцель. — С дураком, говорят, шутить опасно, но если ваши слова не шутка, то мне это по душе.

— Жаль только, что у нас немного таких дураков. Все, что происходит на суде, мне известно. В дальнейшем вам на время придется изменить свое поведение. Вам предстоит сыграть совсем другую роль, отличную от той, которую вы играли до сих пор. И должен вас предупредить — нелегкую. Точно так же, как со мной — совершенно спокойно, мирно, — вам придется тет-а-тет побеседовать с одним из свидетелей, выступающих на суде против вас. Вы ведь имели дело с театром, но должны учесть, что суфлера рядом с вами не будет. Представьте себе на минуту, что это театр двух актеров. Сотни газет и журналов во всем мире охотно и со всеми подробностями будут описывать перипетии этой драмы.

Френцель почувствовал, что его снова зажали в тиски. Напрасно он рассчитывал, что от Зигеля можно ждать чего-либо хорошего. Но как подобное могло прийти ему в голову, да еще этот требовательный тон... Вот уж воистину из огня да в полымя. Его даже бросило в жар. От такой игры хоть кому станет не по себе. «Спокойно, мирно»... Скоро двадцать лет, как время от времени ему приходится сталкиваться со своими ярыми врагами. Все они готовы растерзать его. Теперь Зигель хочет, чтобы он с глазу на глаз встретился с одним из них. Мало ему того, что он встречается с ними на суде. Нет, этого он не сделает.

— Карл, — Зигель стряхнул пепел с сигареты, — что же вы молчите? Время дорого. Работы, как вы понимаете, у меня и без вас по горло. Правда, теперь вы для меня важнее всего. — И, видя, что Френцель пытается что-то возразить, закончил: — Догадываюсь, что вы собираетесь мне сказать. Но сто́ит ли, если так или иначе вам придется сделать то, чего от вас ждут.

— Нет, — набрался храбрости Френцель, — это выше моих сил. Если такая встреча нужна, подыщите кого-нибудь другого вместо меня.

— Исключено. Вы над ними властвовали, и вам поручается просить прощения у одного из бывших узников. Вы ему терпеливо объясните, при каких обстоятельствах вы вынуждены были стать нацистом, вы ему скажете, что пора забыть то, что больше не повторится. Сделать это надо с умом. Для большей убедительности можете нас, неонацистов, ругать сколько вам угодно. Уверяю вас, что в данный момент так нужно, и никто ни в чем вас не упрекнет. Наоборот, мы вам еще поможем написать книгу мемуаров.

Френцель вспомнил, чем кончил Вагнер. Но как вывернуться из цепких объятий Зигеля?

— Ганс, поздно вы обо мне вспомнили. Я уже не в том возрасте. Прошу вас, подберите кого-нибудь другого.

Зигель посмотрел на Френцеля так жестко, что тот невольно отодвинулся от него.

— Герр Френцель, довольно, — отчеканивая каждое слово, проговорил Зигель. — Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что приказы подлежат беспрекословному выполнению.

Френцель готов был стать перед Зигелем на колени. Он жалобно прошептал:

— Почему именно на меня пал жребий просить прощения? Неужели другого не нашлось?

— Не я, а Александр Печерский назвал вас. Чему вы удивляетесь? На днях советское Министерство иностранных дел провело пресс-конференцию по поводу привлечения к ответственности, как они выражаются, военных преступников. На конференции присутствовали журналисты многих стран.

Миллионы людей слышали и читали выступление Печерского о ваших деяниях. Он рассказал и о судебном процессе, который сейчас проходит в Хагене.

Достаточно было взглянуть на Френцеля, чтобы понять, как он перепуган. На висках выступили капельки пота. Лишь теперь до него дошел смысл сказанных Зигелем слов: «Просьба состоит в том, чтобы вы непременно выиграли этот процесс». Проиграть он может. Это уж точно. Похоже, что и московская конференция придумана. Зигель дойдет его не мытьем, так катаньем.

— Ганс, вы сами слышали и читали? — хочет убедиться Френцель и повторяет: — Ганс, вы сами...

— Да, Карл, — спокойно отвечает Зигель. — Да, и вы можете об этом прочесть. Откройте этот журнал, и вы найдете в нем подробный отчет о конференции.

Френцель увидел свое имя, отодвинул журнал и гневно произнес:

— Опять Печерский. И на этот раз он метит в дирижеры.

Зигель не преминул съязвить:

— Между нами говоря, оркестр для него создали вы сами. Да, да: не будь восстания, ему не пришлось бы рассказывать о Собиборе.

— Создал не я, — стал оправдываться Френцель, — а сам он и его подручные. Теперь я понимаю, почему меня спросили, согласен ли я снова посетить Собибор или съездить в Ростов.

— Ничего вы не поняли. Никто не вправе принудить вас.

— Вы же от меня требуете, чтобы я встретился с одним из тех, кто был в Собиборе. Сейчас вы мне скажете, что с Печерским.

— Я и суд — не одно и то же. Запомните это! Что до Печерского, к сожалению, я над ним не властен.

— Так ведь и над остальными бывшими узниками, проживающими в разных странах, вы не властны.

— Верно, и все же... Такая встреча с вами может и им быть полезной. Все, что я вам говорил, продуманно. Случайной встречи мы не допустим. Так с кем бы вы хотели встретиться?

У Френцеля отпала охота сопротивляться, но тем не менее он счел нужным сказать:

— Знаю, с кем мне не хотелось бы встречаться. Я бы отказался от встречи со Шмайзнером. Вы, наверно, тоже запомнили снимок в газете, где он отбрасывает руку Густава Вагнера.

— Вагнер с ним спорил, а вы первым подадите ему руку и поздороваетесь: «Здравствуйте, герр Шмайзнер!» Это еще не значит, что он в свою очередь подаст вам руку. Но вы должны будете улыбнуться и шутливо заметить, что еще в древние времена люди приветствовали друг друга, протягивая руку, чтобы показать, что в ней нет камня и они не таят зла.

— Должен вам сказать, Ганс, что начало задумано неплохо, ей-богу, неплохо.

— Это лишь один из многих вариантов, но раз не хотите Шмайзнера, мы его пока в расчет не берем, тогда с кем?

— Мне сегодня ночью приснился мой чистильщик сапог из лагеря.

— Френцель! Перестаньте! Не станете же вы беседовать с призраком. Так кого назовете?

— Допустим... — Он задумался. — Допустим, Тойви Блатта. Правда, этот мне сразу и припомнит, что его родителей я передал в руки Болендера.

— Каждый из них может вам что-нибудь припомнить. Блатт, говорите? — Зигель достал из портфеля толстый блокнот с алфавитным указателем и открыл страничку на букву «Б». — У меня значится тут Томас Блатт. Это тот же? Томас Блатт опубликовал ряд материалов о Собиборе, сделал кинофильм и выдает его за документальный. За последние три года он дважды побывал в России и оба раза

встречался с Печерским.

Теперь Френцель вспомнил, что на первом процессе по делу Собибора никому из адвокатов не удалось сбить с толку Блатта. Свои показания он давал убедительно и умно.

— Ганс, а что, если и от Блатта отказаться?

— Шмайзнер не подходит, Блатт тоже. Может, вам больше по душе Курт Томас — тот, что вас ловко выследил и вынудил полицию посадить вас за решетку? Уж он-то напомнит вам, что вы несете полную ответственность за семьдесят одного голландца, которых расстреляли в Собиборе. Но коль вы так хотите, давайте еще полистаем список. Меер Зисс сам видел, как вы ударом сапога размозжили ребенку голову. Цукерман — тот вытащит свои вставные зубы и скажет: «У меня теперь такие потому, что мои Френцель выбил». А захочет — снимет рубашку и покажет рубцы на теле: двадцать пять ударов вы ему тогда всыпали. Каждый, Френцель, найдет, что сказать о вас, и не пытайтесь повторять свою выдумку о том, что после восстания в карманах убитых узников находили письма, в которых о вас писали как о хорошем человеке. Не мусольте и версию, будто верили, что осужденные были переносчиками инфекционных болезней и это вынуждало вас уничтожить их. Короче говоря, если Блатт прибудет из Америки для дачи показаний на суде и не откажется встретиться с вами, остановимся пока на его кандидатуре.

— Может, все же лучше остановиться на Самуиле Лерере? Он также живет в Америке, — нерешительно предложил Френцель.

— Ну, этот как раз из тех, кто стукнет вас кулаком по башке, и судись потом с таким. Это он в Луна-парке взял Бауэра. Давайте больше не обсуждать кандидатуры. Наша встреча и без того продолжалась дольше, чем я рассчитывал.

Еврей Тойви Блатт и ээсовец Карл Август Френцель впервые увидели друг друга весной 1943 года на перроне железнодорожной станции Собибор. Тойви Блатт вспоминает: «Нас привезли в товарных вагонах. Двери распахнулись. Охранники в черной форме заорали: «Выходи, выходи!» Мы столпились на перроне. Появился Френцель и распорядился, чтобы ремесленники вышли вперед. Вышли все мужчины, так как инстинктивно почувствовали, что те, кого возьмут, имеют шанс остаться в живых. Я стал умолять Френцеля, чтобы меня тоже взяли, и он ткнул в меня пальцем: «Будешь чистить мне сапоги».

14 октября 1943 года Тойви Блатт и Карл Август Френцель снова встретились. Группа сопротивления подготовила массовый побег узников лагеря. До этого, 2 августа 1943 года, четверемстам евреям из лагеря Трешлинка, расположенного в Восточной Польше, удалось совершить побег.

Блатт рассказывает: «Я с группой узников бросился к воротам. Тут я увидел Френцеля. Он вел огонь из автомата. Но мы скоро оказались за воротами».

В середине шестидесятых годов Блатт увидел Френцеля, но уже в качестве подсудимого на Собиборском процессе, проходившем в Хагене. Он был приговорен к пожизненному заключению. Теперь, в 1982 году, Блатт был снова приглашен как свидетель в Хаген, где суд присяжных рассматривал апелляцию Френцеля о пересмотре его дела. Блатт в который раз увидел того, кто отправил в газовые камеры его брата, мать, отца, друзей, всех жителей его родного города Избица. Он его не узнал. Семидесятидвухлетний обвиняемый Френцель с большими залысинами и двойным подбородком, робко взирающий на всех из-под толстых стекол очков, — этот тучный мужчина с

красными прожилками на лице ничем не напоминал безжалостного обершарфюрера СС, коменданта первого лагеря, распоряжавшегося жизнью и смертью заключенных.

Тойви Блатту не забыть и не простить того, что происходило в Собиборе. Спасшись от смерти, он дал себе клятву сделать все, чтобы люди не забывали о шести миллионах погубленных евреев и об их убийцах. Когда кончилась война, он поставил перед собой цель разыскивать убийц. Его интересуют общественные условия и личные обстоятельства, приведшие к национал-социализму и его массовым преступлениям. Это побудило его согласиться на встречу с Карлом Августом Френцелем. Приводим некоторые выдержки из их разговора.

Б л а т т. Вот вы сидите, пьете пиво и при этом улыбаетесь. Вы могли бы быть чьим-то соседом, чьим-то товарищем по спортивному союзу. Но вы не просто «кто-то». Вы — Карл Френцель, обершарфюрер СС. Вы были третьим по значимости в руководстве лагерем смерти Собибор, комендантом первого лагеря. Меня вы помните?

Ф р е н ц е л ь. Смутно. Вы тогда были совсем мальчишкой.

Б л а т т. Мне было пятнадцать лет. Никто из моих родных не уцелел: погибли отец, мать, брат.

Ф р е н ц е л ь. Это ужасно. Ужасно.

Б л а т т. По меньшей мере четверть миллиона человек погибли в Собиборе. Я остался в живых.

Почему вы захотели поговорить именно со мной?

Ф р е н ц е л ь. Я хотел просить у вас прощения.

Б л а т т. Вы хотели просить у меня прощения?!

Ф р е н ц е л ь. Да. Я хочу просить у вас прощения. Жертвам уже ничем не можешь. Прошлого не вернешь. Это не в наших силах. Но я лично хочу просить у вас прощения. Ни на вас, ни на других свидетелей, которые еще будут выступать, я зла не таю.

Б л а т т. Так, значит, вы хотели просить прощения?

Ф р е н ц е л ь. Я это говорю вам еще раз со слезами на глазах. Не только теперь, но и тогда это не давало мне покоя.

Б л а т т. Это вам не помешало не только не препятствовать, но и самому принимать участие.

Ф р е н ц е л ь. Вы не знаете, в каких обстоятельствах мы находились.

Б л а т т. А мы, в каких обстоятельствах оказались мы?

Ф р е н ц е л ь. Я просидел в тюрьме шестнадцать с лишним лет. Я много выстрадал и много передумал.

Б л а т т. Вы были антисемитом или вас к этому принудили?

Ф р е н ц е л ь. Антисемитом я не был, но мы обязаны были исполнить свой долг.

Б л а т т. «Долг»... Каждый раз только и слышишь: долг. Но почему, когда мы прибыли в лагерь, вы избили моего отца дубинкой до полусмерти? Это тоже долг?

Ф р е н ц е л ь. Этого я не помню.

Б л а т т. А Цукермана помните?

Ф р е н ц е л ь. Помню. Он был поваром. Он припрятал кусок мяса, и за это я его избил.

Б л а т т. И его сына тоже.

Ф р е н ц е л ь. Он подошел ко мне и сказал: «Отец не виноват, это я спрятал мясо». — «Тогда и ты получишь двадцать пять ударов плетью», — заявил я ему. Вы должны знать: я всегда поступал благородно.

Б л а т т. Благородно, говорите? А как вы обошлись с голодным мальчиком, который нашел где-то банку сардин? А что вы сделали с голландскими евреями?

Ф р е н ц е л ь. Один из капо мне доложил, что группа голландских евреев задумала совершить побег. Я об этом доложил Нойману, и тот приказал казнить их.

Б л а т т. И вы их отправили в газовую камеру?

Ф р е н ц е л ь. Нет, не я.

Б л а т т. А паренька из станционной команды по фамилии Берлинер, которого вы приказали убить, припоминаете?

Ф р е н ц е л ь. Припоминаю. Капо из станционной команды мне доложил о какой-то его провинности, и охранники спросили, как с ним быть. Я, вероятно, им ответил: «Побейте его», или что-то в этом роде. Ведь сказано это было в присутствии других офицеров.

Б л а т т. Вы же сами отец, и у вас были дети, и вы могли равнодушно смотреть, как у вас на глазах гибли малолетние, совсем крохотные дети?

Ф р е н ц е л ь. Я хотел бы, чтобы вы знали: однажды Вагнер приказал отправить женщину с маленьким ребенком в газовую камеру, а я добился, чтоб эту женщину послали на работу в прачечную.

Б л а т т. После чего оба они — и мать и ребенок — все равно погибли.

Ф р е н ц е л ь. Этого я уже не знаю.

Б л а т т. Почему вы вступили в национал-социалистскую партию?

Ф р е н ц е л ь. Была большая безработица, а партия обещала, как только она придет к власти, обеспечить всех работой. В то время с безработицей было примерно такое же положение, что и сейчас. Находятся же теперь такие, которые примыкают к партии «Зеленых», иные — к бандитам. В то время мы такими испорченными, как нынешние, не были.

Б л а т т. В кирху вы ходили?

Ф р е н ц е л ь. Да, и даже часто.

Б л а т т. Вы не чувствовали, что между вашей религиозной и политической позициями существует противоречие?

Ф р е н ц е л ь. Нет. Мы ведь были немецкими христианами. (Часть евангелической церкви, близкой к нацистам. — Примечание редакции журнала «Штерн».)

Б л а т т. И вы как христианин не испытывали угрызений совести за все то, что тогда происходило?

Ф р е н ц е л ь. Я сожалею, что был заодно со всеми.

Б л а т т. А что теперь говорят об этом ваши близкие, ваши дети?

Ф р е н ц е л ь. Дети ненавидят прошлое и считают все это преступлением. Но со мной они не порывают и меня не презирают. Они видели фильм о крушении рейха, после чего мы о нем какое-то время спорили.

Б л а т т. Фильм, думаете, может дать представление о том, что тогда происходило?

Ф р е н ц е л ь. Нет, не может.

Б л а т т. То, что происходило в действительности, было куда страшнее.

Ф р е н ц е л ь. Верно, намного страшнее. Словами этого не передать. Я хотел бы вас просить, чтобы вы посмотрели на меня под другим углом зрения. Не из Собибора. На моей совести много человеческих жизней. Не одна, нет. Сто тысяч человеческих жизней на моей совести.

Б л а т т. Почему же немцы утверждают, будто все это вранье, этого не было, и что в таких случаях говорите вы?

Ф р е н ц е л ь. Когда мои дети и друзья спрашивают, правда ли это, я отвечаю: правда, было. И когда они говорят, что такого быть не могло, я повторяю: действительно было, и неверно утверждать, будто этого не было.

Б л а т т. Почему же вам не пойти в редакцию какой-нибудь газеты и не сказать им: я там был, я там работал, и все, что об этом говорят, — правда.

Ф р е н ц е л ь. Если бы я вздумал сделать так, как вы говорите, — пошел бы в редакцию и сказал: «Я сам в этом участвовал, все это правда, да, миллионы евреев были истреблены», — моя жизнь ломаного гроша не стоила бы.

Б л а т т. Кого вы опасаетесь?

Ф р е н ц е л ь. Неонацистов.

Б л а т т. Неужели они так уж сильны?

Ф р е н ц е л ь. Нет, они не так уж сильны, но их следовало бы запретить.

Б л а т т. Коль скоро они не так уж сильны, чего же вам опасаться? Взяли бы да рассказали все. Вам есть что рассказать миру.

Ф р е н ц е л ь. Неонацисты проникают всюду. И если бы я сунулся в печать... У них ведь и там свои связи.

Б л а т т. И еще раз: для какой цели вам понадобилось поговорить со мной?

Ф р е н ц е л ь. Я хотел лично просить у вас прощения за все то, что тогда происходило. И если вы меня простите, это для меня будет небольшим утешением. Мне хотелось поговорить с вами как человеку с человеком. Я догадываюсь, что вы сейчас обо мне думаете, вы меня ненавидите. Но я на вас зла не держу.

Б л а т т. Вы еще о чем-то хотели меня спросить?

Ф р е н ц е л ь. Нет. Больше ничего. Мне хотелось бы, чтобы теперь, сорок лет спустя, вы смотрели на меня не как на эсэсовца, а как на обыкновенного человека...

Некоторые дополнительные данные о палаче и его жертве.

Карл Френцель: После восстания в Собиборе — с осени 1943 года и до конца войны — входил в состав одной из воинских частей, ведших борьбу с партизанами в Северной Италии. В 1945 году взят в плен американцами, но уже в мае освобожден из-под стражи. В ноябре 1945 года возвращается в свой родной город Лёвенсберг. В том же месяце переезжает в Гёттинген и там же со временем становится заместителем заведующего режиссерского отделения киностудии «Фильм-ателье ГМБХ».

Тойви Блатт: После восстания в Собиборе скрывался от нацистов в Восточной Польше. В 1945—1946 годах — офицер службы связи польской армии. Принимал участие в розыске и преследовании немецких военных преступников. Вел замкнутый образ жизни. Работал проводником в горах. В 1959 году поселился в Калифорнии и теперь владеет в Санта-Барбара магазином автомобильных радиоприемников. Часто приезжает в Собибор и объясняет это тем, что «воспоминания сильнее меня и возвращают меня снова и снова к месту катастрофы».

О нравах, точнее своенравии западногерманского правосудия ходят легенды.

Не сосчитать, уж сколько раз оно удивляло мир своей исключительной способностью делать очевидное невероятным: брать под защиту и оправдывать отъявленных преступников...

Свежий пример тому — процесс в Хагене. Длился он долго. Рассматривалось дело бывшего обершарфюрера СС Карла Френцеля. Эсэсовский палач, орудовавший в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши, участвовал в убийстве по меньшей мере 150 тысяч заключенных. Известно, что всего в этом лагере в годы войны было уничтожено свыше четверти миллиона узников.

В 1966 году Френцель был приговорен к пожизненному заключению, но через четырнадцать лет добился пересмотра своего дела и вышел на свободу. Суд в Хагене затянул разбирательство на пять лет и вот недавно вынес свой вердикт: признав Френцеля виновным в совершенных злодеяниях, он тем не менее... освободил военного преступника от наказания, «приняв во внимание его возраст». Это очередная иллюстрация к вопросу о том, к кому западногерманская Фемида добра, а к кому нет.

## ЕЩЕ ОДНО ПИСЬМО К АЛЕКСАНДРУ ПЕЧЕРСКОМУ

### Вместо эпилога

«Нашему дорогому, сердечному другу Александру Печерскому и его семье. Долгой вам жизни и доброго здоровья!

Этими словами и не иначе велит мне Фейгеле начать письмо к тебе. Я пока повинуюсь ее указаниям. «Пока», но дальше моему перу не поспеть за потоком ее слов. Они у нее выстраиваются в таком порядке, будто она читает с листа. Фейгеле хочется, чтобы я подробно рассказал тебе обо всем, что произошло за последнее время.

И на этот раз приходится мне оправдываться за то, что так долго не писал. Отхлестать меня не грех, но не думай, что в круговерти жизни мы о тебе забываем. Это исключено! Я по горло увяз в делах, и так изо дня в день. И не только пациенты тому виной. Предстоящий свой отпуск мне придется провести не там, где мне хотелось бы, а снова в Латинской Америке. Ох, как нам не хватает Леона Гросса!

Подумать, как быстро бежит время. Почти сорок два года прошло со дня восстания, когда мы впервые не во сне, а наяву увидели, как палачи падают под ударами обреченных. Мне кажется, что только тот, кто пережил лагеря смерти, может в полной мере понять, какое мужество требовалось, чтобы оказать сопротивление и победить. Да, ты, Александр, тысячу раз прав. Пусть хоть раз в году — четырнадцатого октября, — но, пока мы живы, переключка собиборовцев должна продолжаться. Мы обязаны дать о себе знать. Многие снова вынашивают идеи фашизма, а каждый из нас говорит от имени десятков тысяч жертв этой проказы.

Спасибо тебе за газетные вырезки. Я наконец наткнулся на человека, знающего русский язык, и он сделал для меня перевод всего текста. О том, что Хагенский окружной суд, занявшийся опять делом Френцеля, выезжал в Донецк, я знал из сообщений печати. Не выслушать показаний шести собиборовцев, граждан СССР, они на этот раз не могли. Ваших журналистов поразила несуразность вопросов, которые судьи вам задавали, и они отмечают, с каким достоинством вы, свидетели, на них отвечали. Мы здесь уже давно привыкли к тому, что искать логику и тем более объективность у большинства западногерманских судей — пустая затея.

Я не могу забыть, как вела себя на суде Эстер Рааб, давая показания против Бауэра, Гомерского и особенно Френцеля. Рейнч обрушил на нее такой шквал заковыристых вопросов, что ответить на них, даже если речь шла бы о событиях, происшедших только что, человек не в состоянии. Казалось, что вот-вот он потребует от нее письменного документа, заверенного подписью и печатью самого

Штангля или хотя бы Вагнера и удостоверяющего злодеяния Френцеля. Рейнч был подчеркнуто спокоен, а Эстер Рааб с трудом удерживала клокотавшее в ней негодование, наконец она не выдержала и заявила ему: «Можете меня больше ни о чем не спрашивать, все равно я ничего вам не скажу. Все знают, что вы собой представляете. И, если один нацист защищает другого, я отвечать не стану».

Френцеля, будь он трижды проклят, мне не хотелось больше упоминать, но трудно удержаться, чтобы не поделиться с тобой еще одним эпизодом. Уже после того, как суд освободил Френцеля, один западногерманский журналист спросил у него: «Как могло случиться, что профессионалы, отобранные самим Гиммлером, допустили, чтобы осужденные восстали?» Палач на это ничего не ответил, и журналист решил прийти ему на «помощь» и поставил вопрос по-другому: «То, что осужденные стремились во что бы то ни стало выжить, само собой разумеется, но при такой власти и при таких средствах уничтожения, какими вы располагали, могла ли у них остаться хоть капля надежды на спасение?» При этих словах Френцель взмахнул палкой и с досадой произнес: «Этот вопрос вам бы лучше задать Печерскому».

Теперь попытаюсь ответить на твои вопросы. Ты хочешь знать мое мнение о книге Ричарда Рашке «Бегство из Собибора», вышедшей в Америке. Недавно она была переиздана и у нас, в Голландии, и я могу ее тебе выслать. Коротко скажу вот что. Как я понимаю, основная задача подобных чисто документальных изданий — сказать правду. Это тем более важно в наши дни, когда возросла опасность войны, грозящей уничтожением человечества. Книга, на мой взгляд, не свободна от недостатков. Заметно стремление автора к сенсации. К чему, скажем, понадобилось намекать, что к смерти Вагнера причастны Шмайзнер и Блатт. Я не стану ручаться, что это не так, но по тем фактам, которые мне известны, в это трудно поверить. И все же это произведение наглядно подтверждает, что вопреки тому, что еще задолго до войны нацистские теоретики и практики сделали все, чтобы исключить всякую возможность к сопротивлению, осужденные не шли на смерть покорно.

Что касается фильма «Восстание в Собиборе», то хотя ставят его голландские кинематографисты, ты в Ростове больше в курсе дела, чем мы в Амстердаме. К тебе постановщики и операторы приезжали дважды, а мы никого из них в глаза не видели. Пока я могу судить только об их замыслах по плану, который ты мне прислал. Мне по душе их намерение показать особую роль Красной Армии в победе над фашизмом и доступно рассказать не только о так называемых процессах над военными преступниками, но и о наследниках Гитлера и об опасности неонацизма.

И наконец, коль скоро у нас зашел разговор о документальной литературе и кино, мы тебе сейчас сообщим одну новость, которая наверняка тебя заинтересует. Собственно говоря, новость эта с бородой, и если мы до сих пор об этом не писали, то только потому, что выжидали, как дальше будут развиваться события, и рассчитывали узнать еще что-то.

В конце 1983 года в голландских газетах появилось сообщение о том, что амстердамский столяр Карл Петерс в одном из домов во время ремонта обнаружил в старом шкафу сверток и в нем — дневник мальчика, погибшего в Собиборе. Вскоре выяснились подробности. Дневник, состоящий из двух тетрадей, вели Генри Рубинский, тогда ему шел тринадцатый год, и Гарри Шваб, двадцати восьми лет. Петерс обнаружил также киносценарий, написанный Генри Рубинским. Главное же состоит в том, что в доме, где скрывались семьи Рубинских и Швабов, кинооператор-профессионал по сценарию мальчика снял фильм.

Мы с Фейгеле побывали в этом доме. Застали там беспорядок, — должно быть, жильцы на время ремонта оттуда выехали. На первом и втором этажах хозяйничали маляры и обойщики. На третьем этаже наткнулись на Петерса. Только после того, как мы ему сказали, что сами были в Собиборе, он согласился рассказать подробности о находке.

— Сверток, — сказал Петерс, — был спрятан довольно искусно. Догадаться, что внутренняя перегородка шкафа двойная и в ней что-то скрыто, было почти невозможно. Сверток был завернут в газету «Дойче цайтунг ин ден Нидерланд» за 22 февраля 1943 года.

Дом, где укрывались эти две еврейские семьи, принадлежал голландцу Диреку Пресвику. Купил он его незадолго до войны, и прельстило в нем просторное подвальное помещение. В подвале он устроил что-то вроде ночного клуба для актеров, музыкантов, художников. Пресвик к этой публике благоволил и старался, чтобы его клиентура чувствовала себя хорошо. Здесь можно было не только вкусно и недорого поесть, но и до поздней ночи послушать и посмотреть игру лучших амстердамских актеров. Часто посетители расходились по домам уже под утро. Даже отъявленные подонки знали, что тех, кто вхож к Пресвику, лучше не трогать. Они понимали, что к полиции он за помощью не обратится и тем не менее с ним самим связываться рискованно. Это был отважный человек. Он доказал это, когда немцы оккупировали Голландию. Об этом теперь много рассказывают те, кого Пресвик спас от верной гибели.

Через два дня после нашей встречи с Петерсом в печати появились два коротких отрывка из сценария Генри Рубинского. Первый начинается со следующих строк:

«В Амстердаме, в районе, изобилующем казино, клубами и другими развлекательными заведениями, в одном из домов на протяжении года скрывались от немцев тринадцать евреев. Их убежище находилось на третьем этаже. В том же доме проживали четыре чистокровных арийца и, естественно, понятия не имели о нежелательном соседстве. В подвальном помещении этого же дома размещался ночной клуб, и его охотно посещали эсэсовцы и высокопоставленные офицеры вермахта».

Теперь послушай, что записал двенадцатилетний Генри в последний час 1943 года: «Я, старый, уходящий год, шагаю дальше своей дорогой. Но перед уходом мне хочется со всеми вами попрощаться. По правде сказать, дольше жить я не вправе, так как причинил вам много горя. Вас мучили, над вами издевались и после всего выгнали из родного дома. Многих угнали в Польшу. К великому сожалению, я ничего изменить не мог. И вот настала пора, когда я должен уходить. Может быть, идущий мне на смену Новый год покончит со всем этим. Одно могу вам пообещать:

«Извергам, совершившим все эти преступления, уготован горький конец».

Ничего больше, кроме этих двух выдержек, пока не опубликовано. Авторы не разрешают. Я не оговорился, Александр, именно авторы. Трудно было на это рассчитывать, но им обоим посчастливилось, и они остались в живых. Ученый Генрих Май (так теперь зовут Рубинского) возвратился из поездки по Японии в Амстердам. У себя дома он застал Гарри Шваба. Сорок с лишним лет каждый из них полагал, что он один из тринадцати уцелел. И еще оказалось, что единственный экземпляр этого тайно снятого уникального фильма сохранился у Шваба. Свой кинодокумент Рубинский и Шваб назвали: «Фильм для тех, кто будет жить после войны. 1 февраля 1943 г. Амстердам».

Пять миллионов гульденов предложили им за фильм, но от денег они отказались и заявили, что каждый, кто захочет, сможет его увидеть.

Как Рубинскому и Швабу удалось избежать «небесной дороги» — пока остается загадкой. По данным Голландского национального института документации военного времени, одиннадцать из тринадцати человек, скрывавшихся в доме Дирека Пресвика, погибли в Собиборе.

Вот и рассказали мы тебе еще одну историю, которая для нас звучит так, будто только вчера происходила. Следующее мое письмо к тебе, полагаю, будет уже после моего возвращения из «отпуска».

Обнимаем тебя и желаем доброго здоровья и счастья.

Осенью 1943 года в один из находившихся на территории Польши лагерей смерти гитлеровцы доставили транспорт советских граждан из Минска, которые, за исключением 80 человек, погибли в газовых камерах.

Среди оставшихся в живых был советский офицер А. А. Печерский. В рабочем лагере, куда фашисты перевели советских людей, он вместе с польским коммунистом Ш. Лейтманом создал подпольную группу, которая решила спасти обреченных на смерть товарищей. 14 октября 1943 года участники организации, перебив лагерную администрацию, повели заключенных на штурм проволочных ограждений. Более 400 человек вырвались на свободу и ушли в лес, к партизанам.

1979—1986

## Примечания

1

Так называемые «Еврейские советы», которые гитлеровцы создавали для прикрытия своих злодейских намерений по отношению к еврейскому населению (нем.).

2

Молитва на пергаменте, вложенная в футляр; прибывается верующими к дверному косяку (древнеевр.).

3

Староста (польск.).

4

Погиб Берек под Коцком (польск.).

5

Из стихотворения советского еврейского поэта Б. Гутянского «Встреча». Перевод М. Лисянского. 6 Молитвенное облачение у верующих евреев (древнеевр.).

7

Коробочки, содержащие написанные на пергаменте ветхозаветные тексты, и прикрепленные к ним (коробочкам) ремни. Набожные евреи надевают их в будние дни во время утренней молитвы на лоб и на левую руку.

8

Прекратить! Прочь! (нем.)

9

Черт возьми! (нем.)

10

Товарищ по партии (нем.).

11

Еврейская народная песня «Годы детства». Русский текст М. Лисянского.

12

Собрание библейских интимно-лирических песен, воспевающих пылкую любовь юноши к пастушке Суламифь. Любовь, которая «сильна как смерть», объявляется единственной ценностью жизни.

13

Как указано в БСЭ (М., 1971, том 4, стр. 316), героическое сопротивление узников Варшавского гетто длилось до начала июля.

14

Так гитлеровцы называли оккупированную ими в 1939 году часть Польши, не включенную в состав третьего рейха.

15

Что? (нем.)

16

Иосиф Дунец — французский ученый. В начале 1966 года как важный свидетель обвинения должен был давать показания на Собиборовском процессе, но умер перед самым отъездом от разрыва сердца с билетом в кармане.

17

Леон Фельдгендлер после восстания отважно воевал в партизанском отряде, участвовал в параде освободителей Люблина. В июле 1945 года, через шесть недель после свадьбы, убит бандитами подпольной польской террористической организации.

18

В 1979 году историк Мириам Нович издала в Милане (Италия) альбом, содержащий 120 рисунков художников — узников нацистских лагерей смерти, в том числе собиборовцев Макса ван Дама, Иозефа Рихтера. Последний был в числе участников восстания 14 октября 1943 года. Его восемнадцать карандашных рисунков, помещенных в альбоме, выполнены в лагере на обрывках бумаги и газет. Пробираясь после побега из Собибора к партизанам, Иозеф Рихтер попросил надежного человека в Хелме сохранить их до его возвращения, но сам, очевидно, погиб.

19

После войны Берек узнал, что Олисе де Йонг ван Дам и Жаклин с помощью французских маки добрались до Швейцарии. Жаклин де Йонг со временем стала известной художницей. Написанные ван Дамом портреты Олисе и ее дочери сохранились.

20

Brennen — жечь (нем.).

21

«Черный корпус» — официальная газета эсэсовцев, орган рейхсфюрера СС (нем.).

22

По не зависевшим от А. Печерского причинам он на открытие памятника не поехал.

23

Имеется в виду ежемесячный бюллетень Нидерландского комитета бывших узников Освенцима.

24

Симон Визенталь, бывший узник Маутхаузена, посвятил свою жизнь разоблачению нацистских преступников. При его содействии был пойман Адольф Эйхман, главные палачи Собибора Штангль и Вагнер и многие другие убийцы.

25

Цукер — сахар (нем.).

26

Габе — староста синагоги (еврейск.).

27

Моком — место, моком кодош — святое место, мединэ — страна (древнеевр.).

28

Трефное — недозволенное в пищу согласно еврейской религии (древнеевр.).